

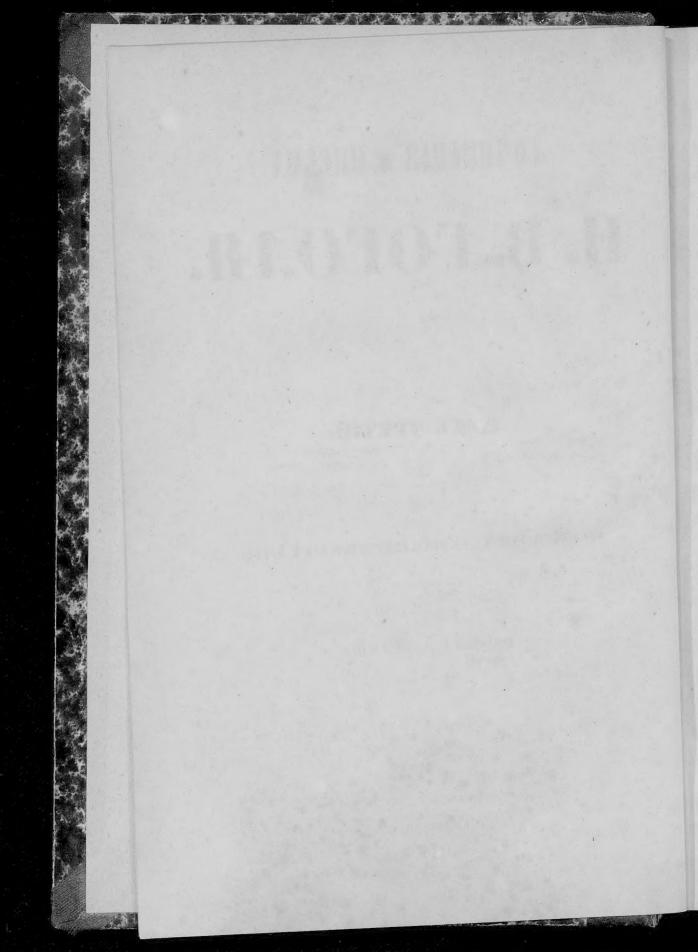


### сочиненія и письма

николая васильевича

гоголя.

III.



## COUHEHIA II HIICHA

# H. В. ГОГОЛЯ.

#### томъ третій.

новъсти. переписка съ друзьями. авторская исповъдь.

изданіе п. а. кулиша.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

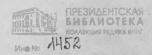
1857.

#### ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

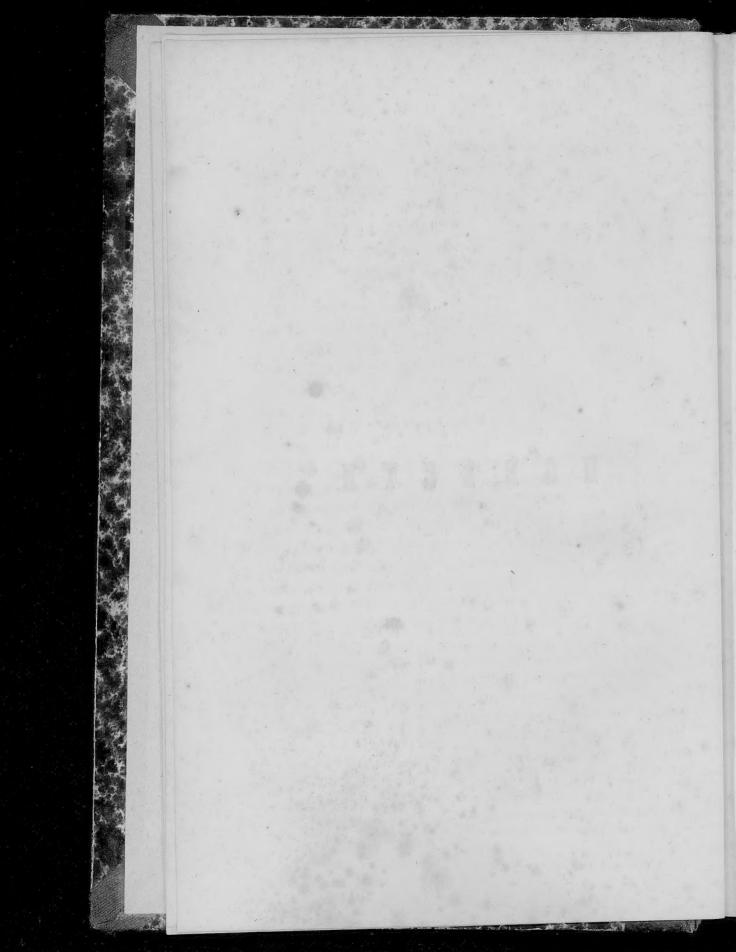
съ тъмъ, чтобы по отпечатанія представлено было въ Ценсурный Комитетъузаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 28 дня, 1857 года.

Ценсопъ Н. Гиляровъ-Платоновъ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.



#### повъсти.



#### TAPACE BYJEBA.

(Въ исправленномъ видъ.)

I.

» А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что это на васъ за поповскіе подрясники? П этакъ всѣ ходять въ академіи? «

Такими словами встрътиль старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ Кіевской бурсъ и пріъхавшихъ домой къ отцу.

Сыновья его только-что слъзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотръвшіе изъ-подлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Кръпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ пріемомъ отца и стояли неподвижно, потупивъглаза въ землю.

» Стойте, стойте! дайте мит разглядъть васъ хорошенько«, продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: »какія же длинныя на васъ свитки! экія свитки! такихъ свитокъ еще и на свътъ не было. А побъти который-нибудь изъ васъ! я посмотрю, не шлепиется ли онъ на землю, занутавшись въ полы.«

»Не емъйся, не смъйся, батько! « сказалъ наконецъ старшій изъ нихъ.

» Смотри ты, какой нышный! а отчего жъ бы не смъяться?«

» Да такъ; хоть ты ми<br/>ѣ и батько, а какъ будещь смѣяться, то ей Богу поколочу!<br/>«

»Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька? « сказалъ Тарасъ Бу́льба, отстунивши съ удивленіемъ нъсколько шаговъ назадъ.

» Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. «

»Какъ же хочешь ты со мною биться? развъ на кулаки?«

»Да ужъ на чемъ бы то ни было.«

»Ну, давай на кулаки!« говорилъ Тарасъ Бу́льба, засучивъ рукава: »посмотрю я, что за человъкъ ты въ кулакъ!«

И отецъ съ сыномъ, вмъсто привътствія послѣ давней отлучки, начали насаживать другь другу тумаки и въ бока, и въ поясинцу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

»Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ спятилъ съ ума!« говорила блъдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и неуспъвшая еще обнять пенаглядныхъ дътей своихъ. »Дъти пріъхали домой, больше года ихъ не видали, а онъ задумаль ни-въсть что: на кулаки биться!«

»Да опъ славно бъется! « говорилъ Вульба, остановившись: »ей Богу, хорошо!» продолжаль опъ, немного оправляясь: »такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! « И отецъ съ сыномъ стали цъловаться. »Добре сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: инкому не спускай (¹)! А веё-таки на тебѣ смѣшное убранство: что это за веревка виситъ? А ты, бейбасъ, что стоишъ и руки опустилъ? « говорилъ опъ, обращаясь къмладшему: »что жъ ты, собачій сынъ, не поколотишь меня?»

<sup>(1)</sup> Считаю долгомъ замътить, что эта сцена между полковинкомъ Бульбою и его сыномъ исторически не возможна. Самый безпутный человъкъ въ Малороссін, будучи въ трезвомъ видѣ и здравомъ умѣ, не позволитъ себѣ такой возмутительной шутки. Изъ старинныхъ народныхъ Украинскихъ думъ дошли до насъ большею частію тѣ, въ которыхъ воспѣваются—благословеніе Божіс надъ почтительными дътьми и кара Божа надъ тъми, которыя своихъ родителей не шановали и не поважали. Наша »колядка«, при своемъ религіозномъ характерь, осуждаеть на въчныя адскія муки человька, который только подумалъ побранить отца и мать (»Записки о Южной Руси«, т. II, стр. 243), и ни въ одной лътописи, ни въ одномъ судебномъ актъ, ни въ одномъ преданіи не сохранилось ин одной черты, которая бы допускала возможность боя на кулакахъ между отцомъ и сыномъ. Если Бульба принадлежалъ къ дворянству, у котораго было что-нибудь общаго съ дворянствомъ Польскимъ; то надобно вспомнить, что въ его время у Поляковъ взрослый сынъ не смелъ състь въ присутствін отца, безъ приглашенія. Если же дворянство южно-Русское было не что иное, какъ простопародье, съ особенными правами; то, не зная вовсе

»Вотъ еще что выдумалъ! « говорила мать, обнимавшая между тъмъ младшаго: » и придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проъхало столько пути, утомилось.... (Это дитя было двадцати слишкомъ лътъ и ровно въ сажень ростомъ), ему бы теперь нужно опочить и поъсть чего-инбудь, а опъ заставляетъ его биться! «

»Э. да ты мазунчикъ, какъ я вижу! « говорилъ Бульба. »Не слушай, сы́нку, матери: она баба, она инчего не знаетъ. Какая вамъ нѣжьба? Ваша нѣжьба — чистое поле да добрый конь: вотъ ваша иѣжьба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша матерь! Это все дрянь, чѣмъ набиваютъ головы вании: и академіи, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, и все это: ка́ зна що — я илевать на все это! « Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не унотребляется въ печати. »А вотъ, лучие, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука! Тамъ вамъ икола; тамъ только наберетесь разуму. «

»П всего только одну недѣлю быть имъ дома?« говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худонцавая старуха мать: »и ногулять имъ, бѣднымъ, не удастся, не удастся и дому родного узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!«

»Полно, нолно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себъ подъ юбку, да и сидъла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставъ намъ скоръе на столъ все, что есть. Не нужно памиушекъ, медовиковъ, маковинковъ и другихъ ну́идиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меды сорокалътийе! да гори́лки побольше, не съ выдумками гори́лки, не съ изюмомъ и всякими вытребеньками, а чистой пънной горилки, чтобъ играла и шипъла какъ бъщеная.«

Малороссін, но зная жизнь других воных в, нецивилизованных и вониственных в гражданских обществъ, никакъ нельзя допустить, чтобы отецъ; въ виду жены, слугъ и подчиненных в, позволиль сыну поднять на себя руку. Но-моему, это грубъйная опшбка, въ какую когда-либо внадаль Гоголь отъ незнанія своего простонародья, которое было заслонено отъ его наблюдательности дворовыми людьми — этимъ разложеніемъ всёх в здоровых в началь жизни народной, равно непріятнымъ для души простолюдина и человъка съ высшимъ правственнымъ развитіемъ. И. К.

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свътлицу, откуда проворно выбъжали двъ красивыя дъвки-прислужницы, въ червоныхъ монистахъ, прибиравшія компаты. Онъ, какъвидно, испугались пріъзда паничей, нелюбившихъ спускать никому, или же, просто, хотъли соблюсти свой женскій обычай: векрикнуть и броситься опрометью, увидъвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свътлица была убрана во вкусъ того времени, — о которомъ живые намеки остались только въ пъсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже непоющихся больше на Украйнъ бородатыми старцами-слънцами, въ сопровождении тихаго треньканья бандуры, въвиду обступившаго народа, —во вкуст того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Українт за унію. Все было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стъпахъ-сабли, нагайки, сътки для птицъ, невода и ружья, хитро обдъланный рогъ для пороху, золотая уздечка на коня п путы съ серебряными бляхами. Окна въ свътлицъ были маденькія, съ круглыми, тусклыми стеклами, какія встръчаются нынъ только въ старинныхъ церквахъ, сквозь которыя иначе нельзя было глядъть, какъ приподнявъ подвижное стекло. Вокругъ окопъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленаго и синяго стекла, ръзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: Веницейской, Турецкой, Черкесской, зашедшие въ свътлицу Бульбы всякими путями чрезъ третън и четвертыя руки, что было весьма обыкновенно въ тъ удалыя времена. Берестовыя скамы вокругъ всей комнаты; огромный столь подъ образами въ переднемъ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвътными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время, приходившимъ, потому что у нихъ не было еще коней и потому что не въ обычай было позволять школярамъ вздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба только при выпускъ ихъ послалъ имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю прітада сыновей, велёль созвать вста сотниковь и весь полковой чинь, кто только быль на-лицо; и когда

пришли двое изъ нихъ и осаулъ Дмитро Товкачъ, старый его тсварищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей, говоря: "Вотъ смотрите, какіе молодцы! на Сѣчь ихъ скоро пошлю. «Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что иѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорожская Сѣчь.

»Нужъ, паны браты, садись всякій, тдѣ кому лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горилки! « такъ говорилъ Бульба: »Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобъ бусурмановъ били, и Турковъ бы были, Татаръ били бы, когда и Ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и Ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку... что? хороша горилка? А какъ по-Латыни горилка? То-то, сы́нку, дурни были Латинцы: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горилка. Какъ бышъ того звали, что Латинскіе вирши инсаль? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли? «

»Вишь какой батько! « подумаль про-себя старшій сынъ, Остань: »все старая собака знаеть, а еще и прикидывается.«

» Я думаю, архимандрить не даваль вамы и пошохать горилки. « продолжаль Тарась. » А признайтесь, сынки, крынко стегали вась березовыми и свыжимы выникомы по спины и по всему, что ни есть у козака? А можеты, такы какы вы сдылались уже слишкомы разумные, такы, можеты, и плетюганами пороли? чай, не только по субботамы, а доставалось и вы среду, и вы четвергы? «

» Нечего, батько, вспоминать, что было, то прошло! «

» Пусть теперь попробуеть! « сказаль Андрій: » нускай теперь кто-инбудь только зацѣпить; воть пусть только подвериется тенерь какая-инбудь Татарва, будеть знать она, что за вещь козацкая сабля! «

»Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда на то ношло, то и и съ вами ъду! ей Богу ъду. Какого дъявола мит здъсь ждать? чтобъ я сталъ гречкосъемъ, домоводомъ, глядъть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади онъ: я козакъ, не хочу! Такъ что же, что нътъ войны? я такъ поъду съ вами на Запорожье — погулять; ей Богу поъду!« И старый Бульба мало-

номалу горячился, горячился, наконецъ разсердился совсёмъ всталь изъ-за стола и приосанившись тоннулъ ногою. »Завтра же ѣдемъ! зачёмъ откладывать? какого врага мы можемъ здёсь высидёть? на что намъ эта хата? къ чему намъ все это? на что эти горшки? « Сказавши это, опъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бъдная старушка, привыкшая уже кътакимъ ноступкамъ своего мужа, нечально глядъла, сидя на лавкъ. Она не смъла инчего говорить; но услыша о такомъ страшномъ для нея ръшеніп, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дътей своихъ, съкоторыми угрожала ей такая скорая разлука — и никто бы не могъ описать всей безмольной силы ся горести, которая, казалось, тренетала въ глазахъ ся и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба быль упрямь страшно. Это быль одинь изъ тёхъ характеровъ, которые могли возникнуть только въ тяжелый XV въкть на полукочующемъ углу Евроны, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до-тла пеукротимыми набъгами Монгольскихъ хищинковъ; когда лишившиеь дома и кровли, сталь эдбеь отважень человъкь; когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосъдей и въчной онасности. селился онъ и привыкалъ глядъть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуеть и какая боязнь на свътъ; когда браннымъ пламенемъ объядся древле мирный Славянскій духъ и завелось козачество — широкая разгульная замашка Русской природы, и когда вев порвчыя, перевозы, прибрежныя пологія и удобныя мъста усвялись козаками, которымъ и счету никто не въдалъ, и смълые товарищи ихъ были въ правъ отвъчать султану, пожелавшему знати о числъ ихъ: » Кто ихъ знаетъ? у насъ ихъ раскидано по всему стену́: что байракъ, то козакъ« (гдъ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленье Русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бъдъ. Вмъсто прежнихъ удбловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, выбето враждующихъ и торгующихъ городами мелкихъ киязей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общею опасностью и пенавистью противъ не-Христіянскихъ хищниковъ. Уже извъстно всемъ изъ исторіи, какъ ихъ въчная борьба

и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набъговъ, грозившихъ ее опрокинуть. Короли Польскіе, очутившіеся нам'всто удъльных виняей властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поияли значение козаковъ и выгоды такой бранной, строитивой жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому расположению. Подъ пхъ отдаленною властью гетманы, избранные изъ среды самихъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско; его бы инкто не увидаль; но въ случат войны и общаго движенья, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конъ, во всемъ своемъ вооруженін, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля, и въ двъ недъли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать инкакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ — воинъ уходилъ въ луга и нашни, на Дибпровскіе перевозы, ловиль рыбу, торговаль, вариль пиво и быль вольный козакъ. Современные пиоземцы справедливо дивились тогда необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху. еправить кузнецкую, слъсарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять на-пропалую, инть и бражинчать, какъ только можеть одинъ Русскій — все это было ему по-плечу. Кром'в рейстровых в козаковъ, считавнихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случав большой потребности, набрать цілыя толны охочекомонныхь: стопло только осауламъ пройти по рынкамъ и илощадямъ всёхъ сель и мёстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телегу: »Эй, вы, инвинки, броваринки! нолно вамъ ниво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить евоимъ жирнымъ тъломъмухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, илугари, гречкости, овцеводы, баболюбы, полно вамъ за илугомъ ходить, да пачкать въ землъ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и тубить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы!« II слова эти были — какъ искры, падающія на сухое дерево. Нахарь ломаль свой илуть, бровары и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленинкъ и торгашъ посылалъ къ чорту и ремесло и лавку, билъ горшки въ домѣ, — и все, что ин было, садилось на коня. Словомъ. Русский характеръ получилъ здъсь могучій, широкій размахъ, крънкую на-

ружность.

Тарасъ быль одинь изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего права. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на Русскомъ дворянствъ. Многіе перенимали уже Польскіе обычан, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, объды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и перессорился сътъми изъевоихъ товарищей, которые были наклонны къ Варшавской сторонъ, называя ихъ холоньями Польскихъ нановъ. Въчно неугомонный, онъ считаль себя законнымь защитинкомь православія. Самоуправно входилъ въ села, гдъ только жаловались на притъсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ ношлинъ съ дыма. Самъ, съ евоими козаками, производилъ надъ ними расправу и положилъ себъ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слъдуетъ взяться за саблю, именно: когда коммиссары не уважали въчемъ старшинъ и стояли передъ инми въ шапкахъ; когда глумились надъ православіемъ п не чтили обычая предковъ, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и Турки, противъ которыхъ онъ считалъ, во всякомъ случай, позволительнымъ подиять оружіе во влаву Христіянства.

Теперь онъ тъшиль себя заранъе мыслю, какъ опъ явится съ двумя сыновьями своими въ Сѣчь и скажетъ: »Вотъ носмотрите, какихъ я молодцовъ привель къ вамъ! « какъ представитъ ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядитъ на первые подвиги ихъ въ ратной наукъ и бражничествъ, которое почиталось тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотѣлъ было отправить ихъ однихъ; по, ири видъ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣлесцой красоты, всныхнулъ вопискій духъ его, и онъ на другой же день рѣшился ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навѣдывался и въ конюшии и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ тими ѣхать. Осаулу Товкачу нередалъ свою власть вмѣстѣ съ крѣнкимъ наказомъ явиться сей же часъ со есѣмъ полкомъ, если только онъ но-

даетъ изъ Съчи какую-нибудь въсть. Хотя онъ былъ и навеселъ, и въ головъ его еще бродилъ хмъль, однакожъ не забылъ инчего; даже отдалъ приказъ напоитъ коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей ишеницы, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

»Ну, дъти, теперь надобно снать, а завтра будемъ дълать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель: мы будемъ спать на дворъ.«

Почь еще только-что обияла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулуномъ, нотому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захранѣлъ, и за иммъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ; захранѣло и запѣло. Прежде всего заснулъ сторожъ, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бъдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодыя, небрежно всклокоченныя кудри и смачивала ихъ слезами; она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами. вся превратилась въ одно эртніе и не могла наглядіться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъи только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою! »Сыны мои, сыны мон милые! что будеть съ вами? что ждеть вась? « говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея. Въ самомъ дёлё она была жалка, какъ всякая женщина того удалого въка. Она мигъ только жила любовью, только въ нервую горячку страсти, въ нервую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидаль ее для сабли, для товарищей, для бражинчества. Она видела мужа въ годъ два, три дня, и потомъ ивсколько летъ о немъ не бывало слуху. Да и когда видвлись съ инмъ, когда они жили вмъстъ, что за жизнь ея была? Она теривла оскорбленія, даже побоц; она видвла ласки, оказываемыя только изъмилости; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колорить свой. Молодость безъ наслажденія мелькиула передъ нею, и ся прекрасныя свъжія щеки и персп безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся

любовь, всё чувства, все, что есть пёжнаго и страстнаго въженщий, все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, со слёзами, какъ степная чайка, вилась надъ дётьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, — берутъ для того, чтобы не увидёть ихъ никогда! Кто знастъ? можетъ быть, при первой битвъ Татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, которыя расклюетъ хинциая подорожная итица, а ва каждую канлю крови ихъ она отдала бы себя всю. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущий сонъ начиналь уже смыкать ихъ, и думала: »Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочитъ денька на два отъ- вздъ; можетъ быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро вхать, что много вынилъ.«

Мъсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный сиящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она веё сидъла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ин на минуту не сводила съ инхъ глазъ и не думала о сиъ. Уже кони, чуя разсвътъ, всъ полегли на траву и перестали ъстъ; верхије листъя вербъ начали лепетатъ, и, мало-помалу, ленечущая струя спустилась по инмъ до самого инзу. Она просидъла до свъта, вовсе не утомилась и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звоикое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небъ.

Бульба вдругъ проснулся и векочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. »Ну, хлопцы, полно спать! пора, пора! Напойте коней! А гдѣ стара? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою) Живѣе, стара, готовь намъ ѣсть: путь лежитъ великій!«

Бъдиая старушка, лишенная послъдней надежды, уныло ноплелась въ хату.

Между тъмъ, какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшит и самъ выбиралъ для дътей своихъ лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмъсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, ширпиою въ Черное море, съ тысячью складокъ и со сборами и неретянулись золотымъ очкуромъ; къ очкуру прицъплены были длинные ремешки, съ кистями и прочими нобрякушками для трубки. Козакинъ алаго цвъта, сукиа яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ ноясомъ; чеканные Турецкіе пистолеты были засунуты за поясъ; сабля брякала по ногамъ. Ихълица, еще мало загоръвшія, казалось, похорошъли и побълъли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче оттъняли бълизну ихъ и здоровый, мощный цвътъ юности; они были хороши подъ черными бараными шанками, съ золотымъ верхомъ.

Бъдиая мать, какъ увидъла ихъ, и слова не могла промолвить, и слезы остановились въ глазахъ ея.

» Пу, сыны, все готово! нечего мѣнкать«, произнесъ наконецъ Бульба. »Теперь, по обычаю Христіянскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть.«

Вев евли, не выключая даже и хлонцевъ, стоявшихъпочтительно у дверей.

»Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ! « сказалъ Бульба: »моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую (1), чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то — нусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ снасаетъ! «

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ небольшія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. »Пусть хранитъ васъ.... Божья матерь.... не забывайте, сынки, мать вашу.... пришлите хоть вѣсточку о себѣ....« дадѣе она не могла говорить.

»Ну, пойдемъ, дъти! « сказалъ Бульба.

У крыльца стояли осъдланные кони. Бульба вскочиль на своего Чорта, который бъшено отшатнулся, почувствовавь на себъ двадцати-пудовое бремя, потому что Тарасъ быль чрезвычайно тяжель и толсть.

Когда увидъла мать, что уже и сыны ея съли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болъе какой-то иъжности; она схватила его за стремя, она при-

<sup>(1)</sup> Рыцарскую.

липла къ съдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда вытхали они за ворота, со всею легкостио дикой козы, несообразно лътамъ, выбъжала она за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадъ и обияла одного изъ сыновей съ какою-то помъщанною, безчувственною горячностию. Ее опять увели.

Молодые козаки фхали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, съ своей стороны, быль ивсколько смущень, хотя старадся этого не показывать. День быль стрый; зелень сверкала ярко; итицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они профхавши оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ-будто ущелъ въ землю; только видны были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика, да вершины деревь, по сучьямь которыхь они лазили, какъ бълки; еще стлался передъ ними тотъ лугъ, но которому они могли приномнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травъ его, до лътъ, когда поджидали на немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ номощию своихъ свъжихъ, быстрыхъ ногъ. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодцемъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телеги, одиноко торчить въ небъ; уже равнина, которую они пробхали, кажется издали горою и все собою закрыла.... Прощайте и дътство, и нгры, и все, и все!

11.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думаль о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачетъ козакъ, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думаль о томъ, кого онъ встрѣтитъ въ Сѣчи изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло нонурилась.

Сыновья его были запяты другими мыслями. По пужно сказать поболье о сыновьяхъ его. Они были отданы по двъиздцатому

году въ Кіевскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогданняго времени считали необходимостью дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались и получали что-то общее, дѣлавшее пхъ похожими другъ на друга.

Старшій, Останъ, началъ съ того свое ноприще, что въ первый еще годъ бъжалъ. Его возвратили, высъкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза заканываль онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловъчно, покупали ему новый. Но, безъ сомивнія, онъ повториль бы и въ пятый, если бы отецъ не даль ему торжественнаго объщанія продержать его въ монастырскихъ служкахъ цёлыя двадцать лётъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовъки, если не выучится въ академін всёмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же еамый Тарасъ Бульба, который браниль всю ученость и совътоваль, какъ мы уже видели, детямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталь на ряду сълучинми. Тогдаший родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни. Эти схоластическія, грамматическія, реторическія и логическія тонкости ръшительно не прикасались ко времени, никогда не примънялись и не новторялись въ жизни. Учившеся имъ ин къ чему не могли привизать своихъ познаній, хотя бы даже менье схоластическихъ. Самые тогданние ученые болье другихъ были невъжды, потому что вовсе были удалены отъ оныта. Притомъ же это ужасное республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ виушить дъятельность совершение вит ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержание, иногда частыя наказания голодомъ, иногда многия потребности, возбуждающием въ свёжемъ, здоровомъ, кренкомъ юношт, все это, соединившись, раждало въ нихъ ту предпримчивость, которая после развивалась на Запорожьи. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидъвшія на базаръ, всегда закрывали руками своими

ипроги, бублики, съмячки изъ тыквъ, какъ орлицы дътей своихъ, если только видёли проходившаго бурсака. Консуль, долженетвовавній, по обязанности своей, наблюдать надъ подвідомственными ему сотоварищами; имълъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помъстить туда всю лавку зазъвавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ Польскихъ и Русскихъ дворянь, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, не смотря на оназываемое покровительство академін, не вводиль ихъ въ общество и приказываль держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излиние, потому что ректоръ и профессорымонахи не жалвли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, породи своихъ консуловъ такъ жестоко, что т'є ибсколько недъль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ инхъ это было вовсе инчего и казалось немного чёмъ крѣнче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надобдали такія безпрестанныя припарки, и они убъгали на Запорожье, если умъли найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба. не смотря на то, что началь съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословіе, пикакъ не избавлялся неумолимыхъ розгъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Останъ считался всегда одинмъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ ръдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ--обобрать чужой садъ или огородъ, по за то онъ былъ всегда одишмъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпріничиваго бурсака, и никогда, ни въ какомъ случав не выдавалъ своихъ товарищей; никакія илети и розги не могли заставить его это сділать. Онъ быль суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной нирушки; по крайней мфрф инкогда почти о другомъ не думаль. Онъ быль прямодушень съ равными. Онъ имѣль доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать ири такомъ характеръ и въ тогдашиее время. Онъ душевно быль тронуть слезами бъдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой брать его, Андрій, иміль чувства пісколько живів и какъ-то болъе развитыя. Онъ учился охотиъе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрътательнъе своего брата, чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощію изобрѣтательнаго ума своего, умѣль увертываться отъ наказанія, тогда какъ брать его, Остапь, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онь также кинфль жаждою подвига, но вмфстъ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви всныхнула въ немъ живо, когда онъ нерешелъ за восьмиадцать лътъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философские диспуты, видълъ ее поминутно свѣжую, черноокую, нѣжную; предъ нимъ безпрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перен, ивжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дівственныхъ и вибстъ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрываль оть своихъ товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что въ тогдаший въкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинт и любви, не отведавъ битвы. Вообще въ последніе годы онъ реже являлся предводителемъ какой-инбудь ватаги, но чаще бродиль одинь гдф-инбудь въ уединенномъ закоулкъ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядъвшихъ на удицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ ньившиемъ старомъ Кіевъ, гдъ жили Малороссійскіе и Польскіе дворяне и гдт домы были выстроены съ ивкоторою прихотливостию. Одинъ разъ, когда онъ зазъвался, на него почти набхала колымага какого-то Польскаго пана, и сидъвний на козлахъ возница съ престрашными усами хлыснулъ его довольно исправно бичомъ. Молодой бурсакъ вскиивль: съ безумною смвлостно схватиль онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздёлки, удариль по лошадямь, оне рванули, — и Андрій, къ счастію усп'євшій отхватить руку, шленнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій сміхъ раздался

надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидълъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видываль отъ роду: черноглазую и бълую, какъ сиътъ, озаренный утрениимъ румянцемъ солица. Она смъялись отъ всей души, и смёхъ придавалъ сверкающую силу ся осленительной красоте. Онъ оторопель. Онъ глядель на нее, совсѣмъ нотерявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болье замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотълъ было узнать отъ двории, которая, толною, въ богатомъ убранствъ, етояла за воротами, окруживъ игравнияго молодого бандуриста. По дворня подняла смъхъ, увидъвин его запачканную рожу, и не удостоила его отвътомъ. Наконецъ онъ узналъ, что это была дочь прівхавшаго на-время Ковенскаго воеводы. Въ слъдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостію, онъ продъзъ черезъ частоколъ въ садъ, взлъзъ на дерево, которос - раскидывалось вътвями на самую крышу дома; съ дерева перелъзъ онъ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидбла передъ свёчою и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекраспая Полячка такъ пенугалась, увидъвши вдругъ передъ собою незнакомаго человъка, что не могла произнести ни одного слова; по когда примътила, что бурсакъ стоялъ, потупивъ глаза и не смѣи отъ робости пошевелить рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлоннулся нередъ ея глазами на улицъ, смъхъ вновь овладълъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смъялась и долго забавлялась надъ инмъ. Красавица была вътрена, какъ Полячка; но глаза оя, глаза чудееные, произительно ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить рукою и быль связанъ, какъ въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надъла ему на голову свою блистательную діадему, повъсила на губы ему серьги и пакинула на него кисейную прозрачную шемизетку еъ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дълала съ инмъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностно дитяти, которою отличаются вътреныя Полячки и которая новергла бъднаго бурсака въ большее еще смущение. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, распрывши ротъ и глядя неподвижно въ ел ослънительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ пенугаль ее. Она велбла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула свою горинчную, плённую Татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывесть его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо неребрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватиль его порядочно по ногамъ, и собравінаяся дворня долго колотила его уже на улицъ, покамъсть быстрыя поги не спасли его. Послъ этого, проходить мимо дома было очень опасно, потому что дворня у восводы была многочислениа. Онъ встрътиль ее еще разъ въ костёль. Она замътила его и очень пріятно усмъхнулась, какъ давиему знакомому. Онъ видълъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послъ этого воевода Ковенскій скоро убхаль, и, вивсто прекрасной, черноглазой Полячки, выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, новъсивъ голову и потупивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тъмъ стень уже давно приняла ихъ всъхъ въ свои зеленыя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя козачьи шапки одив мелькали между ея колосьями.

»Э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли? « сказалъ наконецъ Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: »какъ-будто какіе-инбудь чернецы! Ну, разомъ всъ думки къ нечистому! Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!«

И козаки, принагнувшись къ конямъ, пропади въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстраго бъга.

Солице выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ облило степь. Все, что смутно и соино было на душѣ у козаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встрененулись, какъ итицы.

Степь, чёмъ далёе, тёмъ становилась прекрасийе. Тогда весь югъ, все то пространство, которое составляетъ ныийшнюю Новороссію, до самого Чернаго моря, было зеленою, дёвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмёримымъ волнамъ дикихъ растеній; один только кони, скрывавниеся въ нихъ, какъ въ

лъсу, вытантывали ихъ. Ничего въ природъ не могло быть лучше: вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ. но которому брызнули миллюны разныхъ цвётовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакиваль вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бълая кашка зонтико-образными шанками нестръла на новерхности; занесенный Богъ знасть откуда колось ишеницы наливался въ гущъ. Подъ тонкими ихъ кориями шпыряли куронатки, вытянувъ свои шен. Воздухъ былъ наполненъ тысячью разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небъ неподвижно стояли ястребы, расиластавъ свои крыдья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторопъ тучи дикихъ гусей отдавался Богъ вёсть въ какомъ дальнемъ озере. Изъ травы подымалась мёрными взмахами чайка и росконно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонт она пропала въ вышинт и только мелькаетъ одною черною точкою! вонъ она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ!.. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хорони!....

Наши путешественники останавливались только на ивсколько минуть для объда; при чемъ вхавшій съ ними отрядъ, состоявшій изъ десяти козаковъ, слѣзалъ съ лошадей, отвязываль деревяныя боклажки съ горилкою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. Вли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только но одной чаркъ, единственно для подкрѣнленія, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда наниваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера.

Вечеромъ, вся степь совершенно перемѣнилась. Все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солица и постепенно темиѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебѣгала по немъ, и она становилась темно-зеленою; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала амбру, и вся стень курилась благовоніемъ. По небу изголуба-темному, какъ-будто исполинскою кистью, налянаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морскія волшы, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался до щекъ. Вся музыка, звучавшая днемъ, утихала и смѣия-

лась другою. Пестрые суслики выпалзывали изъноръ своихъ, становились на заднія ланки и оглащали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышиве. Иногда слышался изъ какогонибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухъ. Путешественинки, остановившись среди полей, избирали ночлегъ, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себъ кулишъ; паръ отдълялся и косвенно дымылся на воздухъ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши но травъ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядъли почныя звъзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насъкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье, все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свъжемъ воздухъ и убаюкивало дремлющій слухъ. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставаль на-время, то ему представлялась степь усфянною блестящими искрами свътящихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжигаемаго по лугамъ и ръкамъ сухого тростника, и темная вереница лебедей, летъвшихъ на съверъ, вдругъ освъщалась серебряно-розовымъ свътомъ, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.

Нутешественники тхали безъ всякихъ приключеній. Нигдт не нопадались имъ деревья: всё та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ сипѣли верхушки отдаленнаго лъса, тянувшагося по берегамъ Диъпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую чериввшую въдальней травъ точку, сказавши: »Смотрите, дътки, вонъ скачетъ Татаринъ!« Маленькая головка съ усами уставила издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, ношохала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, увидъвни, что козаковъ было тринадцать человъкъ. »А ну, дъти, нопробуйте догнать Татарина! и не пробуйте; вовъки не ноймаете: у него конь быстръе моего Чорта. « Однакожъ Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдъ-инбудь скрывшейся засады. Опи прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей въ Дивиръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго илыли по ней, чтобы скрыть свой слёдъ, и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали путь.

Чрезъ три дня послѣ этого они были уже не далеко отъ мѣста, бывшаго предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ захолодѣло: они ночувствовали близость Диѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полосою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и наконецъ обхватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Диѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ наконецъ свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсияли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались шпроко по землѣ, не встрѣчая ии утесовъ, ин возвыпеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взошли на наромъ, и, черезъ три часа илаванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь, такъ часто перемѣнявшая свое жилинце.

Куча народу бранилась на берегу съ перевощиками. Козаки оправили коней. Тараеъ пріосанился, стянуль на себѣ попрѣпче ноясь и гордо провель рукою по усамь. Молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то страхомъ и неопредвленнымъ удовольствиемъ, и всф вмфстф въбхали въ предмъстье, находивнееся за полверсты отъ Съчи. При въвздъ, ихъ оглушили иятьдесять кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати няти кузинцахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землъ. Сильные кожевники сидъли подъ навъсомъ крылецъ на улицъ и мяли своими дюжими руками бычачын кожи; крамари подъ я́тками сидъли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; Армянинъ развъсиль дорогіе платки; Татаринъ ворочаль на рожнахъ бараньц катки съ тъстомъ; Жидъ, выставивъ внередъ свою голову, цъдилъ изъ бочки горилку. По первый, кто попалея имъ на встръчу, это быль Запорожець, спавшій на самой среднив дороги, раскинувь руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. »Эхъ, какъ важно развернулся! Футы, какая нышная фигура!« говориль опъ, остановивши коня. Въ самомъ дёлё это была картина довольно смёлая: Запорожецъ, какъ левъ, растянулся на дорогѣ; закинутый гордо чубъ его захватывалъ на нолъ-аринна земли; шаровары алаго дорогаго сукпа были запачканы дегтемъ для показанія полнаго къ нимъ презрѣнія. Полюбовавшись, Бульба пробирался далье по тыспой улицы, которая была

загромождена мастеровыми, туть же отправлявшими ремесло свое, и людьми всёхъ націй, наполнявшими это предмёстіе Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одёвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только гулять, да налить изъ ружей.

Наконецъ они миновали предмъстіе и увидъли ивсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ, или, по-Татарски, войлокомъ. Иные уставлены были пушками. Нигдъ не видно было забора, или тъхъ инзенькихъ домиковъ съ навъсами на инзенькихъ деревяныхъ столбикахъ, какіе были въ предмъстьи. Небольшой валь и засъка, нехранимые рёшительно никъмъ, ноказывали страшную безнечность. Нъсколько дюжихъ Занорожцевъ, дежавшихъ съ трубками възубахъ на самой дорогъ, носмотръли на инхъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мъста. Тарасъ осторожно провхалъ съ сыновьями между нихъ, скававши: »Здравствуйте, нанове!« — »Здравствуйте и вы!« отвъчали Запорожцы. Вездъ по всему нолю живописными кучами пестрълъ народъ. Но смуглымъ лицамъ видио было, что всв были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она, Съчь! Вотъ то гиъздо, откуда вылетають всё тё гордые и кренкіе, какъ львы! вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Україну!

Путинки выбхали на обширную илощадь, гдв обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкъ сидълъ Запорожецъ безъ рубашки; опъ держалъ ее въ рукахъ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цълая толпа музыкантовъ, въ середнив которыхъ отплясывалъ молодой Запорожецъ, заломивши шанку чортомъ и вскинувши руками. - Онъ кричалъ только: »Живъе пграйте, музыканты! не жалъй, Оома, горилки православнымъ Христіянамъ!« И дома, съ подбитымъ глазомъ, мърялъ безъ счету каждому пристававшему по огромивіїшей кружкъ. Около молодого Запорожца четверо старыхъ выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, онустившись, неслися въприсядку и били круто и крънко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудъла на всю окружность, и въ воздух далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами саноговъ. Но одинъ всёхъ живъе вскрикиваль и летьль всльдь за другими въ танць. Чуприна развъвалась по вътру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимий кожухь быль надъть въ рукава, и потъ градомъ лиль съ него, какъ изъ ведра. »Да сиими хоть кожухъ! « сказаль наконецъ Тарасъ: »видинь, какъ па́рить. « — » Не можно«, кричаль Запорожецъ. » Отчего? « — » Не можно; у меня ужъ такой правъ: что скину, то пронью. « А шанки ужъ давно не было на молодиъ, ин нояса на кафтанъ, ин интаго платка: все пошло, куда слъдуетъ. Толна росла; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видъть безъ внутренняго движенья, какъ все отдирало танецъ самый вольный, самый бъщеный, какой только видъль когда-либо свътъ, и который, по своимъ мощиымъ изобрътателямъ, названъ козачкомъ.

»Эхъ, если бы не конь!« вскрикиулъ Тарасъ: »пустился бы, право, нустился бы самъ въ танецъ!«

А между тымь, въ народь стали попадаться и уваженные но заслугамъ всею Сычью, съдые, старые чубы, бывавине не разъ стариниами. Тарасъ скоро встрытилъ множество знакомыхълицъ. Останъ и Андрій слышали только привътствія: »А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолунъ! Откуда Богъ несетъ тебя, Тарасъ? Ты какъ сюда зашель, Долото? Здорово Кирдяга! Здорово Густый! Думалъ ли я видъть тебя, Ремень? « И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цъловались взаимно, и тутъ нонеслись вопросы: »А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Нидсытокъ? « и слышалъ только въ отвътъ Тарасъ Бульба, что Бородавка новъшенъ въ Толопанъ, что съ Колопера содрали кожу нодъ Кизикирменомъ, что Индсыткова голова носолена въ бочкъ и отправлена въ самый Царь-градъ. Ионурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: »Добрые были козаки! «

111.

Уже около педъли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Съчи. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Съчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять вре-

мя: юношество восинтывалось и образовывалось въ ней одинмъ опытомъ, въ самомъ нылу битвъ, которыя оттого были почти безпрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ какой-инбудъ дисциплины, кромф развф стрфльбы въ цфль, да изръдка конной скачки и гоньбы за звъремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбъ — признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сфчь представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то безпрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конець свой. Нікоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; по большая часть гуляла съ утра до вечера, если въкарманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее иприсство имъло въ себъ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ, напивавшихся съ горя; но было просто бъщеное разгулье веселости. Всякій приходящій сюда позабываль и бросаль все, что дотоль его занимало. Онь, можно сказать, илеваль на свое прошедшее и беззаботно предавался воль и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, неимъвшихъ ни родныхъ, ин угла, ин семейства, кромъ вольнаго неба и въчнаго нира души своей. Это производило ту бъщеную веселость, которая не могла бы родиться ин изъ какого другого неточника. Разсказы и болтовия, среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земль, часто такъ были смъшны и дышали такою силою живого разсказа, что нужно было имъть всю хладнокровную наружность Запорожца, чтобы сохранить неподвижное выражение лица, не моргнувъ даже усомъ — ръзкая черта, которою отличается доныпъ отъ другихъ братьевъ своихъ южный Россіянинъ. Веселость была ньяна, шумна, по при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-некажающимъ весельемъ забывается человъкъ; это былъ тъсный кругъ школьныхъ товарпщей. Разница была только въ томъ, что, вмъсто сидвиня за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набътъ на пяти тысячахъ коней; вмъсто луга, гдъ играють въ мячъ, у нихъ были неохраняемыя, безпечныя границы, въвиду которыхъ Татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ Турокъ въ зеленой чалмѣ своей. Разница та, что вмъсто насильной воли, соединившей ихъ въ шко-

яв, они сами собою кинули отцовъ и матерей и бъжали изъ родительскихъ домовъ; что здёсь были тё, укоторыхъ уже моталась около шен веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемь разгуль; что здысь были ты, которые, но благородному обычаю, не могли удержать въ карманъ своемъ конвіки; что здвеь были тв, которые дотоле червонець считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-Жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить. Здёсь были всё бурсаки, невытерпёвшіе академическихъ лозъ и невынесшіе изъ школы ин одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здъсь были и тъ, которые знали, что такое Горацій, Цицеронъ и Римская республика. Туть было много тёхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ нартизановъ, которые имѣли благородное убъждение мыслить, что все равно, гдъ бы ни воевать, только бы воевать, потому что пеприлично благородному человъку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Съчь съ тъмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Съчи и уже закаленные рыцари. Покого туть небыло? Эта странная республика была именно потребностію того в'яка. Охотинки до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ нарчей, дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здѣсь работу. Один только обожатели женщинъ не могли найти здъсь инчего, нотому что даже въ предмъстье Съчи не смъла показываться ин одна женщина.

Остапу и Андрію казалось чрезвычайно страннымъ, что при инхъ же приходила на Съчь бездна кароду и хоть бы кто-инбудь спросилъ: откуда эти люди, кто они и какъ ихъ зовутъ? Они приходили сюда, какъ будто-бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ тъмъ вышли. Пришедний являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: »Здравствуй! во Христа въруешь? «—» Върую! « отвъчалъ приходившій. »И въ Тронцу Святую въруешь? «—» Върую! «— »И въ церковь ходинь? «—» Хожу! «—» А пу перскрестись! «Пришедшій крестился. »Ну, хорошо! « отвъчалъ кошевой: »ступай же, въ который самъ знаешь, курень «. Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Съчь молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послъд-

ней капли крови, хотя и слышать не хотъла о постъ и воздержании. Только нобуждаемые сильною корыстію Жиды, Армяне и Татары осмиливались жить и торговать въ предмистьи, нотому что Запорожцы инкогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ участь этихъкорыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они ноходили на тѣхъ, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у Запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Съчь состояла изъщестидесяти слишкомъ куреней, которые очень нохожи были на отдъльныя независимыя республики, а еще болье на школу и бурсу дътей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто инчъмъ не заводился и инчего не держалъ у себя; все было на рукахъ у куренного отамана, который за это обыкновенно посиль название батька. У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подъ-сохранъ. Не ръдко происходила ссора у куреней съ куренями: въ такомъ случав дело тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другь другу бока, покамъсть один не пересиливали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сѣчь, имъвшая столько примановъ для молодыхъ людей.

Останъ и Андрій кинулись со всею пылкостію юношей въ это разгульное море, и забыли вмигъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волювало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычан Сѣчи и немпогосложная управа, и законы, которые казались имъ даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козакъ проворовался, укралъ какую-инбудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ нозорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ быль нанести ему ударъ, нока такимъ образомъ не забивали его до смерти. Ненлатившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, нока ктонибудь изъ товарищей не рѣшался его выкунить, заплативши за него долгъ. Но болѣе всего произвела внечатлѣніе на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ

вырыли яму, опустили туда живого убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключавшій тѣло имъ убісинаго, и потомъ обонхъ засынали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ кізни и все представлялся этотъ заживо засынанный человъкъ вмъстъ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто, вмъстъ съ другими товарищами своего куреня, а пногда со всъмъ куренемъ и съ сосъдними куренями выстунали они въ стени для стръльбы несмътнаго числа всъхъ возможныхъ стенныхъ птицъ, оленей и козъ, или же выходили на озера, ръки и протоки, отведенные но жребио каждому куреню, закидыватъ невода, съти, и тащить богатыя тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ; но они стали уже замътны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всемъ. Бойко и мътко стръляли въ цъль, переплывали Диъпръ противъ теченія — дъло, за которое новичокъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дъятельность. Ему не по душъ была такая праздиая жизнь: настоящаго дъла хотълъ онъ. Онъ всё придумывалъ, какъ бы подиять Съчь на отважное предпріятіе, гдъ бы можно было разгуляться, какъ слъдуетъ рыцарю; наконецъ въ одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: »Что, кошевой? пора бы погулять Запорожцамъ.«

»Негдъ погулять«, отвъчалъ кошевой, вынувши изо рту маленькую трубку и силюнувъ на сторону.

»Какъ негдъ? можно пойти на Турещину, или на Татарву.«

»Не можно ин въ Турещину, ин на Татарву.« отвъчалъ кошевей, взявши опять храднокровно въ ротъ свою трубку.

»Какъ не можно?«

»Такъ; мы объщали султану миръ.«

»Да въдь онъ бусурманъ: и Богъ и Святое Инсаніе велитъ бить бусурмановъ. «

»Не имъемъ права. Если бъ не клялись еще нашею върою, то, можетъ быть, и можно было бы; а теперь иътъ, не можно.«

»Какъ не можно? Какъ же ты говоринь: не имъемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ,

ни другой не быль на войнъ, а ты говоришь: не имъемъ права; а ты говоришь: не нужно идти Запорожцамъ.«

»Ну, ужъ не слъдуетъ такъ. «

»Такъ стало быть слъдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человъкъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дъла, чтобы ии отчизиъ, ни всему Христіянству не было отъ него инкакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты миъ это. Ты человъкъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые; растолкуй миъ, на что мы живемъ?«

Кошевой не даль отвъта на этотъ запросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного номолчалъ и потомъ сказалъ: » $\Lambda$  войнъ все-

таки не бывать.«

» Такъ не бывать войнъ? « спросиль онять Тарасъ.

»Нѣтъ. «

»Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?«

» II думать объ этомъ нечего. «

»Постой же ты, чортовъ кулакъ!« сказалъ Бульба про-себя: »ты у меня будешь знать!« и положилъ тутъ же отомстить кошевому.

Стоворившись сътъмъ и другимъ, задаль онъ всъмъ нонойку, и хмъльные козаки, въ числъ нъсколькихъ человъкъ, новалили прямо на илошадь, гдъ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду; не нашедши налокъ, хранцвинихся всегда у до́вбища, они схватили по полъну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего приоъжаль до́вбишъ, высокій человъкъ съ однимъ только глазомъ, однакожъ, не смотря на то, страшно заснаннымъ.

» Кто смъстъ бить въ литавры? « закричалъ онъ.

»Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велять!« отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довоншъ вынулъ тотъ-часъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры гряпули — и скоро на площадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи Запорожцевъ. Всъ собрались въ кружокъ, и послъ третьяго боя показались наконецъ старшины: кошевой съ палицей въ рукъ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и осаулъ съ жезломъ. Комевой и старшины сияли шапки и раскланялись на всъ сторонь козакамъ, которые гордо стояли, подпершись руками въ бока.

»Что значить это собранье? чего хотите, нанове?« сказаль

кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

»Клади налицу! клади, чортовъ сынъ, сей же часъ налицу! не хотимъ тебя больше! « кричали изъ толны козаки. Иъкоторые изъ трезвыхъ куреней хотъли, какъ казалось, противиться; но курени, и ивяные, и трезвые, ношли на кулаки. Крикъ и шумъ сдълались общими.

Кошевой хотълъ было говорить, но зная, что разъярившаяся, своевольная толна можеть за это прибить его на смерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ налицу и скрылся въ толиъ.

» Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства? « сказали судья, инсарь и осауль, и готовились туть же положить чериильницу, войсковую печать и жезлъ.

»Итть, вы оставайтесь! « закричали изътолны: » намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ баба, а намъ нужно человтка въ кошевые. «

» Кого же выберете теперь въ кошевые?« сказали старшины.

»Кукубенка выбрать!« кричала часть.

»Не хотимъ Кукубенка! « кричала другая: »рано ему: еще молоко на губахъ не обсохло. «

»Шило пусть будеть ота́мамомъ!« кричали одии: »Шила посадить въ кошевые!«

»Въ синиу тебъ шило! « кричала съ бранью толна: »что онъ за козакъ, когда проворовался, собачій сынъ, какъ Татаринъ? Къчорту, въ мъшокъ пьяницу Шила! «

»Бородатаго, Бородатаго посадимъ въ кошевые!«

»Не хотимъ Бородатаго! къ нечистой матери Бородатаго!«

» Кричите Кирдя́гу!« шеннулъ Тарасъ Бульба иѣкоторымъ.

»Кирдягу! Кирдягу!« кричала толна. »Бородатаго, Бородатаго! Кирдяга, Кирдягу! Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!«

Вет кандидаты, услынавъ произпесенными свои имена, тотъчасъ же вышли изъ толны, чтобы не подать никакого повода ду-

мать, будто бы они помогали личнымъ участьемъ своимъ въ избраніи.

»Кирдягу! Кирдягу!« раздавалось сильите прочихъ. »Бородатаго!« Дъло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовалъ.

» Ступайте за Кирдягою! « закричали. Человѣкъ десятокъ козаковъ отдѣлилось тутъ же изъ толны; иѣкоторые изъ инхъ едва держались на погахъ — до такой степени усиѣли нагрузиться, и отправились прямо къ Кирдягѣ объявить ему о его избраніи.

Кирдяга, хотя престарълый, но умный козакъ, давно уже сидъть въ своемъ куренъ и какъ-будто бы не въдаль ин о чемъ происходившемъ. » Что нанове? что вамъ нужно? « спросилъ онъ.

»Иди, тебя выбрали въ концевые!«

»Помилосердствуйте, пано́ве! « сказалъ Кирдяга: »гдѣ миѣ быть достойну такой чести! гдѣ миѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправлению такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ? «

»Ступай же, говорятъ тебъ! « кричали Запорожцы. Двое изъ нихъ ехватили его подъ руки, и какъ опъ ни упиралея ногами, по былъ наконецъ притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью подталкиваньемъ сзади кулаками, ппиками, и увъщаньями: »Не ияться же, чортовъ сынъ! принимай же честь, собака, когда тебъ даютъ ее! « Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга въ козачій кругъ.

» Что нанове? « провозгласили во весь народъ приведшіе его: » согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ кошевымъ? «

»Вет согласны! « закричала толна, и отъ крику долго гремтло все ноле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ налицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотъ-часъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ; Кирдяга отказался и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ налицу. Одобрительный крикъ раздался по всей толив, и вновь далеко загудѣло отъ козацкаго крику все поле. Тогда выступило изъ средины народа четверо самыхъ старыхъ, съдоусыхъ и съдочупринныхъ козаковъ (слинкомъ старыхъ не было на Съчи, ибо никто изъ Запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замарала ему грязью. Но Кирдяга стоялъ, не двигаясь съ мъста, и благодарилъ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, неизвъстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ быль Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому. Къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тъхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, дъля суровости и труды боевой жизни. Толна разбрелась тутъ же праздновать избранье, и подиялась гульия, какой еще невидывали дотоль Останъ и Андрій. Винные шинки были разбиты; медъ, горилка и пиво забирались просто безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цёлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пъсняхъ, елавившихъ подвиги, — и взошедшій мѣсяцъ долго еще видѣлъ толны музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, съ бандурами, торбанами, круглыми балалайками, и церковныхъ пъсенниковъ, которыхъ держали на Съчи для пънья въ церкви и для восхваленія Запорожских дёль. Наконець хмёль и утомленье стали одолъвать крънкія головы. И видно было, какъ, то тамъ, то въ другомъ мфетф, падалъ на землю козакъ; какъ товарищъ, обиявши товарища, разчувствовавшись и даже заплакавши, валился вибеть съ нимъ. Тамъ гурьбою улегалась цълая куча; тамъ выбиралъ нной, какъ бы получше ему улечься, и легъ прямо на деревяную колоду. Поелъдній, который быль покръпче, еще выводиль какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ и того подкосила хмѣльная спла, повалился и тотъ, и заснула вся Сфчь.

IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совъщался съ новымъ кошевымъ, какъ ноднять Запорожцевъ на какое-ипбудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперегъ Запорожцевъ, и сначала сказалъ: »Не можно клятвы преступить, никакъ не можно. « А потомъ, помолчавши, прибавилъ: »Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только соберется народъ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы ужъ знаете, какъ это сдълать. А мы со старшинами тотъ-часъ и прибъжимъ на площадь, будто бы инчего не знаемъ.«

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмѣльные и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ на илощадь. Подиялся говоръ: «Что? зачѣмъ? изъ какого дѣла пробили сборъ? «Никто не отвѣналъ. Наконецъ въ томъ и другомъ углу стало раздаваться: »Вотъ пронадаетъ даромъ козацкая сила: иѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились на-повалъ, заплыли жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ! «Другіе козаки слунали сначала. а нотомъ и сами стали говорить: »А и въ-правду иѣтъ инкакой правды на свѣтѣ! «Старшины казались изумленными отъ такихъ рѣчей. На-конецъ кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: »Позвольте, нано́ве Занорожцы, рѣчь держать! «

»Держи!«

»Вотъ въ разсуждени того тенерь идетъ ръчь, нанове добродиство, да вы, можетъ быть, и сами лучше это знаете, что многіе Занорожцы позадолжали въ шинки Жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ин одинъ чортъ тенерь и въры не йметъ. Потомъ опять въ разсуждени того пойдетъ ръчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, что такое война, тогда какъ молодому человъку, и сами знаете, панове, безъ войны не можно пробыть. Какой и Запорожецъ изъ него, если онъ еще ин разу не билъ бусурмана?«

»Онъ хорошо говоритъ«, нодумаль Бульба.

»Не думайте, нанове, чтобы я впрочемъ говориль это для того, чтобы нарушить миръ; сохрани Богъ! я только такъ это говорю. Притомъ же у насъ храмъ Божій, грѣхъ сказать, что такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ, но милости Божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ, не то уже, чтобы спаружи церковь, но даже образа безъ веякаго убранства; хотя бы серебряную ризу

кто догадался имъ выковать; они только то и получили, что отказали въ духовной иные козаки; да и даяніе было бъдное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Такъ я веду рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами: мы объщали султану миръ . и намъ бы великій былъ грѣхъ . потому что мы клялись по-закону нашему .«

» Что жъ онъ путаетъ такое? « сказалъ про-себя Бульба.

»Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: рыцарская честь не велить. А, но своему бъдному разуму, вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ; нусть немного пошарнаютъ берега Натоліи. Какъ думаете, нанове?«

»Веди, веди всёхъ!« закричала со всёхъ сторонъ толна: »за въру готовы положить головы.«

Кошевой испугался; онъ инчуть не хотёль подымать всего Запорожья: разорвать чиръ ему казалось въ этомъ случай дёломъ неправымъ. »Иозвольте, панове, еще одну рѣчь держать!«

»Довольно! « кричали Запорожцы: »лучше не скажешь. «

» Когда такъ, то пусть будеть такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дъло извъстное, и по Инсанью извъстно, что гласъ народъ выдумать. Ужъ умиъе того нельзя выдумать, что весь народъ выдумать. Только вотъ что: вамъ извъстно, панове, что султанъ не оставить безнаказанно то удовольстве, которымъ потъщатся молодцы. А мы тъмъ временемъ были бы наготовъ, и силы у насъ были бы свъжія, и никого бъ не побоялись. А во время отлучки и Татарва можетъ нанасть: они, Турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяниу на домъ не носмъютъ придти, а сзади укусятъ за иятки, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ пътъ столько въ занасъ, да и пороху не намолото въ такомъ количествъ, чтобы можно было всъмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ, я слуга вашей воли.«

Хитрый ота́манъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться, куренные ота́маны совъщаться; пьяныхъ, къ счастио, было немного, и потому ръшились послушаться благоразумнаго совъта.

Въ тотъ же часъ отправилось итсколько человъкъ на противуположный берегъ Дитпра, въ войсковую скарбинцу, гдъ, въ неприступныхъ тайникахъ подъ водою и въ камышахъ, скрываласъ

войсковая казна и часть добытых у пенріятеля оружій. Другіє вев бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Въ мигъ толною народа наполнился берегъ. Ивсколько илотниковъ явилось съ тонорами въ рукахъ. Старые, загорълые, широконлечіе, дюженогіе Занорожцы, съ просъдью въ усахъ и черноусые, засучивъща ровары, стояли по кольни въ водъ и стягивали челик кръпкимъ капатомъ съ берега. Другіе таскали готовыя сухія бревна и всякія деревья. Тамъ обчинали досками челиъ: тамъ, переворотивниц его вверхъ дюмъ, кононатили и смолили; тамъ привланвали къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ намыней, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дамыней, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дамысь по всему прибрежью разложили костры и киниятиль въ ублинуъ казапахъ смолу на заливанье судовъ. Вывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ нодымался по всей окружности; весь колебалем и двигался жизой берегъ.

Въ это время большой наромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявизя на немъ толиа людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборживыхъ свиткахъ. Безперадочный нарядъ (у многихъ инчего не было, кромъ рубания и коротенькой трубки въ зубахъ) неказывалъ, что они, или избъгнули какой-инбудь бъды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ин было на тълъ. Изъ среды ихъ отдълнася и сталъ впереди приземистый, илечьстый козакъ, лътъ изтидесяти. Опъ кричалъ и махалъ рукою сильнъ всёхъ; но за стукомъ и крикомъ рабочихъ не было слънию его словъ.

» 1 съ чъмъ прівхали? « спросиль кошевой, когда паро́мъ приворотиль къ берегу. Всть рабочіе, остановивь свои работы і подинвъ топоры и долота, смотръли въ ожиданіи.

- » Съ бъдою! « кричаль съ нарома приземистый козакъ.
- » Съ вакою? «
- » Нозвольте, наибве Запорожим, ръчь держать!«
- »Говори!«
- »Или хотите, можеть быть, собрать раду?«
- »Говори, мы всв туть, «
- Народъ весь ственился въ одну нучу.
- » А вы развъ ничето не слыхали е томъ, чте дългется въ гетманининъ? «

» А что ? « спросиль одинь изъ куренныхъ отамановъ.

»Э! что? Видно, вамъ Татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы инчего не слыхали.«

»Говори же, что тамъ дѣлается?«

»  $\Lambda$  то дълается, что и родились, и крестились, еще не видали такого. «

»Да говори намъ, что дълается, собачій сынъ? « закричаль одинъ изъ толны, какъ видно, потерявъ терпъніе.

»Такая пора теперь завелась, что ужъ церкви святыя теперь не наши. «

»Какъ не наши?«

»Тенерь у Жидовъ онъ на ареидъ. Если Жиду впередъ не заплатишь, то и объдни нельзя править.«

» Что ты толкуешь?«

» И если разсобачій Жидъ не положить значка нечистою своєю рукою на святой насхв, то и святить пасхи нельзя. «

»Вретъ онъ, папы-браты, не можетъ быть того, чтобы нечистый Жидъ клалъ значокъ на святой пасхъ.«

»Слушайте! еще не то разскажу: и ксензы вздять теперь по всей Украйнъ въ таратайкахъ. Да не то бъда, что въ таратайкахъ, а то бъда, что запрягаютъ уже не коней, а православныхъ Христіянъ. Слушайте! еще не то разскажу: уже, говорятъ, Жидовки шьютъ себъ юбки изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дъла водятся на Украйнъ, пано́ве! А вы тутъ сидите на Запорожьи, да гуляете, да, видно, Татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей, инчего иътъ, и вы не слышите, что дълается на свътъ.«

» Стой, стой! « прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, потушнвъ глаза въ землю, какъ и всѣ Запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную силу негодованія. » Стой! и я скажу слово. А что жъ вы, такъ бы и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька, что жъ вы дѣлали сами? развѣ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію? «

»Э, какъ попустили такому беззаконію? а попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было одинхъ Ляховъ, да и нечего грѣха

танть. были тоже собаки и между наинми — ужъ приняли ихъ въру.«

» А гетманъ вангъ, а полковинки что делали?«

»Надълали полковники такихъ дълъ, что не приведи Богъ никому.«

» Какъ?«

» А такъ, что ужъ тенерь гетманъ, закаренный въ мъдномъ быкъ, лежитъ въ Варикавъ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что надълали полковники! «

Веколебалась вся толна. Сначала пронеслось по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свиржного бурею. а потомъ вдругъ поднялись рѣчи, и весь заговорилъ бенегъ: «Какт»! чтобы Жиды держали на арендъ Христіянскія церкви! чтобы кеензы запрягали въ оглобли православныхъ Аристіянъ! Какъ! чтобы попустить такіл мученія на Русскоїї земль отъ проклятыхъ недовърковъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковинеами и гетманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ!« Такія слова нерелетали по встять концамъ. Запометли Запорожцы и почувли свои силы. Туть уже не было волиеній легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и кринке, которые нескоро навалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себъ виутренийй жаръ. »Перевъшать всю Жидову́! « раздалось изъ толны: »нусть же не шьють изъ поновскихъ ризъ юбокъ своимъ Жидовкамъ! пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ насхахъ! Иеретонить ихъ вейхъ, поганцевъ, въ Дибирћ!« Слова эти, произнесенныя къмъ-то изъ толпы, пролетъли молніей по всъмъ головамъ, и толна ринулась на предмъстье съ желаніемъ нереръзать всёхъ Жидовъ.

Бъдиые сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горилочныхъ бочкахъ, въ нечкахъ и даже запалзывали подъюбки своихъ Жидовокъ; но козаки вездъ ихъ находили.

» Ясновельможные папы! « кричаль одинь, высокій и длинный, какъ налка, Жидъ, высунувши изъкучи своихъ товарпщей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ: » ясновельможные напы!

елово только дайте намъ сказать, одно слово; мы такое объявимъ вамъ, что еще никогда не слышали, такое важное, что не можно еказать, какое важное! «

»Ну, пусть скажуть! « сказаль Бульба, который всегда любиль выслушать обвиняемаго.

»Ясные паны! « произнесъ Жидъ: » такихъ нановъ еще инкогда не видывано, ей Богу, инкогда! такихъ добрыхъ, хоронихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ! « Голосъ его замиралъ и дрожалъ отъ страха. »Какъ можно, чтобы мы думали про Запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ не наши, тѣ, что арендаторствуютъ на Украйнѣ! ей Богу не наши! то совсѣмъ не Жиды, то чортъ знаетъ что; то такое, что только поилевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Илёма, или ты, Шмуль? «

»Ей Богу правда!« отвъчали изъ толны Шлёма и Шмуль въ изодранныхъ ермолкахъ, оба блёдные, какъ глина.

» Мы инкогда еще«, продолжалъ длинный Жидъ: » не сиюхивались съ непріятелями, а католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! мы съ Запорожцами, какъ братья родные....«

»Какъ? чтобы Запорожцы были съ вами братья? « произнесъ одинъ изъ толны: »не дождетесь, проклятые Жиды! Въ Дивпръ ихъ, панове, всвхъ потонить поганцевъ! «

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватали по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалобный крикъ раздался со всъхъ сторонъ; по суровые Запорожцы только смъялись, видя, какъ Жидовскія ноги въ банмакахъ и чулкахъ болтались на воздухъ. Въдный ораторъ, накликавшій самъ на свою шею бъду, выскочилъ изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ иъгомъ, узкомъ, камзолъ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: »Великій господинъ, ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша! былъ воинъ на украшенье всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ илъна у Турка.«

»Ты зналъ брата?« спросилъ Тарасъ.

»Ей Богу зналъ! великодушный былъ панъ.«

- » А какъ тебя зовутъ?«
  - » Янкель. «

» Хорошо«, сказалъ Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и говорилъ такъ: » Повъсить Жида будетъ всегда время, когда будетъ нужно: а на сегодия отдайте его миъ.«

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. »Ну, полѣзай подъ телегу, лежи тамъ и не шевелись; а вы, братцы, не выпускайте Жида.«

Сказавии это; онъ отправился на илощадь, нотому что давно уже собиралась туда вся толпа. Всй бросили въ мигъ берегъ и енарядку челновъ, нбо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, а понадобились телеги и кони. Тенерь уже всё хотёли въ ноходъ, и старые и молодые, вей съ совита старшинъ, куренныхъ, кошевого и съ воли всего Вапорожскаго войска, положили идти прямо на Польшу, отметить все зло и посрамленье въры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь ножаръ по деревнямъ и хлъбамъ, пустить далеко но степи о себъ славу. Все туть же опоясывалось и вооружалось. Кошевой выросъ на цълый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій псполнитель вътреныхъ желаній вольнаго народа: это быль неограниченный повелитель, это быль деспоть, умфвийй только новельвать. Всъ своевольные и гулливые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустивъ головы, не смъя поднять глазъ, когда кошевой раздавалъ повельнія: раздаваль онъ ихъ тихо, не вскрикивая, не торонясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный въ дълъ козакъ, приводивший не въ первый разъ въ исполненье разумно задуманныя предпріятія.

» Осмотритесь, всё осмотритесь хорошенько «, такъ говориль онъ: » исправьте возы и мазинцы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорочке и по двое шароварь на козака, да по горшку саламаты и толченаго проса — больше чтобъ и не было ин у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По паре коней чтобъ было у каждаго козака! Да паръ двъсте взятъ воловъ, потому что на переправахъ и топкихъ мъстахъ пужны будутъ волы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе,

что чуть Богъ ношлетъ какую корысть — пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себт на опучи. Бросьте такую чортову новадку, прочь кидайте всякія юбки, берите одно только оружье, коли нопадется доброе, да червонцы, или серебро, нотому что они ёмкаго свойства и пригодятся во всякомъ случав. Да вотъ вамъ, нанове, внередъ говорю: если кто въ походъ наньется, то никакого иътъ на него суда: какъ собаку за шеяку повелю его приемыкнуть до обозу, кто бы опъ на быль, хоть бы пакдоблеститыний козакъ изъ всего войска; какъ собака будетъ окъ застрълекъ на мъсть и кипуть безъ всякаге погребенья на поклевъ итицамъ, нотому что пряница въ ноходъ не достоинъ Дристіянскаго ногребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цавиетъ имл. или цараниетъ саблей но геловъ, или по чему-инбудь инлему, не давайте большого уваженья такому дёлу: разм'янайте зарядь изроху въ чаркъ сивухи, духомъ вънейте и все пройдетъ — не будетъ и лихорадки; а на рану, если ода не слишкомъ велика, иридожите просто земли, замъснени ее прежде сленою на ладони. то и присохнеть рана. Путе же за дбло, за дбло, хлонцы, да не торонясь, хорошенько принимайтесь за дъло!«

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончилъ онъ рѣчь свою, вет козаки принялись тотъ же часъ за дело. Вся Стчь отрезви ась, и питдъ нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъбудто бы ихъ не было никогда между козаками. Тъ исправляли ободья колесъ и неремѣняли оси въ телегахъ; тѣ сносили на возы мъшки съ провіянтовъ, на другіе валили оружье; тъ пригоняли коней и воловъ. Со всёхъ сторонъ раздавались тонотъ коней, пробная стрильба изъружей, бряканье сабель, чычание быковъ, скрынъ поворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и попуканье и скоро далеко, далеко вытянулся козачій таборъ но всему нолю. И много досталось бы бъжать тому, кто бы захотъль пробъжать отъ головы и до хвоста его. Въ деревяной небольшой церкви служиль священиять молебень, окрониль всёхь святою водою; всё цъловали крестъ. Когда тронулся таборъ и потянулся изъ Съчи, вет Запорожцы обратили головы назадъ: »Прощай, наша мать!« сказали они почти въ одно слово: »нусть же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастья!«

Проважая предувстве. Тарасъ Бульба увидвлъ, что Жидокъ его, Япкель, уже разбиль какую-то ятку съ навъсочъ и продавалъ кремии, завертки, порохъ и ссякія войсковыя спадобья, нужныя ка дорогу, даже калачи и хлъбы. «Каковъ чортовъ Жидъ!« подумаль про-себя Тарасъ и, подъбхавъ къ нему на конъ, сказалъ: «Дурень, что ты здъсь сидинь? развъ хочень, чтобы тебя застрълили, какъ воробья? «

Янкель, въ отвътъ на это, нодошель къ нему ноближе и, сдълавъ знакъ объявить руками, какъ-будто хотълъ объявить что-то тапиственное, сказалъ: «Пусть калъ только мелчитъ и инкому не говоритъ: между козацании возами есть одинъ мой везъ; я везу всякій кужный закасъ для козаковъ и по дорогъ буду доставлять всякій провіянтъ по такой дешелой цънъ, но какой еще ши одинъ. Жидъ не продаваль: ей Богу такъ, ей Богу такъ.«

Пожаль илечами Тарасъ Бульба, подивившие в Жидовской натуръ, и отъбхаль къ табору.

## 1.

Скоро весь Польскій югозападъ сдълался добычею страха. Веюду проиеслись слухи: »Запорожцы! показались Запорожцы!« Все. что могло снасаться, снасалось, все подымалось и разобгалось, но обычаю этого нестройнаго, безнечнаго вѣка, когда не воздвигали ни крѣностей, ни замковъ, а какъ попало, становилъ на время соломеное жилище свое человъкъ. Онъ думаль: » не тратить же на нзбу работу и деньги, когда и безъ того будеть она снесена Татарскимъ набътомъ! « Все всполошилось: кто мънялъ воловъ и илугъ на коня и ружье и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что только можно было унесть. Попадались ниогда по дорогѣ и такіе, которые вооруженною рукою встрѣчали гостей; но больше было такихъ, которые бъжали заранъе. Всъ знали, что трудно имъть дъло съ буйной и бранной толпой, извъстной подъ именемъ Запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройствъ своемъ заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ъхали, не отягчая и не

горяча коней, пѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ подвигался только по почамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того пуетыри, незаселенныя мъста и лъса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы были впередъ лазутчики и разсыльные узнавать и вывёдывать, гдё, что и какъ. И часто вътёхъ мёстахъ, гдё менёе всего могли ожидать ихъ, они ноявлялись вдругъ — и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревии; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мъстъ. Казалось, больше пировали они, чъмъ совершали походъ свой. Дыбомъ сталь бы ныи волось отъ тыхъ страшныхъ знаковъ свиръпства полудикаго въка, которые пронесли вездъ Запорожцы. Избитые младенцы, обръзанныя груди у женщинъ, содранная кожа съ погъ но колъна у выпущенныхъ на свободу; словомъ, — крунною монетою отплачивали козаки прежије долги. Прелать одного монастыря, услычавь о приближени ихъ, прислаль отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя, какъ слёдуеть, что между Запорожцами и правительствомъ стойть согласіе, что они нарушають свою обязанность къ королю, а еъ тъмъ вмъстъ и всякое народное право. «Скажи епископу отъ меня и отъ всёхъ Запорожцевъ«, сказалъ Кошевой, »чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигають и раскуривають трубки. « И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ иламенемъ, и колоссальныя Готическія окна его сурово глядели сквозь разделявшіяся волны огня. В'єгущія толпы монаховъ, Жидовъ, женщинъ вдругъ омноголюдили тъ города, гдъ какая-инбудь была надежда на гаринзонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ правительствомъ запоздалая помощь, состоявшая наъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робъла, обращала тылъ при первой встръчъ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотоль въ прежнихь битвахъ, рышались, соединя свои силы, стать грудью протпвъ Запорожцевъ.

И тутъ-то болье всего пробовали себя наши молодые козаки, чуждавшеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горьвше желанісмъ показать себя передъ старыми, помъряться одниъ на одниъ съ бойкимъ и хвастливымъ Ляхомъ, красовав-

шимся на горделивомъ конъ, съ летавиними но вътру откидными рукавами епанчи. Потъшна была наука; много уже они добыли себъ конной сбруп, дорогихъ сабель и ружей. Въодинъ мъсяцъ возмужали и совершение переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужами; черты лица ихъ, въкоторыхъ доселѣ видиа была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видъть, какъ оба сына его были один пэт первыхъ. Остану, казалось, былъ на роду написанъ битвенный нуть и трудное знанье вершить ратныя дёла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ для двадцати-двухъ-лѣтняго, онъ въ одниъ мигъ могъ вымърять всю опасность и все положение дъла, туть же могь найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тъмъ, чтобы потомъ върнъй преодольть ее. Уже пспытанной увъренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замътны наклонности будущаго вождя. Грвностью дышало его твло, и рыцарскія его качества уже пріобрёли инпрокую силу льва. » О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковинкъ! « говорилъ старый Тарасъ: » ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька за ноясъ заткиетъ!«

Індрій весь ногрузился въ очаровательную музыку пуль и мечей. Онъ не зналь, что такое значить обдумывать, или разечитывать, или измѣрять заранѣ свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и уноснье онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у человѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летятъ головы, съ громомъ надаютъ на землю коин, а онъ несется, какъ ньяный, въ свистѣ нуль, въ сабельномъ блескѣ и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ. Не разъ дивился отецъ и Андрію, видя, какъ онъ, нонужлаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремдялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумиый, и одинмъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: »и это добрый (врагъ бы не взялъ его) вояка! не Останъ, а добрый, добрый также вояка!«

Войско ръшилось идти прямо на городъ Дубно, гдъ, носились

елухи, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня походъ быль едбланъ, и Запорожцы ноказались передъ городомъ. Жители ръшились защищаться до послъднихъ силъ и крайности. и лучше хотёли умереть на илощадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чёмъ пустить пепріятеля въ домы. Высокій земляной валь окружаль городь; гдв валь быль инже, тамъ высовывалась каменная стіна или домъ, служившій баттаресії, или, наконецъ. дубовый частоколь. Гарипзонь быль силень и чувствоваль вакность своего дёла. Запорожцы жарко полёзли было на валъ, но были встръчены сильною карчечью. Мъщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотъли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въглазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивленіе; женщины тоже рѣшились участвовать, и на голови Занорожцамъ полетвли камни, бочки, варъ и, наконецъ, мънкси неску, слънивниято имъ очи. Запорожим не любили ичтъть дъло еъ крѣностями; вести осады была не ихъчасть. Кошевой новелёлу, отетунить и сказаль: »Инчего, напы братья, мы отступнуь; но будь я поганый Татаринъ, а не Христіянинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! нусть ихъ, собаки, веб передохнутъ еъ голоду!« Войско, отстунивъ, облегло весь городъ п, отъ нечго дълать, запялось опустошеньемъ окрестностей, вышигая окружныя деревии, скирды неубрациаго хлъба, и напуская табуны коней на нивы, еще нетропутыя сериомъ, гдъ, какъ нарочно, колебались тучные колосья, плодъ необывновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро всёхъ земледёльцевъ. Съ ужасомъ видёли изъ города, какъ истреблялись средства ихъ существованія. А между твиъ Запорожцы, протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телеги, расположились такъ же, какъ и на Сфчи, куренями. курили свои люльки, мънялись добытымъ оружіемъ, и играли въ чехарду, въчетъ и нечетъ, и посматривали съ убійственнымъ хладиокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кашевары варили въ каждомъ куренъ кашу въ огромныхъ мъдныхъ казанахъ; у горфвинхъ всю ночь огней стояла безсониая стража. Но скоро Запорожцы начали понемногу скучать бездъйствіемъ и продолжительною трезвостью, несопряженною ни съ какимъ дёломъ. Кошевой вельль удвоить даже порцио вина, что иногда водилось въ

войскъ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ и особенно сынамъ Тараса Бульбы не правилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. »Неразумная голова«, говорилъ ему Тарасъ: »терпи козакъ ота́манъ будешь! Не тотъ еще добрый вонинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый вонинъ, кто и на бездѣльи не соскучитъ, все вытериитъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ всё-таки поставитъ на своемъ. « Но не сойтись нылкому юношъ съ старцемъ: другая натура у обонхъ, и другими очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тёмъ подосиёлъ Тарасовъ полкъ, приведенный Тогкачемъ; съ инмъ было еще два осаула, писарь и другіе полковы» чины; всёхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Вило между инми немало и охочекомонныхъ, которые сами поднялись своею волею безъ всякаго призыва, какъ только услышали, въ чемъ дъло. Осаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ етарухи-матери и каждому по кипарисиому образу изъ Межигорскаго Нієвскаго монастыря. Надъли на себя святые образа оба брата и невольно задумались, приноминьъ старую мать. Что-то пророчить имъ и говоритъ это благословенье? Влагословенье ли на побъду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на въчныя пъсни бандуристамъ, или же?.... Но не извъстно будущее, и стойтъ оно предъ человъкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъболоть: безумно летають въ немъ вверхъ и виизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка — не видя ястреба, ястребъ — не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ отъ своей погибели...

Остапъ уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же, самъ не зная отъ чего, чуствовалъ какую-то духоту на сердцѣ. Уже козаки окончили свою вечерю; вечеръ давно потухнулъ, польская чудная ночь обняла воздухъ; по онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился снать и глядѣлъ невольно на всю бывшую передъ шимъ картину. На небѣ безчисленио мелькали тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было заиято раскиданными по немъ возами съ висячими мазинцами, облитыми дегтемъ, со всякимъ добромъ и провінитомъ, набраннымъ у врага.

Воздів телегъ, подъ телегами и подальше отъ телегъ, вездів были видиы разметавинеся на травъ Запорожцы. Всъ они снали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себё подъ голову куль, кто шанку, кто унотребивни, просто, бокъ своего товарина. Сабля. ружье, самопаль, коротко-чубучная трубка съ мъдными бляхами. жельзными провертками и огнивомъ, были неотлучно при каждомъ козакъ. Тяжелые волы лежали, подвериувни подъ себя ноги. большими бъловатими массами, и казадись издали съръми камисми. раскиданными по отлогостямъ поля. Со вебхъ сторонъ изъ трави уже сталь подинматься густой хрань снащиго воинства, на который отзывались съ ноля эконкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои сиутанныя поги. А между тъмъ что-то величественное и грозное примъналось къ красотв польской почи. Это было зарево вдали догаравнику окрестностей. Въ одномъ мъстъ изамя слокойно и величественно стладось но небу, въ другочъ, встрътивъ что-то горючее и вдругъ вырвавникъ вихремъ, ово свистъло и летило вверхъ подъ самыя звъзды, и стореанныя охлонья его гаснули подъ самыми дальними небесами; тамъ обгоръдый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стояль грезко, выказывая при каждомъ отблескъ мрачное свое величе; тамъ сорълъ монастырскій садъ; казалось, слынно было, какъ деревья инибли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакиваль огонь, онъ вдругъ освъщать фосфорическимъ лилово-огненнымъ свътомъ спъли грозди сливъ, или обращать въ червонное золото тамъ и тамъ желтьвийя групии, и туть же среди ихъ черибло висвинее на стыт зданія, или на древесномъ суку, тыло бъднаго Жида или монаха, ногибавшее вивств съ строеніемъ въ огив. Падъ огнемъ вились вдали птицы, казавийлся кучею темныхъ мелкихъ крестцковъ на огненномъ полъ. Обнаженный городъ, казалось, усичлъ: иницы, и кровли, и частоколь, и ствиы его тихо всилхивали отблесками отдаленныхъ ножаровъ. Андрій обощелъ козацие риды: Костры, у которыхъ сидвли сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушект во весь козацкій аниетить. Онт подивился такой безпечности, подумавши: «Хорошо, что пътъ близи» никакого сильнаго непріятеля и некого опасаться. « Наконець а самъ подощель онъ

къ одному изъ возовъ, взлъзъ на него и легъ на синцу, подложивни себъ подъ голову сложенныя назадъ руки; по не могъ засиуть и долго глядълъ на небо: опо все было открыто передъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухъ; густота звъздъ, составлявшая млечный нуть и поясомъ переходившая по небу, вся была залита свътомъ. Временами Андрій какъ-будто позабывался. и какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ передъ пимъ небо, и потомъ оно онять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, повазалось сму, мелькиуль передъ инмъ какойто страними образъ человъческаго лица. Думая, что это было простое обавне спа, которое сей же часъ разсъется, онъ открылъ глаза свои и увидълъ, что къ пему точно наклонилось какое-то изможденное, высохиее лицо и смотръло прямо сму въ очи. Длиниме и черине, какъ уголь, волосы, пемрибраниме, растренаниме, лъзли изъ-нодъ темнаго, наброшеннаго на голову покрывала; и страниміі блескъ взглида и мертвенная смуглота лица, выстунавшаго ръзкими чертами, заставляли скоръе думать, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольно рукой за шищаль и произпесъ почти судорожно: »кто ты? коли духъ нечистый, стинь съ глазъ; коли живой человъкъ, не въ пору завель шутку — убыо съ одного прицъла.«

Въ отвътъ на это, привидъніе приложило налецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустиль руку и сталь вглядываться винмательньйі. По длиннымъ волосамъ, шев и полуобнаженной смуглой груди, узналь онъ женщину. По она была не здъшияя уроженка: все лицо ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выступали сильно надъ онавними нодъ ними щеками; узкія очи подымались дугообразнымъ разръзомъ къ верху. Чъмъ болье онъ всматривался въ черты ея, тымъ болье находилъ въ нихъ что-то знакомое. Паконецъ онъ не вытеривлъ и сиросилъ: »скажи, кто ты? Чив кажется, какъ-будто я зналъ тебя, или видъль гдъ-ипбудь?«

-», Іва года назадъ тому : въ Кіевъ.«

»Два года назадъ, въ Кіевѣ!« повторилъ Андрій, стараясь неребрать все, что уцѣлѣло въ его намяти отъ прежней бурсацьой жизни. Окъ посмотрѣлъ еще разъ на нес пристально и вдругъ вскрикнуль во весь годось: »Ты Татарка! служанка наиночки, восводнюй дочки!....«

» Чишъ! « произнесла Татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всъмъ тъломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видъть, не проснулся ли кто-инбудь отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

» Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь?« говорилъ Андрій, почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. »Гдѣ наиночка, жива ли еще она?«

»Она тенерь въ городъ. «

»Въ городъ? « произнесъ онъ, опять едва не вскрикнувши, и ночувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: »отчего жъ она въ городъ? «

»Оттого, что самъ старый нанъ въ городѣ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубиѣ.«

«Что жъ она, замужемъ? Да говори же, какая ты странная, что она теперь?....«

»Она другой день инчего не вла.«

» Kant?«

»Ни у кого изъ городскихъ жителей иѣтъ уже давио куска хлѣба, всѣ давио ѣдятъ одну землю.«

Андрій остолбеналь.

» Наиночка видѣла тебя съ городского валу вмѣстѣ съ Запорожцами. Опа сказала миѣ: » Ступай, скажи рыцарю: если опъ поминтъ меня, чтобы пришелъ ко миѣ; а не номинтъ, чтобы здаль тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видѣть, какъ при миѣ умретъ мать. Пусть лучше я эпрежде, а она послѣ меня! Проси и хватай его за колѣии и но̀ги: » у пего также есть старая мать, — чтобъ ради ея далъ хлѣба!«

Много всянихъ чуветвъ пробудилось и всныхнуло въ молодой груди козака.

»Но накъ же ты эдъсь? какъ ты приила?«

» Подземнымъ ходомъ, «

«Развъ есть подземный ходъ?«

»Erm.

»Pith?«

- »Ты не выдашь, рыцарь?«
- »Клянусь крестомъ святымъ!«
- » Спустясь въ яръ и нерейдя протокъ, тамъ, гдѣ тростникъ.«
  - » II выходить въ самый городъ? «
  - »Прямо къ городскому монастырю. «
  - »Пойдемъ, пойдемъ сейчасъ!«
  - » Но ради Христа и Святой Матери, кусокъ хлѣба!«
- »Хорошо, будеть. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидить, всѣ спять; я сейчась ворочусь.«

И опъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранплись запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено ныпѣшинми козацкими биваками, суровой бранною жизнью, все всильло разомъ на новерхность, потонивши, въ свою очередь, настоящее. Опять вынырнула нередъ нимъ, какъ-бы изъ темной морской нучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его намяти прекрасныя руки, очи, смѣющіяся уста, густые, темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаньи созданные члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали изъ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеньямъ; но часто, часто смущался ими глубокій сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнѣе, при одной чысли, что увидить ее онять, и дрожали молодыя его колѣни. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, за чѣмъ пришелъ: ноднесъ руку ко лбу и долго теръ его, стараясь припоминть, что ему нужно дѣлать. Наконецъ вздрогнулъ и весь исполнился иснуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлѣбовъ подъ руку; но тутъ же подумалъ: »Не будетъ ли эта пища, годная для дюжаго, неприхотливаго Запорожца, груба и неприлична ея нѣжному сложенію? «Тутъ вспомиилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили въ одинъ

разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ея стало на добрыхъ три раза. Въ полной увъренности, что онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще тлълась зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, увидя, что оба пусты. Нужно было не человъческихъ силъ, чтобы все это съъсть, тъмъ болье, что вы ихъ курень считалось меньше людей, чымь въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — нигдъ ничего. По неволѣ пришла ему въ голову поговорка: »Запорожцы какъ дъти: коли мало — съъдять, коли много — тоже ничего не оставять. « Что дёлать? Быль однакоже гдё-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мъшокъ съ бълымъ хлъбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарию. Онъ прямо подощелъ къ отцовскому возу, но на возу его не было: Останъ взялъ его себъ подъ головы и, растянувшись на земль, храпьль на все поле. Андрій схватиль мъшокъ одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, что голова Остапа упала на землю, а онъ самъ вскочилъ въ нросонкахъ и, ендя съ закрытыми глазами, закричаль, что было мочи: »Держите, держите чортова Ляха! да ловите коня, коня ловите!«—»Замолчи, я тебя убью!« закричаль въ испугъ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Останъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, прпемирълъ и пустилъ такой хранъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудиль ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остана. Одна чубатая голова точно приподиялась въ ближнемъ куренъ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двъ, опъ наконецъ отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. »Вставай, идемъ! вев сиятъ не бойся! Подымешь ли ты хоть одинь изъ этихъхлёбовъ, если мит будеть не сподручно захватить всъ?« Сказавъ это, онъ взвалиль себъ на спину мъшки, стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мешокъ съ просомъ, взяль даже въ руки те хлебы, которые хотъль было отдать нести Татарит, и, итсколько понагнувшись подъ тяжестью, шель отважно между рядами снавшихъ Запорожцевъ.

» Андрій! « сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и весь дрожа, тихо произнесъ: » А что? «

»Съ тобою баба! Эй, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!« Сказавши это, опъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало Татарку.

Андрій стояль ни живъ, ни мертвъ, не имъя духу взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда подияль глаза и носмотрълъ на него, увидълъ, что старый Бульба уже спалъ, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца иснугъ еще скорте, чъмъ прихлынулъ. Когда же поворотился онъ, чтобы взглянуть на Татарку, она стояла передъ нимъ, подобно темной гранитной статув, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдалениаго зарева, всныхнувъ, озарилъ только одни ея очи, помутившіяся какъ у мертвеца. Онъ дернуль ее за рукавъ, и оба пошли вмъсть, безпрестанно оглядываясь назадъ, и наконецъ опустились отлогостью въ инзменную дощину, — почти яръ, называемый въ нъкоторыхъ мъстахъ балками, -- по дну которой лъниво пресмыкался протокъ, поросшій осокою и усвянный кочками. Опустясь въ эту лощину, они скрылись совершенио изъ виду всего поля, занятаго Запорожскимъ таборомъ. По крайней мъръ, когда Андрій оглянулся, то увидёль, что позади его, крутою стёной, болье чёмъ въростъ человёка, вознеслась покатость; на вершинё ся покачивалось ифсколько стебельковъ полеваго былья, и надъ ними поднималась въ небъ луна въ видъ косвенно обращеннаго серпа изъ яркаго червоннаго золота. Сорвавшійся со степи ветерокъ давалъ знать, что уже не много оставалось времени до разсвъта. Но нигдъ не слышно было отдаленнаго пътушьяго крика: ни въ городѣ, ин въ разоренныхъ окрестностяхъ, не оставалось давно им одного пътуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мъстъ былъ крънкій и надежный самъ-собою пунктъ городской крѣпости; по крайней мѣрѣ

земляной валь быль туть ниже, и не выглядываль изъ-за него гарнизонъ. Но за то подальше подымалась толстая монастырская стіна. Обрывистый берегь весь обрось бурьяномь, и по небольшой лощинф между имъ и протокомъросъ высокій тростникъ, почти въ вышину человъка. На вершинъ обрыва видны были остатки илетия, обличавшіе когда-то бывшій огородъ; передъ нимъ широкіе листы лопуха, изъ-за котораго торчала лебеда, дикій колючій бодакъ и и подсолнечникъ, подымавшій выше всёхъ свою голову. Здёсь Татарка скинула съ себя черевики и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мъсто было топко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились они передъ наваленнымъ хворостомъ и фашининкомъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они родъ земляного свода — отверстіе, мало чёмъ большее отверстія въ хлібной печн. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслъдъ за нею Андрій, нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими мѣшками, и скоро очутились оба въ совершенной темпотъ.

## VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ корридорѣ, слѣдуя за Татаркою и таща на себѣ мѣшки хлѣба. «Скоро намъ будетъ свѣтло«, сказала проводница: «мы подходимъ къ мѣсту, гдѣ поставила я свѣтильникъ.« И точно, темныя земляныя стѣны начали поцемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось, была часовия; по крайней мѣрѣ, къ стѣнѣ былъ приставленъ узенькій столикъ въ видѣ алтариаго престола, и надъ нимъ видѣнъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образъ католической Мадопиы. Пебольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висѣвшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подияла съ земли оставленный мѣдный свѣтильникъ, на тонкой, высокой пожкѣ, съ висѣвшими вокругъ ея на цѣпочкахъ щипцами, шпилькой для поправленія огия и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампады. Свѣтъ усилился и они, идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь тем-

ною, какъ уголь, твиью, напоминали собою картины Герардо delle notti. Свъжее, кипящее здоровьемъ и юностію прекрасное лицо дыцаря представляло сильную противоположность съ изнуреннымъ п блёднымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ и всколько шире, такъ что Андрію можно было пораспрямиться. Онъ съ любонытствомъ разсматривалъ эти земляныя сттиы. Такъ же, какъ и въ пещерахъ Кіевскихъ, тутъ видны были углубленія въ ствиахъ, и стояли кое-гдъ гробы; мъстами даже попадались, просто, человъческія кости, отъ сырости сдълавшіяся мягкими и разсыпавшіяся въ муку. Видно, и здісь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мъстами была очень сильна; подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ быль часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутниць, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ хлъба, проглоченный ею, произвель только боль въ желудкъ, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по ибскольку минутъ на одномъ мість.

Наконецъ передъ инми показалась маленькая жельзная дверь. » Ну слава Богу, мы пришли «, сказала слабымъ голосомъ Татарка, приподняла было руку, чтобы постучаться, и не имъла силъ. Андрій удариль вмісто ея сильно въ дверь; раздался гуль, показавшій, что за дверью быль большой просторъ. Гуль этоть измінялся, встрътивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двъ загремъли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лъстницъ. Наконецъ дверь отперлась; ихъ впустилъ монахъ, стоявшій на узенькой лъстищь съ ключемъ и свъчой въ рукахъ. Андрій невольно остановился при видъ католическаго монаха, возбуждавшаго такое ненавистное презръне въ козакахъ, поступавшихъ съ ними безчеловъчный, чъмъ съ Жидами. Монахъ тоже нъсколько отступиль назадь, увидьвь Запорожского козака; но слово, невнятно произнесенное Татаркою, его успокоило. Онъ посвътилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ ихъ по лъстици вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвъчниками и свъчами, стояль на колбияхъ священникъ и тихо молился. Около него съ объихъ сторонъ стояли также на колъняхъ два молодые

клирошанина въ лиловыхъ мантіяхъ, съ бълыми кружевными шемизетками и съ кадилами въ рукахъ. Онъ молился о ниспослани чуда: о спасенін города, о подкрънленін падающаго духа, о ниспосланін терпінія, объ удаленін искусителя, нашентывающаго ропотъ и малодушный, робкій плачъ на земныя несчастія. Нъсколько женщинъ, похожихъ на привиденія, стояло на коленяхъ, опершись и совершенно положивъ изнеможенныя головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и темныхъ деревяныхъ лавокъ; нъеколько мужчинъ, прислонясь у колонъ, на которыхъ возлегали боковые своды, печально стояли тоже на кольняхъ. Окно съ цвътными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и унали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цейтовъ кружки свита, освитившие висзапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углублени показался вдругъ въ сіянін; кадильный дымъ остановился въ воздух в радужно освъщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядъль изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свътомъ. Въ это время величественный стонъ органа наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разростался, перешель вътяжелые раскаты грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понесся высоко подъ сводами своими ноющими звуками, напоминавшими тонкіе дівичьи голоса, и потомъ опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились дрожа подъ сводами, и дивился Андрій съ полуоткрытымь ртомъ величественной музыкъ.

Въ это время почувствоваль онъ, что кто-то дернуль его за полу кафтана. »Пора!« сказала Татарка. Они перешли черезъ церковь, незамъчениые никъмъ, и вышли потомъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно румянилась на небъ; все возвъщало восхождение солнца. Площадь, имъвшая квадратную фигуру, была совершенио пуста; по срединъ ея оставались еще деревяные столики, показывавшие, что здъсь былъ еще, можетъ быть, только недълю назадъ, рынокъ съъстныхъ принасовъ. Улица, которыхъ тогда не мостили, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ небольшие каменные и глиняные въ одинъ этажъ домы съ видными въ стъпахъ деревяными сваями и столбами во

всю ихъ высоту, косвенно перекрещенные деревяными же брусьями, какъ вообще строили домы тогдашие обыватели, что можно видъть и понынъ еще въ иъкоторыхъ мъстахъ Литвы и Польши. Вст они были покрыты непомърно высокими крышами, со миожествомъ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной стороит, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, въроятно, городовой магистратъ или какоенибудь правительственное мъсто. Оно было въ два этажа и надъ нимъ вверху надстроенъ былъ въ двт арки бельведеръ, гдт стоялъ часовой; большой циферблатъ вдъланъ былъ въ крышу.

Илощадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стенаніе. Разсматривая, онъ замѣтиль на другой ея сторонь группу изъ двухъ-трехъ человъкъ, лежавшихъ почти безъ всякаго движенія на земль. Онъ впериль глаза внимательный, чтобы разсмотръть, заснувшие ли это были, или умершие, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тъло женщины, повидимому, Жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, изможденныхъ чертахъ ея нельзя было того видъть. На головъ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги, или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двъ-три длинныя, вей възавиткахъ, кудри выпадали изъ-подъ ипхъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлъ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившій рукою за тощую грудь ея и скрутившій ее своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихоопускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или по крайней мфрфеще только готовился испустить последнее дыханіе. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бъснующимся, который, увидъвъ у Андрія драгоцівничю ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вціпился въ него, крича: »хлѣба!« Но силъ не было у него равныхъ бъщенству; Андрій оттолкнуль его: онъ полетъль на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнуль ему одинь хлібоь, на который тотъ бросился, подобно бъщеной собакъ, изгрызъ, искусалъ его и тутъ же, на улицъ, въ страшныхъ судоргахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждомъ шагу поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ-будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбъжали на улицу: не инспошлется ли въ воздухъ чего - ипбудь питающаго силы. У воротъ одного дома сидъла старуха, и нельзя сказать, засиула ли она, умерла или, просто, нозабылась; по крайней мъръ она уже не слышала и не видъла инчего и, опустивъ голову на грудь, сидъла недвижима на одномъ и томъ же мъстъ. Съ крыши другого дома висъло внизъ, на веревочной петлъ, вытяпувшееся и изсохиее тъло. Бъднякъ не могъ вынести до конца страданій голода и захотъль лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ поражающихъ свидѣтельствъ голода, Андрій не вытериѣлъ не спросить Татарку: »Неужели они однакожъ совсѣмъ не напли, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку приходить послѣдняя крайность, тогда, дѣлать печего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь. «

»Все пережли«, сказала Татарка: »всю скотину: пи коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городъ. У насъ въ городъ никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень.«

»Но какъ же вы, умирая такою лютою смертью, всё еще думаете оборонить городъ? «

»Можетъ быть, воевода и сдалъ бы, но вчера утромъ полковникъ, который въ Бужанахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобы не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другого полковинка, чтобъ идти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждутъ ихъ.... Но вотъ мы пришли къ дому.«

Андрій уже издали видѣлъ домъ, непохожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-пибудь архитекторомъ Итальянскимъ: опъ былъ сложенъ изъ красивыхъ топкихъ кирипчей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные кариизы; верхній этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галлерею; между ними были видны рѣшетки

съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Паружная широкая лъстинца, изъ крашенныхъкиринчей, выходила на самую площадь. Внизу лъстинцы сидъло по одному часовому, которые картивно и симетрически держались одной рукой за стоявийя подл'в нихъ алебарды, а другою подпирали наклоченныя свои головы и, казалось, такимъ образомъ болъе походили на изваяція, чъмъ на живыя существа. Они не снали и не дремали, но, казалось, были нечуветвительны ко всему; они не обратили даже випманія на то, кто всходилъ по лъстинцъ. На верху лъстинцы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукъ молптвенинкъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленныя очи, но Татарка сказала ему одно слово, и онъ опустилъ ихъ вновь, въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ нервую комнату, довольно просторную, служившую пріемною, или просто, переднею; она была наполнена вся сидъвшими въразныхъ положеніяхь у стінь солдатами, слугами, псарями, виночерніями и прочей дворней, необходимою для показанія сана Польскаго вельможи. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свъчи; двъ другія еще горили въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ человика, подсвичникахъ, стоявшихъ посреднив, не смотря на то, что уже давно въ ръшетчатое широкое окио глядъло утро. Андрій уже было хотълъ идти прямо въ широкую дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣзныхъ украшеній; но Татарка дернула его за рукавъ и указала маленькую дверь въ боковой стънъ. Этою вышли они въ корридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать. Свъть, проходившій сквозь щель ставия. тронуль кос-что: малиновый запавъсъ, позолоченный каринзъ и и живонись на стънъ. Здъсь Татарка указала Андрію остаться, отворила дверь въдругую компату, изъ которой блеснулъ свътъ огия. Онъ услышаль шопотъ и тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ видълъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькиула быстро стройная женская фигура съ длиною роскошною косою, упадавшею на поднятую къ верху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошелъ.

Онъ не помнилъ, какъ вошелъ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатъ горъли двъ свъчи, лампада теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія кольней во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидѣль женщину, казалось, застывшую и окаменѣвшую въ какомъ-то быстромъ движеньи. Казалось, какъ-будто вся фигура ея хотъла броситься къ нему и вдругъ остановилась. П онъ остался также изумленнымъ предъ нею. Не такою воображалъ опъ ее видъть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; инчего не было въ ней похожаго на ту; но вдвое прекрасиве и чудесиве была она теперь, чемь прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное; теперь это было произведение, которому художникъ далъ послъдній ударъ кисти. То была прелестная, вътреная дъвушка; эта была красавица, женщина во всей развившейся краст своей. Полное чувство выражалось въ ся поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не усибли вънихъ высохнуть и облекли ихъ блистаю щею влагою, проходившую въ душу; грудь, шея и плечи заключились въ тъ прекрасныя границы, которыя назначены вполит развившейся красоть; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую, роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинъ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упадала на грудь. Казалось, вст до одной изминились черты ея. Напрасно силплея онъ отыскать въ нихъ хоть одну изъ тёхъ, которыя носились въ его памяти, — ин одной. Какъ ни велика была ея блёдность, но она не помрачала чудесной красоты ея, напротивъ, какъ-будто придала ей что-то стремительное, неотразимопобъдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душъ благоговъйную боязнь, и сталь неподвиженъ передъ нею. Она, казалось, также была норажена видомъ козака, представшаго во всей краст и силт юношескаго мужества, который и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличаль развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкаль глазь его, смёлою дугою выгнулась бархатная бровь, загорёлыя щеки блистали всею яркостью дёвственнаго огия, и какъ шелкъ лоснился молодой черный усъ.

»Нтть, я не въ силахъ шичтиъ возблагодарить тебя, велико-

душный рыцарь«, сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. »Одинъ Богъ можетъ вознаградить тебя, не миѣ слабой женщинѣ....« она потупила свои очи; прекрасными, снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, охраненныя длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонилося все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ оттѣнилъ его снизу. Не зналъ, что сказать на это Андрій; онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ин есть на душѣ, выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душѣ — и не могъ. Почувствоваль онъ что-то заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова; почувствоваль онъ, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и въ бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату Татарка. Она уже усиъла наръзать ломтями принесенный рыцаремъ хлъбъ, несла его на золотомъ блюдъ и поставила передъ своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлъбъ и возвела очи на Андрія, — и много было въ очахъ тъхъ. Этотъ умиленный взоръ, выказавшій изнеможенье и безсилье выразить обиявшія ее чувства, былъ болье доступенъ Андрію, чъмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевныя движенья и чувства, которыя дотоль какъ-будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на воль, и уже хотъли излиться въ неукротимые потоки словъ. Какъ вдругъ красавица, обратясь къ Татаркъ, безпокойно спросила: »А мать? ты отнесла ей?«

»Она спитъ.«

»А отцу?«

»Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря. «Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизъяснимымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она ломала его блистающими нальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: »Довольно, не ѣшь больше! ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ. «И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово.... но не властны

выразить ин ръзецъ, ин кисть, ин высоко-могучее слово того, что видится иной разъ во взорахъ дъвы, инже того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящий въ такие взоры дъвы.

» Царица! « вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: »что тебъ нужно, чего ты хочешь? прикажи мив! задай мив службу самую невозможную, какая только есть на свътъ — я побъту исполнить ее! Скажи миъ едълать то, чего не въ сплахъ сдёлать ин одинъ человікъ — я исполию, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ крестомъ, мий такъ сладко... но ийтъ, нельзя сказать того! У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ мон, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываеть она — все мое! Иттъ ин у кого теперь изъ козаковъ нашихъ такого оружія, какъ у меня: за одну рукойть моей сабли дають мив лучшій табунь и три тысячи овець. И оть всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь своею тонкою, черною бровью! но знаю, что, можетъ быть, несу глуныя ръчи, и не кстати, и не йдетъ все это сюда, что не мий, проведшему жизнь въ бурсй п на Запорожын, говорить такъ, какъ въ обычат говорить тамъ, гдъ бывають короли, князья и все, что ни есть лучщаго въ вельможномъ рыцарствъ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всъ мы, и далеки предъ тобою другія боярскія жены и дочеридЪвы.«

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва открытую, сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отражалась молодая, полная силъ душа, и каждое простое слово этой рѣчи, выговоренное голосомъ, летъвшимъ прямо съ сердечнаго диа, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядѣла съ открытыми устами; потомъ хотѣла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомиила, что другимъ назначеньемъ ведется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ нозади суровыми мстителями, что страшны облегийе городъ Запорожцы, что лютой смерти обречены всѣ они съ своимъ городомъ.... и глаза ея

вдругъ наполнились слезами; она схватила илатокъ шитый шелками, набросила его себъ на лицо, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидъла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, сжавъ бълосивжными зубами свою прекрасную инжиюю губу, какъ-бы внезанно почувствовавъ какое укушеніе ядовитаго гада и не синмая съ лица платка, чтобы онъ не видълъ ея сокрушительной грусти.

» Скажи мит одно слово! « сказалъ Андрій и взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробъжаль из жиламъ его отъ этого прикосновенья, и жалъ онъ руку, лежавшую безчувственно върукт его.

Но она молчала, не отнимала платка отъ лица своего и оста-

валась неподвижна.

» Отчего же ты такъ печальна? скажи мит, отчего ты такъ печальна? «

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула падающе на очи длиные волосы свои и вся разлилася въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, подиявшись въ прекрасный вечеръ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростипка, — зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ упывно-тонкіе звуки, и ловитъ ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ин погасающаго вечера, ин несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жинвъ, ин отдаленнаго стука гдѣ-то проѣзжающей телеги.

»Не достойна ли я вѣчныхъ сожалѣній? не несчастна ли мать, родившая меня на свѣтъ? не горькая ли доля пришлась на часть миѣ? не лютый ли ты палачь мой, моя свирѣная судьба? Всѣхъты привела къ ногамъ моимъ: лучшихъ дворянъ изо всего шляхетства, богатѣйшихъ нановъ, графовъ и иноземныхъ бароновъ и все, что ип есть цвѣтъ нашего рыцарства. Всѣмъ имъ было вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы яюбовь мою. Стоило миѣ только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивѣйшій, прекраснѣйшій лицомъ и породою, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свирѣная судьба моя; а причаровала мое сердце мимо

лучшихъ витязей земли нашей къ чуждому, ко врагу нашему. За что же ты, Пречистая Божья Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленья, такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобили и роскошномъ избыткъ всего текли дни мон; лучшія дорогія блюда и сладкія вина были мит ситдью. И на что все это было? къ чему оно все было? къ тому, ли, чтобы наконецъ умереть лютою смертью, какой не умираетъ носледній нищій въ королевствъ ? И мало того, что осуждена я на такую страшную, участь, мало того, что передъ концомъ своимъ должна видъть. какъ станутъ умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенья которыхъ двадцать разъ готова была бы отдать жизнь свою, мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мит довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы онъ ръчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горче, чтобы еще жалче было миж моей молодой жизни, чтобы еще страшиже казалась миж смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирвная судьба моя, и тебя, прости мое прегрвшеніе, святая Божья Матерь! «

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось въ лицъ ея; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, отъ нечально поникшаго лба и опустившихся очей, до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо иламенъвшимъ щекамъ ея, все, казалось, доворило: »Нътъ счастья на лицъ этомъ! «

»Не слыхано на свътъ, не можно, не быть тому«, говорилъ Андрій: » чтобы красивъйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все, что ни есть лучшаго на свътъ. Нътъ, ты не умрешь, не тебъ умирать, клянусь моимъ рожденіемъ и всъмъ, что миѣ мило на свътъ, ты не умрешь! Если же будетъ уже такъ, и ничъмъ, ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмѣстъ, и прежде умру я, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колънъ, и развъ уже мертваго меня разлучатъ съ тобою. «

»Не обманывай, рыцарь, и себя и меня«, говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: » знаю, и, къ великому моему

горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня, знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчизна, — а мы враги тебѣ.«

» А что мий отець, товарищи, отчизна? « сказаль Андрій, встряхнувь быстро головою и выпрямивь весь прямой, какъ надричая осокорь, станъ свой: »такъ если жъ такъ, такъ вотъ что: ийтъ у меня никого! Никого, никого! « повторилъ онъ тѣмъ же голосомъ и съ тѣмъ движеньемъ руки, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невозможное для другого. »Кто сказалъ, что моя отчизна Україна? кто далъ мий ее въ отчизны? Отчизна есть то, чего ищетъ душа наша, что милъе для нея всего. Отчизна моя — ты! Вотъ моя отчизна! И понесу я отчизну эту въ сердцѣ моемъ, попесу ее, пока станетъ моего вѣку, и посмотрю, пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! и все, что ни есть, продамъ, отдамъ, ногублю за такую отчизну!«

На мигъ остолбенъвъ, какъ прекрасная статуя, смотръла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностію, на какую бываетъ только способна одна безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, обхвативъ его снъгоподобными, чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицъ неясные крики, сопровождаемые трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ; онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханія, какъ слезы ея текли ручьями къ нему на лицо и всъ спустившіеся съ головы, пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блестянцимъ шелкомъ.

Въ это время вбъжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ Татарка: «Спасены, спасены! «кричала она, не помня себя: »наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшена, муки и связанныхъ Запорожцевъ! «Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе иаши вошли въ городъ, что привезли съ собою и какихъ связали Запорожцевъ. Полный чувствъ, вкушаемыхъ пе на землѣ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ

обоюдио сліянномъ поцалув ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни длется чувствовать человаку.

И погибъ козакъ! пропалъ для всего козацкаго рыцарства! не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божіей. Украйнъ не видать тоже храбръйшаго изъ своихъ дътей, взявшихся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ съдой клокъ волосъ изъ своей чуприны, и проклянетъ и день и часъ, въ который породилъ на позоръ себъ такого сына.

## VII.

Шумъ и движеніе происходили въ Запорожскомъ таборъ. Сначала никто не могъ дать върнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, что весь Переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами, быль ньянъ мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что ноловина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чъмъ всъ могли узнать, въ чемъ дъло. Покамъсть ближніе курени, разбуженные шумомъ, успъли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послъдніе ряды отстръливались отъ устремившихся на шихъ въ безпорядкъ сонныхъ и полупротрезвившихся Запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всёмъ, и когда всё стади въкругъ и, снявши шапки, затихли, онъ сказалъ: «Такъ вотъ что, панове-братове, случилось въ эту ночь; вотъ до чего довелъ хмёль! вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позволишь удвонть порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начхаетъ, такъ вы того не услышите.«

Козаки всѣ стояли понуривъ головы, зная впиу; одинъ Незама́йковскій куренной ота́манъ Куку́бенко отозвался: » Постой, батько! « сказалъ онъ: » хоть оно и не въ законѣ. чтобы сказать какое возраженіе, когда говоритъ кошевой предъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ еправедливо попрекнулъ. Козакц были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ походъ, на войнъ, на трудной, тяжкой работъ; но мы сидъли безъ дъла, маячились попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другого Христіянскаго воздержанья не было; какъ же можетъ статься, чтобы на бездъльи не напился человъкъ? Гръха тутъ нътъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, что такое нападать на безвпиныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побъемъ такъ, что и пятъ не упесутъ домой.«

Ръчь куренного ота́мана поправилась козакамъ. Они приподняли уже совсъмъ было понурпвшіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примолвивши: »Добре сказалъ Куку́бенко!« А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, сказалъ: »А что, кошевой? видно, Куку́бенко правду сказалъ! что ты скажешь на это? «

» А что скажу? скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шиоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Куку́бенко догадался прежде.«

»Добре сказаль и кошевой! « отозвалось въ рядахъ Запорожцевъ. »Доброе слово! « повторили другіе. И самые съдые, стоявшіе, какъ сизые голуби, и тъ кивпули головою и, моргнувши съдымъ усомъ, тихо сказали: »Добре сказанное слово! «

»Тенерь слушайте же, панове! « продолжаль кошевой. » Брать крѣпость, карабкаться и подкапываться, какъ дѣлаютъ чужеземные Нѣмецкіе мастера — пусть ей врагъ прикинется! и не прилично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что есть, непріятель вошель въ городъ не съ большимъ запасомъ; телегъ что-то было съ нимъ не много; народъ въ городѣ голодный, стало быть, все съѣстъ духомъ, да и конямъ тоже сѣна.... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой.... только про это еще Богъ знаетъ; а ксензы-то ихъ горазды на один слова. За тѣмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздѣляйся же на три кучи и становись на три дороги передъ тремя воротами.

Передъ главными воротами нять куреней, нередъ другими но три куреня. Дядыкивскій и Корсунскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду; Тытаревскій и Тимошевскій курень на запасъ съ праваго боку обоза, Щербиновский и Стебликивский верхній, съ ліваго боку! Да выбирайтесь изъ ряду молодцы, которые позубастьй на слово, задирать непріятеля! У Ляха пустоголован натура, брани не вытернить и, можеть быть, сегодия же всь они выйдуть изъвороть. Куренные отаманы, всякий перегляди курень свой: у кого недочеть, нополни его остатками Переяславскаго. Перегляди все снова! дать на опохивль всемъ по чарке и по хлъбу на козака! Только, върно, всякий еще вчеранинимъ сытъ. ибо, некуда дъть правды, поначадились всъ такъ, что дивлюсь. какъ почью никто не лоннулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкарь-Жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ свиное ухо, собакъ, и повъшу погами вверхъ! За работу же, братцы, за работу!«

Такъ распоряжался кошевой, и всё поклопились ему въ поясъ и, не надъвая шапокъ, отправились къ своимъ возамъ и таборамъ, и когда уже совсёмъ далеко отошли, тогда только надъли шапки. Всё начали спаряжаться: пробовали сабли и налаши, насыпали порохъ изъ мёшковъ въ пороховищы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку. Тарасъ думалъ и не могъ придуматъ, куда бы дъвался Андрій; полонили ли его вмъстъ съ другими и связали соннаго; только пътъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плънъ. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крънко Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слына, что его давно называлъ кто-то по имени. «Кому нужно меня? « сказалъ опъ наконецъ очнувшисъ. Передъ шимъ стоялъ Жилъ Янкель.

»Панъ нолковникъ, панъ полковникъ!« говоритъ Жидъ посившнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ-будто бы хотваъ объявить двло несовсвмъ пустое: » я былъ въ городв, нанъ нолковникъ! «

Тарасъ посмотрълъ на Жида и подивился тому, что онъ уже успълъ побывать въ городъ. »Какой же врагъ тебя занесъ туда? «

»Я тотъ-часъ разскажу«, сказалъ Янкель. «Какъ только услышалъ и на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ, и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ, дорогою уже надѣль его въ рукава, потому что хотълъ поскорѣй узнать, отчего шумъ. отчего козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ въ то время, когда послъднее войско входило въ городъ. Гляжу — впереди отряда нанъ хорукнай, Галяндо́вичъ. Онъ человѣкъ миѣ знакомый: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ, будто бы за тѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ нимъ въ городъ.«

»Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотълъ выправить!« сказалъ Бульба: »и не велълъ онъ тебя тутъ же повъсить. какъ собаку?«

«Л ей Богу, хотъль повъсить«, отвъчаль Жидъ: »уже было его слуги совсъмъ схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился нану, сказалъ, что подожду долгу, сколько нанъ хочетъ, и пообъщаль еще дать взаймы, какъ только поможетъ миъ собрать долги съ другихъ рыцарей; пбо у пана хорунжаго — я все скажу нану — иътъ ин одного червоинаго въ карманъ, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а гро́шей у него, такъ какъ у козака, ничего иътъ. И теперь, если бы не вооружили его Бреславскіе Жиды, не въ чемъ было бы ему на войну выъхать. Онъ и на сеймъ оттого не быль...«

» Что жъ ты делаль въ городе? видель нашихъ?«

» Какъ же, нашихъ тамъ много: Пцка, Рахумъ Самуйло, Хайвальхъ, Еврей арендаторъ....«

» Пропади они, собаки !« вскрикнулъ, разсердившись, Тарасъ: » что ты мит тычешь свое Жидовское племя? я тебя спрашиваю про нанихъ Запорожцевъ.«

» Нашихъ Запорожцевъ не видалъ, а видълъ одного пана Андрія. «

» Андрія виділь? « вскрикцуль Бульба: эчто як онь? гді виділь его? въ нодваль? « въ ямь? обезчещень? связань? «

» lito же бы смъть связать нана Андрія? теперь онъ такой

важный рыцарь.... далибугъ, я не узналъ. И наплечники въ золотъ, и на поясъ золото, и вездъ золото, и все золото; такъ какъ солнце взглянетъ весною, когда въ огородъ всякая пташка инщитъ и ноетъ, и всякая травка нахнетъ, такъ и онъ весь сіяетъ въ золотъ, и коня ему далъ воевода самаго лучшаго подъ верхъ: два ста червонныхъ сто́итъ одинъ конь.«

Бульба остолбенёль. »Зачёмы же оны надёлы чужое одёянье?« »Потому что лучше, потому и надёлы. И самы разыёзжаеты, и другіе разыёзжаюты, и оны учиты, и его учаты: какы наибогатыйшій Польскій паны!«

»Кто жъ его принудилъ?«

» Я жъ не говорю , чтобы его кто принудилъ. Развѣ панъ не знастъ, что онъ но своей волѣ перешелъ къ нимъ? «

»Кто перешель?«

» А панъ Андрій. «

»Куда перешелъ?«

» Перешель на ихъ сторону; онъ уже теперь совсъмъ ихній. «

»Врешь, свинное ухо!«

»Какъ же можно, чтобы я вралъ? дуракъ я развѣ, чтобы вралъ? на свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что Жида повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ.«

» Такъ это выходить онъ, по-твоему, продаль отчизну и въру?«

»Я же не говорю этого, чтобы онъ продаль что, я сказаль только, что онъ перешель къ нимъ.«

»Врешь, чортовъ Жидъ! такого дѣла не было на Христіянской землѣ! ты путаешь, собака!«

»Пусть трава поростеть на порогѣ моего дома, если я путаю! Пусть всякій наплюєть на могилу отца, матери, свекра и отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если нанъ хочеть, я даже скажу, и отчего онъ перешель къ нимъ.«

»Отчего?«

»У воеводы есть дочка красавица, святой Боже! какая красавица! «Здъсь Жидъ постарался, какъ только могъ, выразить вълицъ своемъ красоту, разставивъ руки, прищуривъ глазъ и покрививши на бокъ ротъ, какъ-будто чего-иибудь отвъдавши.

»Ну, такъ что же изъ того?«

»Онъ для нея и сдълалъ все и перешелъ. Коли человъкъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли размочишь въ водъ, возьми, согии — она и согнется.«

Кръпко задумался Бульба. Вспомниль опъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія, и стоялъ опъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мъстъ.

»Слушай, напъ, я все разскажу папу«, говорилъ Жидъ: »а какъ только услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой нитку жемчугу, потому что въ городъ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себъ, то имъ хоть и ъсть нечего, а жемчугъ всё-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побъжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки-Татарки: будетъ свадьба сей-часъ, какъ только прогоиятъ Запорожцевъ. Ианъ Андрій объщался прогнать Запорожцевъ. «

»И ты не убилъ тутъже на мъсть его, чортова сына? « вскрикнулъ Бульба.

»За что же убить? онъ перешелъ по доброй волѣ. Чѣмъ человѣкъ впноватъ? тамъ ему лучше, туда и перешелъ.«

» II ты видълъ его въ самое лицо? «

» Ей Богу въ самое лицо! такой славный вояка! всѣхъ взрачпъй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотъ-часъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотъ-часъ сказалъ....«

» Что жъ онъ сказаль? «

»Онъ сказалъ, — прежде кивнулъ нальцемъ, а пото́мъ уже сказалъ: »Янкель! « А я: »панъ Андрій! « говорю. »Янкель, скажи »отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи Запорожцамъ, скажи »всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ миѣ, братъ не братъ, товарищъ »не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми »буду биться! «

»Врешь, чортовъ Іуда! « закричалъ, вышедъ изъ себя, Тарасъ: »врешь, собака! Ты и Христа расиялъ, проклятый Богомъ человъкъ! Я тебя убыю, сатана! утекай отсюда, не то — тутъ же тебъ и смерть! « И сказавши это, Тарасъ выхватилъ свою саблю.

Пспуганный Жидъ припустился тутъ же во всё лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бъжаль онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю, хотя Тарасъ вовее не гнался за нимъ, размысливъ, что перазумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомниль опъ, что видъль въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какоїї-то женщиною, и поникъ съдою головою; а всё-еще не хотъль върить, чтобы могло случиться такое позорное дъло и чтобы собственный сынь его продаль въру

и душу.

Наконецъ повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ инмъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А Запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поновичевскій, Каневскій, Стеблико́вскій, Незама́йковскій, Гургазпвъ, Ти́таревскій, Тимошевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣнко курнули козаки его, и прокурили свою долю. Кто проснулся связаннымъ во вражьихъ рукахъ, кто и совсѣмъ не просыпалсь, сонный перешелъ въ сырую землю, и самъ ота́манъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ Ляшскомъ станъ.

Въ городъ услышали козацкое движење. Всъ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: Польскіе витязи, одинъ другого красивъй, стояли на валу. Мъдныя шапки сіяли, какъ солица, оперенныя бъльми, какъ лебедь, перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя и голубыя, съ перегнутыми набекрень верхами. Кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шиурками. У тъхъ сабля и рукъя въ дорогихъ оправахъ, за которыя дорого принлачивались наны, и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напереди стоялъ сиъсиво, въ красной шапкъ, убранной золотомъ, Буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всъхъ выше и толице, и широкій, дорогой кафтанъ на-силу облекалъ его. На другой сторонъ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человъкъ, весь высохній; но малыя зоркія очи глядъли живо изъ-

подъ густо изроешихъ бровей и оборачивался онъ скоро на всъ стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, не смотря на малое тъло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка въ краскъ на лицъ: любилъ панъ крънкіе меды и добрую ширушку. И много было видно за инми взякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на Жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дъдовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлъбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на объды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и, нослъ сегодивинято почета, на другой день садились на козлы править конями у какого-инбудь нана. Много всякихъ было тамъ. Иной разъ и выпить было не на что, а на войну все принарядилось.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ ствиами. Пе было изънихъ ни на комъ золота; только развѣ кос-гдѣ блестѣло опо на сабельныхъ руколтяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не любили козаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣли черныя, червоноверхія бараньи ихъ шанки.

Два козака выбхали впередъ изъ Запорожскихърядовъ. Одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые на слова, на дѣлѣ тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Микита Голокопы́тенко. Слѣдомъ за инми выѣхалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Сѣчѣ, бывшій подъ Адріанополемъ и много потерпѣвшій на вѣку своємъ: горѣлъ въ огиѣ и прибѣжалъ на Сѣчь съ обсмоленною, почернѣвшею головою и сгорѣвшими усами. Но раздобрѣлъ вповь Поповичъ, пустиль за ухо оселедецъ, выростилъ усы густые и черные, какъ смоль, и крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

» $\Lambda$ , красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣлъ бы я знать, красная ли енла у войска?«

»Воть я васъ!« кричаль сверху дюжій полковинкъ: »всѣхъ неревяжу! отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ Запорожцевъ!« И вывели на валъ скрученными веревками Запорожцевъ. Впереди ихъ былъ куренной отаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, такъ какъ схватили его хмъльного. И потупилъ голову отаманъ, стыдясь наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плънъ, какъ собака, сонный. Въ одну ночь посъдъла крънкая голова его.

» Не печалься, Хлибъ! выручимъ! « кричали ему снизу козаки.

»Не печалься, друзяка! « отозвался куренной ота́манъ Бородатый: »вътомъ иѣтъ вины твоей, что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывнии прилично наготы твоей. «

»Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско? « говорилъ. поглядывая на валъ, Голоконытенко.

» Вотъ погодите, обръжемъ мы вамъ чубы! « кричали имъ сверху.

» А хотьль бы я поглядьть, какъ они намъ обръжуть чубы! « говориль Поповичь, поворотившись нередъ ними на конъ, и потомь, поглядьвши на своихъ, сказалъ: » А что жъ? можеть быть. Ляхи и правду говорять: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ нузатый, имъ всъмъ будетъ добрая защита. «

»Отчего жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита? « сказали козаки, зная, что Поповичъ върно уже готовился что-нибудь отпустить.

» А оттого, что позади его упрячется все войско, и ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго-инбудь копьемъ! «

Вев засмвялись козаки; и долго многіе изъ инхъ еще покачивали головою, говоря: »Ну ужъ Поповичъ! ужъ коли кому закрутить слово, такъ только ну....« — Да ужъ и не сказали козаки, что такое uy.

» Отступайте, отступайте скоръй отъ стънъ! « закричалъ кошевой; ибо Ляхи, казалось, не выдержали ъдкаго слова, и полковникъ махиулъ рукой.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ вала картечью. На валу засуетились, показался самъ сёдой воевода на конъ. Ворота отворились и выступило войско. Впереди выбхали ровнымъ коннымъ строемъ гусары, за ними кольчужники, потомъ латники

съ коньями, нотомъ всѣ въ мѣдныхъ шанкахъ, потомъ ѣхали особиякомъ лучше шляхтичи, каждый одътый но-своему. Не хотъли гордые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ съ своими слугами. Потомъ онять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжий, за инмъ онять ряды, и выѣхалъ дюжий полковникъ, а позади всего уже войска выѣхалъ послѣдиимъ инзенький полковникъ.

» Пе давать имъ! не давать имъ строиться и становиться въ ряды! « кричалъ кошевой: » разомъ напирайте на нихъ всъ курени! Оставляйте же прочія ворота! Ти́таревскій курень нападай съ боку! Дядьковскій курень нападай съ другого! Папирайте на тылъ, Куку́бенко и Пали́вода! Мѣшайте и розните ихъ! «

И ударили со вевхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали Ляховъ и сами смѣшалиль. Не дали даже и стрѣльбы произвесть; пошло дѣло на мечи, да на конья. Всѣ сбились въ кучу, и каждому привелъ случай показать себя.

Демидъ Поновичь трехъ закололъ простыхъ и двухъ лучшихъ шляхтичей сбилъ съ коней, говоря: »Вотъ добрые кони! такихъ коней я давно хотълъ достать.« И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоявнимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, наналъ онять на сбитыхъ шляхтичей, одного убилъ, а другому накинулъ арканъ на шею, привязалъ къ съдлу и новолокъ его но всему полю, снявъ съ него саблю съ дорогою рукоятью и отвязавъ отъ пояса цълый черенокъ съ червонцами

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбръйшихъ въ Иольскомъ войскъ, и долго бились они. Сошлись уже въ руконашный, одолълъ было уже козакъ и, сломивши, ударилъ острымъ Турецкимъ ножомъ въ грудь. Но не уберегся самъ: тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатиъйший изъ нановъ, красивъйший и древняго княжескаго рода рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на буланомъ конъ своемъ. И много уже показалъ боярской богатырской удали: двухъ Запорожцевъ разрубилъ на двое, Федора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмъстъ съ конемъ, выстрълилъ по коню, а козака досталъ изъ-за коня коньемъ; многимъ отнялъ голо-

вы и руки, новалиль козака йобиту, вогнавши ему нулю въвисокъ.

»Вотъ съ къмъ бы я хотъль нопробовать силы?« закричалъ Иссамайковский куренной отамань, Кукубенко. Припустивь коня, налетълъ прямо ему вътылъ и сильно вскрикнулъ, такъ-что вздрогнули всв близъ-стоявше отъ нечеловъческого крика. Хотълъ было новоротить вдругь своего коня Ляхъ и стать ему вълицо; но не послушался конь; испуганный страшнымъ крикомъ, метнулся на сторону, и досталь его ружейною нулею Кукубенко. Воила въ епинныя лопатки ему горячая пуля и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался Ляхъ, все еще силился нанести врагу ударъ, но ослабъла упавшая вмъстъ съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ объ руки свой тяжелый налангь, вогналь его ему въ самыя ноблъдившія уста. Вышибъ два сахарные зуба налашъ, разсвиъ надвое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вощелъ далеко въ землю; такъ и пригвоздиль онъ его тамъ на-въки къ сырой земль. Ключемъ хлынула вверхъ алая, какт надръчная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь, общитый золотомь, желтый кафтанъ. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими Пезамайковцами въ другую кучу.

»Эхъ, оставиль неприбраннымъ такое дорогое убранство!« сказаль Уманскій куренной Бородатый, отъбзжая отъ своихъ къ мъсту, гдъ лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. »Я семерыхъ убилъ шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видёлъ ии на комъ. « II польстился корыстью Бородатый, нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспёхи, выпуль уже Турецкій пожъ въ оправт изъ самоцвттныхъ каменьевъ, отвязалъ отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ груди сумку съ тонкимъ бъльемъ, дорогимъ серебромъ и дъвическою кудрею, сохранно сберегавиеюся на намять. И не услышаль Бородатый, какъ налетъль на него сзади красионосый хорунжій, уже разъ сбитый имъ съ съдла и получившій добрую зазубрину на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся щев. Не къ добру новела корысть: отскочила могучая голова и уналь обезглавленный трунъ, далеко оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя и вмёстё сътёмъдивуясь, что

такъ рано вылетъла изъ такого крънкато тъла. Не успъль хорун-жій ухватить за чубъ отаманскую голову, чтобы привязать ее къ

съдлу, а ужъ быль тутъ суровый метитель.

Какъ плавающій въ необ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный среди воздуха на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела: такъ Тарасовъ сынъ, Останъ, налетълъ вдругъ на хорунжаго и съ разу накинулъ ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильиѣе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился опъ было за инстолетъ, но судорожно сведениая рука не могла направить выстрѣла, и пуля даромъ полетѣла въ поле. Останъ тутъ же, у его же сѣдла, отвязалъ шелковый инуръ, который возилъ съ собою хорунжай для назания плънныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по ногамъ, прицѣпилъ коненъ веревки къ сѣдлу и новолокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ Уманскаго куреня, чтобы или отдатъ послѣднюю честь ота́ману.

Какъ услышали Уманцы, что куренного ихъ отамана Бородатаго нътъ уже въживыхъ, бросили поле битвы и прибъжали прибирать его тъло, и тутъ же стали совъщаться; кого выбрать въ куренные. Наконецъ сказали: »Да на что совъщаться? лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остана: онъ, правда, младшій всъхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человъка.«

Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ козаковъ-товарищей за честь, не сталъ отговариваться ин молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того тенерь, а тутъ же новелъ ихъ прямо на кучу и ужъ показалъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ ота́маны. Почувствовали Ляхи, что уже становилось дѣло слишкомъ жарко, отступили и перебѣжали поле, чтобъ собраться на другомъ концѣ его. А инзеньий полковникъ махиулъ на стоявшия отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотип, и грянули оттуда картечью въ козацкия кучи: но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, дико глядѣзнимъ на битву. Взревѣли испуганные быки, поворотили на козацкие таборы, переломали возы и многихъ перетоитали.

Но Тарасъ, въ это время вырвавшись изъ засады съ своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на-переймы. Поворотило назадъ все бъщеное стадо, испуганное крикомъ, и метнулось на Ляшскіе пол-

ки, опрокинуло конницу, всёхъ смяло и разсыпало.

» О, спасибо вамъ, волы!« кричали Занорожцы: » служили всё ноходную службу, а теперь и военную сослужили!« II ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многіе показали себя: Метелица, Шило, оба Писаре́ики, Вовту́зенко, и немало было всякихъ. Увидёли Ляхи, что плохо наконецъ приходить, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ отворялись обптыя желёзомъ ворота и приняли толинвшихся, какъ овецъ въ овчарию, изпуренныхъ и покрытыхъ нылью всадинковъ. Многіе изъ Запорожцевъ погнались было за инми, но Остапъ своихъ Уманцевъ остановилъ, сказавши: »Подальше, подальше, паны - братья, "отъ стънь! не годится близко нодходить къ нимъ. « II правду сказалъ, нотому что со стънъ грянуло и посыпали веймъ, чёмъ ни понало, и многимъ досталось. Въ это время подъёхалъ кошевой и похвалилъ Остана, сказавши: »Вотъ и новый ота́манъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!« Оглянулся старый Бульба поглядёть, какой тамъ новый отаманъ, и увиділь, что впереди всіхъ Уманцевъ сиділь на коні Остапъ и шайка на бекрепь, и ота́манская палица въ рукъ. »Вишь ты какой! « сказаль онъ, глядя на него, и обрадовался старый и сталь благодарить всёхъ Уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь идти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь ноказались Ляхи, уже съ изорваниыми епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ и пылью

нокрылись красивыя мёдныя шанки.

» Что перевязали? « кричали имъ снизу Запорожцы.

»Вотъ я васъ! « кричалъ все также сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и всё еще не переставали грозить запыленные, изпуренные вонны, и всъ, бывшіе позадорите, перекинулись съ объихъ сторонъ бойкими словами.

Наконецъ разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, утомившись отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и дралъ на неревязки илатки и дорогія одежды, снятыя съ убитаго непріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдадать имъ послѣднюю почесть. Налашами, коньями конали могилы, шанками, полами выносили землю, сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось во́ронамъ и хищнымъ орламъ выклевать имъ очи. А Ляшскія тѣла, привязавши, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ но всему полю и долго нотомъ гнались за ними и хлестали ихъ но бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ Ляшскіе труны.

Потомъ съли кругами веъ курени вечеромъ и долго говорили о дёлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удёлъ каждому, на вёчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долье всьхь пеложился старый Тарась, всё размышляя, что бы значило, что Андрія не было между вражьнях воевъ. Посовъстился ли Іуда выйти противу своихъ, или обманулъ Жидъ и попался онъ. просто, въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ онъ, что не въ-мъру было наклончиво сердне Андрія на женскія рѣчи, почувствоваль скорбь и заклялся сильно въ душт противъ Полячки, причаровавшей его сына. И выполниль бы онъ свою клятву: не поглядъль бы на ея красоту, вытащиль бы ее за густую, пышную косу, волокъ бы ее за собою по всему полю между всёхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись нылью, ея чудиыя груди и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снъгамъ, что покрываютъ горныя вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тъло. Но не въдалъ Бульба того, что готовитъ Богъ человъку завтра, и сталъ позабываться спомъ и наконецъ заснулъ. А козаки веё еще говорили промежъ собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во всё концы, трезвая, несмыкавшая очей стража.

## VIII.

Еще солице не дошло до половины неба, какъ всѣ Запорожцы собрались въ кучу. Изъ Сѣчи пришла вѣсть, что Татары, во времи

отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырыли скарбъ, который втайнъ держали козаки подъ землей, избили и забрали въ илънъ всёхъ, которые оставались. и со всёми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Одинътолько козакъ, Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ Татарскихъ рукъ, закололь мирзу, отвязаль у него мішокъ съ цехинами и на Татарскомъ конъ, въ Татарской одеждъ, полтора дня и двъ ночи. уходиль отъ ногони, загналъ на-смерть коня, пересъль на другого, загналь и того, и уже на третьемъ прібхаль въ Запорожскій таборъ, развидавъ на дороги, что Занорожцы были подъ Дубномъ. Только и усиблъ объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего опо-случилось, курнули ли оставшіеся Запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались въ илъпъ, и какъ узнали Татары мъсто, гдъ былъ зарытъ войсковой скарбъ — этого инчего не сказалъ онъ. Сильно источился козакъ, распухъ весь, лицо ножгло и оналило ему вътромъ: уналъ онъ тутъ же и заснулъ крънкимъ

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у Запорожцевъ гнаться въ ту жъ минуту за нохитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что илѣнные какъ-разъ могли очутиться на базарахъ малой Азін, въ Смирнѣ, на Критскомъ островѣ, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатыя Запорожскія головы. Вотъ отчего собрались Запорожцы. Всѣ до единаго стояли они въ шанкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству отаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ ровные между собою. »Давай совѣтъ прежде старшіе!« закричали въ толнѣ. », [авай совѣтъ кошевой!« говорили другіе.

И кошевой, снявъ шанку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всёхъ козаковъ за честь и сказалъ:

»Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умиѣйшихъ; но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за Татариномъ; ибо вы сами знасте, что за человѣкъ Татаринъ: онъ не станетъ съ награбленнымъ добромъ ожидатъ нашего прихода, а мигомъ размытаритъ его, такъ что и слѣдовъ не найдень. Такъ мой совѣтъ: идти. Мы здѣсь уже ногуляли. Ляхи знаютъ, что такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ,

отметили; кормети же съ голодиаго города немного. И такъ мой совътъ: идти«.

»Идти!« раздалось громко въ Занорожскихъ куреняхъ. По Тарасу Бульбъ не пришлись по душъ такія слова и навъсилъ опъ еще ниже на очи свои хмурныя, изчерна-бълыя брови, подобныя кустамъ, выросиимъ по высокому темени горы, которыхъ верхушки вилоть закесъ полистый съсердый иней.

» Ифтъ, не правъ совътъ твой, коневой! « сказалъ онъ: » ты не такъ говоринь: ты нозабылъ, видно, что въ илъну остаются нани, захвачение Ляхами? Ты хочень, видно, чтобы мы не указили нервого святого закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на те, чтобы съ нихъ съ живъмъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части козацкое ихъ тъло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдълали они съ гетманомъ и лучинми Русскими витязями на украйиъ. Развъ мало они норугались и безъ того надъ селтькою? Что жъ мы такое? справинаю я всъхъ васъ: что жъ за козакъ тотъ, который винулъ въ бъдъ товарища, кинулъ его какъ собаку, произсть на чужбинъ? Коли ужъ на то ношло, что всякій ин во что ставитъ козацкую честь, нозволивъ себъ илюнуть въ съдые уси свои и нопрекать себя обиднымъ словомъ, такъ не укорить же никто меня. Одивъ остаюсь! «

Поколебались всв стоянию Запорожцы.

» А развѣ ты позабыль, бравый нолковинкъ«, сказаль тогда конезой, » что у Татаръ въ рукахъ тоже наин товариния, что если мы тенерь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будеть продава на вѣчное невольничество язычникамъ, что хуже всякой лютой смерти; нозабыль развѣ, что у нихъ тенерь вся казна наша, добытая Христіянскою кровью? «

Задумались всё козаки и не знали, что сказать. Инкому не хотёлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышель внередъ всёхъ старъйний годами во всемъ Запорожскомъ войскъ Касьянъ Бовдогъ. Въ чести быль онъ у всёхъ козаковъ; два раза уже быль избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарълся и не бывалъ ин въ какихъ походахъ, не любилъ тоже и совътовъ давать инкому, а любилъ старый съчно лемать на боку у козацкихъ круговъ, слушая разсказы про

всякіе бывалые случан и козацкіе походы. Никогда не вмішивался онь въ ихъ річи, а всё только слушаль, да прижималь пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкі, которой не выпускаль изо рта, и долго сидієль онь потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спаль ли онъ, или всё еще слушаль. Всіз походы оставался онъ дома; на сей разъ разобрало стараго. Махнуль рукою по-козацки и сказаль: »А не куды пошла! пойду и я, можеть, въ чемъ-инбудь буду пригоденъ козачеству! «Всіз козаки притихли, когда выступиль онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него пикакого слова. Всякій хотіль знать, что скажеть Бовдюгь.

»Пришла очередь мив сказать слово, паны-братья «, такъ онъ началь: »нослушайте, дъти, стараго. Мудро сказаль кошевой и, какъ голова козацкаго войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковомъ скарбъ, мудръе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будеть первая моя рачь; а теперь послушайте, что скажеть моя другая ръчь. А воть что скажеть моя другая ръчь: большую правду сказаль и Тарасъполковникъ, дай Богъ ему побольше втку, и чтобъ такихъ нолковниковъ было побольше на Украйић! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышаль я, наныбратья, чтобы козакъ покинулъ гдѣ, или продаль какъ-нибудь своего товарища. И тъ и другіе намъ товарищи — меньше ихъ, или больше, все равно, все товарищи, вст намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы захвачениые Татарами, пусть отправляются за Татарами, а которымъ милы нолоненные Ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дёла, пусть остаются. Кошевой по долгу нойдеть съ одною половиною за Татарами, а другая половина выбереть себъ наказного отамана. А наказнымъ отаманомъ, коли хотите послушать бълой головы, не пригоже быть инкому другому, какъ только одному Тарасу Бульбъ. Нътъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести. «

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ, и обрадовались всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: »Спасибо тебѣ, батько! молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ наконецъ и сказалъ: не даромъ

товорилъ, когда собирался въ походъ, что будетъ пригоденъ козачеству: такъ и сдълалось.«

- » Что ? согласны вы на то ? « спросилъ кошевой.
- »Всѣ согласны!« закричали козаки.
- » Стало быть, радѣ конецъ?«
- »Конецъ радѣ!« кричали козаки.
- »Слушайте жъ теперь войскового приказа, дѣти«, сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку, а всѣ Запорожцы, сколько ихъ ин было, сияли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, потупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій. «Теперь отдѣляйтесь, наны-братья! кто хочетъ итди, ступай на правую сторону, кто остается, отходи на лѣвую; куда большая часть куреня переходитъ, туда и остальная; коли меньшая часть переходитъ, приставай къ другимъ куренямъ.«

И вотъ стали переходить кто на правую, кто на лѣвую сторону. Котораго куреня большая часть переходила, туда и куренной отаманъ переходилъ, котораго малая часть, то приставало къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонь. Захотьян остаться: весь почти Исзаманковскій курснь, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, большая половина Стебликивскаго куреня, большая половина Тимошевскаго куреня. Всё остальные вызвались итди въ-догонь за Татарами. Много было на объихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тъми, которые ръшились идти вельдь за Татарами, быль Череватый, добрый старый козакъ Нокотиполе, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поновичъ тоже нерешель туда, потому что быль сильно завзятаго нрава козакъ. не могъ долго высидъть на мъстъ: съ Ляхами попробовалъ опъ уже діла, захотілось попробовать еще съ Татарами. Куренные были Ностюганъ, Покрышка, Невымзкій, и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотёло попробовать меча и могучаго плеча въ схваткъ съ Татариномъ. Пемало было также сильно и сильно добрыхъ козаковъ между теми, которые захотели остаться: куренные Демитровичь, Кукубенко, Вертихвисть, Баланъ, Бульбенко Останъ. Потомъ много было еще другихъ имени-

тыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовту́зенко, Черевиче́нко, Степанъ Гу́ска, Охримъ Гуска, Микола Густый, Задорожий, Метелиця, Иванъ Закрути́губа, Мосій Шило, Деттяре́нко, Сидоре́нко, Иисаре́нко, потомъ другой Инсаренко, потомъ еще Инсаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, ѣзжалые; ходили по Анатольскимъ берегамъ, по Крымскимъ солончакамъ и степямъ, но всёмы рёчкамы большимы и малымы, которыя впадали вы Дибиры, по ветмъ заходамъ и Дибпровскимъ островамъ; бывали въ Молдавской, Волошской, въ Турецкой земль; изъвздили все Черное море двухрудыными козацкими челнами; нападали въ иятьдееятъ челновъ въ рядъ на богатъйшие и превысокие корабли; перетопили немало Турецкихъ галеръ и много, много выстреляли пороху на своемъ вѣку; не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ череши у штанныхъ очкуровъ набивали всё чистыми цехинами. А сколько всякій изъ пихъ пропиль и прогуляль добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того и счета не было. Все снустили по-козацки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свъть. Еще и теперь у ръдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ камышами на Дивпровскихъ островахъ, чтобы не довелось Татарину найти его, если бы, въ случав несчастья, удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчь; но трудно было бы Татарину найти, потому что и самъ хозяниъ уже сталъ забывать, въ которомъ мъстъ закопалъ его. Такіе-то были козаки, захотъвшіе остаться и отметить Ляхамъ за вършыхъ товарищей и Христову въру! Старый козакъ Бовдють захотъль также остаться съ ними, сказавши: »Теперь не такія моп літа, чтобы гоняться за Татарами; а туть есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просиль я Вога, чтобы, если придется кончить жизнь, то чтобы кончить ее на войит за святое и Христіянское дело. Такъ опо и случилось. Славивійшей кончины уже не будеть въ другомъ мъсть для стараго козака. «

Когда отдълились всъ и стали на двъ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ рядовъ и сказалъ: »А что, панове-братове? довольны одна сторона другою?«

»Вст довольны, батько!« отвъчали козаки.

»Ну, такъ поцълуйтесь же и дайте другъ другу прощанье, ибо. Богъ знаетъ, приведется ли въ жизии еще увидъться. Слушайте своего ота́мана, а исполняйте то, что сами знаете; сами знаете, что велитъ козацкая честь.«

И вст козаки, сколько ихъ ин было, перецтловались между собою. Начали первые отаманы и, поведши рукою стдые усы свои, поцтловались навкрестъ и потомъ, взявъ за руки и кртпко держа руки, хоттлъ одинъ другого спросить: » Что, пане-брате? увидимся или не увидимся? « да и не спросили, замолчали и загадались обт стдыя головы. А козаки вст до одного прощались, зная, что много будетъ работы тты и другимъ, но не повершили однакожъ тотъчасъ разлучиться, а повершили дождаться темной почной поры, чтобъ не дать непріятелю увидть убыль въ козацкомъ войскъ. Нотомъ вст отправились по куренямъ обтдать.

Послѣ объда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ-будто чуя, что, можетъ, послѣдній сопъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самаго солнечнаго захода; а какъ зашло солнце и немного стемиѣло, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошанковавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами, конница, чинно безъ покрика и посвиста на лонадей, слегка затопотала вслѣдъ за нѣшими, и вскорѣ стало пхъ невидно въ темпотѣ. Глухо отдавался только конскій топотъ да скрыпъ инаго колеса, которое еще не расходилось, или не было хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще оставшіеся товарніці махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своимъ мъстамъ, когда увидъли при высвътившихся ясно звъздахъ, что половины телегъ уже не было на мъстъ, что многихъ, многихъ иътъ, невесело стало у всякаго на сердцъ, и всъ задумались противъ воли, потунивъ въ землю гулливыя свои головы.

Тарасъ видълъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храбрымъ, стало тихо обнимать козацкія головы; по молчалъ: онъ хотълъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ уныньемъ, наведеннымъ прощаньемъ съ товарищами; а междутъмъ въ тишинъ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всъхъ, тикнувши по-козацки, чтобы вновь и съ большею силою, чёмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только Славянская порода, шпрокая, могучая порода, нередъ другими, что море передъ мелководными рѣками. Коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ. Коли же безвѣтрено и тихо, ясиѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою необъятную стекляную поверхность, вѣчную иѣгу очей.

П повельть Тарасъ раснаковать своимъ слугамъ одниъ изъ возовъ, стоявшій особиякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ быль въ козацкомъ станѣ; двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелыя колеса его, грузно быль онъ навьюченъ, укрытъ пононами, крѣпкими воловыми кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возѣ были всё баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребахъ. Взялъ онъ его про-запасъ на торжественный случай, чтобы если случится великая минута, и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому козаку, до единаго, досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое чувство овладѣло бы человѣкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуг и бросились къ возамъ, палашами перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьи кожи и пононы и стаскивали съ воза боклаги и бочонки.

» А берите всѣ«, сказалъ Бульба, »всѣ, сколько ип есть, берпте, что у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которымъ поитъ коня, рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обѣ горсти. «

И козаки всё, сколько ни было, брали у кого быль ковшь, у кого черпакъ, которымъ поилъ коия, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлялъ и такъ обё горсти. Всёмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ боклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знака, чтобы вынить имъ всёмъ разомъ. Видно было, что онъ хотёлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по себё старое доброе вино и какъ ни способно оно укрепить духъ человёка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крёпче будетъ сила и вина, и духа.

»Я угощаю васъ, наны-братья!« такъ сказалъ Бульба: »не въ честь того, что вы сдёлали меня своимъ отаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: ивть, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь передъ нами минута. Передъ нами дёло великаго поту великой козацкой доблести! Итакъ выпьемъ, товарищи, разомъ, выпьемъ напередъ всего за святую православную въру, чтобы пришло наконецъ такое время, чтобъ по всему свъту разошлась и вездъ была бы одна святая въра, и всъ, сколько ин есть бусурмановъ, всъ бы едълались Христіянами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Съчь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ другого лучше, одинъ другого краше. Да уже вмъстъ выньемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тъхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за въру, панебратове, за въру!«

»За въру! « загомонъли всъ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. »За въру! « подхватили дальніе — п все, что

ни было, и старое и молодое, вышило за въру.

»За Сѣчь!« склзалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою

руку.

»За Сѣчь!« отдалося густо въ переднихъ рядахъ. »За Сѣчь!« сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и встрененувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: »за Сѣчь!« И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сѣчь.

» Теперь послъдній глотокъ, товарищи, за славу и всъхъ Хри-

стіянъ, какіе живутъ на свъть!«

И вев козаки, до последняго, вышили последній глотокъ за славу и вевхъ Христіянъ, какіе ин есть на светь. И долго еще повторялось по вевмъ рядамъ промежъ вевми куренями: »За вевхъ Христіянъ, какіе ин есть на светь!«

Уже пусто было въ ковшахъ, а всё еще стояли козаки, подпявши руки; хоть весело глядъли очи ихъ всъхъ, просіявшія виномъ, но сильно задумались опи. Не о корысти и воениномъ прибыткъ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать

червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и Черкесскихъ коней; но задумались они, какъ орлы, съвше на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ, высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредъльное море, усыпанное, какъ мелкими итицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видиыми тонкими поморьями, съприбрежными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка, явсами. Какъ орды, озирали они вокругъ себя очами все поле и черивющую вдали судьбу свою. Будеть, будеть все поле съ облогами и дорогами нокрыто ихъ бъльми торчащими костями, щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и коньями; далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными къ инзу усами; будутъ орлы, налетъвъ, выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегъ! не погибаетъ ни одно великодушное дъло и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будеть, будеть бандуристь, съ сѣдою по грудь бородою, а можеть быть, полный зрълаго мужества, но бълоголовый старецъ, въщій духомъ, и скажеть онъ про нихъ свое густое, могучее слово. И нойдеть дыбомъ по всему свъту о нихъ слава, и все, что ни народится нотомъ, заговоритъ о нихъ; ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мёди, въ которую мастеръ много повергнулъ дорогого, чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, налатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая равно всёхъ на святую молитву.

## IX.

Въ городъ не узналъ никто, что половина Запорожцевъ выступила въ погоню за Татарами. Съ магистратской башии примътили только часовые, что потянулась часть возовъ за лъсъ; но подумали, что козаки готовились сдълать засаду; то же думалъ и Французскій пиженеръ; а между-тъмъ слова кошевого не прошли даромъ, и въ городъ оказался недостатокъ въ съъстныхъ принасахъ: по обычаю прошединхъ вѣковъ, войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробовали сдёлать вылазку, но половина смёльчаковъ была тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чемъ. Жиды однакоже воспользовались вылазкою и пронюхали все: куда и зачъмъ отправились Запорожцы, и съ какими военачальниками, и какіе именно курени; и сколько пхъ числомъ, и сколько было оставшихся на мѣстѣ, и что они думаютъ дѣлать, словомъ, чрезъ ивсколько уже минутъ въгородв все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарасъ уже видъть то по движенью и шуму въ городъ, и расторонно хлопоталъ, строиль, раздаваль приказы и наказы, уставиль въ три табора курени, обнесни ихъ возами въ видъ кръпостей, — родъ битвы, въ которой бывали непобъдимы Запорожцы; двумъ куренямъ повельть забраться въ засаду; убиль часть ноля острыми кольями, изломаннымъ оружіємъ, обломками коньевъ, чтобы при случаѣ загнать туда непріятельскую конницу. ІІ когда все было едилано, какъ нужно, сказалъ ръчь козакамъ не для того, чтобы ободрить и освъжить ихъ — зналь, что и безъ того крънки они духомъ а просто, самому хотелось высказать все, что было на сердце.

» Хочется мит вамъ сказать, нанове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дедовъ, въ какой чести у всъхъ была земля наша: и Грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, п храмы, и князья, князья Русскаго народа, свои князья, а не католическіе недовърки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы сирые, да какъ вдовица послѣ крѣнкаго мужа, спрая, такъ же какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство; вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! ифтъ узъ святъе товарищества. Отецъ любитъ свое дитя, мать любитъ свое дитя, дитя любитъ отца и мать; но это не то, братцы: любитъ и звърь свое дитя! но породниться родствомъ по душт, а не по крови, можетъ одинъ только человъкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ Русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному, помногу пропадать на чужбинь: видишь: и тамъ люди! также Божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повъдать

сердечное слово — видишь: нътъ! умные люди, да не тъ; такіе же люди, да не тъ! нътъ, братцы, такъ любить, какъ Русская душа, любить не то, чтобы умомъ или чёмъ другимъ, а всемъ, чёмъ даль Богь, что ин есть вътебъ — a!..« сказаль Тарасъ, и махнуль рукой, и потрясъ съдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: » Нътъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въземлѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цълы въ погребахъ запечатанные меды ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычан; гнушаются языкомъ своимъ; своії съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ предаютъ бездушную тварь на торговомъ рынкъ. Милость чужого короля, да и не короля, а скудную милость Польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бъетъ ихъ въморду, дороже для нихъ всякаго братства. Но у последняго падлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извялялся онъ въ сажт и въ поклонинчествъ, есть и у того, братцы, крупица Русскаго чувства; и проспется онъкогда-ипбудь, и ударится онъ, горемычный, объ полы руками; схватить себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дёло. Пусть же знають они всё, что такое значить въ Русской земль товарищество! Уже если на то ношло, чтобы умирать, такъ никому жъ изъ инхъ не доведется такъ умирать! никому, никому! не хватитъ унихъ на то мышиной натуры ихъ!«

Такъ говорилъ отаманъ, и когда кончилъ рѣчь, всё еще потрясаль посеребрившеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою; всѣхъ, кто ин стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣйше въ рядахъ стали неподвижиы, потупивъ сѣдыя головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ, и потомъ всѣ, какъ-будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знатъ, видио, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудрешнаго горемъ, трудомъ, удалью и всякимъ невзгодъемъ жизни, или хотя и непознавшаго ихъ, но много почуявшаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ-родителямъ, родившимъ ихъ.

А изъ города выступало уже непріятельское войско, гремя въ литавры и трубы, и подбоченившись, выбажали паны, окруженные несмътными слугами. Толстый полковинкъ отдавалъ приказы. И стали наступать они быстро на козацкіе таборы, грозя, націливаясь пищалями, сверкая очами и блестя мѣдными доспѣхами. Какъ только увидъли козаки, что подошли они на ружейный выстрель, всё разомъ грянули въ семинадныя пищали и, не прерывая, веё палили изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье но встмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ безпрерывный гулъ; дымомъ затянуло все поле; а Запорожцы всё палили, не нереводи духу: задніе только заряжали, да передавали переднимъ, наводя изумление на непріятеля, немогнаго понять, какъ стръляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видио было, какъ то одного, то другого не ставало въ рядахъ; но чувствовали Ляхи, что гуето летили нули и жарко становилось дило; и когда понятились назадъ, чтобы посторониться отъ дыму и оглядъться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, можетъ быть, другой-третій быль убить на всю сотню. И веё продолжали налить козаки изъ прицалей, ин на минуту не давая промежутка. Самъ иноземный инженеръ подивился такой, инкогда имъ невиданной, тактикъ, сказавши тутъже при всъхъ: »Вотъ бравые молодцы, Запорожцы! вотъ какъ нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ!« II далъ совътъ новоротить тутъ же на таборъ нушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунныя пушки; дрогнула далеко, загудъвши, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди илощадей и улицъ въ дальинхъ и ближнихъ городахъ. Но цълившіе взяли слишкомъ высоко, раскаленныя ядра выгнули слишкомъ высокую дугу; страшно завизжавъ по воздуху, перелетвли они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. Ухватиль себя за волосы Французскій инженеръ при видъ такого неискусства, и самъ принялся наводитъ пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями безпрерывно козаки.

Тарасъ видълъ еще издали, что бъда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: »Выбирайтесь скоръй изъ-за возовъ и садись взякий на коня!« По не посивли бы сдвлать то и другое козаки, если бы Останъ не ударилъ въ самую середину, выбиль фитили у шести пушкарей; у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ Ляхи. А тъмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взяль въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, какой инкто изъкозаковъ не видываль дотоль. Страшно глядьла она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И какъ грянула она, а за нею следомъ три другія, четырекратно потрясши глухо-отвѣтную землю, много нанесли онъ горя! Не по одному козаку вэрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя нерси; не одна останется вдова въ Глуховъ, Немировъ, Черниговъ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбъгать всякій день на базаръ, хватаясь за ветхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, ивть ли между нихъ одного мильйшаго всьхь: по много пройдеть черезь городь всякаго войска и вѣчно не будеть между ними одного мильйшаго всъхъ.

Такъ какъ - будто и не бывало половины Незамайковскато куреня! какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красуется всякий колосъ, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же векинулись козаки! какъ ехватились всв! какъ закиивлъ куренной отаманъ Кукубенко, увидъвши, что лучшей половниы куреня его ивтъ! вбился онъ съ остальными своими Незамайковцами въ самую средину, въ гиввъ изсъкъ къ капусту перваго понавшагося, многихъ конинковъ сбилъ съ коня, доставши коньемъ и конинка и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видитъ, хлопочетъ Уманскій куренный отаманъ, и Степанъ Гуска уже отбилъ главную пушку. Оставилъ онъ тъхъ козаковъ и новоротилъ съ своими въ другую непріятельскую гущу: такъ, гдъ прошли Незамайковцы—такъ тамъ и улица! гдъ поворотили—такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ ръдъли ряды и снопами валились Ляхи! А у самыхъ возовъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ возовъ Дегтяренко, а за инмъ куренной отаманъ Вертихвистъ. Двухъ уже шляхтичей подиялъ на конье Дегтяренко, да напалъ наконецъ на неподатливаго третьяго. Увертливъ и кръпокъ былъ Ляхъ, цышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ одинхъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ кръпко Дегтяренка, сбилъ его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: »Нътъ изъ васъ собакъ, козаковъ, ин одного, кто бы посмълъ противустать миъ! «

» А вотъ есть же! « сказалъ и выступиль впередъ Мосііі Шило. Сильный быль онъ козакъ, не разъ отаманствовалъ на морѣ и много натеривлея всякихъ бъдъ. Схватили ихъ Турки у самаго Транезонта и всъхъ забрали невольниками на галеры, взяди ихъ по рукамъ и ногамъ въ желбзныя цёни, не давали по цёлымъ недёлямъ пшена и поили противной морской водою. Все вынесли и вытерпъли бъдные невольники, лишь бы не перемънять православной въры. Не вытерпъль отаманъ Мосій Шило, истопталь ногами святой законъ, скверною чалмой обвиль гръшную голову, вошель въ довъренность къ пашъ, сталъ ключникомъ на кораблъ и старшимъ надъ вевми невольниками. Много опечалились оттого бъдные невольники; ибо знали, что если свой продасть въру и пристанеть къ угнетателямъ, то тяжелъй и горше быть подъ его рукой: такъ и сбылось. Всъхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цъпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ костей жесткія веревки; всёхъ перебилъ по шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда Турки, обрадовавшись, что достали себ'в такого слугу, стали пировать и, позабывъ законъ свой, всъ перепились, онъ принесъ вев шестьдесять четыре ключа и роздаль невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цёни и кандалы въ море, а брали бы на мъсто того сабли, да рубили Турковъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да быль совствиь чудный козакъ. Иной разъ повершаль такое дело, какого и мудрѣйшему не придумать, а въ другой, просто, дурь одолѣвала козака. Пронилъ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Свчи и, въ прибавку къ тому, прокрадся, какъ уличный воръ: ночью утащиль изъ чужого куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дъло привязали его на базаръ къ столбу и положили возяв дубину, чтобы всякій, по мврв силь своихъ, отвъсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всъхъ Запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, номия прежнія его заслуги. Таковъ быль козакъ Мосій Шило.

»Такъ есть же такіе, которые быотъ васъ, собакъ!« сказаль онъ, кинувшись на него. И уже тамъ-то рубились они! и наплечники, и зерцала погнулись у обонхъ отъ ударовъ. Разрубиль на немъ вражій Ляхъ жельзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго твла: зачервонила козацкая рубашка; но не поглядъль на то Шило. а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука!) и оглушилъ его виезанно по головъ. Разлетълась мъдная шанка, зашатался и грянулся Ляхъ; а Инло принялся рубить и крестить отлушеннаго. Не добивай, позакъ, врага, а лучше поворотись назадъ! Не новоротился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватиль его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и уже досталь бы смёльчака; но онъ пропаль въ пороховомъ дымё. Со вежхъ сторонъ подиялось хлонанье изъ самоналовъ. Ношатнулся Шпло и почуяль, что рана была смертельна. Уналь опъ, наложиль руку на свою рану и сказаль, оборотившись къ товарищамь: »Прощайте, наны-братья-товарищи! пусть же стоить на въчныя времена православная Русская земля и будеть ей въчная честь! « II зажмуриль ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тъла. А тамъ уже выъзжаль Задорожній съ своими, ломиль ряды курсиной Вертихвисть и выступаль Балабань.

» А что, паны? « сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ куренными, » есть еще порохъ въ пороховинцахъ? не ослабъла ли козацкая сила? не гнутся ли козаки? «

» Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; не ослабъла еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!«

И наперли сильно козаки: совсёмъ смёшали всё ряды. Ниэкорослый нолковникъ ударилъ сборъ и велёлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсынавнихся далеко но всему полю. Всё бъжали Ляхи къ знаменамъ; но не усиёли они еще выстроиться, какъ уже куренной ота́манъ, Кукубенко, ударияъ вновь съ своими Незама́йковцами въ средицу и напалъ прямо на толстонузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поворотивъ коня, пустился въ-скачь; а Кукубенко далеко гналъ его черезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидъвъ то́ съ бокового куреня, Степанъ Гуска пустился за инмъ въ погоню, съ арканомъ въ рукъ, пригнувши голову къ ло-шадиной шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь побагровѣлъ полковникъ, ухватясь за веревку объими руками и силясь разорвать ее; по уже дюжий размахъ вогналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался опъ пригвожденный къ землѣ. Но не сдобровать и Гускъ! Не успъли оглянуться козаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску подиятаго на четыре копья! Только и успъль сказать бѣдиякъ: »Пусть же пронадутъ всѣ враги, и ликуетъ вѣчные вѣки Русская земля!« И тамъ же испустилъ духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ събоку козакъ Метелица угощаетъ Ляховъ, шеломя того и другого; а ужъ тамъ съ другого напираетъ съ своими ота́манъ Невели́чкій; а у возовъ ворочаетъ врага и бъетъ Закрути́губа; а у дальнихъ возовъ третій Инсаренко отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ у другихъ возовъ схватились и быотся на самыхъ возахъ.

» Что, паны? « перекликиулся отаманъ Тарасъ, проъхавши впереди всъхъ: »есть ли еще порохъ въ пороховинцахъ? кръпка ли еще козацкая сила? не гнутся ли уже козаки? «

»Есть еще, батько, порохъ въ пороховинцахъ; еще крънка козациая спла: еще не гнутся козаки! «

А ужъ упаль съ воза Бовдю́гъ; прямо подъ самое сердце пришлась ему пуля; по собралъ старый весь духъ свой и сказалъ: »На жаль разстаться съ свътомъ! дай Богъ и всякому такой кончина! пусть же славится до конца въка Русская земля!« И понеслась къ вышинамъ Бовдюгова душа, разсказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умъютъ биться на Русской землъ и, еще лучше того, какъ умъютъ умирать въ ней за святую въру.

Валабанъ, куренной отаманъ, скоро послътого грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ конья, отъ пули и отъ тяжелаго палаша; а быль одинъ изъ доблестивнимъ козаковъ, много совершилъ онъ подъ своимъ отаманствомъ морскихъ походовъ; но славиве всёхъ быль походъ къ Анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой Турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ. По мыкну и горе на обратномъ пути: попались, сердечные, подъ Турецкія ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля: половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ водъ; но привязанные къ бокамъ камыни спасли челны отъ нотоиленія. Валабанъ отилылъ на всёхъ веслахъ, сталъ прямо къ солицу и чрезъ то сдълался певиденъ Турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шанками выбирали они воду, чиня пробитыя мъста; изъ козацкихъ штаповъ нархзали парусовъ, поцеслись и убъжали отъ быстръйщаго Турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбедно на Сечь, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго Кіевскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьи, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ. Поникнулъ онъ теперь головою, почуявъ предемертныя муки, и тихо сказаль: »Сдается мив, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерыхъ нарубилъ, девятерыхъ коньемъ исколодъ, истоиталъ конемъ вдоволь, а уже не приномню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же цвътетъ въчно Русская земля!« Н отлетвла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвъта вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человькъ только осталось изо всего Незамайковскаго куреня, уже и тр отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бъду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздпо подоспѣли козаки: уже успъло ему углубиться подъ сердце копье прежде, чъмъ были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившихъ его козаковъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стекляномъ сосудъ изъ погреба неосторожные слуги и, носкользичвшись туть же у входа, разбили дорогую сулею; разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибъжавшій хозянць, сберегавшій его про лучшій случай жизни, чтобы, если приведеть Богъ, на старости лътъ встрътиться съ товарищемъ юности, то чтобы номянуть бы вмъств съ нимъ прежнее ниое время, когда иначе и лучие веселился человъкъ. Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: » Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть ири глазахъ вашихъ, товарищи! нусть же послё насъ живуть лучше, чёмъ мы, и красуется въчно любимая Христомъ Русская земля!« И вылетъла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ; хорошо будетъ ему тамъ. »Садись, Кукубенко, одесную меня!« скажетъ ему Христосъ: »ты не измънилъ товариществу, безчестнаго дъла не сдълалъ, не выдалъ въ бъдъ человъка, хранилъ и сберегалъ Мою Церковъ. « Всъхъ опечалила смертъ Кукубенка. Уже ръдъли сильно козацкіе ряды; многихъ храбрыхъ не досчитывались; но стояли и держались еще козаки.

» А что, паны? « перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куреиями: » есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? не пступились ли сабли? не утомилась ли козацкая сила? не погнулись ли козаки? «

»Достанеть еще, батько, пороху; годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!«

Н рванулись снова козаки такъ, какъ-бы и нотерь никакихъ не понесли. Уже три только куренныхъ отамана осталось възживыхъ; червонъли уже всюду красныя ръки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражънхъ тълъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потянулась вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подияли на копье Метелицу; уже голова другого Инсаренка, завертъвшись, захлонала очами; уже подломился и бухнулся о землю, на-четверо изрубленный Охримъ Гуска. » Ну!« сказаль Тарасъ и махнуль платкомъ. Попяль тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильнаго напора Ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мъсто, гдъ были вбиты въ землю колья и обломки коньевъ. Пошли спотыкаться и падать коии и летъть чрезъ ихъ головы Ляхи. А въ это время Корсунцы, стоявшіе последніе за возами, увидъли, что уже достанетъ ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самоналовъ. Вст сбились и растерялись Ляхи, и пріободрились козаки. »Вотъ и наша побъда! « раздались со всъхъ сторонъ Запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули нобъдную хоругвь. Вездъ бъжали и крылись разбитые Ляхи. »Ну, иътъ, еще не совстмъ побъда!« сказалъ Тарасъ, глядя на городскіе ворота, и сказаль онъ правду.

Отворились ворота и вылетьль оттуда гусарскій полкъ, краса всёхъ конныхъ полковъ. Подъ всёми всадниками были всё, какъ

одинъ, бурые аргамаки; впереди другихъ понесся витязь всёхъ бойче, всёхъ красивъе; такъ и летъли черные волосы изъ-подъ мъдной его шанки; вился завязанный на рукъ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторонъть Тарасъ, когда увидёль, что это быль Андрій. А онь, между-тёмь, объятый ныломъ и жаромъ битвы, жадиый заслужить навязанный на руку нодаронъ, нонесся какъ молодой борзой несъ, красивъйшій, быстръйний и младший всъхъ въ став. Атукнулъ на него онытный охотинкъ — и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись на-бокъ всёмъ тёломъ, варывая снёгъ и десять разъ выпереживая самого зайца въ жару своего бъга. Остановился старый Тарасъ и глядёль на то, какъ опъ чистиль нередъ собою дорогу, разгоняль, рубиль и сыпаль удары направо и налѣво. Не вытериѣлъ Тарасъ и закричалъ: »Какъ? своихъ? свонхъ? чортовъ сынъ, своихъ бъешь?« По Андрій не различаль, кто передъ нимъ былъ, свои, или другіе какіе: ничего не видълъ онъ. Кудри, кудри онъ видълъ, длинныя, длинныя кудри и нодобиую рѣчному лебедю грудь, и сиѣжиую шею, и плечи, и все, что создано для безумныхъ поцёлуевъ.

»Эй, хлоньята! заманите мит только его къ лбеу, заманите мив только его!« кричаль Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ триднать быстрийших козаковь заманить его. И, поправивь на себи высокія шапки, туть же нустились на коняхь, прямо на нерерѣзъ гусарамъ. Ударили съ боку на перединхъ, сбили ихъ, отдълили отъ заднихъ, дали но гостинцу тому и другому, а Голоконытенко хватиль палашомь по спинь Андрія, и въ тоть же часъ пустились бъжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! какъ забунтовала по всёмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ нолетълъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади только всего двадцать человѣкъ носиѣвало за нимъ; а козаки летѣли во вею прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лъсу. Разогнался на конъ Андрій и чуть было уже не настигнуль Голокопытенка, какъ вдругъ чьято сильная рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся Андрій: передъ инмъ Тарасъ! Затрясся онъ всёмъ тёломъ и вдругъ сталъ бльдень, какъ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударълинейкою поло́у, вспыхиваетъ, какъ огонь, о́ъшеный вскакиваетъ съ лавки и гонится за испугацнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: въ мигъ притихаетъ о́ъшеный порывъ, и упадаетъ о́сзсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ проналъ, какъ-о́ы не о́ывалъ вовсе, гиѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ нередъ соо́ою одного только страшнаго отца.

» Ну, что жъ теперьмы будемъ дѣлать? « сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій п стоялъ, потупивши въ землю очи.

» Что, сынку! помогли тебъ твои Ляхи?«

Андрій быль безотвътенъ.

» Такъ продать? продать въру? продать своихъ? Стой же, слъзай съ коня!«

Покорно, какъ ребенокъ, слъзъ онъ съ коня и остановидся ни живъ, ин мертвъ передъ Тарасомъ.

»Стой и не шевелись! Я тебя породиль, я тебя и убью! « сказаль Тарась и, отступивши шагь назадь, сияль съ плеча ружье. Блёдень, какъ полотно, быль Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносиль чье-то имя; но это не было имя отчизны или матери, или братьевъ— это было имя прекрасной Полячки. Тарасъ выстрёлиль.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почуявшій подъ сердцемъ смертельное желѣзо, новисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядълъ долго на бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобъдимаго для женъ очарованья, всё еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, оттъняли его поблъднъвшія черты. » Чъмъ бы не козакъ? « сказалъ Тарасъ: » и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была кръпка въ бою! Пропалъ! пропалъ безславно, какъ нодлая собака! «

»Батько, что ты сдълаль? это ты убиль его?« сказаль подъъхавшій въ это время Остапъ. Тарасъ кивнулъ головою.

Пристально поглядѣлъ мертвому въ очи Останъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъже: »Предадимъже, батько, его честно землѣ, чтобы не наругались надъ инмъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы.«

»Погребутъ его и безъ насъ! « сказалъ Тарасъ: » будутъ у него илакальщики и утъщинцы! «

И минуты двѣ думаль онъ: кпиуть ли его на расхищенье волкамъ-спромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ин было. Какъ видитъ — скачетъ къ нему на конѣ Голоконытенко: »Бѣда, отаманъ, окрѣпли Ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!« Не усиѣлъ сказать Голоконытенко, скачетъ Вовту́зенко: »Бѣда, отаманъ, новая валить еще сила!« Не усиѣлъ сказать Вовтузенко, Писаре́нко бѣжитъ бѣгомъ уже безъ коня: »Гдѣ ты, батько, ищутъ тебя козаки. Ужъ убитъ курешной отаманъ Неве́ли́чкій, Задорожній убитъ, Черевиченко убитъ; но стоятъ козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ часомъ!»

»На коня, Останъ! « сказаль Тарасъ и спъшиль, чтобы застать еще козаковъ, чтобы наглядъться еще на нихъ и чтобы они взглянули нередъ смертью на своего отамана. Но не вытахали они еще изъ лъсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всёхъ сторонъ льсь, и между деревьями вездь показались всадшики съ саблями и коньями. »Остапъ, Остапъ! не поддавайся! « кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю наголо, началъ честить первыхъ нопавшихся на вет боки. А на Остана уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ добрый часъ видно наскочило: съ одного нолетъла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило коньемъ въ ребро третьяго; четвертый быль поотважней, уклонился головой отъ. нули, и попала въ конскую грудь горячая пуля — вздыбилъ бъшеный конь, гранулся о землю и задавиль подъ собою всадника. »Добре, сынку! добре, Останъ! « кричалъ Тарасъ: »вотъ я слъдомъ за тобою. « А самъ всё отбивался отъ наступавшихъ. Рубится п бьется Тарасъ, сыплетъ гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ всё впередъ на Остапа, и видитъ; что уже вновь ехватилось съ Останомъ мало не восьмеро разомъ. »Останъ, Останъ! не поддавайся!« Но уже одолѣваютъ Остана; уже одинъ накинулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остана. »Эхъ, Останъ, Останъ!« кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ канусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. »Эхъ, Останъ, Останъ!..« Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и неревернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули передъ нимъ головы, конъя, дымъ, блески огия, сучья съ древесными листьями. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

## Χ.

»Долго же я спалъ! « сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ нослъ труднаго хмѣльного спа, и стараясь распознать окружающіе его предметы. Страшная слабость одолѣвала его члены. Едва метались передъ шимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товка́чъ, и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханью.

»Да«, подумаль про-себя Товкачь, »заснуль бы ты, можеть быть, и на-вѣки!« но ничего не сказаль, погрозиль пальцемь и даль знакъ молчать.

»Да скажи же мив, гдв я теперь? « спросиль опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

»Молчи жъ! « прикрикнулъ сурово на него товарищъ: »чего тебѣ еще хочется знать? развѣ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужъ двѣ недѣли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ спокойно. Молчи жъ, если не хочешь нанести самъ себѣ бѣды. «

Но Тарасъ всё старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. »Да, вѣдь, меня же схватили и окружили было совсѣмъ Ляхи? миѣ жъ не было никакой возможности выбиться изъ толны?«

» Молчи жъ, говорятъ тебъ, чортова дътина! « вскричалъ Товкачъ сердито, какъ иянька, выведенияя изъ териънья, кричитъ неугомонному повъсъ-ребенку. » Что пользы знать тебъ, какъ выбрался? довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали — ну, и будеть съ тебя! Намъ еще немало ночей скакать вмъстъ! Ты думаешь, что пошель за простого козака? пътъ, твою голову оцънили въ двъ тысячи червонныхъ.«

»А Останъ? « вскричалъ вдругъ Тарасъ, нонатужился приподняться и вдругъ всномнилъ, какъ Остана схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ Ляшскихъ рукахъ. И обияло горе старую голову. Сорвалъ и едернулъ онъ всв перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь; хотълъ громко что-то сказать— и вмъсто того понесъ ченуху: жаръ и бредъ вновь овладъли имъ, и понеслись безъ толку и связи безумныя ръчи. А, между-тъмъ, върный товарищъ стоялъ предъ иимъ, бранясь и разсыная безъ счету жестокія укорительныя слова и упреки. Наконецъ схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ какъ ребенка, поправилъ всъ перевязки, увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрънивши веревками къ съдлу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

»Хоти неживого, да довезу тебя! не попущу, чтобы Ляхи поглумились надъ твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тъло да бросали бы въ воду. Пусть же, хоти и будеть орель выклевывать изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орелъ, а не Ляшскій, не тотъ, что прилетаетъ изъ Польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны!«

Такъ говорилъ върный товаринцъ; скакалъ безъ отдыха дип и ночи и привезъ его безчувственнаго въ самую Запорожскую Сѣчь. Тамъ принялся опъ лечить его неутомимо травами и смачиваніями; нашелъ какую-то знающую Жидовку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобъями, и наконецъ Тарасу стало лучше. Лекарство ли, или своя желѣзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одип сабельные рубцы давали-знать, какъ глубоко когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однакоже замѣтно сталъ онъ насмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насупулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ неремерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ

которые стояли за правое діло, за віру и братство. И ті, которые отправились съ кошевымъ въ-угонъ за Татарами, и тъхъ уже не было павио: всв положили головы, всв сгибли; кто положиль въ самомь бою честную голову; кто оть безводья и безхльбья, среди Крымскихъ солончаковъ; кто въ плъну пропадъ, не вынесши позора; и самого прежияго кошевого уже давно не было на свътъ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже поросла травою когда-то кинтвиная козацкая сила. Слышаль онъ только, что быль пиръ сильный, шумный пиръ; вся персбита въ-дребезги посуда; ингдѣ не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги вст дорогіе кубки и сосуды — и смутный стонтъ хозяннъ дома, думая, лучше бъ и небыло того пира. Напрасно старались заиять и резвеселить Тараса; напраспо бородатые, съдые бандуристы, проходя но два п но три, разславляли его козацкіе подвиги — сурово и равнодушно глядъль онъ на все, и на неподвижномъ лицъ его выступала неугасимая горесть, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: »Сынъ мой, Останъ мой!«

Запорожцы собпрались на морскую экспедицію. Двъсти челновъ спущены были въ Дивиръ, и Малая Азія видвла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огию цвътущіе берега ея; видъла чалмы своихъ Магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ся безчисленнымъ цвътамъ, на смоченныхъ кровію поляхъ и плававшими у береговъ. Она видъла немало запачканныхъ дегтемъ Занорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы перебли и переломали весь виноградъ; въ мечетяхъ оставили цёлыя кучи навозу; Персидскія дорогія шали употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свитки. Долго еще послѣ находили вътѣхъ мъстахъ Запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десяти-пушечный Турецкій корабль и залномъ изъ всёхъ орудій своихъ разогналь, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные енова собрадись вмъстъ и прибыли къ устью Дивпра съ двънадцатью боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ луга и стени, будто-бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстръленнымъ; и, ноложивъ ружье, полный

тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидълъ онъ тамъ, понуривъ голову и всё говоря: »Остапъ мой, Остапъ мой! « Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное Море; въ дальнемъ тростинкъ кричала чайка; бълый усъ его серебрился, и слеза канала одна за другою.

И не выдержалъ наконецъ Тарасъ! » Что бы ни было, нойду развъдать, что онъ? живъ ли онъ? въ могилъ? или уже и въ самой могилъ вътъ его? Развъдаю, во что бы ни стало! « И черезъ недълю уже очутился онъ въ городъ Умани, вооруженный, на конъ, съ коньемъ, саблей, дорожной боклагой у съдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми натронами, лошадниыми путами и прочимъ снарядомъ. Онъ прямо поъхалъ къ нечистому, запачканному домишку, у котораго небольния окошки едва были видны, законченныя неизвъстно чъмъ; труба заткиута была трянкою, и дыравая крыша вся была нокрыта воробьями; куча всякаго сору лежала предъ самыми дверьми. Изъ окна выглядывала голова Жидовки въ ченцъ съ потемиъвшими жемчугами.

»Мужъ дома? « сказалъ Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

»Дома«, сказала Жидовка и посивинила тотъ же часъ выйти съ ишеницей въ корчикъ для коня и стопой пива для рыцаря.

»Гдъ же твой Жидъ?«

»Онъ въ другой свътлицъ, молится«, проговорила Жидовка, кланяясь и ножелавъ здоровья въ то время, когда Бульба поднесъ къ губамъ стону.

» Оставайся здѣсь, накорми и наной моего коня, а я пойду поговорю съ инмъ одинъ. У меня до него дѣло.«

Этотъ Жидъ былъ извъстиый Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всъхъ окружныхъ нановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всъ деньги и сильно означилъ свое Жидовское присутствие въ той сторонъ. На разстоянии трехъ миль во всъ стороны не оставалось ин одной избы въ порядкъ: все валилось и дряхлъло, все норасинвалось, и осталась бъдность да лохмотья; какъ послъ ножара или чумы вывътрился весь край. И если бы десять лътъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, въроятно, вывътрилъ бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свътлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ довольно заначканнымъ саваномъ, и оборотился; чтобы въ послъдній разъ плюнуть, но обычаю своей въры, какъ вдругъ глаза его встрътили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились Жиду прежде всего въ глаза двъ тысячи червонныхъ, которые были объщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силился подавить въ себъ въчную мысль о золотъ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу Жида.

»Слушай, Янкель! « сказалъ Тарасъ Жиду, который началъ передъ инмъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видъли. »Я спасъ твою жизнь — тебя бы разорвали, какъ собаку, Запорожцы — теперь твоя очередь, теперь сдълай миъ услугу! «

Лицо Жида ивсколько поморщилось.

» Какую услугу? если такая услуга, что можно ед<br/>ѣлать, то для чего не едѣлать? «

»Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву!«

»Въ Варшаву? какъ въ Варшаву? « сказалъ Янкель; брови и илеча его поднялись вверхъ отъ изумленія.

» Не говори мит инчего. Вези меня въ Варшаву. Что бы ин было, а я хочу еще разъ увидъть его, сказать ему хоть одно слово. «

»Кому сказать слово?«

»Ему, Остану, сыну моему. «

» Развѣ нанъ не слышалъ, что уже . . . . «

»Знаю, знаю все: за мою голову дають двѣ тысячи червонныхъ. Знаютъ же они, дурии, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ двѣ тысячи сейчасъ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана двѣ тысячи червонныхъ), а остальные, какъ ворочусь.«

Жидъ тотъ-часъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы. » Ай, славная монета! ай, добрая монета! « говорилъ онъ, вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ. » Я думаю, тотъ человъкъ, у котораго нанъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, и часу не прожилъ на свътъ: ношелъ тотъ же часъ въ ръку да и утопулъ тамъ послъ такихъ славныхъ червонцевъ? «

»Я бы не просилъ тебя; я бы самъ, можетъ быть, нашель дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-ипбудь узнать и захватить проклятые Ляхи; пбо я не гораздъ на выдумки. А вы, Жиды, на то уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете всъ штуки: вотъ для чего я пришелъ къ тебъ! Да и въ Варшавъ я бы самъсобою инчего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!«

» $\Lambda$  панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрегъ, да и: » $\Im$ й ну, ношелъ спвка!« Думаетъ нанъ, что можно такъ, какъ есть; не спрятавши, везти нана?«

» Ну, такъ прячь, прячь, какъ знаешь; въ порожнюю бочку, что ли? «

»  $\Lambda$ ії, ай! а панъ думаєть, развѣ можно спрятать его въ бочку? Панъ развѣ не знаєть, что всякій подумаєть, что въ бочкѣ гори́лка? «

»Ну такъ и пусть думаетъ, что горилка. «

»Какъ? пусть думаетъ, что горилка?« сказалъ Жидъ и схватилъ себя объими руками за нейсики, и потомъ подиялъ кверху объ руки.

»Ну, что жъ ты такъ оторопъль?«

» А панъ развъ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горилку, чтобы ее всякій пробовалъ? тамъ всё дакомки, ласуны: шляхтичь будетъ бъжать верстъ иять за бочкой, продолбитъ какъ разъ дырочку, тотъ-часъ увидитъ, что не течетъ, и скажетъ: »Жидъ не » повезетъ порожнюю бочку; върно, тутъ естъ что-нибудъ! Схватитъ »Жида, связатъ Жида, отобрать всъ деньги у Жида, посадить въ »тюрьму Жида! « Потому что все, что ни есть педобраго, все валитея на Жида; потому-что Жида всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человъкъ, коли Жидъ! «

»Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!«

»Не можно, панъ, ей Богу, не можно: по всей Польшѣ люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и пана нашу-паютъ. «

» Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!«

»Слушай, слушай, панъ! « сказалъ Жидъ, посупувши общлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. »Вотъ что мы сдълаемъ. Теперь строятъ вездъ кръпости и замки; изъ Нъметчины пріъхали Французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много киринчу и камней. Изнъ пусть ляжетъ на

днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичемъ. Пакъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему инчего, коли будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу синзу дырочку, чтобы кормить пана. «

»Дѣлай, какъ хочешь, только везп!«

И черезъ часъ возъ съ киринчомъ выбхаль изъ Умани, запряженный въ двъ клячи. На одной изъ нихъ сидълъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развъвались изъ-подъ Жидовскаго яломка по мъръ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставленная на дорогъ.

## XI.

Въ то время, когда происходило описываемое событе, на пограничныхъ мъстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и обътзчиковъ — этой страшной грозы предпринмчивыхъ людей, и потому всякій могь везти, что ему вздумалось. Если же кто и производиль обыскъ и ревизовку, то ділаль это большею частно для своего собственнаго удовольстія, особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находиль охотниковъ и вътхалъ безпрепятственно въ главныя городскія ворота. Бульба, въ своей тъсной клъткъ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣлавши ивсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмъстъ Жидовской, потому что здъсь дъйствительно находились Жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солице, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерибвине деревяные дома со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще болье мракъ. Изръдка красивла между инми киринчная стіна, но и та уже во многихъ містахъ превращалась въ совершенно черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусокъ ствны, обхваченный солицемъ, блисталь нестерпимою для глазъ бълизною. Туть все состояло изъ сильныхъ ръзкостей: трубы,

трянки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негоднаго, швыряль на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства интать вей чувства свои этою дряшью. Сидящій на коит всадникъ чуть-чуть не доставаль рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ вистли Жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико Еврейки, убранное потемнъвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча Жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій Жидъ съ веспушками по всему лицу, дълавшими его похожимъ на воробыное яйцо, выглянулъ изъ окна; тотъ-часъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ наръчін, и Янкель тотъ-часъ вътхалъ въ одинъ дворъ. По улиць шель другой Жидь, остановился, вступиль тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался наконецъ изъ-подъ кириича, онь увидёль трехь Жудовь, говорившихь съ большимь жаромь.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдълано, что его Останъ сидитъ въ городской темницъ, и хотя трудно уговорить стражей, но однакожъ онъ надъется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ вмъстъ съ тремя Жидами въ комнату.

Жиды начали онять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкъ. Тарасъ поглядывалъ на каждаго изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицъ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, надежды той, которая носъщаетъ пногда человъка въ послъднемъ градусъ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ-будто у юнонии.

» Слушайте, Жиды! « сказаль онь, и въ словахъ его было чтото восторженное. »Вы все на свътъ можете сдълать, выконаете хоть изъ дна морского, и пословица давно уже говоритъ, что Жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите миъ моего Остана! дайте случай убъжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человъку объщалъ двънадцать тысячъ червонныхъ, — я прибавляю еще двънадцать; всъ, какіе у меня есть дорогіе кубки и законанное въ землъ золото, хату и нослъднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ

тъмъ, чтобы все, что ин добуду на войнъ, дълить съ вами пополамъ! «

»О, не можно, любезный панъ, не можно! « сказалъ со вздохомъ Янкель.

»Нътъ, не можно!« сказалъ другой Жидъ.

Вет три Жида взглянули одниъ на другого.

»A попробовать», сказаль третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: »можетъ быть Богъ дастъ «

Всѣ три Жида заговорили по-Нѣмецки. Бульба, какъ ин наостряль свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ слышаль только часто произносимое слово Mapdoxaii и больше инчего.

»Слушай, панъ! « сказалъ Янкель: » нужно посовътоваться съ такимъ человъкомъ, какого еще пикогда не было на свътъ... у, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдълаетъ. то уже никто на свътъ не сдълаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ; и не впускай никого. « Жиды вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошко на этотъ грязный Жидовскій проспекть. Три Жида остановились посреднив улицы и стали говорить довольно азартно; кънимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ слышаль опять повторяемое: Мардохай, Мардохай. Жиды безпрестанно посматривали-въ одну сторону улицы; наконецъ въ концъ ся изъ-за одного дрянного дома показалась нога въ Жидовскомъ башмакъ и замелькали фалды полукафтанья. »А, Мардохай! Мардохай! « закричали всь Жиды въ одинъ голосъ. Тощій Жидъ, ивсколько короче Янкеля, но гораздо болбе нокрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетеривливой толив, и всъ Жиды наперерывъ спѣшили разсказывать ему, при чемъ Мардохай иѣсколько разъ поглядываль на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушаль, перебиваль рёчь, часто илеваль на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовываль въ карманъ руку и вынималь какія-то побрякушки, при чемъ показывалъ прескверныя свои панталоны. Наконецъ вет Жиды подияли такой крикъ, что Жидъ, стоявшій на сторожё, должень быль давать знакъ къ молчанію, н Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что Жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицъ, и что ихъ языка самъ демомъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, Жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потреналъ его по плечу и сказалъ: »Когда мы захочемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно.«

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить иѣкоторое довѣріе: верхияя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомиѣнія, увеличилась отъ ностороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удальство, что онъ, безъ сомиѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя нятна.

Мардохай ушелъ вмъстъ съ товарищами, исполненными удивления къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положени: онъ чувствовалъ въ нервый разъ въ жизни безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояни. Онъ не былъ тотъ прежий, непреклонный, неколебимый, крънкій, какъ дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохъ, при каждой новой Жидовской фигуръ, ноказывавшейся въ концъ улицы. Въ такомъ состояни пробылъ онъ наконецъ весь день; не ълъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ип на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ уже ввечеру поздо показались Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.» Что? удачно? «спросилъ онъ ихъ съ нетерпъніемъ дикого коня.

Но прежде еще, нежели Жиды собрались съ духомъ отвъчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послъдняго локона, который хотя довольно неопрятно, но всё же вился кольцами изъподъ яломка его. Замѣтио было, что онъ хотѣтъ что то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ инчего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ-будто бы страдалъ простудою.

» О любезный панъ! « сказалъ Япкель: » теперь совсѣмъ не можно! ей Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на

самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажеть. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить.«

Тарасъ глянулъ въ глаза Жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гиъва.

» А если панъ хочетъ видъться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солице не всходило. Часовые соглашаются и одинъ левентарь объщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свътъ счастья, ой вей миръ! что это за корыстный народъ! и между нами такихъ иътъ: иятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а левентарю...«

»Хорошо. Веди меня къ нему! « произнесъ Тарасъ ръшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложение Янкеля переодъться иностраннымъ графомъ, пріъхавшимъ изъ Ифмецкой земли, для чего илатье уже успълъ принасти дальновидный Жидъ. Была уже ночь. Хозяниъ дома, извъстный рыжій Жидь съвеснушками, вытациль тощій тюфякь, накрытый накою-то рогожею, и разостлаль его на лавкъ для Бульбы. Янкель легъ на полу на такомъ же тюфякъ. Рыжій Жидъ выпиль небольшую чарочку какой - то настойки, скинуль полукафтанье, и, сдёдавшись въ своихъ чулкахъ и башмакахъ иёсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею Жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое Жиденковъ, какъ двъ домашнія собачки, легли на полу возлъ шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидълъ неподвиженъ и слегка барабаниль пальцами по столу; онь держаль ворту люльку и пускаль дымъ, отъ котораго Жидъ съ-просонья чихалъ и заворачиваль въ одіяло свой носъ. Едва небо успіло тронуться блізднымъ предвъстіемъ зари, онъ уже толкнуль ногою Янкеля: »Ветавай, Жидъ, и давай твою графскую одежду!«

Въминуту одблся онъ; вычернилъ усы, брови, надблъ на темя маленькую темную шапочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду, ему казалось не болъе тридцати пяти лътъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городъ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имъвшему видъ сидящей цапли. Оно было инзкое, широкое, огромное, почериъвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длиниая, узкая башия, наверху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путинки вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Около тысячи человъкъ снали вмъстъ. Прямо шла инзенькая дверь, передъ которой сидъвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другого билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказалъ: »Это мы, слышите, наны, это мы.«

» Ступайте! « говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятія отъ него ударовъ.

Онц вступили въ корридоръ узкій и темный, который опять привель ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. »Кто идетъ? « закричало нъсколько голосовъ, и Тарасъ увидълъ порядочное количество вонновъ въ полномъ вооруженіи. »Намъ никого не вельно пускать. «

»Это мы! « кричаль Янкель: »ей Богу мы, ясные папы! « Но никто не хотьль слушать. Къ счастю, въ это время подошель какой-то толстякъ, который, по всемъ приметамъ, казался начальникомъ, потому-что ругался сильнее всехъ.

» Панъ, это жъ мы; вы уже знаете насъ, и панъ графъ еще будетъ благодарцть. «

»Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткъ! И больше пикого не пускайте! Да саблей чтобы инкто не скидалъ и не собачился на полу....«

Продолжения красноръчивато приказа уже не слышали наши путинки. »Это мы, это я, это свои!« говориль Янкель, встръчаясь со всякимъ.

» А что, можно теперь? « спросплъ онъ одного изъ стражей,

когда они наконецъ подощли къ тому мѣсту, гдѣ корридоръ уже оканчивался.

» Можно; только не знаю, пропустять ли васъ въ самую тюрьму. Тенеры уже ивтъ Яна: вмъсто его стоитъ другой «, отвъчалъ часовой.

» Ай, ай! « произнесъ тихо Жидъ: » это скверно, любезный панъ! « «Веди! « произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остріемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхий ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій винзъ, что дълало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съежился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ иему. »Ваша ясновельможность! ясновельможный панъ! «

«Кидъ, ото мив говоришь?«

»Вамъ, ясновельможный панъ.«

»  $\Gamma$ м. . . . а я, просто, гайдукъ! « сказалъ трехъ-ярусный усачъ съ повеселъвними глазами.

» А я, ей Богу, думаль, что это самъ воевода. Ай, ай, ай, ай. . . . « При этомъ Жидъ покрутилъ головою и разставилъ нальцы. » Ай, какой важный видъ! Ей Богу, полковинкъ, совсъмъ полковинкъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и нолковинкъ. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки! «

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ; при чемъ глаза его совершенно развеселились.

» Что за народъ военный! « продолжалъ Жидъ: » охъ вей миръ, что за народъ хорошій! Шиурочки, бляшечки.... такъ отъ пихъ блеститъ, какъ отъ солица; а цурки, гдъ только увидятъ военныхъ.... ай, ай! « Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустиль сквозь зубы звукъ, ивсколько похожій на лошадиное ржапіе.

»Прошу пана оказать услугу! « произнесъ Жидъ: »вотъ князь прівхаль изъ чужого края, хочеть посмотръть на козаковъ. Онъ еще съ-роду не видълъ, что это за пародъ козаки. «

Появленіе иностранных графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были завлекаемы единственно

любонытствомъ посмотръть этотъ почти полу-Азіятскій уголъ Евроны. Московію и Украйну они почитали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, ноклонившись довольно пизко, почелъ приличнымъ прибавить иъсколько словъ отъ себя:

» ${\rm Я}$  не знаю, ваша ясновельможность«, говориль онъ, »зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ.«

»Врешь ты, чортовъ сынъ! « сказалъ Бульба: » самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважають! Это вашу сретическую вѣру не уважають!

»Эге, ге! « сказаль гайдукь: »а, я знаю, пріятель, ты кто: ты самь изътьхь, которые уже сидять у меня. Постой же, я позову сюда нашихь.

Тарасъ увидълъ свою неосторожность; но упрямство и досада помъщали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастю, Янкель въ ту же минуту успълъ подвернуться.

» Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да быль козакъ? A если бы онъ быль козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій! «

»Разсказывай себъ! « И гайдукъ уже раскрыль было широкій роть свой, чтобы крикнуть.

»Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога!« закричаль Янкель: »молчите! мы уже вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще инкогда и не видъли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца.«

»Эге! два червонца! Два червонца мит ни-почемъ; я цырюльнику даю два червонца за то, чтобы мит только половину бороды выбриль. Сто червонныхъ давай, Жидъ!« Тутъ гайдукъ закрутилъ верхие усы. »А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!«

»II, на что бы такъ много? « горестно сказалъ побледивений Жидъ, развязывая кожаный метнокъ свой. Но онъ счастливъ былъ, что въ его кошельке не было более и что гайдукъ далее ста не умелъ считать.

»Панъ, панъ! уйдемъ скоръе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ!« сказалъ Янкель, замътивши, что гайдукъ перебиралъ на рукъ деньги, какъ-бы жалъя о томъ, что не запросилъ болъе.

» Что жъ ты, чортовъ гайдукъ«, сказалъ Бульба: »деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужъ когда деньги получилъ, то ты не вправъ теперь отказать. «

» Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то — сио минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите скоръе ноги, говорю я вамъ! «

» Панъ! панъ! пойдемъ, ей Богу, пойдемъ. Цуръ имъ! Пусть имъ присинтся такое, что илевать пужно! « кричалъ бъдный Янкель.

Бульба медленно, потуппвъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслъдуемый укорами Янкеля, котораго ъла грусть при мысли о даромъ истерянныхъ червонцахъ.

» II на что бы трогать? Пусть бы собака бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ вей миръ, какое счастіе посылаетъ Богълюдямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналь насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдёлаютъ такое, что и глядёть не можно, а никто не дастъ ста червонныхъ. О Боже мой! Боже мплосердый!«

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; она выражалась ножирающимъ нламенемъ въ его глазахъ.

»Пойдемъ!« сказаль онъ вдругъ, какъ-бы встряхнувшись: »пойдемъ на площадь. Я хочу посмотръть, какъ его будутъ мучнть.«

» Ой, панъ! зачёмъ ходить? Вёдь намъ этимъ не помочь уже. « » Пойдемъ! « упрямо сказалъ Бульба, п Жидъ, какъ нянька, вздыхая побрелъ вслёдъ за нимъ.

Илощадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валиль туда со всёхъ сторонъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣй-шихъ зрѣлищъ, не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные труны, которыя кричали съ-просонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусаръ, не пропускали, однакоже, случая полюбонытствовать. » Ахъ, какое мученье!«

кричали изъ инхъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже простанвали иногда довольно времени. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желаль бы вскочить всемь на головы, чтобы оттуда носмотреть новидиће. Изъ толны узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовываль свое толстое лицо мясникъ, наблюдаль весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день наппвался съ нимъ въ одномъ шинкъ. Иные разсуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свътъ, смотрятъ, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стояль молодой шляхтичь, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмъ, который надълъ на себя ръшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирф оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Двъ цъпочки, одна сверхъ другой, висъли у него на шев съкакимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-инбудь не замараль ея шелковаго платья. Онъ ей растолковаль совершенно все, такъ что уже ръшительно не можно было инчего прибавить.. »Воть это, душечка Юзыся«, говорилъ онь, »весь народь, что вы видите, пришель затымь, чтобы посмотръть, какъ будуть казнить преступниковъ. А воть тотъ, душечка, что вы видите, держить въ рукахъ съкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казинть. И какъ начистъ колесовать и другія дёлать муки, то преступникъ еще будеть живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотъ-часъ п умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубять голову, тогда ему не можно будеть ин кричать, ин всть, нп ппть, оттого что у него, душечка, уже больше не будеть головы.« И Юзыся все это слушала со страхомъ и любонытствомъ. Крышп домовъ былп устяны пародомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престраиныя рожи, съ усами и въчемъ-то похожемъ на чепчики. На балкопахъ, подъ балдахинами, сидъло аристократство. Хорошенькая ручка смівющейся, блистающей, какъ бізлый сахаръ, нанны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядъли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствъ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные нанитки и съъстное. Часто шалунья, съ черными глазами, схвативши свътлою ручкою своею ппрожное и плоды, кидала въ народъ. Толна голодныхъ рыцарей подставляла наподхватъ свои шанки, и какой-инбудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толны своею головою, въ нолиняломъ красномъ кунтушъ, съ почеритвышими золотыми шнурками, хваталь первый, съ помощію длинныхъ рукъ, цъловаль полученную добычу, прижималь ее къ сердцу и потомъ клаль въ ротъ. Соколъ, виствшій въ золотой клъткъ подъ балкономъ, быль также зрителемъ: перегнувши на-бокъ носъ и подиявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также винмательно народъ. Но толна вдругъ зашумъла и со всъхъ сторонъ раздались голоса: »Ведутъ! ведутъ! козаки!«

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отнущены. Они шли ни боязливо, пи угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостію; ихъ платья, изъ дорогого сукна, износились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядъли и не кланялись народу. Висреди всъхъ шелъ Остапъ.

Что почувствоваль старый Тарась, когда увидьль своего Остапа? Что было тогда въ его сердцв! Онъ глядьль на него изъ толны и не пророниль ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мъсту. Остапь остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянуль на своихъ, подняль руку вверхъ и произнесъ громко: »Дай же Боже, чтобы всѣ, какіе туть ни стоять еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится Христіянинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвиль ни одного слова! « Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

»Добре, сынку, добре!« сказаль тихо Бульба и уставиль въ землю свою съдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно-сдѣланные станки, и.... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ подиялись бы ихъ волосы. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго, свирѣнаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь одипхъ

воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человъчества. Напрасно и которые, немногіе, бывніе псключеніями изъ въка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мъръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвътленные умомъ и душой, представляли, что подобная жестокость наказаній можеть только разжечь мщеніе козацкой націп. Но власть короля и умныхъ мивній была ничто предъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые, своей необдуманностью, неностижимымъ отсутствіемь всякой дальновидности, дітскимь самолюбіемь и инчтожною гордостью, превратили сеймъ въ сатиру на правленіе. Остапъ выпосилъ терзанія и нытки, какъ псиолинъ. Ни крика, ин стона не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и погахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толны отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои — ничто похожее на стоиъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стоялъ въ толив, потупивъ голову, и въ то же время, гордо приподнявъ очи, одобрительно только говориль: »Добре, сынку, добре!«

Но когда подвели его къ послъдиимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ-будто стала подаваться его сила. И новель онъ очами
вокругъ себя. Боже! всё невъдомыя, всё чужія лица! Хоть бы
кто-инбудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не
хотъль бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или
безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и бнощей себя
въ бълыя груди; хотъль бы онъ теперь увидъть твердаго мужа,
который бы разумнымъ словомъ освъжилъ его и утъщилъ при
кончинъ. И уналъ онъ силою и воскликиулъ въ душевной немощи:
» Батько! гдъ ты? слышишь ли ты все? «

»Слышу! « раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллюнъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толны народа. Янкель поблъдиълъ, какъ смерть, и когда всадники немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлъ него не было: его и слъдъ простылъ.

## XII.

Отыскался слъдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какаянибудь малая часть, или отрядь, выступившій на добычу, или наугонъ за Татарами. Нътъ, поднялась вся нація, пбо переполиплось теривніе народа; поднялась отомстить за посмівнье правъ своихъ, за позорное унижение своихъ нравовъ, за оскорбление въры предковъ и святого обычая, за посрамленіе церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетенье, за унію, за позорное владычество Жидовства на Христіянской земль, за все, что копило и сугубило съ давинхъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но спльный духомъ, гетманъ Остраница предводилъ всею несмътной козацкой силою. Возлъ быль видънь престарълый, опытный товарищъ его и совътшикъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двънадцатитысячные полки. Два генеральные осаула и генеральный бунчужный вхали всявдь за гетманомъ. Генеральный хорунжій предводилъ главное знамя; много другихъ хоругвей и знаменъ развъвалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ, обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей и съ ними пѣшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было реестровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отвеюду поднялись козаки, отъ Чигрина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой стороны Дивировской и отъ всвхъ его верховій и острововъ. Безъ счету коин и несмътные таборы телегъ потянулись по полямъ. П между тъми-то козаками, между тъми восьмые полками отбориве всёхъ быль одинъ полкъ; и полкомъ тёмъ предводиль Тарасъ Бульба. Все давало ему перевъсъ предъ другими: и преклонныя льта, и опытность, и умёнье двигать своимъ войскомъ,, и сильнъйшая всъхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмёрною его безпощадная свирёпость и жестокость. Только огонь да висълицу опредъляла съдая голова его, н совътъ его въ войсковомъ совътъ дышалъ только однимъ истребленіемъ.

Нечего описывать всёхъ битвъ, гдё показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено вълѣтописныя

етраницы. Извъстно, какова въ Русской землъ война, поднятая за въру: нътъ силы сильнъе въры. Непреоборима и грозпа она, какъ нерукотворная скала среди бурнаго, въчно-измънчцваго моря. Изъ самой средины морского дна возноситъ она къ небесамъ непреломныя свои стъны, вся созданная изъ одного цъльнаго, сплошного камня. Отвсюду видна она и глядитъ прямо въ очи мимобъгущимъ волиамъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щены летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что ни есть на немъ, и жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лътописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ бъжали Польскіе гаринзоны изъ освобождаемыхъ городовъ; какъ были перевъшаны безсовъстные арендаторы-Жиды; какъ слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею армією противъ этой непреодолимой силы; какъ, разбитый, преслёдуемый, перетопиль онь въ небольшой рёчкё лучшую часть своего войска; какъ облегли его въ небольшомъ мъстечкъ Полонномъ грозные козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, Польскій гетманъ клятвенно об'єщалъ полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе всёхъ прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое Польская клятва. И Потоцкій не красовался бы больше на шеститысячномъ аргамакъ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумълъ бы на сеймахъ, задавая роскошные пиры сенаторамъ, если бы не спасло его находившееся въ мъстечкъ Русское духовенство. Когда вышли навстръчу всъ попы въ свътлыхъ золотыхъ ризахъ, неся цконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ ружь и въ настырской митръ, преклонили козаки всъ свои головы и сияли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, неже самого короля; но противъ своей церкви Христіянской не посмѣли и уважили свое духовенство. Согласился гетманъ вмъстъ съ полковниками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободъ всъ Христіянскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому вопиству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой миръ.

Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ изъ головы своей и вскрикнулъ:

»Эй, гетманъ и полковники! не сдълайте такого бабьяго дъла! не върьте Ляхамъ: продадутъ псяю́хи. « Когда же полковой писарь подаль условіе, и гетманъ приложиль свою властную руку, онъ взялъ съ себя чистый булатъ, дорогую Турецкую саблю, изъ первъйшаго жельза, разломиль ее на-двое, какъ трость, и кинуль далеко въразныя стороны оба конца, сказавъ: »Прощайте же! Какъ двумъ концамъ сего палаша не соединиться въодно и не составить одной сабли, такъ и цамъ, товарищи, больше не видаться на этомъ свъть! Помяните же прощальное мое слово (При семъ словъ голосъ его выросъ, поднялся выше, принялъ невъдомую силу — и смутились вей отъ пророческихъ словъ): передъ смертнымъ часомъ своимъ вы вспомиите меня! Думаете, кунили спокойствие и миръ, думаете нановать станете? Будете нановать другимъ нанованьемъ: сдерутъ съ твоей головы, гетманъ, кожу, набыотъ ее гречаною половою, и долго будуть видьть ее по всымь ярмаркамы! Не удержите и вы, паны, головъ свойхъ! пропадете въ сырыхъ погребахъ, замурованные въ каменныя стъны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всѣхъ живыми въ котлахъ! «

»А вы, хлопцы! « продолжаль онь, оборотившись къ своимъ: »кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертью? не по запечьямъ и бабъимъ лежанкамъ, не пъящыми подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всёмъ на одной постели, какъ женихъ съ невъстою! Или, можетъ быть, хотите воротиться домой, да оборотиться въ недовърковъ, да возить на своихъ спинахъ Польскихъ ксензовъ?«

»За тобою, пане полковинку! за тобою!« вскрикнули всѣ, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ иимъ неребѣжало немало другихъ.

» А коли за мною, такъ за мною же! « сказалъ Тарасъ, надвинувъ глубже на голову себъ шапку, грозно взглянулъ на всъхъ оставшихся, оправился на конъ своемъ и крикнулъ своимъ: »Не попрекнетъ же инкто насъ обидной ръчью! А иу, гайда, хлопцы, въ гости къ католикамъ! « И вслъдъ за тъмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за инмъ таборъ изъ ста телегъ, и съ ними много было козацкихъ конниковъ и пъхоты, и, оборотясь, грозилъ взо-

ромъ всёмъ оставшимся, — и гиёвенъ былъ взоръ его. Никто не посмёлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и всё грозилъ.

Смутны стояли гетманъ и полковинки; задумалися всё и молчали долго, какъ-будто тёснимые какимъ-то тяжелымъ предвёстіемъ. Недаромъ провёщалъ Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провёщалъ. Немного времени спустя послё вёроломиаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была голова гетмана на колъ вмёстё со многими изъ первёйшихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гуляль по всей Польшъ съ своимъ нолкомъ, выжегъ восьмиадцать мъстечекъ, близъ сорока костёловъ и уже доходиль до Кракова. Много избиль онъ всякой шляхты, разграбиль богатыніе и лучніе замки; распечатали и порозливали по землѣ козаки вѣковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. »Ничего не жальйте!« повторяль только Тарась. Не уважили козаки чернобровыхъ панянокъ, бълогрудыхъ, свътлоликихъ дъвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онв: зажигаль ихъ Тарасъ вмъсть съ алтарями. Не одић билосивжныя руки подымались изъ огненнаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъкоторыхъ бы подвигнулась сама сырая земля и степная трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ипчему жестокіе козаки и, поднимая коньями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъже въ иламя. »Это вамъ, вражьи Ляхи, поминки по Остань!« приговариваль только Тарасъ. И такія номинки по Остані отправляль онь въ каждомъ селенін, нока Польское правительство не увидёло, что поступки Тараса были побольше, чёмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непремённо Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ всъхъ преслъдованій; едва выносили кони необыкновенное бътство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ быль достопиъ возложеннаго порученія: неутомимо преслъдоваль онъ ихъ и настигъ на берегу Диъстра, гдъ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся кръпость.

Надъ самой кручей у Дивстра-ръки видивлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стънъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичомъ устяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетёть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ къ полю, обступилъ его коронный гетманъ Потоцкій. Четыре дня бились и бородись козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробились - было уже козаки и, можеть быть, еще разъ послужили бы имъ върно быстрые копи, какъ вдругъ, среди самого бъту, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: » Стой! вынала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька, доеталась вражьнить Ляхамъ!« II нагнулся старый отаманъ и сталъ отыскивать въ травѣ свою люльку съ табакомъ, неотлучную сопутинцу на моряхъ и на сушт, и въ походахъ, и дома. А тъмъ временемъ набъжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія нлечи. Двинулся было онъ всёми членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившее его гайдуки. »Эхъ старость, старость!« сказаль онь, и заплакаль дебелый старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолъла силу. Чуть не тридцать человъть повисло у него по рукамъ и по ногамъ. » Попалась ворона!« кричали Ляхи. »Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собакъ, лучшую честь воздать.« И присудили, съ гетманскаго разръщенья, сжечь его живого въ виду всёхъ. Тутъ же стояло голое дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его жельзными цъпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибивши ему руки и приподиявъ его новыше, чтобы отвеюду быль видыть козакь, и принялись туть же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядълъ Тарасъ, не объ огиъ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его: глядёлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдф отстрфливались козаки, — ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. »Занимайте, хлопцы, занимайте скорфе«, кричаль онь, »горку, что за льсомь: туда не подступять они!« Но вътеръ не донесъ его словъ. »Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что ! « говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ виизъ, гдъ сверкалъ Диветръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увиделъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собраль вею силу

голоса и зычно закричаль: »Къ берегу! къ берегу, хлопцы! спускайтесь подгорной дорожкой, что нальво. У берега стоять челны, всь забирайте, чтобы не было ногони.«

На этотъ разъ вътеръ дунулъ съ другой стороны, и всъ слова были услышаны козаками. Но за такой совътъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головъ, который переворотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за илечами. Видять: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. » А, товарищи! не куда пошло! « сказали вет, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свиснули — и Татарскіе ихъ кони, отдёлившись отъ земли, расиластавшись въ воздухѣ, какъ змѣн, перелетъли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Дибстръ. Двое только не попали въ рѣку, грянулись еъвышины объкаменья и пропалитамъ на въки съконями, даже не усивыши издать крику. А козаки уже илыли съ конями въръкъ и отвязывали челны. Остановились Ляхи надъ пропастью, дивясь неслыханному козацкому дёлу и думая: прыгать ли имъ, или и тътъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной Полячки, обворожившей бъднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всъхъ силъ съ конемъ за козаками. Перевернулся три раза въвоздухѣ съконемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въкуски изорвали его острые камии, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгаль росшіе по неровнымъ стънамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Дивстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; нули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у ста-

раго отамана.

»Прощайте, товарищи! « кричалъ опъ имъ сверху, вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чортовы Ляхи? думаете есть чтонибудь на свътъ, чего бы побоялся козакъ? Постойте же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое провославная Русская въра! Уже и теперь чуютъ дальне и близке народы: подымется изъ Русской земли свой царь, и не будетъ въ міръ силы, которая бы не покорилась ему!...« А уже огонь подымался надъкостромъ, захватывалъ его ноги и разостлался иламенемъ по дереву... Да развъ найдутся на свътъ такіе огии и муки и сила такая, которая бы пересилила Русскую силу!

Не малая рѣка Диѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубокихъ мѣстъ; блеститъ рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебелей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ турухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ въ тростипкахъ и на прибрежьяхъ. Козаки быстро илыли на узкихъ двухрульныхъ челиахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали отмели, всполашивая подымавшихся итицъ, и говорили про своего ота́мана.

## портретъ.

(Вк исправленномк виды.)

## ЧАСТЬ І.

Нигдъ не останавливалось столько народу, какъ нередъ картинною лавочкою на Щукиномъ дворъ. Эта лавочка представляла, точно, самое разпородное собрание диковинокъ: картины большею частію были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бълыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожий на зарево ножара, Фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болье на пидвійскаго пътуха въ манжетахъ, нежели на человъка — вотъ ихъ обыкновенные сюжеты. Къ этому надо присовокупить и всколько гравированных в изображеній: портреть Хозрева-Мпрзы въ бараньей шанкъ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шлянахъ съ кривыми носами. Сверхъ того, двери такой давочки обыкповенно бываютъ увѣшаны связками произведеній, отпечатанныхъ лубками на большихъ листахъ, которыя свидътельствують о самородномъ дарованін Русскаго человъка. На одномъ была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другомъ городъ Герусалимъ, по домамъ и церквамъ котораго безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся Русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какойнибудь забулдыга-лакей уже, върно, зъваетъ передъ ними, держа въ рукъ судки съ объдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомивнія, будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ нимъ уже, върно, стоитъ въ шинели солдатъ, этотъ кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка-Охтенка съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по - своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ серьёзно; лакен-мальчишки и мальчишкимастеровые смъются и дразнятъ другъ друга нарпсованными каррикатурами; старые лакен въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдъ-нибудь позъвать; а торговки, молодыя Русскія бабы, сиъшатъ по пистинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотръть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чартковъ. Старая шинель и нещетольское платье показывали въ немъ человъка, который съ самоотверженіемъ преданъ быль своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядъ, всегда имъющемъ таинственную привлекательность для молодости. Онъ остановился нередъ лавкою, и сперва внутренно смъялся надъ этими уродливыми картинами. Наконецъ, овладъло имъ невольное размышленіе, онъ сталь думать о томъ кому бы нужны были эти произведенія. Что Русскій народъ заглядывается на Еруслановъ Лазаревичей, на объедаль н описаль, на Оому и Ерему, это не казалось ему удивительнымъ: изображениые предметы были очень доступны и понятны народу; но гдф покупатели этихъ нестрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти Фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывають какое-то притязание на нъсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которомъ выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки: иначе — въ нихъ, при всей безчувственной каррикатурности цълаго, вырывался бы острый порывъ. Но здѣсь было видно просто тупоуміе, безсильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала въ ряды искусствъ, тогда какъ ей мъсто было среди инзкихъ ремеслъ; бездарность, которая была върна, однакожъ, своему призванию и внесла въ самое искусство

свое ремесло. Тѣ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобыкшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человѣку!....

Долго стояль онъ передъ этими грязными картинами, уже наконецъ пе думая вовсе о нихъ; а между тѣмъ хозяниъ лавки, сѣренькій человѣчекъ, во фризовой шинели, съ бородой, небритой съ самого воскресенья, толковалъ ему уже давно, торговался и условливался въ цѣнѣ, еще не узнавъ, что ему поправилось и что нужно. »Вотъ за этихъ мужичковъ и за ландшафтикъ возьму бѣленькую. Живопись-то какая! просто глазъ прошибетъ; только что получены съ бпржи: еще и лакъ не высохъ. Или вотъ зима, — возьмите зиму! иятиздцатъ рублей! одна рамка чего стоитъ! Вонъ она какая зима!« Тутъ купецъ далъ легкаго щелчка въ полотно, вѣроятно, чтобы показать всю добро́ту зимы. »Прикажете связать ихъ вмѣстѣ и снести за вами? гдѣ изволите житъ? Эй, малый! подай веревочку.«

»Постой, братъ, не такъ скоро«, сказалъ очнувшійся художникъ, видя, что ужъ проворный купецъ прянялся не въ шутку ихъ связывать вмѣстѣ. Ему сдѣлалось иѣсколько совѣстно не взять ничего, застоявшись такъ долго въ лавкѣ, и онъ сказалъ: »А вотъ ностой, я посмотрю, иѣтъ ли для меня чего-нибудь здѣсь«, и, наклонившись, сталъ доставать съ полу громоздко наваленныя, истертыя, запыленныя старыя малеванья, непользовавшіяся, какъ видно, никакимъ почетомъ. Тутъ были старинные фамильные портреты, которыхъ нотомковъ, можетъ быть, и на свѣтѣ нельзя было отыскать; совершенно неизвѣстныя изображенія съ прорваннымъ холстомъ; рамки, лишенныя позолоты; словомъ, всякій ветхій соръ. Но художникъ принялся разсматривать, думая втайиѣ: »Авось что-нибудь и отыщется. «Онъ не разъ слышалъ разсказы о томъ, какъ иногда у лубочныхъ продавцовъ были отыскиваемы въ сору картины великихъ мастеровъ.

Хозяпиъ, увидѣвъ, куда полѣзъ онъ, оставилъ свою суетливость и, принявши обыкновенное положене и надлежащій вѣсъ, помѣстился съизнова у дверей, зазывая прохожихъ и указывая имъ одной рукой на лавку: »Сюда, батюшка, вотъ картины! зайдите, зайдите; съ биржи получены.« Уже накричался онъ вдоволь и

большею частью безплодно; наговорился досыта съ лоскутнымъ продавцомъ, стоявшимъ насупротивъ его, также у дверей своей лавочки, и наконецъ, вспомнивъ, что у него въ лавкѣ есть покупатель, оборотился къ народу спиной и отправился внутрь ея. » Что, батюшка? выбрали что-ипбудь?« Но художникъ уже стоялъ нѣсколько времени неподвижно передъ одинмъ портретомъ въ большихъ, когда-то великолѣнныхъ рамахъ, но на которыхъ чуть блестъли теперь слъды позолоты.

Это быль старикъ съ лицомъ бронзоваго цвъта, скулистымъ, чахлымъ; черты лица, казалось, были схвачены въ минуту судоржнаго движенья и отзывались не стверною силою: пламенный полдень быль запечатлёнь въшихь. Онь быль драпировань въширокій Азіятскій костюмъ. Какъ ни быль поврежденъ и запыленъ портретъ, но когда удалось ему счистить съ лица пыль, онъ увилълъ следы работы высокаго художника. Портреть, казалось, быль не конченъ; но сила висти была разительна. Необыкновените всего были глаза: казалось, въ нихъ употребилъ всю силу кисти и все тщаніе свое художинкъ. Они, просто, глядёли, глядёли даже изъ самого портрета, какъ-будто разрушая его гармонію своею странною живостью. Когда поднесь онъ портреть къ дверямъ, еще сильнъе глядъли глаза. Почти то же впечатлъніе произвели они и въ народъ. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: »Глядить, глядить! « и попятилась назадь. Что-то непріятное, непонятное самому себѣ почувствоваль онъ и поставиль портреть на землю.

- » А что жъ? возьмите портретъ! « сказалъ хозяпнъ.
- » А сколько? « сказалъ художникъ.
- »Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!«
- »Нѣтъ.«
- »Ну, да что жъ дадите?«
- » Двугривенный «, сказалъ художникъ, готовясь идти.
- »Экъ цвиу какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купить! Видно, завтра собираетесь купить? Господинъ, господинъ, воротитесь! гривениичекъ хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вотъ только, что первый покупатель. « За симъ онъ сдълалъ жестъ рукой, какъбудто бы говоривший: »Такъ ужъ и быть, пропадай картина! «

Такимъ образомъ Чартковъ совершенно неожиданно купилъ старый портреть, и въ то же время нодумаль: »Зачёмъ я его куинлъ? на что онъ мит? « Но дълать было нечего. Онъ вынулъ изъ кармана двугривенный, отдаль хозянну, взяль портреть подъ мышку и потащиль его съ собою. Дорогою онъ вспомииль, что двугривенный, который онъ отдаль, быль у него последній. Мысли его вдругъ омрачились; досада и равнодушная пустота обияли его въ ту же минуту. »Чортъ побери! гадко на свътъ! « сказалъ онъ съ чувствомъ Русскаго, у котораго дела плохи. И почти машинально шелъ скорыми шагами, полный безчувствія ко всему. Красный свъть вечерней зари оставался еще въ половнит неба; еще дома, обращенные къ той сторонъ, чуть озарялись ея теплымъ свътомъ; а между тъмъ уже холодное синеватое сіянье мъсяца становилось свътлъе. Полупрозрачныя легкія тъпи хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами ившеходцевъ. Уже художникъ начиналъ мало-помалу заглядываться на небо, озаренное какимъ-то прозрачнымъ, топкимъ, соминтельнымъ свътомъ, и почти въ одно время излетали изъ устъ его слова: »Какой легкій тонъ!« и слова: »Досадно, чортъ побери!« и онъ, поправляя нортреть, безпрестанно събзжавшій изь-подъ мышки, ускоряль шагъ.

Усталый и весь въ поту, дотащился онъ къ себѣ въ нятнадцатую линю, на Васильевскій Островъ. Съ трудомъ и одышкой взобрался опъ по лѣстинцѣ, облитой помоями и украшенной слѣдами кошекъ и собакъ. На стукъ его въ дверь, не было никакого отвѣта: человѣка не было дома. Онъ прислонился къ окиу и расположился ожидать терпѣливо, пока не раздались наконецъ позади его шаги нария въ синей рубахѣ, его приспѣшника, натурщика, краскотерщика и выметателя половъ, начкавшаго ихъ тутъ же своими сапогами. Нарень назывался Никитою и проводилъ все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился поцасть ключомъ въ замочную дырку, вовсе незамѣтную по причинѣ темноты. Наконецъ дверь была отперта. Чартковъ встунилъ въ свою переднюю, нестерпимо холодную, какъ всегда бываетъ у художниковъ, чего впрочемъ они не замѣчаютъ. Не отдавая Никитѣ шинели, онъ вошелъ въ ней въ свою студю — квадратную компату, большую, но пизенькую, съ замерашими окнами, уставленную всякимъ художническимъ хламомъ: кусками гинеовыхъ рукъ, рамками, обтянутыми холстомъ, эскизами, начатыми и брошенными, дранировкой, развѣшенной по стульямъ. Онъ усталъ сильно, скинулъ шинель, поставилъ разсѣянно принесенный портретъ между двухъ небольшихъ холстовъ и бросился на узый диванчикъ, о которомъ нельзя было сказать, что онъ обтянутъ кожею, потому что рядъ мѣдныхъ гвоздиковъ, когда-то прикрѣплявшихъ ее, давно уже остался самъ по себѣ, а кожа осталась тоже сверху сама по себѣ, такъ что Никита засовывалъ нодъ нее черные чулки, рубашки и все немытое бѣлье. Посидъвъ и разлетнись, сколько можно было разлечься на этомъ узенькомъ диванѣ, онъ наконецъ спросилъ свѣчу.

»Свъчи пътъ«, сказалъ Инкита.

»Kara hara?«

»Да въдь и вчера еще не было«, сказалъ Иннита. Художникъ всномишлъ, что дъйствительно и вчера еще не было свъчи, усноковлея и замолчалъ. Опъдалъ себя раздъть и надълъ свой, кръпко и сильно заношенный, халатъ.

»Да вотъ еще, хозиннъ былъ«, сказалъ Ининта.

»Пу, приходилъ за деньгами? знаю«, сказалъ художникъ, махнувъ рукой.

»Да онъ не одинъ приходилъ«, сказалъ Инкита.

»Съ къмъ же?«

»Ис знаю съ къмъ, какой-то квартальный.«

» А пвартальный зачёмъ? «

»Не знаю зачёмъ; говорить, затёмъ, что за квартиру не плачено.«

»Ну, что жъ наъ того выйдеть?«

»И не знаю, что выйдеть; онъ говориль: «Коли не хочеть, «такъ пусть«, говорить, »събзжаеть съ квартиры.« Хотъли завтра еще придти оба.«

»Пусть ихъ приходятъ«, сказаль съ грустнымъ равнодушіемъ Чартковъ— и ненастное расноложеніе духа овладѣло имъ вполкъ.

Молодой Чартковъ быль художинкъ съ талантомъ, пророчившимъ многое: венанизми и мгловен-ями, его кисть отзывалась наблюдательностію, соображеніемъ, шибкимъ норывомъ приблизиться болье къ природь. »Смотри братъ«, говориль ему не разъ его профессоръ: » у тебя есть таланть: грённо будеть, если ты его погубищь; но ты истеритливъ; тебя одно что-инбудь заманитъ, одно что-инбудь полюбится — ты имъ занятъ, а прочее у тебя дряць, прочее тебі ші по чемъ, ты ужъ и глядіть на него не хочень. Смотри, чтобъ изъ тебя не вышелъ модный живонисецъ: у тебя и теперь что-то начинають слишкомъ бойко кричать краски; рисуновъ у тебя не строгъ, а подъ-часъ и вовсе слабъ, линія не видна; ты ужъ гоняешься за моднымъ освъщеньемъ, за тъмъ, что бьеть на-первые глаза... смотри, какъ разъ попадешь на Англійскій родъ. Берегись: тебя ужъ начинаетъ свъть тянуть; ужъ я вижу, у тебя иной разъ на шев щегольской платокъ, шляпа съ доскомъ.... Оно заманчиво, можно пуститься писать модныя картинки, портретики за деньги; да въдь на этомъ губится, а не развертывается талантъ. Терин; обдумай всякую работу; брось щегольство — пусть ихъ другіе набирають деньги, — твое отъ тебя не уйдеть.«

Профессоръ былъ отъ-части правъ. Ипогда нашему художинку, точно, хотълось кутнуть, щегольнуть, словомъ — кое-гдъ показать свою молодость; но при всемъ томъ онъ могъ взять надъ собою власть. Временами онъ могъ позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался отъ нея не иначе, какъ отъ прекраснаго прервациаго сна. Вкусъ его развивался замътно. Еще не понималь опъ всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, шпрокой кистью Гвидо, останавливался передъ портретами Тиціана, восхищался Фламандцами. Еще потемивний обликъ, облекающий старыя картины, не весь сошелъ передънимъ; но онъ уже прозрѣвалъ вънихъ кое-что, хотя внутренно не соглашался съ профессоромъ, чтобы старинные мастера такъ недосягаемо ушли отъ насъ: ему казалось даже, что девятпадцатый въкъ кое въ чемъ значительно ихъ онередиль, что подражаніе природѣ какъ-то сдѣладось теперь ярче, живъе, ближе; словомъ, опъ думалъ въ этомъ случав такъ, какъ думаетъ молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это въ гордомъ внутрениемъ сознанін. Пногда становплось ему досадно, когда онъ видёлъ, какъ заёзжій живописецъ, Французъ или Нъмецъ, пногда даже вовсе не живописецъ по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красокъ, производилъ всеобщій шумъ и накоплялъ сеоб въ мигъ денежный каниталъ. Это приходило къ нему на умъ не тогда, когда, занятый весь своей работой, онъ забывалъ и питье, и пищу, и весь свътъ, но тогда, когда наконецъ сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красокъ, когда неотвязчивый хозяниъ приходилъ разъ по десяти на день требовать илаты за квартиру. Тогда завидно рисовалась въ голодномъ его воображены участь богача-живописца; тогда пробъгала даже мыслъ, пробъгающая часто въ Русской головъ — броенть все и закутить съ горя. на зло всему. И теперь онъ почти былъ въ такомъ положени.

»Да, терин, терин!« произнесъ опъ съ досадою; » есть жинакопецъ и теривнью конецъ. Терин! а на какія деньги я завтра буду объдать? Въ-займы въдь никто не дастъ. А понеси я продавать всъ мои картины и рисунки: за инхъ мив за всъ двугривенный дадутъ. Они полезны, конечно; я это чувствую: каждая изъ нихъ предпринята не даромъ, въ каждой изъ нихъ я что-пибудь узналъ. Да въдь что пользы? этюды, понытки—и всё будутъ этюды, понытки,—и конца не будетъ имъ. Да и кто купитъ, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки съ антиковъ изъ изтурнаго класса, или моя неконченпая любовь Исихеи, или перспектива моей комнаты, или портретъ моего Никиты, хотя онъ, право, лучше портретовъ какого-нибудь моднаго живописца? Что въ самомъ дълъ? Зачъмъ я мучусь и, какъ ученикъ, конаюсь надъ азбукой, тогда какъ могъ бы блеснуть личъмъ не хуже другихъ и быть такимъ, какъ они, съ деньгами?«

Произнесши это, художникъ вдругъ задрожалъ и поблѣднѣлъ: на него глядѣло, высунувшись изъ-за поставленнаго холста, чье-то судорожно искаженное лицо; два страшные глаза прямо вперились въ него, какъ-бы готовясь сожрать его; на устахъ написано было грозное новелѣнье молчать. Испуганный, онъ хотѣлъ вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успѣлъ занустить въ, своей нередней богатырское храпѣнье; но вдругъ остановился и засмѣялся; чувство страха отлегло въ мигъ: это былъ имъ кунленный портретъ, о которомъ онъ позабылъ вовсе. Сіяніе мѣсяца, озаривши комнату,

упало и на него, и сообщило ему странцую живость. Онъ прииялся разсматривать и оттирать. Обмакнуль въ воду губку, промель ею но немъ ибсколько разъ, смыль съ него почти всю наконняннуюся и набившуюся ныль и грязь, новъсиль нередъ собой на ствиу и подивился еще болве необыкновенной работв: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него такъ, что онъ наконецъ вздрогнулъ и, понятившись назадъ, произнесъ изумлениымъ голосомъ: »Глядить, глядить человъческими глазами!« Ему иришла вдругъ на умъ исторія, слышанная имъ давно отъ своего профессора, объ одномъ портретъ знаменитаго Леонарда да Винчи, надъ которымъ великій мастеръ трудился пъсколько лътъ и всё еще ночиталь его неоконченнымь, и который, но словамь Вазари, быль, однакоже, почтекъ отъ всъхъ за совершенивние и оконченвъйнее произведение искусства. Окончениве всего были въ немъ глаза, которымъ изумлялись современники; даже малыния, чуть видныя въ нихъ, жилки были не упущены и приданы нолотиу. Нь здёсь, однакоже, въ этомъ, ныий бывшемъ нередълимъ, портреть, было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонно самого нортрета; это были живые, это были человъческіе глаза! Казалось, какъ-будто они были выръзаны изъживого человъва и вставлены сюда. Здъсь не било уже того высокаго наслажденья, которое объемлеть душу при взгляді на произведение художиння, какъ ин ужасенъ взятый имъ предметь: субсь было какое-то бользиенное, томительное чувство. «Что это?« невольно вопроизать себя художинкъ: »въдь это, однакоже, нутура, это живая натура: отъ чего же это страино-непріятное чльство? Или рабское, буквальное подражание натуръ есть уже проступовы и важется аркимы, нестройнымы крикомы? Или, есла возьмень предметь безущство, безчувственно, не сочувствуя съ инмъ, онъ непременно предстанетъ только въздной унасной своей дъйствительности, неозаренный свътомъ вакой-то непостижимой. стрытой во всемъ мысли, предстанеть въ той действительности, таная открывается тогда, когда, желая постигнуть препраснаго человіна, вооружаенься знатомическимь ножомь, разсікаень его виутренность — и видинь отвратительнаго человѣка? Почему же простая, визкая природа является у одного художника въкакомъто свѣть—и не чувствуещь инкакого инжаго внечатльнія: илиретивь, кажется, какъ-будто изсладился, и посль того спокойнье и ровите все течеть и движется вокругь тебя? И ночему же та же самая природа у другого художинка кажется инжою, грязною, с. между прочимь, онь такъ же быль върень природъ? Но нътъ, итъть въ ней чего-то озаряющаго. Все равно, какъ видь въ природъ: какъ онъ ин великольнень, а веё недостаетъ чего-то, если пъть на небъ солица.«

Онъ онять подошель къ портрету, съ тъмъ чтобы раземотръть эти чудиме глаза, и съ ужасомъ замьтиль, что они точно глядять на него. Это уже не была конія съ натуры: это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшаго изъ могили. Свътъли мъсяца, несущій съ собой бредъ мечти и облагавацій все въ шиме образы, противоноложные положительному дию, или что другое было причиною тому, — только ему сдълглось вдругъ, не извъстно отчего, странью сидъть одному въ комизтв. Онъ тихо отошель отъ портрета, отверотился въдругую сторону и старался не глядуть из него, а между тъмъ глазъ невольно, самъ собою, косясь, окидываль его. Наковець ему еділалось даже странию ходить по комитть; очу казалось, какъ-будто сей же часъ кто-то другой станстъ ходить нозади его, -- и всякий разъ вобно огладывался онъ иззадъ. Онъ не быль инкогда трусливъ; но вооораженье и первы его были чутки, и въртотъ вечеръ онь самъ не могъ истолновать своей неводьный болзни. Онъ сълъ въ угодомъ, но и здъсъ казалось сму, что кто-то вотъ-вотъ зглякеть черезъ илечо из нему въ личо. Самое хранънье Инкиты. раздававищеет изъ передней, не прогоняло его боязии. Онъ наконенъ робко, не подмуся глазъ, поднялся съ своего мъста, отправплен из себф за пирмы и легь въ посте и. Сквозь щелжи въ ниприяха от видель севещелную месядеть стою коммату и видъль примо висъвной на стъиз портретъ. Глаза еще страниве. еще значительнее вперились вълего и, казалось, не хотвли им на что другое глядёть, какъ только на него. Полный тягостнаго чувства, онъ рѣнился встать съ ностели, ехватиль простыню и. приблизясь къ портрету, закуталъ его всего.

Сдълавии это, онъ легъ въ постель новойнъе, сталъ думать о

обдиости и жалкой судьов художника, о теринстомъ нути, предстоящемъ ему на этомъ свътъ; — а между тъмъ глаза его невольно глядъли сквозь щелку ширмъ на закутанный простынею портреть. Сіянье мъсяца усиливало бълизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвёчивать сквозь холстицу. Со страхомъ вперилъ онъ пристальнъе глаза, какъ-бы желая увъриться; что это вздоръ. Но наконецъ уже въ самомъ дълъ.... онъ видить, видить ясно: простыни уже нъть... портреть открыть весь и глядить, мимо всего, что ин есть вокругь, прямо на него, глядить, просто, къ нему внутрь.... У него захолонуло сердце. И видитъ: старикъ ношевелился и вдругъ уперся въ рамку объими руками, наконецъ принодиялся на рукахъ и, высунувъ объ ноги, выпрыснуль изъ рамъ.... Сквозь щелку ширмъ видиы были: уже одиъ только пустыя рамы. По комнатё раздался стукъ шаговъ, который наконецъ становился ближе и ближе къ ширмамъ. Сердце стало епльнъе колотиться у бъднаго художинка. Съ занявшимся отъ страха дыханьемъ, онъ ожидалъ, что вотъ-вотъ глянетъ къ нему за ширмы старикъ. И вотъ онъ глянулъ точно за ширмы, съ тъмъ же бронзовымъ лицомъ и поводя большими глазами. Чартковъ силился векрикнуть — и почувствоваль, что у него ибтъ голоса, силился ношевельнуться, сдёлать какое - нибудь движеніе — не движутся члены. Съ раскрытымъ ртомъ и замершимъ дыханьемъ, смотрѣлъ опъ на этотъ странный фантомъ высокаго роста, въ какой-то широкой Азіятской ряст, и ждаль, что станеть онъ дълать. Старикъ сълъ почти у самыхъ погъ его и вельдъ за тъмъ что-то вытащиль изъ-подъ складокъ своего широкаго илатья. Это быль мёшокъ. Старикъ развязаль его и, схвативши за два конца, ветряхнуль: съглухимъ звукомъ унали на полъ тяжелые свертки, въ видѣ длинныхъ столбиковъ; каждый былъ завернутъ въ синюю бумагу, и на каждомъ было выставлено: 1000 червонныхъ. Высунувъ свои длинимя, костистыя руки изъ широкихъ рукавовъ, старикъ началъ разворачивать свертки. Золото блеснуло. Какъ ин велико было тягостное чувство и обезнамятъвший страхъ художника, но онъ вперился весь въ золото, глядя неподвижно, какъ оно развертывалось въ костистыхъ рукакъ, блестьло, звеньло тонко и глухо и свертывалось вновь. Тутъ замітиль онъ одинь сверкоть, откатившійся подалье оть другихь къ самой ножке его кровати, въ головахь у него. Почти судорожно схватиль онь его и, нолимії страха, смотрель, не замётить ли старикь. Но старикь быль, казалось, очень занять; онь собраль все свертки свои, уложиль ихь снова въ мёшокь и, не взглянувши на него, ушель за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда онь услышаль, какъ раздавался по комнать шелесть удалявшихся шаговь. Онь сжималь крыче свертокъ свой въ рукь, дрожа за него всёмь тыломъ, — и вдругь услышаль, что шаги вновь приближаются къ ширмамъ... видно, старикъ вспомииль, что недоставало одного свертка. И воть — онь глянуль къ нему вновь за ширмы. Полный отчания, художникъ стиснуль всею силою въ рукъ своей свертокъ, употребиль все усиле сдълать движенье, вскрикнуль — и просиулся.

Холодный потъ облиль его всего; сердце его билось такъ сильно, какъ только можно было биться; грудь была стъснена, какъбудто хотбло улетъть изъ нея послъднее дыханье. »Неужели это быль сонь?« сказаль онъ, взявши себя объими руками за голову. По страниная живость явленья не была похожа на сонъ. Онъ видъль, уже пробудившись, какъ старикъ ушель въ рамки, мелькпула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту предъ симъ какую-то тяжесть. Свъть мъсяца озаряль комнату, заставляя выступать изъ темныхъ угловъ ея — гдѣ холстъ, гдѣ готовую руку, гдѣ оставленную на стулѣ дранировку, гдѣ нанталоны и нечищенные сапоги. Тутъ только замътплъ онъ, что не лежитъ въ постели, а стоитъ на погахъ прямо передъ портретомъ. Какъ онъ добрался сюда-ужъ этого инкакъ не могъ онъ понять. Еще болбе изумило его, что портретъ былъ открыть весь, и простыни на немъ, дъйствительно, не было. Съ неподвижнымъ страхомъ глядёлъ онъ на него и видёлъ, какъ прямо вперились въ него живые человъческие глаза. Холодный нотъ выступиль на лиць его; онъ хотьль отойти, но чувствоваль, что ноги его какъ-будто приросли къ землъ. И видитъ онъ, — это уже не сонъ: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться къ нему, какъ-будто бы хотвли его высосать.... Съ воплемъ отчанныя отскочиль онь — и проспулся.

»Неужели и это быль сонь?« Съ біющимся на-разрывъ сердцемъ, ощупаль онъ руками вокругъ себя. Да, онъ лежитъ на ностели, въ такомъ точно положенъи, какъ заспулъ. Нередъ нимъ ширмы; свѣтъ мѣсяца наполиялъ компату. Сквозь щель зъ инирмахъ видѣнъ былъ портретъ, закрытый, какъ слѣдуетъ, простынею, такъ, какъ онъ самъ закрылъ его. Итакъ это былъ тоже сонъ! По сжатая рука еще чувствуетъ, какъ будто бы въ ней что-то было. Біеніе сердца было сильно, почти странно; тягость въ груди невыносимая. Окъ внериль глаза въ шель и пристально гладъль на простышю. И котъ, видитъ ясно, что простыня начиваетъ раскрываться, какъ будто бы нодъ нею барахтались руки и силились ее сбросить. »Госноди, Боже мой, что это!« вскрикнуль онъ, крестясь отчанию, — и просиулся.

II это быль также совъ? Овъ векочиль съ постели, полумный, обезнамятъвний, и уже не могъ изъяснить, что это еъ инмъ дывется: давленье ли кончара, или домового, бредь ли горяччи. или живое видвиье. Стараясь утичнось сколько-набудь душевлое. волиенье и расколыхавинуюся кровь, потория бились и предисинымъ пульсомъ по вебуть его жилауть, онъ подощель къздату и отпрыль форточку. Холодимії нахнувшій в'ттеръ оживиль его. Лункое сіяніе лежало всё еще на крышахъ и бълыхъ стънахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще нереходить по небу. Все было тихо: изръдка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожекъ извощика, который гдв-инбудь въ невидномъ неречляв сналъ, зблюкиваемый своею лёнивою клячею, поджидая запоздалаго седока. Долго глядъть опъ, высунувни голову въфорточку. Уже на небъ раждались признаки прибликающейся зари: наколедъ ночувствоваль онъ дремоту, захлоннулъ форточну, отошель прочь, детъ въ постель и скоро заснуль, какъ убитый, самымы прънкамъ сномъ.

Проснулся онъ очень ноздно и ночувствоваль въ себъ то непріятное состояніе, которое овладіваєть человікоми нослі угара: голова его непріятно болівля. Въ комнать было тускло: непріятная мокрота сівялась въ воздухії и проходила сквозь щели его оконъ, заставленных картинами или нагруптованными холстоми. Пасмурный, недовольный, какъ мокрый пітухъ, усілся онъ на своемъ оборванномъ диванів, не зная самъ, за что приняться, что ділать, и веноминлъ наконецъ весь свой сопъ. Но мъръ приноминанья. сонь этоты представлялся вы его воображеный такъ тягостно-живы, что онъ даже сталь нодозрѣвать, точно ли это быль сонъ и простой бредъ, не было ли здъсь чего-то другого, не было ли это лидвике. Сдеричвин простыно, онъ раземотръль при дневиомъевътъ этотъ страннами портретъ. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью, но инчего онь не находиль въ нихь особенно страниаго; только какъ-будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душть. При всемъ томъ онъ всётаки не могъ совершенно увършться, чтобы это быль сопъ. Ему казалось, что среди сва быть какой-то страниний отравовъ изъ двиствительности. Казалось, даже въсямомъ взглядъ и виражени етарика какъ-будто что-то говорило, что онъ биль у него пъ эт кочь ; рука его чувствовала только лежавшую въ ней тижесть, какъбудтобы кто-то, заодну только зиничту предъсную, ее вихватиль у него. Ему казалось, что если бы опъ держаль только попрыне съертовъ, овъ, вършо, остался би у него въ рукъ и посль пробужденія.

» Боже мой! если бы хотя часть этихъ денегъ!» сималъ онъ. тижело водохирвия. — и въ воображени его стали вмециаться изъ мънка веб видвилее имъ свертки съ заманчикой падинсью: 1960 перзопивалось вновъ — и енъ сидълъ, уставивни пенодвияно и беземмелегно свои глаза въ нустой воздухъ, не будучи въ состояли оторваться отъ такого предмета, кикъ ребенокъ, сидицій предъ сладкимъ блюдомъ и видзицій, глотая слюнки, какъ бдять его другіе.

Наконецъ у дверей раздалея стукъ, заставивний его непріятно очнуться. Вонель мозятить съ квартальнымь надзирателемъ, котораго появление для людей межнихъ, какъ изгветно, еще непріятиве, нежели для богатыхъ лицо просителя. Хозяниъ исбольшого дома, въ которомъ жилъ Чартковъ, былъ одно изъ твореній, какими обыкновенно бывають владітели домовъ гдівнибудь въ пятнадцатой линіи Васильевскаго острова, на Истербургской сторонів, или въ отдаленномъ углу Коломил, — творенье, какихъ миого на Руси и которыхъ характеръ такт же трудно опреділить, какъ цибтъ

изношеннато сюртука. Въ молодости своей онъ былъ канитанъ и крикунъ, унотреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глунъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовъ, былъ уже въ отставкѣ, уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался, любилъ только нить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ но комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истечени каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу, съ ключомъ върукѣ, для того, чтобы носмотрѣть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его конуры, куда тотъ запрятывался снать; однимъ словомъ, человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладныхъ, остаются одиѣ только пошлыя привычки.

»Извольте сами глядѣть, Варухъ Кузьмичъ«, сказалъ хозяннъ, обращаясь къ квартальному и разставивъ руки: »вотъ не платитъ за квартиру, не платитъ.«

»Что жъ, если нътъ денегъ? Подождите, я заплачу.«

»Мив, батюшка, ждать нельзя«, сказаль хозяннъ въ-сердцахъ, дълая жестъ ключомъ, который держалъ въ рукв; » у меня вотъ Потогонкинъ подполковникъ живетъ, семь лътъ ужъ живетъ; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимаетъ на два стойла, три при ней дворовыхъ человъка... вотъ какіе у меня жильцы! У меня, сказать вамъ откровенно, иътъ такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчасъ же заплатить деньги, да и съъзжать вонъ.«

»Да, ужъ если порядились, такъ извольте илатить«, сказалъ квартальный надзиратель съ небольнимъ нотряхиваньемъ головы и заложивъ налецъ за путовицу своего мундира.

» Да чёмъ платить? вопросъ. У меня нётъ теперы ин гроша. «
» Въ такомъ случай, удовлетворите Ивана Ивановича издёльями своей профессии «, сказалъ квартальный: » онъ, можетъ быть, согласится взять картинами. «

»Нѣтъ, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины съ благороднымъ содержаніемъ, чтобы можно было на стѣну повъсить; хоть какой-нибудь генералъ со звѣздой; или князя Куту-

зова портреть; ато вонь мужика парисоваль, мужика въ рубахѣ. слуги-то, что треть краски. Еще съ него, свиньи, портреть рисовать! ему я шею наколочу; онъ у меня всѣ гвозди изъ задвижекъ повыдергалъ, мошенинкъ. Вотъ носмотрите, какіе предметы: вотъ комиату рисуетъ. Добро бы ужъ взялъ комиату прибранную, опрятную; а онъ вонъ-какъ нарисовалъ ее! со всѣмъ соромъ и дрязгомъ, какой ни валялся. Вотъ, носмотрите, какъ занакостилъ у меня комиату! изволите сами видѣть. Да у меня по семи лѣтъ живутъ жильцы, полковинки, Бухмистерова Анна Петровна.... Пѣтъ, я вамъ скажу: нѣтъ хуже жильца, какъ живописецъ: свинья свпиьей живетъ; просто — не приведи Ботъ.«

И все это долженъ былъ выслушать терпъливо бъдный живописецъ. Квартальный надзиратель между тъмъ занялся разсматриваньемъ картинъ и этюдовъ, и тутъ же показалъ, что у него душа живъе хозяйской и даже была нечужда художественнымъ внечатлънямъ.

» $\lambda$ е!« сказаль онъ, тыкнувъ пальцемъ на одинъ холстъ, гдъ была изображена нагая женщина, »предметъ, того... игривый.  $\Lambda$  у этого зачъмъ такъ подъ носомъ черно? табакомъ что-ли онъ себъ засыпалъ?«

» Тънь «, отвъчалъ на это сурово и не обращая на него глазъ, Чартковъ.

»Ну, ее бы можно куда-нибудь въ другое мѣсто отнести, а нодъ носомъ слишкомъ видное мѣсто«, сказалъ квартальный. »А это чей нортретъ? « продолжалъ опъ, подходя къ портрету старика. «Ужъ страшенъ слишкомъ. Будто опъ въ самомъ дѣлѣ былъ такой страшный? Ахти, да опъ, просто, глядитъ! Эхъ, какой Громобой! Съ кого вы писали? «

» А, это съ одного... « сказалъ Чартковъ, и не кончилъ слова: нослышался трескъ. Квартальный пожалъ, видно, слишкомъ кръпко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейскихъ рукъ своихъ; боковыя дощечки вломились внутрь, одна унала на полъ и вмъстъ съ нею уналъ, тяжело звякнувъ, свертокъ въ списй бумагъ. Чарткову бросилась въ глаза надпись: 1000 червоиныхъ. Какъ безумный бросился онъ поднять его, схватилъ свертокъ, сжалъ его судорожно въ рукъ, опустивнейся винзъ отъ тяжести.

»Никакъ деньги зазвенъли? « сказадъ квартальный, услынавний стукъ чего-то унавшаго на нолъ и немогший увидать его за быстротой движенья, съ какою бросился Чартковъ прибрать.

» А вамъ какое дъло знать, что у меня есть?«

» А такое дѣло, что вы сейчасъ должны заплатить хозяниу за квартиру, что у васъ есть деньги, да вы не хотите платить — воть что̀.«

»Пу, я заплачу ему сегодия.«

» Пу, а зачъмъ же вы не хотъли заплатить прежде, да доставляете безпокойство хозянну, да вотъ и полицію тоже тревожите?«

» Иотому что этихъ денегъ мив не хотвлось трогать. Я ену сегодия же ввечеру все заилачу и съвду съ квартиры завтра же, нотому что не хочу оставаться у такого хозянна.«

»Ну, Иванъ Ивановичъ, онъ вамъ заплатитъ«, сказалъ квартальный, обращаясь къ хозяниу. »А если на-счетъ того, что вы не будете удовлетворены, какъ слъдуетъ, сегодня ввечеру, тогда ужъ извините, господлять живописецъ.« Сказавни это, онъ надълъ свою треугольную иляну и вынелъ въ съин, а за инмъ хозяниъ, держа винът голову и, какъ казалось, въ какомъ-то раздумын.

» Слава Богу, чорть ихъ унесъ!« сказаль Чартковъ, когда услыналь затгоривничеся въ передней дверь. Онъ выгланулъ въ передшою, услаль зачімъ-то Вианту, чтобы быть совершенно одному, заперъ за вимъ дверь и свозвративнись къ себъ въ комнату, принялся, еъ сильнымъ сердечнымъ тренстомъ, разворачивать свертокъ. Въ немъ были черконцы, вст до одного новые, жаркіе, какъ огонь. Йочти обезумівь, сиділь онь за золотою кучею, всё еще съращивая себя: »Не во сив ли все это?« Въ свертив было ровно ихъ тысяча; наружность его была совершенно такая, въ какой они виделись ему во сит. Итсколько минутъ опъ неребираль имь, нересматриваль, и всё еще не могь придти въ себя. Въ воображении его воскресли вдругъ всъ истории о владахъ, шкатулкахъ съ потаенными ящиками, оставляемыхъ предками для евоихъ разорившихся внуковъ, въ твердой увъренности на будущее ихъ промотавшееся положение. Онъ мыслиль такъ: »Не придумаль ли и теперь какой-нибудь дёдушка оставить своему внуку подайыный »? эакиочивь его въ рамку фамильнаго портрета? « Полный

романического бреда, онъ сталъ даже думать: нътъ ли здъсь какойнибудь тайной связи съ его судьбою? не связано ли существованье портрета съ его собственнымъ существованьемъ, и самое пріобрътеніе его не есть ли уже какое-то предопределеніе? Онъ принялся съ любопытствомъ разсматривать рамку портрета. Въ одномъ боку ея быль выдолбленный желобокь, задвинутый дощечкой такъловко и непримътно, что, если бы канитальная рука квартальнаго надзпрателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончанія въка въ покоъ. Разсматривая нортретъ, онъ нодивился вновь высокой работъ, необыкновенной отдълкъ глазъ: они уже не казались ему страшными, по веё еще въ душт оставалось всякій разъ невольно непріятное чувство. »Ивтъ«, сказаль онъ самъ себь, »чей бы ты ни быль дёдушка, а я тебя ноставлю за стекло и сдёлаю тебъ за это золотыя рамки.« Здъсь онъ набросиль руку на золотую кучу, лежавниую передъ инмъ, и сердце забилось сильно отъ такого прикосновенья. » Что съ инми еделать? « думаль онъ, уставивъ на нихъ глаза: »Теперь я обезнеченъ по крайней мъръ на три года; могу запереться въ комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на объдъ, на чай, на содержанье, на квартиру — есть; мъщать и падобдать миъ тенерь никто не станетъ. Куплю себъ отличный манкенъ, закажу гинсовий торсикъ, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюръ съ первыхъ картивъ. И если поработаю три года для себя, не торонясь, не на продажу, я зашной чить всёхъ, и могу быть славнымъ художникомъ.«

Такъ говориль онъ за одно съ подсказывавнимъ ему разсудкомъ: но извнутри раздавался другой голосъ, слышиве и звоиче.

И какъ взглянулъ онъ еще разъ на золото — не то заговорили въ
немъ 22 года и горячая юность. Теперь въ его власти было все,
на что онъ глядълъ доселъ завистливыми глазами, чъмъ любовался
издали, глотая слюнки. Ухъ, какъ въ немъ забилось ретивое, когда
онъ только подумалъ о томъ! Одъться въ модный фракъ, разговъться послъ долгаго поста, нанять себъ славную квартиру, отправиться тотъ же часъ въ театръ, въ кондитерскую, въ..... и прочее — и онъ, схвативии деньги, былъ уже на улицъ.

Прежде всего зашелъ къ портному, одвлея съ ногъ до головы и, какъ ребенокъ, сталъ осматривать себя блапрестанио; накупилъ

духовъ, помады, нанялъ, не торгуясь, нервую понавшуюся великольнившиую квартиру на Невскомъ проспекть, съ зеркалами и цільными стеклами; купиль нечаянно въ магазнив дорогой лорнетъ, нечаянно накупилъ тоже бездну всякихъ галстуховъ, болъс, нежели сколько было нужно, завиль у нарикмахера себъ локоны, прокатился два раза по городу въ каретъ безъ всякой причины. объвлея безъ мъры конфектъ въ кондитерской и зашелъ къ ресторану Французу, о которомъ доселъ слышалъ такіе же неясные елухи, какъ о Китайскомъ государствъ. Тамъ онъ объдаль подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на другихъ и ноправляя безирестанно противъ зеркала завитые локоны. Тамъ онъ выпиль бутылку шамнанскаго, которое тоже досель было ему знакомо болбе по слуху. Вино ивсколько зашумвло въ головв, и онъ вышель на улицу живой, бойкій, по Русскому выраженію — чорту не братъ. Прошелся по тротуару гоголемъ, наводя на всёхъ лорнетъ. На мосту замътилъ онъ своего прежняго профессора и шмыгнулъ лихо мимо него, какъ-будтобы не замътивъ его вовсе, такъ что остолбенъвний профессоръ долго еще стоялъ неподвижно на мосту, изобразивъ вопросительный знакъ на лицъ своемъ.

Вст вещи и все, что ни было: станокъ, холстъ, картины, были въ тотъ же вечеръ перевезены на великолбиную квартиру. Онъ разставилъ, что было получше, на видныя мъста, что похуже, забросиль въ уголъ и расхаживалъ по великоленнымъ комнатамъ, безпрестанно поглядывая въ зеркала. Въ душт его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же часъ за хвостъ и показать себя свъту. Уже чудились ему крики: » Чартковъ, Чартковъ! Видали ли вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный таланть у Чарткова!« Онъ ходиль въ восторженномъ состоянін у себя по комнать — уносился инвъсть куда. На другой же день, взявши десякокъ червонцевъ, отправился онъ къ одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; быль принять радушно журналистомь, назвавшимь его тотъ же часъ почтенныйший, ножавшимъ ему объ руки, разспроснашимъ подробно объ имени, отчествъ, мъстъ жительства; и на другой же день появилась въ газеть, всльдь за объявлениемь о новонзобратенных сальных свачахь, статья съ такимъ заглавіемь:

## » О НЕОБЫКНОВЕННЫХЪ ТАЛАНТАХЪ ЧАРТКОВА.

» Сившимъ обрадовать образованныхъ жителей столицы пре-»краснымъ, можно сказать, во всъхъ отношеніяхъ пріобрътеніемъ. » Вей согласны въ томъ, что у насъ есть много прекраситинихъ » физіогномій и прекраситійшихъ лицъ; но не было до сихъ поръ о средства передать ихъ на чудотворный холстъ, для передачи по-» томству. Теперь недостатокъ этотъ пополненъ: отыскался художэникъ, соединяющій въ себъ все, что нужно. Теперь красавица »можеть быть увърена, что она будеть передана со всей граціей » своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, по-» добной мотылькамъ, порхающимъ по весениимъ цвъткамъ. По-» чтенный отецъ семейства увидить себя окруженнымъ своей семьей. »Купецъ, воинъ, гражданинъ, государственный мужъ — всякій »съ новой ревностью будетъ продолжать свое поприще. Сившите, » спѣшите, заходите съ гулянья, съ прогулки, предпринятой къ »пріятелю, къ кузинѣ, въ блестящій магазинъ, спѣшите, откуда »бы ни было. Великолънная мастерская художника (Невскій прос-» нектъ, такой-то номеръ) уставлена вся нортретами его кисти, эдостойной Вандиковъ и Тиціановъ. Не знаешь, чему удивляться: »върности ли и сходству съ оригиналами, или необыкновенной » яркости и свѣжести кисти. Хвала вамъ, художникъ! вы вынули » счастливый билеть изъ лотереи. Вивать, Андрей Истровичъ! » (журналисть, какъ видно, любиль фамиліярность) Прославляйте » себя и насъ. Мы умъемъ цънить васъ. Всеобщее стеченіе, а вмъ-» стъ съ тъмъ и деньги, хотя иъкоторые изъ нашей же братьи, »журналистовъ, и возстають противънихъ, будутъ вамъ наградою. «

Съ тайнымъ удовольствіемъ прочиталъ художникъ это объявленіе; лицо его просіяло. О немъ заговорили нечатно — это было для него новостію; ивсколько разъ перечитываль онъ строки. Сравненіе съ Вандикомъ и Тиціаномъ ему сильно польстило. Фраза: »Виватъ, Андрей Петровичъ! « также очень поправилась: печатнымъ образомъ называютъ его по имени и по отчеству — честь, донынъ ему совершенно неизвъстная. Онъ началъ ходить скоро по комнатъ, ерошить себъ волосы, то садилея въ кресла, то вскаки-

валь съ нихъ и садился на диванъ, представляя поминутно, какъ онъ будетъ принимать посътителей и посътительницъ, подходилъ къ холету и производилъ надъ нимъ лихую замашку кисти, пробуя сообщить граціозныя движенія рукъ.

На другой день раздался колокольчикъ у дверей его; онъ пообжаль отворять. Воила дама, сопровождаемая лакеемъ въ ливрейной иниели на мъху, и вмъстъ съ дамой воила молоденькая восьмнадиати-лътияя дъвочка, дочь сл.

»Вы меьё Чартковъ?« сказала дама.

Художинкъ поклонился.

» Объ васъ столько ининутъ; вани портреты, геворятъ, верхъ совершенства. « Сказавим это, дама наставила на глазъ лорнетъ и побъязла быстро осматривать стъны, на которыхъ инчего не было. » А гдъ же вани портреты?«

»Вынесли«, сказать художинить, ивсколько счёнкавнись: »я только что переёхаль на эту квартиру: такъ они еще въ дорогв.... не добхали.«

»Вы были въ Италіп?« спавъла дама, наводя на него лориетъ, не найдя инчего другого, на что бы можно было навесть его.

«Ибть, я не быль, по хотъль быть... впрочемъ, теперь понамъсть я отложиль.... Вотъ пресласъ: вы устали...?«

» Влагодарю, я сидбла долго възгретъ. А, венъ наконецъ вижу вашу работу!« сказале даза, нобъжавъ къ супротивной стъиъ и наводи доралтъ из стольше на нолу его этюди, программы, перспективы и портреты. «С'est charmant, Lise! Lise, venez ici. Комната во влусъ Теньера. Водинь? безнорядокъ, безнорядокъ, столъ, на исмъ бюстъ, рука, налитра; вонъ ньль... видинь, конъ ньль нарисована! С'est charmant! А вотъ на другомъ холстъ женщина, мовличи лицо. Quelle jolie figure! Ахъ, мужичокъ Lise, Lise! мужичокъ въ Русской рубаниъ! смотри: мужичокъ! Такъ вы занимаетесь не одними только портретами?»

»(), это водоръ.... такъ, шалилъ... этюды....«

«Скажите, какого вы мизнія на-счеть ньизвинимь портретиетовъ? Не правда ли, тенерь изть такимь, какъ быль Тиціань? изть той силы въ колорить, изть той... какъ жаль, что я не могу вамь выразить по-Русски (дама была любительница живописи и объгала съ лориетомъ всъ галлерен въ Италіи). Однако, мсьё Ноль.... ахъ, какъ онъ пишетъ! какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья въ лицахъ, нежели у Тиціана. Вы не знаете мсьё Ноля? «

»Кто этотъ Ноль?« епросиль художникъ.

»Мсьё Ноль. Ахъ, какой таланть! онъ написаль съ нея портреть, когда ей было только двънадцать лътъ. Надо, чтобы вы непремънно у насъ были. Lise, ты ему нокажи свой альбомъ. Вы знаете, что мы пріъхали съ тъмъ, чтобы сей же часъ начали съ нея пертретъ.«

»Какъ же? я готовъ спо минуту. « И въ одно мгновенье прпдвинулъ опъ станокъ съ готовымъ холстомъ, взялъ въ руки налитру, вперилъ глаза въ блъдное личико дочери. Если бы онъ былъ знатокъ человъческой природы, онъ прочель бы на немъ въ одиу минуту начало ребяческой страсти къ баламъ, начало тоски и жалобъ на длиниоту времени до объда и послъ объда, желанья побътать въ одномъ платы на гуляньяхъ, тяжелые слъды безучастнаго прилежанія къ разнымъ искусствамъ, внушаемаго матерью для возвышенія души и чувствъ. Но художникъ виділь въ этомъ ивжномъ личикв одну только заманчивую для кисти, ночти фарфорную прозрачность тёла; увлекательную легкую томность, тонкую свътлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранъе готовился торжествовать, показать легкость и блескъ своей кисти, имъвшей досель дело только съ жесткими чертами грубыхъ моделей, съ строгими антиками и копіями кос-какихъ классическихъ мастеровъ. Опъ уже представлялъ себъ въ мысляхъ, какъ выйдеть это легенькое личико.

»Знаете ли? « сказала дама съ ивсколько даже трогательнымъ выражениемъ лица: » я бы хотвла... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотвла, чтобы она была въ платьи, къ которому мы такъ привыкли: я бы хотвла, чтобъ она была одвта просто и сидвла бы въ твин зелени, въ виду какихъ-инбудь полей, чтобы стада вдали, или роща.... чтобы незамвтно было, что она вдетъ куда-инбудь на балъ, или модный вечеръ. Наши балы, признаюсь, такъ убиваютъ душу, такъ умерщвляютъ остатки чувствъ.... Простоты, простоты чтобъ было больше. « Увы! на лицахъ и ма-

тушки, и дочери написано было, что онъ до того исплясались на балахъ, что объ сдълались чуть не восковыми.

Чартковъ принялся за дѣло, усадилъ оригиналъ, сообразилъ иѣсколько все это въ головѣ; провелъ по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; пришурилъ нѣсколько глазъ, подался назадъ, взглянулъ издали, и въ одинъ часъ началъ и кончилъ подмалевку. Довольный ею, онъ принялся уже писать; работа его завлекла; уже онъ позабылъ все, позабылъ даже, что находится въ присутстви аристократическихъ дамъ, началъ даже выказывать иногда кое-какія художническія ухватки, произнося вслухъ разные звуки, временами подиѣвая, какъ случается съ художникомъ, погруженнымъ всею душею въ свое дѣло. Безъ всякой церемоніп, однимъ движеньемъ кисти, заставлялъ онъ оригиналъ подиимать голову, который наконецъ началъ сильно вертѣться и выражать совершенную усталость.

- »Довольно, на первый разъ довольно «, сказала дама.
- » Еще немножко,«, говорилъ нозабывшійся художникъ.
- » Нѣтъ, нора! Lise, три часа! « сказала она, вынимая маленькіе часы, висѣвшіе на золотой цѣпи у ея кушака, и вскрикнула: »Ахъ, какъ поздно! «
- »Минуточку только!« говорилъ Чартковъ простодушнымъ и просящимъ голосомъ ребенка.

Но дама, кажется, совстмъ не была расположена угождать на этотъ разъ его художественнымъ потребностямъ и объщала вмъсто того просидъть въ другой разъ долъе.

» Это, однакожъ, досадно! « подумалъ про-себя Чартковъ: » рука только что расходилась. « И вспомнилъ онъ, что его никто не перебивалъ и не останавливалъ, когда онъ работалъ въ своей мастерской на Васильевскомъ островъ; Никита бывало сидълъ не ворохнувшись на одномъ мъстъ—пиши съ него, сколько угодно; онъ даже засыпалъ въ заказанномъ ему положении. И, недовольный, положилъ онъ свою кисть и налитру на стулъ и остановился смутно передъ холстомъ.

Комплиментъ, сказанный свътской дамой, пробудиль его изъ усыпленія. Онъ бросплся быстро къ дверямъ провожать ихъ; на лъстницъ получилъ приглашеніе бывать, прійти на слъдующей недёлё обёдать, и съ веселымъ видомъ возвратился къ себё въ комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сихъ поръ онъ глядёлъ на подобныя существа, какъ на что-то недоступное,—которыя рождены только для того, чтобы пронестись въ великолённой коляске съ ливрейными лакеями и щегольскимъ кучеромъ и бросить равнодушный взглядъ на бредущаго иёшкомъ въ небогатомъ плащишке человека. П вдругъ теперь одно изъ этихъ существъ вошло къ нему въ комнату; онъ пишетъ портретъ, приглашенъ на обёдъ въ аристократическій домъ. Довольство овладёло имъ необыкновенное; онъ былъ упоенъ совершенно п наградилъ себя за это славнымъ обёдомъ, вечернимъ спектаклемъ, и онять проёхался въ каретё по городу безъ всякой пужды.

Во вст эти дни обычная работа ему не шла вовсе на умъ. Онъ только приготовлялся и ждаль минуты, когда раздастся звонокъ. Наконецъ аристократическая дама прітхала вмѣстѣ съ своею блъдненькою дочерью. Онъ усадилъ ихъ, придвинулъ холстъ, уже съ ловкостью и претензіями на свътскія замашки, и сталь писать. Солнечный день и ясное освъщение много помогли ему. Онъ увидель въ легенькомъ своемъ оригинале много такого, что, бывъ уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достопиство портрету; увидель, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все въ такой окончанности, въ какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда онъ почувствоваль, что выразить то, чего еще не замътили другіе. Работа заняла его всего, весь погрузился онъ въ кисть, позабывъ опять объ аристократическомъ происхождении оригинала. Съ занимавшимся дыханіемъ видёлъ, какъ выходили у него легкія черты и это почти прозрачное тёло семпадцатилётней дізвушки. Онъ ловилъ всякій оттёнокъ, легкую желтизну, едва замётную голубизну подъ глазами, и уже готовился даже схватить небольшой прыщикъ, выскочившій на лбу, какъ вдругъ услышаль надъ собою голосъ матери: »Ахъ, зачъмъ это? это не нужно; у васъ тоже.... вотъ, въ нъкоторыхъ мъстахъ.... какъ-будтобы нъсколько желто, и вотъздѣсь совершенно, какъ темныя пятнышки.« Художникъ сталъ изъяснять, что эти-то иятнышки и желтизна именно разыгрываются хорощо, что они составляють пріятные и

легкіе тоны лица. Но ему отвівчали, что они не составять никакихъ тоновъ и совсёмъ не разыгрываются, и что это ему только такъ кажется. »Но позвольте здёсь, въ одномъ только мёстё, тронуть желтенькой краской«, сказаль простодушно художникъ. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко перасположена, а что желтизны въ ней никакой не бываетъ, и лицо ея поражаетъ особенно свъжестью краски. Съ грустью принялся онъ изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Псчезло много почти незамътныхъ чертъ, а вмъстъ съ ними исчезло отчасти и еходство. Онъбезчувственно сталь сообщать ему тоть общій колорить, который дается нанзусть и обращаеть даже лица, взятыя съ патуры, въ какія-то холодно идеальныя, видимыя на ученическихъ программахъ. Но дама была довольна темъ, что обидный колорить быль изгнанъ вовсе. Она изъявляла только удивленье, что идетъ работа такъ долго, и прибавила, что слышала, будто онъ въ два сеанса оканчиваетъ совершенно портретъ. Художникъ ничего не нашелъ на это отвъчать. Дамы поднялись и собирались выйти. Онъ положилъ кисть, проводиль ихъ до дверей и после того долго оставался смутнымъ на одномъ и томъ же мъстъ, передъ своимъ портретомъ.

Онъ глядълъ на него глупо, а въ головъ его между тъмъ носились тв легкія женственныя черты, тв оттинки и воздушные тоны, имъ подмъченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полонъ ими, онъ отставилъ портретъ въ сторону и отыскалъ у себя гдъ-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросаль на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее изъ одпихъ общихъ чертъ, не принявшее живого тъла. Отъ нечего дълать, онъ тенерь принялся проходить его, припоминая на немъ все, что случилось ему подмётить въ лицъ аристократической посътительницы. Уловленныя имъ черты, оттёнки и тоны здёсь ложились въ томъ очищенномъ видё, въ какомъ являются они тогда, когда художникъ, наглядввшись на природу, уже отдаляется отъ нея и производить ей равное созданіе. Психся стала оживать, и едва сквозившая мысль начала малопомалу облекаться въ видимое тёло. Типъ лица молоденькой свътской дѣвицы невольно сообщился Психеѣ, и чрезъ то́ получила опа своеобразное выраженіе, дающее право на названіе истипно оригинальнаго произведенія. Казалось, опъ воспользовался по частямъ и вмѣстѣ всѣмъ, что̀ представиль ему оригиналь, и привязался совершенно къ своей работѣ. Въ продолженіе нѣсколькихъ дней опъ былъ занятъ только ею. И за этой самой работой засталъ его пріѣздъ знакомыхъ дамъ. Опъ не успѣлъ снять со станка картину. Обѣ дамы издали радостный крикъ изумленья и всилеснули руками.

»Lise, Lise! ахъ, какъ похоже! Suberbe, superbe! Какъ хорошо вы вздумали, что одъли ее въ Греческій костюмъ! Ахъ, какой

сюриризъ!«

Художникъ не зналъ, какъ вывести дамъ изъ пріятнаго заблужденія. Совъстясь и потупя голову, онъ произнесъ тихо: »Это Испхея.«

» Въ видъ Психеи? С'est charmant! « сказала мать, улыбнувшись, причемъ улыбнулась также и дочь. » Не правда ли, Lise, тебъ больше всего идетъ быть изображенной въ видъ Психеи? Quelle idée délicieuse! Но какая работа! это Корреджъ. Признаюсь, я читала и слышала о васъ, но я не знала, что у васъ такой талантъ. Нътъ, вы непремънно должны написать также и съ меня портретъ. « Дамъ, какъ видно, хотълось также предстать въ видъ какой-нибудь Психеи.

» Что мив съ ними двлать? « подумаль художникъ. » Если онв сами того хотятъ, такъ пусть Исихся пойдетъ за то, чего имъ хочется «, и произнесъ въ слухъ: » Иотрудитесь еще немножко присъёть: я кое-что немножко трону. «

» Ахъ, я боюсь, чтобы вы какъ-нибудь не.... она такъ теперь похожа.«

По художникъ понялъ, что опасенья были на-счетъ желтизны, и успоконлъ ихъ, сказавъ, что опъ только придастъ болѣе блеску и выраженья глазамъ. А по справедливости, ему было слишкомъ совъстно и хотълось хотя сколько-нибудь болѣе придать сходства съ оригиналомъ, дабы не укорилъ его кто-нибудь въ рѣшительномъ безстыдствъ. И точно, черты блѣдной дѣвушки стали наконецъ выходить яснѣе изъ облика Исихеи.

»Довольно! « сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконець уже черезь-чуръ близко. Художникъ былъ награжденъ всёмъ: улыбкой, деньгами, комплиментомъ, искреннимъ пожатьемъ руки, приглашеньемъ на обёды, словомъ, получилъ тысячу лестныхъ наградъ.

Портретъ произвелъ по городу шумъ. Дама показала его пріятельницамъ: вей изумлялись искусству, съ какимъ художникъ умъль сохранить сходство и вмъсть съ тымъ придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не безъ легкой краски зависти въ лицъ. И художникъ вдругъ былъ осажденъ работами. Казалось, весь городъ хотёлъ у него писаться. У дверей номинутно раздавался звонокъ. Съ одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему безконечную практику разнообразіемъ, множествомъ лицъ. Но, на бъду, это всё былъ народъ, съ которымъ было трудно ладитъ, народъ торопливый, занятый, или же принадлежащій св'тту, стало быть, еще болье запятый, нежели всякій другой, и потому нетерпъливый до крайности. Со всъхъ сторонъ только требовали, чтобъ было хорошо и скоро. Художникъ увидълъ, что оканчивать ръшительно было невозможно, что все нужно было замънить ловкостью и быстрой бойкостью кисти, схватывать одно только цёлое, одно общее выраженье и не углубляться кистью въ утонченныя нодробности; одинмъ словомъ, слъдить природу въ ея окончанности было рашительно невозможно. Притомъ, нужно прибавить, что у всъхъ почти писавшихся много было другихъ притязаній на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характеръ изображались въ портретахъ, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить вев углы, облегчить вев изъянцы и даже, если можно, избъжать ихъ вовее; словомъ, чтобы на лицо можно было засмотръться, если даже не совершенно влюбиться. П въ слъдствіе этого, садясь нисаться, онъ принимали иногда такія выраженія, которыя приводили въ изумленье художника: та старалась изобразить въ лицъ своемъ меланхолію, другая мечтательность, третья, во что бы ни етало, хотъла уменьшить ротъ и сжимала его до такой стенени, что онъ обращался наконецъ въ одну точку, небольше булавочной головки. И, не смотря на все это, требовали отъ него сходства и

непринужденной естественности. Мущины тоже были ничемъ нелучше дамъ: одинъ требовалъ себя изобразить въ сильномъ энергическомъ поворотъ головы; другой съ поднятыми къ верху вдохновенными глазами; гвардейскій поручикь требоваль непремінно, чтобы въ глазахъ видънъ былъ Марсъ; гражданскій чиновникъ норовилъ такъ, чтобы побольше было прямоты, благородства въ лицъ, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: Всегда стоям за правду. Сначала художника бросали въ потъ такія требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тъмъ сроку давалось очень немного. Наконецъ онъ добрался, въ чемъ было дёло, и ужъ не затруднялся нисколько. Даже изъ двухъ-трехъ словъ смекалъ впередъ, кто чемъ хотель изобразить себя. Кто хотълъ Марса, онъ въ лицо совалъ Марса; кто мѣтиль въ Байроны, онъ даваль ему Байроновское положенье и поворотъ. Коринной ли, Ундиной, Аспазіей ли желали быть дамы, онъ съ большой охотой соглашался на все и прибавлядъ отъ себя уже всякому вдоволь благообразія, которое, какъ извъстно, нигдъ не подгадить, и за что простять иногда художнику и самое нееходство. Скоро онъ уже самъ началъ дивиться чудной быстротъ и бойкости своей кисти. А писавшіеся, само собою разум'вется, были въ восторгъ и провозглащати его геніемъ.

Чартковъ сдълался моднымъ живописцемъ во всёхъ отношенияхъ. Сталь вздить на объды, сопровождать дамъ въ галлереи и даже на гулянья, щегольски одъваться и утверждать гласно, что художникъ долженъ принадлежать къ обществу, что нужно поддержать его званіе, что художники одъваются, какъ сапожники, не умъютъ прилично вести себя, не соблюдаютъ высшаго топа и лишены всякой образованности. Дома у себя, въ мастерской, онъ завелъ опрятность и чистоту въ высшей степени, опредълиль двухъ великолъпныхъ лакеевъ, завелъ щегольскихъ учениковъ, переодъвался иъсколько разъ въ день въ разные утрение костюмы, завивался, занялся улучшенемъ разныхъ манеръ, съ которыми принимать посътителей, занялся украшенемъ всёми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею пріятное внечатльніе на дамъ; однимъ словомъ, скоро нельзя было въ немъ вовсе узнать того скромнаго художника, который работаль когда-то пе-

замѣтно въ своей лачужкѣ на Васильевскомъ островѣ. О художникахъ и объ искусствъ онъ изъясиялся теперь ръзко: утверждалъ, что прежинить художинкамъ уже черезъ-чуръ много приписандостоинства, что вей они, до Рафаэля, писали не фигуры, а селедки; что существуеть только въ воображаніи разсматривателей мысль, будтобы видно въ нихъ присутствіе какой-то святости; что самъ Рафаэль даже писалъ не все хорошо, и за многими произведеніями его удержалась только по преданію слава; что Микель Анжелъ хвастунъ, потому что хотълъ только похвастать знаніемъ анатомін; что граціозности въ немъ нѣтъ никакой, и что настоящаго блеска, силы кисти и колорита нужно искать только тенерь, въныньшиемъ въкъ. Тутъ, натурально, невольнымъ образомъ доходило дъло и до себя. »Нътъ, я не нонимаю«, говорилъ онъ, »напряженья другихъ сидъть и кориъть съ трудомъ: человъкъ, который копается по ивскольку мвсяцевъ надъ картиною, по мив, труженикъ, а не художникъ; я не новърю, чтобы въ немъ былъ талантъ; геній творитъ смѣло, быстро. Вотъ у меня«, говорилъ онъ, обращаясь обыкновенно къ носттителямъ: »этотъ портретт я паписаль въ два дня, эту головку въ одинъ день, это въ нѣсколько часовъ, это въ часъ съ небольшимъ. Нътъ, я.... я, признаюсь, не признаю художествомъ того, что лепится строчка за строчкой; это ужъ ремесло, а не художество.« Такъ разсказываль онъ своимъ носттителямъ, и носттители дивились силъ и бойкости его кисти, издавали даже восклицанія, услышавъ, какъ быстро они производились, и потомъ пересказывали другъ другу: »Это талантъ, истинный талантъ! посмотрите, какъ онъ говоритъ, какъ блестять его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!«

Художнику было лестно слышать о себъ такіе слухи. Когда въ журналахъ появлялась печатная хвала ему, опъ радовался, какъ ребенокъ, хотя эта хвала была куплена имъ за свои же деньги. Опъ разносилъ такой печатный листъ вездъ и, будтобы ненарочно, показывалъ его знакомымъ и пріятелямъ, и это его тъшило де самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоъдать одни и тъ же портреты и лица, которыхъ положенье и обороты сдълались ему заученными.

Уже безъ большой охоты онъ писаль ихъ, стараясь набросить только кое-какъ одну голову, а остальное давалъ доканчивать ученикамъ. Прежде онъ всё-таки искаль дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектомъ. Теперь и это становилось ему скучно. Умъ уставалъ придумывать и обдумывать. Это было ему не въ мочь, да и некогда: разевянная жизнь и общество, гдъ онъ старалея сънграть роль свътскаго человъка, все это уносило его далеко отъ труда и мыслей. Кисть его хладъла и тупъла, и онъ нечувствительно заключился въ однообразныя, опредъленныя, давно изношенныя формы. Однообразныя, холодныя; вѣчно прибранныя и, такъ сказать, застегнутыя лица чиновниковъ, военныхъ и штатскихъ, не много представляли поля для кисти: она позабыла и великольныя дранировки, и сильныя движенія, и страсти. О группахъ, о художественной драмъ, о высокой ея завязкъ нечего было и говорить. Передъ нимъ были только мундиръ, да корсетъ, да фракъ, передъ которыми чувствуетъ холодъ художникъ и падаеть всякое воображение. Даже достопиствь самыхь обыкновенныхъ уже не было видно въ его произведеніяхъ, а между тёмъ они веё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последнія его работы. 1 некоторые, знавине Чарткова прежде, не могли понять, какъ могъ исчезнуть въ немъ талантъ, котораго признаки оказались уже ярко въ немъ при самомъ началъ, и напрасно старались разгадать, какимъ образомъ можетъ угаснуть дарованье въ человъкъ, тогда какъ онъ только что достигнулъ еще полнаго развитія всёхъ силь своихъ.

Но этихъ толковъ не слышалъ упоенный художникъ. Уже онъ начиналъ достигать поры степенности ума и лѣтъ: сталъ толстѣть и видимо раздаваться въ ширину. Уже въ газетахъ и журналахъ читалъ онъ прилагательныя: почтенный нашъ Андрей Петровичъ. Уже стали ему предлагать по службѣ почетныя мѣста, приглашать на экзамены, въ комитеты. Уже онъ начиналъ, какъ всегда случается въ почетныя лѣта, брать спльно сторону Рафаэля и старинныхъ художниковъ, не потому, что убѣдился вполнѣ въ ихъ высокомъ достоинствѣ, но затѣмъ, чтобы колоть ими глаза молодыхъ художниковъ.

Уже онъ начиналь, по обычаю всёхь, вступающихь вь такія льта, укорять безъ изъятья всю молодежь въ безиравственности и дурномъ направленіи духа. Уже начиналь онъ върить, что все на свътъ дълается просто, вдохновенья свыше пътъ, и все необходимо должно быть подвергнуто подъ одинъ строгій порядокъзккуратности и однообразья. Однимъ словомъ, жизнь его уже коснулась тёхъ лётъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человъкъ, когда могущественный смычокъ слабъе доходитъ до души и не обвивается произительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращаеть дівственных силь въ огонь и пламя, по вст отгортвшия чувства становятся доступнте къ звуку золота, вслушиваются внимательный въ его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяють ей совершенно усынить себя. Слава не можеть дать наслажденья тому, кто украль ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный трепетъ только въдостойномъ ея. И потому всъ чувства и норывы его обратились къ золоту. Золото сдълалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденьемъ, цълью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ, и, какъ всякій, кому достается въ удёль этотъ страшный даръ, онъ началь становиться скучнымь, недоступнымь ко всему, кромѣ золота, безпричиннымъ скрягой, безпутнымъ собирателемъ, и уже готовъ быль обратиться въ одно изъ тёхъ странныхъ существъ, которыхъ много попадается въ нашемъ безчувственномъ свъть, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный жизни и сердца человъкъ, которому кажутся они движущимися каменными гробами, съ мертвецомъ внутри, вмъсто сердца. Но одно событие сильно нотрясло и разбудило весь его жизненный составъ.

Въ одинъ день увидълъ онъ на столѣ своемъ записку, въ которой академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Пталін, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ Русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ ранинхъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ пскусству, съ иламенной душой труженика погрузился въ него всей душою своей, оторвался отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ и помчался туда, гдѣ, въ виду прекрасныхъ небесъ, спѣетъ вели-

чавый разсадникъ искусствъ, въ тогъ чудный Римъ, при имени котораго такъ полно и сильно бъется иламенное сердце художника. Тамъ, какъ отшельникъ, погрузился онъ въ трудъ и въ неразвлекаемыя инчёмъ занятія. Ему не было до того дёла, толковали ли о его характеръ, о его неумъніи обращаться съ людьми, о несоблюденін свътскихъ приличій, объ униженін, которое онъ причинялъ званію художника своимъ скуднымъ, нещегольскимъ нарядомъ. Ему не было нужды, сердились ли, или ивтъ на него его братья. Всёмъ пренебрегаль онь, все отдаль искусству. Неутомимо посъщаль галлерен, по цълымъ часамъ застаивался передъ произведеніями великихъ мастеровъ, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего онъ не оканчиваль безъ того, чтобы не повърить себя ивсколько разъ съ сими великими учителями и чтобы не прочесть въ ихъ созданьяхъ безмолвнаго и краснорфчиваго себф совфта. Онъ не входилъ въ шумныя бесёды и споры; онъ не стоялъ ни за пуристовъ, ни противъ пуристовъ. Опъ равно всему отдавалъ должную ему часть, извлекая изъ всего только то, что было въ немъ прекрасно, и наконецъ оставилъ себъ въ учители одного божественнаго Рафаэля, — подобно какъ великій поэтъ-художникъ, перечитавшій много всякихъ твореній, исполненныхъ многихъ прелестей и величавыхъ красотъ, оставляль наконецъ себъ настольною книгой только Иліаду Гомера, открывъ, что въ ней все есть, чего хочешь, и ивтъ инчего, что бы не отразилось уже здёсь въ такомъ глубокомъ и великомъ совершенствъ. И зато вынесъ онъ изъ своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши въ залу, Чартковъ нашелъ уже цълую огромную толпу посътителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многолюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Онъ поспѣшилъ принять значительную физіогномію знатока и приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невъста, стояло предъ нимъ произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, какъ геній, возносилось оно надъ всѣмъ. Казалось, небесныя фигуры, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, стыдливо опустили прекрасныя ръсницы. Съ чувствомъ невольнаго изумленія созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тутъ, казалось, соединилось вибств: изученье Рафаэля, отраженное въвысокомъ благородствъ положений, изучение Корреджія, дышавшее въ окончательномъ совершенствъ кисти. Но властительнъй всего видна была сила созданья, уже заключенная въ душъ самого художника. Последній предметь въ картине быль имь проникнуть; во всемъ ностигнуть законъ и внутренняя сила; вездъ уловлена была эта плывучая округлость линій, заключенная въ природь, которую видить только одинь глазъ художинка - создателя, и которая выходить углами у кописта. Видно было, какъ все, извлеченное изъ вибшияго міра, художникъ заключилъ сперва себъ въ душу и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устремилъ его одной согласной, торжественной итсиью. И стало ясно даже непосвященнымъ, какая неизмъримая пропасть существуетъ между создањемъ и простой копіей съ природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты всв, вперившіе глаза на картину, —ни шелеста, ни звука: а картина между тъмъ ежеминутно казалась выше и выше; свътлъй и чудеснъй отдълялась отъ всего и вся превратилась наконецъ въ одниъ мигъ — плодъ налетъвшей съ небесъ на художника мысли, —мигъ, къ которому вся жизнь человфческая есть одно только приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посътптелей, окружавшихъ картину. Казалось, всъ вкусы, вет дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмольный гимнъ божественному произведению.

Неподвижно, съ отверзтымъ ртомъ, стоялъ Чартковъ передъ картиною, и, наконецъ, когда мало-помалу носътители и знатоки зашумъли и начали разсуждать о достоинствъ произведенія, и когда наконецъ обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя; хотълъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотълъ сказать обыкновенное, пошлое сужденіе зачерствълыхъ художниковъ, въ родъ слъдующаго: »Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта отъ художника; есть кое - что; видно, что хотълъ онъ выразить что-то; однакоже, что касается до главнаго....« и въ-слъдъ за этимъ прибавить, разумъется, такія по-

хвалы, отъ которыхъ бы не поздоровилось никакому художнику; хотъль это едълать, по ръчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отвъть, и онъ, какъ безумный, выбъжаль изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стояль онъ посреди своей великолъпной мастерской. Весь составъ, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ-будто молодость возвратилась къ нему, какъ-будто потухшія пекры таланта вспыхнули снова. Съ очей его вдругъ слетъла повязка. Боже! и ногубить такъ безжалостно лучшіе годы своей юности, истребить, ногасить искру огия, можетъ быть, теплившагося въ груди, можетъ быть, развившагося бы теперь въ величін и красотъ, можетъ быть, также исторгнувшаго бы слезы изумленія и благодарности! II ногубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ-будто въ эту минуту разомъ и вдругъ ожили въ душф его тф напряженія и порывы, которые ибкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступиль на его лиць; весь обратился онъ въ одно желаніе и загорълся одною мыслію: ему хотълось изобразить отпадшаго ангела. Эта идея была болъе всего согласна съ состояніемъ его души. Но увы! фигуры его, нозы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение елишкомъ уже заключились въ одиу мърку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имъ самимъ на себя наброшенныя, уже отзывался неправильностію и ошибкою. Онъ преиебрегъ утомительную, длинную лъстницу постепенныхъ свъдъній и нервыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Досада его проникла. Опъ велълъ вынесть прочь изъ своей мастерской вст последнія произведенья, вст безжизненныя модныя картинки, вет портреты гусаровъ, дамъ и статскихъ совътниковъ; заперся одинъ въ своей комнатъ, не вельнъ никого впускать и весь ногрузился въ работу. Какъ теривливый юноша, какъ ученикъ, сидъть онъ за своимъ трудомъ. Но какъ безпощадно неблагодарно было все, что выходило изъ-подъ его кисти! На каждомъ шагу онъ быль останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой незначущій механизмъ охлаждаль весь порывъ и стояль неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Кисть невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смъла сдълать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотъли повиноваться и дранироваться на незнакомомъ положенитъла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видъль это самъ!

»Но точно ли быль у меня таланть? « сказаль онъ наконець: »не обманулся ли я? « И произнесши эти слова, онъ нодошель къ прежнимь своимь произведеніямь, которыя работались когда - то такъ чисто, такъ безкорыстно, тамъ, въ бъдной дачужкъ, на уединенномъ Васильевскомъ островъ, вдали людей, изобилія и всякихъ прихотей. Онъ подошелъ теперь къ нимъ и сталь внимательно разсматривать ихъ всъ, и вмъстъ съ ними стала представать въ его памяти вся прежняя бъдная жизнь его. »Да«, проговориль онъ отчаянио, » у меня быль талантъ! Вездъ, на всемъ видны его признаки и слъды...«

Онъ остановился и вдругъ затряеся всёмъ тёломъ: глаза его встрътились съ неподвижно-вперившимися на него глазами. Это быль тоть необыкновенный портреть, который онъ купиль на Щукиномъ дворъ. Все время онъ былъ закрытъ, загроможденъ другими картинами и вовсе вышелъ у него изъ мыслей. Теперь же, какъ нарочно, когда были вынесены всѣ модные портреты и картины, наполнявшіе мастерскую, онъ выглянуль наверхъвмёстё съ прежними произведеніями его молодости. Какъ вспомниль онъ всю страниую его исторію, какъ вспомниль, что ижкоторымь образомъ онъ, этотъ странный портретъ, былъ причиной его превращенія, что депежный кладъ, полученный имъ такимъ чудеснымъ образомъ, родилъ въ немъ всё суетныя побужденья, погубившія его таланть — почти бъщенство готово было ворваться къ нему въ душу. Онъ въ ту же минуту велъль вынести прочь ненавистный портреть. Но душевное волненье оттого не умирилось: вст чувства и весь составъбыли потрясены до дна, и онъ узналъту ужасную муку, которая, какъ поразительное исключеніе, является иногда въ природъ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превыщающемъ его размъръ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношт раждаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, — ту страшную муку,

которая дёлаеть человёка способнымь на ужасныя злодёянія. Имъ овладъла ужасная зависть, зависть до бъщенства. Желчь проступала у него на лицъ, когда онъ видълъ произведение, носившее печать таланта. Онъ скрежеталь зубами и пожираль его взоромъ василиска. Въ душт его возродилось самое адское намтрение, какое когда-либо ниталъ человъкъ, и съ бъщеною силою бросился онъ приводить его въ исполнение. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою цёною, осторожно приносиль въ свою комиату и съ бъщенствомъ тигра на нее кидался, рваль, разрываль ее, изрѣзываль въ куски и топталь ногами, сопровождая сміхомь наслажденія. Безчисленныя собранныя имъ богатства доставляли ему всё средства удовлетворять этому адекому желанію. Онъ развязаль вей свои золотые мъшки и раскрылъ сундуки. Инкогда ни одно чудовище невъжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребиль этоть свирьный метитель. На всьхъ аукціонахь, куда только показывался онь, всякій заранье отчаявался въ пріобрътеніп художественнаго созданія. Казалось, какт-будто разгитванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонію. Эта ужасная страсть набросила какой-то странный колорить на него: въчная желчь присутствовала на лицъ его. Хула на міръ и отрицаніе изображалось само собой въ чертахъ его. Казалось, въ немъ олицетворился тотъ страниный демонъ, котораго идеально изобразиль Нушкинь. Кромъ ядовитаго слова и въчнаго порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарии, попадался онъ на улиць, и всь, даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избътнуть такой встръчи, говоря, что она достаточна отравить потомъ весь день.

Къ счастію міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размѣръ страстей быль слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Ирипадки бѣнненства и безумія начали оказываться чаще, и наконець все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣли имъ такъ свпрѣно, что въ три дня оставалась отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія.

Иногда ивсколько человекъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, и тогда бъщенство его было ужасно. Всъ люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Портреть двоился, четверился въ его глазахъ; вей стйны казались увишаны портретами, вперившими въ него свои неподвижные, живые глаза; страшные портреты глядъли съ потолка, съ полу, комната расширялась и продолжалась безконечно, чтобы болье вмыстить этихъ ненодвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязапность его пользовать и уже итсколько наслышавшійся о странной его исторін, старался всёми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидъніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успъть. Больной инчего не понималь и не чувствоваль, кромѣ своихь терзаній, и издаваль один ужасные вопли и непонятныя ръчи. Наконецъ жизнь его прервадась въ послъдпемъ, уже безгласномъ порывъ страданія. Трупъ его быль страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ; но, увидъвши изръзаниме куски тъхъ высокихъ произведений искусства, которыхъ цёна превышала миллюны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

## ЧАСТЬ ІІ.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъвздомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусствъ, которые сладко дремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амуры, невинно прослыди Меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Такихъ Меценатовъ, какъ извѣстно, теперь уже иѣтъ, и нашъ XIX-й вѣкъ давно уже пріобрѣлъ скучную физіогномію банкира, наслаждающагося своими милліонами только въ-видѣ цыфръ, выставляемыхъ на бумагѣ. Длинная зала была наполнена самою пестрою толной посѣтителей, налетѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія Русскихъ кунцовъ изъ гостиннаго двора и даже толкучаго рынка въ синихъ Ивмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и выражение лицъ были здёсь какъ-то тверже, вольнёе и не означались той приторной услужливостью, которая такъ видна въ Русскомъ кунць, когда онъ у себя вълавит передъ покупщикомъ. Тутъ они вовсе не чинились, не смотря на то, что въ этой же залъпаходилось множество тёхъ аристократовъ, нередъ которыми они въдругомъ мъстъ готовы были своими ноклонами смести ныль, нанесенную своими же сапотами. Здёсь они были совершенно развязны, щунали безъ церемонін книги и картины, желая узнать доброту товара, и смъло перебивали цъну, набавляемую графами-знатоками. Здъсь были многіе необходимые посътители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать на немъ вмѣсто завтрака; аристократызнатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцио и ненаходившие другого занятія отъ 12 до 1 часа; наконецъ тъ благородные госнода, которыхъ платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы носмотреть, чемъ что кончится, кто будеть давать больше, кто меньше, кто кого перебьеть, и за къмъ что останется. Множество картинъ было разбросано совершенно безъ всякаго толку; съ ними были неремѣшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго владътеля, можетъ быть, неимъвшаго вовсе похвальнаго любонытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовь, новыя и старыя мебели съ выгнутыми линіями, съ грифами, сфинксами и львиными ланами, вызолоченные и безъ позолоты, люстры, кенкеты, все было повалено и вовсе не въ такомъ порядкт, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой - то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона странно: въ немъ все отзывается чёмъ-то похожимъ на погребальную процессию. Заль, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ, - окна, затроможденныя мебелями и картинами, скупо изливають свъть: безмолвіе, разлитое на лицахъ, и погребальный голосъ аукціониста, ностукивающаго молоткомъ и отпівающаго нашихиду біднымъ, такъ етранно встрътившимся здъсь, искусствамъ: все это, кажется, усиливаетъ еще болье страниую непріятность внечатльнья.

Аукціонъ, казалось, быль въ самомъ разгаръ. Цълая толпа порядочныхъ людей, сдвинувшись вмёстё, хлопотала о чемъ-то наперерывъ. Со всъхъ сторонъ раздававшіяся слова: рубль, рубль, не давали времени аукціонисту повторять надбавляемую ціну, которая уже возрасла вчетверо больше объявленной. Обступившая толна хлопотала изъ-за портрета, который не могъ не остановить всёхъ, пмевшихъ сколько-инбудь понятія въ живописи. Высокая кисть художника выказывалась въ пемъ очевидно. Портретъ, повидимому, уже ивсколько разъ былъ ресторированъ и поновленъ, и представляль смуглыя черты какого-то Азіятца въ шпрокомъ платьи, съ необыкновеннымъ, страннымъ выражениемъ въ лицъ; но болъе всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глазъ. Чемъ более всматривались вънихъ, темъ более они, казалось, устремлялись каждому внутрь. Эта странность, этотъ необыкновенный фокусъ художинка, заияли винманье почти всёхъ. Много уже изъ состязавшихся о немъ отступилось, потому что цъну набили неимовърную. Остались только два извъстные арпстократа, любители живописи, нехотъвшіе ин за что отказаться отъ такого пріобрътенія. Они горячились и набили бы, въроятно, цъну до невозможности, если бы вдругъ одинъ изъ тутъ же, разсматривавшихъ не произпесъ: »Позвольте мив прекратить на время вашъ споръ: я, можетъ быть, болье, нежели всякій другой, имъю права на этотъ портреть.«

Слова эти въ-мигъ обратили на него вниманіе всёхъ. Это былъ стройный человъкъ, лътъ тридцати ияти, съ длинными черными кудрями. Пріятное лицо, исполненное какой-то свътлой беззаботности, показывало душу, чуждую всёхъ томящихъ свътскихъ потрясеній; въ нарядъ его не было инкакихъ притязаній на моду: все показывало въ немъ артиста. Это былъ точно художникъ В., знаемый лично многими изъ присутствовавшихъ.

»Какъ ни странны вамъ покажутся слова мои«, продолжалъ онъ, видя устремившееся на себя всеобщее вниманіе, »по, если вы ръшитесь выслушать небольшую исторію, можетъ быть, вы увидите, что я быль въ правъ произнести ихъ. Все меня увъряетъ, что портретъ есть тотъ самый, котораго я ищу.«

Весьма естественное любопытство загорълось почти на лицахъ

всёхъ, и самый аукціонистъ, разинувъ ротъ, остановился съ подиятымъ въ рукѣ молоткомъ, приготовляясь слушать. Въ началѣ разсказа многіе обращались невольно глазами къ портрету, но погомъ всѣ вперились въ одного разскащика, по мърѣ того, какъ разсказъ его становился занимательнъй.

»Вамъ навъстна та часть города, которую называютъ Коломною«, такъ онъ началъ. »Тутъ все непохоже на другія части Пегербурга; тутъ не столица и не провинція; кажется, слышишь, перейдя въ Коломенскія улицы, какъ оставляють тебя всякія молодыя желанья и порывы. Сюда не заходить будущее, здёсь все гишина и отставка, все, что остло отъ столичнаго движенья. Сюда перебажають на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые подп, имѣющіе знакомство съ сенатомъ, и потому осудившіе себя здбеь почти на вею жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цільні день на рынкахъ, болтающія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавочкъ и забирающія каждый день на пять копъекъ кофе, да на четыре сахару, и, наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который можно назвать однимъ словомъ пепельный, — людей, которые съ своимъ илатьемъ, лицомъ, волосами, глазами имбютъ какую-то мутную, цепельную наружность, какъ день, когда нътъ на пебв ни бури, ни солица, а бываетъ, просто, ни то, ни сё: свется гуманъ и отнимаетъ всякую ръзкость у предметовъ. Сюда можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, отставныхъ титулярныхъ совътниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: идуть, ни на что не обращая глазь, молчать, ни о чемъ не думая. Въ комнатъ ихъ немного добра; ппогда просто штофъ чистой Русской водки, которую они однообразно сосуть весь день безъ всякаго сильнаго прилива кътоловъ, возбуждаемаго сильнымъ пріемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себъ но воскреснымъ днямъ молодой Нъмецкій ремесденникъ, этотъ удалецъ Мъщанской улицы, одинъ владыющій всемъ тротуаромъ, когда время перешло за двънадцать часовъ ночи.

» Жизнь въ Коломий страхъ усдинениа: рйдко покажется карета, кроми разви той, въ которой издять актеры, которая громомъ, звономъ и бряканьемъ своимъ одна смущаетъ всеобщую

тишину. Тутъ всѣ — пешеходы; извощикъ весьма часто безъ сѣдока плетется, таща евно для бородатой лошадёнки своей. Квартиру можно сыскать за нять рублей въ мѣсяцъ, даже съ кофеемъ поутру. Вдовы, получающія пансіонь, туть самыя аристократическія фамилін; онъ ведуть себя хорошо, метуть часто свою комнату, толкують съ пріятельницами о дороговизнѣ говядины и капусты; при нихъ часто бываетъ молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и ствиные часы съ нечально постукивающимъ маятникомъ. Потомъ слъдують актеры, которымь жалованье не позволяеть выбхать изъ Коломны, народъ свободный, какъ всв артисты, живущіе для наслажденья. Они, сидя въ халатахъ, чинятъ пистолетъ, клеятъ изъ картона всякія вещицы, полезныя для дома, играють съ пришедшимъ пріятелемъ въ шашки и карты, и такъ проводять утро, ділая почти то же ввечеру, съ присоединењемъ кое-когда пунша. Посль этихъ тузовъ и аристократства Коломиы, следуетъ необыкновенная дробь и мелочь. Ихъ такъже трудно поименовать, какъ исчислить то множество насъкомыхъ, которое зараждается въ старомъ уксусъ. Тутъ есть старухи, которыя ньянствуютъ, старухи, которыя перебиваются пеностижимыми средствами, какъ муравыи таскають съ собою старое трянье и бълье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка, съ темъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать конбекъ; словомъ, чисто самый несчастный осадокъ человъчества, которому бы ин одинь благодътельный нолитическій экономъ не нашель средствъ улучшить состояніе.

»Я для того привель ихъ, чтобы показать вамъ, какъ часто этотъ народъ находится въ необходимости искать одной только внезанной, временной помощи, прибъгать къ займамъ, и тогда поселяются между инми особаго рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами подъ заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бываютъ въ нъсколько разъ безчувственнъй всякихъ большихъ, потому что возникаютъ среди бъдности и ярко выказываемыхъ инщенскихъ лохмотьевъ, которыхъ не видитъ богатый ростовщикъ, имъющій дѣло только съ пріъзжающими въ каретахъ,— и потому уже слишкомъ рано умираєтъ въ душахъ ихъ всякое чувство человъчества. Между такими ростовщиками былъ

одинъ.... но не мъщаетъ вамъ сказать, что происшествіе, о которомъ я принялся разсказать, относится къ прошедшему вѣку, именно къ царствованию покойной Государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый видъ Коломны и жизнь внутри ея должны были значительно измъниться. Итакъ, между ростовщиками быль одинь - существо во встхъ отношенияхъ необыкновенное, поселившееся уже давно въ этой части города. Онъ ходилъ въ шпрокомъ Азіятскомъ нарядѣ; темная краска лица указывала на южное его происхождение; но какой именно быль онъ націи, — Индіецъ, Грекъ, Персіянинъ, —объ этомъ никто не могъ сказать навърно. Высокій, почти необыкновенный рость, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвътъ его, большіе, необыкновеннаго огня глаза; нависнувшія густыя брови, отличали его сильно и разко отъ всахъ пенельныхъ жителей столицы. Самое жилище его непохоже было на прочіе маленькіе деревяные домики. Это было каменное строение въ родъ тъхъ, которыхъ когда - то настроили вдоволь Генураскіе купцы, съ неправильными, неравной величины окнами, съ желёзными ставнями и засовами. Этотъ ростовщикъ отличался отъ другихъ ростовщиковъ уже темъ, что могъ снабдить какою угодно суммою всёхъ, начиная отъ нищей старухи до расточительнаго придворнаго вельможи. Предъ домомъ его показывались часто самые блестящие экипажи, изъ оконъ которыхъ иногда глядвла голова роскошной свътской дамы. Молва, по обыкновенію, разпесла, что желізные сундуки его полны безъ счету денегъ, драгоценностей, брилліантовъ и всякихъ залоговъ, но что однакоже онъ вовсе не имблъ той корысти, какая свойственна другимъ ростовщикамъ. Онъ давалъ деньги охотно, распредълня, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то странными ариометическими выкладками заставлялъ ихъ восходить до непомфринхъ процентовъ. Такъ по крайней мфрфговорила молва. Но что страните всего и что не могло не поразить многихь — это была странная судьба всёхъ тёхъ, которые получали отъ него деньги: веб они оканчивали жизиь несчастнымъ образомъ. Было ли это просто людское мивије, нелвиые суевврные толки, или съ умысломъ распущенные слухи — это осталось неизвъстно. Но иъсколько примъровъ, случившихся въ непродолжительное время предъ глазами всъхъ, были живы и разительны.

Изъ среды тогдашняго аристократства скоро обратиль на себя глаза юноша лучшей фамилін, отличившійся уже въ молодыхъ лътахъ на государственномъ поприщъ, жаркій почитатель всего истиннаго, возвышеннаго, ревнитель всего, что породило пекусство и умъ человъка, пророчивний въ себъ Мецената. Скоро онъ быль достойно отличень самой Государыней, ввърпвшей ему значительное місто, совершенно согласное съ собственными его требованіями, місто, гді онъ могъ много произвести для наукъ н вообще для добра. Молодой вельможа окружиль себя художниками. поэтами, учеными. Ему хотълось всъмъ дать работу, все поощрить. Онъ предпринялъ на собственный счетъ множество полезныхъ изданій, надаваль множество заказовь, объявиль поощрительные призы, издержаль на это кучи денегь и наконець разстроился. Но, полный великодушнаго движенья, онъ не хотёль отстать отъ своего дёла, искаль вездё занять и наконець обратился къ извёс гному ростовщику. Сдёлавши значительный заемъ у него, этотъ человъкъ въ непродолжительное время измънился совершенно: сталъ гонителемъ, преслъдователемъ развивающагося ума и таланта. Во всёхъ сочиненіяхъ сталь видёть дурную сторону, толковалъ криво всякое слово. Тогда на бъду случилась Французская революція. Это послужило ему вдругь орудіемь для встхь возможныхъ подозрвній. Онъ сталь видіть во всемь какое-то революціонное направленіе, во всемъ ему чудились намеки. Онъ сдълался подозрительнымъ до такой степени, что началъ наконецъ подозрѣвать самого себя, сталъ сочинять ужасные, несправедливые доносы, надълалъ тьму несчастныхъ. Само собой разумъется, что такіе ноступки не могли не достигнуть наконецъ престола. Великодушная Государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающаго въщеносцевъ, произнесла слова, которыя хотя не могли нерейти къ намъ во всей точности, но глубокій смыслъ ихъ впечатявлся въ сердцахъ многихъ. Государыня замётила, что не подъ монархическимъ правленіемъ угнетаются высокія, благородныя движенья души, не тамъ презираются и преслъдуются творенія ума, поэзін и художествъ; что, напротивъ, одни монархи бывали

ихъ покровителями; что Шекспиры, Мольеры, процеблали подъ ихъ великодушной защитой, между темъ какъ Дантъ не могъ найти угла въ своей республиканской родинь; что истинные геніи возникають во время блеска и могущества государей и государствъ, а не во время безобразныхъ политическихъ явленій и терроризмовъ республиканскихъ, которые доселв не подарили міру ни одного поэта; что нужно отличать поэтовъ-художниковъ, поо одинъ только мпръ и прекрасную тишину низводять они въдушу, а не волненье и ропотъ, что ученые, поэты и вев производители искусствъ суть перлы и брилліанты въ императорской коронь: ими красуется и получаетъ еще большій блескъ эпоха великаго государя. Словомъ, Государыня, произнесшая эти слова, была въ эту минуту божественно прекрасна. Я номию, что старики не могли объ этомъ говорить безъ слезъ. Въ дълъ всъ приняли участіе. Къ чести нашей народной гордости, надобно замътить, что въ Русскомъ сердцъ всегла обитаетъ прекрасное чувство взять сторону угнетеннаго. Обманувшій дов'тренность вельможа быль наказань примітрно п отставленъ отъ мъста. Но наказание гораздо ужасивищее читалъ онь на лицахъ своихъ соотечественниковъ: это было ръшительное п всеобщее презръне. Нельзя разсказать, какъ страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбіе, разрушившіяся надежды. все соединилось вмъстъ, и въ припадкахъ страшнаго безумія и бъщенства прервалась его жизнь.

»Другой разительный примъръ произошель тоже въ виду всъхъ: изъ красавицъ, которыми не бъдна была тогда наша съверная столица, одна одержала ръшительное первенство надъ всъми. Это было какое-то чудное сліянье нашей съверной красоты съ красотой полудия, брилліантъ, какой попадается на свътъ ръдко. Отецъ мой признавался, что никогда онъ не видывалъ во всю жизнь свою ничего подобнаго. Все, казалось, въ ней соединилось: богатство, умъ и душевная прелесть. Искателей была толна, и въ числъ ихъ замъчательнъе всъхъ былъ киязь Р., благороднъйшій, лучшій изъ всъхъ молодыхъ людей, прекраспъйшій и лицомъ и рыцарскими, великодушными порывами, высокій идеалъ романовъ и женщинъ, Грандисонъ во всъхъ отношеніяхъ. Киязь Р. былъ влюбленъ страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему отвътомъ. Но

родственникамъ показалась партія неровною. Родовыя вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилія была въ немилости, и илохое положенье дёль его было извёстно всёмь. Вдругь киязь оставляеть на время столицу, будтобы съ тъмъ, чтобы поправить свои дёла, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блескомъ неимовърнымъ. Блистательные балы и праздинки делають его известнымь двору. Отеңь красавицы становится благосклоннымь, и въ городъ разыгрывается интереснъйшая свадьба. Откуда произошла такая перемъна и неслыханное богатство жениха, этого не могъ навърно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что онъ вошелъ въ какія-то условія съ непостижимымъ ростовщикомъ и едилалъ у него заемъ. Какъ бы то ни было, но свадьба заняла весь городъ, и женихъ, и невъста были предметомъ общей зависти. Всемъ была известна ихъ жаркая, постоянная любовь, долгія томленья, претерпінныя съ обінхъ сторонъ, высокія достопиства обопхъ. Пламенныя женщины начертывали зарание то райское блаженство, которымъ будутъ наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. Въодинъгодъ произошла страшная перемёна въ мужё. Ядомъ подозрительной ревности, нетериимостью и неистощимыми капризами отравился дотоль благородный и прекрасный характерь. Онь сталь тираномь и мучителемъ жены своей и, чего бы никто не могъ предвидъть, прибъгнуль къ самымъ безчеловъчнымъ поступкамъ, даже нобоямъ. Въ одинъ годъ пикто не могъ узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толны покорныхъ поклонииковъ. Наконецъ, не въ силахъ будучи выносить долбе тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводъ. Мужъ пришелъ въ бъщенство при одной мысли о томъ. Въ первомъ движеньи неистоветва, ворвался онъ къ ней въ комнату съ ножомъ и безъ сомивнія закололь бы ее туть же, если бы его не схватили и не удержали. Въ порывъ изступленья и отчаянья, онъ обратильножъ на себя — и въ ужасивішихъ мукахъ окончиль жизнь.

» Кромѣ этихъ двухъ примѣровъ, совершившихся въ глазахъ всего общества, разсказывали множество случившихся въ низшихъ классахъ, которые почти всѣ имѣли ужасный конецъ. Тамъ честный, трезвый человѣкъ дѣлался пьяницей; тамъ купеческій прика-

щикъ обворовалъ своего хозяина; тамъ извощикъ, возивний нъсколько лѣтъ честно, за грошъ зарѣзалъ сѣдока. Нельзя, чтобы такія происшествія, разсказываемыя иногда не безъ прибавленій, не навели родъ какого-то невольнаго ужаса на скромныхъ обитателей Коломии. Никто не сомиввался о присутствін нечистой силы въ этомъ человъкъ. Говорили, что онъ предлагаль такія условія, отъ которыхъ дыбомъ поднимались волосы и которыхъ никогда нотомъ не посмълъ несчастный передавать другому; что деньги его имфють притягающее свойство, раскаляются сами собою и носять какіе-то странные знаки.... словомъ, много было всякихъ нелѣныхъ толковъ. И замѣчательно, что все это Коломенское поселеніе, весь этотъміръ бъдныхъ старухъ, мелкихъ чиновниковъ, мелкихъ артиетовъ и, словомъ, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше теривть и выносить последиюю крайность, нежели обратиться къ страшному ростовщику; находили даже умершихъ отъ голода старухъ, которыя лучше соглашались умертвить свое тъло, нежели погубить душу. Встръчаясь съ нимъ на улицъ, невольно чувствовали страхъ. Ившеходъ осторожно пятился п долго еще озпрался послѣ того назадъ, слѣдя пропадавшую вдали его непомърно высокую фигуру. Въ одномъ уже образъ его было столько необыкновеннаго, что всякаго заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существованіе. Эти сильныя черты, вржзанныя такъ глубоко, какъ не случается у человжка; этотъ горячій, бронзовый цвъть лица; эта непомърная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самыя широкія складки его Азіятской одежды, — все, казалось, какъ-будто говорило, что предъ страстями, двигавшимися въ этомъ тълъ, были блъдиы всъ страети другихъ людей. Отецъ мой всякій разъ останавливался неподвижно, когда встръчаль его, и велкій разъ не могь удержаться, чтобы не произнести: »Дьяволъ, совершенный дьяволъ!« Но надобно васъ поскоръе познакомить съ моимъ отцомъ, который между прочимъ есть настоящій сюжеть этой исторін.

» Отецъ мой былъ человѣкъ замѣчательный во многихъ отношеніяхъ. Это былъ художникъ, какихъ мало, художникъ-самоучка, отыскавшій самъ въ душѣ своей, безъ учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедшій, по причинамъ, можетъ быть, неизвъстнымъ ему самому, одною только указанною изъ души дорогою: одно изъ тъхъ самородныхъ чудъ, которыхъ часто современники честятъ обиднымъ словомъ певъжи и которые не охлаждаются отъ охуленій и собственныхъ неудачъ, получаютъ только новыя реенья и силы и уже далеко въдушъ своей уходять отъ тъхъ произведений. за которыя получили титло невёжъ. Высокимъ внутреннимъ пистинктомъ почуялъ опъ присутствіе мысли въкаждомъ предметь; постигнуль самъ собой истинное значение слова историческая живопись; постигнуль, почему простая головка, простой портретъ Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тиціана, Корреджіо можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина историческаго содержанія всё-таки будеть tableu de genre, не смотря на всв притязанья художника на историческую живонись. И внутреннее чувство, и собственное убъждение обратили кисть его къ Христіянскимъ предметамъ, высшей и послъдней ступени высокаго. У него не было честолюбія, или раздражительности, столь неотлучной отъ характера многихъ художниковъ. Это былъ твердый характеръ, честный, прямой человъкъ, даже грубый, покрытый снаружи и всколько черствой корою, не безъ и вкоторой гордости въ душт, отзывавшийся о людяхъ вмтстт и синсходительно. и рѣзко. » Что на нихъ глядъть? « обыкновенно говорилъ онъ: » вѣдь » я не для нихъ работаю. Не въ гостинную понесу я картины. Кто » пойметъ меня, поблагодаритъ. Свътскаго человъка нечего винить, » что онъ не смыслить въ живописи: зато онъ смыслить въ кар-» тахъ, знаетъ толкъ въ хорошемъ винѣ, въ лошадяхъ, — зачѣмъ » знать больше барину? Еще, пожалуй, какъ попробуетъ того, да » другого, да пойдеть уминчать, тогда и житья отъ него не будеть! »Всякому свое, всякій пусть занимается своимъ. По мив, ужъ »лучше тотъ человъкъ, который говоритъ прямо, что онъ не » знаетъ толку, нежели тотъ, который лицемъритъ, говоритъ, будто-»бы знаетъ то, чего не знаетъ, и только гадитъ, да портитъ.« Онъ работаль за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кром того, онъ ни въкаком случат не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному

художнику; въровалъ простой, благочестивой върою предковъ, п оттого, можетъ быть, на изображенныхъ имъ лицахъ являлось само собою то высокое выраженье, до котораго не могли докопаться блестящіе таланты. Наконець постоянствомъ своего труда п неуклониостью начертаннаго себѣ нути онъ сталъ даже пріобрѣтать уважение со стороны тёхъ, которые честили его невъжей и доморощеннымъ самоучкой. Ему давали безпрестанно заказы въ церкви — и работа у него не переводилась. Одна изъ работъ заняла его спльно. Не помню уже, въ чемъ пменно состоялъ сюжетъ ея, знаю только то — на картинъ нужно было помъстить духа тьмы. Долго думаль онь надъ тёмь, какой дать ему обороть: ему хотьлось осуществить въ лиць его все тяжелое, гистущее человъка. При такихъ размышленіяхъ пногда проносился въ головъ его образъ тапиственнаго ростовщика, и онъ думалъ невольно: »Воть бы съ кого мив следовало написать дьявола!« Судите же объ его изумленіи, когда одинъразъ, работая въ своей мастерской, услышаль онъ стукъ въ дверь, и вследъ затемъ прямо вошелъ къ нему ужасный ростовщикъ. Онъ не могъ не почувствовать какойто внутренней дрожи, которая пробъжала невольно по его тълу.

» Ты художникъ? « сказалъ онъ безъ всякихъ церемоній моему отцу.

» Xудожникъ«, сказалъ отецъ въ недоумѣньи, ожидая, что будетъ далъе.

»Хорошо. Нарисуй съ меня портретъ. Я, можетъ быть, скоро »умру, дътей у меня нътъ; но я не хочу умереть совершенно, я »хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портретъ, чтобы »былъ совершенно, какъ живой? «

» Отецъ мой подумалъ: » Чего лучше? опъ самъ просится въ » дъяволы ко мив на картину. « Далъ слово. Они уговорились во времени и цвив, и на другой же день, схвативши налитру и кисти, отецъ мой уже былъ у него. Высокій дворъ, собаки, жельзныя двери и затворы, дугообразныя окна, сундуки, нокрытые страниыми коврами, и наконецъ самъ необыкновенный хозяниъ, сввшій неподвижно передъ нимъ, — все это произвело на него странное впечатлівніе. Окна, какъ нарочно, были заставлены и загромождены снизу такъ, что давали свътъ только съ

одной верхушки. » Чортъ побери, какъ теперь хорошо освътилося »его лицо! « сказалъ онъ про-себя, и принялся жадно инсать, какъбы опасаясь, чтобы какъ-инбудь непсчезло счастливое освъщенье. »Экая сила!« повториль онь про-себя: »если я хотя вполовину » изображу его такъ, какъ онъ есть теперь, онъ убъетъ всю мою » прежиюю работу; онъ у меня, просто, выскочить изъ полотна, » если только хоть немного буду въренъ натуръ. Какія необыкно-»венныя черты! « новторяль онь безпрестанно, усугубляя рвеніе, и уже видёль самь, какъ стали переходить на полотно нёкоторыя черты. Но чемъ более онъ приближался къ нимъ, темъ более чувствоваль какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себъ самому. Однакоже, не смотря на то, онъ положилъ себъ преследовать съ буквальною точностью всякую незаметную черту н выраженье. Прежде всего запялся онъ отдёлкою глазъ. Въ этихъ глазахъ столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать ихъ точно, какъ были въ натуръ. Однакоже, во что бы то ни стало, онъ ръшился доискаться въ нихъ послъдией мелкой черты и оттънка, постигнуть ихъ тайну.... Но какъ только началъ онъ входить и усугубляться въ нихъ кистью, въ душт его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что онъ долженъ быль на нъсколько времени бросить кисть и потомъ приниматься вновь. Наконецъ уже не могъ онъ болъе выносить: онъ чувствовалъ, что эти глаза воизились ему въ душу и производили въ ней тревогу непостижимую. На другой, на третій день это было еще сильиве. Ему едилалось странию. Онъ бросиль кисть и сказаль на-отрѣзъ, что не можетъ болье писать съ него. Надобио было видьть, какъ измънился при этихъ словахъ стращный ростовщикъ. Онъ бросился къ нему въ ноги и молилъ кончить портреть, говоря, что отъ этого зависить судьба его и существованіе въ мірѣ; что уже онъ тронуль своею кистью его живыя черты; что если онъ передастъ ихъ върно, жизнь его сверхъестественною силою удержится въ портретъ; что онъ черезъ то не умретъ совершенио; что ему нужно присутствовать въ мірф. Отецъ мой почувствоваль ужась отъ такихъ словъ: они ему показались до того странны и страшны, что онъ бросилъ и кисти, и палитру, и бросился опрометью вонъ изъ комнаты.

»Мысль о томъ тревожила его весь день и всю ночь; а поутру онъ получиль отъ ростовщика портреть, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него въ услугахъ, объявившая тутъ же, что хозяниъ не хочетъ портрета, не даетъ за него инчего и присылаетъ назадъ. Ввечеру въ тотъ же день узналь онь, что ростовщикь умерь и что собираются уже хоронить его по обрядамъ его религіи. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тёмъ съ этого времени оказалась въ характеръ его ощутительная перемъна: онъ чувствовалъ неспокойное, тревожное состояние, которому самъ не могъ понять причины, и скоро едблаль онь такой поступокъ, котораго бы инкто не могъ отъ него ожидать. Съ изкотораго времени труды одного изъ учениковъ его начали привлекать внимание небольшого круга знатоковъ и любителей. Отецъ мой всегда видѣлъ въ немъ талантъ и оказываль ему за то свое особенное расположение. Вдругъ почувствоваль къ нему зависть. Всеообщее участіе и толки о немъ едълались ему невыносимы. Наконецъ, къ довершению досады. узнаетъ онъ, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. »Нътъ, не » дамъ же молокососу восторжествовать ! « говориль онъ: »рано. » брать, вздумаль етариковь сажать вь грязь! Еще, слава Богу, »есть у меня силы. Вотъ мы увидимъ, кто кого скоръе посадитъ »въ грязь. « И прямодушный, честный въ душь человыть употребилъ нитриги и происки, которыми доголъ всегда гнушался; добился наконецъ того, что на картину объявленъ былъ конкурсъ и другіе художники могли войти также съ своими работами. Послѣ чего заперся онъ въ свою комнату и съжаромъ принядся за кисть. Казалось, вей свои силы, всего себя хотиль онь сюда собрать. И точно, это вышло одно изъ лучшихъ его произведений. Никто не сомиввался, чтобы не за нимъ осталось первенство. Картины были представлены, и всё прочія показались предъ нею какъночь предъ днемъ. Какъ вдругъ одинъ изъ присутствовавшихъ членовъ, если не ошибаюсь, духовная особа, сдёлаль замічаніе, поразившее всёхь. »Въ картинъ художника точно есть много таланта с, сказалъ онъ, » но нътъ святости въ лицахъ; есть даже, напротивъ того, что-то »демонское въ глазахъ, какъ-будтобы рукою художника водило не-

» чистое чувство. « Вет взглянули и не могли не убъдиться въ истинь этихь словь. Отець мой бросился впередь къ своей картинь, какъ-бы съ тъмъ, чтобы повърнть самому такое обидное замъчаніе, и съ ужасомъ увидель, что онъ всемъ почти фигурамъ придаль глаза ростовщика. Они такъ глядели демонски-сокрушительно, что онъ самъ невольно вздрогнулъ. Картина была отвергнута, и опъ долженъ быль, къ неописанной своей досадъ, услышать, что первенство осталось за его ученикомъ. Невозможно было описать того бъщенства, съ какимъ онъ возвратился домой. Онъ чуть не прибиль мать мою, разогналь дѣтей, переломаль киети и мольбертъ, схватилъ со стъны портретъ ростовщика, потребоваль ножа и вельль разложить огонь въ каминь, намъреваясь изрѣзать его въ куски и сжечь. На этомъ движеньи засталъ его вошедшій въ комнату пріятель, живописецъ, какъ п онъ, весельчакъ, всегда довольный собой, незаносившійся никакими отдаленными желаніями, работавшій весело все, что попадалось, и еще весельні того принимавшійся за объдъ и пирушку.

» Что ты дѣлаешь? что собпраешься жечь? « сказалъ онъ и подошель къ портрету. »Помилуй, это одно изъ самыхъ лучшихъ » твоихъ произведеній. Это ростовщикъ, который педавно умеръ; »да, это совершенивішая вещь. Ты ему, просто, попалъ не въ » бровь, а въ самые глаза залѣзъ. Такъ въ жизнь пикогда не гля-» дѣли глаза, какъ они глядятъ у тебя. «

»A вотъ я посмотрю, какъ они будутъ глядѣть въ огнѣ!« сказалъ отецъ, сдълавши движенье швырнуть портретъ въ каминъ.

» Остановись, ради Бога! « сказаль пріятель, удержавь его: » отдай его ужь лучше мив, если онь тебв до такой степени ко-» леть глазь. « Отець сначала упорствоваль, наконець согласился, и весельчакь, чрезвычайно довольный своимь пріобрѣтеніемь, утащиль портреть съ собою.

»По уходъ его, отецъ мой вдругъ почувствовалъ себя спокойнъе. Точно, какъ-будтобы вмъстъ съ портретомъ свалилась тяжесть съ его души. Онъ самъ изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемъпъ своего характера. Разсмотръвши поступокъ свой, онъ опечалился душою и, не безъ внутренней скорби, произнесъ: »Нътъ, это Богъ наказалъ меня; картина моя

»по-дъломъ понесла посрамленье. Она была замышлена съ тъмъ, эчтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею »кистью, демонское чувство должно было и отразиться въ ней. « Онъ немедленно отправился искать бывшаго ученика своего, обиялъ его крѣнко, просиль у него прощенья и старался, сколько могъ, загладить предъ нимъ вниу свою. Работы его вновь потекли по прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лицъ. Онъ больше молился, чаще бывалъ молчаливъ и не выражался такъ ръзко о людяхъ; самая грубая наружность его характера какъ-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще болъе потрясло его. Онъ уже давно не видался съ товарищемъ своимъ, выпросившимъ у него портретъ. Уже собирался было идти его проведать, какъ вдругь онъ самъ вошель неожиданно въ его комнату. Послѣ нѣсколькихъ словъ и вопросовъ съ обѣихъ сторонъ, онъ сказалъ: »Ну, братъ, не даромъ ты хотелъ сжечь нортретъ. Чортъ его побери, въ немъ есть что-то страшное.... Я въдьмамъ »не върю, но, воля твоя, въ немъ спдитъ нечистая сила....«

»Какъ?« сказаль отецъ мой.

» А такъ, что съ тъхъ поръ, какъ повъсилъ я къ себъ его въ комнату, почувствовалъ тоску такую... точно какъ-будтобы хо- тълъ кого-то заръзать. Въ жизнь мою я не зналъ, что такое без- сонинца, а тенерь испыталъ не только безсонинцу, но сны такіе... я и самъ не умъю сказать, сны ли это, или что другое: точно домовой тебя душитъ, и всё мерещится проклятый старикъ. Однимъ словомъ, не могу разсказать тебъ моего состоянія. По- добнаго со мной никогда не бывало. Я бродилъ какъ шальной всъ эти дии: чувствовалъ какую-то боязпь, непріятное ожиданье чего- то. Чувствую, что не могу сказать никому веселаго и искренняго слова; точно, какъ-будто возлъ меня сидитъ шпіонъ какой-ипбудь. И только съ тъхъ поръ, какъ отдалъ портретъ илемяннику, ко- торый напросился на него, почувствовалъ, что съ меня вдругъ обудто какой-то камень свалился съ плечъ: вдругъ почувствовалъ себя веселымъ, какъ видишь. Ну, братъ, состряналъ ты чорта! «

» Во время этого разсказа отецъ мой слушалъ его съ неразвлекаемымъ вниманиемъ, и наконецъ спросилъ: » И портретъ теперь » у твоего племянника? « »Куда у племянника! не выдержаль! « сказаль весельчакь: »знать, »душа самого ростовщика переселилась въ него: онъ выскакиваеть » изъ рамь, расхаживаеть по комнать, и то, что разсказываеть » племянникь, просто уму непонятно. Я бы приняль его за сума-»сшедшаго, если бы отчасти не испыталь самь. Онъ его продаль »какому-то собирателю картинь, да и тоть не вынесь его и тоже »кому-то сбыль съ рукъ. «

э Этоть разсказь произвель сильное впечатлёнье на моего отца. Онъ задумался не въ-шутку, впаль въ ипохондрио и наконецъ совершенно увбрился въ томъ, что кисть его послужила дьявольскимъ орудіемъ, что часть жизни ростовщика перешла въ самомъ дълъ какъ-нибудь въ портретъ и тревожитъ теперь людей, внушая бъсовскія побужденія, совращая художинка съ пути, порождая страшныя терзанья зависти, и проч. и проч. Три случившіяся вельдь затьмь несчастія, три внезанныя смерти: жены, дочери п малольтняго сына, почель онь небесною казнью себь и рышился непременно оставить светь. Какъ только минуло мие девять леть, онъ номъстилъ меня въ академно художествъ и, расилатясь съ своими должниками, удалился въ одну уединенную обитель, гдъ скоро постригся въ монахи. Тамъ, строгостью жизни, неусыннымъ соблюдениемъ всёхъ монастырскихъ правилъ, онъ изумилъ вею братио. Настоятель монастыря, узнавши объ некусствъ его кисти, требоваль отъ него написать главный образъ въ церковь. Но емиренный братъ сказаль на-отрёзъ, что онъ недостоинъ взяться за кисть, что она осквернена, что трудомъ и великими жертвами онъ долженъ прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить къ такому дёлу. Его не хотёли принуждать. Онъ самъ увеличиваль для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконецъ уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Онъ удалился, съ благословенья настоятеля, въ пустынь, чтобъ быть совершенно одному. Тамъ изъ древесныхъ вътвей выстроилъ онъ себъ келью, интался одними сырыми кореньями, таскаль на себѣ камии съ мѣста на мѣсто, стояль отъ восхода до заката солнечнаго на одномъ и томъ же мъстъ съ поднятыми къ небу руками, читая безпрерывно молитвы; словомъ, изыскивалъ, казалось, всв возможныя степени терпвиья

и того непостижимаго самоотверженья, которому примъры можпо развѣ найти въ одинхъ житіяхъ святыхъ. Такимъ образомъ, долго, въ продолжение ивсколькихъ летъ, изнурялъ онъ свое тело, подкрипляя его въ то же время живительною силою молитвы. Наконецъ въ одинъ день пришелъ онъ въ обитель и сказалъ твердо настоятелю: »Тенерь я готовъ; если Богу угодно, я совершу свой »трудъ. « Предметъ, взятый имъ, было Рождество Інсуса. Цълый тодъ сиделъ онъ за нимъ, не выходя изъ своей кельи, едва питая себя суровой инщей, молясь безпрестанно. По истечени года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать. что ни братія, ни настоятель не имъли большихъ свъдъній въ живописи, но вст были поражены необыкновенной святостью фигуръ. Чувство божественнаго смиренья и кротости въ лицъ Пречистой Матери, склонившейся надъ Младенцемъ, глубокій разумъ въ очахъ Вожественнаго Младенца, какъ-будто уже что-то прозръвающихъ вдали, торжественное молчанье пораженныхъ Божественнымъ чудомъ царей, повергнувшихся къногамъ его, и, наконецъ, евятая невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало въ такой согласной силъ и могуществъ красоты, что впечатлѣнье было магнческое. Вся братія поверглась на колѣни предъ новымъ образомъ, и умиленный настоятель произнесъ: »Нътъ. » нельзя человѣку съ помощью одного человѣческаго искусства про-» Извести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью. » и благословенье небесь почило на трудъ твоемъ. «

» Въ это время окончилъ и свое ученье въ академіи, получилъ золотую медаль и вмъстъ съ нею радостную надежду на путешествіе въ Италію — лучшую мечту двадцатильтияго художника. Мит оставалось только проститься съ монмъ отцомъ, съ которымъ уже двънадцать лътъ, какъ разстался. Признаюсь, даже самый образъ его давно исчезнулъ изъ моей намяти. Я уже итсколько наслышался о суровой святости его жизни и заранте воображалъ встрътить чорствую наружность отшельника, чуждаго всему въ мірт, кромт своей кельи и молитвы, изнуреннаго, высохшаго отъ въчнаго поста и бдънья. Но какъ же я изумился, когда предсталъ предо мною прекрасный, почти Божественный старецъ! И слъдовъ изможденія не было замътно на его лицт: оно сіяло свътлостью

небеснаго веселія. Бѣлая, какъ снѣгъ, борода и тонкіе, почти воздушные волосы такого же серебристаго цвѣта разсыпались картинно по груди и по складкамъ его черной рясы и надали до самого вервія, которымъ опоясывалась его убогая монашеская одежда. По болѣе всего изумительно было для меня услышать изъ устъ его такія слова и мысли обънскусствѣ, которыя, признаюсь, я долго буду хранить въ душѣ и желалъ бы искренно, чтобы всякій мой собратъ сдѣлалъ то же.

» Я ждаль тебя, сынь мой«, сказаль онь, когда я подошелькъ его благословенью. »Тебъ предстоить нуть, по которому отнынъ » потечетъ жизнь твоя. Путь твой чистъ, — не совратись съ него. »У тебя есть таланть; таланть есть драгоцѣннѣйшій даръБога,— »не погуби его. Изелъдуй, изучай все, что ни видишь, покори »все кисти; но во всемъ умъй находить внутрениюю мысль и пуще »всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блаженъ из-» бранникъ, владъющій ею! Пътъ ему низкаго предмета въ природъ. » Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ и въ »великомъ; въ презрѣнномъ у него уже иѣтъ презрѣннаго; ибо эсквозить невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго, и » презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь »чистилище его души. Намекъ о Божественномъ, небесномъ рав » заключенъ для человъка въ искусствъ, и по тому одному оно уже эвыше всего. И во сколько разъ торжественный покой выше вся-» каго волиенья мірского; во сколько разъ творенье выше разру-» шенья; во сколько разъ ангелъ одной только чистой невинностью » свътлой души своей выше всъхъ неемътныхъ силъ и гордыхъ » страстей сатаны: во столько разъ выше всего, что ни есть на » свътъ, высокое созданье искусства. Все принеси ему въ жертву » и возлюби его всей страстью, — не страстью, дышущей земнымъ » вождельніемь, но тихой, небесной страстью: безь нея не власэтень человъкъ возвыситься отъ земли и не можетъ дать чудныхъ » звуковъ успокоенія. Ибо для успокоенія и примиренія всёхъ нис-»ходить въ міръ высокое созданье искусства. Оно не можеть по-» селить ропота въ душъ, но звучащей молитвой стремится въчпо »къ Богу. Но есть минуты, темныя минуты...« Онъ остановился, и я замътилъ, что вдругъ омрачился свътлый ликъ его, какъ-будтобы на него набъжало какое-то мгновенное облако. »Есть одно про-»исшествіе въ моей жизни«, сказаль онь. »Донынь я не могу поэнять, что быль тоть странный образь, съ котораго я написаль » изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, освъть отвергаеть существование дьявола, и нотому не буду говоорить о немъ; но скажу только, что я съ отвращениемъ писалъ »его: я не чувствоваль въ то время никакой любви къ своей ра-»ботъ. Насильно хотъль покорить себя и, бездушно заглушивъ »все, быть върнымъ природъ. Это не было созданье искусства, и »нотому чувства, которыя объемлють всёхъ при взглядё на него, » суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства ху-»дожника, ибо художинкъ и въ тревогѣ дышетъ покоемъ. Миѣ оговорили, что портреть этоть ходить по рукамъ и разейваеть этомительныя внечатлінья, зараждая въ художникі чувство завиэсти, мрачной ненависти къ брату, злобную жажду производить эгоненья и угнетенья. Да хранить тебя Всевышній отъсихъ стра-» стей! Иътъ ихъ страшиве. Лучше вынести всю горечь возможвныхъ гоненій, нежели нанести кому-либо одну тыпь гоненья. Спа-» сай чистоту души своей. Кто заключилъ въ себъ талаптъ, тотъ » чище всёхъ долженъ быть душою. Другому простится многое, по ∘ему не простится. Человъку, который вышелъ изъ дома въ свът-» лой праздничной одеждь, стоить только быть обрызнуту одной » каплей грязи изъ-подъ колеса, и уже весь народъ обступилъ его • и указываетъ на него пальцемъ, и толкуетъ объ его неряшествъ, «тогда какъ тотъ же народъ не замъчаетъ множества пятенъ на • другихъ проходящихъ, одътыхъ въ будничныя одежды, ибо на »будицчныхъ одеждахъ не замѣтны нятна.«

» Онъ благословилъ меня и обиялъ. Никогда въ жизни не былъ я такъ возвышенио подвигнутъ. Благоговъйно, болъе, нежели съ чувствомъ сына, прильнулъ я къ груди его и поцъловалъ въ разсыпавшеся его серебряные волосы.

»Слеза блеснула въ его глазахъ. »Исполни, сынъ мой, одну »мою просьбу«, сказалъ онъ мив уже при самомъ разставаньи. »Мо-»жетъ быть, тебѣ случится увидѣть гдѣ-нибудь тотъ портретъ, о »которомъ я говорилъ тебѣ. Ты его узна́ешь вдругъ по необыкио»веннымъ глазамъ и неестественному ихъ выраженію. Во что бы »то ни было, истреби его....«

»Вы можете судить сами, могъ ли я не объщать клятвенно исполнить такую просьбу. Въ продолжение цълыхъ пятнадцати лътъ не случалось миъ встрътить инчего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сдъланное моимъ отцомъ, какъ вдругъ теперь на аукціонъ....«

Здѣсь художникъ, не договорнвъ еще своей рѣчн, обратилъ глаза на стѣну съ тѣмъ, чтобы взглянуть еще разъ на нортретъ. То же самое движеніе сдѣлала въ одинъ мигъ вся толпа слушавшихъ, ища глазами необыкновеннаго портрета. По, къ величайшему изумленію, его уже не было на стѣнѣ. Невнятный говоръ и шумъ пробѣжалъ по всей толпѣ, и вслѣдъ за тѣмъ послышались явственно слова: украденъ. Кто-то усиѣлъ уже стащить его, воспользовавшись вниманьемъ слушателей, увлеченныхъ разсказомъ. И долго всѣ присутствовавшіе оставались въ педоумѣніп, не зная, дъйствительно ли они видѣли эти необыкновенные глаза, или это была, просто, мечта, представшая только на мигъ глазамъ ихъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.

# и осъ

I.

Марта, 25 числа, случилось въ Петербургѣ необыкиовенно странное происшествіе. Цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ, живущій на Вознесенскомъ проснектѣ (фамилія его утрачена, и даже на вывѣскѣ его, гдѣ изображенъ господинъ съ намыленною щекою и надписью: И кровь отворлютъ, не выставлено ничего болѣе), цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ проснулся довольно рано и услышалъ запахъ горячаго хлѣба. Приподнявшись немного на кровати, онъ увидѣлъ, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая имть кофе, вынимала изъ печи только-что испеченные хлѣбы.

»Сегодия я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе«, сказать Иванъ Яковлевичъ: »а вмъсто того хочется мит съъсть горячаго хлъбца съ лукомъ.« (То есть, Иванъ Яковлевичъ хотълъ бы и того, и другого, но зналъ, что было совершенно невозможно требовать двухъ вещей разомъ, ибо Прасковья Осиповна очень не любила такихъ прихотей.) »Пусть дуракъ ъстъ хлъбъ: мит же лучше«, нодумала про-себя супруга: »останется кофею лишняя порція«, и бросила одинъ хлъбъ на столъ.

Иванъ Яковлевичъ для приличія надълъ сверхъ рубашки фракъ и, уеввшись передъ столомъ, насыпалъ соли, приготовилъ двъ головки луку, взялъ въ руки ножъ и, сдълавши значительную мину, принялся ръзать хлъбъ. Разръзавши хлъбъ на двъ половины, опъ поглядълъ въ середину—и, къ удивлению своему, увидълъ что-то

бълъвшееся. Иванъ Яковлевичъ ковырнулъ осторожно ножомъ и пощупалъ нальцемъ: »Плотное! « сказалъ онъ самъ про-себя: »что бы это такое было? «

Онъ засунулъ пальцы и вытащилъ — носъ!... Иванъ Яковлевичъ и руки опустилъ; сталъ протпрать глаза и щунать: носъ, точно носъ! и еще, казалось, какъ-будто чей-то знакомый. Ужасъ изобразился на лицъ Ивана Яковлевича. Но этотъ ужасъ былъ инчто противъ негодованія, которое овладъло его супругою.

»Гдѣ это ты, звѣрь, отрѣзаль носъ? « закричала она съ гнѣвомъ. »Мошенникъ! пьяница! я сама на тебя донесу полицін! Разбойникъ какой! Вотъ ужъ я отъ трехъ человѣкъ слышала, что ты во время бритья такъ теребишь за носы, что еле держатся. «

Но Иванъ Яковлевичъ былъ ни живъ, ни мертвъ: опъ узналъ, что этотъ носъ былъ не кого другого, какъ коллежскаго ассессора Ковалева, котораго онъ брилъ каждую середу и воскресенье.

»Стой, Прасковья Осиповна! Я заверну его вътряпочку и положу въ уголокъ; пусть тамъ маленечко полежитъ; а послѣ я его вынесу.«

»И слушать не хочу! чтобы я позволила у себя въ комнатъ лежать отръзанному носу!... Сухарь поджаристый! знай умъетъ только бритвой возить но ремню, а долга своего скоро совсъмъ не въ состояни будетъ исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвъчать нолиціп?... Ахъ, ты, начкунъ, бревно глуное! Вонъ его! вонъ! несп, куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!«

Нванъ Яковлевичъ стоялъ совершенно какъ убитый. Онъ думалъ, думалъ — и не зналъ, что подумать. «Чортъ его знаетъ, какъ это едълалось«, сказалъ онъ наконецъ, почесавъ рукою за ухомъ: »пьянъ ли я вчера возвратился, или иътъ, ужъ навърное сказать не могу. А по всъмъ примътамъ, должно быть происшествіе несбыточное; ибо хлъбъ—дъло печеное, а посъ— совсъмъ не то. Ничего не разберу!« Иванъ Яковлевичъ замолчалъ. Мысль о томъ, что полицейскіе отыщутъ у него носъ и обвинятъ его, привела его въ совершенное безпамятство. Уже ему мерещился алый воротникъ, красиво вышитый серебромъ, шнага.... и онъ дрожалъ всъмъ тъломъ. Наконецъ, досталъ онъ свое исподнее платье и са-

поги, напялиль на себя всю эту дрянь п; сопровождаемый пелег-кими увъщаніями Прасковьи Осиновны, завернуль нось въ тряпку

и вышель на улицу.

Онъ хотъль его куда-инбудь подсунуть: или въ тумбу подъ воротами, или такъ какъ-инбудь нечаянио выронить, да и повернуть въ нереулокъ. Но какъ на бъду ему попадался какой-инбудь знакомый человъкъ, который начиналъ тотчасъ вопросомъ: «Куда идень? « пли: »Кого такъ рано собрался брить? « такъ-что Иванъ Яковлевичъ никакъ не могъ улучить минуты. Въ другой разъ онъ уже совсъмъ уронилъ было носъ; но будочникъ еще издали указаль ему алебардою, примолвивъ: »Подыми, вонъ ты что - то уронилъ! « и Иванъ Яковлевичъ долженъ былъ нодиять носъ и спрятать его въ карманъ. Отчаяніе овладъло имъ, тъмъ болье, что народъ безпрестанно умножался на улицъ, по мъръ того, какъ начали отпираться магазины и лавочки.

Онъ ръшился идти къ Исакіевскому мосту, ие удастся ли какънибудь швырнуть его въ Неву.... Но я нъсколько виповатъ, что до сихъ поръ не сказалъ инчего объ Иванъ Яковлевичъ, человъкъ

почтенномъ во многихъ отношеніяхъ.

Иванъ Яковлевичъ, какъ всякій порядочный Русскій мастеровой, былъ иьяница страшный, и, хотя каждый день брилъ чужіе подбородки, но его собственный былъ у него вѣчно небритъ. Фракъ у Ивана Яковлевича (Иванъ Яковлевичъ инкогда не ходилъ въ сюртукѣ) былъ пѣгій, то есть, онъ былъ чорный, но весь въ коричнево - желтыхъ и сѣрыхъ яблокахъ; воротникъ лоснился; а вмѣсто трехъ пуговицъ, висѣли однѣ только инточки. Иванъ Яковлевичъ былъ большой циникъ, и, когда коллежскій ассессоръ Ковалевъ обыкновенно говорилъ ему во время бритья: »У тебя, Иванъ Яковлевичъ, вѣчно воняютъ руки! « то Иванъ Яковлевичъ отвѣчалъ на это вопросомъ: »Отъ чего жъ бы имъ вонять? « — »Не знаю, братецъ, только вопяютъ , говорилъ коллежскій ассессоръ, и Иванъ Яковлевичъ, пошохавши табаку, мылилъ ему за это на щекѣ и подъ носомъ, и за ухомъ, и нодъ бородою, однимъ словомъ — гдѣ только ему была охота.

Этотъ почтенный гражданинъ находился уже на Исакіевскомъ мосту. Онъ прежде всего осмотрълся, потомъ нагнулся на перила,

будтобы носмотрѣть нодъмостъ, много ли рыбы бѣжитъ, и швырнулъ потихоньку тряпку съ носомъ. Онъ почувствовалъ, какъ-будтобы съ него разомъ свалилось десять пудъ: Пванъ Яковлевичъ даже усмѣхнулся. Вмѣсто того, чтобы идти брить чиновничьи нодбородки, онъ отправился въ заведене съ надиисью: Кушанье и чай, спросить стаканъ пуниу, какъ вдругъ замѣтилъ въ концѣ моста квартальнаго надзирателя, благородной наружности, съ широкими баккенбардами, въ треугольной шляпѣ, со шпагою. Онъ обмеръ; а между тѣмъ квартальный кивиулъ ему пальцемъ и проговорилъ: »А подойди сюда, любезный!«

Иванъ Яковлевичъ, зная форму, снялъ издали еще картузъ и, нодошедши проворно, сказалъ: »Желаю здравія вашему благородію!«

»Нѣтъ, иѣтъ, братецъ, не благородію, — скажи-ка, что ты тамъ дѣлалъ, етоя на мосту?«

»Ей Богу, сударь, ходиль брить, да носмотръль только, шибко ли ръка идетъ.«

»Врешь, врешь! Этимъ не отдълаешься. Изволь-ка отвъчать! «
»Я вашу милость два раза въ недълю, или даже три, готовъ
брить безъ всякаго прекословія «, отвъчалъ Иванъ Яковлевичъ.

»Нътъ, пріятель, это пустяки! Меня три цырюльника брѣютъ, да еще и за большую честь почитаютъ. А вотъ изволь-ка разсказать, что ты тамъ дълалъ? «

Иванъ Яковлевичъ поблъднълъ... Но здъсь происшествие совершенно закрывается туманомъ, и что далъе произошло, ръшительно ничего не извъстно.

II.

Коллежскій ассессоръ Ковалевъ проспулся довольно рано и сдѣлалъ губами брр...! что всегда онъ дѣлалъ, когда просынался, хотя самъ не могъ растолковать, по какой причинѣ. Ковалевъ потянулся, приказалъ себѣ подать небольшое, стоящее на столѣ, зеркало. Онъ хотѣлъ взглянуть на прыщикъ, который вчерашнимъ вечеромъ вскочилъ у него на носу; но къ величайшему изумленю увидѣлъ, что у него, вмѣсто носа, совершенно гладкое

мъсто! Испугавшись, Ковалевъ велълъ подать воды и протеръ полотенцемъ глаза: точно, нътъ носа! Онъ началъ щупать рукою, чтобы узнать, не спитъ ли онъ; кажется, не спитъ! Коллежскій ассессоръ Ковалевъ вскочилъ съ кровати, встряхнулся — иътъ носа!... Онъ велълъ тотчасъ подать себъ одъться и нолетълъ прямо къ оберъ-полиціймейстеру.

Но между тъмъ необходимо сказать что-нибудь о Ковалевъ, чтобы читатель могъ видъть, какого рода быль этотъ коллежскій ассессоръ. Коллежскихъ ассессоровъ, которые получаютъ это званіе съ помощію ученыхъ аттестатовъ, никакъ нельзя сравнивать съ тъми коллежскими ассессорами, которые дълались на Кавказъ. Это два совершенно особые рода. Ученые коллежскіе ассессоры.... Но Россія такая чудная земля, что, если скажешь объ одномъ коллежскомъ ассессоръ, то веъ коллежские ассессоры, отъ Риги до Камчатки, непремънно примутъ на свой счетъ; то же разумъй и о всёхъ званіяхъ и чинахъ. Ковалевъ былъ Кавказскій коллежскій ассессоръ. Онъ два года только еще состоять въ этомъ званіп, а потому ни на минуту не могъ его позабыть; а чтобы болъе придать себъ благородства и въсу, онъ никогда не называль себя коллежскимъ ассессоромъ, но всегда маіоромъ. »Послушай, голубушка «, говорилъ онъ обыкновенно, встрътивши на улицъ бабу, продававшую манишки: »ты приходи ко мив на домъ; квартира моя въ Садовой; спроси только: здъсь ли живетъ мајоръ Ковалевъ? тебъ всякій покажеть. « Если же встръчаль какую-инбудь смазливенькую, то даваль ей сверхъ того секретное приказаніе, прибавляя: »Ты спроси, душенька, квартиру маіора Ковалева.« По этому-то самому и мы будемъ впередъ этого коллежскаго ассессора называть маіоромъ.

Маіоръ Ковалевъ имълъ обыкновеніе каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничокъ его манишки былъ всегда чрезвычайно чистъ п накрахмаленъ. Бакенбарды у него были такого рода, какія и теперь еще можно видѣть у губернскихъ и уѣздныхъ землемѣровъ, у архитекторовъ и полковыхъ докторовъ, также у отправляющихъ разныя обязанности и, вообще, у всѣхъ тѣхъ мужей, которые имѣютъ полныя, румянныя щеки и очень хорошо играютъ въ бостонъ: эти баккенбарды идутъ по самой сре-

динѣ щеки и прямехонько доходять до носа. Маіоръ Ковалевъ носиль множество сердоликовыхъ печатокъ, и съ гербами, и такихъ, на которыхъ было вырѣзано: середа, четвергъ, попедплыникъ и проч. Маіоръ Ковалевъ пріѣхаль въ Петербургъ по надобности, а именно— искать приличнаго своему званно мѣста: если удастся, то вице-губернаторскаго, а не то — экзекуторскаго въ какомънибудь видномъ департаментѣ. Маіоръ Ковалевъ былъ не прочь и жениться, но только въ такомъ случаѣ, когда за невѣстою случится двѣсти тысячъ каниталу. И потому читатель теперь можетъ судить самъ, каково было положеніе этого маіора, когда онъ увидѣлъ, вмѣсто довольно педурного и умѣреннаго носа, преглуное, ровное и гладкое мѣсто.

Какъ на бъду, ни одинъ извощикъ не показывался на улицъ, и онъ долженъ былъ идти цъшкомъ, закутавшись въ свой илащъ и закрывши платкомъ лицо, показывая видъ, какъ-будто у него шла кровь. »Но авось-либо миѣ такъ представилось: не можетъ быть, чтобы носъ пропалъ съ-дуру«, подумалъ онъ и зашелъ въ кондитерскую нарочно съ тъмъ, чтобы носмотръться въ зеркало. Къ счастю, въ кондитерской никого не было: мальчики мели комнаты и разставляли стулья; нъкоторые съ сонными глазами выносили на подносахъ горячіе нирожки; на столахъ и стульяхъ валялись залитыя кофеемъ вчераниня газеты. »Ну, слава Богу, никого иътъ«, произнесъ онъ: »теперь можно поглядъть. « Онъ робко подошель къ зеркалу и взглянулъ. » Чортъ знаетъ что, какая дрянь!« произнесъ онъ, плюнувши: »хотя бы уже что-нибудь было вмъсто носа, ато ничего!...«

Съ досадою, закусивъ губы, вышелъ онъ изъ кондитерской и рѣшился, противъ своего обыкновенія, не глядѣть ни на кого и инкому не улыбаться. Вдругъ онъ сталъ, какъ вкопанный, у дверей одного дома; въ глазахъ его произошло явленіе неизъяснимое: передъ подъѣздомъ остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнулъ, согнувшись, господинъ въ мундирѣ и побѣжалъ вверхъ по лѣстницѣ. Каковъ же былъ ужасъ и вмѣстѣ изумленіе Ковалева, когда опъ узналъ, что это былъ — собственный его носъ! При этомъ необыкновенномъ зрѣлицѣ, казалось ему, все переворотилось у него въ глазахъ; онъ чувствовалъ, что едва могъ стоять;

но рышился, во что бы ии стало, ожидать его возвращения въ карету, весь дрожа, какъ въ лихорадкъ. Чрезъ двъ минуты, носъ дъйствительно вышелъ. Онъ былъ въ мундиръ, шитомъ золотомъ, съ большимъ стоячимъ воротникомъ; на немъ были замшевыя нанталоны; на боку шнага. По шлянъ съ илюмажемъ можно было заключить, что онъ считался въ рангъ статскаго совътника. По всему замътно было, что онъ ъхалъ куда-нибудь съ визитомъ. Онъ ноглядълъ на объ стороны, закричалъ кучеру: »Нодавай!« сълъ и уъхалъ.

Бъдный Ковалевъ чуть не сошелъ съ ума. Опъ не зналъ, какъ и подумать о такомъ странномъ пропешествіп. Какъ же можно въ самомъ дълѣ, чтобы носъ, который еще вчера былъ у него на лицѣ и не могъ ни ѣздить, ни ходить, былъ въ мундирѣ! Онъ нобѣжалъ за каретою, которая, къ счастію, проѣхала недалеко и остановилась передъ гостиннымъ дворомъ. Опъ посиѣшилъ туда, пробрался сквозь рядъ нищихъ старухъ съ завязанными лицами и двумя отверстіями для глазъ, надъ которыми онъ прежде такъ смѣялся. Народу было немного. Ковалевъ чувствовалъ себя въ такомъ разстроенномъ состояніи, что ин на что не могъ рѣшиться, и искалъ глазами этого господина по всѣмъ угламъ; наконецъ увидѣлъ его стоявшаго передъ лавкою. Носъ спряталъ совершенно лицо свое въ большой стоячій воротипкъ и съ глубокимъ винманіемъ разсматривалъ какіе-то товары.

»Какъ подойти къ нему? « думалъ Кова́левъ. »По всему—по мундиру, по шляпѣ—видио, что онъ статскій совѣтникъ. Чортъ его знаетъ, какъ это сдѣлать! «

Онъ началъ около него покашливать; но носъ ни на минуту не оставлялъ своего положенія.

»Милостивый государь«, сказалъ Ковалевъ, внутренно принуждая себя ободриться, »милостивый государь...«

» Что вамъ угодно? « отвъчалъ носъ, оборотившись.

»Мит странно, милостивый государь... мит кажется... Вы должны знать свое мтсто. И вдругъ я васъ нахожу, и гдт же?.... Согласитесь....«

»Извините меня, я не могу взять въ толкъ, о чемъ вы изволите говорить.... Объяснитесь. »Какъ мив ему объяснить? « подумалъ Ковалевъ и, собравшись съ духомъ, началъ: »Конечно, я... впрочемъ, я маюръ. Мив ходить безъ носа, согласитесь, это неприлично. Какой-инбудь торговкъ, которая продаетъ на Воскресенскомъ мосту очищенные апельсины, можие сидъть безъ носу; но, имъя въвиду получить.... притомъ, будучи во многихъ домахъ знакомъ съ дамами: Чехтырева, статская совътница, и другія.... Вы посудите сами.... я не знаю, милостивый государь.... (при этомъ маюръ Ковалевъ пожалъ илечами).... извините.... если на это смотръть сообразно съ правилами долга и чести.... Вы сами можете понять....«

тесь удовлетворительнъе.«

»Милостивый государь«, сказаль Ковалевь, съ чувствомь собетвеннаго достоинства, »я не знаю, какъ понимать слова ваши.... Здъсь все дъло, кажется, совершенно очевидно.... или вы хотите.... Въдь вы — мой собственный нось!«

Носъ посмотрълъ на мајора, и брови его нахмурились.

» Вы ошибаетесь, милостивый государь: я самъ по-себъ. Притомъ, между нами не можетъ быть никакихъ тъсныхъ отношеній. Судя по пуговицамъ вашего вицъ-мундира, вы должны служить

но другому въдомству.« Сказавин это, носъ отвернулся.

Ковалевъ совершенно смѣшался, не зная, что дѣлать и что даже подумать. Въ это время послышался пріятный шумъ дамскаго платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и съ нею тоненькая, въ бѣломъ платьи, очень мило рисовавшемся на ся стройной таліи, въ палевой шлянкѣ, легкой какъ пирожное. За ними остановился и открылъ табакерку высокій гайдукъ съ большими бакенбардами и цѣлой дюжиной воротниковъ.

Ковалевъ подступилъ поближе, высунулъ батистовый воротничовъ манишки, поправилъ висъвния на золотой цъпочкъ печатки свои и, улыбаясь по сторонамъ, обратилъ вниманіе на легенькую даму, которая, какъ весений цвъточекъ, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою бъленькую ручку съ полупрозрачными пальцами. Улыбка на лицъ Ковалева раздвинулась еще далъе, когда онъ увидълъ изъ-нодъ шлянки ея кругленькій, яркой бълизны подбородокъ и часть щеки, осъненной цвътомъ первой весенией розы;

но вдругъ онъ отскочилъ, какъ-будтобы обжегшись. Онъ всномнилъ, что у иего, вмѣсто носа, совершенно иѣтъ ничего, и слезы выжались изъ глазъ его. Онъ оборотился съ тѣмъ, чтобы напрямикъ сказать госнодину въ мундирѣ, что онъ только прикинулся статскимъ совѣтникомъ, что онъ нлутъ и подлецъ и что онъ больше инчего, какъ только его собственный носъ.... Но носа уже не было: онъ успѣлъ ускакать, вѣроятно, онять къ кому-инбудъ съ визитомъ.

Это новергло Ковалева въ отчаяние. Онъ ношелъ назадъ и остановился съ минуту подъ колониадою, тщательно смотря во вев стороны, не нопадется ин гдв носъ. Онъ очень хорошо номниль, что шляна на немъ была съ илюмажемъ и мундиръ съ золотымъ шитьемъ, по шинели не замътилъ, ни цвъта его кареты, ни лошадей, ни даже того, быль ли у него сзади какой-нибудь лакей и въ какой ливрев. Притомъ, каретъ неслось такое множество взадъ и впередъ и съ такою быстротою, что трудно было даже примътить; по если бы и примътиль опъ какую-вибудь изъ вихъ, то не имълъ бы никакимъ средствъ остановить. День быль препрасный и солиечный. На Невскомъ народу была тьма; дамъ цълый цвъточный водонадъ сынался но всему тротуару, начиная отъ Полицейскаго до Аничкина моста. Вонъ и знакомый ему надворный совътникъ идетъ, котораго онъ называлъ подполковникомъ, особливо, ежели то случалось при постороннихъ. Вонъ и Ярыгинъ, большой пріятель его, который вічно віз бостоні обремизивался, когда играль восемь. Вонь и другой маіорь, получивній на Кавказъ ассессорство, махаетъ рукой, чтобы шель къ нему....

»А! чорть возьми!« сказаль Ковалевъ. »Эй, извощикъ, вези ирямо къ полицеймейстеру!«

Ковалевъ сълъ въ дрожки и только покрикивалъ извощику: »Валий во всю ивановскую! «

- »У себя полицеймейстеръ? « вскричаль онъ, зашедши въсъии.
- » Пикака и втъ «, отвъчалъ привратинкъ: » только что у вклатъ.«
- »Вотъ тебъ разъ!«

»Да«, прибавиль привратникь: »оно и не такъ давио, но убхаль; минуточкой бы пришли раньше, то, можетъ быть, застали бы дома.«

Ковалевъ, не отнимая платка отъ лица, сѣлъ на извощика и закричалъ отчаяннымъ голосомъ: »Пошелъ!«

»Куда?« сказаль извощикъ.

» Пошелъ прямо! «

» Какъ — прямо? тутъ поворотъ: направо, или налѣво?«

Этотъ вопросъ остановилъ Ковалева и заставилъ его опять подумать. Въ его положении следовало ему прежде всего отнестись въ управу благочинія, не потому, что опо им'вло прямое отношеніе въ полиціи, но потому, что ся распоряженія могли быть гораздо быстръе, чъмъ въ другихъ мъстахъ; искать же удовлетворенія по начальству того мъста, при которомъ носъ объявиль себя служащимъ, было бы безразсудно, потому что изъ собственныхъ отвътовъ носа уже можно было видъть, что для этого человъка инчего не было священнаго и онъ могъ такъ же солгать и въ этомъ случав, какъ солгалъ, увърян, что онъ пикогда не видался съ нимъ. Итакъ Ковалевъ уже хотъль было приказать вхать въ управу благочинія, какъ опять пришла мысль ему, что этотъ плутъ и мошенникъ, который поступиль уже при первой встричь такими безсовистнымъ образомъ, могъ опять удобно, пользуясь временемъ, какънибудь улизнуть изъ города, — и тогда всъ исканія будуть тщетны, или могутъ продолжиться, чего Воже сохрани, на цълый мъсяцъ. Наконецъ, казалосъ, само Небо вразумило его. Онъ ръшплся отнестись прямо въ газетную экспедицію и заблаговременно едёлать нубликацию съ обстоятельнымъ описаніемъ всёхъ его качествъ, дабы всякій встрътившійся съ нимъ могъ въ туже минуту его представить къ нему, или, по крайней мфрф, дать знать о мфстф его пребыванія. Итакъ онъ, ръшцвъ на этомъ, вельлъ извощику ъхать въ газетную экспедицію и во всю дорогу не переставаль его тузить кулакомъ въ спину, приговаривая: »Скорти, подлецъ! екоръй, мошенникъ! « — »Эхъ, баринъ! « говорилъ извощикъ, потряхивая головой и стегая возжей свою лошадь, на которой шерсть была длинная, какъ на болонкъ. Дрожки наконецъ остановились, и Ковалевъ, заныхавшись, вбъжалъ въ небольшую пріемную комнату, гдъ съдой чиновникъ, въ старомъ фракъ и очкахъ, сидъль за столомъ и, взявши въ зубы перо, считалъ принесенныя мъдныя деньги.

»Кто здъсь принимаетъ объявленія?« закричаль Ковалевъ.
»А, здравствуйте!«

»Мое почтеніе«, сказаль съдой чиновникъ, ноднявши на минуту глаза и опустивши ихъ снова на разложенныя кучи денегъ.

» Я желаю припечатать....«

» Позвольте, прошу немножко повременить «, произнесъ чиновникъ, ставя одною рукою цыфру на бумагѣ и передвигая нальцами лъвой руки два очка на счетахъ. Лакей съ галунами и наружностию, показывавшею пребывание его въ аристократическомъ домѣ, стоялъ возлѣ стола съ запискою въ рукахъ и почелъ приличнымъ показать свою общежительность: »Повърите ли, сударь, что собачонка не сто́итъ восьми гривенъ, то есть, я не далъ бы за нее и восьми грошей; а графиня любитъ, ей Богу, любитъ, — и вотъ, тому, кто ее отыщетъ, сто рублей! Если сказать по приличю, то вотъ такъ, какъ мы тенерь съ вами, вкусы людей совсѣмъ несовмѣстны: ужъ когда охотникъ, то держи лягавую собаку, или нуделя; не ножалъйй ияти сотъ, тысячу дай, но зато ужъ, чтобъ была собака хорошая«.

Почтенный чиновникъ слушалъ это съ значительною миною н въ то же время занимался смѣтою, сколько буквъ въ принесенной запискъ. По сторопамъ стояло множество старухъ, купеческихъ сидъльцевъ и дворниковъ съ записками. Въ одной значилось, что отпускается въ услужение кучеръ трезваго поведения; въ другоймалоподержанная коляска, вывезенная въ 1814 году изъ Парижа; тамъ отнускалась дворовая дёвка 19 лётъ, упражиявшаяся въ прачечномъ дълъ, годиая и для другихъ работъ; прочныя дрожки безъ одной рессоры; молодая горячая лошадь въ сърыхъ яблокахъ, семнадцати лътъ отъ роду; повыя полученныя изъ Лондона съмена рѣпы и редиса; дача со всѣми угодьями: двумя стойлами для лошадей и мъстомъ, на которомъ можно развести превосходный березовый, или еловый садъ; тамъ же находился вызовъжелающихъ купить старыя подошвы, съ приглашеніемъ явиться къ переторжкѣ каждый день отъ 8 до 3 часовъ утра. Комната, въ которой номъщалось все это общество, была маленькая, и воздухъ въ ней быль чрезвычайно густь; но коллежскій ассессоръ Ковалевъ не могъ слышать запаха, потому что закрылся платкомъ, и потому что самый посъ находился Богъ знаетъ въ какихъ мфстахъ.

»Милостивый государь, позвольте васъ попросить... миж очень нужно «, сказалъ онъ наконецъ съ нетеривніемъ.

» Сейчасъ, сейчасъ! — Два рубля сорокъ-три копъйки! — Сио минуту! — Рубль шестьдесятъ четыре копъйки! « говорилъ съдовласый господинъ, бросая старухамъ и дворникамъ заински въ глаза. » Вамъ что угодно? « наконецъ сказалъ онъ, обратившись къ Ковалеву.

»Я прошу....« сказалъ Ковалевъ: »случилось мошенинчество, или плутовство—я до сихъ поръ не могу никакъ узнать. Я прошу только припечатать, что тотъ, кто ко миъ этого подлеца представить, нолучить достаточное вознаграждение.«

» Позвольте узнать, какъ ваша фамилія? «

» Иѣтъ, зачѣмъ же фамилію? миѣ нельзя сказать ее. У меня много знакомыхъ: Чехтырева, статская совѣтница, Палагея Григорьевна Иодточина, штабъ-офицерша.... Вдругъ узнаютъ, Воже сохрани! Вы можете просто написать: коллёжскій ассессоръ, или, еще лучше: состоящій въ маіорскомъ чинъ.«

» А соъжавшій быль вашь дворовый человъкь? «

» Какое дворовый человѣкъ! это бы еще не такое большое мошенничество! сбѣжаль отъ меня.... носъ....«

»  $\Gamma$ м! какая странная фамилія! II на большую сумму этотъ г. Носовъ обокралъ васъ? «

» Носъ, то есть.... вы не то думаете! Носъ, мой собственный носъ произлъ, неизвъстно куда. Чортъ хотълъ подшутить издо мною!«

»Да какимъ же образомъ пропалъ? я что-то не могу хорошенько понять!«

»Да я не могу вамъ сказать, какимъ образомъ; но главное то, что онъ разъвзжаетъ тенерь по городу и называетъ себя статскимъ совътникомъ. И потому я васъ прошу объявить, чтобы поймавший представилъ его немедленно ко мив въ самомъ скоръйнемъ времени. Вы посудите въ самомъ дѣлѣ, какъ же мив быть безъ такой замътной части тѣла? Это не то, что какой-инбудь мизинецъ на ногѣ, который я въ саногъ — и никто не увидитъ, если его нѣтъ. Я бываю по четвергамъ у статской совътницы Чехтыревой; Подточина Палагея Григорьевна, штабъ-офицерина, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошія знакомыя; и вы посудите сами, какъ же мив тенерь.... Мив тенерь къ нимъ цельзя явиться. «

Чиновникъ задумался, что означали кръпко сжавшіяся его губы. »Нътъ, я не могу помъстить такого объявленія въ газетахъ 4, сказаль опъ наконецъ послъ долгаго молчанія.

»Какъ? отчего?«

» Такъ—газета можетъ потерять репутацію. Если всякій начиетъ писать, что у него сбѣжаль посъ, то.... ІІ такъ уже говорять, что печатается много несообразностей и ложныхъ слуховъ.«

» Да чёмъ же это дёло несообразное? Тутъ, кажется, ничего нётъ такого. «

»Это вамъ такъ кажется, что иѣтъ. А вотъ, на прошлой недѣлѣ, такой же былъ случай. Пришелъ чиновиикъ такимъ же образомъ, какъ вы теперь пришли, принесъ записку, денегъ по разсчету пришлось 2 р. 73 к., и все объявление состояло въ томъ, что сбѣжалъ пудель черной шерсти. Кажется, что бы тутъ такое? А вышелъ насквиль: пудель-то этотъ былъ казначей, не номню, какого-то заведенія.«

»Да въдь я вамъ не о нудель дълаю объявление, а о собственномъ моемъ носъ: стало быть, почти то же, что о самомъ себъ.«

»Нѣтъ, такого объявленія никакъ не могу помѣстить. «

»Да когда у меня точно пропалъ носъ!«

» Если пропаль, то это дёло медика. Говорять, что есть такіе, которые могуть приставить, какой угодно, нось. Но впрочемь я замічаю, что вы человінь веселаго нрава и любите въ обществі пошутить. «

» Клянусь вамъ, вотъ какъ Богъ святъ! пожалуй, ужъ если до того дошло, то я покажу вамъ. «

» Зачьмъ безпоконться! « продолжаль чиновникъ, нюхая табакъ: » впрочемъ, если не въ безпокойство «, прибавилъ опъ съ движе ніемъ любопытства, » то желательно бы взглянуть. «

Коллежскій ассессоръ отняль отъ лица платокъ.

»Въ самомъ дѣлѣ, чрезвычайно странио! « сказатъ чиновникъ: »мѣсто совершенно гладкое, какъ-будтобы только что выпеченный блинъ. Да, до невѣроятности ровное! «

» Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вамъ буду особенно благодаренъ, и очень радъ, что этотъ случай доставилъ миѣ удовольствіе съ вами познако-

миться.« Маіоръ, какъ видио изъ этого, рѣшился на сей разъ немного поподличать.

»Напечатать-то, конечно, дъло небольшое«, сказаль чиновникъ: »только я не предвижу въ этомъ никакой для васъ выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имъетъ искусное перо, описать это, какъ ръдкое произведение патуры, и напечатать эту статейку въ »Съверной Пчелъ« (тутъ опъ ношохаль еще разъ табаку), для пользы юношества (тутъ опъ утеръ носъ), или такъ, для общаго любонытства.«

Коллежскій ассессоръ быль совершенно обезнадежень. Онь опустиль глаза вънизъ газеты, гдѣ было извѣщеніе о спектакляхъ; уже лицо его было готово улыбнуться, встрѣтивъ имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карманъ, есть ли при немъ синяя ассигнація, потому что штабъ-офицеры, по мнѣнію Ковалева, должны сидѣть въ креслахъ; но мысль о посѣ все испортила!

Самъ чиновникъ, казалось, былъ тронутъ затруднительнымъ положениемъ Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, онъ почелъ приличнымъ выразить участие свое въ ибсколькихъ словахъ: »Миѣ, право, очень прискорбно, что съ вами случился такой анекдотъ. Не угодно ли вамъ понюхать табачку? это разбиваетъ головныя боли и печальныя расположения; даже въ отношении къ геморондамъ это хорошо. « Говоря это, чиновникъ поднесъ Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернувъ подъ нее крышку съ портретомъ какой-то дамы въ шлянкъ.

Этотъ неумышленный поступокъ вывелъ изъ терпънія Ковалева. » Я не понимаю, какъ вы находите мъсто шуткамъ«, сказаль онъ съ сердцемъ: » развъ вы не видите, что у меня нътъ именно того, чъмъ бы я могъ понюхать? Чтобъ чортъ побралъ вашъ табакъ! Я теперь не могу смотръть на него, и не только на скверный вашъ Березинскій, но хоть бы вы поднесли мнъ самого Рапе́.« Сказавши это, онъ вышелъ, глубоко раздосадованный, изъ газетной экспедиціи и отправился къ частному приставу.

Ковалевъ вошелъ къ нему въ то время, когда онъ потянулся, крякнулъ и сказалъ: »Эхъ, славно засну два часика!« и потому можно было предвидъть, что приходъ коллежскаго ассессора былъ совершенно не во-время. Частный былъ большой поощритель всъхъ

искусствъ и мануфактурностей; но государственную ассигнацію предпочиталь всему. »Это вещь «, обыкновенно говориль онъ: » ужъ нъть ничего лучше этой венци: ъсть не просить, мъста займетъ немного, въ карманъ всегда помъстится, уронишь—не расшибется. «

Частный принялъ довольно сухо Ковалева и сказалъ, что нослѣ объда не то время, чтобы производить слъдствіе, что сама натура назначила, чтобы, наѣвшись, немного отдохнуть (изъ этого коллежскій ассессоръ могъ видѣть, что частному приставу были небезъизвъстны изреченія древнихъ мудрецовъ); что у порядочнаго человъка не оторвутъ носа.

То есть, не въ бровь, а прямо въ глазъ! Нужно замѣтить, что Ковалевъ былъ чрезвычайно обидчивый человѣкъ. Онъ могъ простить все, что ни говорили о немъ самомъ, но никакъ не извинялъ, если это относилось къ чину, или званію. Онъ даже полагалъ, что въ театральныхъ ньесахъ можно пропускать все, что относится къ оберъ-офицерамъ, по на штабъ-офицеровъ пикакъ не должно нападать. Пріемъ частнаго такъ его сконфузилъ, что онъ тряхнулъ головою и сказалъ съ чувствомъ достоинства, немного разставивъ свои руки: »Признаюсь, послѣ эдакихъ обидныхъ съ вашей стороны замѣчаній, я ничего не могу прибавить....« и выниелъ.

Онъ прівхалъ домой, едва слыша подъ собою ноги. Были уже сумерки. Печальною, или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира послѣ всѣхъ этихъ неудачныхъ исканій. Вошедши въ переднюю, увидѣлъ онъ на кожаномъ запачканномъ диванѣ лакея своего Ивана, который, лежа на спинѣ, плевалъ въ потолокъ и попадалъ довольно удачно въ одно и то же мѣсто. Такое равнодушіе человѣка взбѣсило его; онъ ударилъ его шляною по лбу, примолвивъ: »Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!«

Иванъ вскочилъ вдругъ съ своего мъста и бросплся со всъхъ ногъ снимать съ него плащъ.

Вошедши въ свою комнату, мајоръ, усталый и печальный, бросился въ кресла и, наконецъ, послѣ нѣсколькихъ вздоховъ, сказалъ:

» Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастіе? Будь я безъ руки, или безъ ноги — всё бы это лучше; но безъ носа чело-

вътъ — чортъ знаетъ что: птица не птица, гражданииъ не гражданипъ: просто, возьми, да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войнъ отрубили, или на дуэли, или я самъ былъ причиною; но въдь пропалъ ни за что, ни про что, пропалъ даромъ, ни за грошъ!... Только, нътъ, не можетъ быть «, прибавиль онъ, немного подумавъ: » невъроятно, чтобы носъ пропалъ; никакимъ образомъ невъроятно. Это, върно, или во сив снится, или, просто, грезится; можетъ быть, я какъ-нибудь, ошибкою, вынилъ вмёсто воды водку, которою натираю послъ бритья себъ бороду. Пванъ дуракъ не принялъ, н я, върно, хватилъ ея.« Чтобы дъйствительно увъриться, что онъ не пьянъ, мајоръ ущиннулъ себя такъ больно, что самъ вскрикнуль. Эта боль совершенно увърпла его, что онъ дъйствуетъ и живетъ наяву. Онъ потихоньку приблизился къ зеркалу и сначала зажмуриль глаза съ тою мыслію, что авось-либо носъ покажется на своемъ мъстъ; но въ ту жъ минуту отскочилъ назадъ, сказавши: »Экой пасквильный видъ!«

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы, или что-ипбудь подобное, — но пропасть, чему же пропасть? и притомъ еще на собственной квартиръ!... Маюръ Ковалевъ, сообразя всъ обстоятельства, предполагалъ едва ли не ближе всего къ истинъ, что виною этого долженъ быть не кто другой, какъ штабъ-офицерииа Подточина, которая желала, чтобы онъ женплся на ея дочери. Онъ и самъ любилъ за нею приволокиуться, но избъгаль окончательной раздълки. Когда же штабъофицерша объявила ему на-прямикъ, что она хочетъ выдать ее за него, онъ потихоньку отчалиль съ своими комплиментами, сказавши, что еще молодъ, что нужно ему прослужить лѣтъ пятокъ, чтобы уже ровпо было сорокъ два года. И потому штабъ-офицерша, върно, изъмщенія, ръшилась его испортить и наияла для этого какихъ-нибудь колдовокъ-бабъ, потому что инкакимъ образомъ нельзя было предположить, чтобы носъ быль отразань: никто не входиль къ нему въ комнату; цырюльникъ же, Иванъ Яковлевичъ, бриль его еще въ среду, а въ продолжение всей среды, и даже во весь четвертокъ, носъ у него былъ цёлъ, — это онъ поминлъ и зналъ очень хорошо; притомъ, была бы имъ чувствуема боль, н, безъ сомивнія, рана не могла бы такъ скоро зажить и быть гладкою, какъ блинъ. Опъ строилъ въ головъ планы: звать ли штабъофицершу формальнымъ порядкомъ въ судъ, или явиться къ ней самому и уличить ее. Размышленія его прерваны были свътомъ, который блеснуль сквозь всъ скважины дверей и далъ знать, что свъча въ передней уже зажжена Иваномъ. Скоро показался и самъ Иванъ, песя се передъ собою и озаряя ярко всю компату. Первымъ движеніемъ Ковалева было схватить платокъ и закрыть то мъсто, гдъ вчера еще былъ носъ, чтобы въ самомъ дълъ глуный человъкъ не зазъвался, увидя у барина такую страиность.

Не успъль Ивань уйти въ конуру свою, какъ послышался въ передней незнакомый голось, произнесшій: »Здъсь ли живеть коллежскій ассессоръ Ковалевъ? «

»Войдите; маюръ Ковалевъ здъсь«, сказалъ Ковалевъ, вскочивши поспънию и отворяя дверь.

Вошелъ полицейскій чиновникъ, красивой наружности, съ баккенбардами не слишкомъ свътлыми и не темными, съ довольно полными щеками, тотъ самый, который, въ началъ повъсти, стоялъ въ концъ Исакіевскаго моста.

- »Вы изволили затерять носъ свой?«
- »Такъ точно.«
- » Онъ теперь найденъ.«
- » Что вы говорите? « закричалъ маіоръ Ковалевъ. Радость отняла у него языкъ. Онъ глядълъ въ оба на стоявшаго нередъ нимъ квартальнаго, на полныхъ губахъ и щекахъ котораго ярко мелькалъ трепетный свътъ свъчи. » Какимъ образомъ? «
- » Страннымъ случаемъ: его перехватили почти на дорогѣ. Онъ уже садился въ дилижансъ и хотълъ уъхать въ Ригу. И пашпортъ давно былъ написанъ на имя одного чиновника. И странно то, что я самъ принялъ его сначала за господина. Но, къ счастю, были со мной очки, и я тотъ же часъ увидѣлъ, что это былъ носъ. Въдь я близорукъ, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у васъ лицо, по ни носа, ни бороды, пичего не замѣчу. Моя теща, то есть, мать жены моей, тоже инчего не видитъ.«

Ковалевъ былъ внѣ себя. »  $\Gamma$ дѣ же онъ? гдѣ? я сейчасъ побѣгу. «

»Не безпокойтесь. Я знаю, что онъ вамъ нуженъ, принесъ его

еъ собою. И странно то, что главный участникъ въ этомъ дѣлѣ сеть мошенникъ цырюльникъ на Вознесенской улицѣ, который сидитъ теперь на съъзжей. Я давно подозрѣвалъ его въ пьянствѣ и воровствѣ, и еще третьяго дня стащилъ онъ въ одной лавочкѣ портище пуговицъ. Носъ вашъ совершенно таковъ, какъ былъ.« При этомъ квартальный полѣзъ въ карманъ и вытащилъ оттуда завернутый въ бумажкѣ носъ.

» Такъ, онъ! « закричалъ Ковалевъ: » точно, онъ! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю. «

»Почелъ бы за большую пріятность, по никакъ не могу: миѣ нужно заїхать отсюда въ смирительный домъ.... Очень большая поднялась дороговизна на всё принасы.... У меня въ домѣ живетъ и теща, то есть, мать моей жены, и дѣти; старшій особенно подаетъ большія надежды, очень умный мальчицка; но средствъ для воспитанія совершенно нѣтъ никакихъ....«

Коллежскій ассессорь, по уходѣ квартальнаго, пѣсколько мипуть оставался въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи и едва черезъ нѣсколько минутъ пришелъ въ возможность видѣть и чувствовать: въ такое безпамятство повергла его неожиданная радость. Опъ взялъ бережливо найденный носъ въ обѣ руки, сложенныя горстью, и еще разъ разсмотрѣлъ его внимательно.

» Такъ, онъ! точно, онъ! « говорилъ маіоръ Ковалевъ. » Вотъ и прыщикъ на лѣвой сторонѣ, вскочившій вчерашняго дня. « Маіоръ чуть не засмѣялся отъ радости.

Но на свётё нётъ ничего долговременнаго, а потому и радость, въ слёдующую минуту за первою, уже не такъ жива; въ третью минуту она становится еще слабъе, и наконецъ — незамътно сливается съ обыкновеннымъ положеніемъ души, какъ на водъ кругъ, рожденный паденіемъ камешка, наконецъ сливается съ гладкою поверхностью. Ковалевъ началъ размышлять и смекнулъ, что дѣло еще не копчено: носъ найденъ, но вѣдь нужно же его приставить, помѣстить на свое мѣсто.

»А что, если онъ не пристанетъ?«

При такомъ вопросъ, сдъланномъ самому себъ, мајоръ поблъдивлъ.

Съ чувствомъ неизъяснимаго страха бросился онъ къ столу,

придвинулъ зеркало, чтобы какъ-нибудь не ноставить носъ криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложилъ онъ его на прежнее мъсто. О ужасъ! носъ не приклепвался!... Онъ поднесъ его ко рту, нагрълъ его слегка своимъ дыханіемъ и опять поднесъ къ гладкому мъсту, находившемуся между двухъ щекъ; но посъ никакимъ образомъ не держался.

»Ну, ну же! полъзай, дуракъ! « говорилъ онъ ему; но носъ былъ, какъ деревяный, и надалъ на столъ съ такимъ страннымъ звукомъ, какъ-будтобы пробка. Лицо маюра судорожно скривилось. »Неужели онъ не прирастетъ? « говорилъ онъ въ испутъ. Но сколько разъ ни подносилъ онъ его на его же собственное

мъсто — стараніе было, по-прежнему, неуспъшно.

Онъ кликнулъ Пвана и послалъ его за докторомъ, который занималъ въ томъ же самомъ домѣ лучшую квартиру въ бельэтажъ. Докторъ этотъ быль видный собою мущина, имълъ прекрасныя смолистыя баккенбарды, свъжую, здоровую докторшу, ъль поутру свъжія яблоки и держаль роть въ необыкновенной чистоть, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разныхъ родовъ щеточками. Докторъ явплся въ ту же минуту. Спросивши, какъ давно случилось несчастіе, онъ подняль мајора за подбородокъ и далъ ему большимъ пальцемъ щелчка въ то самое мъсто, гдъ прежде быль носъ, такъ что маіоръ долженъ былъ откинуть свою голову назадъ съ такою силою, что ударился затылкомъ въ стъну. Медикъ сказалъ, что это инчего, и, посовътовавши отодвинуться немного отъ стъны, велълъ ему перегнуть голову спачала на правую сторону и, пощупавши то м'ясто, гдъ прежде быль носъ, сказаль: »гм!« потомъ велъль ему перегнуть голову на лъвую сторону и сказаль: »гм!« п въ заключение далъ опять ему большимъ нальцемъ щелчка, такъ что маіоръ Ковалевъ дернулъ головою, какъ конь, которому смотрятъ въ зубы. Сдълавши такую пробу, медикъ покачалъ головую и сказалъ: »Нътъ, нельзя. Вы ужъ лучше такъ оставайтесь, потому что можно сдълать еще хуже. Опо, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вамъ сейчасъ приставилъ его; но я васъ увфряю, что это для васъ хуже.«

»Вотъ хорошо! какъ же мив оставаться безъ носу? « сказаль

Ковалевъ: »ужъ хуже не можетъ быть, какъ теперь. Это, просто, чортъ знаетъ что! Куда же я съ такою насквильностью нокажусь? Я имъю хорошее знакомство: вотъ и сегодия мив нужно быть на вечеръ въ двухъ домахъ. Я со многими знакомъ: статская совътница Чехтарева, Подточина штабъ-офицерша.... хоть нослъ теперешняго поступка ея я не имъю съ ней другого дъла, какъ только черезъ полицю. Сдълайте милость«, продолжалъ Ковалевъ умоляющимъ голосомъ: » пътъ ли средства? какъ-нибудь приставъте; хотъ не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпереть рукою въ опасныхъ случаяхъ. Я же притомъ и не танцую, чтобы могъ вредить какимъ-нибудь неосторожнымъ движенемъ. Все, что относится на-счетъ благодарности за визиты, ужъ будъте увърены, сколько дозволятъ мои средства....«

»Върите ли«, сказаль докторъ ни громкимъ, ни тихимъ голосомъ, но чрезвычайно увътливымъ и магнетическимъ: » что я инкогда изъ корысти не лъчу. Это противно моимъ правиламъ и моему исскусству. Правда, я беру за визиты, но единственно съ тъмъ только, чтобы не обидъть моимъ отказомъ. Конечно, я бы приставилъ вашъ носъ; но я васъ увъряю честью, если уже вы не върите моему слову, что это будетъ гораздо хуже. Предоставьте лучше дъйствио самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я васъ увъряю, что вы, не имъя носа, будете такъ же здоровы, какъ если бы имъли его. А носъ я вамъ совътую положить въ банку со спиртомъ, или, еще лучше, влить туда двъ столовыя ложки острой водки и подогрътаго уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочныя деньги. Я даже самъ возьму его, если вы только не нодорожитесь.«

»Нътъ, пътъ! ни за что не продамъ!« вскричалъ отчаянный маіоръ Ковалевъ: »лучше пусть опъ пропадетъ!«

» Извините! « сказалъ докторъ откланиваясь: » я хотълъ быть вамъ полезнымъ.... Что жъ дълать! по крайней мѣрѣ, вы видъли мое стараніе. « Сказавши это, докторъ еъ благородною осанкою вышелъ изъ комнаты. Ковалевъ не замътилъ даже лица его и въ глубокой безчувственности видълъ только выглядывавшіе изъ рукавовъ его чернаго фрака рукавчики бълой и чистой, какъ енътъ, рубашки.

Онъ ръшился на другой же день, прежде представления жало-

бы, писать къ штабъ-офицеригъ, не согласится ли она безъ бою возвратить ему то, что слъдуетъ. Инсьмо было такого содержанія:

Милостивал государыня,

### Александра Григорьевна!

Не могу попять страплаго со стороны Вашей дъйствія. Будьте увърены, что, поступая такимъ образомъ, инчего Вы не выиграете и ин чуть не принудите меня жениться на Вашей дочери. Новърьте, что исторія па-счеть моего поса совершенно извъстна, равно какъ и то, что въ этомъ Вы есть главныя участвицы, а не кто другой. Внезапное его отдъленіе съ своего мѣста, побъгъ и маскированіе, то подъ видомъ одного чиновника, то, наконецъ, въ собственномъ видъ, есть больше инчего, какъ слъдствіе волувованій, произведенныхъ Вами, или тъми, которые упражляются въ подобныхъ Вамъ благородныхъ занятіяхъ. Я съ своей стороны почитаю долгомъ васъ предувъдомить, если упоминаемый мною носъ не будетъ сегодия же на своемъ мѣстъ, то я принужденъ буду прибъгнуть къ защитъ и покровительству законовъ.

Впрочемъ, съ совершеннымъ почтеніемъ къ Вамъ, им'єю честь быть

Вашъ покорный слуга

Платонь Ковалевь.

Милостивый государь,

### Платонъ Кузьмичъ!

Презвычайно удивило меня письмо Ваше. Я, признаюсь вамъ по отвровенности, пикакъ не ожидала, а тъмъ болъе относительно несправедливыхъ укоризнъ со стороны Вашей. Предувъдомляю Васъ, что я чиновника, о которомъ уноминаете Вы, пикогда не принимала у себя въ домъ, ни замаскированнаго, ни въ настоящемъ видъ. Бывалъ у меня, правда, Филиппъ Ивановичъ Потапчиковъ. И хотя онъ, точно, искалъ руки моей дочери, будучи самъ хорошаго, трезваго новеденія и великой учености; но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носъ. Если Вы разумъсте подъ симъ, что будтобы я хотъла оставить Васъ съ посомъ, то есть, дать Вамъ формальный отказъ; то меня удивляетъ, что Вы сами объ этомъ говорите, тогда какъ п, сколько Вамъ

извъстно, была совершенно противнаго миѣнія, и если Вы теперь же посватаетесь на моей дочери законнымъ образомъ, я готова сей же часъ удовлетворить Васъ', ибо это составляло всегда предметъ моего живѣйшаго желанія, въ надеждѣ чего остаюсь всегда готовою къ услугамъ вашимъ

## Александра Подточина.

»Нѣтъ«, говорилъ Ковалевъ, прочитавши письмо: » она, точно, не виновата. Не можетъ быть! Письмо такъ написано, какъ не можетъ написать человѣкъ виноватый въ преступлении. « Коллежскій ассессоръ былъ въ этомъ свѣдущъ, потому что былъ носыланъ нѣсколько разъ на слѣдствіе еще въ Кавказской области. » Какимъ же образомъ, какими судьбами это приключилось? Только чортъ разберетъ это! « скязалъ онъ наконецъ, опустивъ руки.

Между тымь слухи объ этомъ необыкновенномъ происшестви распространились по всей столиць и, какъ водится, не безъ особенныхъ прибавленій. Тогда умы всёхъ именно настроены были къ чрезвычайному: недавно только-что занимали нублику опыты двиствія магнетизма. Притомъ, исторія о танцующихъ стульяхъ въ Конюшенной улицъ была еще свъжа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто носъ коллежскаго ассессора Ковалева ровно въ три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытныхъ стекалось каждый день множество. Сказаль кто-то, что носъ будтобы находился въ магазинъ Юнкера—и возлъ Юнкера такая едёлалась толна и давка, что должна была вступиться даже полиція. Одинъ спекуляторъ почтенной наружности, съ баккенбардами, продававшій при вході въ театръ разные сухіе кондитерскіе нирожки, нарочно надёлаль прекрасныхь деревяныхь, прочныхъ скамеекъ, на которыя приглашалъ любопытныхъ становиться, за восемьдесять конеекъ, каждаго посътителя. Одинъ заслуженный полковникъ нарочно для этого вышелъ раньше изъ дому и съ большимъ трудомъ пробрался сквозъ толпу; но къ большому негодование своему увидель въ окит магазина, вмъсто носа, обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картину съ изображениемъ дъвушки, ноправлявшей чулокъ, и глядъвшаго на нее изъ-за дерева франта съ откиднымъ жилетомъ и

пебольшою бородкою, картинку, уже болье десяти льть висящую всё на одномь мьсть. Отошедь, онь сказаль съ досадою: «Какъ можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народъ? «Потомъ пропесся слухъ, что не на Невскомъ проспекть, а въ Таврическомъ саду прогуливается носъ маюра Ковалева; что будтобы онъ давно уже тамъ; что когда еще проживалъ тамъ Хосревъ-Мирза, то очень удивлялся этой страиной игръ природы. Нъкоторые изъ студентовъ Хирургической Академіи отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особеннымъ письмомъ смотрителя за садомъ, показать дътямъ ея этотъ ръдкій феноменъ и, если можно, съ объясненіемъ, наставительнымъ и назидательнымъ для юношей.

Всёмъ этимъ происшествіямъ были чрезвычайно рады всё свётскіе, необходимые посётители раутовъ, любившіе смёшить дамъ, у которыхъ запасъ въ то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенныхъ и благонамъренныхъ людей была чрезвычайно недовольна. Одинъ господинъ говорилъ съ негодованіемъ, что онъ не понимаетъ, какъ въ нынѣшній просвѣщенный вѣкъ могутъ распространяться нелѣпыя выдумки, и что онъ удивляется, какъ не обратитъ на это вниманія правительство. Господинъ этотъ, какъ видно, принадлежалъ къ числу тѣхъ господъ, которые желали бы впутать правительство во все, даже въ свои ежедиевныя ссоры съ женою. Вслѣдъ за этимъ... по здѣсь вновь все пронешествіе скрывается туманомъ, и что было потомъ, рѣшительно неизвѣстно.

#### III.

Ченуха совершенная дѣлается на свѣтѣ. Иногда вовсе иѣтъ никакого правдоподобія: вдругъ тотъ самый носъ, который разъѣзжаль въ чниѣ статскаго совѣтника и надѣлалъ столько шуму въ городѣ, очутился, какъ ин въ чемъ не бывало, вновь на своемъ мѣстѣ, то есть, именно между двухъ щекъ маіора Ковалева. Это случилось уже апрѣля, 7 числа. Проспувшись и нечаянно взглянувъ въ зеркало, видитъ онъ—носъ! хвать рукою—точно носъ! »Эге!« сказаль Ковалевъ и въ радости чуть не дернулъ по всей комнатъ босикомъ тренака; но вошедшій Иванъ помѣшалъ. Онъ приказалъ тотъ же часъ дать себъ умыться и, умываясь, взглянулъ еще разъ въ зеркало—посъ! Вытираясь полотенцемъ, онъ опять взглянулъ въ зеркало—посъ!

» А посмотри, Иванъ, кажется, у меня на носу какъ-будто прыщикъ«, сказалъ онъ и между тѣмъ думалъ: »Вотъ бѣда, какъ Иванъ скажетъ: »Да иѣтъ, судырь, не только прыщика, и самого » носа иѣтъ! «

Но Иванъ сказалъ: »Ничего-съ, никакого прыщика: носъ чистый!«

» Хорошо, чортъ побери! « сказалъ самъ себъ маюръ и щелкнулъ пальцами. Въ это время выглянулъ въ дверь цырюльникъ Иванъ Яковлевичъ, по такъ боязливо, какъ кошка, которую только что высъкли за кражу сала.

»Говори внередъ: чисты руки?« кричалъ еще издали ему Ковалевъ.

- » Чисты. «
- »Врешь!«
- »Ей Богу-съ чисты, сударь. «
- »Ну, смотри же.«

Ковалевъ сълъ. Иванъ Яковлевичъ закрылъ его салфеткою и, въ одно мгновенье, съ помощью кисточки, превратилъ всю бороду его и часть щеки въ кремъ, какой подаютъ на купеческихъ именинахъ. »Вишь ты! « сказалъ самъ себъ Иванъ Яковлевичъ, взглянувши на носъ, и потомъ перегнулъ голову на другую сторону и носмотрълъ на него съ боку: »Вона! экъ его, право, какъ нодумаешь«, продолжать онъ и долго смотрълъ на носъ. Наконецъ легенько, съ бережливостью, какую только можно себъ вообразитъ, онъ приподиялъ два пальца съ тъмъ, чтобы поймать его за кончикъ. Такова ужъ была система Ивана Яковлевича.

» Ну, ну, ну, смотри! « закричалъ Ковалевъ. Иванъ Яковлевичъ и руки опустилъ, оторонълъ и смутился, какъ никогда не смущался. Наконецъ, осторожно сталъ онъ щекотать бритвой у него подъ бородою, и хотя ему было совсѣмъ не сподручно и трудно брить безъ придержки за июхательную часть тѣла, однакоже, кое-какъ

уппраясь своимъ шереховатымъ большимъ пальцемъ ему въ щеку и въ нижнюю десну, наконецъ одолълъ всъ препятствія и выбрилъ.

Когда все было готово, Ковалевъ посившилъ тотъ же часъ одъться, взяль извощика и потхаль прямо въкондитерскую. Входя, закричаль онъ еще издали: »Мальчикь, чашку шоколалу!« а самъ въ ту же минуту къ зеркалу-есть носъ! Онъ весело оборотился назадъ и съ сатирическимъ видомъ посмотрелъ, итсколько прищуря глазъ, на двухъ военныхъ, изъ которыхъ у одного былъ носъ никакъ небольше жилетной пуговицы. Послъ того отправился онъ въ канцелярио того денартамента, гдъ хлоноталъ объ вицегубернаторскомъ мъстъ, а въ случат неудачи, объ экзекуторскомъ. Проходя чрезъ пріемную, онъ взглянуль въ зеркало-есть носъ! Потомъ, побхаль онъ къ другому коллежскому ассессору, или маіору, большому насмъшнику, которому онъ часто говориль въ отвътъ на разныя занозистыя замътки: »Ну, ужъ ты, я тебя знаю. ты шпилька! « Дорогою онъ подумалъ: »Если и мајоръ не треснетъ со смѣху, увидѣвши меня, тогда ужъ вѣрный знакъ, что все, что ни есть, сидить на своемь мѣсть.« Но коллежскій ассессорь ничего. »Хорошо, хорошо, чортъ побери!« подумалъ про-себя Ковалевъ. На дорогъ встрътилъ опъ штабъ-офицершу Подточину вмёстё съ дочерью, раскланялся съ ними, и быль встрёчень съ радостными восклицаньями: стало быть, ничего, въ немъ нътъ инкакого ущерба. Онъ разговаривалъ съ ними очень долго, и нарочно, выпувши табакерку, набивалъ нередъ инми весьма долго свой носъ съ обонхъ подъвздовъ, приговаривая про - себя: »Вотъ, моль, вамь, бабьё, куриный пародь! а на дочкъ всё-таки не женюсь. Такъ, просто, par amour — изволь! « И маюръ Ковалевъ съ тъхъ поръ прогуливался, какъ ци въ чемъ не бывало, и на Невскомъ проспекть, и вътеатрахъ, и вездь. И носъ тоже, какъ ни въчемъ не бывало, сидълъ на его лицъ, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонамъ. И послъ того, мајора Ковалева видъли въчно въ хорошемъ юморъ, улыбающагося, преследующаго ръшительно всёхъ хорошенькихъ дамъ и даже остановившагося одниъ разъ передъ лавочкой въ гостинномъ дворѣ и покупавшаго какуюто орденскую ленточку, неизвъстно для какихъ причинъ, нотому что онъ самъ не былъ кавалеровъ никакого ордена.

Вотъ какая исторія случилась въ съверной столицѣ нашего обширнаго государства! Тенерь только, по соображении всего, видимъ, что въ ней есть много неправдоподобнаго. Не говоря уже о томъ, что, точно, странно сверхъестественное отделение носа и появление его въразныхъ мъстахъ въвидъ статскаго совътника,-какъ Ковалевъ не смекнулъ, что нельзя чрезъ газетную экспедицю объявлять о носъ? Я здъсь не въ томъ смыслъ говорю, чтобы миъ казалось дорого заплатить за объявленіе: это вздоръ, и я совстмъ не изъ числа корыстолюбивыхъ людей; но неприлично, неловко. нехорошо! И опять тоже: какъ носъ очутился въ неченомъ хлъбъ, и какъ самъ Иванъ Яковлевичъ... иётъ, этого я никакъ не поинмаю, рѣшительно не понимаю! Но что страннѣе, что пепонятиѣе всего, это то, какъ авторы могутъ брать подобные сюжеты. Признаюсь, это ужъ совсёмъ непостижимо, это точно... нётъ, нётъ, совсёмъ не понимаю! Вопервыхъ, пользы отечеству рёшительно никакой; вовторыхъ.... но и вовторыхъ тоже иётъ пользы. Просто, я не знаю, что это....

А однакоже, при всемъ томъ, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, можетъ даже... ну, да и гдѣ жъ це бываетъ несообразностей? а всё однакоже, какъ поразмыслишь, во всемъ этомъ, право, есть что-то. Кто что ни говори, а нодобныя происшествія бываютъ на свѣтѣ,—рѣдко, но бываютъ.

# III N II B A b.

Въ департаментъ.... но лучше не называть, въ какомъ департаментъ. Ничего иътъ сердитъе всякаго рода департаментовъ, полковъ, канцелярій и, словомъ, всякаго рода должностныхъ сословій. Теперь уже всякій частный человікь считаеть въ лиці своемь оскорбленнымъ все общество. Говорятъ, весьма недавно поступила просьба отъ одного капитанъ-исправника, не помню какого-то города, въ которой онъ излагаетъ ясно, что гибнутъ государственныя постановленія и что священное имя его произносится рішительно всуе; а въ доказательство приложилъ къ просьбъ преогромнъйний томъ какого-то романтическаго сочиненія, гдъ, чрезъ каждыя десять страниць, является капитань-исправникь, мъстами даже совершенно въ пьяномъ видѣ. Итакъ во избѣжаніе всякихъ непріятностей, лучше департаменть, о которомь пдеть дело, мы назовемъ однимъ департаментомъ. Итакъ въ одномъ департаменть служить одина чиновника, — чиновникь, нельзя сказать, чтобы очень замъчательный: низенькаго роста, нъсколько рябоватъ, нъсколько рыжевать, нъсколько даже на-видъ подслъповать, съ небольшой лыспной на лбу, съ морщинами по обфимъ сторонамъ щекъ и цвътомъ лица, что называется, геморондальнымъ.... Что жъ дълать? виноватъ Петербургскій климатъ. Что касается до чина (ибо у насъ прежде всего нужно объявить чинъ), то онъ быль то, что называють въчный титулярный совътникь, надъ которымь, какъ извъстно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имъющіе похвальное обыкновенье налегать на тъхъ, которые

не могутъ кусаться. Фамилія чиновника была Башмачкинъ. Уже но самому имени видно, что она когда-то произошла отъ башмака; но когда, въ какое время и какимъ образомъ произошла она отъ банмака, — ничего этого неизвъстно. И отецъ, и дъдъ, и даже шуринъ, и совершенио всѣ Башмачкины ходили въ сапогахъ, перемъняя только раза три въ годъ подметки. Имя его было: Акакій Акакіевичъ. Можетъ быть, читателю оно покажется нъсколько страннымъ и выисканнымъ, но можно увършть, что его никакъ не некали, а что сами собою случились такія обстоятельства, что никакъ нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вотъ какъ. Родился Акакій Акакіевичъ противъ ночи, если только не измъняетъ намять, на 23 марта. Покойница матушка, чиновинца н очень хорошая женщина, расположилась, какъ слъдуетъ, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати противъ дверей, а но правую руку стоялъ кумъ, превосходитінній человікъ, Иванъ Ивановичъ Еронкинъ, служившій столоначальникомъ въ сепать, и кума, жена квартальнаго офицера, женщина редкихъ добродетелей, Арина Семеновна Бълобрюшкова, Родильницъ предоставили на выборъ любое изъ трехъ, какое она хочетъ выбрать: Мокія, Соссія, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. » Нттъ «, подумала покойница, » имена-то всё такія. « Чтобы угодить ей, развернули календарь въ другомъ мѣстѣ; вышли опять три имени: Трифилій, Дула и Варахасій. »Воть это наказаніе! « проговорила старуха: »какія всё имена! я, право, никогда и не слыхивала такихъ. Иусть бы еще Варадатъ или Варухъ, ато Трефилій и Варахасій.« Еще переворотили страницу — вышли: Навсикахій и Вахтисій. » Ну, ужъ я вижу«, сказала старуха, » что, видно, его такая судьба. Ужъ если такъ, пусть лучше будеть онъ называться, какъ и отецъ его. Отецъ былъ Акакій, такъ пусть и сынъ будетъ Акакій. « Такимъ образомъ и произошелъ Акакій Акакіевичъ. Ребенка окрестили, при чемъ онъ заплакалъ и сдѣлалъ такую гримасу, какъ будтобы предчувствоваль, что будеть титулярный советникъ. Итакъ вотъ какимъ образомъ произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель могъ самъ видѣть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было пикакъ невозможно. Когда и въ какое время онъ поступилъ въ департаменть и кто опредалиль его, этого никто не могь припомнить Сколько ни перемѣнялось директоровъ и всякихъ начальниковъ, его видели всё на одномъ и томъ же мъсть, въ томъ же положенін, въ той же самой должности, тёмъ же чиновинкомъ для письма: такъ что потомъ увърились, что онъ, видно, такъ и родплся на свътъ уже совершенно готовымъ, въ вицмундиръ и съ лысиной на головъ. Въ департаментъ не оказывалось къ нему пикакого уваженія. Сторожа не только не ветавали съ мість, когда онь проходиль, но даже не глядели на него, какъ-будтобы черезъ пріемцую пролетёла простая муха. Начальники поступали съ нимъ какъ-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощникъ столоначальника прямо соваль ему подъ носъ бумаги, не сказавъ даже: » Перепишите «, или: » Вотъ интересное, хорошенькое дъльце «, или что-нибудь пріятное, какъ употребляется въ благовоспитанныхъ службахъ. И онъ бралъ, посмотръвъ только на бумагу, не глядя, кто ему подложилъ и имълъ ли на то право; онъ бралъ и тутъ же пристранвался инсать ее. Молодые чиновники подсмънвались и острились надъ нимъ, во сколько хватало канцелярскаго остроумія, разсказывали туть же, предънимъ, разныя составленныя про него исторіи, про его хозяйку, семидесятил'єтнюю старуху, говорили, что она бъетъ его, спрашивали, когда будетъ ихъ свадьба, сынали на голову ему бумажки, называя это сибгомъ. Но ни одного слова не отвъчалъ на это Акакій Акакіевичъ, какъ-будтобы никого и не было передъ нимъ. Это не имъло даже вліянія на запятія его: среди всёхъ этихъ докукъ опъ не дёлалъ ни одной ошибки въ письмъ. Только, если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мішая заниматься своимъ діломъ, онъ произносиль: » Оставьте меня! зачёмь вы меня обижаете? « II чтото странное заключалось въ словахъ и въ голосъ, съ какимъ они были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что одинъ молодой человъкъ, недавно опредълившійся, который, по приміру другихь, позволиль было себі посмъяться надъ инмъ, вдругъ остановился, какъ-будто все перемінилось передъ нимъ и показалось въ другомъ виді: какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ, свътскихъ людей.

И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему инзенькій чиновникъ съ лысникой на лбу, съ своими проинкающими словами: »Оставьте меня! зачъмъ вы меня обижаете? « и въ этихъ проникающихъ словахъ звенъли другія слова: »Я братъ твой. « И закрывалъ себя рукою бъдный молодой человъкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на въку своемъ, видя, какъ много въ человъкъ безчеловъчъя, какъ много скрыто свиръной грубости въ утончениой, образованной свътскости и, Боже! даже въ томъ человъкъ, котораго свътъ признаетъ благороднымъ и честнымъ.

Врядъ ли гдв можно было найти человъка, который такъ жилъ бы въ своей должности. Мало сказать — онъ служилъ ревностно; нътъ, онъ служилъ съ любовью. Тамъ, въ этомъ переписываньи, ему видълся какъ-то свой разнообразный и пріятный міръ. Наслажденіе выражалось на лиці его; нікоторыя буквы у него были фавориты, до которыхъ если онъ добирался, то былъ самъ не свой: и нодеменваль, и подмигиваль, и помогаль губами, такъ что въ линъ его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы, соразмърно его рвенио, давали ему награды, онъ, къ изумленію своему, межетъ быть, даже пональ бы въ статские совътники; но выслужилъ онъ, какъ выражались остряки, его же товарищи, пряжку въ петлицу да геморой въ поясницу. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы не было къ нему никакого випманія. Одинъ директоръ, будучи добрый человѣкъ и желая вознаградить его за долгую службу, приказаль дать ему что-нибудь поважнье, чемь обыкновенное переписыванье: именно, изътотоваго уже дела велено было ему сделать какое-то отношение въ другое присутственное мѣсто; дѣло состояло только въ томъ, чтобы неременить заглавный титуль да переменить кое-где глаголы изъ перваго лица въ третье. Это задало ему такую работу, что онъ вспотёль совершенно, теръ лобъ и наконецъ сказаль: » Нётъ, лучше дайте я переппшу что-ппбудь. « Съ тъхъ поръ оставили его навсегда переписывать. Вий этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Онъ не думалъ вовсе о своемъ платьи: вицмундиръ у него былъ-не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвъта. Воротшичокъ на немъ былъ узенькій, низенькій, такъ что шея его, не смотря на то, что не была длинна, выходя изъ

воротника, казалась необыкновенно длинною, какъ у тъхъ гинсовыхъ котенковъ, болтающихъ головами, которыхъ носятъ на головахъ цълыми десятками Русскіе иностранцы. И всегда что-инбудь да прилинало къ его вицмундиру: или съща кусочекъ, или какаянибудь нпточка; къ тому же онъ имъть особенное искусство, ходя по улицъ, посиъвать подъ окно именно въ то самое время, когда изъ него выбрасывали всякую дрянь, ѝ оттого въчно уносиль на своей шлянъ арбузныя и дынныя корки и тому подобный вздоръ. Ни одинъ разъ въ жизни не обратилъ онъ вниманія на то, что дълается и происходитъ всякий день на улицъ, на что, какъ извъстно, всегда носмотритъ его же братъ, молодой чиновипкъ, простирающій до того проницательность своего бойкаго взгляда, что замътитъ даже, у кого на другой сторонъ тротуара отпоролась вицзу панталонъ стремешка, — что вызываетъ всегда лукавую усмъшку на лицъ его. Но Акакій Акакіевичъ если и глядъль на что, то видель на всемь свои чистыя, ровнымъ почеркомъ выписанныя строки, и только развѣ, если, неизвѣстно откуда взявшись, лошадиная морда помѣщалась ему на плечо и напускала ноздрями цьлый вытеры вы щеку, тогда только замычаль оны, что оны не на срединъ строки, а скоръе на срединъ улицы. Приходя домой, онъ садился тотъ же часъ за столъ, хлебалъ наскоро свои щи п влъ кусокъ говядины съ лукомъ, вовсе не замъчая ихъ вкуса, влъ все это съ мухами и со всёмъ тёмъ, что ни посылалъ Богъ на ту нору. Замътивши, что желудокъ начиналъ пучиться, вставаль изъза стола, вынималь баночку съ чернилами и переписываль бумаги, принесенныя на домъ. Если же такихъ не случалось, онъ снималъ нарочно, для собственнаго удовольствія, конію для себя, особенно, если бумага была замъчательна не по красотъ слога, но по адресу къ какому-инбудь новому, или важному лицу.

Даже въ тѣ часы, когда совершенно потухаетъ Петербургское сѣрое небо и весь чиновный народъ наѣлся и отобѣдалъ, кто какъ могъ, сообразно съ получаемымъ жалованьемъ и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло послѣ денартаментскаго скринѣнья перьями, бѣготни, своихъ и чужихъ необходимыхъ занятій и всего того, что задаетъ себѣ добровольно, больше даже чѣмъ нужно, неугомонный человѣкъ, — когда чиновники спѣшатъ пре-

дать наслаждению оставшееся время: кто побойчье, несется въ театръ; кто на улицу, опредѣляя его на разсматриванье кое-какихъ шляпеновъ; кто на вечеръ истратить его въ комплиментахъкакойнибудь смазливой дівушкі, звізді небольшого чиновнаго круга; кто — и это случается чаще всего — идеть, просто, къ своему брату въ четвертый, или третій этажъ, въ двъ небольнія комнаты съ передней, или кухней, и кос-какими модными претензіями, лампой, или иной вещищей, стоившей многихъ пожертвованій, отказовъ оть объдовь, гуляній; словомь, даже вь то время, когда всь чиновники разсъяваются по маленькимъ квартиркамъ своихъ пріятелей поиграть въ штурмовой висть, прихлебывая чай изъ стакановъ съ конеечными сухарями, затягиваясь дымомъ изъ длинныхъ чубуковъ, разсказывая во время сдачи какую-инбудь сплетию, запестуюся изъвысшаго общества, отъ котораго никогда и ни въ какомъ состояни не можетъ отказаться Русскій человъкъ, или даже, когда не о чемъ говорить, пересказывая въчный анекдотъ о комендантъ, которому пришли сказать, что подрубленъ хвостъ у лошади Фальконстова монумента; — словомъ, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакій Акакіевичъ не предавался никакому развлечению. Пикто не могъ сказать, чтобы когда-нибудь видъль его на какомъ-нибудь вечеръ. Написавшись въ сласть, онъ ложился спать, улыбаясь заранте при мысли о завтрашнемъ дит что-то Богъ пошлетъ переписывать завтра. Такъ протекала мириая жизнь человіка, который, съ четырьмя стами жалованья, уміль быть довольнымъ своимъ жребіемъ, и дотекла бы, можетъ быть. до глубокой старости, если бы не было разныхъ бъдствій, разсыпанныхъ на жизненной дорогѣ не только титулярнымъ, но даже тайнымъ, дъйствительнымъ, надворнымъ и всякимъ совътникамъ, даже и темъ, которые не дають никому советовъ, ни отъ кого не беруть ихъ сами.

Есть въ Петербургъ сильный врагъ всъхъ, получающихъ 400 рублей въ годъ жалованья, или около того. Врагъ этотъ не кто другой, какъ нашъ съверный морозъ, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что онъ очень здоровъ. Въ девятомъ часу утра, именно въ тотъ часъ, когда улицы нокрываются идущими въ департаментъ, начинаетъ онъ давать такіе сильные и колючіе щелчки безъ разбору

по всёмъ носамъ, что бедные чиновники решительно не знаютъ, куда дёвать ихъ. Въ это время, когда даже у занимающихъ высшія должности болить отъ морозу лобь и слезы выступають въ глазахъ, бъдные титулярные совътпики иногда бываютъ беззащитны. Все спасеніе состоить въ томъ, чтобы въ тощенькой шинелишкъ перебъжать какъ можно скоръе пять-шесть улицъ и потомъ натопаться хорошенько ногами въ швейцарской, пока не оттаютъ такимъ образомъ всѣ замерзиувшія на дорогѣ способности и дарованья къ должностнымъ отправленіямъ. Акакій Акакіевичъ съ ивкотораго времени началь чувствовать, что его какъ-то особенно сильно стало пронекать въ сишну и плечо, не смотря на то, что онь старался перебъжать какъ можно скоръе законное пространство. Онъ подумаль наконець, не заключается ли какихъ гріховъ въ его шинели. Разсмотръвъ ее хорошенько у себя дома, онъ открыль, что въ двухъ-трехъ мъстахъ, именно, на спинъ и на илечахъ, она сдълалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакія Акакіевича служила тоже предметомъ насмѣшекъ чиновникамъ; отъ нея отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотомъ. Въ самомъ дълъ она имъла какое-то странное устройство: воротникъ ея уменьшался съ каждымъ годомъ болъе и болъе, ибо служилъ на подтачивање другихъ частей ея. Подтачивање не показывало искусства портного и выходило, точно, мъшковато и некрасиво. Увидъвши, въ чемъ дъло, Акакій Акакіевичъ ръшиль, что шинель нужно будетъ снести къ Петровичу, портному, жившему гдъ-то въ четвертомъ этажъ по черной лъстиццъ, который, не смотря на свой кривой глазъ и рябизну но всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновшичьихъ и всякихъ другихъ нанталонъ и фраковъ, разумъется, когда бывалъ въ трезвомъ состоянии и не питаль въ головъ какого-инбудь другого предпріятія. Объ этомъ портномъ конечно не слъдовало бы много говорить, но такъ какъ уже заведено, чтобы въ повъсти характеръ всякаго лица былъ совершенно озпаченъ, то, нечего дълать, подавайте намъ и Петровича сюда. Сначала онъ назывался просто Грпгорій и былъ крѣпостнымъ челов вкомъ у какого-то барина; Петровичемъ онъ началъ называться съ техъ поръ, какъ получилъ отпускную и сталъ понивать довольно сильно по всякимъ праздникамъ, спачала по большимъ, а потомъ, безъ разбору, по всъмъ церковнымъ, гдъ только стоялъ въ календаръ крестикъ. Съ этой стороны онъ былъ въренъ дъдовскимъ обычаямъ и, споря съ женой, называлъ ее мірскою женщиной и Нъмкой. Такъ какъ мы уже заикнулись про жену, то пужно будетъ и о ней сказать слова два; но, къ сожалъщю, о пей немного было извъстно, развъ только то, что у Петровича есть жена, поситъ даже ченчикъ, а не платокъ, но красотою, какъ кажется, она не могла похвастаться — по крайней мъръ, при встръчъ съ нею, одни только гвардейские солдаты заглядывали ей подъ ченчикъ, моргнувши усомъ и испустивши какой-то особый голосъ.

Взбираясь по лъстницъ, ведшей къ Петровичу, которая — надобно отдать справедливость — была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тёмъ спиртуознымъ запахомъ, который всть глаза и, какъ известно, присутствуетъ пеотлучно на всехъ черныхъ лъстищахъ Истербургскихъ домовъ, — взбираясь по лъстницъ, Акакій Акакіевичъ уже подумываль о томъ, сколько запроситъ Петровичъ, и мысленно положилъ не давать больше двухъ рублей. Дверь была отворена, нотому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму въкухив, что нельзя было видъть даже и самихъ таракановъ. Акакій Акакіевичъ прошелъ черезъ кухию, незамъченный даже самою хозяйкою, и вступилъ наконецъ въ комнату, гдъ увидълъ Петровича, сидъвшаго на широкомъ деревяномъ некрашенномъ столѣ и подвернувщаго подъ себя ноги свои какъ Турецкій паша. Ноги, по обычаю портныхъ, сидящихъ за работою, были нагишомъ; и прежде всего бросился въ глаза большой палецъ, очень извъстный Акакію Акакіевичу, съ какимъ-то изуродованнымъ ногтемъ, толстымъ и крънкимъ, какъ у черепахи черепъ. На шев у Петровича висвяъ мотокъ шелку и нитокъ, а на колъняхъ была какая-то ветошь. Онъ уже минуты съ три продваль нитку съ иглиное ухо, не попадалъ и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча въ полголо́са: »Не лѣзетъ, варварка! уѣла ты меня, шельма этакая!« Акакію Акакіевичу было пепріятно, что онъ пришель именно въ ту минуту, когда Нетровичъ сердился: опъ любилъ что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последий быль уже иссколько

подъ-куражемъ или, какъ выражалась жена его, » осадился сивухой, одноглазый чортъ. « Въ такомъ состояни Петровичъ, обыкновенно, очень охотно уступалъ и соглашался, всякій разъ даже кланялся и благодарилъ. Потомъ, правда, приходила жена, плачась, что мужъ, де, былъ пьянъ и потому дешево взялся; но гривенникъ бывало одинъ прибавнињ, и дъло въ шлянъ. Теперь же Нетровичъ былъ, казалось, въ трезвомъ состояніи, а потому крутъ, несговорчивъ и охотникъ заламывать чортъ знаетъ какія цѣны. Акакій Акакіевичъ смекнулъ это и хотѣлъ было уже, какъ говорится, на попятный дворъ, но ужъ дѣло было начато. Петровичъ прищурилъ на него очень пристально свой единственный глазъ, и Акакій Акакіевичъ невольно выговорилъ: »Здравствуй, Петровичъ! «—»Здравствовать желаю, судырь! « сказалъ Петровичъ и покосилъ свой глазъ на руки Акакія Акакіевича, желая высмотрѣть, какого рода добычу тотъ несъ.

»А я вотъ къ тебѣ, Петровичъ, того....« Нужно знать, что Акакій Акакіевичъ изъясиялся большею частью предлогами, нарѣчіями и наконецъ такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія. Если же дѣло было очень затрудинтельно, то онъ даже имѣлъ обыкновеніе совсѣмъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши рѣчь словами: »Это, право, совершенно того....« а потомъ уже и ничего не было, и самъ онъ

позабываль, думая, что все уже выговориль.

» Что жъ такое? « сказалъ Петровичъ и осмотрълъ въ то же время своимъ единственнымъ глазомъ весь вицмундиръ его, начиная съ воротника до рукавовъ, сипики, фалдъ и нетлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таковъ ужъ обычай у портныхъ: это первое, что онъ сдълаетъ при встръчъ.

» А я вотъ того, Петровичъ.... шинель-то, сукно.... вотъ видишь, вездѣ въ другихъ мѣстахъ совсѣмъ крѣнкое... оно немножко запылилось и, кажется, какъ будто старое, а оно новое, да вотътолько въ одномъ мѣстѣ немного того.... на спинѣ, да еще вотъ на илечѣ одномъ немного попротерлось, да вотъ на этомъ плечѣ немножко... видишь? вотъ и все. И работы немного....«

Петровичь взяль капоть, разложиль его сначала на столь,

разематриваль долго, нокачаль головою и пользъ рукою на окно за круглой табакеркой съ портретомъ какого-то генерала,—какого именно, неизвъстно, нотому что мъсто, гдъ находилось лицо, было проткнуто нальцемъ и потомъ наклеено четвероугольнымъ лоскуточкомъ бумажки. Пошохавъ табаку, Петровичъ растонырилъ канотъ на рукахъ и раземотрълъ его противъ свъта и опять покачалъ головою; потомъ обратилъ его подкладкой вверхъ и вновь нокачалъ; вновь снялъ крышку съ генераломъ, заклееннымъ бумажкой, и, натащивши въ носъ табаку, закрылъ, спряталъ табакерку и наконецъ сказалъ: » Нътъ, нельзя поправить: худой гардеробъ!«

У Акакія Акакіевича при этихъ словахъ ёкнуло сердце.

» Отчего же нельзя, Петровичь? « сказаль онъ почти умоляющимъ голосомъ ребенка: » въдь только всего, что на илечахъ поистерлось; въдь у тебя сеть же какіе-нибудь кусочки. . . . «

»Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся «, сказаль Петровичь , »да нашить-то нельзя : дёло совсёмъ гнилое , тронешь иглой — а вотъ ужъ оно и ползетъ.«

» Пусть ползеть, а ты тоть-чась заплаточку.«

» Да заплаточки не на чемъ положить, укрѣниться ей не́ за что: подержка больно велика. Только слава, что сукио, а подуй вътеръ—такъ разлетится.«

» Ну, да ужъ прикръпи. Какъ же этакъ, право, того....«

» Нѣтъ«, сказалъ Петровичъ рѣшительно, » иичего нельзя сдѣлать. Дѣло совсѣмъ плохое. Ужъ вы лучше, какъ придетъ зимнее холодное время, надѣлайте изъ нея себѣ опучекъ, потому что чулокъ не грѣетъ. Это Нѣмцы выдумали, чтобы побольше себѣ денегъ забирать (Петровичъ любилъ при случаѣ кольнутъ Нѣмцевъ); а шинель ужъ, видио, вамъ придется новую дѣлать.«

При словъ *повую* у Акакія Акакіевича затуманило въ глазахъ, и все, что ни было въ компатъ, такъ и пошло передъ нимъ нутаться. Онъ видълъ ясно одного только генерала съ заклееннымъ бумажкой лицомъ, находившагося на крышкъ Петровичевой табакерки. »Какъ-же новую? « сказалъ онъ, всё еще какъ-будто находясь во снъ: »въдь у меня и денегъ на это нътъ. «

» Да, новую «, сказаль съ варварскимъ спокойствіемъ Петровичъ.

- »Ну, а если бы пришлось повую, какъ бы она того....«
- »То есть, что будеть стоить?«
- »Дa.«
- »Да три полсотни слишкомъ надо будетъ приложить «, сказалъ Петровичъ и сжалъ при этомъ значительно губы. Онь очень любилъ сильные эффекты, любилъ вдругъ какъ-нибудь озадачить совершенио и потомъ поглядъть искоса, какую озадаченный сдълаетъ рожу послъ такихъ словъ.
- » Полтораета рублей за шинель!« вскрикнулъ бѣдный Акакій Акакіевичъ, вскрикнулъ, можетъ быть, въ первый разъ отъ-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.
- »Да-съ«, сказалъ Петровичъ: »да еще какова шинель. Если положить на воротникъ куницу, да пустить капишонъ на шелковой подкладкъ, такъ и въ двъсти войдетъ «
- » Петровичъ, ножалуйста «, говорилъ Акакій Акакіевичъ умоляющимъ голосомъ, не слыша и не стараясь слышать сказанныхъ Петровичемъ словъ и всъхъ его эффектовъ, »какъ-нибудь ноправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.«

»Да ивтъ, это выйдетъ — и работу убивать, и деньги попусту тратить «, сказалъ Петровичъ, и Акакій Акакіевичъ послѣ такихъ словъ вышелъ, совершенно уничтоженный. А Петровичъ, по уходѣ его, долго еще стоялъ, значительно сжавши губы и не принимансь за работу, будучи доволенъ, что и себя не уронилъ, да и портного искусства тоже не выдалъ.

Вышедъ на улицу, Акакій Акакіевичъ былъ какъ во сив. »Этаково-то двло этакое«, говорилъ онъ самъ себв: »я, право, и не думалъ, чтобы оно вышло того....« а потомъ, послв ивкотораго молчанія, прибавиль: »такъ вотъ какъ! наконецъ вотъ что вышло! а я, право, совсвмъ и предполагать не могъ, чтобы оно было этакъ.« За симъ послвдовало опять долгое молчаніе, послв котораго онъ произнесь: »Такъ этакъ-то! вотъ какое ужъ, точно, никакъ неожиданное, того.... этого бы никакъ.... этакое-то обстоятельство!« Сказавин это, онъ, вмъсто того, чтобы идти домой, пошелъ совершенно въ противную сторону, самъ того не подозръвая. Дорогою задълъ его всъмъ нечистымъ своимъ бокомъ трубочистъ п вычериилъ все илечо ему; цълая шанка извести высыналась на

него съ верхушки стронвшагося дома. Онъ инчего этого не замътиль, и потомъ уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхиваль изъ рожка на мозолнстый кулакъ табаку, тогда только пемного очнулся, и то потому, что будочникъ сказалъ: » Чего лъзещь въ самое рыло? развъ ивть тебв трухтуара?« Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здёсь только онъ началь собирать мысли, увидёль въ ясномъ и настоящемъ видъ свое положение, сталъ разговаривать съ собою уже не отрывисто, но разсудительно и откровенио, какъ съ благоразумнымъ пріятелемъ, съ которымъ можно поговорить о дълъ самомъ сердечномъ и близкомъ. »Ну, ивтъ«, сказалъ Акакій Акакіевичъ: » теперь съ Петровичемъ нельзя толковать: онъ теперь того.... жена, видно, какъ-нибуть поколотила его. А вотъ я лучше приду къ нему въ воскресный день утромъ: онъ послѣ канунешной субботы будеть косить глазомъ и заснавшись, такъ ему нужно будеть опохмилиться, а жена денегь не дасть, а въ это время я ему гривенничекъ и того, въруку, —онъ и будетъ сговорчивъе, и шинель тогда и того....« Такъ разсудилъ самъ съ собою Акакій Акакіевичъ, ободриль себя и дождался перваго воскресенья, и, увидъвъ издали, что жена Петровича куда-то выходила изъ дому, онъ прямо къ нему. Петровичъ точно послъ субботы сильно косиль глазомь, голову держаль къ полу и быль совсемъ заспавшись; но при всемъ томъ, какъ только узналъ, въ чемъ дёло, точно какъ будто его чорть толкнуль. »Нельзя«, сказаль: »извольте заказать новую. « Акакій Акакіевичь туть-то и всунуль ему гривениичекь. »Благодарствую, судырь, подкрыплюсь маленечко за ваше здоровье«, сказалъ Петровичъ, »а ужъ объ шинели не извольте безнокопться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель ужъ я вамъ сошью на славу, ужъ на этомъ постоимъ.«

Акакій Акакіевичъ еще было на-счетъ починки, но Петровичъ не дослушалъ и сказалъ: »Ужъ новую я вамъ сошью безпремѣнно, въ этомъ извольте положиться, старанье приложимъ. Можно будетъ даже такъ, какъ пошла мода, воротникъ будетъ застегиваться на серебренныя ланки подъ аплике.«

Тутъ-то увидълъ Акакій Акакіевичъ, что безъ новой шинели нельзя обойтись, и поникъ совершенно духомъ. Какъ же въ самомъ

дълъ, на что, на какія деньги ее сдълать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение къ празднику, но эти деньги давно уже размъщены и распредълены впередъ. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долгъ за приставку новыхъ головокъ къ старымъ голенищамъ, да слъдовало заказать швет три рубахи, да штуки двт того бълья, которое неприлично называть въ нечатномъ слогъ; словомъ — всъ деньги совершенно должны были разойтися, и если бы даже директоръ быль такъ милостивъ, что, вмъсто сорока рублей наградныхъ, опредълиль бы сорокъ-нять, или пятьдесять, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздоръ, который въшинельномъ капиталъ будетъ канля въ моръ. Хотя, конечно онъ зналъ что за Петровичемъ водилась блажь заломить вдругъ, чортъ знаетъ, какую непомърную ивну, такъ что ужъ бывало сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: »Что ты, съ ума сходинь, дуракъ такой! Въ другой разъни за что возьметь работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цёну, какой и самъ не стоить. « Хотя, конечно, онъ зналъ, что Петровичъ и за восемьдесятъ рублей возьмется сдёлать; однако всё же, откуда взять эти восемьдесять рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; можеть быть, даже немножко и больше; по гдв взять другую половину?... Но прежде читателю должно узнать, гдф взялась первая половина. Акакій Акакіевичъ имѣлъ обыкновеніе со всякаго истрачиваемаго рубля откладывать по грошу въ небольной ящичекъ, запертый на ключъ, съ проръзанною въ крышкъ дырочкой для бросанія туда денегъ. По истеченіи всякаго полугода, онъ ревизовалъ наконившуюся мѣдную сумму и замѣнялъ ее мелкимъ серебромъ. Такъ продолжалъ опъ съ давнихъ поръ, и такимъ образомъ, въ продолжение ивсколькихъ лётъ, оказалось накопившейся суммы болье, чьмъ на сорокъ рублей. Итакъ, половина была въ рукахъ; но гдъ же взять другую половину? гдъ взять другіе сорокъ рублей? Акакій Акакіевичъ думалъ - думалъ и рѣшилъ, что нужно будеть уменьшить обыкновенныя издержки, хотя по крайней мъръ въ продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерамъ, не зажигать по вечерамъ свъчи, а если что понадобится дълать, идти въ комнату къ хозяйкъ и работать при ся свъч-

къ; ходя по улицамъ, ступать какъ можно легче и остороживе по камнямъ и плитамъ, почти на цыпочкахъ, чтобы такимъ образомъ не истереть скоровременно нодметокъ; какъ можно рѣже отдавать прачкъ мыть бълье, а чтобы не занашивалось, то всякой разъ, приходя домой, скидать его и оставаться въ одномъ только демикотоновомъ халатъ, очень давнемъ и надимомъ даже самимъ временемъ. Надобно сказать правду, что сначала ему было ивсколько трудно привыкать къ такимъ ограниченіямъ, но потомъ какъ-то привыклось и ношло на-ладъ, — даже онъ совершенно пріучился голодать но вечерамъ; но зато онъ интался духовно, нося въ мысляхъ своихъ въчную идею будущей шинели. Съртихъ поръ какъбудто самое существование его сдёлалось какъ-то поливе, какъбудтобы онъ женился, какъ-будто какой-то другой человѣкъ присутствоваль съ нимъ, какъ-будто онъ быль не одинъ, а какая-то пріятная подруга жизни согласилась съ инмъ проходить вмѣстѣ жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, какъ таже шинель, на толстой вать, на крыпкой подкладкь безъ износу. Онъ сдёлался какъ-то живъе, даже тверже характеромъ, какъ человъкъ, который уже опредълиль и поставиль себъ цъль. Съ лица и съ постунковъ его исчезло само собою сомивніе, первинительность, словомъ — вет колеблющіяся и неопределенныя черты. Огонь порою показывался въ глазахъ его, въ головѣ даже мелькали самыя дерзкія и отважныя мысли: не положить ли, точно, куинцу на воротинкъ? Размышленія объ этомъ чуть не навели на него разсъянности. Одинъ разъ, переписывая бумагу, онъ чуть было даже не сдёлаль ошибки, такъ что почти вслухъ вскрикнуль: » Ухъ! « и перекрестился. Въ продолжение каждаго мъсяца онъ. хотя одинъ разъ, навъдывался къ Петровичу, чтобы поговорить о шинели, гдѣ лучше купить сукпа, и какого цвѣта, и въ какую цъну, - и, хотя нъсколько озабоченный, но всегда довольный, возвращался домой, помышляя, что наконецъ придетъ же время, когда все это купится и когда шинель будеть сдёлана. Дёло ношло даже скорфе, чемъ опъ ожидалъ. Противу всякаго чаянія, директоръ назначиль Акакію Акакіевичу не сорокъ, или сорокъ пять, а цълыхъ шестьдесять рублей. Ужъ предчувствоваль ли онъ, что Акакію Акакіевичу нужна шинель, или само собой такъ случилось,

по только у него чрезъ это очутилось лишнихъ двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ходъ дёла. Еще какихъ-инбудь дватри мъсяца небольшого голоданья — и у Акакія Акакіевича набралось, точно, около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. Въ первый же день онъ отправился вмъстъ съ Петровичемъ въ лавки. Купили сукна очень хорошаго — и немудрено, потому что объ этомъ думали еще за нолгода прежде и ръдкій мъсяцъ не заходили въ лавки примъняться къ цънамъ; зато самъ Петровичъ сказалъ, что лучше сукна и не бываетъ. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротнаго и илотнаго, который, но словамъ Петровича, былъ еще лучше шелку и даже на-видъ казиствії и глянцовитвії. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога, а вмъсто ся выбрали кошку лучшую, какая только нашлась въ лавкъ, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петровичъ провозился за шинелью всего двъ недъли, нотому что много было стеганья, а иначе - она была бы готова раньше. За работу Петровичъ взялъ двѣнадцать рублей-меньше никакъ нельзя было: все было ръшительно шито на шелку, двойнымъ мелкимъ швомъ, и по всякому шву Петровичъ нотомъ проходилъ собственными зубами, вытъсняя ими разныя фигуры. Это было.... трудно сказать, въ который именно день, но, въроятно, въ день самый торжественный въ жизни Акакія Акакіевича, когда Истровичъ принесъ наконецъ шинель. Онъ принесъ ее поутру, передъ самымътъмъ временемъ, какъ нужно было идти въ денартаментъ. Никогда бы въ другое время не пришлась такъ кстати шинель, потому что начинались уже довольно кръпкіе морозы и, казалось, грозили еще болье усилиться. Петровичь явился съ шинелью, какъ слъдуетъ хорошему нортному. Въ лицѣ его показалось выраженіе такое значительное, какого Акакій Акакіевичь пикогда еще не видаль. Казалось, онъ чувствоваль въ полной мъръ, что сдълалъ не малое дъло и что вдругъ показалъ въ себъ бездну, раздъляющую портныхъ, которые подставляють только подкладки и переправляють, отъ тёхъ, которые шьють за-ново. Онъ вынуль шинель изъ носового платка, въ которомъ ее принесъ (платокъ былъ только что отъ прачки; опъ уже туть свернуль его и положиль въ карманъ для употребленія.)

Вынувни шинель, онъ гордо посмотрель и, держа въ обенхъ рукахъ, набросилъ весьма ловко на плеча Акакію Акакіевичу; потомъ нотянулъ и осадилъ ее саади рукой къ низу; потомъ драпировалъ ею Акакія Акакіевича итсколько на распашку. Акакій Акакіевичъ, какъ человъкъ въ лътахъ, хотълъ попробовать въ рукава; Петровичъ номогъ надъть и въ рукава — вышло, что и въ рукава была хороша. Словомъ, оказалось, что шинель была совершенно и какъ разъ въ пору. Петровичъ не упустиль при семъ случай сказать, что онъ такъ только, потому что живетъ безъ вывѣски на небольшой улицъ и притомъ давно знаетъ Акакія Акакіевича, потому взяль такъ дешево; а на Невскомъ проснектъ съ него бы взяли за одну только работу семьдесять нять рублей. Акакій Акакіевичь объ этомъ не хотълъ разсуждать съ Петровичемъ, да и боялся всъхъ сильныхъ суммъ, какими Петровичъ любилъ запускать пыль. Онъ расплатился съ нимъ, поблагодарилъ и вышелъ тутъ же въ новой шинели въ департаментъ. Петровичъ вышелъ вслъдъ за нимъ и, оставаясь на улицъ, долго еще смотръль издали на шинель и пошелъ нарочно въ сторону, чтобы, обогнувши кривымъ переулкомъ, забъжать вновь на улнцу и посмотръть еще разъ на свою шинель съ другой стороны, то есть, прямо въ лицо. Между тъмъ Акакій Акакіевичъ шель въ самомъ праздничномъ расположеніи всѣхъ чувствъ. Опъ чувствовалъ всякій мигъ минуты, что на плечахъ его новая шинель, и нъсколько разъ даже усмъхнулся отъ внутренняго удовольствія. Въ самомъ дёлё, двё выгоды: одна то, что тепло, а другая, что хорошо. Дороги онъ не примътилъ вовсе и очутился вдругъ въ департаментъ; въ швейцарской скинулъ шинель, осмотръль ее кругомъ и поручилъ въ особенный надзоръ швейцару. Неизвъстно, какимъ образомъ въ департаментъ всъ вдругъ узнали, что у Акакія Акакіевича новая шинель, и что уже капота болье не существуеть. Всь въ ту же минуту выбъжали въ швейцарскую смотръть новую шинель Акакія Акакіевича. Начали поздравлять его, привътствовать, такъ что тотъ сначала только улыбался, а потомъ сдёлалось ему даже стыдно. Когда же всё, приступивъ къ нему, стали говорить, что нужно всирыснуть повую шинель и что по крайней мъръ онъ долженъ задать имъ всъмъ вечеръ, Акакій Акакіевичъ потерялся совершенно, не зналъ

какъ ему быть, что такое отвъчать и какъ отговориться. Онъ уже минуть черезъ нёсколько, весь закраспёвшись, началь было увёрять довольно простодушно, что это совстмъ не новая шинель, что это такъ, что это старая шинель. Наконецъ одинъ изъ чиновниковъ, какой-то даже помощникъ столоначальника, въроятно, для того, чтобы показать, что онъ ничуть не гордецъ и знается даже съ низшими себя, сказаль: » Такъ и быть, я вмъсто Акакія Акакіевича даю вечеръ, я прошу ко миѣ сегодия на чай: я же, какъ нарочно, сегодня именинникъ. « Чиновники, натурально, тутъ же поздравили помощника столоначальника и приняли съ охотою предложеніе. Акакій Акакіевичъ началь было отговариваться, но всъ стали говорить, что, неучтиво, что, просто, стыдъ и срамъ, и онъ уже никакъ не могъ отказаться. Впрочемъ, ему потомъ едълалось пріятно, когда вспомниль, что онъ будеть имъть чрезъ то случай пройтись даже и ввечеру въ новой шинели. Этотъ весь день былъ для Акакія Акакіевича, точно, самый большой торжественный праздникъ. Онъ возвратился домой въ самомъ счастливомъ расположеніи духа, скинуль шинель и пов'єсиль ее бережно на стіні, налюбовавшись еще разъ сукномъ и подкладкой, и потомъ нарочно вытащиль для сравненья прежній капоть свой, совершенно расползшійся. Онъ взглянуль на него, и самь даже засмѣялся: такая была далекая разница! И долго еще потомъ за объдомъ онъ всё уемъхалея, какъ только приходило ему на умъ положение, въ которомъ находился капотъ. Пообъдалъ онъ весело и послъ объда ужъ ничего не писалъ, пикакихъ бумагъ, а такъ немпожко посибаритствовалъ на постели, пока не потемийло. Потомъ, не затягивая дёла, одёлся, надёль на плеча шинель и вышель на улицу. Гдт именно жилъ пригласившій чиновникъ, къ сожальню, не можемъ сказать: память начинаетъ памъ спльно измёнять, и все, что ин есть въ Петербургъ, всъ улицы и домы, слились и смъщались такъ въ головъ, что весьма трудно достать оттуда что-ипбудь въ порядочномъ видъ. Какъ бы то ни было, по върно по крайней мъръ то, что чиновинкъ жилъ въ лучией части города, стало быть, очень неблизко отъ Акакія Акакіевича. Спачала падо было Акакію Акакіевичу пройти кое-какія пустынныя улицы сътощимъ освъщениемъ, но, по мъръ приближения къ квартиръ чиновника,

улицы становились живте, населенити и сильите освъщены. Итшеходы стали мелькать, чаще начали попадаться и дамы красиво одътыя; на мущинахъ попадались бобровые воротники; ръже встръчались ваньки съ деревяными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками; напротивъ, всё попадались лихачи, въ малиновыхъ бархатныхъ шанкахъ, съ лакированными санками, съ медвъжьими одъялами, и пролетали улицу, визжа колесами по сибгу, кареты съ убранными козлами. Акакій Акакіевичъ глядёль на все это, какъ на новость. Опъ уже ивсколько лътъ не выходилъ по вечерамъ на улицу. Остановился съ любонытствомъ передъ освъщеннымъ оконкомъ магазина посмотръть на картину, гдъ изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала съ себя башмакъ, обпаживши такимъ образомъ всю ногу, очень недурную; а за сипной ея, изъ дверей другой комнаты, выставиль голову какой-то мущина, съ баккенбардами и красивой эспаньолкой подъ губой. Акакій Акакіевичъ покачнуль головой и усмѣхнулся, и потомъ ношелъ своею дорогою. Почему онъ усмѣхнулся? потому ли, что встрѣтилъ вещь вовсе незнакомую, но о которой, однакоже, всё-таки у каждаго сохраняется какое-то чутье, или подумаль онъ, подобно многимъ другимъ чиновникамъ, следующее: »Ну, ужъ эти Французы! что и говорить? ужъ ежели захотятъ что-инбудь того, такъ ужъ точно того....« А, можетъ быть, даже и этого не подумаль: вёдь нельзя же залъзть въ душу человъку и узнать все, что онъ ни думаетъ. Наконець достигнуль онъ дома, въкоторомъ квартировалъ номощникъ столоначальника. Помощникъ столоначальника жилъ на большую ногу: на лъстницъ свътилъ фонарь, квартира была во второмъ этажъ. Вошедши въ переднюю, Акакій Акакіевичъ увидъль на полу цвлые ряды калошъ. Между ними, посреди комнаты, стоялъ самоваръ, шумя и испуская клубами паръ. На етънахъ висъли всё шинели да плащи, между которыми нъкоторые были даже съ бобровыми воротниками или съ бархатными отворотами. За стъной быль слышенъ шумъ и говоръ, которые вдругъ сдёлались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышель лакей съ нодносомь, уставленнымь опорожненными стаканами, сливочникомь и корзиною сухарей. Видно, что ужъ чиновники давно собрались и

вынили по первому стакану чаю. Акакій Акакіевичъ, повъспвил самъ шинель свою, вошель въ компату, и передънимъ мелькнули въ одно время свъчи, чиновники, трубки, столы для картъ, и смутно поразили слухъ его бътлый, со всъхъ сторонъ подымавшийся разговоръ и шумъ передвигаемыхъ стульевъ. Онъ остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сдълать. Но его уже замётили, приняли съ крикомъ и всё пошли тотъ же часъ въ переднюю и вневь осмотрѣли его шинель. Акакій Акакіевичь, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человъкомъ чистосердечнымъ, не могъ не порадоваться, видя, какъ всв похвалили шинель. Потомъ, разумъется, веъ бросили и его, и шинель, и обратились, какъ водится, къ столамъ, назначеннымъ для виста. Все это: шумъ, говоръ и толна людей, все это было какъ-то чудно Акакію Акакіевичу. Опъ, просто, не зналъ, какъ ему быть, куда дъть руки, ноги и вею фигуру свою; наконецъ подсъль опъ къ игравиниъ, смотрълъ въ карты, засматривалъ тому и другому вълица и чрезъ нъсколько времени началь зъвать, чувствовать, что скучно, -- тъмъ болъе, что ужъ давно наступило то время. въ которое онъ, но обыкновеню, ложился спать. Онъ котъль проститься съ хозянномъ, по его непустили, говоря, что непремънно надо выпить, въ честь обновки, но бокалу шампанскаго. Черезъ чась подали ужинь, состоявшій изъ винегрета, холодной телятины, наштета, кандитерскихъ пирожковъ и шампанскаго. Акакія Акакіевича заставили выпить два бокала, послі которых онь почувствоваль, что въ комнать сдылалось веселье, однакожъ иннакъ не могь позабыть, что уже двинадцать часовь и что давно пора домой. Чтобы какъ-инбудь не вздумалъ удерживать хозяниъ, онъ вышель потихоньку изъ комнаты, отыскаль въ нередней иншель, которую не безъ сожальнія увидыть лежавшею на полу, стряхнуль ее, сияль съ нея всякую пушнику, надёль на плеча и опустился по лъстинцъ на улицу. На улицъ всё еще было свътло. Кол-какія мелочныя лавчонки, эти безсмённые клубы дворовыхъ и всякихъ людей, были отнерты, другія же, которыя были заперты, неказывали, однакожъ, длинную струю свъта во всю дверную щель, ознававшую, что они не лишены еще общества и, въроятно, дворовыя служанки, или слуги еще доканчивають свои толки и разговоры, повергая своихъ господъ въ совершенное недоумъне на-счетъ своего мъстопребыванія. Акакій Акакіевичь шель въ веселомъ распоженін духа, даже побъжаль-было вдругь, нензвъстно почему, за какою-то дамою, которая, какъ молнія, прошла мимо и у которой всякая часть тъла была исполнена необыкновеннаго движенія. Но уменжеци-оп аткио акенои и коливонство ож атут ано ажолендо очень тихо, подивясь даже самъ неизвъстно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись передъ нимъ тѣ пустынныя улицы, которыя даже и диемъ не такъ веселы, а тѣмъ болѣе вечеромъ. Теперь онъ сдълались еще глуше и уединениъе: фонари стали мелькать рѣже — масла, какъ видно, уже меньше отнускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигдѣ ни души; сверкалъ только одинъ сивть по улицамь, да печально черивли съ закрытыми ставиями заснувшія низенькія лачужки. Онъ приблизился къ тому мъсту, гдъ переръзывалась улица безконечною площадью съ едва видными надругой сторонъ ея домами, которая глядъла страшною пустынею.

Вдали, Богъ знаетъ гдъ, мелькалъ огонекъ къ какой-то будкъ, которая казалась стоявшею на краю свъта. Веселость Акакія Акакіевича какъ-то здѣсь значительно уменьшилась. Онъ вступиль на илощадь не безъ какой-то невольной боязии, точно какъ-будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Онъ оглянулся назадъ и по сторонамъ—точно море вокругъ него. »Нътъ, лучше и не глядъть«, подумаль и шель, закрывь глаза, и когда открыль ихъ, чтобы узнать, близко ли конецъ илощади, увидѣлъ вдругъ, что передъ нимъ стоятъ, почти передъ посомъ, какіе-то люди съ усами, — какіе именно, ужъ этого онъ не могъ даже различить. У него затуманило въ глазахъ и забилось въ груди, »А въдь шинельто моя! « сказаль одинь изънихъ громовымъ голосомъ, схвативши его за воротникъ. Акакій Акакіевичъ хотѣль было уже закричать карачит, какъ другой приставиль ему къ самому рту кулакъ, величиною въ чиновинчыо голову, примольнвъ: »А вотъ только крикни!« Акакій Акакіевичъ чувствоваль только, какъ сияли съ него шинель, дали ему пипка колтномъ, и онъ упалъ навзничъ въ енътъ, и инчего ужъ больше не чувствовалъ. Чрезъ иъсколько минуть онь опоминдся и поднялся на ноги, но ужъ никого не было.

Опъ чувствоваль, что въ полъ холодно и шинели нътъ; сталъ кричать, но голось, казалось, и не думаль долетать до концовъ площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился овъ бъжать черезъ площадь прямо къбудкъ, подлъ которой стоялъ будочипкъ и, опершись на свою алебарду, глядёль, кажется, съ любонытствомъ, желая знать, какого чорта бъжитъ къ нему издали и кричить человькь. Акакій Акакіевичь, прибъжавь нему, началь задыхающимся голосомъ кричать, что онъ спить и ни за чёмъ не смотрить, не видить, какъ грабять человъка. Будочинкъ отвъчаль, что онъ не видаль никого, что видёль, какъ остановили его среди площади какіе-то два челов'ть , да думаль, что то были его пріятели; а что пусть онъ вмъсто того, чтобы понапрасну браниться, еходить завтра къ надзирателю, такъ надзиратель отыщетъ, кто взяль шинель. Акакій Акакіевичь прибъжаль домой въ совершенномъ безпорядкъ: волосы, которые еще водились у него въ небольшомъ количествъ на вискахъ и затылкъ, совершенно растренались; бокъ и грудь и вев наиталоны были въ сивгу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стукъ въ дверь, посцешно вскочила съ постели и, съ башмакомъ на одной только погъ, побъжала отворять дверь, придерживая на груди своей, изъ скромности, рукою рубашку; но, отворивъ, отступила назадъ, увидя въ такомъ видь Акакія Акакіевича. Когда же разсказаль онъ, въ чемъ дёло, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо къ частному, что квартальный надуеть, пообъщается и станеть водить; а лучше всего идти прямо къ частному, что онъ даже ей знакомъ, потому что Анна, Чухонка, служившая прежде у нея въ кухаркахъ, опредълплась теперь къ частному въ няньки, что она часто видитъ его самого, какъ онъ провзжаетъ мимо ихъ дома, и что онъ бываетъ такъ же всякое воскресенье въ церкви, молится, а въ то же время весело смотритъ на всёхъ, и что, сталобыть, по всему видно, долженъ быть добрый человъкъ. Выслушавъ такое ръщене, Акакій Акакіевичъ печальный побрелъ въ свою комнату, и какъ онъ провель тамъ ночь, предоставляется судить тому, кто можетъ скольконибудь представить себъ положение другого. Поутру рано отправился онъ къ частному; но сказали, что спитъ; онъ пришелъ въ десять — сказали опять: спить; онъ пришель въ одиннадцать часовъ — сказали: »Да нътъ частнаго дома «; онъ въ объденное время но писаря въ прихожей никакъ не хотбли пустить его и хотбли непремѣнно узнать, за какимъдѣломъ и какая надобность привела. и что такое случилось; такъ что наконецъ Акакій Акакіевичъ разъ въ жизни захотълъ показать характеръ и сказаль на-отръзъ, что ему нужно лично видъть самого частнаго, что они не смъютъ его не допустить, что онъ пришель изъ департамента за казеннымъ деломъ, а что вотъ, какъ онъ на нихъ ножалуется, такъ вотъ тогда они увидятъ. Противъ этого писаря инчего не посмъли сказать, и одинъ изъ нихъ пошелъ вызвать частнаго. Частпый принялъ какъ-то чрезвычайно странно разсказъ о грабительствъ шинели. Вмъсто того, чтобы обратить внимание на главный пунктъ дъла, онъ сталъ разспрашивать Акакія Акакіевича: да почему опъ такъ ноздно возвращался? да не заходиль ли онь и не быль ли въ какомъ непорядочномъ домъ? такъ что Акакій Акакіевичъ сконфузился совершенно и вышель отъ него, самъ не зная, возъимъетъ ли надлежащій ходъ дёло о шинели, или иётъ. Весь этотъ день онъ не былъ въ присутствіп (единственный случай въ его жизин). На другой день онъ явился весь блёдный и въ старомъ капотъ своемъ, который сдёлался еще плачевите. Повъствование о грабежъ шинели, не смотря на то, что нашлись такіе чиновники, которые не пропустили даже и тутъ посмъяться надъ Акакіемъ Акакіевичемъ, одиакоже многихъ тронуло. Ръшились тутъ же сдълать для него складчину, но собрали самую бездълицу, нотому что чиновники и безъ того уже много истратились, подписавшись на директорскій нортреть и на одну какую-то книгу, по предложенно начальника отдъленія, который быль пріятелемь сочинителю; итакъ сумма оказалась самая бездёльная. Одинъ кто-то, движимый состраданіемъ, ръшился по крайней мъръ помочь Акакію Акакіевичу добрымъ совътомъ, сказавши, чтобъ онъ пошелъ не къ квартальному, потому что хоть и можеть случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщеть какимъ-инбудь образомъ шинель; по шинель всё-таки останется въ полици, если онъ не представитъ законныхъ доказательствъ, что она принадлежить ему; а лучше всего, чтобы онь обратился къодному значительному мицу, что значительное мицо, спишась и снесясь, съ къмъ слъдуетъ, можетъ заставить успъшиве идти дъло. Нечего дълать, Акакій Акакіевичь рёшился идти къ значительному лицу. Какая именно и въ чемъ состояла должность значительнаго лица, это осталось до сихъ поръ неизвъстнымъ. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сдёлался значительнымъ лицомъ, а до того времени онъ былъ незначительнымъ лицомъ. Впрочемъ м'всто его и теперь не почиталось значительнымъ, въ сравненін съ другими, еще значительньйшими. Но всегда найдется такой кругъ дюдей, для которыхъ незначительное въ глазахъ прочихъ есть уже значительное. Впрочемъ опъ старался усилить значительность миогими другими средствами, именио: завелъ, чтобы низшіе чиновники встрічали его еще на лістниці, когда онъ приходиль въ должность; чтобы къ нему являться прямо никто не смълъ, а чтобъ шло все порядкомъ строжайшимъ: коллежский регистраторъ докладываль бы губерискому секретарю, губерискій секретарь — титуляриому, или какому приходилось другому, и чтобы уже такимъ образомъ доходило дёло до него. Такъ ужъ на святой Руси все заражено подражаніемь, всякой дразнить и корчить своего начальника. Говорять даже, какой-то титулярный совътникъ, когда сдълали его правителемъ какой-то отдъльной небольшой канцелярін, тотчась же отгородиль себѣ особенную комнату, назвавши ее колиматой присутствія, и поставиль у дверей какихъ-то канельдинеровъ, съ красными воротниками, въ галунахъ, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя въ комнать присутствія насилу могъ уставиться обыкновенный инсьменный столь. Пріемы п обычан значительнаго лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главнымъ основаніемъ его системы была строгость. »Строгость, строгость и строгость«, говариваль онъ обыкновенно, и при послёднемъ словъ обыкновенно смотрълъ очень значительно въ лицо тому, которому говорилъ. Хотя, впрочемъ, этому и пе было никакой причины, потому что десятокъ чиновинковъ, составлявшихъ весь правительственный механизмъ канцеляріп, и безъ того быль въ надлежащемъ страхъ: завидя его издали, оставляль уже дъло и ожидаль, стоя въ вытяжку, пока начальникъ пройдетъ черезъ комнату. Обыкновенный разговоръ его съ низшими отзывался стро-

гостью и состояль почти изъ трехъ фразъ: »Какъ вы смъете? знаете ли вы, съ къмъ говорите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами? « Впрочемъ опъ былъ въ душт добрый человъкъ, хорошъ съ товарищами, услужливъ; но генеральскій чинъ совершение сбилъ его съ толку. Получивни генеральскій чинъ, опъ какъ-то снутался, сбился съ пути и совершенно не зналъ, какъ ему быть. Если ему случалось быть съ ровными себъ, опъ быль еще человъкъ, какъ следуеть, — человекъ очень порядочный, во многихъ отношенияхъ даже неглуный человёкъ; но какъ только случалось ему быть въ обществъ, гдъ были люди хоть одинмъ чиномъ пониже его, тамъ онъ быль, просто, хоть изъ рукъ вонъ: молчаль, и ноложение его возбуждало жалость тъмъ болъе, что опъ самъ даже чувствовалъ, что могъ бы провести время несравнение лучше. Въ глазахъ его иногда видно было сильное желаніе присоединиться къ какомунибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будеть ли это ужъ очень много съ его стороны, не будетъ ли фамиліарно, и не уронитъ ли онъ чрезъ то своего значенія? ІІ въ следствіе такихъ разсужденій онъ оставался вечно въ одномъ и томъ же молчаливомъ состоянии, произнося только изръдка какіе-то односложные звуки, и пріобръль такимъ образомъ титуль скучньйшаго человька. Къ такому-то значительному лицу явился нашъ Акакій Акакіевичъ, и явился во время самое неблагопріятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочемъ, кстати для значительнаго лица. Значительное лицо находился въ своемъ кабинетъ и разговорился очень, очень весело съ однимъ педавно прібхавшимъ старпинымъ знакомымъ и товарищемъ д'єтства, съ которымъ ивсколько лътъ не видался. Въ это время доложили ему, что пришелъ какой-то Башмачкинъ. Онъ спросилъ отрывисто: »Кто такой? « ему отвъчали: »Какой-то чиновникъ. « — Л! можетъ подождать, теперь не время «, сказаль значительный человъкъ. Здъсь надобно сказать, что значительный человъкъ совершенно прилгнулъ: ему было время; они давно уже съ пріятелемъ переговорили обо всемъ и уже давно перекладывали разговоръ весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друга друга по ляшкѣ и приговаривая: »Такъ-то, Иванъ Абрамовичъ! « — » Этакъ-то, Степанъ Варламовичъ! « но при всемъ томъ, однакоже, велълъ опъ чиновнику подождать, чтобы показать пріятелю, человѣку давно неслужившему и зажившемуся дома въдеревић, сколько времени чиновники дожидаются у него въ передней. Наконецъ наговорившись, а еще болъе намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку въ весьма покойныхъ креслахъ съ откидными спинками, онъ наконецъ какъбудто вдругъ вспомнилъ п сказалъ секретарю, остановившемуся у дверей съ бумагами для доклада: »Да, въдь тамъ стоитъ, кажется, чиновникъ. Скажите ему, что онъ можетъ войти.« Увидъвши емиренный видъ Акакія Акакіевича и его старенькій вицмундиръ, онъ оборотился къ нему вдругъ и сказалъ: »Что вамъ угодно? « голосомъ отрывистымъ и твердымъ, которому нарочно учился заранъ у себя въ компатъ, въ уединени и передъ зеркаломъ, еще за недъло до полученія нынішняго своего міста и генеральскаго чина. Акакій Акакіевичъ уже заблаговременно почувствоваль надлежащую робость, инсколько смутился и, какъ могъ, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснилъ, съ прибавленіемъ даже чаще, чёмь въ другое время частицы того, что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограбленъ безчеловъчнымъ образомъ, и что онь обращается къ нему, чтобъ онъ ходатайствомъ своимъ какънибудь того... списался бы съг. оберъ-полицииместеромъ, или другимъ къмъ, и отыскалъ шинель. Генералу, неизвъстно ночему, показалось такое обхожденіе фамиліарнымъ. » Что вы, милостивый государь! « продолжаль онъ отрывисто: » не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, какъ водятся дъла? Объ этомъ вы бы должны были прежде подать просьбу въ канцелярію; она пошла бы къ столоначальнику, къ начальнику отдъленія, потомъ передана была бы секретарю, а секретарь доставиль бы ее уже мив....«

»Но, ваше превосходительство «, сказалъ Акакій Акакіевнчъ, стараясь собрать всю пебольшую горсть присутствія духа, какая только въ немъ была, и чувствуя въ то же время, что онъ вснотъль ужаснымъ образомъ: »я, ваше превосходительство, осмълнлея утрудить потому, что секретари того.... ненадежный пародъ....«

»Что, что, что? « сказалъ значительное лицо; »откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей такихъ набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми противъ начальниковъ и высшихъ! « Значительное лицо, кажется, не замъ-

тиль, что Акакію Акакіевичу забралось уже за пятьдесять льть; стало быть, если бы онъ и могъ назваться молодымъ человекомъ, то развѣ только относительно, то есть въ отношени къ тому, кому уже было семьдесять льть. »Знаете ли вы, кому это говорите? нонимаете ли вы, кто стоитъ нередъ вами? понимаете ли вы это? понимаете ли это? я васъ спрашиваю.« Тутъ опъ топнулъ ногою, возведа голосъ до такой сильной ноты, что даже и не Акакио Акакіевичу сділалось бы страшно. Акакій Акакіевичь такъ и обмеръ, пошатнулся, затрясся всёмь тёломь и никакъ не могъ стоять: если бы не подбъжали тутъ же сторожа поддержать его, онъ бы илепнулся на полъ; его вынесли почти бсзъ движенія. А значительное лицо, довольный тъмъ, что эффектъ превзошелъ даже ожиданіе, п совершенно упоенный мыслыо, что слово его можетъ лишить даже чувствъ человъка, некоса взглянулъ на пріятеля, чтобы узнать, нанъ онъ на это смотритъ, и не безъ удовольствія увидель, что пріятель его находится въ самомъ неопредъленномъ состояни и начиналь даже съ своей стороны самъ чувствовать страхъ.

Какъ сошелъ съ лъстищы, какъ вышелъ на улицу, инчего ужъ этого не номиилъ Акакій Акакіевичъ. Опъ не слышаль ни рукъ, ин ногъ. Въ жизнь свою онъ не быль еще такъ сильно распеченъ генераломъ, да еще и чужимъ. Онъ шелъ по вьюгъ, свистъвней ьъ улицамъ, разинувъ ротъ, сбиваясь съ тротуаровъ; вътеръ, по Петербургскому обычаю, дузъ на него со всъхъ четырехъ сторонъ, изъ всёхъ переулковъ. Въ мигъ надуло ему въ горло жабу, и добрался онъ домой, не въ силахъ будучи сказать ни одного слова; весь распухъ и слегъ въностель. Такъ сильно иногда бываетъ надлежащее раснекање! На другой же день обпаружилась у него сильная горячка. Влагодаря великодушному вспомоществованию Петербургскаго климата, болёзнь пошла быстрёе, чёмъ можно было ожидать, и когда явился докторъ, то онъ, пощунавши нульсъ, инчего не нашелся едёлать, какъ только прописать принарку, единетвенно уже для того, чтобы больной не остался безъ благодътельной помощи медицины; а впрочемъ туть же объявиль ему чрезъ полтора сутокъ непремънный капутъ. Послъ чего обратился къ хозяйкъ и сказалъ: »А вы, матушка, и времени даромъ не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гробъ, потому что ду-

бовый будеть для него дорогь.« Слышаль ли Акакій Акакіевичь эти произнесенныя роковыя для него слова? а если и слышалъ, произвели ли они на него потрясающее дъйствіе? пожальль ли онъ о горемычной своей жизни? — инчего этого неизвъстно, нотому что онъ находился все время въбреду и жару. Явленія, одно другаго страниве, представлялись ему безпрестанио: то видъль онъ Нетровича и заказываль ему сдёлать шинель съ какими - то западнями для воровъ, которые чудились ему безпрестанно подъ кроватью, и онъ поминутно призываль хозяйку вытащить у него одного вора даже изъ-подъ одбила; то спрашиваль, зачемь висить передъ инмъ старый канотъ его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что онь стоить передъ генераломъ, выслушивая надлежащее распеканье и приговариваеть: »Виновать, ваше превосходительство !« то, наконецъ, даже сквернохульничалъ, произнося самыя етрашныя слова, такъ что старушка-хозяйка даже крестилась, отъ роду не слыхавъ отъ него инчего подобнаго — темъ более, что слова этп слъдовали испосредственно за словомъ ваше превосходительство. Далке онъ говорилъ совершенную беземыелицу, такъ что ничего нельзя было понять; можно было только видёть, что безпорядочныя слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконецъ бъдный Акакій Акакіевичъ испустиль духъ. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первыхъ, не было наследниковъ, а во-вторыхъ, оставалось очень немного наслъдства, именно-пучокъ гусиныхъ нерьевъ, десть бълой казенной бумаги, три пары носковъ, двъ-три нуговицы, оторвавшіяся отъ панталонъ, и уже извъстный читателю капотъ. Кому все это досталось, Богъ знаетъ: объ этомъ, признаюсь, даже не интересовался разсказывающій сію повъсть. Акакія Акакіевича свезли и похоронили. И Петербургъ остался безъ Акакія Акакіевича, какъ-будтобы въ немъ его и никогда не было. Псчезло и скрылось существо, инкъмъ незащищенное, инкому недорогое, ни для кого непитересное, даже необратившее на себя вниманія и естествонаблюдателя, непропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и разсмотрѣть ее въмикроскопъ, -- существо, переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дёла сощедшее въ могилу, но для котораго всё же таки,

хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькиулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь, и на которое такъ же потомъ нестеринмо обрушилось несчастіе, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего!... Нѣсколько дней послѣ его смерти, посланъ былъ къ нему на квартиру изъ денартамента сторожъ, съ приказаніемъ немедленно явиться: начальникъ де требуетъ; но сторожъ долженъ былъ возвратиться ин съ чѣмъ, давши отчетъ, что не можетъ больше прійти, и на запросъ: почему? выразился словами: »Да такъ: ужъ онъ умеръ; четвертаго дня похоронили.« Такимъ образомъ узнали въ денартаментѣ о смерти Акакія Акакіевича, и на другой день уже на его мѣстѣ сидѣлъ новый чиновникъ, гораздо выше ростомъ и выставлявшій буквы уже не такимъ прямымъ почеркомъ, а гораздо наклоннѣе и косѣе.

Но кто бы могъ вообразить, что здёсь еще не все объ Акакіи Акакіевичь, что суждено ему на ньсколько дней прожить шумно посль своей смерти, какъ-бы въ паграду за непримъченную никъмъ жизнь? Но такъ случилось, и бъдная исторія наша неожиданно принимаетъ фантастическое окончаніе. По Петербургу пронеслись вдругъ слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше сталъ показываться по ночамъ мертвецъ, въ видъ чиновника, ищущаго какой-то утащенной шпнели и подъвидомъ стащенной шинели сдирающій совсёхъ плечь, не разбирая чина и званія, всякія шинели: на кошкахъ, на бобрахъ, на ватъ, епотовыя, лисьи, мелвъжьи шубы, словомъ - всякаго рода мъха и кожи, какія только придумали люди для прикрытія собственной. Одинъ изъ департаментскихъ чиновинковъ видътъ своими глазами мертвеца и узналъ въ немъ тотчасъ Акакія Акакіевича; но это внушило ему, однакоже, такой страхъ, что онъ бросился бъжать со всъхъ ногъ и отъ того не могъ хорошенько разсмотрёть, а видёль только, какъ тотъ издали погрозиль ему нальцемъ. Со всёхъ сторонъ поступали безпрестанно жалобы, что спины и илечи, пускай бы еще только титулярныхъ, но даже и надворныхъ совѣтниковъ, подвержены совершенной простудъ, по причинъ частаго сдергиванья шинелей. Въ полиціи едълано было распоряженіе поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертваго, и наказать его, въ примъръ другимъ, жесточайшимъ образомъ, и въ томъ едва было даже не

успъли. Именю, будочникъ, какого-то квартала въ Кирюшкиномъ нереулкъ, схватилъ-было уже совершенно мертвеца за воротъ на самомъ мъстъ злодъянія, на нокушеніи сдернуть фризовую шинель съ какого-то отставного музыканта, свиставшаго въ свое время на флентъ. Схвативши его за воротъ, онъ вызвалъ своимъ крикомъ двухъ другихъ товарищей, которымъ поручилъ держать его, а самъ полъзъ только на одну минуту за саногъ, чтобы вытащить оттуда тавлинку съ табакомъ, освѣжить на время шесть разъ на въку примороженный носъ свой; но табакъ, върно, былъ такого рода, котораго не могъ вынести даже и мертвецъ. Не успълъ будочинкъ, закрывши пальцемъ свою правую ноздрю, потянуть лівою полгорети, какъ мертвецъ чихнулъ такъ сильно, что совершенно забрызгаль имъ всёмъ троимъ глаза. Покамёсть они подпесли кулаки протереть ихъ, мертвеца и слъдъ пропалъ, такъ что они не знали даже, быль ли онь точно въ ихъ рукахъ. Съ этихъ поръ будочники получили такой страхъ къ мертвецамъ, что даже онасались хватать и живыхь, и только издали покрикивали: »Эй ты, ступай своею дорогой!« и мертвецъ-чиновникъ сталь показываться даже за Калинкинымъ мостомъ, наводя немалый страхъ на всёхъ робкихъ людей. Но мы, однакоже, совершенно оставили одно знаиительное лицо, который, по-настоящему, едва ли не быль причиною фантастического направления вирочемъ совершение истинной исторін. Прежде всего долгь справедливости требуеть сказать, что одно значительное лицо, скоро по уходъ бъднаго распеченнаго въ-пухъ Акакія Акакіевича, почувствовалъ что-то въ родъ сожальнія. Состраданіе было ему не чуждо; его сердцу были доступны многія добрыя движенія, не смотря на то, что чинъ весьма часто мъщаль имъ обнаруживаться. Какъ только вышель изъ его кабинета прівзжій пріятель, онъ даже задумался о бъдномъ Акакін Акакіевичь. И съ этихъ поръ почти всякій день представлялся ему блъдный Акакій Акакіевичъ, невыдержавшій должностного распеканья. Мысль о немъ до такой степени тревожила его, что, недълю спустя, онъ ръшился даже послать къ нему чиновицка узнать, что онъ и какъ, и нельзя ли въ самомъ дёлё чёмъ номочь ему; и когда донесли ему, что Акакій Акакіевичъ умеръ скоропостижно въ горячкъ, онъ остался даже пораженнымъ, слышалъ упрекц совъсти

и весь день быль не въ-духъ. Желая сколько-нибудь развлечься и нозабыть непріятное впечатлівніе, онъ отправился на вечеръ къ одному изъ пріятелей своихъ, у котораго нашель порядочное общество, а что всего лучше, вев тамъ были почти одного и того же чина, такъ что опъ совершенно ничемъ не могъ быть связанъ. Это имкло удивительное дъйствие на душевное его расположение. Онъ развернулся, сдёлался пріятень въ разговоръ, любезень, словомъ-провель вечеръ очень пріятно. За ужиномъ выпиль онъ стакана два шамианскаго — средство, какъ извъство, недурно дъйствующее въ-разсуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение къ разнымъ экстренностямъ, а именю: онъ рѣшилъ не тхать еще домой, а затхать къ одной знакомой дамъ, Каролинъ Ивановив, дамв, кажется, Ивмецкаго происхожденія, къ которой онъ чувствовалъ совершенно пріятельскія отношенія. Надобно сказать, что значительное лицо быль уже человъть немолодой, хорошій супругь, почтенный отець семейства. Два сына, пзъ которыхъ одинъ служилъ уже въ канцеляріп, и миловидиая шестнадцатилътняя дочь, съ нъсколько выгнутымъ, по хорошимъ посикомъ, приходили всякій день ціловать его руку, приговаривая bon jour. рара. Супруга его, еще женщина свъжая и даже ни чуть недурная, давала ему прежде ноцеловать свою руку и потомъ, нереворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительнос лицо, совершенио, впрочемъ, довольный домашними семейными и вжностями, нашелъ приличнымъ имъть для дружескихъ отношеній пріятельницу въ другой части города. Эта пріятельница была ни чуть не лучше и не моложе жены его; но такія унть задачи бываютъ на свътъ, и судить объ нихъ не наше дъло. Итакъ значительное лицо сощель съ лъстинцы, сталъ въ сани и сказалъ кучеру: »Къ Каролинъ Ивановиъ«, а самъ, закутавшись весьма роскошно въ тенлую шинель, оставался въ томъ пріятномъ положенін, лучше котораго и не выдумаешь для Русскаго человіка, то есть, когда самъ ни о чемъ не думаешь, а между тъмъмысли сами льзуть въ голову, одна другой пріятнье, не давая даже труда гоняться за ними и искать ихъ. Иолный удовольстія онъ слегка приноминаль всв веселыя мъста проведеннаго вечера, всв слова, заставившія хохотать небольшой кругь; многія нав нихь онь даже

повторяль въ-полголоса и нашель, что они всё такь же смъшны, какъ и прежде, а потому не мудрено, что и самъ посмъпвался отъ души. Изръдка мъшалъ ему, однакоже, порывистый вътеръ, который, выхватившись вдругь Богь знаеть откуда и нивесть оть какой причины, такъ и ръзалъ вълицо, подбрасывая ему туда клочки сивга, хлобуча, какъ парусъ, шинельный воротникъ, или вдругъ съ неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя такимъ образомъ въчныя хлоноты изъ него выкарабкиваться. Вдругъ почувствовалъ значительное лицо, что его ухватилъ кто-то весьма крѣнко за воротникъ. Обернувшись, онъ замѣтилъ человѣка небольного роста, въ старомъ поношенномъ вицмундиръ, и не безъ ужаса узналъ въ немъ Акакія Акакіевича. Лицо чиновинка было блёдно, какъ сийгъ, и глядёло совершеннымъ мертвецомъ. Но ужасъ значительнаго лица превзошелъ всё границы, когда онъ увидълъ, что ротъ мертвеца нокривился и, пахиувши на него страшно могилою, произнесъ такія річи: »А, такъ вотъ ты наконецъ! я тебя того... ноймаль за воротникъ! твоей-то шинели мив и нужно! не похлоноталь объ моей, да еще и распекь; отдавай же теперь свою! « Бъдное значительное лицо чуть не умеръ. Какъ ин быль онъ характеренъ въ канцеляріи и вообще передънизшими, и хотя, взглянувши на одинъ мужественный видъ его и фигуру, всякій говорилъ: »У, какой характеръ! « но здёсь онъ, подобно весьма многимъ имъющимъ богатырскую паружность, ночувствовалъ такой страхъ, что не безъ причины даже сталъ опасаться на-счетъ какого-инбудь бользиениаго припадка. Онъ самъ даже скинуль поскорже съ плечъ шинель свою и закричалъ кучеру не своимъ голосомъ: »Пошелъ во весь духъ домой!« Кучеръ, услышавши голосъ, который произносится обыкновенно въръшительныя минуты и даже сопровождается кое-чтить гораздо действительнейшимъ, упряталь на всякій случай голову свою въ плечи, замахнулся кнутомъ и помчался, какъ стръла. Минутъ въ шесть съ небольшимъ, значительное лицо уже быль передъ подъйздомъ своего дома. Блидный, перепуганный и безъ шпнели, вмъсто того, чтобы въ Каролинь Ивановкь, онь прівхаль къ себь, доплелся кос-какь до свосй компаты и провель почь весьма въ большомъ безпорядкъ, такъ что на другой день поутру, за чаемъ, дочь ему сказалт прямо: »Ты

сегодня совсёмъ блёденъ, папа.« Но пана молчалъ и никому ни слова о томъ, что съ нимъ случилось и гдв онъ былъ, и куда хотълъ ъхать. Это происшествие сдълало на него сильное впечатлъние. Онъ даже гораздо рѣже сталь говорить подчиненнымъ: »Какъ вы смъете? понимаете ли, кто передъ вами? « если же и произносилъ. то ужъ не прежде, какъ выслушавши сперва, въ чемъ дъло. Но еще болье замьчательно то, что съ этихъ поръ совершенно прекратилось появленіе чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечамъ; по крайней мъръ уже не было нигдъ слышно такихъ случаевъ, чтобы сдергивали съ кого шинели. Впрочемъ многіе дѣятельные и заботливые люди инкакъ не хотъли успоконться и поговаривали, что въ дальнихъ частяхъ города всё еще показывался чиновникъ-мертвецъ. И точно, одниъ Коломенскій будочникъ видёлъ собственными глазали, какъ показалось изъ-за одного дома привиденіе; по, будучи по природе своей ивсколько безсилень, такъ что одинь разъ обыкновенный взрослый поросенокъ, кинувшись изъ какого-то частнаго дома, сшибъ его съ ногъ, къ величайщему смъху стоявшихъ вокругъ извощиковъ, съ которыхъ онъ вытребовалъ за такую издевку по грошу на табакъ, — итакъ будучи безсиленъ, онъ не носмълъ остановить его, а такъ, шелъ за нимъ въ темнотъ до тъхъ поръ, пока наконецъ привидъще вдругъ оглянулось и, остановясь, спросило: »Тебъ чего хочется?« и показало такой кулакъ, какого и у живыхъ не найдешь. Будочникъ сказалъ: »Ничего« да и поворотилъ тотъ же часъ назадъ. Привидиніе, однакоже, было уже гораздо выше ростомъ, носило преогромные усы и, направивъ шаги, какъ казалось, къ Обухову мосту, скрылось совершенно въ ночной темнотъ.

## ROJACRA.

Городь В\* очень повесельль, когда началь въ немъ стоять \*\*\* кавалерійскій полкъ; а до того времени было въ немъ страхъ скучно. Когда бывало протажаещь его и взглянень на низенькіе мазанные домики, которые смотрять на улицу до нев роятности кисло, то.... невозможно выразить, что делается тогда на сердцё: тоска такая, какъ-будтобы или пропградся, или отпустилъ некстати какуюнибудь глупость, однимъ словомъ-не хорошо. Глина на домахъ обвалилась отъ дождя, и стъны, вмъсто бълыхъ, едълались иъгими; крыши большею частію крыты тростникомъ, какъ обыкновенно бываетъ въ южныхъ городахъ нашихъ. Садики, для лучшаго вида, городничій давно приказалъ вырубить. На улицахъ ни души не встрътниь, развъ только пътухъ перейдетъ чрезъ мостовую, мягкую, какъ подушка, отъ лежащей на четверть пыли, которая, при мальнішемъ дождь, превращается въ грязь, и тогда улицы городка В\* наполняются тъми дородными животными, которыхъ тамоший городничій называетъ Французами. Выставивъ серьёзныя морды изъ своихъ ваинъ, онъ подымаютъ такое хрюканье, что проъзжающему остается только погонять лошадей поскорте. Впрочемъ, проважающаго трудно встретить въ городке Б\*. Редко, очень редко какой-нибудь помъщикъ, имъющій одиннадцать душъ крестьянъ, въ нанковомъ сюртукъ, тарабанитъ по мостовой въкакой-то полубричкъ и полутелъжкъ, выглядывая изъ-за наваленыхъ мучныхъ мъшковъ и пристегивая гитдую кобылу, вслъдъ за которою бъжитъ жеребенокъ. Самая рыночная площадь имъетъ иссколько

нечальный видъ: домъ портного выходитъ чрезвычайно глупо не ветмъ фасадомъ, но угломъ; противъ него строится лътъ пятнадцать какое - то каменное строеніе о двухь окнахь; далье стонть самъ-но-себѣ модный досчатый дворъ, выкрашенный сѣрою краскою подъ цвътъ грязи, который, на образецъ другимъ строеніямъ, воздвигъ городинчій во время своей молодости, когда не имълъ еще обыкновенія спать тотчась послі об'єда и пить на ночь какоїї-то декоктъ, заправленный сухимъ крыжовникомъ. Въ другихъ мъстахъ всё почти плетень. Посреди площади самыя маленькія давочки; въ нихъ всегда можно замътить связку баранковъ, бабу въ красномъ платкъ, пудъмыла, нъсколько фунтовъ горькаго миндалю, дробь для стралянія, демикотонъ и двухъ купеческихъ прикащиковъ, во всякое время играющихъ у дверей въ свайку. Но какъ началь стоять въ убздномъ городкъ В\* кавалерійскій полкъ, все перемѣнплось: улицы запестрѣли, оживились, словомъ-припяли совершенно другой видъ; низенькие домики часто видъли проходящаго мимо ловкаго, статнаго офицера съ султаномъ на головъ, шедшаго къ товарищу поговорить о производствъ, объ отличнъйшемъ табакъ, а иногда поставить на карточку дрожки, которыя можно было назвать полковыми, потому что онт, не выходя изъ нолку, усибвали обходить всёхъ: сегодня катался на нихъ маюръ, завтра онт появлялись въ поручиковой конюшит, а чрезъ недълю. смотри, онять маіорскій деньщикъ подмазываеть ихъ саломъ. Деревянный илетень между домами весь быль усвянь висвышими на солнцъ солдатскими фуражками; сърая шинель торчала непремънно гдъ-инбудь на воротахъ; въ переулкахъ попадались солдаты съ такими жесткими усами, какъ сапожныя щетки. Усы эти были видны во встхъ мъстахъ: соберутся ли на рынкъ съ ковшиками мъщанки — изъ-за плечъ ихъ, върно, выглядываютъ усы. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только изъ судын, жившаго въ одномъ домъ съ какою-то діаконицею, и городицчаго, разсудительнаго человъка, но спавшаго ръшительно весь день — отъ объда до вечера и отъвечера до объда. Общество едълалось еще многолюдиве и занимательиве, когда нереведена была сюда квартира бригаднаго генерала. Окружные помъщики, о существованін которыхъ инкто бы до того времени не догадался, начали прівзжать почаще въ увздный городокъ, чтобы видёться съ господами офицерами, а иногда поиграть въ банчикъ, который уже чрезвычайно темно грезплся въ головѣ ихъ, захлопотанной поствами, жениными порученіями и запідами. Очень жаль, что не могу приномишть, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой объдъ; заготовление къ нему было сдълано огромное: стукъ новарскихъ ножей на генеральской кухив быль слышень еще близь городской заставы. Весь совершенно рынокъ былъ забранъ для объда, такъ что судья съ своею діаконицею должень быль всть одив только лепешки изъ гречневой муки да крахмальный кисель. Небольшой дворикъ генеральской квартиры быль весь уставленъ дрожками и колясками. Общество состояло изъмужчинъ -- офицеровъ и иткоторыхъ окружныхъ помъщиковъ. Изъ помъщиковъ болъе всъхъ быль замъчателенъ Иноагоръ Иноагоровичъ Чертокуцкій, одинъ изъ главныхъ аристократовъ Б—го убада, болбе всёхъ шумбвин на выборахъ п прівзжавшій туда въ щегольскомъ экппажв. Онъ служиль прежде въ одномъ изъ кавалерійскихъ полковъ и былъ однимъ изъ числа значительныхъ и видныхъ офицеровъ; по крайней мъръ его видали на многихъ балахъ и собраніяхъ, гдѣ только кочевалъ ихъ полкъ; впрочемь объ этомъ можно спросить у дівнць Тамбовской и Симбирской губерий. Всеьма можеть быть, что онь распустиль бы и въ прочихъ губерніяхъ выгодную для себя славу, если бы не вышелъ въ отставку но одному случаю, который обыкновенно называется иепріятиою исторіею. Онълидалькому-то въ старые годы оплеуху, или ему дали ее, объ этомъ навърное не помию, діло только въ томъ, что его попросили выдти въ отставку. Впрочемъ онъ этимъ ни чуть не уронилъ своего въсу: носилъ фракъ съ высокою таліей, на манеръ военнаго мундпра, на сапогахъ шпоры и нодъ носомъ усы, потому что безъ того дворяне могли бы подумать, что онъ служиль въ пёхотё, которую онъ презрительно называль иногда пъхтурой, а иногда пъхонтаріей. Онъ бываль на вежхъ миоголюдныхъ ярмаркахъ, куда внутренность Россін, состоящая изъ мамокъ, дътей, дочекъ и толстыхъ номъщиковъ, нафзжала веселиться, бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какія и во сий никому не снились. Опъ пронюхиваль

носомъ, гдъ стоялъ кавалерійскій полкъ, и всегда прібажалъ видъться съ господами офицерами, очень ловко выскакивалъ передъ ними изъ своей легонькой колясочки, или дрожекъ, и чрезвычайно скоро знакомился. Въ прошлые выборы далъ онъ дворянству прекрасный объдъ, на которомъ объявить, что если только его выберутъ предводителемъ, то онъ поставилъ дворянъ на самую лучшую ногу. Вообще вель себя по-барски, какъ выражаются въ уфздахъ и губерніяхъ; женился на довольно хорошенькой; взялъ за нею двѣсти душъ приданаго и ивсколько тысячъ капиталу. Каниталъ былъ тотчасъ унотребленъ на шестерку дъйствительно отличныхъ лошадей, вызолоченные замки къ дверямъ, ручную обезьянку для дома и Француза - дворецкаго. Двъсти же душъ вмъстъ съ двумя стами собственных были заложены въ ломбардъ, для какихъ-то коммерческихъ оборотовъ. Словомъ, онъ былъ помъщикъ, какъ слъдуетъ, — изрядный помъщикъ. Кромъ его, на объдъ у генерала было ивсколько и другихъ номвщиковъ, но объ нихъ нечего говорить. Остальные были вст военные того же полка и два штабъофицера: нолковникъ и довольно толстый майоръ. Самъ генералъ быль дюжь и тучень, впрочемь хорошій начальникь, какъ отзывались о немъ офицеры. Говорилъ опъ довольно густымъ, значительнымъ басомъ. Объдъ былъ чрезвычайный. Осетрина, бълуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что новаръ еще со вчерашняго дня не бралъ въ ротъ горячаго, и четыре солдата съ ножами въ рукахъработали, на помощь ему, всю ночь фрикасе и желе. Бездна бутылокъ, длинныхъ съ лафитомъ, короткошейныхъ съ мадерою, прекрасный льтий день, окна, открытыя напролеть, тарелки со льдомъ на столь, растренанная манишка у владътелей окладистаго фрака, перекрестный разговоръ, нокрываемый генеральскимъ голосомъ и заливаемый шампанскимъ, — все отвъчало одно другому. Послъ объда всъ встали съ пріятною тяжестью въ желудкахъ и, закуривъ трубки съ длинными и короткими чубуками, вышли, съ чашками кофе въ рукахъ, на крыльцо.

»Вотъ ее можно теперь посмотрѣть«, сказалъ гепералъ. »Пожалуста, любезнѣйшій«, промолвилъ онъ, обращаясь къ своему адъютанту, довольно ловкому молодому человѣку пріятной наружности, »прикажи, чтобы привели сюда гивдую кобылу! воть вы увидите сами.« Туть генераль потянуль изъ трубки и выпустиль дымь: » она еще не слишкомъ въ холъ: проклятый городишка, — ивтъ порядочной конюшни. Лошадь, пуфъ, пуфъ, очень порядочная. «

» II давно, ваше превосходительство, пуфъ, пуфъ, пзволите пмъть ее? « сказалъ Чертокуцкій.

» Пуфъ, пуфъ, пуфъ, пу.... пуфъ, не такъ давно; всего только два года, какъ она взята мною съ завода «.

»И получить ее изволили объезженную , или уже здёсь изволили объездить? «

»Пуфъ, пуфъ, пу, пу, пу...у...фъ, здѣсь.« Сказавши это, генералъ весь псчезъ въ дымъ.

Между тъмъ изъ конюшии выпрыгнулъ солдатъ, послышался стукъ конытъ, наконецъ показался другой, въ бъломъ балахонъ, съ черными огромными усами, ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая вдругъ, поднявъ голову, чуть не подняла вверхъ присъвшаго къ землъ солдата вмъстъ съ его усами. »Ну жъ, ну, Аграфена Ивановна! « говорилъ онъ, подводя ее подъкрыльцо.

Кобыла называлась Аграфена Ивановна. Кръпкая и дикая, какъ южная красавица, она грянула копытами въ деревяное крыльцо и вдругъ остановилась.

Генералъ, опустивни трубку, началъ смотрѣть съ довольнымъ видомъ на Аграфену Ивановну. Самъ полковникъ, сошедши съ крыльца, взялъ Аграфену Ивановну за морду. Самъ маіоръ потрепалъ Аграфену Ивановну по погѣ; прочіе пощелкали языкомъ.

Чертокуцкій сошель съ крыльца и зашель ей взадъ. Солдать вытянувшись и держа узду, глядъль прямо посътителямъвъ глаза, будтобы хотъль вскочить въ нихъ.

» Очень, очень хорошая! « сказалъ Чертокуцкій: » статистая лошадь! а позвольте, ваше превосходительство, узнать, какъ она ходитъ? «

» Шагъ у нея хорошъ; только.... чортъ его знаетъ.... этотъ дуракъ фельдшеръ далъ ей какихъ-то иплюль, и вотъ уже два дня всё чихаетъ.«

- » Очень, очень хороша! А имъете ли, ваше превосходительство, соотвътствующій экипажъ? «
  - » Экипажъ?... Да въдь это верховая лошадь. «
- »Я это знаю; но я спросиль, ваше превосходительство, для того, чтобы узнать, имжете ли и къ другимъ лошадямъ соотвътствующій экипажъ?«
- »Ну, экинажей у меня не слишкомъ достаточно. Миѣ, признаться вамъ сказать, давно хочется имѣть нынѣшшюю коляску. Я писалъ объ этомъ къ брату моему, который теперь въ Петербургѣ, да не знаю, пришлетъ ли онъ, или иѣтъ.«
- »Мив кажется, ваше превосходительство«, замѣтилъ полковникъ, »нѣтъ лучше коляски, какъ Вѣнская.«
  - »Вы справедливо думаете, пуфъ, пуфъ, пуфъ.«
- »У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска, настоящей Вънской работы. «
  - » Какая? та, въ которой вы прібхали?«
- »О, иътъ! это такъ, разъвздная, собственно для мопхъ новадокъ, но та.... это удивительно, легка, какъ перышко, а когда вы сядете въ нее, то, просто, какъ-бы, съ нозволенія вашего превосходительства, нянька васъ въ люлькѣ качала!«
  - » Стало быть покойна?«
- »Очень, очень покойна; подушки, рессоры, это все какъбудто на картинкъ нарисовано. «
  - »Это хорошо. «
- » А ужъ укладиста какъ! то есть, я, ваше превосходительство, и не видываль еще такой. Когда я служилъ, то у меня въ ящики помъщалось десять бутылокъ рому и двадцать фунтовъ табаку, кромъ того со мною еще было около шести мундировъ, бълье и два чубука, ваше превосходительство, самые длинные, а въ карманы можно цълаго быка номъстить. «
  - ». ошо до хорошо. «
  - »Я, ваше превосходительство, заплатиль за нее четыре тысячи.«
  - » Судя по цънъ, должиа быть хороша; и вы купили ее сами?«
- » Ивть, ваше превосходительство, она досталась по случаю. Ее купиль мой другь, ръдкий человъкь, товарищь моего дътства, съ которымь бы вы сошлись совершенио; мы съ нимъ, что твое,

что мое — всё равно. Я выпграль её у него въ карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, едёлать мий честь пожаловать завтра ко мий отобъдать? и коляску вмёстё посмотрите. «

» Я не энаю, что вамъ на это сказать. Мив одному какъ-то.... Развъ ужъ позволите вмъстъ съ господами офицерами? «

» Ії господъ офіцеровъ прошу покорнѣйте. Господа! я почту себѣ за большую честь имѣть удовольствіе видѣть васъ въ своемъ домѣ.«

Полковникъ, мајоръ и прочје офицеры отблагодарили учтивымъ поклономъ.

» Я, ваше превосходительство, самъ того мивнія, что если покупать венць, то непрем'єнно хорошую; а если дурную, то нечего и заводить. Вотъ у меня, когда сділаете мив честь завтра пожаловать, я покажу кое-какія статьи, которыя я самъ завель по хозяйственной части. «

Генераль посмотрёль и выпустиль изо рту дымь.

Чертокуцкій быль чрезвычайно доволень, что пригласиль къ себъ господъ офицеровь; онъ заранье заказываль въ головъ своей паштеты и соусы, посматриваль очень весело на господъ офицеровъ, которые также съ своей стороны какъ-то удвоили къ нему свое расположеніе, что было замътно изъ глазъ ихъ и небольшихъ тълодвиженій, въ родъ полупоклоновъ. Чертокуцкій выступаль впередъ какъ-то развязиве, и голосъ его приняль разслабленіе—выраженіе голоса, обремененнаго удовольствіемъ.

» Тамъ, ваше превосходительство, познакомитесь съ хозяйкой дома. «

» Мив очень пріятно«, сказаль генераль, поглаживая усы.

Чертокуцкій послѣ этого хотѣлъ немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все къ принятію гостей къ завтрашнему обѣду; онъ взялъ было уже и шляну въ руки; но какъ-то странно случилось, что онъ остался еще на нѣсколько времени. Между тѣмъ уже въ комнатѣ были разставлены ломберные столы. Скоро все общество раздѣлилось на четверныя партіи въ вистъ и разсѣялось но разнымъ угламъ генеральскихъ компатъ.

Подали свѣчи. Чертокуцкій долго не зналъ, садиться, или не садиться ему за вистъ. Но какъ госнода офицеры начали приглашать,

то ему показалось очень несогласно съ правилами общежитія отказаться. Онъ присълъ. Нечувствительно очутился передъ нимъ стаканъ съ пуншемъ, который онъ, позабывшись, въ туже минуту выниль. Сыгравши два роббера, Чертокуцкій опять нашель подъ рукою стаканъ съ пуншемъ, который, тоже позабывшись, вынилъ, сказавши напередъ: »Пора, господа, мив домой, право пора.« Но опять присвль и на вторую партію. Между темь разговорь въ разныхъ углахъ комнаты принялъ совершено частное направление. Игравшіе въ вистъ были довольно молчаливы, но неигравшіе, сидъвшіе на диванахъ въ сторонъ, вели свой разговоръ. Въ одномъ углу штабъ-ротмистръ, подложивши себъ подъ бокъ подушку, съ трубкою въ зубахъ, разсказывалъ довольно свободно и илавно любовныя свои приключенія и овладіль совершенно вниманіємь собравшагося около него кружка. Одинь чрезвычайно толстый помъщикъ съ короткими руками, нъсколько похожими на два выросшіе картофеля, слушаль съ необыкновенно сладкою миною п только повременамъ силился запустить коротенькую свою руку за широкую синиу, чтобъ вытащить оттуда табакерку. Въ другомъ углу завязался довольно жаркій споръ объ эскадронномъ ученіи, и Чертокуцкій, который въ это время уже вмісто дамы два раза ебросиль валета, вившивался вдругь въ чужой разговоръ и кричаль изъ своего угла: »Въ которомъ году? « или »Котораго полка? « не замічая, что иногда вопросъ совершенно не приходился къ дълу. Наконецъ, за нъсколько минутъ до ужина, вистъ прекратился, но онъ продолжался еще на словахъ, и, казалось, головы встхъ были полны вистомъ. Чертокуцкій очень помниль, что выигралъ много, но руками не взялъ ничего и, вставши изъ-за стола, долго стояль въ положении человъка, у котораго нътъ въ карманъ носового платка. Между тъмъ подали ужинъ. Само собою разумъется, что въ винахъ не было недостатка и что Чертокуцкій почти невольно долженъ былъ иногда наливать въ стаканъ себъ, потому что направо и налѣво стояли у него бутылки.

Разговоръ затянулся за столомъ предлинный, но, впрочемъ, какъ-то странно онъ былъ веденъ: одинъ полковникъ, служившій еще въ кампанію 1812 года, разсказалъ такую баталію, какой никогда не было, и потомъ, совершенно не извъстно по какимъ причи-

намъ, взялъ пробку отъ графина и воткнулъ ее въ нирожное. Словомъ, когда начали разъѣжаться, уже было три часа, и кучера́ должны были иѣсколькихъ особъ взять въ оханку, какъ-бы узелки съ покупкою, и Чертокуцкій, несмотря не весь аристократизмъ свой, сидя въ коляскѣ, такъ низко кланялся и съ такимъ размахомъ головы, что, пріѣхавши домой, привезъ въ усахъ своихъ два ренейника.

Въ домѣ все совершенно спало; кучеръ едва могъ сыскать камердинера, который проводилъ господина чрезъ гостинную, сдалъ горничной дѣвушкѣ, за которою кое-какъ Чертокуцкій добрался до спальни и улегся возлѣ своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнѣйшимъ образомъ, въ бѣломъ, какъ снѣгъ, спальномъ платъѣ. Движене, произведенное паденемъ ея супруга на кровать, разбудило ее.

Протянувинсь, поднявши рѣсинцы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла ихъ съ полусердитою улыбкою; но, видя, что онъ рѣшительно не хочетъ оказать на этотъ разъ никакой ласки, съ досады поворотилась на другую сторону и, ноложивъ свѣжую свою щеку на руку, скоро послѣ него заснула.

Было уже такое время, которое по деревнямъ не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка подлѣ храпѣвшаго супруга. Вспомнивши, что онъ возвратился вчера домой въ четвертомъ часу ночи, она пожальна будить его и, надъвъ спальные башмачки, которые супругъ ея выписаль изъ Петербурга, въ бълой кофточкъ, дранировавшейся на ней, какъ льющаяся вода, она вышла въ свою уборную, умылась свёжею, какъ сама, водою и подошла къ туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, повидимому незначительное обстоятельство, заставило ее просидъть передъ зеркаломъ ровио два часа лишнихъ. Наконецъ она одблась очень мило и вышла освбжиться въ садъ. Какъ нарочно, время было тогда прекрасное, какимъ можетъ только похвалиться лътній южный день. Солице, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей; но подъ темными густыми аллеями гулять было прохладио, и цвъты, пригрътые солицемъ, утрояли свой запахъ. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о томъ, что уже двънадцать часовъ, а супругъ ел спить. Уже доходило до

елуха ея послъобъденное хранънье двухъ кучеровъ и одного форейтора, снавшихъ въ конюшит, находившейся за саломъ. Но она всё сидъла въ густой аллеъ, изъ которой быль открытъ видъ на большую дорогу, и разсвянно глядвла на безлюдную ея пустынность, какъ вдругъ ноказавшаяся вдали ныль привлекла ся винманіе. Вемотр'євшись, она скоро увидела и всколько экинажей. Впереди вхала открытая двумвстная легонькая колясочка; въ ней сидълъ генералъ съ толстыми, блестъвшими на солицъ эполетами, и рядомъ съ инмъ полковникъ. За ней следовала другая четверомъстная; въ ней сидълъ мајоръ съ генеральскимъ адъютантомъ п еще двумя насупротивъ сидъвшими офицерами; за коляской слъдовали извъстныя всёмъ полковыя дрожки, которыми владёль на этотъ разъ тучный маюръ; за дрожками четверомъстный бонволжъ, въ которомъ сидъли четыре офицера и пятый на рукахъ; за бонвояжемъ рисовались три офицера на прекрасныхъ гиёдыхъ лошадяхъ, въ темныхъ яблокахъ.

»Неужели это къ намъ? « подумала хозяйка дома. » Ахъ , Божемой! въ самомъ дѣлѣ они новоротили на мостъ! « Она вскрикнула, всилеснула руками и побѣжала чрезъ клумбы и цвѣты прямо въ спальню своего мужа. Онъ спаль мертвецки.

»Вставай, вставай! вставай скорфе!« кричала она, дергая егоза руку.

»А?« проговорилъ потягиваясь Чертокуцкій, не раскрывая глазъ.

»Вставай, пульпультикъ! слышишь ли? гости!«

» Гости? какіе гости? « сказавши это, онъ испустилъ небольшое мычапіе, какое издаетъ теленокъ, когда ищетъ мордою сосцовъ своей матери. » Мм «... ворчалъ онъ, » протяни, моньмуня, свою шейку! я тебя поцълую. «

»Душенька, вставай ради Бога скоръй! Генералъ съ офицерами! Ахъ, Боже мой! у тебя въ усахъ репейникъ.«

»Генераль? А, такъ онъ уже ъдеть? Да что же это, чортъ возьми, меня никто не разбудиль? А объдъ, что жъ объдъ? все ли тамъ, какъ слъдуетъ, готово?«

»Какой объдъ?«

» А я развѣ не заказывалъ?«

» Ты, ты прібхаль въ четыре часа почи, и, сколько я ни спрашивала тебя, ты ничего не сказаль мив. Я тебя, пульпультикъ, потому не будила, что мив жаль тебя стало: ты инчего не спалъ«... Последнія слова сказала она чрезвычайно томнымъ и умоляющимъ голосомъ.

Чертокуцкій, вытаращивъ глаза, минуту лежаль на постели, какъ громомъ пораженный; наконецъ вскочилъ онъ въ одной рубашкѣ съ постели, позабывши, что это вовсе неприлично.

»Ахъ, я лошадь! « сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу: » я звалъ ихъ на объдъ! Что дълать? далеко ли они? «

»Я не знаю.... они должны сію мпнуту уже быть. «

»Душенька... спрячься!.. Эй, кто тамъ! ты, дъвчонка! ступай... чего дура боншься? прівдуть офицеры сію минуту: ты скажи, что барина нътъ дома, скажи, что и не будеть совсьмъ, что еще съ утра вывхалъ.... слышишь? и дворовымъ всьмъ объяви; ступай скоръе!«

Сказавши это, онъ схватиль наскоро халать и побъжаль спритаться въ экинажный сарай, полагая тамъ положене свое совершенно безопаснымъ. Но, ставши въ углу сарая, онъ увидѣлъ, что и эдѣсь можно было его какъ-нибудь увидѣть. »А вотъ это будетъ лучие«, мелькнуло въ его головѣ, и онъ въ одну минуту отбросилъ ступени близъ стоявшей коллски, вскочилъ туда, закрылъ за собою дверцы, для большей безопасности закрылся фартухомъ и кожею, и притихъ совершенно, согнувшись въ своемъ халатѣ.

Между тъмъ экинажи подътхали къ крыльцу.

Вышелъ генералъ и встряхнулся; за нимъ полковникъ, поправляя руками султанъ на своей шлянъ; потомъ соскочилъ съ дрожекъ толстый мајоръ, держа подъ мышкою саблю; потомъ выпрыгнули изъ бонвояжа тоненькіе подпоручики съ сидъвнимъ на рукахъ прапорщикомъ; наконецъ сошли съ съделъ рисовавшіеся на лошадяхъ офицеры.

- »Барина ивтъ дома «, сказалъ, выходя на крыльцо, лакей.
- »Какъ ивть? стало быть, онъ, однакожъ, будеть къ объду?«
- »Никакъ иътъ. Они уъхали на весь день. Завтра развъ около этого только времени будутъ. «

»Вотъ тебъ на! « сказалъ генералъ, »какъ же это?...«

» Признаюсь, это штука! « сказалъ полковинкъ смѣясь.

»Да нътъ, какъ же этакъ дѣлать? « продолжалъ генералъ съ неудовольствіемъ. » Фить.... Чортъ.... Ну, не можень прпиять, зачъмъ напрашиваться? «

»Я, ваше превосходительство, не понимаю, какъ можно это дълать!« сказалъ одинъ молодой офицеръ.

» Что ? « сказалъ генералъ, имъвшій обыкновеніе всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говориль съ оберъофицеромъ.

» Я говориль, ваше превосходительство: какъ можно поступать такимъ образомъ! «

»Натурально.... Ну, не случилось, что ли — дай знать по крайней мѣрѣ, или не просп.  ${\tt q}$ 

» Что жъ, ваше превосходительство? нечего дълать, поъдемте назадъ! « сказалъ полковникъ.

»Разумѣется, другого средства пѣтъ. Впрочемъ, коляску мы можемъ посмотрѣть и безъ него. Онъ, вѣрно, ея не взяль съ собою. Эй, кто тамъ? подойди, братецъ, сюда! «

» Чего изволите?«

» Ты конюхъ? «

»Конюхъ, ваше превосходительство. «

»Покажи-ка намъ новую коляску, которую недавно досталъ баринъ. «

»A вотъ, пожалуйте въ сарай.«

Генералъ отправился вмъстъ съ офицерами въ сарай.

»Вотъ извольте, я ее немного выкачу: здъсь темненько. «

»Довольно, довольно, хорошо! «

Генералъ и офицеры обошли вокругъ коляску и тщательно осмотръли колеса и рессоры.

» Ну, ничего иътъ особеннаго «, сказалъ генералъ: »коляска самая обыкновенная. «

» Самая неказистая «, сказаль полковникъ, » совершенио нѣтъ ничего хорошаго. «

»Мив кажется, ваше превосходительство, она совсвмъ не стоить четырехъ тысячъ «, сказалъ одинъ изъ молодыхъ офицеровъ.

» Trò? a

» ${\rm A}$  говорю, ваше превосходительство, что, мив кажется, она не стоить четырехъ тысячь.«

»Какое четырехъ тысячъ! она и двухъ не стоитъ. Просто, ничего иътъ. Развъ внутри есть что-нибудь особенное.... Пожалуста, любезный, отстегии кожу....»

И глазамъ офицеровъ предсталъ Чертокуцкій, сидящій въ халатъ и согнувшійся необыкновеннымъ образомъ.

» А, вы здъсь! «... сказалъ изумившійся генералъ.

Сказавши это, генераль туть же захлопнуль дверцы, закрыль опять Чертокуцкаго фартукомъ и уёхаль вмёстё съ господами офицерами.

## PIND.

отрывокъ..

Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскропвши черныя, какъ уголь, тучи, нестериимо затренещеть она цёлымъ потопомъ блеска. Таковы очи у Альбанки Аннунціаты. Все напоминаетъ въ ней тъ античныя времена, когда оживлялся мраморъ и блистали скульптурные різцы. Густая смола волосъ тяжеловісной косою вознеслась въ два кольца надъ головой и четырьмя длинными кудрями разсыпались по шет. Какъ ни новоротить она сіяющій снъгъ своего лица — образъ ея весь отпечатлълся въ сердцъ. Станетъ ли профилемъ — дивнымъ благородствомъ дышитъ профиль, и мечется красота линій, какихъ не создавала кисть. Обратится ли затылкомъ съ подобранными кверху чудесными волосами, показавъ сверкающую позади шею и красоту невиданныхъ землею плечъ и тамъ она чудо. Но чудесите всего, когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивши хладъ и замирање въ сердце. Полный голосъ ея звенить, какъ мъдь. Инкакой гибкій пантеръ не сравнится съ ней въ быстротъ, силъ и гордости движеній. Все въ ней вънецъ созданья, отъ плечъ до античной дышащей ноги и до послъдняго пальчика на ея ногъ. Куда ни пойдетъ она-уже несетъ съ собой картину: спѣшитъ ли ввечеру къ фонтану съ кованной мѣдной вазой на головъ — вся пропикается чуднымъ согласіемъ обнимающая ее окрестность: легче уходять въ даль чудесныя линін Альбанскихъ горъ, синъе глубина Римскаго исба, прямъй летить вверхъ кипарисъ, и красавица южныхъ деревъ, Римская пинна, топъе и чище рисуется на небъ евоею зонтико-образною. почти плывущею на воздухѣ верхушкою. И все: и самый фонтанъ, гдъ уже столиились въ кучу на мраморныхъ ступеняхъ одна выше другой Альбанскія горожанки, переговаривающіяся сильными серебряными голосами, пока поочередно быетъ вода звонкой алмазной дугой въ подставляемые м'єдные чаны, и самый фонтанъ, и самая толна — все, кажется, для нея, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, какъ она предводить всёмъ, подобно какъ царица предводитъ за собою придворный чинъ свой. Въ праздинчный ли день, когда темная древесная галлерея, ведущая изъ Альбано въ Кастель-Гандольфо, вся полна праздничноубраннаго народа, когда мелькаютъ подъ сумрачными ея сводами щеголи мнненти въ бархатномъ убранствъ, съ яркими ноясами п золотистымъ цветкомъ на пуховой шляце, бредутъ, или несутся вскачь ослы съ полузажмуренными глазами, живописно неся на себъ стройныхъ и сильныхъ Альбанскихъ и Фраскатанскихъ женщинъ, далеко блистающихъ бълыми головными уборкми, или таща вовсе неживописно, съ трудомъ и спотыкаясь, длиннаго неподвижнаго Англичанина въ гороховомъ непромокаемомъ макинтошъ, скорчившаго въ острый уголъ свои ноги, чтобы не зацъпить ими земли, или неся художника въ блузъ, съ деревянымъ ящикомъ на ремиъ и ловкой Вандиковской бородкой, а тынь и солице бытуть попемънно по всей группъ, — и тогда, и въ оный праздинчный день при ней далеко лучше, чемъ безъ нея. Глубина галлерен выдаетъ ее изъ сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю въ блескъ. Пурпурное сукно Альбанскаго ея паряда вспыхиваеть, какъ ищерь, тронутое солнцемъ. Чудный праздникъ летитъ изълица ея навстрёчу всёмь; и, повстрёчавь ее, останавливаются, какъ вкопанпые: и щеголь миненте съ цейткомъ за шляпой, издавши невольное восклицаніе; и Англичанинъ въ гороховомъ макинтошт, ноказавъ вопросительный знакъ на неподвижномъ лицъ своемъ; и художникъ съ Вандиковской бородкой, долже встхъ остановившійся на одномъ мъстъ, подумывая: то-то была бы чудная модель для Діаны, гордой Юноны, соблазинтельныхъ грацій и всёхъ женщинъ, какія только передавались на полотно! и дерзновенно думая

въ то же время: то-то быль бы рай, еслибъ такое диво украсило навсегда смпренную его мастерскую!

Но кто же тотъ, чей взглядъ неотразимъе вперился за ея слъдомъ? Кто сторожитъ ея ръчи, движенья и движенья мыслей на ея лицъ? Двадцати-пятилътий юноша, Римскій князь, потомокъ фамиліи, составлявшей когда-то честь, гордость и безславіе среднихъ въковъ, нынъ пустынно догорающей въ великольпномъ дворцъ, исписанномъ фресками Гверчина и Караччей, съ потускиъвшей картинной галлереей, съ полинявшими штофами, лазурными столами и посъдъвшимъ, какъ лунь, maestro di casa. Его-то увидали недавно Римскія улицы, несущаго свои черныя очи, метатели отней изъ-за перекинутаго черезъ плечо илаща, носъ, очеркнутый античной линіей, слоновую бълизну лба и брошенный на него летучій шелковый локонъ. Онъ появился въ Римъ послъ иятнадцати лътъ отсутствія, появился гордымъ юношею вмъсто еще недавно бывшаго дитяти.

Но читателю нужно знать непремънно, какъ все это совершилось, и потому пробъжимъ наскоро исторію его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатленіями. Первоначальное дітство его протекло въ Римі; воспитывался онъ такъ, какъ въ обычат у доживающихъ въкъ свой Римскихъ вельможъ. Учитель, гувернеръ, дядька и все, что угодно, былъ у него аббатъ, строгій классикъ, почитатель писемъ Пістра Бембо, сочиненій Джіованни делла Casa и пяти-шести пѣсней Данта, читавшій ихъ не иначе, какъ съ сильными восклицаніями: Dio, che cosa divina! и потомъ черезъ двъ строки: Diavolo, che divina cosa! въ чемъ состояла почти вся художественная оцтнка и критика, обращавшій остальной разговоръ на брокколи партишоки, любимый свой предметь, знавшій очень хорошо, въ какое время лучше телятина, съ какого мъсяца нужно начинать ъсть козленка, любившій обовсемъ этомъ поболгать на улицъ, встрътясь съ пріятелемъ, другимъ аббатомъ, обтягивавшій весьма ловко полныя пкры свои въщелковые черные чулки, прежде запихнувши подънихъ шерстяные, чистившій себя регулярно одинъ разъ въ мъсяцъ лекарствомъ olio di riсіпо въ чашкъ кофе и поливний съ каждымъ днемъ и часомъ, какъ полижить все аббаты. Натурально, что молодой князь узналь

иемного подъ такимъ началомъ. Узналъ онъ только, что Латинскій языкъ есть отецъ Италіянскаго, что монсиньоры бывають трехъ родовъ: одни въ черныхъ чулкахъ, другіе въ лиловыхъ, а третьи такіе, которые бывають почти то же, что кардиналы; узналь ньсколько писемъ Пістра Бембо къ тогдашнимъ кардиналамъ, большею частью поздравительныхъ; узналъ хорошо улицу Корсо, по которой ходиль прогуливаться съ аббатомъ, да виллу Боргезе, да двъ-три лавки, передъ которыми останавливался аббатъ для закупки бумаги, перьевъ и июхательнаго табаку, да антеку, гдъ браль онъ свое olio di ricino. Въ этомъ заключался весь горизонтъ свъявній воспитанника. О другихъ земляхъ и государствахъ аббатъ намекнулъ въ какихъ-то пеясныхъ и нетвердыхъ чертахъ: что есть земля Франція, богатая земля, что Англичане хорошіе купцы и любять ъздить, что Нъмцы пьяницы и что на съверъ есть варварская земля Московія, гдѣ бывають такіе жестокіс морозы, отъкоторыхъ можеть лоннуть мозгъ человъческій. Далье сихъ свъдыній восинтанникъ, въроятно бы, не узналъ, достигнувъ до двадцати - иятилътняго своего возраста, еслибъ старому князю не пришла вдругъ въ-голову идея неремѣпить старую методу воспитанья и дать сыну образовање Европейское; что можно было отчасти приписать вліянію какой-то Французской дамы, на которую онъ съ недавняго времени сталъ наводить безпрестаппо лорнетъ на всъхъ театрахъ и гуляньяхъ, засовывая номинутно свой подбородокъ въ огромный бълый жабо и поправляя черный локонъ на парикъ. Молодой киязь быль отправлень въ Лукку, въ университетъ. Тамъ, во время шестилътняго его пребыванья, развернулась его живая Италіянская природа, дремавшая подъ скучнымъ надзоромъ аббата. Въ юношъ оказалась душа, жадная наслажденій избранныхъ, и наблюдательный умъ. Италіянскій университеть, гді наука влачилась, скрытая въ чорствыхъ схоластическихъ формахъ, не удовлетворялъ новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшіе черезъ Альны. Французское вліяніе становилось замътно въ верхней Итали: оно запосилось туда вмъстъ съ модами, виньетками, водевилями и напряженными произведеніями необузданной Французской музы, чудовищиой, горячей, по мъстами не безъ признаковъ таланта. Спльное политическое движение въ жур-

налахъ съ іюльской революціи отозвалось и здёсь. Мечтали о возвращенін погибіней Италіянской славы, съ негодованіемъ глядѣли на ненавистный бълый мундиръ Австрійскаго солдата. Но Италіянская природа, любительница покойныхъ наслажденій, не вспыхнула возстаніемъ, падъ которымъ не позадумался бы Французъ; все окончилось только непреодолимымъ желапьемъ побывать въ за-Альнійской, въ настоящей Европъ. Въчное ся движеніе и блескъ заманчиво мелькали вдали. Тамъ была новость, противуположность ветхости Италіянскої; тамъ начиналось XIX стольтіе, Европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого килзя, чая приключеній и свъта, и всякій разъ тяжелое чувство грусти его осъняло, когда онъ видълъ совершенную къ тому невозможность: ему былъ извъстенъ непреклонный деспотизмъ стараго князя, съ которымъ было ему не подъ силу ладить; какъ вдругъ получилъ опъ отъ него письмо, въ которомъ предписано было ему ъхать въ Парижъ, окончить ученье въ тамоннемъ университетъ и дождаться въ Луккт только прітзда дяди, съ темъ, чтобы отправиться съ нимъ вмъстъ. Молодой киязь прыгнуль отъ радости, перецъловалъ всъхъ своихъ друзей, угостиль всёхъ въ загородной остеріи и черезъ двъ педъли быль уже въ дорогъ, съ сердцемъ, готовымъ встрътить радостнымъ біеньемъ всякій предметъ. Когда перетхали Симплонъ, пріятная мысль пробъжала въ головъ его: опъ на другой сторонъ, онъ въ Европъ! Дикое безобразіе Швейцарскихъ горъ, громоздившихся безъ перспективы, безъ легкихъ далей, ивсколько ужаснуло его взоръ, пріученный къвысоко-спокойной, пъжащей красотъ Италіянской природы. Но онъ просвътлълъ вдругъ при видъ Европейскихъ городовъ, великолънныхъ, свътлыхъ гостиницъ, удобствъ. разставленных всякому путешественнику, располагающемуся, какъ дома. Щеголеватая чистота, блескъ — все было ему пово. Въ Пъмецкихъ городахъ ивсколько поразилъ его странный складъ твла Нъмцевъ, лишенный стройнаго согласія красоты, чувство которой зарождено уже въ груди Италіянца; Итмецкій языкъ также поразилъ непріятно его музыкальное ухо. Но передъ нимъ была уже Французская граница; сердце его дрогнуло. Порхающіе звуки Европейскаго моднаго языка, лаская, облобызали слухъ его. Онъ съ тайнымъ удовольствіемъ ловилъ скользящій шелестъ ихъ, который

еще въ Италіп казался ему чёмъ-то возвышеннымъ, очищеннымъ отъ всёхъ судорожныхъ движеній, какими сопровождаются сильные языки полуденныхъ народовъ, неумѣющихъ держать себя въ границахъ. Еще большее впечатлъніе произвель на пего особый родъ женщинъ, легкихъ, порхающихъ. Его поразило это улетучившееся существо, съ едва вызначавшимися легкими формами. съ маленькой ножкой, съ тоненькимъ воздушнымъ станомъ, съ отвътнымъ огнемъ во взорахъ и легкими, почти невыговаривающимися ръчами. Онъ ждалъ съ нетерпъніемъ Парижа, населяль его башиями, дворцами, составиль себъ по-своему образь его и съ сердечнымъ трепетомъ увидълъ наконецъ близкіе признаки столицы: паклеенныя афиши, исполинскія буквы, умножавшіеся дилижансы, омнибусы.... наконецъ понеслись домы предмъстья. И вотъ онъ въ Парижъ, безсвязио обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движениемъ, блескомъ улицъ, безпорядкомъ крышъ. гущиной трубъ, безархитектурными, сплоченными массами домовъ, облитенных тисной лоскутностью магазиновь, безобразьемь нагихъ, неприслоненныхъ боковыхъ стънъ, безчисленной смъщанной толной золотыхъ буквъ, которыя лѣзли на стѣны, на окна, на крыши и даже на трубы, свътлой прозрачностью нижнихъ этажей, состоявшихъ только изъ однихъ зеркальныхъ стеколъ. Вотъ онъ, Парижъ, это въчное, волнующееся жерло, водометъ, мечущій искры новостей, просвъщенья, модъ, изысканнаго вкуса и мелкихъ, но сильныхъ законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и сами порицатели ихъ, великая выставка всего, что производитъ мастерство, художество и всякій таланть, скрытый въ невидныхъ углахъ Европы, трепеть и любимая мечта двадцати-льтияго человыка, размънъ и ярмарка Европы! Какъ ошеломленный, не въ силахъ собрать себя, пошель онъ по улицамъ, пересынавшимся всякимъ народомъ, исчерченнымъ путями движущихся оминбусовъ, поражаясь то впдомъ кафе, блиставшаго неслыханнымъ царскимъ убранствомъ, то знаменитыми крытыми переходами, гдф оглушаль его глухой шумъ нъсколькихъ тысячъ стучавшихъ шаговъ сплошно двигавшейся толны, которая вся почти состояла изъ молодыхъ людей, и гдф осл'виляль его тренещущій блескъ магазиновь, озаряємыхь свізтомъ, надавнимъ сквозь стекляный потолокъ въ галлерею; то

останавливаясь передъ афинами, которыя милліонами пестрѣли и толнились въ глаза, крича о двадцати-четырехъ ежедневныхъ представленіяхъ и безчисленномъ множествѣ всякихъ музыкальныхъ концертовъ; то растерявшись, наконецъ, совсѣмъ, когда вся эта волшебная куча всныхнула ввечеру при волшебномъ освѣщенін газа, всѣ домы вдругъ стали прозрачными, сильно засіявши снизу, — окна и стекла въ магазинахъ, казалось, исчезли, пронали вовсе, и все, что лежало внутри ихъ, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь въ углубленьи зеркалами. »Ма quest'è una cosa divina!« повторялъ живой Италіянецъ.

II жизнь его потекла живо, какъ течетъ жизнь многихъ Иарижанъ и толны молодыхъ иностранцевъ, набзжающихъ въ Парижъ. Въ девять часовъ утра, вскочивши съ постели, онъ уже быль въ великольномъ кафе, съ модными фресками за стекломъ, съ нотолкомъ, облитымъ золотомъ, съ листами длинныхъ журналовъ и газетъ, съ благороднымъ приспъшникомъ, проходившимъ мимо поситителей, держа великольный серебряный кофейникъ въ рукъ. Тамъ инлъ онъ съ сибаритскимъ наслажденьемъ свой жирный кофе изъ громадной чашки, ижжась на эластическомъ, упругомъ диванъ и вспомпная о низенькихъ, темныхъ Италіянскихъ кафе, съ неопрятнымъ боттегой, несущимъ невымытые стеклянные стаканы. Потомъ принимался опъ за чтеніе колосеальныхъ журцальныхъ листовъ и вспомнилъ о чахоточныхъ журналишкахъ Италін, о какомъ-нибудь Diario di Roma, il Pirato и тому подобныхъ, гдъ помъщались невинныя политическія извістія и апекдоты чуть не о Термопилахъ и Пердсидскомъ царъ Даріи. Тутъ, напротивъ, вездъ видно было кипъвшее перо. Вопросы на вопросы; возраженья на возраженья; казалось, всякій изъ всёхъ силь топорщился: тотъ грозилъ близкой перемьной вещей и предвъщаль разрушевье государству; всякое чуть замётное движенье и действіе камеръ и министерства разросталось въ движенье огромнаго размаха между упорными нартіями и почти отчаяннымъ крикомъ слышалось въ журналахъ. Даже страхъ чувствовалъ Италіянецъ, читая ихъ и думая, что завтра же всныхнетъ революція; какъбудто въ чаду, выходилъ изълитературнаго кабинета, и только одинъ Парижъ съ своими улицами могъ вывътрить въ одну минуту изъ головы весь этотъ грузъ. Его порхающій по всему блескъ и нестрое движенье, послъ этого тяжелаго чтенія, казались чъмъ-то похожимъ на легкіе цвътки, взбъжавшіе по оврагу пронасти. Въ одинъ мигъ онъ переселялся весь на улицу и едълался, подобно всёмь, зёвакою во всёхь отношенияхь. Онь зёваль предъ свътлыми, легкими продзвицими, только-что вступившими въ свою весну, которыми били наполнены всф Нарижскіе магазины какь - будтобы суровая наружность мущины была неприлична, и мелькала бы темпымъ нятномъ наъ-за цъльныхъ стеколь. Онъ глядаль, кака заманчиво щегольскія тонкія руки, вымытыя всякими мылами, блистая заверачивали бумажки конфекть, межъ тъмъ какъ глаза свътло и пристально вперались на проходящихъ; какъ рисовалась въ другомъ мъсть свътловолосая головка въ картинномъ склонъ, опустивни длинимя ръсницы въ страницы моднаго романа, не видя, что около нея собралась уже куча молодежи, разематривающая и ея легкую сибжную шейку, и всякій волосокъ на головъ ся, подслушивающая самос колебаніе груди, произведенное чтеніемъ. Онъ зѣвалъ и передъ книжной лавкой, гдь, какъ науки, темивли на слоновой бумагь черныя виньетки, набросанныя размашието, сгоряча, такъ что иногда и разобрать нельзя было, что на нихъ такое, и глядъли јероглифами страниыя буквы. Онъ зъваль и передъ машиной, которая одна занимала весь магазинъ и ходила за зеркальнымъ стекломъ, катая огромный валь, растирающій шеколадь. Онь заваль передь лавками, гдв останавливаются по цвлымъ часамъ Паримскіе крокодилы, засунувъ руки въ нарманы и разинувъ ротъ, гдъ красивлъ въ зелени огромный морской ракъ, воздималась набитая трюфелими нидъйка, съ лаконическою надписью: 300 fr., и мелькали золотистымъ перомъ и хвостами желтыя и красныя рыбы въ стеклянныхъ вазахъ. Онъ зъвалъ и на широкилъ булеварахъ, царственно проходящихъ понерегъ весь тъсный Парижъ, гдъ, среди города, стояли деревья въ ростъ шести-этажныхъ домовъ, гдв на асфальтовые тротуары валила набадная толиа и куча доморощенныхъ Парижекихъ львовъ и тигровъ, не всегда върно изображаемыхъ въ повъстяхъ. И назъвавшись вдоволь и до-сыта, вабирался онъ къ ресторану, гдф уже давно сіяли газомъ зеркальныя стфиы,

отражая въ себъ безчисленныя толны дамъ и мущинъ, шумъвшихъ ръчами за маленькими столиками, разбросанными по залъ. Посль объда уже онъ уже спъшиль въ театръ, недоумъвая только, который выбрать: на каждомъ изъ инхъ своя знаменитость, на каждомъ свой авторъ, свой актеръ. Вездѣ новость. Тамъ блещетъ водевиль, живой, вътреный, какъ самъ Французъ, новый всякій день, создавшійся весь въ три минуты досуга, смішившій весь отъ начала до конца, благодаря неистощимымъ капризамъ веселости актера; тамъ горячая драма. И онъ невольно сравнилъ сухую, тощую драматическую сцену Италіи, гдѣ новторялись одинъ и тотъ же старикъ Гольдони, знаемый всёми напаустъ, или же новыя комедійки, невпиныя и наивныя до того, что ребенокъ бы соскучился надъ ними; онъ сравнилъ ихъ тощую группу съ этимъ живымъ торонливымъ драматическимъ наводненіемъ, гдѣ все ковалось, пока было горячо, гдф всякій боялся только, чтобы не простыла его повость. Насмъявшись досыта, наволновавнись, наглядъвшись, утомленный, подавленный впечатльніями, возвращался онъ домой и бросался въ постель, которая, какъ извъстно, одна только пужна Фрунцузу въ его комнатъ: кабинетомъ, объдомъ и вечернимъ освъщениемъ онъ пользуется въ публичныхъ мъстахъ. Но киязь, однакоже, не позабылъ съ этимъ разнообразнымъ зъваньемъ соединить занятій ума, которыхъ требовала нетериъливо душа его. Онъ принялся слушать всёхъ знаменитыхъ профессоровъ. Живая річь, часто восторженная, новыя точки и стороны, подмъченныя ръчивымъ профессоромъ, были неожиданны для молодого Италіянца. Онъ чувствоваль, какъ стала спадать съ глазъ его нелена, какъ въ другомъ, яркомъ видъ возставали нередъ нимъ прежде пезамъченные предметы, и самый пріобрътенный имъ хламъ кое-какихъ знаній, которыя обыкновенно погибають у большей части людей безъ всякихъ примънений, пробуждался, и оглянутый другимъ глазомъ, утверждался навсегда въ его памяти. Онъ не пропустиль также услышать ни одного знаменитаго проповъдника, публициста, оратора, камерныхъ преній и всего, чёмъ шумно гремить въ Европф Парижъ. Не смотря на то, что не всегда доставало ему средствъ, что старый киязь присылаль ему содержанье, какъ студенту, а не какъ князю, онъ успълъ, однакоже, пайти случай побывать вездъ, найти доступъ ко всёмь знаменитостямь, о которыхь трубять, повторяя другь друга, Европейскіе листки; даже увидаль въ лицо тэхъ модныхъ писателей, которыхъ странными созданьями была поражена, наряду съ другими, его пылкая, молодая душа и въ которыхъ всёмъ мнилось слышать еще небранныя дотол'в струны, неуловимые досель изгибы страстей. Словомъ, жизнь Италіянца приняла широкій, многосторонній образь, обцялась всёмъ громаднымъ блескомъ Европейской дъятельности. Разомъ, въ одинъ и тотъ же день беззаботное зъванье и тревожное пробужденье, легкая работа глазъ и напряженная ума, водевиль на театрт, проповтдникъ въ церкви, нолитическій вихрь журналовъ и камеръ, рукоплесканье въ аудиторіяхъ, потрясающій громъ консерваторнаго оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотия уличной жизни — какая исполниская жизнь для двадцати-ияти-лётняго юноши! Нётъ лучшаго мьста, какъ Нарижъ; ин за что не промънялъ бы онъ такой жизни. Какъ весело и любо жить въ самомъ сердит Евроны, гдв идя подымаешься выше, чувствуешь, что членъ великаго всемірнаго общества. Въ головъ его даже вертълась мысль отказаться вовсе отъ Италіп и основаться навсегда въ Нарижъ. Италя казалась ему тенерь какимъ-то темпымъ, заплесневълымъ угломъ Европы, гдъ заглохла жизнь и всякое движенье.

Такъ пропеслись четыре пламенные года его жизии, четыре года, слишкомъ значительные для юноши, и, къ концу ихъ, уже многое ноказалось не въ томъ видѣ, какъ было прежде. Во многомъ онъ разочаровался. Тотъ же Нарижъ, вѣчно влекущій къ себѣ иностранцевъ, вѣчная страсть Парижанъ, уже показался ему много, много не тѣмъ, чѣмъ былъ прежде. Онъ видѣлъ, какъ вся эта многосторонность и дѣятельность его жизии исчезла безъ выводовъ и илодоносныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движени вѣчнаго его кипѣнья и дѣятельности видѣласъ теперь ему страшная недѣятельность. Страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Онъ видѣлъ, какъ всякій Французъ, казалось, только работалъ въ одной разгоряченной головъ; какъ это журнальное чтеніе огромныхъ листовъ поглощало весь день и не оставляло часа для жизии практической; какъ всякій Французъ воспитывался этимъ страннымъ вихремъ

книжной, типографски-движущейся политики и, еще чуждый сословія, къ которому принадлежаль, еще не узнавъ на дѣлѣ всѣхъ правъ и отношеній своихъ, уже приставаль къ той или другой партіи, горячо и жарко принимая къ сердцу всѣ интересы, становясь свирѣпо противъ своихъ противниковъ, еще не зная въ глаза ни интересовъ своихъ, ни противниковъ.... и слово политика опротивѣло наконецъ сильно Италіянцу.

Въ движенън торговли, ума, вездъ, во всемъ видълъ опъ только напряженное усиліе и стремленіе къ новости. Одинъ силился предъ другимъ, во что бы то ин стало, взять верхъ, хотя бы на одну минуту. Купецъ весь капиталъ свой употребляль на одну только уборку магазина, чтобы блескомъ и великолъпіемъ его заманить къ есбъ толку. Книжная литература прибъгала къ картинкамъ и тинографической роскоши, чтобъ ими привлечь къ себъ охлаждающееся винмание. Странностью неслыханныхъ страстей, уродливостью исключеній изъ человічестьй природы силились повъсти и романы овладъть читателемь. Есе, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось сауо безь зазыва, какъ непотребная женщина, что ловитъ чело бла ночью на улицъ; все одно передъ другимъ вытиги до вельне свою руку, какъ обступившая толна надобдилли в ветрева би самой науки, въ ся одушевленныхъ дожий ть, воторых в достоинство не могъ не признать отъ, теперь "130 чау алебине возді желанье выказаться, хвастнуть, выставить себя: везді блестиціе эпизоды, и ивть торжественнаго, величаваго теченія всего цілаго. Везді усилія поднять доселі незаміченные факты и дать имъ огромное вліяніе, иногда въ ущербъ гармонін цілаго, съ тімь только, чтобы оставить за собой честь открытія; наконецъ, везді почти дерзкая увіренность, и нигді смиреннаго сознанія собственнаго невідійнія, — и онъ привель себв на намять стихь, которымъ Италіянецъ Алфіери, въ вдкомъ расноложеные своего духа, копреклужь Французовъ:

> Tutto fanno, nulla sanno, Tutto sanno, nulla fanno: Gira volta son Francesi, Piu gli pesi, men ti danno.

Тоскливое расположение духа имъ овладъло. Напрасно старалея онъ развлекать себя, старала и сойгась съ модъми, которыхъ ува-

жаль; но не сошлась Италіянская природа съ Французскимь элементомъ. Дружба завязывалась быстро, но уже въ одинъ день Французъ выказываль себя всего до последней черты: на другой день нечего было и узнавать въ немъ, далбе извъстной глубины уже пельзя было погрузить вопроса въ его душу, не вонзалось далъе остріе мысли; а чувства Италіянца были слишкомъ сильны, чтобы встрътить себъ полный отвътъ въ легкой природъ. И нашель онь какую-то страниую пустоту даже въ сердцахъ тѣхъ, которымъ не могъ отказать въ уваженьи. И увидълъ онъ наконецъ, что при всъхъ своихъ блестящихъ чертахъ, при благородныхъ порывахъ, при рыцарскихъ вснышкахъ, вся нація была что-то бледиое, несовершенное, легкій водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Вездъ намеки на мысли, и нътъ самихъ мыслей; вездъ полустрасти, и нътъ страстей; все неокончено, все наметано, набросано съ быстрой рукц; вся нація — блестящая виньетка, а не картина великаго мастера.

Нашедшая ли внезанно на него хандра дала ему возможность увидать все въ такомъ видъ, или внутрениее върное и свъжее чувство Италіянца было тому причиною, то или другое, только Парижъ, со ветмъ своимъ блескомъ и шумомъ, скоро сдълался для него тягостной пустыней, и онъ невольно выбираль глухіе отдаленные концы его. Только въ одну еще Итальянскую оперу заходиль онь, тамъ только какъ-будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь выростали предъ нимъ во всемъ могуществъ н полнотъ. И стала представляться ему чаще забытая имъ Италія, вдали, въ какомъ-то манящемъ свътъ; съ накдымъ днемъ зазывы ея становились слышиве, и онъ рвшился наконецъ инсать къ отцу, чтобы позволиль ему возвратиться въ Римъ, что въ Нарижъ оставаться болбе опъ не видить для себя нужды. Два мъсяца не получаль онъ никакого отвъта, ни даже обычныхъ векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидаль опъ теривливо, зная капризный характеръ своего отца, наконецъ начало овладъвать имъ безпокойство. Иъсколько разъ на недълъ навъдывался къ своему банкиру, и всегда получалъ одинъ и тотъ же отвёть, что изъ Рима итть никакихъ извёстій. Отчаяніе готово было всныхнуть въ душт его. Средства содержанія уже давно у

него вст прекратились, уже давно сдтлаль онъ у банкира заемъ, но и эти деньги давно вышли, давно уже онъ объдаль, завтракаль и жилъ кое-какъ въ долгъ; косо и непріятно начинали посматривать на него — и хоть бы отъ кого-нибудь изъ друзей какое-нибудь извъстіе. Тутъ-то онъ сильно почувствоваль свое одиночество. Въ безпокойномъ ожидании, бродилъ онъ въ этомъ надофвинемъ на-смерть городь. Лътомъ онъ былъ для него еще невыносимъе: вет натадныя толны разлеттлись по минеральнымъ водамъ, но . Европейскимъ гостиницамъ и дорогамъ. Призракъ пустоты видълся на всемъ. Домы и улицы Парижа были неспосны; сады его томились сокрушительно между домовъ, налимыхъ солицемъ. Какъ убитый, останавливался онъ надъ Сеной, на грузномъ, тяжеломъ мосту, на ея душной набережной, напрасно стараясь чъмъ-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядъться: тоска необъятная жрала его, и безъимянный червь точилъ его сердце. Наконецъ судьба надъ нимъ умилосердилась — и въ одинъ день банкиръ вручилъ ему письмо. Оно было отъ дяди, который извъщалъ его, что старый князь уже не существуетъ, что онъ можетъ прівхать распорядиться наследствомь, которое требуеть его личнаго присутствія, потому что разстроено спльно. Въ письм'є быль тощій билеть, едва доставшій на дорогу и на расплату четвертой доли долговъ. Молодой киязь не хотёлъ медлить минуты, уговорилъ кое-какъ банкира отерочить долгъ и взялъ мъсто въ курьерской кареть. Казалось, страшная тягость свалилась съ души его, когда скрылся изъ вида Парижъ и дохнуло на него свѣжимъ воздухомъ полей. Въ двое сутокъ онъ уже былъ въ Марселъ, не хотъль отдохнуть часу, и въ тотъ же вечеръ пересъль на пароходъ. Средиземное море показалось ему роднымъ: оно омывало берега его отчизны, и онъ посвъжъль уже, только глядя на одиъ безконечныя его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее ири видѣ перваго Италіянскаго города, — это была великольппая Генуя. Въ двойной красотъ вознеслись падъ инмъ ея нестрыя колокольни, полосатыя церкви изъ бълаго и чернаго мрамора и весь многобашенный амфитеатръ ея, вдругъ обнесшій его со всёхъ сторонъ, когда пароходъ пришелъ къ пристани. Никогда не видалъ онъ Генуи. Эта играющая пестрота домовъ, церквей и дворцовъ

на тонкомъ небесномъ воздухъ, блиставшемъ непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берегъ, онъ очутился вдругъ въ этихъ темныхъ, чудныхъ узенькихъ, мощенныхъ плитами улицахъ, съ одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта тъснота между домами высокими, огромными. отсутствіе экинажнаго стуку, треугольныя маленькія площадки и между ними, какъ тъсные корридоры, изгибающіяся линіи улиць, наполненныхъ лавочками Генуезскихъ серебрянниковъ и золотыхъ мастеровъ. Живописныя кружевныя покрывала женщинъ, чуть волнуемыя теплымъ шпрокко; ихъ твердыя походки, звонкій говоръ въ улицахъ, отворенныя двери церквей, кадильный запахъ, несшій оттуда, — все это дунуло на него чёмъ-то далекимъ, минувшимъ. Онъ вспомиилъ, что уже много лътъ не быль въ церкви. потерявшей свое чистое, высокое значене въ тъхъ умныхъ земляхъ Европы, где онъ быль. Тихо вошель онъ и сталъ въ молчаніи на кольна у великольниму мраморных колони, и долго молился, самъ не зная за что, -- молился, что его приняла Италія, что сипзошло на него желанье молиться, что празднично было у него на душт, и молитва эта, втрно, была лучшая. Словомъ, какъ прекрасную станцію, унесъ онъ за собою Геную: въ ней приняль онъ нервый поцёлуй Италіп. Съ такимъ же яснымъ чувствомъ увидъль онъ Ливорио, пустъющую Инзу, Флоренцію, слабо знаемую имъ прежде. Виличаво глянулъ на него тяжелый, граненый куполъ ея собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величіе небольшого городка. Потомъ понесся чрезъ Аппенины, сопровождаемый тёмъ же свётлымъ расположениемъ духа, и когда наконецъ послѣ шести-дневной дороги, показалея, въ ясной дали, на чистомъ небъ, чудесно круглившійся куполь... о, сколько чувствъ тогда столнилось разомъ въ его груди! Онъ не умѣлъ и не могь передать ихъ; онъ оглядываль всякій холмикъ и отлогость. И вотъ уже наконецъ Ponte Molle, городскія ворота, и вотъ обияла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянулъ Monte Pincio съ террасами, лъстинцами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушкахъ. Боже! какъ забилось его сердце! Ветуринъ понесся по улицъ Корсо, гдъ когда-то ходилъ онъ съ аббатомъ, невишный, простодушный, знавшій только, что

Латинскій языкъ есть отецъ Италіянскаго. Вотъ предстали предъ нимъ опять всё домы, которые онъ зналъ наизустъ: Pallazo Ruspoli съ своимъ огромнымъ кафе, Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria, наконецъ поворотилъ онъ въ переулки, такъ бранимые иностранцами, некипящіе переулки, гдъ изръдка только попадалась лавка брадобрея съ нарисованными лиліями падъ дверьми, да лавка шляпочника, высунувшаго изъ дверей долгополую кардинальскую шляну, да лавчонка плетеныхъ стульевъ, дълавинхся тутъ же на улицъ. Наконецъ карета остановилась предъ величавымъ дворцомъ Брамантовскаго стиля. Никого не было въ нагихъ, неубранныхъ стияхъ. На лъстинцъ встрътилъ его дряхлый maestro di casa, потому что швейнаръ съ своей булавой ушоль, но обыкновенью, въ кафе, гдъ проводиль все время. Старикъ побъжалъ отворять ставни и освъщать мало-помалу странныя, величественныя залы. Грустное чувство овладбло княземъ, чувство, нонятное всякому прівзжающему, нослі піскольких літь отсутствія, домой, когда все, что ин было, кажется еще старъ, еще пустве и когда тягостно говорить всякій предметь, знаемый въ дътствъ, и чъмъ веселъе были съ нимъ сопряженные случая, тъмъ сокрушительнъй грусть, насылаемая имъ на сердце. Онта прошель длинный рядь заль, оглянуль кабинеть и спально, гда още не такъ давно старый владътель дворца засываль въ кровати, подъ балдахиномъ съ кистями и гербемт, и почомъ выходиль въ шлафрокъ и туфляхъ въ кабинетъ вичить стаканъ ослинаго молока, съ намъреніемъ понет тик, -- укорьую, гдъ онъ наряжался съ утонченнымъ стараниемъ с прей кокетки и откуда отправлялся потомъ въ коляскъ съ своими лакеями на гулянье въ виллу Боргезе, лориировать постоянно какую-то Англичанку, пріважавшую туда также прогуливаться. На столахъ и въ ящикахъ видны были еще остатки румянъ, бълилъ и всякихъ притираній, которыми молодилъ себя старикъ. Maestro di casa объявилъ, что уже за двъ недъли до емерти опъ принялъ было твердое намърение жениться и едълалъ нарочно консультацію съ ипостранными докторами, какъ поддержать con onore i doveri di marito, но что въ одниъ день, сдълавни два, или три визита кардиналамъ и какому-то пріору, онъ возвратился усталый домой, сёлъ въ кресла и умеръ смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блажените, если бы онъ, по словамъ maestro di casa, догадался послать за двѣ минуты прежде за своимъ духовникомъ il padre Benvenuto. Все это слушалъ молодой князь разсъянно, не принадлежа мыслыю ни къ чему. Отдохнувши отъ дороги и отъ странныхъ впечатлѣній, онъ запялся своими дълами. Его поразилъ страшный безнорядокъ ихъ. Все, отъ малаго до большого, было въ безтолковомъ, запутанномъ видв. Четыре безкопечныя тяжбы за обвалившіеся дворцы и земли въ Ферраръ и Неаполъ, совершенно опустошенные доходы за три года впередъ, долги и нищенскій недостатокъ среди великольнія воть что представилось глазамъ его. Старый князь быль ненонятное соединение скупости и пышности. Онъ держалъ огромную ирислугу, которая не получала пикакой платы, инчего, кромѣ ливреп, и довольствовалась подаяніями иностранцевъ, приходившихъ смотръть галлерею. При князъ были егери, оффиціанты, лакеи, которые вздили у него за коляской, лакен, которые никуда не взлили и просиживали по цёлымъ днямъ въ ближнемъ кафе, или остеріи, болтая всякій вздоръ. Онъ распустиль тотъ же часъ всю эту сволочь, всёхъ сгерей и охотниковъ, и оставилъ одного только старика maestro di casa; уничтожилъ почти вовсе конюшню, продавъ никогда неупотреблявшихся лошадей; призвалъ адвокатовъ и распорядился съ своими тяжбами, по крайней мъръ такъ, что изъ четырехъ составилъ двъ, бросивъ остальныя, какъ вовсе безполезныя; рѣшился ограничить себя во всемъ и вести жизнь со всею строгостью экономін. Это было ему не трудно сдёлать, нотому что уже заблаговременно онъ привыкъ ограничивать себя. Ему не трудно было также отказаться отъ всякаго сообщества съ своимъ сословіемъ, которое, впрочемъ, все состояло изъ двухътрехъ доживавшихъ фамилій — общества, воспитаннаго кое-какъ отголосками Французскаго образованія, да богача-банкира, собиравичаго около себя кругъ иностранцевъ, да неприступныхъ кардиналовъ, людей необщительныхъ, черствыхъ, уединенно проводившихъ время за карточной игрой въ tresette (родъ дурачка) съ своимъ камердинеромъ или брадобреемъ. Словомъ, опъ уединился совершенно, принялся разсматривать Римъ и сдёлался въ этомъ отношенін подобенъ ипостранцу, который сначала бываетъ пора-

женъ мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами и съ недоумбиьемъ вопрошаетъ, попадая изъ переулка въ переулокъ: »Гдъ же огромный древий Римъ?« и потомъ уже узнаетъ его, когда мало-номалу изъ тъсныхъ переулковъ начинаеть выдвигаться древній Римъ, гдѣ темной аркой, гдѣ мраморнымъ карипзомъ, вдёланнымъ въ стену, где порфировой потемивышей колонной, гдв фронтономъ посреди вонючаго рыбнаго рынка, гді цілымъ портикомъ передъ нестаринною церковью, п наконець далеко, тамъ, гдъ оканчивается вовсе живущій городъ, громадно воздымается опъ среди тысящельтнихъ илющей, алоэ и открытыхъ равнинъ, необъятнымъ Колизеемъ, тріумфальными арками, останками необозримыхъ цезарскихъ дворцовъ, императорскими банями, храмами, гробинцами, разнесенными по полямъ, и уже не видитъ иноземецъ нынѣшнихъ тъсныхъ его улицъ и переулковъ, весь объятый древнимъ міромъ: въ памяти его возстаютъ колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толны поражается ухо....

Но не такъ, какъ пностранецъ, преданный одному Титу Ливію и Тациту, бъгущий мимо всего, къ одной только древности, желавшій бы въ порывѣ благороднаго педантизма срыть весь новый городъ, — нътъ, онъ находилъ все равно прекраснымъ: міръ древній шевелился изъ-подъ темнаго архитрава, могучій средній вѣкъ, ноложивший вездъ слъды художниковъ-исполиновъ и великольпной щедрости напъ, и, наконецъ, прилѣнившійся къ нимъ новый вѣкъ, съ толнящимся новымъ народонаселениемъ. Ему нравилось это чудное ихъ сліяніе въ одно, эти признаки людной столицы и пустыни вмѣстѣ: дворецъ, колонны, трава, дикіе кусты, бѣгущіе по стънамъ, трепещущій рынокъ среди темныхъ, молчаливыхъ, заслоненныхъ снизу громадъ, живой крикъ рыбнаго продавца у портика, лимонадчикъ съ воздушной, украшенной зеленью лавчонкой нередъ Пантеономъ. Ему правилась самая невзрачность улицъ, темныхъ, неприбранныхъ, отсутствіе желтыхъ и свътленькихъ красокъ на домахъ, идилля среди города: отдыхавшее стадо козловъ на уличной мостовой, крики ребятишекъ и какое-то невидимое присутствие на всемъ ясной торжественной тишины, обнимающей человъка. Ему нравились эти безпрерывныя внезапности, нежданности, поражающія въ Римъ. Какъ охотникъ, выходящій съ утра на ловлю, какъ старинный рыцарь, искатель приключеній, опъ отправлялся отыскивать всякій день новыхъ и новыхъ чудесъ, и останавливался цевольно, когда вдругъ среди ничтожнаго переулка возносился предъ нимъ дворецъ, дышавшій строгимъ сумрачнымъ величіемь. Изъ темнаго травертина были сложены его тяжелыя, несокрушимыя стъны, вершину вънчалъ великолтино набранный колоссальный карнизъ, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядёли величаво, обремененныя роскошнымъ архитектурнымъ убранствомъ; или какъ вдругъ нежданио, вмъстъ съ небольшой площадью, выглядываль картинный фонтанъ, обрызгивавшій себя самого и свои обезображенныя мхомъ гранитныя ступени; какъ темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декораціей Бернини, или летящимъ кверху обелискомъ, или церковью и монастырской стѣною, вепыхивавшими блескомъ солнца на темполазурномъ небъ, съ черными, какъ уголь, кипарисами. И чемъ далее въ глубь уходили улицы, темъ чаще росли дворцы и архитектурныя созданья Браманта, Барромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонароти... и поняль онъ накоконецъ ясно, что только здёсь, только въ Италін, слышно присутствіе архитектуры и строгое ея величіе, какъ художества. Еще выше было духовное его наслаждение, когда онъ переносился во внутренность церквей и дворцовъ, гдъ арки, илоскіе столиы и круглыя колонны изъ вскую возможных в сортовъ мрамора, перемышанные съ бальзатовыми, лазурными карнизами, порфиромъ, золотомъ и античными камиями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше ихъ встхъ вознеслось безсмертное созданіе кисти: Они были высоко прекрасны, эти обдуманныя убрацства залъ, полныя царскаго величія и архитектурной роскоши, вездъ умъвшей почтительно преклониться предъ живописью въ этотъ илодотворный въкъ, когда художникъ бывалъ и архитекторъ, и живописець, и даже скульпторъ вмъсть. Могучія созданія кисти, уже неповторяющейся нынь, возносились сумрачно предъ нимъ на потемнъвшихъ стъпахъ, всё еще непостижимыя и недоступныя для подражанія. Входя и погружаясь болье и болье въ созерцаніе ихъ, онъ чувствовалъ, какъ развивался видимо его вкусъ, залогъ

котораго уже хранился въ душъ его. И какъ предъ этой величественной прекрасной роскошью показалась ему теперы инзкою роскошь XIX стольтія, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенія магазиновъ, выведшая на поле д'ятельности золотильщиковъ, мебельщиковъ, обойщиковъ, столяровъ и кучи мастеровыхъ, и лишивная міръ Рафаэлей, Тиціановъ, Микель-Анжеловъ, низведшая къ ремеслу искусство! Какъ низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взглядь и озпраемая нотомъ равнодушно, передъ этой величавой мыслю-украсить стьны въковъчнымъ создаціемъ кисти, передъ этой прекрасной мыслью владъльца дворца-доставить себъ въчный предметъ наслажденія въ часы отдыха отъ дёлъ и отъ шумнаго жизненнаго дрязга, уединившись тамъ, въ углу, на старинной софѣ, далеко отъ всѣхъ, вперя безмольно взоръ и вмёстё со взоромъ входя глубже душою въ тайны кисти, зръя невидимо въкрасъ душевныхъ помысломъ! Ибо высоко возвышаетъ искусство человъка, придавая благородство и чудную красоту движеньямъ души. Какъ низки казались ему предъ этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человъка предметами, движущими и воспитывающими душу, ныибшиія мелочныя убранства, ломаемыя и выбрасываемыя ежегодно безпокойною модою, страннымъ, непостижимымъ порождениемъ XIX въка, предъ которымъ безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При такихъ разсужденіяхъ, невольно приходило ему на мысль: не отъ того ли этотъ равнодушный хладъ, общимающій нынѣшній въкъ, торговый, низкій разсчеть, ранняя притупленность еще неусиввшихъ развиться и возникнуть чувствъ? Иконы вынесли изъ храма-- н храмъ уже не храмъ: летучія мышп и злые духн обитаютъ въ немъ.

Чёмъ болёе онъ всматривался, тёмъ болёе поражала его эта необыкновенная плодотворность вёка, и онъ невольно воскліцаль: »Когда и какъ успёли они это надёлать?« Эта великолёпная сторона Рима какъ - будтобы росла передъ инмъ ежедневно. Галлерен и галлерен — и конца имъ нётъ: и тамъ, и въ той церкви хранится какое - инбудь чудо кисти; и тамъ, на дряхлёющей стёнё, еще дивитъ готовый исчезнуть фрескъ; и тамъ, на вознесенныхъ

мраморахъ и столпахъ, набранныхъ изъ древнихъ языческихъ храмовъ, блещетъ неувядаемой кистью плафоиъ. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокону. Какъ полно было у него веякій разъ на дунів, когда возвращался онъ домой! какъ было различно это чувстто, объятое спокойной торжественностью тишины, отъ тъхъ тревожныхъ впечатлъцій, которыми беземысленно нанолиялась душа его въ Парижъ, когда онъ возвращался домой усталый, утомленный, ръдко будучи въ силахъ новърить итогъ ихъ!

Теперь ему казалась еще болъе согласною съ этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемийвшая, запачканная паружность, такъ бранимая иностранцами. Ему бы непріятно было выйти послѣ всего этого на модную улицу, съ блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чёмъто развлекающимъ, святотатетвеннымъ. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улицъ, это особенное выражение Римскаго населенія, этотъ призракъ восемнадцатаго въка, еще мелькавшій по улиць то въ видь чернаго аббата съ треугольною шляной, черными чулками и башмаками, то въвидъ старинной пурпурной кардинальской кареты съ позлащенными осями, колесами, карнизами н гербами. Все какъ-то согласовалось съ важностью Рима: этотъ живой, неторопящийся народъ, живописно и покойно расхаживающій по улицамъ, закинувъ полуплащъ, или набросивъ себъ на нлечо куртку, безъ тягостнаго выраженія вълицахъ, которое такъ поражало его на синихъ блузахъ и на всемъ народонаселеньи Парижа: тутъ самая нищета являлась въ такомъ-то свётломъ видё, беззаботная, незнакомая съ терзаніемъ и слезами, безпечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монаховъ, нереходившіе улицы въ длинныхъ, бълыхъ, или черныхъ одеждахъ; нечистый рыжій кануцинъ вдругъ всныхнувний на солицъ свътловерблюжьимъ цвътомъ; наконецъ, это население художниковъ, собравнихся совсёхъ сторонъ свёта, которые бросили здёсь узенькіе лоскуточки одъяній Европейскихъ и явились въ свободныхъ, живописныхъ нарядахъ; ихъ величественныя осанистыя бороды, снятыя съ портретовъ Леопарда да Винчи и Тиціана, такъ непохожія на тъ уродливыя, узкія бородки, которыя Французъ пере-

дълываетъ и стрижетъ себъ по пяти разъ въ мъсяцъ. Тутъ художникъ ночувствовалъ красоту длинныхъ волнующихся волосъ п позволиль имъ разсыпаться кудрями. Тутъ самый Нёмецъ, съ кривизной ногъ своихъ и безперехватностью стана, получилъ значительное выражение, разнеся по плечамъ золотистые свой локоны, дранируясь легкими складками Греческой блузы, или бархатнымъ нарядомъ, извъстнымъ подъ именемъ cinqueconto, которое усвоили себъ только один художники въ Римъ. Слъды строгаго спокойствія и тихаго труда отражались на ихъ лицахъ. Самые разговоры п мнънія, слышимые на улицахъ, въ кафе, въ остеріяхъ, были вовсе противоноложны и не похожи на тѣ, которые слышались ему въ городахъ Европы. Тутъ не было толковъ о понизившихся фондахъ, о камерныхъ преніяхъ, объ Испанскихъ дѣлахъ: тутъ слышались рачи объ открытой недавно древней статув, о достоинствъ кисти великихъ мастеровъ, раздавались споры и разногласія о выставленномъ произведении новаго художника, толки о народныхъ праздинкахъ и, наконецъ, частные разговоры, въ которыхъ разскрывался человъкъ и которые вытъснены изъ Европы скучными общественными толками и политическими мижніями, изгнавшими сердечное выражение съ лицъ.

Часто оставляль онь городь для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другія чудеса. Прекрасны были эти ивмыя, пустынныя Римскія поля, устянныя останками древнихъ храмовъ, съ невыразимымъ спокойствіемъ разстилавніяся вокругъ, гдф иламенфя силошнымъ золотомъ отъ слившихся вмфстф желтыхъ цвътковъ, гдъ блеща жаромъ раздутаго угля отъ пунцовыхъ листовъ дикаго мака. Опъ представляли четыре чудные вида на четыре стороны. Съ одной соединялись опъ прямо съ горизонтомъ одной разкой, ровной чертой; арки водопроводовъ казались етоящими на воздухѣ и какъ-бы наклеенными на блистающемъ серебряномъ небъ. Съ другой — надъ полями сіяли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, какъвъ Тиролъ или Швейцаріи, но согласными плывучими линіями выгибаясь и склоняясь, озаренныя чудною ясностью воздуха, онъ готовы были улетъть въ небо; у подошвы ихъ неслася длинная аркада водопроводовъ, подобно длинному фундаменту, и вершина горъ казалась воздушнымъ продол-

женіемъ чуднаго зданія, и небо падъ ними было уже не серебряное, но невыразимаго цвъта весенней сирени. Съ третьей — эти поля увънчивались тоже горами, которыя уже ближе и выше возносились, выступая сильнъе передними рядами, и легкими уступами уходя въ даль. Въ чудную постепенность цвътовъ облекалъ ихъ тонкій голубой воздухъ; и сквозь это воздушно-голубое ихъ покрывало сіяли чуть прим'єтные домы и виллы Фраскати, гдъ тонко и легко тронутые солнцемъ, гдф уходящіе въ свфтлую мглу нылившихся вдали, чуть приметных рощей. Когда же обращался онъ вдругъ назадъ, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самимъ Римомъ. Сіяли ръзко и ясно углы и линін домовъ, круглость куполовъ, статун Латранскаго Іоанна и величественный кунолъ Петра, вырастающій выше и выше, по мъръ отдаленія отъ него, и властительно остающійся наконенъ однимъ на всемъ полугоризонтъ, когда уже совершенно скрылся весь городъ. Еще лучше любиль онъ оглянуть эти поля съ террасы которой-нибудь изъ виллъ Фраскати, или Альбано, въ часы захожденія солица. Тогда он' казались необозримым в морем в, сіявшимъ и возносившимся изъ темныхъ перилъ террасы; отлогости и линін исчезали въ обнявшемъ ихъ свътъ. Спачала онъ еще казались зеленоватыми, и по нимъ еще видиёлись тамъ и тамъ разбросанныя гробинцы и арки; нотомъ опъ сквозили уже свътлой желтизною въ радужныхъ оттънкахъ свъта, едва выказывая древніе остатки, и наконецъ становились пурпурньй и нурпурньй, поглощая въ себъ и самый безмърный куполъ, и сливаясь въ одинъ густой малиновый цвёть, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отдёляла ихъ отъ нурпурнаго, такъ же, какъ п онъ, горизонта. Ингдъ, никогда ему не случалось видъть, чтобы поле превращалось въ пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимаго восхищенія, стояль онъ предъ такимъ видомъ, и потомъ уже стояль такъ, просто, не восхищаясь, позабывъ все, когда и солице уже скрывалось, потухаль быстро горизонть и еще быстрые потухали въмигъ померкцувшіл поля, вездѣ устанавливалъ свой темный образъ вечеръ, надъ развалинами огинстыми фонтанами подымались свътящіяся мухи, и неуклюжее крылатое насъкомое, несущееся стоймя, какъ человъкъ, извъстное подъименемъ дъявола. ударялось безъ толку ему въ очи. Тогда только онъ чувствовалъ, что наступившій холодъ южцой ночи уже прохватиль его всего, и спъшиль въ городскія улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Такъ протекала жизнь его въ созерцаніяхъ природы, искусствъ и древностей. Среди этой жизни почувствоваль онъ, болье нежели когда-либо, желаніе проникнуть поглубже исторію Италіи, досель ему извъстную эпизодами, отрывками; безъ нея казалось ему неполно настоящее, и онъ жадно принялся за архивы, лътописи и записки. Опъ теперь могъ ихъ читать не такъ, какъ Италіянецъ-домостдъ, входящій и тъломъ, и душою въ читаемыя событія и невидящій изъ-за обступившихъ его лицъ и происшествій всей массы цалаго. Онь теперь могь оглядывать все покойно, какъ изъ Ватиканскаго окна. Пребывание вив Италіп, въ виду шума и движенія дъйствующихъ народовъ и государствъ, служило ему строгою повъркою всъхъ выводовъ, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь онъ еще болье и вмысты съ тымь безпристрастный, быль поражень величіемъ и блескомъ минувшей эпохи Италін. Его изумляло такое быстрое, разнообразное развитие человѣка на такомъ тѣсномъ углу земли, такимъ сильнымъ движеніемъ вейхъ силь. Опъ винйль. какъ здёсь кипель человёкъ, какъ каждый городъ говорилъ своею рвчью, какъ у каждаго города были целые томы исторін; какъ разомъ возинкли здёсь всё образы и виды гражданства и правленій: волнующіяся республики сильныхъ, непокорныхъ характеровъ и полновластные деспоты среди ихъ; цълый городъ царственных купцовъ, опутанный сокровенными правительственными интями, подъ призракомъ единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцевъ; сильные напоры и отпоры въ нъдръ незначительнаго городка; почти сказочный блескъ герцоговъ и монарховъ крохотныхъ земель; меценаты, покровители и гонители; цёлый рядъ великихъ людей, столкнувшихся въ одно и то же время; лира, циркуль, мечъ и налитра; храмы, воздвигающеся среди браней и волненій; вражда, кровавая месть, великодушныя черты и кучи романическихъ происшествій частной жизни среди политическаго, общественнаго вихря и чудная связь между ними

такое изумляющее раскрытіе всёхъ сторонъ жизни нолитической и частной, такое пробужденіе въ столь тёсномъ объемѣ всёхъ элементовъ человѣка, совершавшихся въ другихъ мѣстахъ только частями и на большихъ пространствахъ! И все это исчезло и прошло вдругъ, все застыло, какъ погаснувшая лава, и выброшено даже изъ памяти Евроною, какъ старый, ненужный хламъ. Нигдѣ, даже въ журналахъ, не выказываетъ бѣдная Италія своего развѣнчаннаго чела, лишенная значенія политическаго, а съ нимъ и вліянія на міръ.

»И неужели«, думаль онь, »не воскреснеть никогда ся слава? Неужели нътъ средствъ возвратить минувшій блескъ ся?« II вспомниль онь то время, когда еще въ университеть, въ Луккъ. бредиль онь о возобновленін ся минувшей славы; какь это было любимой мыслыо молодежи; какъ за стаканами добродушно п простосердечно мечтала она о томъ, и увидълъ онъ тенерь, какъ близорука была молодежь и какъ близоруки бываютъ политики, упрекающіе народъ въ безпечности и ліни. Почуяль онь теперь, смутясь, Великій Перстъ, передъ нимъ же повергается въ прахъ нъмвющій человъкъ, — Великій Перстъ, начертывающій свыше всемірныя событія. Онъ вызваль изъ среды ея же гонимаго ея гражданина, бъднаго Генуэзца, который одинъ убилъ свою отчизну, указавъ міру невъдомую землю и другіе, широкіе пути. Раздался всемірный горизонть; огромнымъ размахомъ закинъли движенія Европы; понеслись вокругъ свъта корабли, двинувъ могучія съверныя силы. Осталось пусто Средиземное море; какъ обмелъвшее ръчное русло, обмельла обойденная Италія. Стоптъ Венеція, отразивъ въ Адріатическія волиы свои потухнувшіе дворцы; и разрывающей жалостью проинкается сердце иностранца, когда поникшій гондольеръ влечетъ его подъ пустынными стънами и разрушенными перилами безмолвныхъ, мраморныхъ балконовъ. Онъмъла Феррара, нугая дикой мрачностью своего герцогскаго дворца. Глядятъ пустынно на всемъ пространствъ Италін ся наклонныя башин и архитектурныя чуда, очутясь среди равнодушиаго къ нимъ покольнія. Звоикое эхо раздается въ шумъвшихъ когда-то улицахъ, и бъдный ветуринъ подъезжаетъ къ грязной остеріи, поселившейся въ великолѣпномъ дворцѣ. Въ нищенскомъ вретицѣ очутплась Италія, и пыльными отреньями висять на ней куски ея померкнувшей царственной одежды.

Въ норывъ душевной жалости, готовъ онъ былъ даже лить слезы. Но утышительная, величественная мысль приходила сама къ нему въ душу, и чуяль онъ другимъ, высшимъ чутьемъ, что не умерла Италія, что слышится ея неотразимое вѣчное владычество надъ всёмъ міромъ, что вёчно вёсть надъ нею ся великій геній, уже въ самомъ началь завязавшій въ груди ея судьбу Европы, внесшій кресть въ Европейскіе темные ліса, захватившій гражданскимъ багромъ на дальнемъ краю ихъ дикообразнаго человъка, закинъвшій здъсь внервые всемірной торговлей, хитрой нолитикой и сложностью гражданскихъ пружинъ, вознесшійся потомъ всёмъ блескомъ ума, вънчавшій чело свое святымъ вънцомъ поэзін и, когда уже политическое вліяніе Италін стало исчезать, развернувшійся надъ міромъ торжественными дивами — искусствами, подарившими человъку невъдомыя наслажденія и Божественныя чувства, которыя дотоль не подымались изъ лона души его. Когда же и въкъ искусства сокрылся и къ нему охладъли погруженные въ разсчеты люди, онъ въетъ и разносится надъ міромъ въ завывающихъ вопляхъ музыки, и на берегахъ Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземнаго, Чернаго моря, въ стънахъ Алжира и на отдаленныхъ, еще недавно дикихъ островахъ гремять восторженные плески звонкимь пъвцамъ. Наконецъ самой ветхостью и разрушеньемъ своимъ онъ грозно владычествуетъ нынь въ мірь: эти величавыя архитектурныя чуда остались, какъ приграки, чтобы попрекнуть Европу въ ся Китайской мелочной роскопи, въ игрушечномъ раздробления мысли. И самое это чудное собраніе отжившихъ міровъ, и прелесть соединенія ихъ съ въчно цвътущей природой, все существуетъ для того, чтобы будить мірь, чтобь жителю сівера, какъ сквозь сонь, представлялся иногда этотъ югъ, чтобъ мечта о немъ вырывала его изъ среды хладной жизни, преданной запятіямъ, очерствляющимъ душу, вырвала бы его оттуда, блеснувъ ему нежданно уносящею въ даль перспективой, Колизейскою почью при лупъ, прекрасно умирающей Венеціей, невидимымъ небеснымъ блескомъ и теплыми поцълуями чудеснаго воздуха,— чтобы хоть разъ въ жизни былъ онъ прекраснымъ человъкомъ....

Въ такую торжественную минуту онъ примирялся съ разрушеньемъ своего отечества, и эрвлись тогда ему во всемъ зародыши въчной жизни, въчно лучшаго будущаго, которое въчно готовить міру его вічный Творець. Въ такія минуты онъ даже весьма часто задумывался надъ ныпъшнимъ значеніемъ Римскаго народа. Онъ видълъ въ немъ матеріялъ, еще непочатой. Еще ни разу не играль онъ роли въ блестящую эпоху Италіи. Отмъчали на страницахъ исторіи имена свои наны да аристократическіе домы, но народъ оставался незамътенъ. Его не зацъплялъ ходъ двигавшихся внутри и вив его интересовъ; его не коснулось образование и не взметнуло вихремъ сокрытыя въ немъ силы. Въ его природъ заключалось что-то младенчески-благородное. Эта гордость Римскимъ именемъ, въ следствіе которой часть города, считая себя потомками древнихъ квиритовъ, инкогда не вступала въ брачные союзы съ другими; эти черты характера, смъщаннаго изъ добродушія и страстей, показывающія свътлую его натуру (пикогда Римлянинъ не забывалъ ни зла, ни добра; онъ или добрый или злой, или расточитель или скряга; въ немъ добродътели и пороки въ своихъ самородныхъ слояхъ, и не смъщались, какъ у образованнаго человъка, въ неопредъленные образы, у котораго всякихъ страстишекъ понемногу подъ верховнымъ начальствомъ эгонзма); эта невоздержность и порывъ развернуться на всѣ деньги — замашка сильныхъ народовъ: все это имъло для него значеніе. Эта свътлая, непритворная веселость, которой тенерь ивть у другихъ народовъ... Вездъ, гдъ онъ ни былъ, ему казалось, что стараются тешить народь; здёсь, напротивь, онь тешится самъ; онъ самъ хочеть быть участникомъ; его насилу удержишь въ карнавалъ; все, что ни накоплено имъ въ продолжение года, онъ готовъ промотать въ эти полторы недёли; все усадитъ онъ на одинъ нарядъ: одбиется наяцомъ, женщиной, поэтомъ, докторомъ, графомъ, вретъ чепуху и лекціи и слушающему, и не слушающему, — и веселость эта обнимаеть, какъ вихорь, вевхь, оть сорока-лътияго до мальчишки; послъдній бобыль, которому не во

что одъться, выворачиваеть себъ куртку, вымазываеть лицо углемь и бъжить туда же, въ пеструю кучу; и веселость эта прямо изъ его природы; ею не хмѣль дѣйствуеть: тотъ же самый пародъ освищеть пьянаго, если встрътить его на улицъ. Потомъ черты природнаго художественнаго инстинкта и чувства. Онъ видёлъ, какъ простая женщина указывала художнику погрѣшность въ его картинъ; онъ видълъ, какъ выражалось невольно это чувство въ живописныхъ одеждахъ, въ церковныхъ убранствахъ; какъ въ Дженсано народъ убиралъ цвъточными коврами улицы; какъ разноцвътные листики цвътовъ обращались въ краски и тъпи, на мостовой выходили узоры, кардинальскіе гербы, портретъ паны, вензеля, птицы, звъри и арабески; какъ наканунь Свътлаго воскресенья продавцы сътстныхъ припасовъ, пицикароли, убирали свои лавчонки: свиниме окорока, колбасы, бёлые нузыри, лимоны и листья обращались въ мозапку и составляли плафонъ; круги пармезановъ и другихъ сыровъ, ложась одинъ на другой, становились въ колонны; изъ сальныхъ свъчей составлялась бахрама мозаичнаго занавъса, дранировавшаго внутрения стъны; изъ сала бълаго, какъ снътъ, отливались цълыя статуи, историческія группы Христіянских и библейских содержаній, которыя изумленный зритель принималь за алебастровыя; вся лавочка обращалась въ свътлый храмъ, сіяя нозлащенными звъздами, пскусно освъщаясь развёшанными шкаликами и отражая зеркалами безконечныя кучи ящъ. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пицикароле дёлаль это не изъ какихъ-инбудь доходовъ, но для того, чтобы полюбовались другіе и полюбоваться самому. Наконецъ, народъ, въ которомъ живетъ чувство собственнаго достопнства. Здъсь онъ il popolo, а не чернь, и носить въ своей природъ прямыя начала временъ первоначальныхъ квиритовъ; его не могли даже совратить навады иностранцевь, развратителей пребывающихъ въ бездъйстви націй, натады, порождающіе по трактирамъ и дорогамъ презръннъйший классъ людей, по которымъ путеше-Етвенникъ произноситъ часто суждение обо всемъ народъ. Самая нельность правительственныхъ постановленій, эта безсвязная куча всякихъ законовъ, возникшихъ во всѣ времена и отношенія п неуничтоженныхъ понынъ, между которыми даже есть эдикты временъ древней Римской республики, — все это не искоренило высокаго чувства справедливости въ народъ. Онъ порицаетъ неправеднаго притязателя, освистываетъ гробъ нокойника и впрягается великодушно въ колесницу, везущую тёло, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшие бы въ другихъ мъстахъ развратъ, почти не дъйствуютъ на него: онъ умбетъ отделить религио отъ лицембриыхъ исполнителей и не заразился холодной мыслыо невърія. Наконець, самая нужда и бъдность — неизбъжный удъль стоячаго государства — не ведутъ его къ мрачному влодъйству: онъ веселъ и переноситъ все, п только въ романахъ да повъстяхъ ръжетъ по улицамъ. Все это показывало ему стихін народа сильнаго, непочатого, для котораго какъ-будтобы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвъщение какъ-будто съ умысломъ не коснулось его и не водрузило въ грудь ему своего холоднаго усовершенствованія. Самое духовное правительство, этотъ странный уцёлёвшій призракъ минувшихъ временъ, осталось какъ-будто для того, чтобы сохранить народъ отъ посторонияго вліянія, чтобъ никто изъ честолюбивыхъ состдей не посягнуль на его личность, чтобы до времени въ тишинъ таплась его гордая народность. Притомъ здъсь, въ Римъ, не слышалось чего-то умершаго; въ самихъ развалинахъ и великолѣпной бѣдности Рима не было того томптельнаго, проникающаго чувства, которымъ объемлется невольно человъкъ, созерцающій памятинки заживо умирающей націп. Тутъ противоположное чувство: тутъ ясное, торжественное спокойствіе. И всякій разъ, соображая все это, князь предавался невольно размышленіямъ, п еталь подозръвать какое-то тапиственное значение въ словъ вычный Римъ.

Итогъ всего этого былъ тотъ, что онъ старался узнавать болье и болье свой народъ. Онъ его слъдилъ на улицахъ, въ кафе, гдъ въ каждомъ были свои посътители: въ одномъ антикваріи, въ другомъ стрълки и охотники, въ третьемъ кардинальскіе слуги, въ четвертомъ художники, въ пятомъ вся Римская молодежь и Римское щегольство; слъдилъ въ остеріяхъ, чисто Римскихъ остеріяхъ, куда не заходитъ иностранецъ, гдъ Римскій повіве садится иногда рядомъ съ миненте, и общество скидаетъ съ себя сюр-

туки и галстуки въ жаркіе дин; следиль его въ загородныхъ живописно-исварачныхъ трактиришкахъ съ воздушными окнами безъ стеколъ, куда фамиліями и компаніями набажали Римляне объдать, или, по ихъ выражению, far allegria. Опъ садился и объдаль вмёстё съ инми, вмёшивался охотно въ разговоръ, дивясь весьма часто простому здравомыслю и живой оригинальности разсказа простыхъ, неграмотныхъ горожанъ. Но болбе всего онъ имълъ случай узнавать его во время церемоній и празднествъ, когда всилываетъ наверхъ все народонаселение Рима и вдругъ показывается несмётное множество дотолё неподозрёваемых врасавиць, красавиць, которыхь образы мелькають только въ барельефахъ да въ древнихъ антологическихъ стихотвореніяхъ. Эти полные взоры, алебастровыя плечи, смолистые волосы, въ тысячь разныхъ образовъ поднятые на голову, или опрокинутые назадъ, картинно произенные насквозь золотой стрилой, руки, гордая походка, вездъ черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть граціозныхъ женщинъ. Туть женщины казались подобными зданіямъ въ Италіп: опт или дворцы, или лачужки, — или красавицы, или безобразныя; средины нътъ между ними: хорошенькихъ пътъ. Онъ ими наслаждался, какъ наслаждался въ прекрасной поэмъ стихами, выбившимися изъ ряду другихъ и насылающими свъжительную дрожь на душу.

Но скоро къ такимъ наслажденьямъ присоединилось чувство, объявившее спльную борьбу всёмъ прочимъ, чувство, которое вызвало изъ душевнаго дна спльныя человѣческія страсти, подымающія демократическій бунтъ противъ высокаго единодержавія души: онъ увидѣлъ Анпунціату. И вотъ такимъ образомъ мы добрались наконейъ до свѣтлаго образа, который озарилъ начало нашей повѣсти.

Это было во время карнавала. «Сегодня я не пойду на Корсо«, сказаль принчипе своему maestro di casa, выходя изъ дому: «мив надовдаетъ карнавалъ, мив лучше правятся лътніе праздники и церемоніи....«

»Но развъ это карнавалъ? « сказалъ старикъ: »это карнавалъ ребятъ. Я помию карнавалъ: когда по всему Корсо ни одной ка-

реты не было и всю ночь гремъна по улицамъ музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали цёлыя группы, неторін; когда народъ — князь понимаеть — весь народъ, всь, всь золотильщики, рамщики, мозанчисты, прекрасныя женщины, вся синьорія, вет nobili, вет, вет, вет... о quanta allegria! Вотъ когда быль карнаваль, такъ карнаваль! а теперь что за карнаваль? о!« сказаль старикъ и пожаль плечами; потомъ онять сказаль: »э!« и пожалъ илечами, и нотомъ уже произнесъ: »Е una porcheria!« Затъмъ maestro di casa, въ душевномъ порывъ, едълалъ необыкновенно сильный жесть рукою, по утинился, увидывь, что князя давно предъ нимъ не было: онъ быль уже на улицъ. Не желая участвовать въ карнавалъ, опъ не взяль съ собой ни маски, ни жельзной сътки на лицо и, заброенвинсь илащомъ, хотълъ только пробраться чрезъ Корсо на другую половину города. Но народная толна была слишкомъ густа. Едва только продрадся онъ между двухъ человъть, какъ уже попотчивали его сверху мукой; нестрый арлекинъ ударилъ его по илечу трещоткою, пролетъвъ мимо съ своей коломбиною; конфетти и пучки цвътовъ полетъли ему въ глаза; съ двухъ сторонъ стали ему жужжать въ уши: съ одной стороны графъ, съ другой медикъ, читавшій ему длиничю лекцію о томъ, что у него находится въ желудочной кишкъ. Пробиться между нихъ не было силъ, потому что народная толпа возрасла, цъпь экипажей, уже не будучи въ возможности двинуться, остановилась. Винманіе толны заняль какой-то смельчакь, шагавшій на ходуляхъ наравит съ домами, рискуя всякую минуту быть сбитымъ съ ногъ и грохнуться на-смерть о мостовую. Но объ этомъ, кажется, у него не было заботы. Онъ тащилъ на плечахъ чучелу великана, придерживая ее одной рукою, неся въ другой написанный на бумагь соцеть, съ придъланнымъ къ нему бумажнымъ хвостомъ, какой бываетъ у бумажнаго змъя, и крича во весь голось: Ecco il gran poeta morto! Ecco il suo sonetto colla coda (вотъ умершій великій поэть! воть его сонеть съ хвостомъ)! (1). Этоть емѣльчакъ сгустилъ за собою толну до такой степени, что князь

<sup>(1)</sup> Въ Итальянской поэзіи существуетъ родъ стихотворенья, извѣстнаго подъ именемъ *conema съ жвостомъ* (con la coda), когда мысль не вмѣстилась и ведетъ за собою прибавленіе, которос часто бываетъ длиннѣе самого сонета.

едва могъ перевести духъ. Наконецъ вся толпа двинулась впередъ за мертвымъ поэтомъ; цъпь экппажей тронулась, чему опъ обрапорадся сильно, хоть народное движение сбило съ него шляну, которую онъ теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, онъ подняль вмъстъ и глаза, и остолбенъль: предъ нимъ стояла неслыханная красавица. Она была въ сіяющемъ Альбаньскомъ нарядъ. въ ряду двухъ другихъ, тоже прекрасныхъ женщинъ, которыя были предъ ней — какъ ночь передъ диемъ. Это было чудо въвысщей степени. Все должно было померкнуть предъ этимъ блескомъ. Глядя на нее, становилось ясно, почему Итальянскіе поэты и сравниваютъ красавицъ съ солицемъ. Это именно было солице, — полная красота. Все, что разсыналось и блистаетъ поодпночкъ въ красавицахъ міра, все это собралось сюда вмѣстѣ. Взглянувши на грудь и бюсть ея, уже становилось очевидно, чего недостаеть въ груди и бюстахъ прочихъ красавицъ. Предъ ея густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными вст другіе волосы. Ея руки были для того, чтобы всякаго обратить въ художника. — какъ художникъ, глядълъ бы онъ на нихъ въчно, не смъя дохнуть. Передъ ся ногами показались бы щенками ноги Англичановъ, Нъмовъ, Француженовъ и женщинъ всъхъ другихъ націй; один только древніе ваятели удержали высокую идею красоты ихъ въ своихъ статуяхъ. Это была красота иолиая, созданная для того, чтобы всёхъ равно ослёнить. Тутъ не нужно было имъть какой-инбудь особенный вкусъ; тутъ всъ вкусы должны были сойтися, вст должны были повергнуться ниць: и втрующій и невърующій упали бы передъ ней, какъ предъ внезаннымъ появленіемъ Божества. Онъ видёль, какъ весь народъ, сколько его тамъ ни было, заглядълся на нее, какъ женщины выразили невольное изумление на своихъ лицахъ, смѣшанное съ наслажденьемъ, и повторяли: »о, bella! « какъ все, что ин было, казалось, превратилось въ художника и смотрѣло пристально на одну ее. Но въ лицъ красавицы написано было только одно внимание къ карнавалу: она емотръла только на толну и на маски, не замъчая обращенныхъ на нее глазъ, едва слушая стоявшихъ позади ея мущинъ въ бархатныхъ курткахъ, въроятно, родственниковъ, пришедшихъ вмъстъ съ ними. Киязь принимался-было разспрашивать у стоявшихъ подлѣ него: кто была такая чудная красавица и откуда? Но вездѣ получалъ въ отвѣтъ одно только пожатіе плечьми, сопровождаемое жестомъ, и слова: »Не знаю, должно быть, иностранка« ('). Недвижный, пританвъ дыханье, онъ поглощалъ ее глазами. Красавица наконецъ навела на него свои полныя очи, но тутъ же смутплась и отвела ихъ въ другую сторону. Его пробудилъ крикъ: передъ нимъ остановилась громадиая телега. Толпа находивнихся въ ней масокъ въ розовыхъ блузахъ, назвавъ его по имени, принялась качать въ него мукой, сопровождая однимъ длиннымъ восклицаниемъ у, у, у!... и въ одну минуту съ ногъ до головы былъ опъ усынанъ бълою пылью, при громкомъ смѣхѣ всѣхъ обступпвшихъ его сосѣдей. Весь бѣлый, какъ снѣгъ, даже съ бѣлыми рѣсницами, киязъ побѣжалъ наскоро домой переодѣться.

Покамъсть онъ сбъгаль домой, пока успъль переодъться, уже только полтора часа оставалось до Ave Maria. Съ Корсо возвращались пустыя кареты: сидівшіе вынихы перебрались на балконы смотръть оттуда неперестававшую двигаться толиу, въ ожиданіи коннаго бъга. При новоротъ на Корсо, встрътилъ онъ телету, полную мущинь, въкурткахъ, и сіяющихъ женщинь, съ цвъточными вънками на головахъ, съ бубнами и тимпанами въ рукахъ. Телега, казалось, весело возвращалась домой; бока ея были убраны гирляндами, спицы и ободья колесъ увиты зелеными вътвями. Сердце его захолонуло, когда онъ увидёлъ, что среди женщинъ сидёла въ ней поразившая его красавица. Сверкающимъ смъхомъ озарялось ея лицо. Телега быстро промчалась при кликахъ и пъсняхъ. Первымъ дёломъ его было бёжать вслёдъ ея; по дорогу перегородилъ ему огромный повздъ музыкантовъ: на шести колесахъ везли страшилищной величины скрипку. Одинъ человъкъ сидълъ верхомъ на подставкъ, другой, идя съ боку ся, водилъ громаднымъ смычкомъ по четыремъ канатамъ, натяпутымъ на нее вмъсто струнъ. Скринка, въроятно, стоила большихъ трудовъ, издержекъ и времени. Впереди шелъ исполинскій барабанъ. Толна народа и мальчишекъ тъсно валила вслъдъ за музыкальнымъ поъздомъ, и ществіе замыкаль изв'єстный въ Рим'є своей толициною пицика-

<sup>(1)</sup> Римляне всёхъ, кто не живетъ въ Римѣ, называютъ иностранцами (forestieri), хотя бы они обитали только въ 10 миляхъ отъ города.

роле, неся клистирную трубку вышиною съ колокольню. Когда улица очистилась отъ побзда, князь увидель, что бежать за телегой глупо и поздно, и притомъ неизвъстно, по какимъ дорогамъ нонеслась она. Онъ не могъ, однакоже, отказаться отъ мысли искать ее. Въ воображении его порхаль этоть сіяющій смѣхъ и открытыя уста, съ чудными рядами зубовъ. »Это блескъ молиін, а не женщина!« повторяль онь въ себъ, и въ тоже время съгордостью прибавляль: »Она Римлянка: такая женщина могла только родиться въ Римъ. Я долженъ непремънно ее увидъть; я хочу ее видъть, не съ тъмъ, чтобы любить ее, иътъ, я хотълъ бы только смотръть на нее, смотръть на всю ее, смотръть на ея очи, смотръть на ея руки, на ея пальцы, на блистающие волосы. Не цъловать ее, хотълъ бы только глядъть на нее. И что же? въдь это такъ должно быть, это въ законт природы; она не имтетъ права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того въ міръ, чтобы всякій ее увидаль, чтобы идею о ней сохраняль вѣчно въ своемь сердцъ. Еслибы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имъла право принадлежать одному, ее бы могъ онъ унести въ пустыно, скрыть отъ міра. Но красота полная должна быть видима всёмъ. Развъ великоленный храмъ строитъ архитекторъ въ тъсномъ переулкъ? Нътъ, онъ ставитъ его на открытой илощади, чтобы человакт со всехъ сторонъ могъ оглянуть его и подивиться ему. Развѣ для того зажженъ свѣтильникъ. сказалъ Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить подъ столь? Нътъ, свътильникъ зажженъ для того, чтобы стоять на столь, чтобы всьмъ было видно, чтобы всь двигались при его свъть. Нъть, я должень ее видъть пепремънно!« Такъ разсуждаль князь, и потомъ долго передумывалъ и перебиралъ всё средства, какъ достигнуть этого; наконецъ, какъ казалось, остановился на одномъ и отправился тутъ же, ни мало не мелдя, въ одну изъ тъхъ отдаленных улиць, которых в много въ Риме, где иет даже кардинальскаго дворца съ выставленными расписными гербами на деревянныхъ овальныхъ щитахъ, гдф видфиъ нумеръ надъ каждымъ окномъ и дверью теснаго домика, где идеть горбомъ выпученная мостовая, куда изъ иностранцевъ заглядываетъ только развѣ пройдоха Нъмецкий художникъ съ походнымъ стуломъ и красками да козель, отставшій оть проходящаго стада и остановившійся посмотръть съ изумленьемъ, что за улица, имъ никогда невиданная. Тутъ раздается звоико лепетъ Римляномъ: со всёхъ сторонъ, изо всёхъ оконъ несутся рёчи и переговоры. Тутъ все откровенно, и проходящій можеть совершенно знать вст домашнія тайны; даже мать съ дочерью разговариваютъ не иначе между собою, какъ высунувъ объ свои головы на улицу; тутъ мущинъ незамътно вовсе. Едва только блеснетъ утро, уже открываетъ окно и высовыется сьора Сусанна; потомъ изъ другого выказывается сьора Грація. надъвая юбку; потомъ открываетъ окно сьора Наина; потомъ выльзаеть сьора Лучія, расчесывая гребнемь косу; наконець сьора Чечилія высовываеть руку изъ окна, чтобы достать бълье на протянутой веревкъ, которое туть же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьесь, киданьемъ на полъ и словами: che bestia! Тутъ все живо, все кинитъ: летитъ изъ окна башмакъ съ ноги въ шалуна-сына, или въ козла, который, подошедъ къ корзинкъ, гдъ поетавленъ годовой ребенокъ, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значать рога. Туть инчего не было неизвъстнаго: все извъстно. Синьоры все знали, что ин есть: какой сьора Джюдита купила илатокъ, у кого будетъ рыба за объдомъ, кто любовникъ у Барбаручьи, какой капуцинъ лучше исповъдуетъ. Изръдка только вставляетъ свое слово мужъ, стоящий обыкновенно на улинъ, облокотясь у стіны, съ коротенькою трубкою въ зубахъ, почитавшій необходимостью, услыша о кануцинь, прибавить короткую фразу: »Всё мошенники! « послъ чего продолжаль снова пускать себъ подъ носъ дымъ. Сюда не заъзжала никакая карета, кромъ развѣ только одной двухъ-колесной трясучки, запряженной муломъ, привезшимъ хлъбнику муку, и соннаго осла, едва дотащившаго перекидную корзнику съ броколями, не смотря на всъ понуканья мальчишекъ, угобжающихъ каменьями его нещекотливые бока. Туть ивть никакихъ магазиновъ, кромв лавчонки, гдв продаются хлъбъ и веревки, съ стеклянными бутылями, да темнаго узенькаго кафе, находящагося въ самомъ углу улицы, откуда виденъ былъ безпрестанно выходившій боттега, разносяцій синьорамъ кофе, или шеколадъ на козьемъ молокъ, въ жестяныхъ ма-

ленькихъ кофейничкахъ, извъстный подъ именемъ Авроры. Домы туть принадлежали двумь, тремь, а иногда и четыремь владёльцамъ, изъ которыхъ одинъ имъетъ только ножизненное право, другой владбеть однимь этажемь и имбеть право нользоваться съ него доходомъ только два года, послі чего, въ слідствіе завінцанія, этажъ долженъ быль перейти отъ него къ padre Vicenzo на десять лёть, у котораго, однакоже, хочеть оттягать его какой-то родственникъ прежней фамиліп, живущій во Фраскати и уже заблаговременно затъявшій процессь. Были и такіе владъльцы, которые владели одинмъ окномъ въ одномъ доме, да другими двумя въ другомъ домѣ, да пополамъ съ братомъ пользовались доходами еъ окна, за которое, впрочетъ, вовсе не платилъ неисправный жилець; словомъ, предметъ неистощимый тяжебъ и продовольствія адвокатовъ и куріаловъ, наполняющихъ Римъ. Дамы, о которыхъ только-что было упомянуто, вст, какъ первоклассныя, честимыя полными именами, такъ п второстепенныя, называвшіяся уменьшительными именами, всё Тетты, Тутты, Нанны, большею частію ничьмъ не занимались: онь были супруги — адвоката, мелкаго чиповника, мелкаго торгаша, носильщика, факциа, а чаще всего незанятого гражданина, умівшаго только красиво драпироваться не весьма надежнымъ плащомъ.

Многія изъ синьоръ служили моделями для живописцевъ. Тутъ были всёхъ родовъ модели. Когда бывали деньги, онъ проводили весело время въ остеріи съ мужьями и цёлої компанієї; не было денегъ — не были скучны и глядёли въ окно. Теперь улица была тише обыкновеннаго, потому что нёкоторыя отправились въ народную толиу, на Корсо. Князь подошелъ къ ветхої двери одного домика, которая вся была выверчена дырами, такъ что самъ хозяниъ долго тыкалъ въ нихъ ключомъ, покамъсть попадалъ въ настоящую. Уже готовъ онъ былъ взять за кольцо, какъ вдругъ услышалъ слова: »Сьоръ принчипе хочетъ видёть Пеппе? «Онъ поднялъ голову вверхъ: изъ третьяго этажа глядъла, высунувшись, сьора Тутта.

» Экая крикунья! « сказала изъ супротивнаго окиа сьора Сусанна: »Принчине, можетъ быть, совсъмъ пришелъ не съ тъмъ, чтобъ видъть Пение. « »Конечно съ тъмъ, чтобы видъть Пеппе! не правда ли киязь? Съ тъмъ, чтобы видъть Пеппе? не такъли, князь? Чтобы увидъть Пеппе?«

»Какой Пеппе, какой Пеппе! « продолжала съ жестомъ объими руками сьора Сусаниа: »киязь сталъ бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карпавала; киязь поъдетъ вмъстъ съ своей куджипой, маркезой Монтелли, поъдетъ съ друзьями въ каретъ бросать цвъты, поъдетъ за городъ far allegria. Какой Пеппе! какой Пеппе! «

Князь изумился такимъ нодробностямъ о своемъ препровожденіи времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.

»Иттъ, моп любезныя синьоры«, сказалъ князь: »миъ точно нужно видъть Иеппе.«

На это дала отвътъ князю уже спиьора Грація, которая давно высупулась изъ окошка второго этажа и слушала. Отвътъ дала она, слегка пощелкавъ языкомъ и покрутивъ пальцемъ (обыкновенный отрицательный знакъ у Римлянокъ) и потомъ прибавила: » Нътъ дома. «

»Но, можеть быть, вы знаете, гдъ онъ, куда ушель?«

»Э, куда ушелъ! « повторила сьора Грація, приклонивъ голову къ плечу; » статься-можетъ въ остеріп, на площади, у фонтана; върно, кто-нибудь позвалъ его, куда-нибудь ушелъ; chi lo sa (кто его знаетъ)! «

»Если хочетъ принчине что-инбудь сказать ему «, подхватила изъ супротивнаго окна Барбаручья, вдъвая въ то же время серьгу въ свое ухо, » пусть скажетъ миъ; я ему передамъ. «

»Ну, ивтъ«, подумалъ киязь и поблагодарилъ за такую готовность. Въ это время выглянулъ изъ перекрестнаго переулка огромный запачканный носъ и, какъ большой топоръ, повиснулъ надъ показавшимися вслъдъ за нимъ губами и всъмъ лицомъ. Это былъ самъ Пеппе.

»Вотъ Пеппе! « вскрикнула сьора Сусанна.

»Вотъ пдетъ Пенпе, sior principe!« вскрикнула живо изъ своего окна спньора Грація.

»Идетъ, идетъ Пепие!« зазвенъла изъ самого угла улицы сьора Чичилія.

»Принчипе, принчипе! вонъ Пеппе! вонъ Пеппе! (ессо Рерре! ессо Рерре!)« кричали на улицъ ребятишки.

»Вижу, вижу!« сказалъ князь, оглушенный такимъ живымъ крикомъ.

»Вотъ я, eccellenza! вотъ!« сказалъ Пенне, снимая шапку. Онъ, видно, уже успълъ попробовать карпавала: его откуда-иибудь съ боку хватило сильно мукою; весь бокъ и снина были у него выбълены совершенно, иляпа изломана, и все лицо было убито бъльми гвоздями. Иеппе ужъ быль замъчателенъ потому, что всю жизнь свою остался съ уменьшительнымъ именемъ своимъ, Пенне. До Джьузение онъ никакъ не добрался, хотя и посъдълъ. Онъ происходилъ даже изъ хорошей фамиліп, изъ богатаго дома негоціанта, но последній домишка быль у него оттягань тяжбой. Еще отенъ его, человъть тоже въ родъ самого Пенпе, хотя и назывался sior Джіованни, пробать последнее имущество, и онъ микаль тенерь свою жизнь подобно многимъ, то есть, какъ приходилось: то вдругъ опредблялся слугой у какого-инбудь иностранца, то быль на посылкахъ у адвоката, то являлся убирателемъ студін какого-инбудь художинка, то сторожемъ виноградника. или виллы, и, по мъръ того, измънялся на немъ безпрестанно костюмъ. Иногда Иение понадался на улицъ въ круглой илянъ и широкомъ сюртукъ, иногда въ узенькомъ кафтанъ, лоппувшемъ въ двухъ, или трехъ мъстахъ, съ такими узенькими рукавами, что длинныя руки его выглядывали оттуда, какъ метлы; иногда на ногъ его являлся поновскій чулокъ и башмакъ; иногда онъ показывался въ такомъ костюмъ, что ужъ и разобрать было трудно, тымь болье, что все это было надъто вовсе не такъ, какъ слъдуеть: иной разъ, просто, можно было подумать, что онъ надель на ноги, вмѣсто панталонъ, куртку, собравши и завлзавши ее коекакъ сзади. Онъ былъ самый радушный исполнитель всъхъ возможныхъ порученій, часто вовсе безънитересно: тащилъ продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаминныя книги разорившагося аббата, или антикварія, картину художника; заходиль по утрамь къ аббатамъ забирать ихъ панталопы и башмаки для почистки къ себъ на домъ, которые потомъ нозабываль въ урочное время отнести назадъ, отъ излишияго желанья услужить кому-инбудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными безъ башмаковъ и панталонъ на весь день. Часто ему перенадали порядочныя деньги; но деньгами онъ распоряжался но-Римски, то есть, на-завтра никогда почти ихъ не ставало. — не нотому, чтобы онъ тратилъ на себя, или пробдалъ, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой быль онъ страшный охотникъ. Врядъ ли существовалъ такой нумеръ, котораго бы онъ не попробоваль. Всякое незначущее ежедневное происшествіе у него имѣло важное значеніе. Случилось ли ему найти на улицѣ какую-инбудь дрянь, онъ тотъ же часъ справлялся въ гадательной книгь, за какимъ нумеромъ она тамъ стоитъ, съ тъмъ, чтобы его тотчась же взять въ лотерев. Присиплся ему однажды сонъ, что сатана — который и безъ того ему снился, неизвъстно по какой иричинъ, въ началъ каждой весны — что сатана потащилъ его за носъ по веймъ крышамъ вейхъ домовъ, начиная отъ церкви св. Игнатія, нотомъ по всему Корсо, потомъ по переулку tre Ladroni. нотомъ по via della Stamperia, и остановился наконецъ у самой Trinita на лъстинцъ, приговаривая: »вотъ тебъ, Пеппе, за то, что ты молился св. Панкратію: твой билеть не вынграль!« Сонъ этоть произвель большіе толки между сьорой Чечиліей, сьорой Сусанной и всей почти улицей; по Пеппе разръшилъ его по-своему: сбъгалъ тотъ же часъ за гадательной книгой, узналъ, что чортъ значитъ 43 нумеръ, носъ 24, святой Панкратій 30, и взяль въ то же утро всъ три нумера. Потомъ сложилъ всъ три нумера—вышелъ 67, онъ взялъ и 67. Вст четыре нумера, по обыкновенью, лоннули. Въ другой разъ случилось ему завести перепалку съ виноградаремъ, толстымъ Римляниномъ, сьоромъ Рафаэлемъ Томачели. За что они поссорились, Богъ ихъ въдаетъ, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и наконецъ оба поблёднъли — признакъ ужасный, при которомъ обыкновенно со страхомъ высовываются изъ оконъ всѣ женщины и проходящій иѣшеходъ отсторанивается подальше — признакъ, что дъло доходитъ наконецъ до ножей. И точно, толстый Томачели запустилъ уже руку за ременцое голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда ножъ, и сказаль: »Погоди ты, вотъ я тебя, телячья голова! « какъ вдругъ Пеппе ударилъ себя рукою по лбу

и убѣжалъ съ мѣста битвы. Онъ вспомнилъ, что на телячью гову онъ еще ни разу не взяль билета; отыскаль нумерь телячьей головы и побъжаль бъгомъ въ лотерейную контору, такъ что всъ приготовившіеся смотріть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку, и самъ Рафаэль Томачели, засунувши обратно ножъ въ голенище, долго не зналъ, что ему делать, и наконецъ сказаль: Che uomo curioso (какой странный человѣкъ)! Что билеты лопались и пронадали, этимъ не смущался Неппе. Опъ былъ твердо увъренъ, что будетъ богачомъ, и потому, проходя мимо лавокъ, спрашивалъ почти всегда, что стоитъ всякая вещь. Одинъ разъ, узнавши, что продается большой домъ, онъ зашелъ нарочно поговорить объ этомъ съ продавцомъ; и, когда стали надъ иимъ смѣяться знавшіе его, онъ отвѣчаль очень простодушно: »Но къ чему смъяться? къ чему смъяться? Я въдь не теперь хотъль купить, а посль, со-временемь, когда будуть деньги. Туть ничего итть такого.... всякій должень пріобратать состояніе, чтобы оставить потомъ дътямъ, на церковь, бъднымъ, на другія разныя вещи.... chi lo sa!» Онъ уже давно быль извъстенъ князю, быль даже когда-то взять отцомъ его въ домъ въ качествъ офиціянта, и тогда же прогнатъ за то, что въ мѣсяцъ износилъ свою ливрею п выбросиль за окно весь туалеть стараго князя, нечаяние толкнувъ его локтемъ.

»Послушай, Пеппе!« сказалъ князь.

» Что хочетъ приказать eccelenza? « говорилъ Пение, стоя съ открытою головою; » князю стоитъ только сказать: Иеппе! а я — Вотъ я! Потомъ князь пусть только скажетъ: Слушай, Пение! а я — Ессо me eccelenza! «

»Ты долженъ, Пенне, сдълать мив теперь вотъ какую услугу....« При сихъ словахъ кинзь взглянулъ вокругъ себя и увидълъ, что всъ сьоры Граціп, сьоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты, всъ, сколько ихъ ин было, выставились любопытно изъ окна, а бъдная сьора Чечилія чуть не вывалилась вовсе на улицу.

» Ну, дъло илохо! « подумалъ киязь. » Пойдемъ, Пеппе, ступай за миою! «

Сказавши это, онъ пошелъ впередъ, а за инмъ Пеппе, поту-

пивъ голову и разговаривая самъ съ собою: »Э, женщины! нотому и любонытны, потому что женщины, потому что любонытны.«

Долго шли они изъ улицы въ улицу, погрузясь каждый въ свои соображенія. Пеппе думаль воть о чемь: »Князь дасть, върно, какое-нибудь порученіе, можеть быть важное, потому что не хочеть сказать при встхъ; стало быть дастъ хорошій подарокъ, или деньги. Если же киязь дастъ денегъ, что съ ними дълать? Отдавать ли ихъ сьору Сервиліо, содержателю кафе, которому онъ давно долженъ, потому-что сьоръ Сервиліо на первой же недъль поста непремънно потребуетъ съ него денегъ, потому что сьоръ Сервилю усадилъ всъ деньги на чудовищичю скрипку, которую собствениноручно дёлаль три мёсяца для кариавала, чтобъ проёхаться съ нею по встмъ улицамъ, — теперь, втроятно, сьоръ Сервиліо долго будеть всть, вмвсто жаренаго на вертелв козленка, один броколи. вареные въ водъ, пока не набереть вновь денегь за кофе. Или же не платить сьору Сервиліо, да вмісто того позвать его обідать въ остерію, потому что сьоръ Сервиліо il vero Romano и за предложенную ему честь будеть готовъ потерить долгь; а лотерея непремвино начиется со второй недвли поста. Только какимъ образомъ до того времени уберечь деньги? какъ сохранить ихъ такъ, чтобы не узналъ ни Джакомо, ни мастеръ Петручьо, точильщикъ, которые пепремънио попросятъ у него взаймы, потому что Джакомо заложиль въ Гету Жидамъ все свое платье, а мастеръ Петручьо тоже заложиль свое платье въ Гету Жидамъ, и разорваль на себъ юбку и последній платокъ жены, нарядясь женщиною.... какъ сдълать такъ, чтобы не дать имъ въ-займы?« Вотъ о чемъ думалъ Пеппе.

Князь думаль воть о чемь: »Пение можеть разыскать и узнать имя, гдъ живеть и откуда, и кто такая красавица. Во-первыхь, онъ всъхъ знаеть, и потому больше нежели всякій другой можеть встрътить въ толит пріятелей, можеть чрезъ нихъ развъдать, можеть заглянуть во всъ кафе и остеріи, можеть заговорить даже, не возбудивь ни въ комъ подозрънія своей фигурой. И хотя опъ подъ-часъ болтунь и разсъянная голова, однако, если обязать его словомъ настоящаго Римлянина, онъ сохранить все втайнъ.«

Такъ думалъ князь, идя изъ улицы въ улицу, и наконецъ

остановился, увидъвши, что уже давно перешелъ мостъ, давно уже былъ въ Транстеверской сторонъ Рима, давно взбирается на гору, и недалеко отъ него церковъ S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дорогъ, онъ взошелъ на площадку, съ которой открывался весь Римъ, и произнесъ, оборотившись къ Пеппе: »Слу-

шай, Пеппе: я отъ тебя потребую одной услуги. «

» Что хочеть eccelenza? « сказаль опять Пеппе. Но туть князь взглянуль на Римъ и остановился: нередъ нимъ въ чудной сіяющей панорам'в предсталь въчный городь. Вся свътлая груда домовъ, церквей, куполовъ, остроконечій сильно осв'ящена была блескомъ понизившагося солица. Группами и поодиночкъ одинъ изъ-за другого выходили домы, крыши, статуи, воздушныя террасы и галлерен; тамъ пестрёла и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколенъ и куноловъ, съ узорною канризностью фонарей; тамъ выходиль цёликомъ темный дворецъ; тамъ илоскій куполь Пантеона; тамъ убранная верхушка Антониновской колонны, съ капителью и статуей Апостола Павла; еще правъе возвозносили верхи Капитолійскія зданія, съ конями, статуями; еще правће надъ бленунцей толной домовъ и крышъ величественно и строго подымалась темная ширина Колизейской громады; тамъ опять играющая толпа стънъ, террасъ и куполовъ, покрытая ослъпительнымъ блескомъ солнца. И надъ всей сверкающей массой темиъли вдали своей черною зеленью верхушки каменныхъ дубовъ изъ виллъ Людовизи, Медичисъ, и цълымъ стадомъ стояли надъ инми въ воздухъ куполообразныя верхушки Римскихъ пиниъ, поднятыя тонкими стволами. И потомъ во всю длину всей картины возносились и голубъли прозрачныя горы, легкія какъ воздухъ, объятыя какимъ-то фосфорическимъ свътомъ. Ни словомъ, ни кистью нельзя было передать чуднаго согласія и сочетанія всёхъ плановъ этой картины! воздухъ былъ до того чистъ и прозраченъ, что малъйшая черточка отдаленныхъ зданій была ясна, п все казалось такъ близко, какъ-будто можно было схватить рукою. Послъдній мелкій архитектурный орнаменть, узорное убранство карниза — все означалось въ непостижимой чистотъ. Въ это время раздались пушечный выстрълъ и отдаленный слившийся крикъ народной толпы — знакъ, что уже пробъжали кони безъ съдоковъ,

завершающіе день карнавала. Солице опускалось ниже къ землі; румяніве и жарче сталь блескь его на всей архитектурной массів: още живій и ближе сділался городь; еще темній зачернівли ининим, голубіве и фосфорніве стали горы; еще торжественніве и лучше готовый погаснуть небесный воздухь.... Боже! какой видь! Князь, объятый имъ, позабыль и себя, и красоту Анунціаты, и тапиственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на світів.

# остраница.

начало исторического романа.

### ГЛАВА І.

Былъ Апръль 1645 года, время, когда природа въ Малороссіи похожа на первый день своего творенія; самая нъжная зелень убирала очнувшіяся деревья и степи. Этотъ день быль передъ самымъ Воскресеньемъ Христовымъ. Онъ уже прошелъ, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый дъвственный воздухъ, разносившій дыханіе весны, въяль сильнье. Сквозь жидкую съть вишневыхъ листьевъ мелькали въ огит окна деревянной церкви села Комышны. Старая, истерзанная временемъ, нокрытая мохомъ церковь, будто обновилась; вокругъ ее, какъ рои ичелъ, толиплись козаки изъ ближнихъ и дальнихъ хуторовъ, изъ которыхъ едва десятая часть помъстилась въ церкви. Было душпо; но что-то говорило свътлымъ торжествомъ. Авторъ проситъ читателей вообразить себъ эту картину XVII-го стольтія. Мужественныя, худощавыя, съ ръзкими чертами, лица и бритыя головы, опустившіеся винзъ усы, падавшіе на грудь, широкія плечи, атлетическая сила, при каждомъ почти заткнутый за поясъ пистолеть и сабля показывали уже въ какую эпоху собрались возаки. Странно было глядъть на это море головъ, почти неволновавшееся. Благоговъйное чувство обнимало зрителя. Все здъсь собравшееся было характеръ и воля, но и то и другое было тихо и безмолвно.

Свёть паникадила, отбрасываясь на всёхъ, придаваль еще сильнёе выражение лицамъ. Это была картина великаго художника, вся полная движенія, жизни, дъйствія и между тъмъ неподвижная. Почти незамътно прибавилось одно новое лицо къ молящимся. Оно возвышалось надъ другими почти цёлою головою; какой-то крѣпкій, смѣлый окладъ, какая-то легкая безпечность выказывалась на немъ. Оно было спокойно и вмёстё такъ живо, что, взглянувши, ожидаль бы непремённо услышать отъ него слово, чтобы увидъть его измънившимся, какъ-будтобы оно непремънно должно было все заговорить конвульсіями. Но между тёмъ, какъ всё малопомалу начали обращаться на него, вся масса двинулась изъ храма, для торжественнаго хода вокругъ церкви, и замъчательная физіономія смішалась съ другими. (У) выхода по церковной лістинці, у самаго крыльца, стояли итсколько Жидовъ, содержавшіе, по волт Польскаго правительства, откунъ, и спорили между собою, намъчая меломъ пасхи, приносимыя для освященія Христіанами. Нужно было видѣть, какъ на лицѣ каждаго выходившаго дрогнули скулы. Это постановленіе правительства было уже давно объявлено; народъ съ ропотомъ, но покорился силъ. Оппозиціонисты были пспровержены. Къ этому, кажется, всъ уже привыкли, зная что это такъ (постановлено); но, не смотря на это, при видъ этого постановленія, приводимаго въ исполненіе, онъ такъ изумился, какъ-будтобы это была новость. Такъ преступникъ, знающій о своемъ осуждении на смерть, еще движется, еще думаетъ о своихъ дълахъ; но прочитанный приговоръ разомъ разрушаетъ въ немъ жизнь. Послъ неремъны въ лицъ, рука каждаго невольно опустилась къ кинжалу, или къ инстолетамъ. Но ходъ окончился; всф спокойно вошли въ церковь, при пънін Христост воскресе изт мертсых: Между тёмъ совершенно наступило утро. Выстрёлы изъ пистолетъ и мушкетовъ потрясали деревяныя ствиы церкви. На вевхъ лицахъ просіяла радость: у одинхъ при мысли о пасхв, у дъвушекъ при цълованьи съ козаками, (у тъхъ) при понойкъ, какъ вдругъ страшный шумъ извиъ заставиль многихъ выйти. Передъ разрушившейся церковью собрались въкучу, изъкоторой раздавались брань п крикъ Жидовъ. Три Жида отбирали у дряхлаго, посёдёвшаго, какъ лунь, козака, насху, яйцы и барана, утверждая, что онъ

не вносиль за инхъ денегъ. За старика вступилось двое, стоявшихъ около него; къ нимъ пристали еще, и наконецъ цѣлая толпа готовилась задавить Жидовъ, если бы тотъ же самый широкоплечій, высокаго росту, чья физіономія такъ поразила находившихся въ церкви, не остановилъ одинмъ своимъ мощнымъ взглядомъ. » Чего вы, хлонцы, съ-дуру бъснуетесь? У васъ, видно, ивтъ ни на волосъ Божьяго страха. Люди стоять въ церкви и молятся, а вы туть чорть знаеть что делаете. Гайда по мъстамъ! « Послушно вев какъ овны разбрелись по своимъ мъстамъ, разсуждая: что это за чудо такое, откудова оно взялось и съ какой стати ввязывается онъ, куда его не просять, и отъ чего онъ хочеть, чтобы елушались! По это каждый только подумаль, а не сказаль вслухъ. Взглядъ и голосъ незнакомна какъ-будто имёли волиебство: такъ были повелительны. Одниъ Жидъ етояль только не отходя, и какъ скоро оправился отъ перваго страха незванною номощью, начальбыло снова приступать, какъ тотъ же самый (козалъ подошелъ) и ехватилъ его могучею рукою за воротъ такъ, что бъдный потомокъ Израилевъ съежился и присълъ на колъпи. —» Ты чего хочень, свинюе ухо? Такъ тебъ еще мало, что душа осталась въ гала́нцахъ? Ступай же, тебъ говорю, поганая Жидовина, пока не оборваль тебъ нейсики!« Послѣ того толкнуль онъ его, и Жидъ разостлался на землѣ, какъ лягушка. Приподиявшись же иемного, пустился бъжать и спустя иъсколько времени, возвратился съ начальникомъ Польскихъ уданъ. Это быль довольно рослый Полякъ, съ глупо дерзкою физіономісю, которая всегда почти отличаетъ полицейскихъ служителей. »Что это? Какъ это?... Гунство, теремтете? Зачъмъ драка, холопство проклятое? Лысый бъсъ въ кашу съ смальцемъ! Развъ? Что вы? Что тутъ драка? Порвалъ бы васъ собака!...« Блюститель порядка не зналъ бы, куда обратиться и на кого излить потокъ своихъ наставленій, приправляемыхъ бранью, если бы Жидъ не подвель его къ старому козаку, котораго волосы, вздуваемые вѣтромъ, какъ сивжный иней серебрились. «Что ты, глуный холопъ, вздумалъ? Что ты драку, началъ драку? Пасе мазепято, гунство! Знаешь ты, что Жидъ? Гунство проклятое!... Знаешь, что борода поповекая не стоитъ подошвы?... Чортъ бы тебя схватилъ въ баив за пупъ!... У него оломецъ краше, чъмъ ваша холопска вяра....«

Туть онъ ехватиль за волосы старца и выдернуль клокъ серебряныхъ волосъ его....

Глухое стенаніе испустиль старый козакъ.

» Вей еще! Самъ я виновать, что дожиль до такихъ лътъ, что и счеть уже имъ потеряль. Сто лътъ, а можетъ, и больне тому изадъ, меня драли за чубъ, когда я быль хлонцемъ у батька. Теперь онять быотъ. Видно, снова воротились лъта мон. Тольно пътъ, не то, не въ силахъ теперь и руки поднять. Вей же меня!...« Ири сихъ словахъ ето двадцати лътній старецъ паклониль свою бълую голову на руки, сложенныя крестомъ на налеъ, и, ноднершись ею, долго стоялъ въ живонисномъ положеніи. Въ словахъ старца было певъроятно трогательное. Замътно было, что многіе хватились рукою за сабли и инстолеты, но видъ столькихъ усатыхъ улановъ на лошадяхъ, и иъсколько словъ, сказанныхъ незнакомцемъ, заставили всѣхъ принять положеніе молельщиковъ и креститься.

"Что ты врешь, глупой мужикъ, теремтете! Что(бы) я на тебъ руки поганилъ, гунство проклятое! Лысый бъсъ рогатый тебъ въ кашу! Гершко! возьми отъ него пасху! Иусть его однимъ овсянымъ сухаремъ разговъется. Вишь, гунство проклятое!« говорилъ блюститель правосудія, подвигаясь къ ряду дъвичьему и ущиннулъ одну изъ нихъ за руку. "Что за драка? Охъ, славная дъвка! Вишь драку!... Ай да Параска! Ай да Пидорка! Вишъ глупой мужикъ.... порвалъ бы его собака!... Ай, ай! Сколько тутъ жиру!...« Блюститель порядка, върно, себъ позволилъ нескромность, потому что одна изъ дъвушекъ вскрикиула во все горло. Въ это время пасхи были освящены, и объдия кончилась, и многіе уже стали расходиться. Иъсколько только народу обстунило козака, такъ заинтересовавшаго толпу, который между тъмъ нодходилъ къ исправлявшему званіе алгіазила.

» Славный у тебя усъ , нанъ! « проговорилъ опъ , подступивъ къ иему близко.

» Хорошій! У тебя, холопа, не будеть такого«, произнесь онь, расправляя его рукою.

» Славный! Только не туда ты, панъ, крутишь его. Вотъ куда нужно крутить! « Мощный козакъ дернулъ сильною рукою такъ, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закряхтёль и заревёль отъ боли. Лицо его сдёлалось цвёта вареной свеклы. »Рубите его, рубите лайдака!« кричаль опъ, но почувствоваль себя въ рукахъ высокаго козака, и увидя насмёшливыя лица всёхъ, сталъ искать глазами своихъ воиновъ. Малеваной шутъ струсилъ....

»Какъ же тебѣ, панъ, не совѣстно бить такого старика! А если бы твоего стараго отца кто-инбудь сталъ безчестить такъ поносно при всѣхъ, какъ ты обезчестилъ старѣйшаго изъ всѣхъ пасъ? что тогда? весело тебѣ было бы териѣть это? Ступай, панъ! Если бы ты не у короля въ службѣ былъ, я бы тебя ие выпустилъ живого.«

Выпущенный пленинкъ побежаль, отряхиваясь. За инмъ следомъ повалилъ народъ. Между темъ козакъ отвязавши коня, привязаннаго къ церковной оградъ, готовился състь, какъ былъ остановленъ средняго роста вонномъ, поседевшимъ человекомъ, который долго не отводиль отъ него вниманія и заглядываль ему въ глаза съ такимъ любонытствомъ, какъ иногда собака, когда видить ядущаго хльбъ. »Добродію! Въдь я васъ знаю. Можеть быть, и правда? Ей Богу, знаю. Не скажу—таки точно знаю. Ей Богу, знаю! Чи вы Остраница, чи вы Омельченко? Можетъ и онъ. Ну, такъ! Я стою въ церкви и говорю: вотъ то, что стоить воздъ его, то Остраница. Ей, ей Остраница. Да можетъ быть, и нътъ. Можетъ быть, и не Остраница. Нътъ, Остраница. Ей, тебъ такъ показалось! Ну, какъ ибтъ? Остраница да и Остраница. Какъ только послушаль голось, ну тогда и рукою махнуль. Воть такъ точнехонько нокойный батюшка — пусть ему легко икнется на томъ свътъ! Такъ же разумно бывало каждое слово отвътить.«

Остраница внимательно началъ въ него всматриваться и нашелъ точно что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Посъ, загнувшись внизъ, придавалъ ему иъсколько горбатое сложеніе и неподвижность членамъ, но за то узенькіе сърые глаза продирались довольно увертливо сквозь чащу насупувшихся бровей, которыя, върно, придали бы лицу суровый видъ, если бы нижияя часть лица, что - то простодушное и веселое въ губахъ, не давали ему противнаго выраженія. Подъ кобенякомъ, надътымъ въ рукава, видъпъ былъ овчинный кожухъ, хотя воздухъ былъ довольно тепелъ и день былъ жарокъ.

»Я върю и не върю, что вижу опять васъ. А что, добродю? не во гитвъ будь сказано. Прошу извинить, только хотъль бы узнать, что сдълалось съ тъми, которые пошли съ вами? Что Дигтяй, Кузубія? воротились ли опи съ вами, или тамъ остались, или воронъ, можетъ, гдъ-инбудь доъдаетъ козацки косточки?«

»Дигтяй твой сидить на колу у Турецкаго султана, а Кузубія гуляеть съ рыбами на див Сиваша и тянеть гиплую воду вмъсто горилки... Но... ну, нослъ объ этомъ поговоримъ. Я тебя тоже узналъ. Здравствуй, старый Пудько́! Христосъ воскресе!...«

»Вопстину воскресе! « говорилъ цълуясь Пудько. »Какъ на то, и крашанки нътъ! Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество... передавилъ бы на кисъль. Такъ, добродію, какъ-будто сердце знало...«

» Ты по-прежнему торгуень всякою дрянью? «

» А что жъ дълать? Нужно торговать. Еще слава Богу, что продаль табакъ. Прошлаго году отецъ съ полвоза накупплъ кремней, дроби, пороху, съры, ну и всего, что до мизеріи относится. Напросился на дорогѣ Жидокъ одинъ. »Свези, человиче, на Хыя-»кивску ярмарку; дамъ три рубля!« Свезъ его какъ добраго, и надуль проклятой Жидокь, ей Богу, надуль! Хоть бы чвертку горилки даль, гаспидь лысый. Знаете, что у меня чуть было Ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли подъ верхъ вербуна. Теперь у меня только и конины, что гитдко«, примолвиль онъ, садясь на гивдого коня и видя, что Остраница поворотиль коня вхать. »Эхъ, добродію! Если бы теперь кто сказаль: »А пу, старый, » гайда на войну бить Ляховъ! « все бы продаль, и жишку и дътей бы нокинуль, ношель бы въ компанейство:« При этомъ Пудько выпрямился и поскакаль за Остраницею, который пришпориль сильиве коня своего. »Скажите, добродію, пане сотнику«, говорилъ онъ, поровнявшись съ нимъ, »можетъ, вы теперь уже и не сотинбъ; въ другой ротъ какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божін взяло на откупъ Жидовство? Какъ же это, добродію, не обидно? каково было снесть всякому Христіанину, что горилка находится у враговъ Христіянства? А тенерь и храмы Божіп! Тутъ, добродію, нужно намъ взять вправо,

пбо мимо валу нѣтъ уже проѣзду. Да, и забылъ, что опъ при васъ былъ подкопацъ. Говорятъ, какъ свѣчка полетѣлъ подъ самое небо. Боже-то мой! сколько народу перемерло! Такъ и Дигтяй, вы говорите, теперь сидитъ на колу? И Кузубія потонулъ? А какой важный, какой сильный народъ былъ! Сколько, подумаещь, пропадаетъ козачества! Вы слышите, какъ постукиваютъ хлопци изъ мушкетовъ, что земля дрожитъ? Мы сейчасъ будемъ ѣхать мимо площади, гдѣ веселится народъ. Если вы въ хуторъ свой ѣдете, добро́дю, то и я съ вами. Лучше тамъ разговѣюсь святою пасхою, чѣмъ дома съ бабами. Пустъ жинка и дочка остаются сами. Вѣрно, добро́дю, что произошло межъ народомъ, потому что всѣ столинлись въ кучу и бросили всякое гулянье.«

Въ самомъ дёлё, на открывшейся въ это время изъ-за хатъ илощади, народъ сросся въ одну кучу. Качели, стрёльба и игры были оставлены. Остраница, взглянувши, тотчасъ увидёлъ причину: на шестё былъ повёшенъ, вверхъ ногами, Жидъ, тотъ самый, котораго онъ освободилъ изъ рукъ разгиваннаго народа. На ту же самую висёлицу тащили храбреца съ оборваннымъ усомъ. Остраница ужаспулся, увидёвъ это. »Нужно поспёшить «, говорилъ онъ, пришпоривъ коня. »Народъ не знаетъ самъ, что дёлаетъ. Дурии! Это на ихъ же головы рушитея. — Стойте козаки, рыцарство и посполитый народъ! Развё этакъ по-козацки дёлается? « произнесъ онъ, возвыся голосъ.

» Что смотръть его! « послышался говоръ между молодежью. » Въ другой разъ хочетъ у насъ вытащить изърукъ. «

» Послушайте, у кого есть свой разумъ.«

» Онъ правду говоритъ «, говорило нъсколько умъренныхъ.

»Молоды вы еще; я вамъ разскажу, какъ дѣлаютъ по-козацки. Когда одинъ да выйдетъ противъ трехъ, то бравой козакъ, противъ десяти — еще лучше; одинъ противъ одного — не штука; когда жъ три на одного нападутъ, то всѣ не козаки. Бабы они тогда, то, что... илюнутъ хочется; для святого праздника не скажу страмного слова. Какъ же хочете теперь, братцы, напастъ гурьбою на беззащитнаго, какъ-будто на какую крѣностъ страшную? Спрашиваю васъ, братцы«, продолжалъ Остраница, замѣтивъ вниманіе, »какъ назвать тѣхъ?...«

» А чёмъ назвать его? « заговорили многіе въ полголоса. » Что жъ есть хуже бабы, или того, что опъ постыдился сказать? мы не знаемъ. «

»Э, не къ тому рѣчь, паноче, своротилъ«, произнесло въ голосъ иѣсколько парубковъ. »Что жъ? Развѣ мы должны позволить, чтобъ всякая падаль топтала насъ погами?«

»Глуны вы еще: не великъ, видио, усъ у васъ«, продолжалъ Остраница. При этомъ многіе ухватились за усы и стали покручивать ихъ, какъ-бы въ опроверженіе сказаннаго имъ. «Слушайте, я разскажу вамъ одну присказку. Одниъ школяръ учился у одного дъяка. Тому школяру не далось Слово Божье. Върно, онъ былъ придурковатъ, а можетъ быть, и лънь тому мъшала. Дъякъ его поколотилъ дубникою разъ, а послъ въ другой, а тамъ и въ третій. «Крънко »бъется, проклятая дубниа«, сказалъ школяръ, принесъ съкиру и изрубилъ ее въ куски. «Постой же ты!« сказалъ дъякъ, да и вырубилъ дубниу, толщиною въ оглоблю, и такъ погладилъ ему бока, что и теперь еще болятъ. Кто жъ тутъ виноватъ: дубина развъ?«

» Нѣтъ, пѣтъ«, кричала толпа: »тутъ виноватъ, виноватъ король!....

Радуясь, что наконецъ удалось усноконть народъ и снасти шляхтича, Остраница выбхалъ изъ мъстечка и пришпорилъ коня сильнъе, и услышалъ, что его нагоняетъ Пудько. Какъ-то тягостно ему было видъть возлъ себя другого. Множество скопившихся чувствъ нудило его къ раздумью. Свъжій, тихій весенній воздухъ и притомъ нъжно одъвающіяся деревья какъ-то располагали вътакое состояніе, когда всякой товарищъ бываетъ скученъ въ глазахъ въчно упонтельной природы. И потому Остраница выдумалъ предлогъ отослать впередъ Пудъка въ хуторъ и ожидать его тамъ, а самъ, сказавъ, что ему еще нужно заъхать къ одному пану, поворотилъ съ дороги.

Этимъ распоряжениемъ Пудько, кажется, не былъ недоволенъ, или, можетъ, только принялъ на себя такой видъ, потому что чрезъ это ни мало не измъиялъ любимой привычкъ своей говорить. Вся разница, что, вмъсто Остраницы, онъ все это пересказывалъ своему гиъдку.... »О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, гдъдко! Онъ тогда еще, когда было подиялось все

наше рыцарство на Ляховъ, онъ славную имъ далъ перепойку. Дали бъ и они ему перцу, когда бы не улизнулъ на Запорожье. А правда? не важно Жидъ болтается на висълицъ? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него не достаетъ одной кленки въ головъ, ну да что жъ дълать? Онъ отъ короля поставленъ. Можетъ, ты еще спросишь, за что жъ Жида повъсили? въдь и онъ отъ короля ноставленъ? Гм! въдь ты дуракъ, гиъдко! Онъ за то врагъ Христовъ, нашего Бога святого.« Тутъ онъ ударилъ хлыстомъ своего скромнаго слушателя: убаюкиваемый его росказиями, (онъ) развъсилъ уши и началъ ступать уже шагомъ. »Оно не такъ далеко и хуторъ, а всё лучше раньше поспъть. Уже давно пора, хочется разговъться святою пасхою. Говори, моль, мит не пасхи, мив овса подавай. Потерши немножко: у пана славной овесъ, и пшеницы дамъ въ волю, и сивухою попотчиваютъ. Я давно хотвлъ у тебя спросить, гивдко, что лучше для тебя, пшеница, или овесъ? Молчишь? Ну, и будешь же въкъ молчать, потому что Богъ повельть только человьку, да еще одной маленькой нташкѣ...«

При этомъ онъ опять хлеснуль гнёдка, замётпвъ, что онъ заслушался и сталъ выступать по-прежиему.... Но, вмёсто того, чтобы слушать разсужденія нашихъ путешественниковъ на сёдлё и подъ сёдломъ, обратимся къ Остраницѣ, давно скакавшему по проселочной дорогѣ.

### ГЛАВА ІІ.

Какъ только рыцарь потеряль изъ виду своего сотоварища, тотчасъ остановиль рысь коня своего и поъхаль шагомъ. Солице ноказывало полдень. День быль ясный, какъ душа младенца. Изръдка
два, или три небольшихъ облака, повиснувъ, еще болъе увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солиечные были осязательно живительны; вътру не было, но щеки чувствовали какоето тонкое вліяніе свъжести. Птицы чиликали и перенархивали по
недавно разрытымъ шивамъ, на которыхъ стройно, какъ-будто
лъсъ житныхъ иголъ, восходилъ молодой посъвъ. Дорога входила

въ рытвины и была съ объихъ сторонъ сжата крутыми глинистыми стънами. Безъ сомивнія, очень давно была прорыта эта дорога въ горъ, потому что, по объимъ сторонамъ обрыва, поросла оръщникомъ; на самой же горъ подымались по объимъ сторонамъ, высокіе какъ стрѣла, осокори. Иногда перемеживала ихъ лоза, вся въ отпрыскахъ, пногда дубъ толстый, которому сто лътъ и весь убранный павеликой, плющомъ, величаво расширялъ свою (верхушку) надъ инми, и казался еще выше отъ обросшаго кустами подмостка. Мъстами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми вътвями на противоположную сторону и образовала надъ головою сводъ, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цвёты свои, между тёмъ какъ изъ деревъ часто выглядываль обрывь, весь въ цветахъ и самыхъ исжныхъ нервенцахъ весны. Уже дорога становилась шире, и наконецъ открылась равнина раздольная, ограниченная, какъ рамами, синеватыми вдали горами и лъсами, сквозь которые искрами серебра блестела прерваниая нить реки, и подъ нею стлались хутора. Здёсь путешественникъ нашъ остановился, всталъ съ коня и, какъ будто въ усталости, или въ желаніи собраться съ мыслями, сталь новаживать по лбу. Долго стояль онь въ такомъ положении, наконецъ, какъ-бы решивишев на что, сель на коня и, уже не останавливаясь болье, новхаль въ ту сторону, гдв на косогорь спивли салы и, по мъръ приближенія, становились бълье разбросанныя хаты. Посреди хутора, надъ прудомъ, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, свътлица. Очеретяная ея крыша, містами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свъжая заплата, съ бълою трубою, покрытою Китайскою чорною крышею, была очень хороша. Въ ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерніе, и тогда ивжной серебророзовой колеръ цвътущихъ деревъ становился пурпурнымъ. Путешественипкъ слёзь съ коня и, держа его за поводь, пошель пешкомъ черезъ плотину, стараясь идти какъ можно тише. Полощущіяся утки покрывали прудъ; черезъ плотину дъвочка лътъ семи гнала гусей.

»Дома панъ?« спросиль путещественникъ.

<sup>»</sup> Дома«, отвѣчала дѣвочка, разинувъ ротъ и ставъ совершенно въ машинальное положеніе.

- ъА пани? «
- »II нани дома.«
- » А папночка? « Это слово происнесъ путешественникъ какъ-то тише и съ какимъ-то страхомъ.
  - » II панночка дома.«
- »Умная дівочка! Я дамъ тебі пряникъ. А какъ сділаешь то, что я скажу, дамъ и другой, еще и элотой.«
  - », [aii! « говорила простодушно дівочка, протягивая руку.
- »Дамъ, только пойди напередъ къ панночкъ п скажи, чтобъ она на минуту вышла; скажи, что одна баба старгя дожидается ея. Слыштинь? Ну, скажень ли ты такъ? «
  - » Скажу.«
    - »Какъ же ты спажещь ей?«
    - »Не знаю.«

Рыцарь засмъялся и повториль ей снова тъ самыя слова, и, наконець, увършвшись, что она совершенно поняла, отпустиль ее впередь, а самъ, въ ожиданіи, съль подъ вербою.

Не прошло дъсколько минутъ, какъ мелькнула между деревьевъ бълая сорочка, и дъвушка лътъ осьмиадцати стала спускаться къ греблъ. Шелковая плахта и капиемировая запаска туго обхватывали станъ ея, такъ что формы ея были какъ-будто отлиты. Стройная росконы совершенно ивжныхъ (членовъ) не была скрыта. Широкіе рукава, шитые краснымъ шелкомъ и вей въ мережкахъ, спускались съ плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, какъ спъющее яблоко, тогда какъ на груди подъ сорочкою упруго трепетали молодыя перси. Сходя на плотину, она подняла дотолъ опущенную голову, и черныя очи п брови мелькнули какъ молнія. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно неприближавшееся къ Греческому; инчего въ ней не было законно, прекрасно правильно. Ни одна черта лица, ничто не соотвътствовало съ положенными правилами красоты. Но въ этомъ своенравномъ, ибсколько смугловатомъ, лицъ что-то было такое, что вдругъ норажало. Всякій взглядъ ея полонилъ сердце, душа занималась, и дыханіе отрывното становилось.

» Откудова ты, человъкъ добрый?« спросила она, увидъвъ козака.

» А изъ Запорожья, панночка; зашелъ сюда по просьбъ одного пана, коли милости вашей извъстно, Остраницы.«

Дъвъшка вспыхнула. »А ты видълъ его?«

- »Видълъ. Слушай...«
- » Нѣтъ, говори по правдѣ! Еще разъ: видѣлъ?«
- » Видѣлъ.«
- » Забожись! «
- »Eii. Bory!«
- »Ну, теперь я върю«, повторила она, немного успоконвшись. »Гдъ жъты его видълъ? Что, онъ не позабылъ меня?«

»Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристаль мой, голубочко моя! Развѣ хечется мнѣ быть растонтану Татарскимь конемь....« Туть онъ схватиль ее за руки и посадиль подлѣ себя. Удивлене дѣвушки такъ было велико, что эна краснѣла и блѣдиѣла, не произнося ин одного слова.

»Какъ ты сюда прилетѣлъ?« говорила она шенотомъ. »Тебя поймаютъ. Еще никто не позабылъ про тебя. Ляхи еще не вышли изъ Украины.«

»Не бойся, моя голубочка, я не одинъ, не поймаютъ. Со мною соберется кой-кто изъ нашихъ. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?«

» Люблю«, отвѣчала она и склонила къ нему на грудь разгорѣвшееся лицо.

»Когда любишь, слушай же, что я скажутебъ. Убъжимъ отсюда! Мы поъдемъ въ Польшу къ королю. Онъ, върно, дастъ миъ землю. Не то — поъдемъ хоть въ Галицію, или хоть къ султану; и онъ дастъ миъ землю. Мы съ тобою не разлучимся тогда и заживемъ такъ же хорошо, еще лучше, чъмъ тутъ на хуторахъ нашихъ. Золота у меня много, ходить есть въ чемъ; суконъ, енанечекъ, чего захочешь только.«

»Нѣтъ, нѣтъ, козакъ«, говорила она, кивая головою съ грустнымъ выраженіемъ въ лицѣ, »ие пойду съ тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чѣмъ всѣ сокровища, но не пойду. Какъ я оставлю престарѣлую бѣдную мать мою? Кто приглядитъ за нею? »Глядите, люди«, скажетъ она, »какъ бросила меня родная дочка моя!« Слезы покатились по ея щекамъ.

»Мы не надолго ее оставимъ«, говорилъ Остраница: »только годъ одинъ пробудемъ на Переконѣ, или на Запорожьи, а тогда и выхлоночу грамоту отъ короля и шлихетство, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажетъ инчего и отецъ твой.«

 $\Gamma$ аля ( $^1$ ) качала головою всё съ тою же грустью и слезами на глазахъ.

»Тогда мы оба станемъ присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старъе твоей. Но я не сижу съ ней вмъстъ. Придетъ время, жейюсь; тогда и не то будетъ со мною.«

»Нѣтъ, полно. Ты не то, ты козакъ; тебѣ подавай коня, сбрую да степь, и больше ин о чемъ тебѣ не думать. Еслибъ я была козакомъ, и я бы закурила люльку, сѣла на коня — и все миѣ (при этомъ она махиула граціозно рукой) трынъ трава! Но что будень дѣлать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтобъ перемѣнилъ долю.... Еще бы я кпиула, можетъ быть, когда бы она была на рукахъ у добрыхъ людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каковъ отецъ мой. Онъ прибъетъ ее; жизнь ея, бѣдненькой моей матери, будетъ горше полыни. Она и то говоритъ: »Видно, скоро поставятъ »надо мною крестъ, потому что миѣ всё спится — то, что она замужъ »выходитъ, то, что рядятъ ее въ богатое платье, но всё съ чер»ными пятнами.«

»Можетъ быть, тебъ оттого такъ жаль своей матери, что ты не любишь меня«, говорилъ Остраница, поворотивъ голову на сторону.

»Я не люблю тебя? Гляди: я, какъ хмѣлинонька около дуба, выось къ тебѣ«, говорила она, обвивая его рукуми. -»Я безъ тебя не живу.«

»Можетъ быть, вмъсто меня, кто-ицбудь другой съ шпорами, съзолотою кистыю.... что добраго? можетъ быть и ляхъ?«

»Тарасъ, Тарасъ! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебъ? Зачъмъ ты укоряешь меня такъ?« сказала она, почти упавъ на колънахъ и въ слезахъ.

<sup>(1)</sup> Въ подлинникѣ *Ирися;* но какъ авторъ въ другихъ мѣстахъ всегда называетъ се Галей и т. и. уменьшительными отъ *Ганиа*, то мы и здѣсь сохраняемъ это названіе. Подобное измѣненіе именъ, въ черновыхъ рукуписяхъ, у Гоголя встрѣчается весьма часто.

О. Б.

»О, вашъ родъ таковъ«, продолжалъ всё такъ же Остраница. »Вы, когда захотите, подымете такой вой, какъ десять волчицъ, и слезъ, когда захотите, напускаете въ волю, хоть ведра подставляй, а какъ на дълъ....«

»Ну, чего жъ тебѣ хочется? скажи, что тебѣ нужно, чтобъ я сдълала? «

» Ъдень со мною, или иттъ? «

» Вду, вду!«

»Ну, вставай, полно плакать, встань, моя голубочка, Галочка! « говориль онъ, принимая ее на руки и осыпая поцълуями. »Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя инкто не отниметь. Не плачь, моя.... За это согласень я, чтобъ ты осталась съ матерью до тъхъ поръ, нока не пройдеть наше горе. Что дълаеть отецъ твой? «

»Онъ спалъ въ саду подъ грушею. Теперь я слышу — ведутъ ему коня. Върно, онъ проспулся. Прощай! Совътую тебъ ъхать скоръе и лучше не попадаться ему теперь: онъ на тебя сердитъ.« При этомъ Гаппа вскочила и побъжала въ свътлицу....

Остраница медленно садился на коня и, вывхавши, оборачивался ивсколько разъ назадъ, какъ-(бы) желая вспомнить, не позабыль ли онъ чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнуль онъ своего хутора.

## $\Gamma A A B A III.$ (1)

Небо звъздилось, но одъяние ночи было такъ темно, что рыцарь едва могъ только примътить хаты, почти подъвхавъ къ самому хутору. Въ другое время путешественникъ нашъ, върно бы, досадовалъ на темноту, мъшавшую взглянуть на знакомыя хаты, сады, огороды, нивы, съ которыми срослось его дътство. Но теперь столько его занимали происшествія дия, что онъ не обращалъ вииманія, не чувствовалъ, почти не замътилъ, какъ заливавшіяся

<sup>(1)</sup> Хотя означенія этой главы въ подлинникѣ нѣтъ, но по предыдущимъ и послѣдующимъ означеніямъ главъ, также по ходу разсказу и начала въ красную строку, что тутъ должно поставить главу III.

О. Б.

со всъхъ сторонъ собаки прыгали передъ лошадью его такъ высоко, что, казалось, хотёли ее укусить за морду. Такъ человёкъ, котораго будять, открываеть на мгновеніе глаза и тотчась ихъ смежаетъ; онъ еще не разлучился со сномъ, лѣнивою рукою берется онъ за халатъ, но это движение для того только, чтобы обмануть разбудившаго его, будто онъ хочетъ вставать, а между тъмъ онъ еще весь въ бреду и во сит, щеки его горятъ, можно читать цълый водопадъ сновидъний, и утро дышеть свъжестью, и лучи солица еще такъ живы и прохладны, какъ горный ключъ. Конь самъ собою ускорилъ шагъ, угадавъ родимое стойло, и только одив привытливыя вытви вишень, которыя перекидывались черезы плетець, ственявшій узкую улицу, хлестая его полу, заставляли его иногда браться рукою. Но это движение было машинально. Тогда только, когда конь остановился подъ воротами, онъ очнулся. Инзенькія, ръшетчатыя ворота отворились (1). Кто такой... (2)? Наконецъ ворота отворились. Остраница въйхалъ въ дворъ, но, къ изумленію своему, чуть не наёхалъ на трехъ улановъ, спящихъ въ мундпрахъ. Это выгнало всё мечты изъ головы его. Онъ терялся въ догадкахъ, откудова взялись Польскіе уланы. Неужели усивли уже узнать о его прівздв? И кто бы могь открыть это? Если бы точно узнали, то какъ можно вътакомъ скоромъ времени совершить эту экспедицію! и гді же ділись его Запорожцы, которые должны были еще утромъ поситть въ его хуторъ? Все это повергло его вътакое недоумбніе, что не зналь, на что решиться: ъхать ли опрометью назадъ, или остаться и узнать причину такой странности? Онъ быль тронуть тімь самимь, который отперь ему ворота. Первымъ движеніемъ его было схватиться за саблю, но увидъвши, что это Запорожецъ, онъ опустиль руку. . . . . .

»Но пойдемте, добро́дію, въ свѣтлицу: здѣсь не въ обычаѣ говорить и слишкомъ многолюдно«, отвѣчалъ послѣдній.

Въ съияхъ вышла старая ключница, бывшая иянькою нашего

<sup>(1)</sup> Можеть быть, къ этому мѣсту относится слѣдующая выпоска на полѣ безъ значка: »Очень замѣчательная достопамятность въ той странѣ, гдѣ древностей почти не было, гдѣ брани, вѣчныя брани, производили жестокое опустошеніе и обращали въ руины все то, что успѣвали сдѣлать трудолюбіе и общежительность.«

О. Б.

<sup>(2)</sup> Туть очевидно пропускъ.

O. B.

героя, съ каганцемъ въ рукахъ. Осмотрѣвши съ головы до ногъ, она начала ворчатъ: »Чего васъ чортъ носитъ сюда? Всё только пугаютъ меня. Я думала, что нашъ панъ пріѣхалъ. Что вамъ нужно? Еще мало горѣлки выпили!«

»Дурна баба! раземотри хорошенько: въдь это панъ вашъ.«

Горпина снова начала осматривать, съ ногъ до головы, наконецъ вскрикнула: »Да это ты, мой голубчикъ! Да это жъ ты, моя матусенька! Да этожъ ты, мой соколъ! Какъ ты перемѣнился весь! какъ же ты загорѣлъ! какъ же ты обросъ! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не далъ перемѣнить.« Тутъ Горпина рыдала на-взрыдъ и подияла такой вой, что лай собакъ, который было началъ стихать, удвоился.

»Сумасшедшая баба! « говориль Запорожець, отступивши и плюнувши ей прямо въ глаза. »Чего съ-дуру ты заревъла? Народъ весь разбудишь! «

»Довольно, Горпина, «прервалъ Остраница. »Вотъ тебъ, гляди

на меня! Ну, насмотрѣлась?«

»Насмотрѣлась, моя матинько родная! Какъ не наглядѣться! Еще когда ты маленькимъ былъ, носила я на рукахъ тебя, и какъ выросталъ, все не спускала глазъ. Боже мой! а теперь вотъ опять вижу тебя! Охо, хо!« и старуха принялась рыдать.

»Слушай, Горпино! « сказаль Остраница, примътивъ, что ключница для праздипка наградила себя порядочной кружкой водки. »Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и напередъ нодай святой насхи, потому что я, грѣшной, цѣлый день сегодня не ѣлъ ничего, и даже не попробовалъ пасхи.«

»Да ты жъ вотъ ото и пасхи не отвёдываль, бёдная моя головонька! Несчастная горемыка я на этомъ свёть! Охо, хо!« Тутъ потоки словъ, разрёшившись, хлынули цёлымъ водопадомъ, и, подперши щеку рукою, снова была готова завыть, еслибъ не увидёла надъ собою замахнувшейся руки Запорожца.

»Добро́дію! Позволь кіемъ угомонить проклятую бабу! Что это за соромимії народъ! Пришла жъ охота Господу Богу породить эдакое племя? Или ему педосугъ тогда быль, пли Богъ его знаетъ, что ему тогда было...«

Остраница вошель между тімь въ світлицу, и, снявши съ

себя кобенякъ, бросился на коверъ. Дорога, голодъ и встръчи привели его въ такую усталость, что онъ растянулся на немъ въ совершенной безчувственности, не обращая ни на что глазъ свопхъ, а потому наше дёло представить описаніе свётлицы, замізчательной темъ, что постройка ся принадлежала еще деду. Это была просторная, болье продолговатая, компата и вмысты сытымы низенькая, какъ обыкновенно строилось въ тотъ въкъ. Ничто въ ней не говорило о прочности, какъ-будто, кажется, строитель быль твердо увърень, что ея существование должно быть эфемерно; но, однакожъ, поправками, придълками ветхое строеніе простояло около 50 лътъ. Стъны были очень тонки, вымазаны глиною и выбѣлены снаружи и внутри такъ ярко, что глаза едва могли выносить этотъ блескъ. Весь полъ въ комнатъ былъ тоже вымазанъ глиною, но такъ былъ чисто выметенъ, что на немъ можно было лечь, не опасаясь запылить платья. Въ углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ея, обращенная къ окнамъ, была покрыта бълыми изразцами, на которыхъ синею краскою были нарисованы подобія человъческимъ лицамъ, съ желтыми глазами и губами; другая сторона состояла изъ зеленыхъ гладкихъ изразцовъ. Окна были невелики, круглы; матовыя стекла, пропуская свъть, не давали видъть ничего происходящаго на дворѣ. На стѣнѣ висѣлъ портретъ дѣда Остраницы, воевавшаго съ знаменитымъ Баторіемъ. Онъ быль изображенъ почти во весь рость, въ кольчугъ, съ нарою (пистолетовъ), заткнутою за поясъ; нижняя часть ногъ до колънъ не была только видна. Потемившия краски едва позволяли видъть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно неизвъстно. Надъ дверьми висъла тоже небольшая картина, масляными красками, изображающая беззаботнаго Запорожца съ бочонкомъ водки, съ надинсью: Козакъ, душа правдивая, сорбики не мае... которую и донынъ можно иногда встрътить въ Малороссін. Противъ дверей — пъсколько иконъ, убранныхъ калиною и зелеными цвътами, а подъ инми на длинной деревянной доскъ парисованы сцены изъ Священнаго Писанія: туть быль Авраамъ, прицъливающійся изъ пистолета въ Исчака; Святой Даміянъ, сидящій на колу, и другія подобныя; подалье висьло ньсколько Турецкихъ саблей, ружье и разной величины инстолеты; иеподвижной подъ образами столъ, накрытый чистою скатертью, шитою по краямъ краснымъ шелкомъ и потемиввшимъ серебромъ; два страннаго вида складныхъ стула. Въ этомъ состояло убранство комнаты.... Остраница между тѣмъ теперь только замѣтилъ, что столъ былъ уставленъ деревянными блюдами съ яйцами, масломъ и бараниною. Первымъ его дѣломъ было приблизиться къ столу и утолить голодъ, который теперь началъ сильнъе докучать ему.

Въ это время вошла старая ключница съ пасхой, съ сметаной, сыромъ.... »Вотъ тебъ, паноченьку мой, и розговины! вотъ тебъ и сметанка!« говорила (она). Куда жъ, какъ онъ проголодался, бъдная дытына! Вотъ какъ не подавится, бъдненькой! А я-то думала, а я хлопотала, а я бъгала, какъ бы ему, моему сердечному.... А вотъ Господь сподобилъ, опять вижу тебя. Охо хо хо!«

Горинна опять было хотълав сплакнуть, но Запорожецъ Пудько, который началь было подремывать, сидя возлѣ насыщавшаго свой голодъ рыцаря, устремилъ на нее глаза и проговорилъ: »Ну, ну, ну! попробуй только заревъть!...«

Это остановило намъреніе Горинны... »Кушай, кушай, сынку мой, ѣжь на здоровье, ѣжь, я не мъшаю тебъ! Голубчикъ мой! Мы съ тобою только разъ христосовались. Нохристосуемся, мое серденько, похристосуемся!...«

»Еще и христосоваться!« проговориль Пудько сквозь сонъ и ехватиль, вмъсто пуги, Горпинину погу. »Пошла, проклятая баба!«

» Ступай, Горпино! полно тебѣ! « проговорилъ поднявшись Остраница. »А не то—я, не смотря на то, что ты стара и что няичила меня, сниму со стѣны вотъ этотъ батогъ; видишь ты этотъ батогъ? «

Горпина, которая привыкла бояться повелительного голоса своего пана, немедленно повиновалась.

»Ну, Пудько, гдъ жъ Тарасъ? Что онъ дълаетъ? Что я его не вижу?«

»А что жъ ему дълать? Извъстно, что дълаетъ: спитъ гдъ инбудь.«

»Ну, такъ пойдемъже и мы спать, только не въдушной хатъ, а на вольной землъ, подъ небомъ.«

Запорожецъ натяпулъ на себя кобенякъ и пошелъ вслъдъ за Остряницею изъ свътлицы, въ которой чуть было не упалъ, зацъпившись за что-то лежавшее у порога, но голосу которое не дало.... завернувшеся въ кожухъ туловище. Остраница узналъ Курника, но замътно было, что онъ хватилъ не меньше другихъ, потому что въ его словахъ была страшная противуположность тому, что онъ говорилъ въ дверяхъ. Даже самый образъ выраженія быль не тоть; множество словъ вмѣнивалось такихъ, которыхъ странно и смѣшно было отъ него слышать. Замѣтно было, что на него много сделали вліянія Запорожцы. »Эхъ, елавная конница у Запорожцевъ! Торо, торо, торо, гайда, гопъ, гопъ, гопъ! Эка славная конница у Запорожцевъ! Торо, торо, гопъ, гопъ, гопъ! Экая концица! Послушай, любезный, скажи миъ, какая у тебя конница? У меня конница Запорожская. Откуда ты мужичекъ? Зачимъ ты пришелъ? Не могу, у меня концица Запорожекая! Торо, торо! гонъ, гонъ, гонъ!« и тому подобное. Остраница попробовалъ было подойти къ отаману, котораго указалъ ему Пудько, и который лежалъ, подмостивши себъ подъ голову бочонокъ, но услышалъ отъ него одни совершенно безсвязныя слова, изъ чего онъ заключилъ, что всѣ гуляли какъ слъдуетъ и рѣшился оставить ихъ въ покоъ и присоединиться къ другимъ, которыхъ храпъніе составляло самую фантастическую музыку. Скоро веж уснули.

### ГЛАВА IV.

Одидкожъ Остраница долго не могъ заснуть; напрасно переворачивался онъ съ боку на бокъ и пробоваль всѣ положенія: сонъ убѣгаль его, а думы незванныя приходили и силою ложились въ его мозгу. Итакъ его пріѣздъ понапрасну, и столько приготовленій, столько заботъ—все по-пустому! Она не хочетъ ѣхать съ нимъ. Такъ это вотъ та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери. Для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда можетъ еще думать при ней объ другомъ,

объ отцѣ, или матери? Нѣтъ, иѣтъ! Гдѣ любовь настоящая, такая, какъ слѣдуетъ, тамъ ин брата, ин отца. »Нѣтъ, я хочу«, говорилъ онъ, разбрасывая руками, »чтобъ она или меня одного, или никого не любила. Цѣлуй, прижимай меня! Пусть жаръ дыханья твоего иахиётъ миѣ на щеки! Обпимая дрожащія груди твои, прижму тебя къ моимъ грудямъ.... И еще при этомъ думать объ другомъ!... О, какъ чудно, какъ страино создана женщина! какъ приводитъ она въ бѣшенство! весь горишь, иламень въ сердцѣ, душно, тоска, агонія.... а сама она, можетъ, и не знаетъ, что творитъ въ насъ; она себѣ такъ, какъ ин въ чемъ не бывало;

глядитъ безпечно и не знаетъ, что за муку произвела. «

Но между тъмъ луна, илывшая среди необозримаго синяго, роскошнаго неба, и свъжій воздухъ весенней ночи, на время успокопли его мысли. Они излились въ длинномъ монологѣ, изъ котораго, можетъ быть, узнаютъ (читатели) сколько-нибудь жизнь героя. » II какъ ей, въ самомъ дѣлѣ, оставить бѣдную мать, которая, когда-то ее лелъяла и которую теперь она лелъетъ, для которой пътъ ничего и не будеть уже ничего въ мір'є, когда не будеть ея дочери! Она одна для цея радость, пища, жизнь, защита отъ отца. Нътъ, права она. II странная судьба моя! Отца я не видаль: его убили на войнь, когда меня еще на свъть не было. Матери я видъль только поспивлый и разръзанной тругъ. Она, говорятъ, утонула. Ее вытянули мертвую и изъ утробы ея выръзали меня безчувственнаго, неживого. Какъ мив спасли жизнь, самъ не знаю. Кто спасъ? Зачёмъ спасъ? Чучше бы пропалъ не живши. Чужіе призрълп. Еще малъ и глунъ — я уже навздинчалъ съ Запорожцами. Опять случай: меня полонили Татары. Негодится жить межъ ними Христіанину, инть кобылье молоко, фсть конину. Однакожъ я быль весель душой: ну, вырвусь же когда-инбудь на волю! И воть, прітхаль я на родину, спрота спротою. Не встрътилъ никого знакомаго. Хотя бы собака была такая, которая знала меня въ дѣтствѣ. Никого, никого! Однакожъ, хотя грустная, а веё-таки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядёть, какъ посмёвался католикъ православному народу, и вмъстъ весело. Подожди, Ляше, увидишь, какъ растопчетъ тебя вольной рыцарскій пародъ! Что же? Вотъ тебъ и похвалился! Увидълъ хорошую дивчину-и все

позабыль, все къ чорту. Охъ, очи, черныя очи! Захотъль Богъ погубить людей за беззаконья, и послаль васъ! Собиралось компанейство отметить за ругательства надъ Христовой върой и за безчестье народу. Я ни объ чемъ не думалъ; меня почти силою уже заставили ехватиться за саблю. Въ педобрый часъ затъялась эта битва. Что-то делають теперь въ Польше, коронный гетманъ, сеймъ и полковники? Гръхъ лежать на печкъ. Еще бы можно было поправить; вражья потеря, вёрно бъ, была сильнее, когда бы удариль изъ засады я. Бѣжатъ веѣ Запорожцы, увидавъ, что п Галькинъ отецъ держитъ вражью сторону. А всё вы, черныя брови, вы всему виной! И вотъ я снова прітхаль сюда съ ватагою товарищей; но не правда и месть, и жажда искупить себъ славу силой и кровью завели меня: всё вы, всё вы, черныя брови! Дивно диво любовь! Ній объ чемъ не думаешь, ничего на світть не хочешь, только сидать бы возла ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе къ себъ, такъ, чтабы пылающия щеки коснулись щеки, и всё бы глядъть. Воже! какъ хороша она была смъясь! Вотъ она глядитъ на меня. Серденько мое Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь дёлаешь ты? Върно, лежишь и думаешь обо миъ! Нътъ, не могу, не въ снлахъ оставить тебя, не оставлю ни за что... Какъ же придумать?... Голова моя горить, а не знаю, что дёлать! Поёду къ королю, упрошу Ивана Остраницу: онъ добудетъ мит грамоту и королевское прощеніе, и тогда, тогда.... Богъ знаетъ, что тогда будеть! Только всё лучше, я буду близъ нея жить....«

Такъ раздумываль и почти разговариваль самъ съ собю Остраница; уже онъ обнималь въ мысляхъ и свою Галю вмъстъ; уже воображаль себя съ нею въ одной свътлицъ: они хозяйничаютъ въ этомъ земномъ раъ... Но настоящее онять вторгалось въ это обворожительное будущее, и герой нашъ въ досадъ снова разбрасывалъ руками; кобенякъ слетъль съ плечъ. Его терзала мысль, — какимъ образомъ объявить Занорожскому отаману, что теперь уже онъ оставляетъ свое предпріятіе и, стало быть, помощь его больше не нужна.

#### ТЛАВА У.

Какъ только проснулся Остраница, то увидълъ весь дворъ, наполненный народомъ: усы, байбараки, женскіе нарчевые кораблики, бълые намитки, синіе кунтуши; однимъ словомъ, дворъ представлялъ игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или еще лучше — пестрый Турецкій платокъ. Со всею этою кучею парода (онъ) долженъ былъ перецъловаться и принять неимовърное множество янцъ, подносимыхъ въ шанкахъ, въ илаткахъ, утокъ, гусей и прочаго, — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, съ своей стороны, долженъ быль отблагодарить угощеніемъ. Подносимое принято; и такъ какъ яііца, будучи сложены въ кучу, казались пирамидою ядеръ, выставленныхъ на крѣпости, (то) противъ этого хозяниъ выкатилъ двѣ страшныя бочки горилки для всёхъ гостей, и хуторянцы сдёлали самое страшное вторжение. Поглаживая усы, толпа нетерпъливо ждала вступить въ бой съ этимъ драгоценнымъ непріятелемъ. П между тъмъ, какъ одна толпа бросплась на столы, трещавшіе подъ баранами, жареными поросятами съ хрѣномъ, а другая къ пустившему хмёльный водопадъ, боясь ослушаться власти отамана, который наконецъ гостей принималъ, держа въ рукахъ илеть. Онъ хлесталъ ею одного изъ подчиненныхъ своихъ, который стоялъ неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стенанія при каждомъ ударъ. Отаманъ приговаривалъ такимъ дружескимъ образомъ, что, если бы не было въ рукахъ плети, то можно подумать, что онъ ласкаеть родного сына. »Воть это тебъ, голубчикъ, за то, чтобъ ты зналъ, какъ почитать старшихъ! Вотъ тебъ, любезный, еще на придачу! А вотъ еще одниъ разъ! Вотъ тебъ еще другой! Да, голубчикъ, не дълай такъ! А вотъ это какъ тебъ кажется? А этотъ вкусень? Признайся, вкусень? Когда по вкусу, такъ вотъ еще! Что за славная плеть! чудная плечь! Что, какъ вотъ это? Нашлись же такіе искусники, что такъ хитро сплели! Что, танцуень? Тебъ, видно, весело? То-то, я зналъ, что будеть весело. Я за тъмъ тебя и благословляю такъ....« Туть отаманъ наконецъ увидёлъ, что молодой преступникъ, не смотря на

все стараніе устоять на мѣстѣ, готовъ былъ закричать, остановился. »Ну, теперь подойди, да поклонись же! да ниже поклонись! « Принявшій удары, съ опущенными глазами, изъ которыхъ ручьемъ нолились слезы, приблизился и отвѣсилъ поклонъ въ ноги. «Говори, любезный: »Благодарю, ота́манъ, за науку! «

»Благодарю, ота́манъ, за науку!«

»Теперь ступай! гайда! задай перцу баранамъ и спвухъ!«

»Христосъ воскресъ, ота́манъ! Мы съ тобою еще не христосовались.«

»Воистину воскресъ! « отвъчалъ отаманъ.

»Нѣтъ ли у тебя въ запасѣ губки? Охота забираетъ люльку затянутъ. « При этомъ вложилъ въ зубы, вытянутую изъ кармана, трубку.

» Какъ не быть! Это занятіе, когда матерія не клептся. «

»A хот<br/>ѣль сказать тебѣ дѣло«, примолвиль Остраница съ и<br/>ѣкоторою робостью.

»Гмъ! « отвъчаль отаманъ, вырубая огонь.

»Мое дѣло не клеится.«

»Не клентся? « промолвиль, разкуривая трубку. »Погано! «

»Врядъ ли намъ что-нибудь достанется здѣсь.«

»Не достанется?... Погано!«

»Придется намъ возвратиться ни съ чемъ.»

»Гмъ!...«

» Что жъ ты скажешь? « спросиль Остраница, удивленный такимъ неудовлетворительнымъ отвътомъ.

»Когда воротиться «, отвічаль Запорожець, сплевывая, »такъ н воротиться. «

Остраницу ободрило такое равнодушіе. »Только я не пойду съ вами; я поъду на время въ Варшаву. «

»Гмъ! « отвъчалъ ота́манъ.

» Ты, можетъ быть, сердитъ на меня, что я такъ обмануль и поддълъ васъ? Божусь, что я сэмъ обманутъ! «

При этомъ словъ грянула музыка, и вмъстъ съ нею, грянуло топанье танцующихъ. Отаманъ, съ трубкою въ зубахъ, рынулся въ кучу танцующей компаніи, очистилъ около себя кругъ и пустился выбивать ногами и навприсядку.

# ГЛАВА VI. (1)

» Что онъ себъ думаетъ, этотъ дурень Остраница? « говорилъ старый Пудько. »Щенокъ! Еще и родинться задумалъ со мною! Поганый нечестивецъ! Поди къ матери своей, чтобъ доносила напередъ! И достало духу у него сказать это! Дурень, дурень!« говориль онъ, дергая рукою, какъ-будто драль кого-нибудь за волоса. »Молодъ козакъ, усъ еще не прошибся!« Старой Кузубія пе не могъ вынести, когда видёль, что младшій равняется съ старшими. »Знать должень, что кто задумаль метить, тоть у того не жди уже милости. Скоръе солице посинъетъ, вмъсто дождя посыплются раки съ неба, чъмъ я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! не хочу! Жинко! жинко! « Этимъ восклицанісмъ обыкновенно оканчиваль онъ свою рѣчь, когда бываль сердить, и Боже сохрани жинкъ не явиться тотъ же часъ! На эту ръчь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло, изсохнувшее, едва живущее существо. Видъ ея не вдругъ (поражалъ). Нужно было взглядьться въ этотъ несчастный остатокъ человъка, въ это олицетворенное страданіе, чтобы ощутить въ душ' неизъяснимо тоскливое чувство. Представьте себъ длинное, все въ морщинахъ, почти безчувственное лицо; глаза черные какъ уголь, иъкогда — огонь, буря, страсть, нынъ неподвижные; губы какого-то мертваго цвъта, но однакожъ онъ были, когда-то свъжи, какъ румянецъ на спѣющемъ яблокъ. И кто бы подумалъ, что этъ слившіяся въ сухія рупны черты были когда-то чертовски очаровательны, что движение этихъ, ибкогда гордыхъ и величественныхъ бровей, дарило счастіе, необитаемое на земль? И все прошло, прошло незамѣтно, образовалось наконецъ лишь безчувственное тер-

Примыч. издателя. Отрывокъ этотъ принадлежитъ къ молодымъ произведеніямъ Гоголя. Опъ сохранился въ числъ бумагъ, оставленныхъ Гоголемъ у В. А. Жуковскаго. Нъкоторыя слова остались неразобраны.

<sup>(1)</sup> Въ подлинникъ эта глава также не обозначена.

# HAMATHA HOBBETH. (4)

1

» Мит нужно видеть полковника, я къ нему имею дело, говориль почти отрокъ 17 летъ.«

»Тебѣ полковцика! « произнесъ съ разстановкою сторожевой козакъ передъ большою ставкою, разсматривая и переминая на своей ладони, съ какой-то недовѣрчивостью, грубо искрошенный табакъ, это странное растепіе, которое съ такою изумительною быстротою разнесла по всѣмъ концамъ міра вновь открытая часть свѣта. Трубка давно была у него въ зубахъ. »На что тебѣ полковникъ?«

При этомъ взглянулъ на просителя. Это былъ почти отрокъ, готовящиея быть юношею, уже съ мужественными чертами лица, воснитаннаго солицемъ и здоровымъ воздухомъ, въ полотияномъ крашенномъ кунтушъ и шароварахъ.

»Съ тобою не станетъ говоритъ полковникъ«, (продолжалъ козакъ, поглядъвши) на него почти презрительно и закинувъ назадъ алый рукавъ съ золотымъ шнуркомъ.

» Отъ чего же онъ не станетъ со мною говорить? «

»Кто жъ съ тобою станетъ говорить? ты еще недавно молоко сосалъ. Если бъ у тебя былъ хотя суконный кунтушъ да пищаль, тогда бы..... Въдь ты, върно, поповичъ, или школяръ? Знаешь ли ты этотъ инструментъ?« промолвилъ (козакъ) съ видомъ самодовольной гордости и указавъ на трубку.

<sup>(1)</sup> Найдены въ бумагахъ Гоголя и списаны падателемъ.

»Ты думаешь...«

Но молодой воинъ остановился, увидѣвши, что козакъ вдругъ опѣмѣлъ, потупилъ глаза въ землю и сиялъ шанку, до того за-

ломленную на бекрень.

»Двое пожилыхъ мужчинъ, одинъ въ короткомъ илащѣ съ рукавами, выложенными золотомъ, съ узорно вычеканенными пистолетами, другой, одѣтый въ кафтанъ съ серебряною привлзанною къ поясу чернильницею, — прошли мимо и вошли въ ставку. Дрожа и блѣдиѣя, шмыгнулъ за инми молодой человѣкъ и вошелъ (также).

Молодой человътъ ударилъ поклонъ въ самую землю, отъ страха, увидъвши, какъ вошедшіе передъ нимъ богатые кафтаны поклонились въ поясъ и почтительно потупили глаза въ землю съ тъмъ безграничнымъ повиновеніемъ, которое такъ странно (со)вмъщалось съ необузданностію, чъмъ особенно славились козацкія войска.

На разостланномъ коврѣ сидѣлъ полковипкъ. Ему, казалось, на видъ было лѣтъ 50. Волоса у него стали сѣдѣть; бѣлые усы опускались внизъ. Длинный синій рубецъ на щекѣ и лбу придавать почти броизовому его лицу... (¹) нельзя было отыскать никакой рѣзкой характерной черты, но просто выражалась спокойная увѣренность..... Тлядя на него можно было узнать, что у него рука желѣзная и.... можетъ управлять.... На немъ были широкіе, синіе, съ серебромъ шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Нѣсколько пистолетовъ и ружей стояло и висѣло по угламъ ставки, съ уздами; (въ) углу куль соломы. Полковникъ самъ своей рукой чинилъ свое сѣдло, когда вошли къ нему инсарь и асаулъ.

»Здравствуйте, панове, мон върные, мон добрые товарищи! Вотъ вамъ приказъ: Не пускать далеко на попасъ, потому что Татарва теперь рыскаетъ по степямъ.... Да чтобъ козаки не стръляли по дорогамъ дрофъ и гусей, потому что и порохъ избавятъ даромъ..... Сухари да вода, то козацкая ъда..... Да смотрите оба, чтобы все было какъ слъдуетъ.... вчера я видълъ, какъ козакъ кланялся что-(то) слишкомъ часто (на) конъ. Я хотълъ было

<sup>(1)</sup> Точки здёсь означають непрочитанныя мёста.

протрезвить его, да жаль было заряда: у меня инстолеть быль заряжень хорошимь порохомь.«.....

II.

#### повъсть

изъкниги подъ названіемъ: лунный свътъ въ разбитомъ окошкъ чердака на васильевскомъ островъ, въ 16 линіи

#### III.

Я давно уже инчего не разсказываль вамь. Признаться сказать, оно очень пріятно, если кто станеть что-нибудь разсказывать. Если же выберется человѣкъ небольшого роста, съ синоватымъ баскомъ, да и говоритъ ни слишкомъ громко, ни слишкомъ тихо, а такъ совершенно, какъ котъ мурчитъ надъ ухомъ, то это такое наслажденіе, что ни перомъ описать, ни другимъ чѣмъ-нибудь не сдѣлать. Это миѣ лучше правится, пежели проливной дождикъ, когда сидишь въ сѣняхъ на полу, передъ дверью, поджавши подъ себя ноги, а онъ, голубчикъ, трепаетъ во весь духъ солому на крышѣ, и деревенскія бабы бѣгутъ босыми ногами, (набросивъ) свое рубье на голову и схвативъ подъ руку (черевыки). — Вы никогда не слыхали про моего дѣда? Что это былъ за человѣкъ! съ какими достоинствами! я вамъ скажу, что такихъ людей я теперь нигдѣ не отыскивалъ.

IV.

Дождь быль продолжительный, сырой, когда я вышель на улицу. Съродымное небо предвъщало его надолго. Ни одной полосы свъта. Ни въ одномъ мъстъ, нигдъ не разрывалось сърое нокрывало. Движущаяся сѣть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видѣль глазъ, и только одии передніе домы мелькали будто сквозь тонкій газъ; еще тусклѣе надъ ними балконъ; выше его еще этажъ, наконецъ крыша готова была потеряться въ дождевомъ туманѣ, и только мокрый блескъ ея отличался немного отъ воздуха. Вода урчала съ трубъ; на тротуарахъ лужи....

Чортъ возьми, люблю я это время! Ни одного зѣваки на улицъ. Теперь не найдешь ни одного изъ тѣхъ господъ, которые останавливаются для того, что(бъ) носмотрѣть на саноги ваши, на штаны, на фракъ, или на шляну, и потомъ, разинувши ротъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобы осмотръть задній фасадъ вашъ. Теперь раздолье миѣ закутываться крѣпче въ свой плащъ....

Какъ удираетъ этотъ любезный молодой человѣкъ, съ личикомъ, которое можно упрятать въ дамскій ридикюль. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и заглядѣнье Невскаго Проспекта. Крѣиче его, крѣиче, дождикъ! пусть онъ вбѣжитъ, какъ мокрая крыса, домой.

А! вотъ и суровая дама бѣжитъ въ своихъ пестрыхъ тряпкахъ, поднявши платье, далѣе чего нельзя поднять, не нарушивъ послѣдней благопристойности. Куда дѣвался характеръ! и не ворчитъ, впдя, какъ чиновн(икъ) — запустивъ свои зеленые, какъ его воротникъ, глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагѣ трепещущихъ ногъ... О, это таковскій народъ! Они большіе бестіи, эти чиновники, ловить рыбу въ мутной водѣ. Въ дождь, снѣгъ, ведро, всегда эта амфибія на улицѣ. Его воротникъ, какъ хамелеонъ, мѣняетъ свой цвѣтъ каждую минуту отъ температуры; но онъ самъ неизмѣненъ, какъ его канцелярскій порядокъ.

На-встричу Русская борода, купець, въ синемъ, Нимецкой работы, сюртукъ, съ таліей на синнъ, или лучше сказать на шев. Съ какою купеческою ловкостью держить онъ зонтикъ надъ своею половиною! Какъ тяжело пыхтить эта масса мяса, обернутая въ капотъ и ченчикъ! Ее скоръе можно причислить къ молюскамъ, пежели къ позвончатымъ животнымъ. Сильнъе

дождикъ, ради Бога, сильиве кропи его сюртукъ Нвмецкаго покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиковъ и подушекъ! Боже, какую адекую струю опи оставили послв себя въ воздухв изъ капусты и луку! Кропи ихъ, дождикъ, за все: за наглое безстыдство илутоватой бороды, за жадиость къ деньгамъ, за бороду, полную насвкомыхъ, и сыромятную жизнь сожительницы... Какой вздоръ! ихъ не пройметъ — что же можетъ сдвлать дождь?«

Но какъ бы то ин было, только такого дождя давно не было. Онъ увеличился и, перемънп(въ) коскенное свое направление, едълался прямой, (съ) нумомъ хлынулъ въ крыни, мостовую, какъ-(бы) желая вдавить еще ниже этотъ болотный городъ. Окна въ (домахъ) захлопнулись. Головы съ усами и трубкою, долъе всъхъ глидъвния (на улицу), спрятались; даже сърый рыцарь, съ алебардою и завязанною щекою, убъжалъ въ будку. . . . . . . .

IV.

Фонарь умираль на одной изъ дальнихъ линій Васильевскаго Острова. Один только бълые каменные домы кое-гдъ вызначивались. Деревянные черпъли и сливались съ густою массою мрака; тяготъвшаго надъ ними. Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревянымъ, когда деревяный даже пронадаетъ, когда все чувствуетъ 12 часовъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, одиъ беземысленныя кошки спъвываются и бодрствуютъ, по челокъкъ знастъ, что онъ не дадутъ сигнала и не поймутъ его несчастья, если внезанно будетъ аттакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго нереулка, который распростеръ къ нему свои мрачныя объятья!

Но проходившій въ это время ившеходъ ничего подобнаго не имѣлъ въ мысляхъ. Это былъ не изъ обыкновенныхъ въ Петербургѣ ившеходовъ. Онъ былъ не чиновникъ, не Русская борода, не офицеръ и не Нѣмецкій ремесленникъ. Существо вив гражданства столицы, это былъ прівхавшій изъ Дерита студентъ, готовый на всѣ должности, но еще покамѣсть ничего, кромѣ студенть, занявшій поль-угла въ Мѣщанской, у саможника Нѣмца. Но обо всемь этомь послѣ. Студенть, который въ этомъ чинномъ городѣ быль тише воды, безъ шпаги и рапиры, закутавшись пинелью, пробирался подъ домами, отбрасывая отъ себя самую огромкую тѣнь, головою терявшуюся въ мракѣ.

Все, казалось, умерло ночью (безъ) огня. Ставин были закрыты. Наконецъ, подходя къ Большому проспекту, особенно остановилось его вниманіе на одномъ домѣ. Тонкая щель въ ставнѣ, свѣтившаяся огненною чертою, невольно привлекала (его) и заманила заглянуть. Прильнувъ къ стѣнѣ и приставнвъ глазъ къ тому мѣсту, гдѣ щель была пошире, (онъ засмотрѣлся) и задумался.

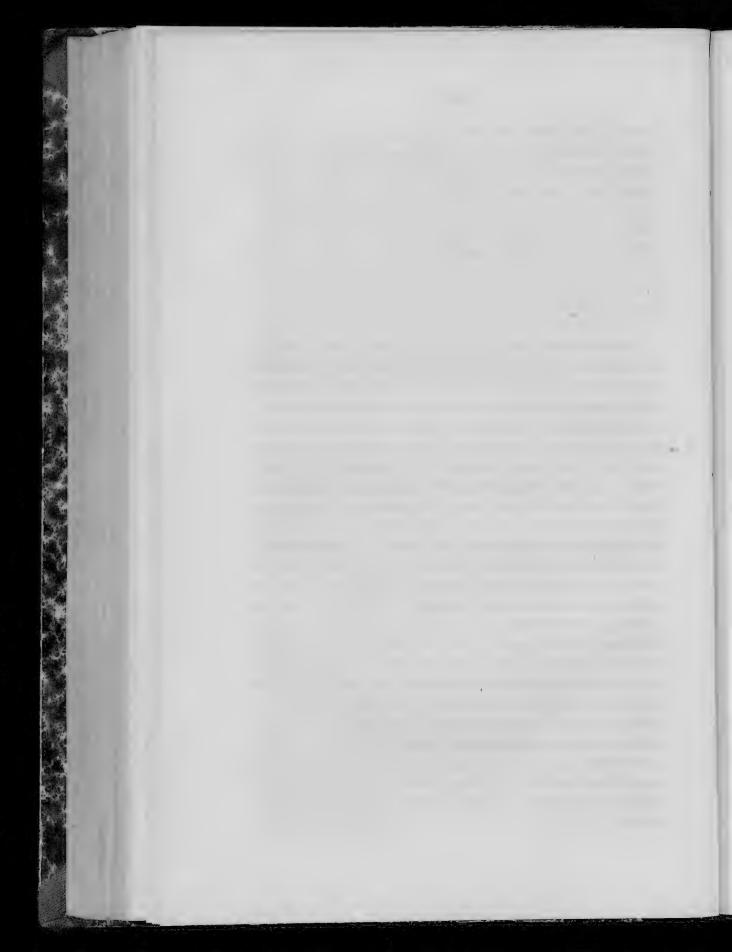
Ламна блистала въ голубой компатъ. Вся она была завалена разбросанными штуками матерій. Газъ, почти невидимый, безцвътный, воздушно висълъ на ручкахъ креселъ и тонкими струями, какъ льющійся водопадъ, падалъ на полъ. Налевые цевта, на бълой шелковой, блиставшей блескомъ серебра матеріи, свътцлись изъ-подъ газа. Около дюжины шалей, легкихъ и мягкихъ какъ нуховыя, съ цвътами, совершенно живыми, сомятыя, были брошены на полу. Кушаки, золотыя цѣии висѣли на взбитыхъ до потолка облакахъ батиста. Но болье всего занимала студента стоявшая въ углу компаты стройная женская фигура.... Сколько поэзін для студента въ женскомъ платьн!... Но бѣлый цвѣтъ — (ии) съ чёмъ иётъ сравненія... Какія пекры пролетають по жиламъ, когда блеснетъ среди мрака бълое илатье! Я говорю — среди мрака, потому что все тогда кажется мракомъ. Всъ чувства переселяются тогда въ запахъ, несущийся отъ него, и въ едва слышный, но музыкальный шумъ, производимый имъ. Это самое высшее и самое сладострастивниее сладострастіе. И потому студентъ чашъ, котораго всякая горничная, (которая) шла по улицъ, кидала въ ознобь, который не зналъ прибрать имени женщинъ, - пожиралъ глазами чудесное видъніе, которое, стоя съ наклоненною на сторону головою, охваченною досадною тёнью, паконецъ поворотило прямо противъ него ослѣпительную бѣлизну лица и шеи съ Китайскою прическою. Глаза, неизяснимые глаза, съ бездною души... обворожительно бархатныя брови были невыносимы для студента.

V.

# выбранныя мъста

И 3 Ъ

переписки съ друзьями.



## предисловіе.

Я быль тяжело болень; смерть уже была близко. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшись первою минутой нолной трезвости моего ума, я написаль духовное завъщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей монхъ издать, послъ моей смерти, нъкоторыя изъ монхъ писемъ. Миъ хотълось хотя симъ искупить безполезность всего, досель мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ монхъ, по признанию тъхъ, къ которымъ они были писаны, находится болбе нужнаго для человъка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровълъ; миъ стало легче. Но чувствую, однако, слабость силь монхь, которая возвъщаеть мит ежемпнутно, что жизнь моя на волоскт, и, приготовляясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ Мѣстамъ, необходимому душт моей, во время котораго можеть все случиться, я захоттль оставить при разставаны что-нибудь отъ себя моимъ соотечественникамъ. Выбираю самъ изъ монхъ последнихъ писемъ, которыя мив удалось получить назадь, все, что болве относится къ вопросамъ, запимающимъ нынъ общество, отстранивши все, что можеть получить смысль только посль моей смерти, съ исключеніемъ всего, что могло имъть значеніе только для немногихъ. Прибавляю двъ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завъщаніе, съ тъмъ, чтобы, въ случат моей смерти, если бы она застигла меня на пути моемъ, возымъло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидътельствованное встми монми читателямп.

Сердце мое говоритъ мив, что книга моя нужна и что она можеть быть полезна. Я думаю такъ не потому, чтобы имъль высокое о себъ понятіе и надъялся на умънье свое быть полезнымъ, но потому, что инкогда еще досель не ниталъ такого сильнаго желанія быть полезнымъ. Отъ насъ уже довольно бываетъ протянуть руку съ тъмъ, чтобы номочь; номогаемъ же не мы, номогаеть Богь, инспосылая силу слову безсильному. Итакъ, сколь бы ин была моя книга незначительна и инчтожна, но я позволяю себѣ издать ее въ свѣтъ и прошу моихъ соотечественицковъ прочитать ее ибсколько разъ; въ то же время прошу тъхъ изъ нихъ, которые имбютъ достатокъ, купить ибсколько ея экземплировъ и раздать тъмъ, которые сами купить не могутъ, увъдомляя ихъ ири этомъ случав, что всв деньги, какія перевысять издержки на предстоящее мит путешествіе, будуть обращены, съ одной стороны, въ подкръпление тъмъ, которые, подобно мнъ, почувствуютъ потребность внутреннюю отправиться къ наступающему великому посту во Святую Землю и не будутъ имъть возможности совершить это одними собственными средствами, съ другой стороны — въ пособіе тімь, которыхь я встрічу на пути уже туда идущихъ и которые вст помолятся у Гроба Господня за монхъ читателей, своихъ благотворителей.

Путешествіе мое хотъль бы я совершить, какъ добрый Христіянинъ, и потому испращиваю здѣсь прощенія у всѣхъ монхъ соотечественниковъ во всемъ, чѣмъ ни случилось мнѣ оскорбить ихъ. Знаю, что моими необдуманными и незрѣлыми сочиненіями нанесъ я огорченіе многимъ, а другихъ даже вооружилъ противъ себя, вообще же во многихъ произвелъ неудовольствіе. Въ оправданіе могу сказать только то, что намѣреніе мое было доброе и что я никого не хотѣлъ ни огорчать, ни вооружать противъ себя, но одно мое собственное неразуміє; одна моя поснѣшность и торопливость были причиной тому, что сочиненія мон предстали въ такомъ несовершенномъ видѣ и почти всѣхъ привели въ заблужденіе на счетъ ихъ настоящаго смысла; за все же, что ни встрѣчается въ нихъ умышленно-оскорбляющаго, прошу простить меня съ тѣмъ великодушіємъ, съ какимъ только одна Русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всѣхъ тѣхъ, съ которыми надолго, или на короткое

время случилось мий встрйтиться на дороги жизни. Знаю, что ми случалось многимъ наносить непріятности, инымъ, быть можетъ, и умышленио. Вообще въ обхождении моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго. Отчасти это происходило оттого, что я избъгалъ встръчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и пужнаго слова человъку (пустыхъ же и непужныхъ словъ произносить мит не хоттлось) и будучи въ то же время убъжденъ, что, по причинъ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мит было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ некоторомъ отдалени отъ людей. Отчасти же это происходило и отъ мелочного самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считаютъ себя въ-правѣ глядѣть спѣсиво на другихъ. Какъ бы то ни было, но я прошу прощенія во всёхъ личныхъ оскорбленіяхъ, которыя мив случилось нанести кому либо, начиная отъ временъ моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенія у моихъ собратьевъ-литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебрежение, или пеуважение къ нимъ, оказаиное умышленно, или неумышленно; комуже изъ нихъ по чемулибо трудно простить меня, тому напомию, что онъ Христіянинъ. Какъ говъющій передъ исповідью, которую готовится отдать Богу, просить прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія, н какъ никто въ такую минуту не посмъетъ не простить своего брата, такъ и онъ не долженъ посмъть не простить меня. Наконецъ прошу прощенія у моихъ читателей, если и въ этой самой книгъ встрътится что-нибудь непріятное и кого-нибудь изъ нихъ оскорбляющее. Прошу ихъ не питать противъ меня гивва сокровеннаго, но вмъсто того выставить благородно всъ недостатки, какіе могуть быть найдены ими въ этой книгѣ, — какъ недостатки писателя, такъ и недостатки человъка: мое неразуміе, недомысліе, самонадъянность, пустую увъренность въ себъ, словомъ — все, что бываетъ у всёхъ людей, хотя они того и не видять, и что, вёроятно, еще въ большей мъръ находится во мнъ.

Въ заключение прошу всъхъ въ России помолиться обо миъ, начиная отъ святителей, которыхъ уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы, какъ у тъхъ, которые смиренно не въру-

ють въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ее нужною; но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу помолиться обо миѣ этою самой безсильной и черствою ихъ молитвой. Я же у Гроба Господия буду молиться о всѣхъ моихъ соотечественникахъ, не псключая изъ нихъ ни единаго; моя молитва будетъ также безсильна и черства, если святая небесная Милость не превратитъ ее въ то, чѣмъ должиа быть наша молитва.

1846, Іюль.

I.

#### ЗАВЪЩАНІЕ.

Находясь въ полномъ присутствін памяти и здраваго разсудка, излагаю здісь мою посліднюю волю.

І. Завъщаю тъла моего не ногребать по тъхъ норъ, пока не покажутся явные признаки разложенія. Упоминаю объ этомъ потому, что уже во время самой бользии находили на меня минуты жизпеннаго онъмънія, сердце и пульсъ переставали биться... Будучи въ жизни своей свидътелемъ многихъ печальныхъ событій отъ нашей неразумной торопливости во всёхъ дёлахъ, даже и въ такомъ, какъ погребение, я возвѣщаю это здѣсь въ самомъ началь моего завыщанія, вы надеждь, что, можеть быть, посмертный голосъ мой напомнить вообще объ осмотрительности. Предать же тъло мое земль, не разбирая мъста, гдъ лежать ему; ничего не связывать съ оставшимся прахомъ. Стыдно тому, кто привлечется какимъ-инбудь вниманіемъ къ гніющей персти, которая уже не моя: онъ поклоинтся червямъ, ее грызущимъ. Прошу лучше помолиться покрытие о душь моей, а вмысто всяких погребальных почестей угостить отъ меня простымь объдомъ нъсколькихъ неимущихъ насущиаго хльба.

II. Завъщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякъ, Христіянина недостойномъ. Кому же изъ близкихъ моихъ я былъ дъйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ мив памятникъ пначе: воздвигнетъ онъ его въ самомъ себъ, своею неколебимою твердостью въжизненномъ дълъ, бодреньемъ и освеженьемъ всехъ вокругъ себя. Кто после моей смерти выростеть выше духомь, нежели какь быль при жизни моей, тоть покажеть, что онь точно любиль меня и быль мив другомъ, и симъ только воздвигнетъ мив памятникъ; потому что и я, какъ ни былъ самъ по себъ слабъ и ничтоженъ, всегда ободряль друзей моихь, и никто изъ тёхъ, кто сходился поближе со мною въ последнее время, никто изънихъ, въ минуту своей тоски и печали, не видалъ на мит унылаго вида, хотя и тяжки бывали мои собственныя минуты, и тосковаль я не меньше другихъ; пускай же объ этомъ вспомнитъ всякъ изъ нихъ послѣ моей смерти, сообразя всё слова, мной ему сказанныя, и перечтя всё письма, къ нему писанныя за годъ передъ симъ.

III. Завъщаю вообще никому не оплакивать меня, и гръхъ себъ возьметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою-инбудь значительною, или всеобщею утратой. Если бы даже и удалось мит сдёлать что-нибудь полезнаго и начиналь бы я уже исполнять свой долгъ дъйствительно такъ, какъ слъдуетъ, и смерть унесла бы меня при началь дъла, замышленнаго не на удовольствие нъкоторымъ, но надобнаго веъмъ; то и тогда не слъдуетъ предаваться безплодному сокрушеню. Если бы даже вмъсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дъйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слъдуетъ приходить въ уныше никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всёмъ нужные; то это знакъ гнёва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы пнымъ подвигнуться ближе къ цъли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой висзапной утрать, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотъ другихъ и не о чернотъ всего міра, но о своей собственной чернотъ. Страшна душевная чернота, и зачъмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоить предъ глазами!

IV. Завъщаю всъмъ монмъ соотечественникамъ (основываясь единственно на томъ, что всякій писатель долженъ оставить послъ себя какую-нибудь благую мысль въ наслёдство читателямъ), завъщаю имъ лучшее изъ всего, что произвело перо мое, завъщаю нмъ мое сочинение, подъ названиемъ: Прощальная Повисть. Оно, какъ увидятъ, относится къ нимъ. Его носилъ я долго въ своемъ сердцѣ, какъ лучшее свое сохровище, какъ знакъ небесной милости ко мит Бога. Оно было источникомъ слезъ, никому незримыхъ, еще отъ временъ дътства моего. Его оставляю имъ въ наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто изъмонхъ соотечественниковъ, если услышитъ въ немъ что-нибудь похожее на поученіе. Я писатель, а долгъ писателя — не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая-нибудь польза душт и не останется отъ него инчего въ поучение людямъ. Да вспомнятъ также мои соотечественники, что, и не бывши писателемъ, всякій отходящій отъ міра брать нашь имбеть право оставить намь чтоинбудь въ видъ братскаго поученія, и въ этомъ случат нечего глядъть ни на малость его званія, ни на безсиліе, ни на самое неразуміе его: нужно помнить только то, что человікь, лежащій на смертномъ одръ, можетъ иное видъть лучше тъхъ, которые кружатся среди міра. Не смотря, однако, на всѣ таковыя права мон, я бы всё не дерзнуль заговорить о томь, о чемь они услышать въ Прощальной Повысти; нбо не мнь, худшему всьхъ душою, страждущему тяжкими бользнями собственного несовершенства, произносить такія ръчи. Но меня побуждаеть къ тому другая, важивищая причина. Соотечественники! страшно!... Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только пределышании загробнаго величія и тіхт духовных высших твореній Бога, передъ которыми пыль все величіе его твореній, здісь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ стмена мы стяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія странилища отъ инхъ подымутся... Можетъ быть, Прощальная Повпсть моя подъй ствуетъ сколько-нибудь на тъхъ, которые до сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою, и сердце ихъ услышитъ хотя отчасти

строгую тайну ея и сокровенивийную небесную музыку этой тайны. Соотечественники! не знаю и не умъю какъ васъ назвать въ эту минуту... прочь пустое приличе! Соотечественники, я васъ любилъ, любилъ тою лютовью, которую не высказываютъ, которую мив далъ Богъ, за которую благодарю Его, какъ за лучшее благодъяніе, потому что любовь эта была мив въ радость и утъщене среди наптягчайшихъ моихъ страданій. Во имя этой любви прошу васъ выслушать сердцемъ мою *Прощальную Повьеть*. Клянусь, я не сочинялъ и не выдумывалъ ея: она выпълась сама собою изъ души, которую воспиталъ Самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей Русской породы, намъ общей, по которой я близкій родственникъ вамъ всёмъ. (1)

V. Завъщаю по смерти моей не спъшить ни хвалой, ни осужденіемъ моихъ произведеній въ публичныхъ листкахъ и журналахъ: все будетъ такъ же пристрастно, какъ и при жизни. Въ сочиненіяхъ монхъ гораздо больше тото, что нужно осудить, нежели того, что заслуживаетъ хвалу. Вст нападенія на нихъ были въ основаніи болье или менье справедливы. Передо мною никто не виновать; неблагородень и несправедливь будеть тоть, кто нопрекнетъ мною кого-либо въ какомъ бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышаніе, что, кром' досель напечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведений: все, что было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болъзненномъ и принужденномъ состоянии. А потому, если бы кто-инбудь сталь выдавать что-либо подъ моимъ именемъ, прошу считать это презръннымъ подлогомъ. Но воздагаю вмъсто того обязанность на друзей монхъ собрать всё мон письма, писанныя къ кому-либо, начиная съ конца 1844 года, п, сдълавши изъ нихъ строгій выборъ только того, что можетъ доставить какую-нибудь пользу душъ, а все прочее, служащее для пустого развлеченія отвергнувши, издать отдёльною книгою. Въ этихъ письмахъ было кое-что послужившее въ пользу тёмъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ; можетъ быть, послу-

<sup>(1)</sup> Прощальная Повисть не можеть явиться въ свёть: что могло ниёть значение по смерти, то не имёеть смысла при жизни.

жатъ они въ пользу и другимъ, и енимется чрезъ то съ души мосії хота часть суровой отвътственности за безполезность прежде написаннаго.

VII. Завѣщаю.... но я веномиилъ, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволения опубликованъ мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя миб объявлять не пужно, я не хотълъ этого, не продавалъ никому права на его публичное изданіе и отказываль всёмь кипгопродавцамь, доселё приступавшимъ ко мив съ предложениемъ, и только въ такомъ случать предполагаль себть это позволить, если бы помогъ мить Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мыслъ моя была занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всё мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполниль свое дёло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человъка, который до времени работаль въ тишнит и не хотълъ пользоваться незаслуженной пзвъстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: портреть мой въ такомъ случав могь распродаться вдругъ во множествъ экземпляровъ, принеся значительный доходъ тому художнику, который долженъ быль гравировать его. Художникъ этотъ уже ивсколько летъ трудился въ Римъ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображение Господие. Онъ всъмъ пожертвовалъ для труда своего, труда убійственнаго, пожирающаго годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дело, подходящее ныне къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одниъ изъ граверовъ. Но, по причинъ высокой цъны и малаго числа знатоковъ, эстамиъ его не можеть разойтись въ такомъ количествъ, чтобы вознаградить его за все; мой портреть ему номогь бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображение кого бы то ин было дълается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюръ и литографій. Но если бы случилось такъ, что, послъ моей смерти, письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-

<sup>(1)</sup> VI статья содержить распоряженія по дёламь семейственнымь.

нибудь общественную пользу (хотя бы даже одинмъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить) и пожелали бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по палишней благосклонности ко всему, что ин пользуется извѣстностно, завели у себя какой-инбудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же, по прочтении сихъ строкъ, тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: Грасиросалъ Горданосъ. Симъ будетъ сдѣлано но крайшей мѣрѣ справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣй, если тѣ, которые имѣютъ достатокъ, станутъ, вмѣсто портрета моего, покунать самый эстампъ Преображенія Господия, который, но признаню даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляетъ славу Русскую.

Завъщание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всъхъ журналахъ и въдомостяхъ, дабы, по случаю невъдънія его, нито не сдълался передо мною невинно-виноватымъ

и тъмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.

1845

H.

### женщина въ свътъ.

письмо къ . . . . . . ой.

Вы думаете, что никакаго вліянія на общество имѣть пе можете; я думаю напротивъ. Вліяніе женщины можеть быть очепь велико, именно теперь, въ нынѣшнемъ порядкѣ, или безпорядкѣ общества, въ которомъ съ одной стороны представляется утомленная образованность гражданская, а съ другой какое-то охлажденіе душевное, какая-то правственная усталость, требующая оживотво-

ренія. Чтобы произвести это оживотвореніе, необходимо содъйствіе женщины. Эта истина въвидѣ какого-то темнаго предчувствія пронеслась вдругъ но встмъ угламъ міра, и все чего-то теперь ждеть отъ женщины. Оставивши все прочее въ сторону, посмотримъ на нашу Россію, и въ особенности на то, что у насъ такъ часто передъ глазами — на множество всякаго рода злоупотребленій. Окажется, что большая часть взятокъ и тому подобнаго, въ чемъ обвиняютъ нашихъ чиновниковъ и нечиновниковъ всъхъ классовъ, произошла или отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадинчаютъ блистать въ свътъ большомъ и маломъ, и требують на то денегь отъмужей, плиже отъпустоты ихъ домашней жизни, преданной какимъ-то идеальнымъ мечтамъ, а не существу ихъ обязанностей, которыя въ нъсколько разъ прекрасиъе и возвышените всякихъ мечтаній. Мужья не позволили бы себт и десятой доли произведенныхъ ими безпорядковъ, если бы ихъ жены хотя сколько-инбудь исполнили свой долгъ. Душа жены — хранительный талисманъ для мужа, оберегающій его отъ правственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дорогь, п проводникъ, возвращающій его съ кривой на прямую; и наоборотъ: душа жены можетъ быть его зломъ и погубить его навъки. Вы сами это почувствовали и выразились объ этомъ такъ хорошо, какъ до сихъ поръ еще никогда не выражались никакія женскія строки. Но вы говорите, что встмъ другимъ женщинамъ предстоять поприща, а вамъ итъ. Вы имъ видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-инбудь нужное, словомъ — всячески помогать, а себъ одной только не видите ничего и грустно повторяете: »Зачъмъ я не на ихъ мъстъ! « Знайте, что это общее ослъпление. Всякому теперь кажется, что онъ могъ бы надълать много добра на мъстъ и въ должности другого, и только не можетъ сдълать его въ своей должности. Это причина всъхъ золъ. Нужно подумать теперь о томъ всёмъ намъ, какъ на своемъ собственномъ мъсть сдълать добро. Повърьте, что Богъ не даромъ повельлъ каждому быть на томъ мъстъ, на которомъ онъ теперь стоитъ. Нужно только хорошо осмотръться вокругъ себя. Вы говорите: зачемъ вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которыя вамъ представляются теперь такъ ясно; зачёмъ не разстроено ваше имьніе, чтобы заставить вась жхать въ деревию, быть помъщицей и заняться хозяйствомъ; зачёмъ вашъ мужъ не занять какою-нибудь общенолезною трудною должностью, чтобы вамъ хоть здёсь ему помогать и быть силою, его освъжающею, и зачъмъ, вмъсто всего этого, предстоять вамь один пустые выбады въ свъть и пустое, выдохшееся свътское общество, которое теперь вамъ кажется безлюдите самого безлюдья! Но темъ не менте свъть всё же населень; въ немъ люди, и притомъ такіе же, какъ и вездѣ. Они и больють, и страждуть, и нуждаются, и безь словь вопіють о помощи— и, увы! даже не знають, какъ попросить о ней. Какому же инщему следуеть прежде номогать: тому ли, кто еще можеть выходить на улицу и просить, или тому, который не въ силахъ уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чъмъ вы можете быть кому-инбудь полезны въ свътъ; что для этого нужно имъть столько всякаго рода орудій, нужно быть такою и умной, и всезнающей женщиной, что у васъ уже кружится голова при одномъ помышлени обо всемъ этомъ. А если для этого нужно быть только тёмъ, что вы уже есть? А если у васъ уже есть именно такія орудія, которыя теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себъ, совершения правда: вы точно слишкомъ молоды, не пріобръли ни познанія людей, ни познанія жизни, словомъ — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другимъ; можетъ быть, даже, вы и никогда этого не пріобрътете: но у васъ есть другія орудія, съ которыми вамъ все возможно. Во-первыхъ, вы имфете уже красоту, во-вторыхъ — неопозоренное, неоклеветанное имя, въ-третьихъ — власть, которой сами въ себъ не подозръваете, власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Богъ не даромъ повелълъ инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ определено, чтобы всѣхъ равно поражала красота, — даже и такихъ, которые ко всему безчуветвенны и ни къчему неспособны. Если уже одинъ безсмысленный канризъ красавицы бывалъ причиною переворотовъ всемірныхъ и заставлялъ дёлать глупости напумифійшихъ людей, что же было бы тогда, если бы этотъ капризъ быль осмысленъ и направленъ къ добру? Сколько бы добра тогда могла произвести

красавица сравиительно съ другими женщинами! Стало быть, это орудіє сильное. Но вы имбете еще высшую красоту — чистую прелесть какой-то особенной, одной вамъ свойственной невинности, которую я не ум'тю определить словомъ, но въ которой такъ н свътится всъмъ ваша голубиная душа. Знастели, что мит признавались напразвратитійшіе изъ нашей молодежи, что нередъ вами инчто дурное не приходило имъ въ голову, что они не отваживаются сказать въ вашемъ присутствии не только двусмыеленнаго слова, которымъ потчиваютъ другихъ избраниццъ, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будеть передъ вами какъ-то грубо и отзовется чемъ-то ухарскимъ и неприличнымъ. Вотъ уже одно вліяніе, которое совершается безъ вашего въдома отъ одного вашего присутствія! Кто не смъсть себъ позволить при васъ дурной мысли, тотъ уже ее стыдится; а такое обращение на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шагъ человъка къ тому, чтобы быть лучше. Стало быть, это орудіе также сильное. Въ прибавление ко всему, вы имъете уже самимъ Богомъ водворенное вамъ въ душу стремленіе, или, какъ называете вы, жажду добра. Не ужели вы думаете, что даромъ внушена вамъ эта жажда, отъ которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замужъ за человъка благороднаго, умнаго, имъющаго всъ качества, чтобы сдёлать счастливою жену свою, какъ уже, намёсто того, чтобы сокрыться въглубину вашего домашняго счастія, мучитесь мыслію, что вы недостойны такого счастія, что не имбете права имъ нользоваться въ то время, когда вокругъ васъ такъ много страданій, когда ежеминутно раздаются въсти о бъдствіяхъ всякаго рода: о голодъ, ножарахъ, тяжелыхъ горестяхъ душевныхъ и страшныхъ бользияхъ ума, которыми заражено текущее покольніе. Повърьте, это не даромъ. Кто заключилъ въ душт своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ашгельскую тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тотъ много, много можетъ для инхъ едълать; у того повсюду поприще, потому что новсюду люди. Не убъгайте же свъта, среди котораго вамъ назначено быть; не спорьте съ Провидениемъ. Въ васъ живетъ та неведомая сила, которая нужна теперь для свъта: самый вашъ голосъ, отъ постояннаго устремленія вашей мысли летъть на помощь человъку, пріобръль

уже какіе-то родные звуки всемь, такъ что, если вы заговорите въ сопровождении чистаго взора вашего и этой улыбки, никогда неоставляющей устъ вашихъ, которая однимъ только вамъ свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какаято небесная родная сестра. Вашъ голосъ сталъ всемогущъ; вы можете повелевать и быть такимъ деспотомъ, какъ никто изъ насъ. Повелъвайте же безъ словъ, однимъ присутствиемъ вашимъ; повельвайте самимъ безсиліемъ своимъ, на которое вы такъ негодуете; повельвайте именно тою женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынѣшияго свъта. Съ вашей робкой неопытностію, вы теперь въ нъсколько разъ больше сдълаете, нежели женщина умная и все испытавшая съ своей гордой самонадъянностію: ея напумнъйшія убъжденія, съ которыми она бы захотъла обратить на путь нынъший свъть, въ видъ злыхъ эниграммъ посыплются обратно на ея же голову; но ни у кого не посмфетъ пошевелиться на губахъ эпиграмма, когда однимъ умоляющимъ взоромъ безъ словъ вы попросите кого-инбудь изъ насъ, чтобы онъ сдёлался лучшимъ. Отчего вы такъ испугались разсказовъ о свътскомъ развратъ ? Онъ точно есть, и еще даже въ большей мёрё, нежели вы думаете; но вамъ и знать объ этомъ не должно. Вамъ ли бояться жалкихъ соблазновъ свъта? Влетайте въ него смъло, съ тою же сіяющею вашей улыбкою; входите въ него, какъ въ больницу, наполненную страждущими, но не въ качествъ доктора, приносящаго строгія предписанія и горькія лекарства: вамъ не слёдуетъ и разсматривать, какими болёзнями кто боленъ. У васъ ивтъ способности распознавать и исцелять болезни, и я вамъ не дамъ такого совъта, какой бы мит слъдовало дать всякой другой женщинь, къ тому способной. Ваше дъло только приносить страждущему вашу улыбку да тотъ голосъ, въ которомъ слышится человъку прилетъвшая съ небесъ его сестра, ничего больше. Не останавливайтесь долго надъ одними и спъшите къ другимъ, нотому что вы повсюду нужны. Увы! на всёхъ углахъ міра ждутъ и не дождутся ничего другого, какъ только тъхъ родимхъ звуковъ, того самого голоса, который у васъ уже есть. Не болтайте со свътомъ о томъ, о чемъ опъ болтаетъ; заставьте его говорить о томъ, о чемъ вы говорите. Храни васъ

Богъ отъ всякаго педантства и отъ всёхъ тёхъ разговоровъ, которые пеходятъ изъ устъ какой-инбудь ныпёшней львицы. Вносите въ свётъ тё же самые простодушные ваши разсказы, которые такъ говорливо у васъ изливаются, когда вы бываете въ кругу домашнихъ и близкихъ вамъ людей, когда такъ и сіяетъ всякое простое слово вашей рѣчи, а душѣ всякаго, кто васъ ни слушаетъ, кажется, какъ - будтобы она лепечетъ съ ангелами о какомъ-то небесномъ младенчествѣ человѣка. Эти-то именно-рѣчи вносите и въ свѣтъ.

1846

III.

# ЗНАЧЕНІЕ БОЛЪЗНЕЙ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. И. Т....МУ.

....Силы мои слабъютъ ежеминутно, но не духъ. Никогда еще тълесные педуги не были такъ изнурительны. Часто бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всемъ составъ тъла, что радъ бываешь, какъ Богъ знаетъ чему, когда наконецъ оканчивается день и доберешься до постели. Часто, въ душевномъ безсиліи, восклицаешь: »Боже! гді же наконецъ берегъ всего?« Но потомъ, когда оглянешься на самого себя и носмотришь глубже себфвнутрь—ничего уже не издаетъ душа, кромь однъхъ слезъ и благодаренія. О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: нынъ каковъ я ни есть, но я всё же сталь лучше, нежели быль прежде; не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталь уже такимъ, какимъ следуетъ мит быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ Русскаго человека на какіе-то прыжки и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надълать уже тысячу глупостей. Притомъ нынь, въ мон свъжія минуты, кото-

рыя даеть мив Милость небесная, и среди самыхъ страданій пиогда приходять ко мей мысли, несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительные прежияго. Не будь тяжкихъ бользненныхъ страданій, куда бъ я теперь теперь не занесся! какимъ бы значительнымъ человъкомъ вообразиль себя! Но, слышна ежемпнутно, что жизнь моя на волоски, что недугъ можетъ остановить вдругъ тотъ трудъ мой, на которомъ основана вся моя значительность, и та польза, которую такъ желаетъ принесть душа моя, останется въ одномъ безсильномъ желанін, а не въ исполненін, и не дамъ я никакихъ процентовъ на данные мив Богомъ таланты, и буду осужденъ, какъ последній изъ преступниковъ... слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить небеспаго Промыслителя за мою бользиь. Принимайте же и вы покорно всякій недугъ, въря впередъ, что онъ нуженъ. Молитесь Богу только о томъ, чтобы открылось передъ вами его чудное значеніе и вся глубина его высокаго смысла.

1846.

#### IV

### О ТОМЪ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО.

Пушкинъ, когда прочиталъ елъдующіе стихи изъ оды Державина къ Храновицкому:

За слова меня пусть гложеть, За дёла сатирикъ чтитъ —

сказалъ такъ: »Державинъ не совсѣмъ правъ: слова поэта суть уже его дѣла.« Нушкинъ правъ. Поэтъ на поприщѣ слова долженъ быть такъ же безукоризненъ, какъ и всякой другой на своемъ поприщѣ. Если писатель стапетъ оправдываться какими-инбудь обстоятельствами, бывшими причиною неискрениости, пли необдуманности,

или посившной торопливости его слова, тогда и всякій несправедливый судья можетъ оправдаться въ томъ, что бралъ взятки и торговаль правосудіемь, складывая вину на свои тъсныя обстоятельства, на жену, на большое семейство, словомъ — мало ли, на что можно сослаться? У человъка вдругъ явятся тъсныя обстоятельства. Потомству итть дела до того, кто быль виною, что писатель сказаль глупость, или нельпость, или же выразился вообще необдуманно и незръло. Оно не станетъ разбирать, кто толкалъ его подъ руку: близорукій ли пріятель, подстрекавшій его на рановременную дъятельность, журналисть ли, хлопотавшій только о выгод высод в своего журнала. Потомство не приметь въ уважение ни кумовства, ни журналистовъ, ни собственной его бъдности и затруднительнаго положенія. Оно сдёлаеть упрекъ ему, а не имъ. Зачёмъ ты не устояль противу всего этого? Въдь ты же почувствоваль самъ честность званія своего; вёдь ты же умёль предпочесть его другимъ выгодивнимъ должностямъ и сдвлаль это не въ следствіе какой-нибудь фантазін, но потому, что въ себъ услыналь на то призваніе Божіе; въдь ты же получиль въ добавку къ тому умъ, который видълъ подальше, пошире и поглубже дъла, нежели тъ, которые тебя подталкивали! Зачъмъ же ты былъ ребенкомъ, а не мужемъ, получа все, что нужно для мужа? Словомъ, еще какой-инбудь обыкновенный писатель могъ бы оправдываться обстоятельствами, но не Державинъ. Опъ слишкомъ повредилъ себъ тъмъ, что не сжегъ по крайней мъръ цълой половины одъ своихъ. Эта половина одъ представляетъ явление поразительное: никто еще досель такъ не посмъялся надъ самимъ собою, надъ святынею своихъ лучшихъ върованій и чувствъ, какъ едълалъ это Державинъ въ этой несчастной половинъ своихъ одъ. Точно какъ-бы онъ силился здёсь намалевать каррикатуру на самого себя: все, что въ другихъ мъстахъ у него такъ прекрасно, такъ свободно, такъ проникнуто внутреннею силою душевнаго огня, здѣсь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего, здѣсь новторены тѣ же самые обороты, выраженія и даже цёликомъ фразы, которые иміють такую орлиную замашку въ его одушевленныхъ одахъ и которые туть, просто, смышны и ноходять на то, какъ-бы карликъ надыль панцырь великана, да еще и не такъ, какъ слъдуетъ. Сколько людей теперь произносить суждение о Державинь, основываясь на его пошлыхъ одахъ! сколько усоминлось въ искреиности его чувствъ, потому только, что нашли ихъ во миогихъ мъстахъ выраженными слабо и бездушно! какіе двуємысленные толки составились о самомъ его характеръ, душевномъ благородствъ и даже неподкупности того самого правосудія, за которое онъ стояль! И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огию. Пріятель нанть II\*\*\* имъетъ обыкновение, отрывши какія ин понало строки извъстнаго нисателя, тотъ же часъ ихъ тиснуть въ журналъ, не взвъсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестио его. Онъ скрвиляеть все двло извъстною оговорною журналистовъ: »Надъемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщеніе сихъ драгоцінныхъ строкъ; въ великомъ человікт все достойно любонытства«, и тому подобное. Все это пустяки. Какойнибудь мелкій читатель останется благодарень; но потомство илюнетъ на эти драгоцънныя строки, если въ нихъ бездушно повторено то, что уже извъстио, и если не дышеть отъ нихъ святыня того, что должно быть свято. Чёмъ истины выше, тёмъ нужно быть остороживе съ инми: иначе — онв вдругъ обратятся въ общія мъста, а общимъ мъстамъ уже не върятъ. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемърные, или даже, просто, неприготовленные проповъдыватели Бога, дерзавшіе произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться съ словомъ нужно честно. Оно есть высшій подарокъ Бога человѣку. Бѣда произносить его инсателю въ тѣ поры, когда онъ находится подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій, досады, или гитва, или какогопибудь личнаго перасположенія къ кому бы то ин было, словомъвъ тъ поры, когда не пришла еще въ стройность его собственная душа: изъ него такое выйдеть слово, которое всемь опротиветь; и тогда съ самымъ чистъйшимъ желаніемъ добра можно произвести зло. Тотъ же цашъ пріятель  $\Pi^{***}$  тому порука: опъ торопился всю свою жизнь, спъща дълиться всъмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ин набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головъ такимъ образомъ, дабы стать близкою н доступною всёмъ, словомъ — выказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ перяществъ. И что жъ? Замътили ли

читатели тъ благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли отъ него то, чёмъ онъхотёль съ инми поделиться? Нетъ, они заметили въ немъ одно только нерящество и неопрятность, которыя прежде всего замичаеть человъкъ, и ничего отъ него не приняли. Тридцать лътъ работалъ и хлопоталь, какъ муравей, этотъ человѣкъ, торонясь всю жизнь свою передать поскоръе въруки всъмъ все, что ин находилось на пользу просвъщенія и образованія Русскаго, — и ин одинъ человъкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрътиль, который бы сказаль, что онь обязань ему какимь-инбудь новымъ свътомъ, или прекраснымъ стремленемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самихъ намърений и за искренность словъ его передъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мив было трудно даже убъдить кого-либо, потому что опъ съумблъ такъ замаскировать себя передъ всеми, что решительно нътъ возможности показать его въ томъ видъ, каковъ онъ дъйствительно есть. Опасно шутить писателю со словомъ. Слово гинло да не исходить изъ устъ вашихъ! Если это слъдуетъ примънить ко всфиь намъ безъ изъятія, то во сколько крать болбе оно должно быть примънено къ тъмъ, у которыхъ поприще — слово и которымъ опредълено говорить о прекрасномъ и возвышенномъ. Бъда, если о предметахъ святыхъ и возвышенныхъ станетъ раздаваться гиплое слово; нусть уже лучше раздается гиплос слово о гиплыхъ предметахъ. Всѣ великіе восинтатели людей налагали долгое молчаніе именно на тъхъ, которые владъли даромъ слова, именно въ тъ поры и въ то время, когда больше всего хотълось имъ пощеголять словомъ и рвалась душа сказать даже много полезнаго людямъ. Они слышали, какъ можно опозорить то, что стремишься возвысить, и какъ на всякомъ шагу языкъ нашъ есть нашъ предатель. »Наложи дверь и замки на уста твои«, говоритъ Інсусъ Сирахъ, »растопи голото и серебро, какое имъещь, дабы сдълать изъ нихъ въсы, которые взвъшивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста.«

V.

### ЧТЕНІЯ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ ПЕРЕДЪ ПУБЛИКОЮ.

письмо къ л\*\*.

Я радъ, что накопецъ начались у насъ публичныя чтенія произведеній нашихъ писателей. Мит уже писали объ этомъ кое-что изъ Москвы: тамъ читали разныя литературныя современности, а въ томъ числъ и мои повъсти. Я думалъ всегда, что публичное чтеніе у насъ необходимо. Мы какъ-то охотиве готовы двіїствовать съобща, даже и читать; поодпначкъ изъ насъ всякъ лънцвъ, и нока видить, что другіе не тронулись, самъ не тронется. Искусные чтецы должны создаться у насъ: среди насъ мало ръчистыхъ говоруновъ, способныхъ щеголять въ палатахъ и парламентахъ, но много есть людей, способныхъ всякому сочувствоеать. Передать, подълиться ощущениемъ у многихъ обращается даже въ страсть, которая становится еще сплытье по мъръ того, какъ живъе начинаютъ замъчать они, что не умъютъ изъясниться словомъ (признакъ природы эстетической). Къ образованию чтеновъ способствуетъ также и языкъ нашъ, который, какъ-бы созданъ для искуснаго чтенія, заключая въ себѣ всѣ оттѣнки звуковъ и самые смълые переходы отъ возвышеннаго до простого въ одной и той же ръчи. Я даже думаю, что публичныя чтенія со временемъ замёнять у нась спектакли. Но я бы желаль, чтобы въ нынёшнія наши чтенія избиралось что-нибудь истинно стоящее публичнаго чтенія, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться надъ нимъ предварительно. Въ нашей современной литературъ нътъ ничего такого, да и нътъ надобности читать совреминное: нублика его прочтетъ и безъ того, благодаря страсти къ новизиъ. Вет эти новыя повъсти (въ томъ числъ и мои) не такъ важны, чтобы едълать изъ пихъ публичное чтеніе. Намъ нужно обратиться къ пашимъ поэтамъ, къ тъмъ высокимъ произведеніямъ стихотворнымъ, которыя у нихъ долго обдумывались и обработывались въ головъ, надъ которыми и чтецъ долженъ поработать долго. Наши поэты до сихъ поръ почти не извъстны публикъ. Въ журналахъ о нихъ говорили много, разбирали ихъ даже весьма многословно, но высказывали больше самихъ себя, нежели разбираемыхъ поэтовъ. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятія публики о нашихъ поэтахъ, такъ что въ глазахъ ея личность каждаго поэта теперь двоится и шикто не можеть представить себъ опредълительно, что такое изъ нихъ всякъ въ существъ своемъ. Одно только искусное чтеніе можетъ установить о нихъ ясное понятіе. Но, разумѣется, нужно, чтобы самое чтеніе произведено было такимъ чтецомъ, который способенъ передать всякую неуловимую черту того, что читаетъ. Для этого не нужно быть пламеннымъ юношей, который готовъ сгоряча и не переводя духа прочесть въ одинъ вечеръ и трагенио, и комедио, и еду, и все, что ни попало. Прочесть какъ следуетъ произведение лирическое вовсе не безделица: для этого нужно долго его изучать; нужно раздёлить искренно съ поэтомъ высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душою и сердцемъ почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтеніе. Чтеніе это будеть вовсе не крикливое, не въ жару и горячкъ. Папротивъ, оно можеть быть даже очень спокойное, но въ голосъ чтеца послышится невёдомая сила, свидётель истинно растроганнаго внутренняго состоянія. Сила эта сообщится веймь и произведеть чудо: потрясутся и тъ, которые не потрясались никогдаа отъ звуковъ поззіп. Чтеніе нашихъ поэтовъ можетъ принести много нубличнаго добра. У нихъ есть много прекраснаго, которое не только совствить позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публикѣ въ какомъ-то инзкомъ смыслѣ, о которомъ и не помышляли благородные сердцемъ наши поэты. Не знаю, кому принадлежить мысль—обратить публичныя чтенія въ пользу біднымъ, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда такъ много страждущихъ внутри Россіи отъ голода, пожаровъ, бользней и всякаго рода несчастій. Какъ бы утішнянсь души отъ насъ удалившихся поэтовъ такимъ употребленіемъ ихъ произведеній!

VI.

### о помощи въднымъ.

нзъ нисьма къ а. о. с....ой.

.....Обращаюсь къ нападеніямъ вашимъ на глупость молодежи, которая затъяла подносить золотые вънки и кубки чужеземнымъ пъвцамъ и актрисамъ въ то самое время, когда голодали столь многіе. Это происходить не отъ глупости и не отъ ожесточенія сердець, даже и не отъ легкомыслія. Это происходить отъ человъческой всъмъ намъ общей безпечности. Эти несчастія и ужасы, производимые голодомъ, далеки отъ насъ; они совершаются внутри провинцій, они не передъ нашими глазами, --- вотъ разгадка и объясненіе всего! Тотъ же самый, кто заплатилъ, дабы насладиться пъніемъ Рубини, сто рублей за кресла въ театръ, продаль бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидътелемъ на дълъ хотя одной изъ тъхъ ужасныхъ картинъ голода, передъ которыми ничто всякіе страхи и ужасы, выставляемые въ мелодрамахъ. За пожертвованіемъ у насъ не станетъ дѣло: мы вст готовы жертвовать. Но пожертвованія собственно въ пользу бъдныхъ у насъ дълаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякій увърень, дойдеть ли, какъ следуеть, до мъста назначенія его пожертвованіе, попадеть ли оно именно въ тъ руки, въ которыя должно попасть. Большею частію случается такъ, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая въ рукъ, вся расхлещется по дорогв, прежде нежели донесется, — и нуждающемуся приходится посмотрѣть только на одну сухую руку, въ которой ивтъ инчего. Вотъ о какомъ предметв следуетъ подумать прежде, нежели начнутъ собирать ножертвованія. Объ этомъ мы съ вами послѣ потолкуемъ, потому что это дѣло ни чуть не маловажное и стоитъ того, чтобы о немъ толково потолковать. А теперь поговоримъ о томъ, гдъ скоръе нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, съ которымъ случилось несчастіе внезапное, которое вдругъ, въ одну минуту лишило его всего за однимъ разомъ: или пожаръ, сжегшій все до тла, или падежъ, выморившій весь скоть, или смерть, похитившая единственную подпору, словомъ — всякое лишение внезанное, гдт вдругъ является человтку бъдность, къ которой онъ еще не успъль привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинио Христіянскимъ образомъ; если же она будетъ состоять въ одной только выдачъ денегъ, она ровно ничего не будетъ значить и не обратится въ добро. Если вы не обдумали прежде въ собственной головѣ всего положенія того человѣка, которому хотите номочь, п не принесли съ собою ему наученія, какъ отнынѣ слѣдуетъ вести ему жизнь, онъ не получить большого добра отъ вашей помощи. Цъна поданной помощи ръдко равияется цънъ утраты; вообще, она едва составляетъ половину того, что человъкъ потерялъ, часто одну четверть, а пногда и того меньше. Русской человъкъ способенъ на всъ крайности: увидя, что съ полученными небольшими деньгами онъ не можетъ вести жизнь, какъ прежде, онъ съ горя можетъ прокутить вдругъ то, что ему дано на долговременное содержаніе. А потому наставьте его, какъ ему изворотиться именно съ тою самою помощию, которую вы принесли ему; объясните ему истинное значение несчастия, чтобы онъ видёль, что оно послано ему затъмъ, дабы онъ измънилъ прежне житте свое, дабы отныпъ онъ сталъ уже не прежній, но какъ-бы другой человъкъ, и вещественно, и нравствено. Вы съумъете это сказать умно, если только вникнете хорошенько въ его природу и въ его обстоятельства. Онъ васъ пойметъ: несчастие умягчаетъ человъка; природа его становится тогда болбе чуткой и доступной къ пониманио предметовъ, превосходящихъ понятіе человѣка, находящагося въ обыкновенномъ и вседневномъ положения; онъ какъ-бы весь обращается тогда въ разогрътый воскъ, изъ котораго можно лънить все, что ни захотите. Всего лучше, однакожъ, если бы всякая помощь производилась чрезъ руки опытныхъ и умныхъ священииковъ. Они один въ силахъ истолковать человъку святой и глубокий смыслъ несчастія, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому бы то ни было на землъ, обитаетъ ли онъ въ избъ, или палатахъ, естъ тотъ же крикъ небесный, вопіющій человѣку о перемънъ всей его прежней жизни. 1844.

#### VII.

# объ одиссет, переводимой жуковскимъ.

письмо къ н. м. я . . . . Ву.

Появленіе Одиссеи произведеть эпоху. Одиссея есть ръшительно совершенитишее произведение встхъ втковъ. Объемъ ея великъ; Иліада предъ нею эпизодъ. Одиссея захватываетъ весь древній міръ, публичную и домашнюю жизнь, вст поприща тогдашнихъ людей, съ ихъ ремеслами, знашями, вфрованіями.... словомъ, трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что бы въ ней было пропущено. Въ продолжение нъсколькихъ въковъ служила она непэсякаемымъ колодцемъ для древнихъ, а потомъ и для всёхъ поэтовъ. Изъ нея черпались предметы для безчислениаго множества трагедій, комедій; все это разнеслось по всему свѣту, сдѣлалось достояніемъ всѣхъ, а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссен страниа: въ Европъ ея не оцънили. Виною этого отчасти недостатокъ перевода, который бы передавалъ художественно великолъпивіние произведеніе древности, отчасти недостатокъ языка, въ такой степени богатаго и полнаго, на которомъ отразились бы всъ безчисленныя, неуловимыя красоты какъ самого Гомера, такъ и вообще Эллинской ръчи, отчасти же недостатокъ, наконецъ, п самого народа, въ такой степени одареннаго чистотою девственнаго вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь переводъ первъйшаго поэтическаго творенія производится на языкъ, полиъйшемъ и богатьйшемъ всъхъ Европейскихъ языковъ.

Вся литературная жизнь Жуковскаго была какъ-бы приготовленіемъ къ этому дёлу. Нужно было его стиху выработаться на сочиненіяхъ и переводахъ съ поэтовъ всёхъ націй и языковъ, чтобы сдёлаться потомъ способнымъ передать вёчный стихъ Гомера, — уху его наслушаться всёхъ лиръ, дабы сдёлаться до того чуткимъ, чтобы и оттёнокъ Эллинскаго звука не пропалъ; нужно

было, мало того, что влюбиться ему самому въ Гомера, получить еще страстное желапіе заставить всёхъ соотечественниковъ своихъ влюбиться въ Гомера, на эстетическую пользу души каждаго изъ нихъ; нужно было совершиться внутри самого переводчика многимъ такимъ событіямъ, которыя привели въ большую стройность и спокойствіе его собственную душу, необходимыя для передачи произведенія, замышленнаго въ такой стройности и спокойствіи; нужно было, наконецъ, сдѣлаться глубже Христіяниномъ, дабы пріобрѣсти тотъ прозирающій, углубленный взглядъ на жизнь, котораго никто не можетъ имѣть, кромѣ Христіянина, уже ностигнувшаго значеніе жизни. Вотъ сколькимъ условіямъ пужно было выполниться, чтобы переводъ Одиссен вышелъ не рабская передача, но послышалось бы въ немъ слово живо и вся Россія приняла бы Гомера, какъ родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не переводъ, но скоръе возсозданіе, возстановленіе, воскресеніе Гомера. Переводъ какъ-бы еще болъе вводитъ въ древнюю жизнь, нежели самъ оригиналъ. Переводчикъ незримо сталъ какъ-бы истолкователемъ Гомера, сталъ какъ-бы какимъ-то зрительнымъ, выясняющимъ стекломъ передъ читателемъ, сквозъ которое еще опредълнтельные и яснъе выказываются всъ безчисленныя его сокровища.

По моему, всё нынёшнія обстоятельства какт-бы нарочно обстановились такт, чтобы сдёлать появленіе Одиссен почти необходимымъ въ настоящее время. Въ литературф, какт и во всемъ—охлажденіе. Какт очаровываться, такт и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожныя больныя произведенія вѣка, съ примѣсью всякихъ непереварившихся идей, нанесенныхъ политическими и прочими броженіями, стали значительно упадать; только один задніе чтецы, привыкшіе держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще кое-что перечитываютъ, не замѣчая въ простодушій, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьѣ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои. Словомъ, именно то время, когда слишкомъ важно появленіе пронзведенія, стройнаго во всѣхъ частяхъ своихъ, которое изображало бы жизнь съ отчетливостію изумительною и отъ котораго повѣвало бы спокойствіемъ и простотою, почти младенческою.

Одиссея произведеть у насъ вліяніе, какъ вообще на всьху, такъ и отдильно на каждаго.

Раземотримъ то вліяніе, которое она можетъ у насъ произвести вообще на встях. Одиссея есть именно то произведеніе, въ которомъ заключились всё нужныя условія, дабы сдёлать ее чтеніємъ всеобщимъ и народнымъ. Она соединяєть всю увлекательность сказки и всю простую правду человіческаго похожденія, имінощаго равную заманчивость для всякаго человіка, кто бы онъ ни былъ. Дворянинъ, мізнанинъ, купецъ, грамотій и не-грамотій, рядовой солдатъ, лакей, діти обоего пола, начиная съ того возраста, когда ребенокъ начинаєть любить сказку, ее прочитають и выслушають безъ скуки. Обстоятельство слишкомъ важное, особенно если примемъ въ соображеніе то, что Одиссея есть вмісті съ тімъ самое правственное произведеніе и что единственно затімъ и предпринята древнимъ поэтомъ, чтобы въ жінвыхъ образахъ начертать законы дійствій тогдашнему человіску.

Греческое многобожіе не соблазнить нашего народа. Народъ нашъ уменъ: онъ растолкуетъ, не ломая головы, даже то, что приводить въ тупикъ уминковъ. Онъ здёсь увидить только доказательство того, какъ трудно человъку самому, безъ пророковъ и безъ откровенія свыше, дойти до того, чтобы узнать Вога въ истичномъ видѣ, и въ какихъ нелѣпыхъ видахъ станетъ онъ представлять себъ ликъ Его, раздробивши единство и единосиліе на множество образовъ и силъ. Онъ даже не посмъется надъ тогдашними язычниками, признавъ ихъ ни въ чемъ невиноватыми: пророки имъ не говорили, Христосъ тогда не родился, апостоловъ не было. Нътъ, народъ нашъ скоръе почешетъ у себя въ затылкъ, почувствовавъ то, что онъ, зная Бога въ Его петинномъ видъ, нмъя въ рукахъ уже инсьменный законъ Его, имъл даже истолкователей закона въ отцахъ духовныхъ, молится лънивъе и вынолняетъ долгъ свой хуже древняго язычника. Народъ смъкиетъ, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, не смотря на то, что онъ по невъжеству взываль къ ней въ образъ Посейдоновъ, Кроніоновъ, Гефестовъ, Геліосовъ, Кипридъ и всей вереницы, которую наплело играющее воображение Грековъ. Словомъ, многобожие отложить онъ въ сторону, а извлечетъ изъ Одиссеи то, что ему слъдуетъ изъ нея навлечь, — то, что ощутительно въ ней видимо всемъ, что легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, то есть, что человъку вездъ, на всякомъ поприщъ, предстоитъ много бъдъ, что нужно съ ними бороться, для того и жизнь дана человѣку. что ни въ какомъ случат не следуетъ унывать, какъ не унываль и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался къ своему сердцу, не подозрѣвая самъ, что таковымъ внутреннимъ обращениемъ къ самому себъ онъ уже творилъ ту внутреннюю молитву Богу, которую въ минуты бъдствій совершаеть всякій человъкъ, даже неимъющій никакого понятія о Богъ. Вотъ то общее, тотъ живой духъ ея содержанія, которымъ произведеть на всъхъ впечатлъніе Одиссея, прежде нежели одни восхитятся ея поэтическими достоинствами, втриостью картинъ и живостью описаній, прежде нежели другіе поразятся раскрытіемъ сокровищъ древности въ такихъ подробностяхъ, въ какихъ не сохранили ея ни ваяніе, ни живопись, ни вообще всъ древніе намятники; прежде нежели третьи останутся изумлены необыкновеннымъ познаніемъ всёхъ изгибовъ души человеческой, которые всё были вёдомы всевидъвшему слъпцу; прежде нежели четвертые будутъ поражены глубокимъ въдъніемъ государственнымъ, знаніемъ трудной науки править людьми и властвовать ими, чёмъ обладаль также божественный старецъ, законодатель и своего, и грядущихъ поколъній, словомъ — прежде нежели кто-либо завлечется чъмъ-иибудь отдъльно въ Одиссеъ сообразно своему ремеслу, занятиямъ, наклонностямъ и своей личной особенности. И все потому, что слишкомъ осязательно слышенъ этотъ духъ ея содержанія, эта внутренняя сущность его, что ип въ одномъ творени не проступаеть она такъ сильно наружу, проникая все и преобладая надъ всемъ, особенно, когда разсмотримъ еще, какъ ярки всй эпизоды, изъ которыхъ каждый въ силахъ застѣнить главное.

Отчего жъ такъ сильно это слышится всѣмъ? Оттого, что залегло это глубоко въ самую душу древняго поэта. Видишь на всякомъ шагу, какъ хотѣлъ опъ облечь во всю обворожительную красоту поэзіп то, что хотѣлъ бы утвердить навѣки въ людяхъ, какъ стремился укрѣпить въ народныхъ обычаяхъ то, что въ нихъ

похвально, напомнить человѣку лучшее и святѣйшее, что есть въ немъ и что онъ способенъ позабывать всякую минуту, — оставить въ каждомъ лицѣ своемъ примѣръ каждому на его отдѣльномъ поприщѣ, а всѣмъ восбще оставить въ своемъ неутомимомъ Одиссеѣ примѣръ на общечеловѣческомъ поприщѣ.

Это строгое почитание обычаевъ, это благоговъйное уважение власти и начальниковъ, не смотря на ограниченные предблы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгитые старцевъ, это радушное гостепримство, это уважение и почти благоговъние къ человъку, какъ представителю образа Божія, это върованіе, что ни одна благая мысль не зарождается въ головъ его безъ верховной воли высшаго насъ Существа и что ничего не можетъ опъ сдёлать своими собственными силами, словомъ — все, всякая малѣйшая черта въ Одиссеъ говорить о внутреннемъ желанін поэта всёхъ ноэтовъ оставить древнему человъку живую и полную книгу закоподательства въ то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядковъ, когда еще никакими гражданскими и инсьменными постановленіями не были опредълены отношенія людей, когда люди еще многаго не въдали и даже не предчувствовали и когда одинъ только божественный старецъ все видёль, слышаль, соображаль и предчувствоваль, слепець, лишенный зренія, общаго всемь людямь, и вооруженный тёмъ внутреннимъ окомъ, котораго не имѣютъ люди.

И какъ пскусно сокрытъ весь трудъ многолътнихъ обдумываній подъ простотою самаго простодушивійшаго повъствованія! Кажется, какъ-бы, собравъ весь людъ въ одну семью и усъвшись среди нихъ самъ, какъ дѣдъ среди внуковъ, готовый даже съ ними ребячиться, ведетъ опъ добродушный разсказъ свой и только заботится о томъ, чтобы не утомить никого, не запугать неумъстною длиннотою поученія, но развѣять и разнести его невидимо по всему творенію, чтобы играя набрались всѣ того, что дано не на игрушку человѣку, и незамѣтно бы надышались тѣмъ, что зналъ онъ и видѣлъ лучшаго на своемъ вѣку и въ своемъ вѣкъ. Можно бы почесть все за изливающуюся безъ приготовленія сказку, если бы по внимательномъ разсмотрѣніи уже потомъ не открывалась удивительная постройка всего цѣлаго и порознь каждой пѣсни.

Какъ глупы Нѣмецкіе уминки, выдумавшіе, будто Гомеръ — миоъ, а веѣ творенія его — народныя пѣсип п рансодіп!

Но разсмотримъ то вліяніе, которое можетъ произвесть у насъ Одиссея отдильно на каждаго. Во-первыхъ, она подъйствуетъ на пишущую нашу братію, на сочинителей нашихъ. Она возвратить многихь къ свъту, проведя ихъ, какъ искусный лоцианъ, сквозь сумятицу и мглу, наиссенную неустроенными, неорганизовавинимися писателями. Она снова напомнить намъ всёмь, въ какой безхитростной простоть нужно возсоздавать природу, какъ уяснять всякую мысль до ясности ночти ощутительной, въ какомъ уравновъшенномъ спокойствін должна изливаться ръчь наша. Она вновь дасть ночувствовать всёмъ нашимъ писателямъ ту старую истину, которую вѣкъ мы должны помнить и которую всегда позабываемъ, а именно: по тъхъ норъ не приниматься за неро, пока все въ головъ не установится въ такой ясности и порядкъ, что даже ребенокъ въсилахъ будетъ понять и удержать все въ намяти. Еще болье, нежели на самихъ писателей, Одиссея подъйствуетъ на тёхъ, которые еще готовятся въ писатели и, находясь въ гимназіяхъ и университетахъ, видятъ передъ собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Ихъ она можетъ навести съ самого начала на прямой путь, избавивъ отъ лишняго шатанія по кривымъ закоулкамъ, но которымъ натолкались изрядно ихъ предшественники.

Во-вторыхъ, Одиссея подъйствуетъ на вкусъ и на развите эстетическаго чувства. Она освъжитъ критику. Критика устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новъйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь. По поводу Одиссеи можетъ появиться много истинно дъльныхъ критикъ, тъмъ болъе, что врядъ ли есть на свътъ другое произведеніе, на которое можно было бы взглянуть съ такихъ многихъ сторонъ, какъ на Одиссею. Я увъренъ, что толки, разборы, разсужденія, замъчанія и мысли, ею возбужденные, будутъ раздаваться у насъ въ журналахъ въ продолженіе многихъ лътъ. Читатели будутъ отъ этого не въ убыткъ: критики не будутъ инчтожны. Для нихъ потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхоглядъ не найдется даже, что и сказать объ Одиссеъ.

Въ-третьихъ, Одиссея своею Русскою одеждою, въ которую облескъ ее Жуковскій, можетъ подъйствовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого изъ нашихъ писателей, не только у Жуковскаго, во всемъ, что ни писалъ онъ доселъ, но даже у Пушкина и Крылова, которые часто точиве его на слова и выраженія, не достигала до такой полноты Русская річь. Туть заключились вей ея извороты и обороты во всихъ видоизминенияхъ. Безконечно огромные періоды, которые у всякаго другого были бы вялы, темны, и періоды сжатые, краткіе, которые у другого были бы черствы, обрубленны, ожесточили бы ръчь, у него такъ братски улегаются другъ возят друга, вст переходы и встртчи противоположностей совершаются въ такомъ благозвучит, все такъ сливается въ одно, улетучивая тяжелый громоздъ всего цёлаго. что, кажется, какъ-бы прональ вовсе всякій слогъ и складъ ръчи: ихъ нътъ, какъ иътъ и самого переводчика. Намъсто его стоитъ передъ глазами, во всемъ величіи, старецъ Гомеръ, и слышатся ть величавыя, въчныя рычи, которыя не принадлежать устамъ какого-нибудь человъка, но которыхъ удълъ въчно раздаваться въ мірѣ. Здѣсь-то увидять наши писатели, съ какою разумною осмотрительностио иужно употреблять слова и выраженія, какъ всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умітьемъ помістить его въ надлежащемъ місті и какъ много значить для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта вившияя обработка всего: туть мальйшая соринка замътна и всъмъ бросается въ глаза. Жуковскій сравниваеть весьма справедливо эти соринки съ бумажками, которыя стали бы валяться въ великольно - убранной комнать, гдь все сіяеть ясностью зеркала, начиная оть потолка до паркета: всякій вошедшій прежде всего увидить эти бумажки именно по тому же самому, почему бы онъ ихъ вовсе не примътилъ въ неприбранной, нечистой комнать.

Въ-четвертыхъ, Одиссея подъйствуетъ въ любознательномъ отношенін, какъ на занимающихся науками, такъ и на неучившихся никакой наукъ, распространяя живое познаніе древняго міра. Ни въ какой исторін не начитаешь того, что отыщешь въ ней:

отъ нея такъ и дышетъ временемъ минувшимъ; древній человъкъ, какъ живой, такъ и стоитъ передъ глазами, какъ-будто ты еще вчера его видълъ и говорилъ съ нимъ. Такъ его и видишь во всъхъ его дъйствіяхъ, во всъ часы дия: какъ приготовляется онъ благоговъйно къ жертвоприношеню, какъ бесъдуетъ чинио съ гостемъ за пировою критерой, какъ одъвается, какъ выходитъ на площадъ, какъ слушаетъ старца, какъ поучаетъ юношу; его домъ, его колесница, его сиальня, малъйшая мебель въ домъ, отъ подвижныхъ столовъ до ременной закладки у дверей, —все передъ глазами, еще свъжъе, нежели въ открытой изъ земли Помпеъ.

Наконецъ, я даже думаю, что появление Одиссеи произведетъ впечатлъніе на современный духъ нашего общества вообще. Именно въ нынъшнее время, когда тапиственною волею Провидънія сталь слышаться повсюду бользненный ропотъ неудовлетворенія, голосъ неудовольствія человіческаго на все, что ни есть на світі: на порядокъ вещей, на время, на самого себя; когда всёмъ наконецъ начинаетъ становиться подозрительнымъ то совершенство, на которое возвели насъ наша новъйшая гражданственность и просвъщеніе; когда слышна у всякаго какая-то безотчетная жажда быть не тёмъ, чъмъ опъ есть, можетъ быть, происшедшая отъ прекраснаго источника быть лучше; когда, сквозь нельные крики и опрометчивыя проповъдыванія новыхъ, еще темно услышанныхъ пдей, слышно какое-то всеобщее стремленіе стать ближе къ какой-то желанной серединь, найти настоящій законь дъйствій, какь вы массахы, такъ и отдёльно взятыхъ особахъ; словомъ, въ это именио время Описсея поразить величавою натріархальностію древняго быта, простою несложностью общественныхъ пружинъ, свъжестью жизни, пепритупленною, младенческою ясностью человъка. Въ Одиссей услышить сильный упрекъ себй нашь девятнадцатый вйкъ, и упрекамъ не будетъ конца, по мъръ того, какъ станетъ онъ поболъе всматриваться въ нее и вчитываться.

Что можеть быть, напримъръ, уже сильнъе того упрека, который раздастся въ душъ, когда разглядишь, какъ древий человъкъ, съ своими небольшими орудіями, со всъмъ несовершенствомъ своей религіи, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибъгать къ коварству для истребленія врага, съ своею непокорною, жесткою,

несклонною къ повиновению природою, съ своими ничтожными законами, умъль, однакоже, однимъ только простымъ исполнениемъ обычаевъ старины и обрядовъ, которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповъданы передаваться въ видъ святыни отъ отца късыну, однимъ только простымъ исполнениемъ этихъ обычаевъ дошелъ до того, что пріобрѣлъ какую - то стройность и даже красоту поступковъ, такъ что все въ немъ сдёлалось величаво съ ногъ до головы, отъ ръчи до простого движенія и даже до складки платья, и кажется, какъ-бы дъйствительно слышишь въ немъ Богоподобное происхождение человъка? А мы, со встми нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, съ опытами всёхъ вёковъ, съ гибкою, переимчивою нашею природою, съ религіею, которая именно дана намъ на то, чтобы сдёлать изъ насъ святыхъ и небесныхъ людей, со всёми этими орудіями, умёли дойти до какого-то неряшества и неустройства, какъ вившияго, такъ и внутренняго, умвли сдвлаться лоскутными, мелкими, отъ головы до самого платья нашего, и, ко всему еще въ прибавку, опротивѣли до того другъ другу, что не уважаетъ никто никого, даже не выключая и тёхъ, которые толкують объ уважений ко всемь.

Словомъ, на страждущихъ и больющихъ отъ своего Европейскаго совершенства Одиссея подъйствуетъ. Много напоминтъ она имъ младенчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должио возвратить себъ человъчество, какъ свое законное наслъдство. Многіе надъ многимъ призадумаются. А между тъмъ многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ Русской природъ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзін навъвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властію!

#### VIII.

# нъсколько словъ о нашей церкви и духовенствъ.

изъ письма къ гр а. п. т....му.

Напрасно смущаетесь вы нападеніями, которыя теперь раздаются на нашу Церковь въ Европъ. Обвинять въ равнодушін духовенство наше будеть также несправедливость. Зачёмъ хотите вы, чтобы наше духовенство, досель отличавшееся величавымъ спокойствіемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды Европейскихъ крикуновъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша дъйствовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаемъ плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездъйствуетъ. Я очень знаю, что въ глубинъ монастырей и въ тишинъ келій готовятся неопровержимыя сочиненія въ защиту Церкви нашей. Но дёла свои они дёлаютъ лучше, нежели мы: они не торонятся и, зная, чего требуеть такой предметь, совершають свой трудь выглубокомы спокойствін, молясь, воспитывая самихъ себя, изгоняя изъ души своей все страстное, нохожее на неумъстную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту безстрастія небеснаго, на которой ей следуеть пребывать, дабы быть въ силахъ заговорить о такомъ предметъ. Но и эти защиты еще не послужатъ къ полному убъждению Западныхъ католиковъ. Церковь наша должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы должны быть Церковь наша, и нами же должны возвъстить ея правду. Они говорять, что Церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; по ложь свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ: мы трупы, а не Церковь наша, и по насъ они назвали и Церковь нашу труномъ. Какъ намъ защищать нашу Церковь и какой отвъть мы можемъ дать имъ, если они намъ зададутъ такіе запросы: А сдълала ли ваша Церковь васъ лучшими? Исполняетъ ли всякъ у васъ, какъ следуетъ, свой долгъ? Что мы тогда станемъ отвъчать имъ, почувствовавши вдругъ

въ душв и въ совъсти своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаемъ ее даже и теперь? Владвемъ сокровнщемъ, которому цены неть, и не только не заботимся о томъ, чтобы это почувствовать, но не знаемъ даже, гдв положили его. У хозяина спрашивають показать лучшую вещь въ его домѣ, а самъ хозяинъ не знаетъ, гдъ лежитъ она. Эта Церковь, которая, какъ цёломудренная дёва, сохранилась одна только отъ временъ апостольскихъ въ непорочной первоначальной чистотъ своей, эта Церковь, которая вся съ своими глубокими догматами и мальйшими обрядами наружными какъ-бы спесена прямо съ неба для Русскаго народа, которая одна въ силахъ разрѣшить всѣ узлы недоумѣнія и вопросы наши, которая можеть произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заставивъ у пасъ всякое сословіе, званіе и должность войти въ ихъ законныя границы и предёлы и, не нзмѣнивъ ничего въ государствѣ, дать силу Россіп, изумить весь міръ согласною стройностью того же самого организма, которымъ она досель пугала, — и эта Церковь нами незнаема! и эту Церковь, созданную для жизни, мы до сихъ поръ не ввели въ нашу жизнь!

Нътъ, храни насъ Богъ защищать теперь нашу Церковь! Это значитъ уронить ее. Только и есть для насъ возможна одна пронаганда—жизнь наша. Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть жизнь; благоуханіемъ душъ нашихъ должны мы возвъстить ся истину. Пусть миссіонеръ католичества Западнаго быеты себя въ грудь, размахиваетъ руками и красноръчіемъ рыданій и словъ исторгаетъ скоро высыхающія слезы. Проновъдникъ же католичества Восточнаго долженъ выступить такъ нередъ народъ, чтобы уже отъ одного его смиреннаго вида, потухнувшихъ очей и тихаго, потрясающаго гласа, исходящаго изъ души, въ которой умерли всъ желанія міра, все бы подвигнулось еще прежде, нежели онъ объясниль бы самое дёло, и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: »Пе произноси словъ: слышимъ и

безъ нихъ святую правду твоей Церкви!«

IX.

### О ТОМЪ ЖЕ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т....МУ.

Замъчание, будто власть церкви отъ того у насъ слаба, что наше духовенство мало имъетъ свътскости и ловкости обращенія въ обществъ, есть такая нелъпость, какъ и утверждение, будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновенія съ жизнію уставами нашей Церкви и связано въ своихъ дійствіяхъ правительствомъ. Духовенству нашему указаны законныя и точныя границы въ его соприкосновеніяхъ со свётомъ и людьми. Повёрьте, что если бы стали они встръчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраніяхъ и гульбищахъ, или входя въ семейныя дёла, это было бы нехорошо. Духовному предстопть много искушеній, гораздо болье даже, нежели намъ: какъ разъ завелись бы тъ интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняютъ Римскокатолическихъ поповъ. Римско-католические попы именно отъ того сдёлались дурными, что черезъ-чуръ сдёлались свётскими. У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встръчаются: исповъдь и проповъдь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываетъ только разъ, или два въ годъ, а второе можетъ быть всякое воскресенье, можно сдёлать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхь, умёль до времени молчать о немъ и долго соображать въ себъ самомъ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца; то онъ уже скажеть объ этомъ такъ сильно на исповѣди и проповѣди, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами бесъдахъ. Нужно, чтобы онъ говорилъ стоящему среди свъта человъку съ какого-то возвышеннаго мъста, чтобы не его присутствие слышаль въ это время человъкъ, но присутствіе самого Бога, внимающаго равно имъ обоимъ, и слышался бы обоюдный страхъ отъ Его незримаго присутствія. Нътъ,

это даже хорошо, что духовенство наше находится въ нѣкоторомъ отдаленін отъ насъ. Хорошо, что даже самой одеждой своей, неподвластной никакимъ измъненіямъ и прихотямъ нашихъ глуныхъ модъ, они отдълились отъ насъ. Одежда ихъ прекрасна и величественна. Это не беземысленное, оставшееся отъ осьмнадцатаго въка рококо и не лоскутная, ничего необъясняющая одежда Римско-католическихъ священниковъ. Она имъетъ смыслъ: она по образу и подобію той одежды, которую носиль самь Спаситель. Нужно, чтобы и въ самой одеждъ своей они носили себъ въчное напоминаніе о Томъ, чей образъ они должны представлять намъ, чтобы и на одинъ мигъ не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожныхъ нуждъ свъта; ибо съ нихъ тысящу кратъ болъе взыщется, нежели съ каждаго изъ насъ; чтобы слышали безпрестанно, что они, какъ-бы другіе п высшіе люди. Нътъ, покамъстъ священникъ еще молодъ и жизнь ему неизвъстна, онъ не долженъ даже и встрфчаться съ людьми иначе, какъ на исповъди и проповъди. Если же и можно ему входить въ бестду, то развѣ только съ мудрѣйшими и опытнѣйшими изъ нихъ, которые могли бы познакомить его съ душою и сердцемъ человъка, изобразить ему жизнь въ ея истиниомъ видъ и свътъ, а не въ томъ, въ какомъ опа является неопытному человъку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и надъ самимъ собою. Онъ долженъ съ Спасителя брать приміръ, Который долгое время провель въ пустынв и не прежде, какъ послв сорокадневнаго предуготовительнаго поста, вышель къ людямъ учить ихъ. Нъкоторые изъ нынъшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свъта для того, чтобы узнать его. Это, просто, вздоръ. Опровержениемъ такого мивнія служать всв светскіе люди, которые толкаются вѣчно среди свѣта и при всемъ томъ бывають всёхь пустее. Воспитываются для свёта не посреди свёта, но вдали отъ него, въ глубокомъ внутрениемъ созерцаніи, въ изсабдовании собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключь къ своей собственной душъ; когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключомъ отопрешь души всъхъ.

X

## О ЛИРИЗМЪ НАШИХЪ ПОЭТОВЪ.

ппсьмо къ в. А. Ж.....МУ.

Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которою произнесенъ смертный нриговоръ, то есть о стать подъ названиемъ: О лиризми наших поэтов. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобою, о мой истинный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотъль послать Плетневу въ »Современникъ« мон сказанія о Русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предаль уничтожению новый плодъ моего неразумія. Только одинъ ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всё другіе торопять, неизвёстно зачемъ. Сколько глупостей успель бы я уже наделать, если бы только послушался другихъ моихъ пріятетелей! Итакъ вотъ тебѣ прежде всего моя благодарственная пъснь; а за тъмъ обратимся къ самой статьв. Мив стыдно, когда помыслю, какъ до сихъ поръ еще я глупъ и какъ не умъю заговорить ни о чемъ, что ноумиъе. Всего нелѣнѣе выходять мысли и толки о литературѣ. Туть какъто особенно становится все у меня напыщенно, темпо и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать, или написать инчего не умѣю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тімь объяснился я такъ, что всякимъ выражениемъ вызвалъ на противоръчие. Вновь повторю то же самое: въ лиризмъ нашихъ поэтовъ есть что-то такое, чего пътъ у поэтовъ другихъ націй, именно — что-то близкое къ библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлеченій страстныхъ и есть твердый возлеть въ свъть разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносовъ и Державниъ, даже у Иушкина слышится этотъ строгій лиризмъ повсюду, гдъ ни коснется онъ высокихъ предметовъ. Вспомии только стихотворенія его: къ пастырю Церкви, »Пророкъ« н наконецъ этотъ тапиственный побътъ изъ города, напечатанный уже послъ его смерти. Перебери стихи Языкова, и увидишь, что онъ всякій разъ становится какъ-то неизмъримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется къ чему-инбудь высшему. Приведу одно изъ его даже молодыхъ стихотвореній, подъ названіемъ »Геній «; опо же не длиню:

Когда, гремя и иламенѣя, Пророкъ на небо улеталъ, Огонь могучій проникалъ Живую душу Елисея. Святыми чувствами полна, Мужала, крѣпла, возвышалась И вдохновеньемъ озарялась, И Бога слыпала она.

Такъ геній радостно трепещеть, Свое величье познаетъ, Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ Иного генія полетъ; Его воскреснувшая сила Мгновенно эрѣетъ для чудесъ, И міру повыя свѣтила — Дѣла избранника небесъ.

Какой свъть и какая строгость величія! Я изъясияль это тьмь, что наши поэты видѣли всякій высокій предметь въ его законномъ соприкосновении съ верховнымъ источникомъ лиризма — Богомъ, одни сознательно, другіе безсознательно, потому что Русская душа, въ следствие своей Русской природы, уже слышить это какъ-то сама собой, неизвъстно почему. Я сказалъ, что два предмета вызывали у нашихъ поэтовъ этотъ лиризмъ, близкій къ библейскому. Нервый изъ нихъ—*Россія*. При одномъ этомъ имени какъ-то вдругъ просвътляется взгляъ у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозоръ, все становится у него шире, и онъ самъ какъ-бы облекается величіемъ, становясь превыше обыкновеннаго человѣка. Это что-то болье, нежели обыкновенная любовь къ отечеству. Любовь къ отечеству отозвалась бы приторнымъ хвастаньемъ. Доказательствомъ тому наши такъ называемые квасные натріоты. Между тъмъ заговоритъ Державинъ о Россіи — слышинь въ себъ неестественную силу и какъ-бы самъ дышешь величіемъ Россіи. Одна простая любовь къ отечеству не дала бы силь не только Державину, но даже и Языкову, выражаться такъ широко и торжественно всякій разъ, гдѣ ни коснется онъ Россіи. Напримъръ, хоть бы въ стихахъ, гдѣ онъ изображаетъ, какъ наступилъ-было на нее Баторій:

...Повелительный Стефанъ
Въ одинъ могущественный стапъ
Уже сбиралъ толпы густыя,
Да инспровергнетъ Псковитянъ,
Да увичтожится Россія!
Но ты, къ отечеству любовь,
Ты, чѣмъ гордились наши дѣды,
Ты ополчилась кровь за кровь —
И онъ не праздновалъ побѣды!

Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется съ какимъ-то невольнымъ пророчествомъ о Россіи, рождается отъ невольнаго прикосновенія мысли къ верховному Промыслу, который такъ явно слышенъ въ судьбѣ нашего отечества. Сверхъ любви участвуетъ здѣсь сокровенный ужасъ при видѣ техъ событій, которымъ повелель Богъ совершиться въ земле, назначенной быть нашимъ отечествомъ, прозржніе прекраснаго, новаго зданія, которое покам'єсть не для вс'єхь видимо зиждется п которое можеть слышать всеслышащимъ ухомъ поэзін поэть, или же такой духовъдецъ, который уже можетъ въ зерив прозръвать его плодъ. Теперь начинають это слышать понемногу и другіе люди, но выражаются такъ неясно, что слова ихъ похожи на безуміе. Теб'є напрасно кажется, что нын'єшняя молодежь, бредя Славянскими началами и пророча о будущемъ Россіи, слъдуетъ какому-то модному повътрію. Они не умъютъ вынашивать въ головъ мыслей, торопятся ихъ объявлять міру, не замічая того, что ихъ мысли еще-глупыя ребята, вотъ и все. И въ Еврейскомъ народъ четыреста пророковъ пророчествовали вдругъ: изъ нихъ одинъ только бываль избранинкъ Божій, котораго сказанія вносились въ святую книгу Еврейскаго народа; всѣ же прочіе, вѣроятно, наговаривали много лишняго но тёмъ не менъе они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умъли сказать здраво и ясно; иначе народъ побилъ бы ихъ камиями. Зачемъ же ни Франція, ни Англія, ни Германія не заражены этимъ повътріемъ и не пророчествують о себъ, а пророчествуеть только одна Россія? Затьмъ, что она сильнъе другихъ слышитъ Божію руку на всемъ, что ни

сбывается въ ней, и чустъ приближение иного царствія. Оттого и звуки становятся библейскими у нашихъ поэтовъ. И этого не не можетъ быть у поэтовъ другихъ націй, какъ бы ни сильно они любили свою отчизну и какъ бы ни жарко умѣли выражатъ такую любовь свою. И въ этомъ не спорь со мною, прекрасный другъ мой!

Но перейдемъ къ другому предмету, гдъ также слышится у ишхъ поэтовъ тотъ высокій лиризмъ, о которомъ идетъ рѣчь, то есть, любей къ Царю. Отъ множества гимновъ и одъ Царямъ, поэзія наша, уже со временъ Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что чувства въ ней искрении, объ этомъ нечего и говорить. Только тотъ, кто надъленъ мелочнымъ остроуміемъ, способнымъ на один мгновенныя, легкія соображенія, увидить здісь лесть и желаніе получить чтонибудь, и такое соображение оснусть на какихъ-нибудь ничтожныхъ и плохихъ одахъ тъхъ же поэтовъ. Но тотъ, кто болъе, нежели остроумень, кто мудрь, тоть остановится передъ тёми одами Державина, гдъ опъ очертываетъ Властелину широкій кругъ его благотворныхъ дъйствій, гдъ самъ со слезою на глазахъ говоритъ ему о тахъ слезахъ, которыя готовы заструнться изъ глазъ, не только Русскихъ, но даже безчувственныхъ дикарей, обитающихъ на концахъ его имперін, отъ одного только прикосновенія той милости и той любви, какую можетъ показать народу одна полномощная власть. Туть многое такъ сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой Государь, который позабыль бы на время долгъ свой, то, прочитавши сін строки, вспомнить онъ вновь его и умилится самъ передъ святостью званія своего. Только холодные сердцемъ попрекнутъ Державина за излишнія похвалы Екатеринъ; но кто сердцемъ не камень, тотъ не прочтетъ безъ умиленія тіхь замічательных строфь, гді поэть говорить, что если и перейдеть его мраморный истукань въ потомство, такъ это потому только,

> Что пѣлъ я Россовъ ту Царицу, Какой другой намъ не найти, Ин здѣсь, пи впредь въ пространномъ мірѣ.... Хвались, хвались моя тѣмъ лира!

He прочтетъ онъ также безъ непритворнаго душевнаго волненія сихъ уже почти предемертныхъ стиховъ:

Старикъ у дверей гроба не будетъ лгать. При жизни своей посиль онъ какъ святыню эту любовь, унесъ и за гробъ ее какъ святыню. Но не объ этомъ ръчь. Откуда взялась эта любовь? вотъ вопросъ. Что весь народъ слышить ее какимъ-то сердечнымъ чутьемь, а потому и поэть, какъ чиствіннее отраженіе того же парода, долженъ былъ ее услышать въ высшей степени — это объяснить только одну половину дъла. Полный и совершенный поэтъ ипчему не предается безотчетливо, не провърнвъ его мудростію полнаго своего разума. Цмъя ухо слышать впередъ, заключа въ себъ стремление возсоздавать въ полнотъ ту же вещь; которую другіе видять отрывочно, съ одной, или двухъ сторонъ, а не со всткъ четырекъ, онъ не могъ не прозравать развитія поливіннаго этой власти. Какъ умно опредъляль Пушкинъ значение пономощнаго Монарка! и какъ онъ вообще былъ уменъ во всемъ, что ни говорилъ въ последнее время своей жизни! » Зачемъ нужно «, говориль онь, эчтобы одинь изъ насъ сталь выше всёхъ и даже выше самого закона? Затёмъ, что законъ — дерево; въ законъ слышить человекъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона не далеко уйдешь; нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законь, которая можеть явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощиаго Монарха — автоматъ: много, много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человъкъ въ нихъ вывътрился до того, что и выъденнаго яйца не стоптъ. Государство безъ нолномощиаго Монарха то же, что оркестръ безъ капельмейстера: какъ ни хороши будь всѣ музыканты, по, если пѣтъ среди нихъ одного такого, который бы движеніемъ палочки всему подаваль знакъ, никуда не пойдетъ концертъ. При немъ и мастерская скрипка не смѣстъ слишкомъ разгуляться на-счетъ другихъ: блюдетъ онъ общій строй, всего оживитель, верховодецъ верховнаго согласія!« Какъ мѣтко выражался Пушкинъ! какъ попималь онъ значеніе великихъ истинъ!

Разберемъ, что такое Монархъ вообще, какъ Божій помазанникъ, обязанный стремить ввъренный ему народъ къ тому свъту, въ которомъ обитаетъ Богъ, и въ правъ ли былъ Пушкинъ уподобить его (1) древнему Боговидцу Мочсею? Тотъ изъ людей, на рамена котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто страшною отвътственностію за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвътственности предъ людьми, кто больеть ужасомъ этой отвътственности и льетъ, можетъ быть, незримо такія слезы и страждеть такими страданіями, о которыхъ и помыслить не умфетъ стоящій винзу человъкъ, кто среди самыхъ развлеченій слышить въчный, неумольземо раздающійся въ ушахъ кликъ Божій, неумолкаемо къ нему вопіющій, тотъ можеть быть уподобленъ древнему Боговидцу, можетъ, подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши вътренно-кружащееся племя, которое, намѣсто того, чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно стремиться на земль, суетно скачеть около своихъ же, оть себя самихъ созданныхъ кумпровъ. Но Пушкина остановило еще высшее значеніе той же власти, которую вымолило у Небесъ немощное безсиліе человъчества, вымолило ее крикомъ не о правосудін небесномъ, передъ которымъ не устояль бы ни одинъ человъкъ на земят, но крикомъ о небесной любви Божіей, которая бы все умъла простить намъ, и забвение долга нашего, и самый ропотъ нашъ, все, что не прощаетъ на землѣ человѣкъ, чтобы одинъ затъмъ только собралъ всю власть въ себя самого и отдълился бы отъ всёхъ насъ и сталъ выше всего на землё, чтобы чрезъ то стать ближе, равно ко встмъ, списходить съ вышины

<sup>(1)</sup> Въ стихотворении, начинающемся:

Съ Гомеромъ долго Ты беспдосаль одинь; Тебя мы долго ожидали — и проч.

ко всему и внимать всему, начиная отъ грома небесъ и лиры поэта до незамътныхъ увеселеній нашихъ.

Кажется, какъ-бы въ этомъ стихотворенін Пушкинъ, задавши вопросъ себѣ самому, что такое эта власть, самъ же упаль въ прахъ величіемъ возникиувшаго въ душѣ его отвѣта. Не мѣшаетъ замѣтить, что это былъ тотъ поэтъ, которой былъ слишкомъ гордъ и независимостію своихъ миѣній, и своимъ личнымъ достопиствомъ. Никно не сказалъ такъ о себѣ, какъ онъ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный, Къ нему не заростетъ народная тропа: Вознесся выше опъ главою непокорной Наполеонова столпа.

Хотя въ Наполеоновом столим виновать конечно ты, но ноложимъ, если бы даже стихъ остался въ своемъ прежнемъ видѣ, онъ всё-таки послужилъ бы доказательствомъ, и даже еще большимъ, какъ Пушкинъ, чувствуя свое личное преимущество какъ человѣка передъ многими изъ вѣнценосцевъ, слышалъ въ то же время всю малость званія своего передъ званіемъ вѣнценосца и умѣлъ благоговѣйно поклониться предъ тѣми изъ нихъ, которые показали міру величество своего званія.

Поэты наши прозръвали значение высшее Монарха, слыша, что онъ неминуемо долженъ наконецъ сдълаться весь одна любовь, и такимъ образомъ станетъ видно всёмъ, почему Государь есть образъ Божій, какъ это признаетъ покуда чутьемъ вся земля наша. Значеніе государя въ Европ'є немпиуемо приблизится къ тому же выраженію. Все къ тому ведеть, чтобы вызвать въ государяхъ высшую Божескую любовь къ народамъ. Уже раздаются вопли страданій, душевныхъ всего человічества, которыми заболіль почти каждый изъ нынъшнихъ Европейскихъ народовъ, и мечется, бѣдный, не зная самъ, какъ и чѣмъ себѣ помочь: всякое постороннее прикосновение жестко разболъвшимся его ранамъ; всякое средство, всякая помощь, придуманная умомъ, ему груба и не приносить цъленія. Эти крики усилятся наконецъ до того, что разорвется отъ жалости и безчувственное сердце, и сила еще досель небывалаго состраданія вызоветь силу другой, еще досель небывалой любви. Загорится человъть любовио ко всему человъ-

честву, такою, какою никогда еще не загорался. Изъ насъ, людей частныхъ, возымъть такую любовь во всей силт инкто не возможеть; она останется въ пдеяхъ и въ мысляхъ, а не въ дълъ; могутъ проникнуться ею вполив один только тв, которымъ уже постановлено въ непремънный законъ полюбить всъхъ, какъ одного человъка. Все полюбивни въ своемъ государствъ, до единаго человъка всякаго сословія и званія, и обративши все, что ни есть въ немъ, какъ-бы въ собственное тело свое, возболевъ духомъ о ветхъ, скорбя, рыдая, молясь и день, и ночь о страждущемъ народъ своемъ, Государь пріобрътеть тотъ всемогущій голосъ любви, который одинъ только можетъ быть доступенъ разболъвшемуся человъчеству и котораго прикосновение будетъ не жестко его ранамъ, который одинъ можетъ только внести примирение во всъ сословія и обратить въ стройный оркестръ государство. Тамъ только исцёлится вполив народъ, гдё постигнетъ Монархъ высшее значение свос — быть образомъ Того на землъ, Который самъ есть любовь. Въ Европъ не приходило инкому въ умъ опредълять высшее значение Монарха. Государственные люди, закононскусники п правовъдцы смотръли на одну его сторону, именио, какъ на высшее лицо въ государствъ, а нотому не знаютъ даже, какъ быть съ этой властію, когда, въ следствіе ежедневно изменяющихся у нихъ обстоятельствъ, она усиливается: то расширяютъ ея предълы, то ограничиваютъ; а черезъ это и государь, и народъ поставлены тамъ между собою въ странное положение: они глядять другъ на друга чуть не такимъ же точно образомъ, какъ на противниковъ, желающихъ воспользоваться властію одинъ на счетъ другого. Высшее значение монархіи прозрѣли у насъ поэты, а не законовъдцы; услышали съ трепетомъ волю Бога создать ее въ Россіи въ ея законномъ видъ; оттого и звуки ихъ становятся библейскими всякій разъ, какъ только излетаетъ изъ уетъ ихъ слово Дарь. Это слышатъ у насъ и не поэты, потому что етраницы нашей исторіи слишкомъ явно говорять о воль Промысла, да образуется въ Россіи эта власть въ ея полномъ и совершенномъ видъ. Всъ событія въ нашемъ отечествъ, начиная отъ порабощенія Татарскаго, видимо клонятся къ тому, чтобы собрать могущество въ руки одного, дабы одинъ былъ въ силахъ произвесть этотъ знаменитый переворотъ всего въ государствъ, все потрясти и, всёхъ разбудивши, вооружить каждаго изъ насъ тёмъ высшимъ взглядомъ на самого себя, безъ котораго невозможно человъку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть въ себъ самомъ ту же брань всему невъжественному и темному, какую воздвигнулъ Царь въ своемъ государствъ; чтобы потомъ, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все пріндеть въ сознаніе силь своихъ, могь бы такъ же одинь, всёхъ впереди, съ свътильникомъ въ рукъ, устремить, какъ одну душу, весь народъ свой къ тому верховному свъту, къ которому просится Россія. Смотри также, какимъ чуднымъ средствомъ, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти, какъ самому Государю, такъ и его подданнымъ, уже брошены были сънена взаимной любви въ сердца! Ни одинъ царскій домъ не начинался такъ необыкновенно, какъ начался Домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигь любви. Последній и низшій подданный въ государствъ принесъ и положилъ свою жизнь, для того чтобы дать намъ Царя, и сею чистою жертвою связаль уже перазрывно Государя съ подланнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у насъ всёхъ кровное родство съ Царемъ. Какъ явно тоже оказывается воля Бога — избрать для этого фамилію Романовыхъ, а не другую! Какъ непостижимо это возведение на престолъ инкому неизвъстнаго отрока! Туть же рядомъ стояли древнъйшие родомъ, и при томъ мужи доблести, которые только-что спасли свое отечество: Пожарскій, Трубецкой, наконецъ князья, по прямой линін пропсходившіе отъ Рюрпка. Всёхъ ихъ мимо произошло избраніе, и ни одного голоса не было противъ: никто не посмѣлъ предъявлять правъ своихъ. И случилось это въ то смутное время, когда всякій могъ вздорить и оспаривать, и набирать шайки приверженцевъ. И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линіи родственинкомъ Царю, отъ котораго недавній ужась ходиль по всей землъ. И при всемъ томъ все единогласно, отъ бояръ до послъдняго бобыля, положило, чтобъ опъ быль на престолъ. Вотъ какія у насъ дёлаются дёла! Какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ, которые слышали полное опредъление Царя въ книгахъ Ветхаго Завъта и которые въ то же время такъ близко

видъли волю Бога на всъхъ событіяхъ въ нашемъ отечествъ, какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ не былъ исполненъ библейскимъ отголосковъ? Повторяю, простой любви нестало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью ихъ звуки; для этого потребио полное и твердое убъждение разума, а не одно безотчетное чувство любви; пиаче звуки ихъ вышли бы мягкими, какъ у тебя въ прежинхъ твоихъ молодыхъ сочиненіяхъ, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Ифтъ, есть что-то крфикое, слишкомъ крфикое у нашихъ поэтовъ, чего ивтъ у поэтовъ другихъ націй. Если тебъ этого не видится, то еще не доказываетъ, чтобы его вовсе не было. Вспомип самъ, что въ тебъ не всъ стороны Русской прпроды; напротивъ, иъкоторыя изъ нихъ взошли въ тебѣ на такую высокую степень и такъ развились просторно, что черезъ это не дали мъста другимъ и ты уже сталь исключенемъ изъ обще-Русскихъ характеровъ. Въ тебъ заключились вполив всъ мягкія и ивжныя струны нашей Славянской природы; но тъ густыя и кръпкія ея струны, отъ которыхъ проходитъ тайный ужасъ и содрогание по всему составу человъка, тебъ не такъ извъстны. А они-то и есть родники того лиризма, о которомъ идетъ рѣчь. Этотъ лиризмъ уже ни къ чему не можетъ возноситься, какъ только къ одному верховному источнику своему — Богу. Онъ суровъ, онъ пугливъ, онъ не любитъ многословія, ему приторно все, что ин есть на земль, если только онъ не видитъ на чемъ напечатленія Божіяго. Въ комъ хотя одна круница этого лиризма, тотъ, не смотря на всѣ несовершенства и недостатки, заключаетъ въ себъ суровос, высшее благородство душевное, передъ которымъ дрожитъ самъ и которое заставляетъ его бъжать отъ всего, похожаго на выражение признательности со стороны людской. Собственный лучшій его подвигь ему вдругь опротивъетъ, если за него послъдуетъ ему какая-нибудь награда: онъ слишкомъ чувствуетъ, что все высшее должно быть выше награды. Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ чужеземцевъ своимъ величественнымъ складомъ и слогомъ. Еще недавно Мецкевичъ сказаль объ этомъ на лекціяхъ Парижу, п сказаль въ такое время, когда и самъ опъ былъ раздраженъ противу насъ, и все въ Парижъ на насъ негодовало. Не смотря,

однакожъ, на то, онъ объявилъ торжественно, что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ инчего иътъ рабскаго, или низкаго, но, напротивъ, что-то свободно-величественное, и тутъ же, хотя это не поправилось инкому изъ земляковъ его, отдалъ честь благородству характеровъ нашихъ писателей. Мицкевичъ правъ. Наши писатели точно заключили въ себъ черты какой-то высшей природы. Въ минуты созназнія своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальствомъ, если бы ихъ жизнь не была тому подкръпленіемъ. Вотъ что говоритъ о себъ Пушкинъ, помышляя о будущей судьбъ своей:

И долго буду тъмъ народу и любезенъ, Что чувства добрыя и лирой пробуждалъ, Что прелестью живой стиховъ и былъ полезенъ И милость къ падиимъ призывалъ.

Сто́нтъ только всномнить Пушкина, чтобы видѣть, какъ вѣренъ этотъ нортретъ. — — Всномии только то умилительное зрѣлище, какое представляетъ посѣщеніе всѣмъ народомъ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, когда всякъ несетъ отъ себя, кто иницу, кто деньги, кто Христіянски-утѣшительное слово. Ненависти нѣтъ къ преступнику, пѣтъ также и Донкишотскаго порыва сдѣлать изъ него героя, собирать его факсимиле, портреты, или смотрѣть на него изъ любопытства, какъ дѣлается въ просвѣщенной Европѣ. Здѣсь что-то болѣе: не желаніе оправдать его, или вырвать изъ рукъ правосудія, по воздвигнуть унадшій духъ его, утѣшить, какъ братъ утѣшаетъ брата, какъ повелѣлъ Христосъ намъ утѣшать другъ друга. — — —

Пушкинъ умѣлъ оцѣнить черту въ жизии другого вѣнценосца, Петра. Вспомии стихотвореніе »Пиръ на Невѣ«, въ которомъ онъ съ изумленіемъ спрашиваєтъ о причинѣ необыкновеннаго торжества въ Царскомъ Домѣ, раздающагося кликами по всему Петербургу и по Невѣ, потрясенной пальбою пушекъ. Онъ перебираетъ всѣ случап, радостиме Царю, которые могли быть причиною такого пированія: родился ли Государю наслѣдникъ его престола, имянинница ль жена его, побѣжденъ ли непобѣдимый врагъ, прибылъ ли флотъ, составлявшій любимую страсть Государя, и на все это отвѣчаетъ:

Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится, Виноватому вину Забывая, веселится, Чарку пѣпитъ съ пимъ одну. Оттого-то пиръ веселый, Рѣчь гостей хмѣльна, шумна, И Нева пальбой тяжелой Далеко потрясена.

Только одинъ Пушкинъ могъ почувствовать всю красоту такого поступка. Умъть не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощене, какъ побъду надъ врагомъ -это петинно Божественная черта. Только на небесахъ умъютъ поступать такъ. Тамъ только радуются обращению гръшника еще болъе, нежели самому праведнику, и всъ соимы невидимыхъ силъ участвують въ небесномъ пиршествъ Бога. Пушкинъ былъ знатокъ и оценщикъ верный всего великаго въ человеке. Да и какъ могло быть пначе, если душевное благородство есть уже свойственность ночти ветхъ нашихъ писателей? Замтчательно, что во всёхъ другихъ земляхъ писатель находится въ какомъ-то пеуваженін отъ общества, относительно своего личнаго характера. У насъ напротивъ. У насъ даже и тотъ, кто, просто, кронатель, а не писатель, и не только не красавецъ душою, по даже временами и вовсе подленевъ, во глубинъ Россіи отнюдь не почитается такимъ. Напротных, у всёхы вообще, даже и у тёхы, которые едва слышать о писателяхь, живеть уже какое-то убъждение, что писатель есть что-то высшее, что онъ непремънно долженъ быть благороденъ, что ему многое пеприлично, что онъ не долженъ и позволить себъ того, что прощается другимъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, во время дворянских выборовь, одинь дворянинь, который съ тъмъ вмъстъ быль и литераторъ, нодаль было свой голось въ пользу человека, совести несколько запятнанной, - все дворяне обратились къ нему тутъ же и его попрекнули, сказавши съ укоризною: »А еще и писатель!«

XI.

СПОРЫ.

изъ письма къ л\*\*

Споры о нашихъ Европейскихъ и Славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показывають только то, что мы начинаемъ просыпаться, по еще не вполнъ проснулись; а потому не мудрено, что съ объихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Вст эти Славянисты и Евроинсты — или же старовъры и нововъры, или же Восточники и Западники, а что они въ самомъ дълъ, не умъю сказать, потому что покамъстъ они мит кажутся только каррикатурами на то, чъмъ хотять быть. Всё они говорять о двухь разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что инчуть не спорять и не перечать другь другу. Одинь подошель слишкомь близко къ строенію, такъ что видить одну часть его; другой отошель отъ него слишкомъ далеко, такъ что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумъется, правды больше на сторонъ Славянистовъ и Восточинковъ, потому что они всё-таки видятъ весь фасадъ и, стало быть, всё-таки говорять о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонъ Европистовъ и Западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробио и отчетливо о той стънъ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карипза, вілчающаго эту стіну, не видится имъ верхушка всего строенія, то есть, глава, куполь и все, что ни есть въ вышнив. Можно бы посовътовать обоимъ-одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалье. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обопми. Всякій изъ нихъ увъренъ, что онъ окончательно и положительно правъ и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонъ Славянистовъ: опи хвастуны; изъ нихъ каждый воображаеть о себъ, что онъ открылъ Америку, и найдениное имъ зернышко раз-

дуваеть въ рѣну. Разумѣется, что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружають они еще болье противу себя Европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами пачинаютъ слышать многое, прежде неслышанное, но упорствують, не желая уступить слишкомъ раскозырявшемуся человъку. Вообще споры суть вещи такого рода, къ которымъ люди умные и пожилые покамъстъ не должны приставать. Пусть прежде выкрпчится хорошенько молодежь: это ея дёло. Повёрь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, затемъ именю, дабы умные могли въ это время надуматься вдоволь. Къ спорамъ прислушивайся, но въ нихъ не вмѣшивайся. Мысль твоего сочиненія, которымъ хочешь запяться, очень умна, и я даже увтренъ, что ты исполнишь это дтло лучше всякаго литератора. Но объ одномъ тебя прошу: производи его въ мпиуты, сколько возможно, хладнокровныя и спокойныя. Храни тебя Богъ отъ запальчивости и горячки, хотя бы даже въ мальйшемъ выраженін. Гибвъ вездъ неумъстенъ, а больше всего въ дълъ правомъ, потому что затемняетъ и мутитъ его. Всномии, что ты человъть не только немолодой, но даже и весьма въ лътахъ. Молодому человъку еще какъ-нибудь присталъ гитвъ; по крайней мъръ въ глазахъ искоторыхъ онъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начистъ горячиться, онъ дълается, просто, гадокъ; молодежь какъ разъ подыметъ его на зубки и выставить смъшнымъ. Смотри же, чтобъ не сказали о тебъ: »Экъ, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не дёлая, а теперь выступиль укорять другихъ, зачёмъ они не такъ дѣлаютъ! « Изъ устъ старика должио исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Духъ чистъйшаго незлобія и кротости долженъ проникать величавыя рёчи старца, такъ чтобы молодежь ипчего не нашлась сказать ему въ возражение, почувствовавъ, что неприличны будутъ ся ръчи и что съдина есть уже святыня.

### XII.

# ХРИСТІЯНИНЪ ИДЕТЪ ВПЕРЕДЪ.

инсьмо къ щ . . . . ву.

Другъ мой! считай себя не пначе, какъ школьникомъ и учепикомъ. Не думай, чтобы ты уже быль старъ для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей эрклости и развитія и что характеръ и душа твоя получили уже настоящую форму и не могутъ быть лучшими: Для Христіянина ивтъ оконченнаго курса: онъ въчно ученикъ и до самого гроба ученикъ. По обыкновенному, естественному ходу, человъкъ достигаетъ полнаго развитія ума своего въ тридцать льтъ. Отъ тридцати до сорока еще кое-какъ идутъ впередъ его силы; дальше же этого ерока въ немъ шичто не подвигается, и все имъ производимое не только не лучше прежняго, по даже слабъе и холодиъе прежняго. По для Христіянциа этого не существуєть, и гдв для другихъ предълъ совершенства, тамъ для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые изъ людей, перевалясь за сорокальтній возрасть, тупьють, устають и слабьють. Перебери вевхъ философовъ и первъйшихъ всеевътныхъ геніевъ: лучшая пора ихъ была только во время ихъ полнаго мужества; потомъ они уже понемногу выживали изъ своего ума, а въ старости впадали даже въ младенчество. Вспомии о Кантъ, который въ послъдніе годы обезнамятъль вовсе и умеръ какъ ребенокъ. Но пересмотри жизнь всёхъ святыхъ: ты увидишь, что они крепли въ разумъ п сплахъ духовныхъ по мъръ того, какъ приближались къ дряхдости и смерти. Даже и тъ изъ инхъ, которые отъ природы не получили инкакихъ блестящихъ даровъ и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потомъ разумомъ ръчей своихъ. Отчего жъ это? Оттого, что у инхъ пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бываеть у всякаго человъка только въ лъта его юности, когда онъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится радужная даль, имьющая такую заманку для юноши. Угаснула предъ нимъ даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но передъ Христіяниномъ сіяетъ въчно даль, и видятся въчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чъмъ воевать и гдѣ подвизаться, потому что взглядъ его на самого себя, безирестанно просвътляющійся, открываетъ ему новые недостатки въ себѣ самомъ, съ которыми нужно производить новыя битвы. Оттого и всѣ его силы не только не могутъ въ немъ заснуть, или ослабѣть, но еще возбуждаются безирестанно; а желаніе быть лучшимъ и заслужить рукоплесканія на небесахъ придаетъ ему такіе шпоры, какихъ не можетъ дать напсильнъйшему честолюбцу его ненасытимъйшее честолюбіе. Вотъ причина, почему Христіянинъ тогда идетъ впередъ, когда другіе назадъ, и отчего становится онъ, чѣмъ дальше, умиѣе.

Умъ не есть высшая въ насъ способность. Его должность не больше, какъ нолицейская: онъ можетъ только привести въ порядокъ и разставить по м'естамъ все то, что у насъ уже есть. Онъ самъ не двигнется впередъ, покуда не двигнутся въ насъ двъ другія способности, отъ которыхъ онъ умиветъ. Отвлеченными чтеніями, размышленіями и безпрестанными слушаніями всёхъ курсовъ наукъ его заставинь только слишкомъ немного уйти впередъ; иногда это даже подавляеть его, мъшая его самобытному развитию. Онъ несравненно въ большей зависимости находится отъ душевныхъ состояній: какъ только забушуєть страсть, онь уже вдругь поступаетъ слено и глупо; если же покойна душа и не кинитъ никакая страсть, онъ и самъ проясняется и поступаетъ умно. Разумъ есть несравненно высшая способность; по она пріобрътается не пначе, какъ побъдою надъ страстьми. Его пмъли въ себъ только тъ люди, которые не пренебрегли своимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Но п разумъ не даетъ полной возможности человъку стремиться впередъ. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее можеть дать намъ одинъ Христосъ. Она не надъляется инкому изъ насъ при рождении, инкому изъ насъ не есть природная, но есть дёло высшей благодати небесной. Тоть, кто уже имбетъ и умъ, и разумъ, можетъ не ниаче получить мудрость, какъ молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ес

у Бога, возводя душу свою до голубинаго незлобія и убирая все внутри себя до возможивійшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищь, гдт не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и ибтъ полнаго согласія во всемъ. Если же она вступить въ домъ, тогда начинается для человъка небесная жизнь, и онъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ. Все становится для него учителемъ; весь міръ для него учитель; ничтожившшшш изъ людей можетъ быть для него учитель. Изъ совъта самаго простаго извлечеть онъ мудрость совъта; глупьйний предметь станеть къ нему своею мудрою стороною, и вся вселениая передъ инмъ станетъ, какъ одна открытая кинга ученія: больше всьхъ будетъ онъ черпать изъ нея сокровищъ, потому что больше всёхъ будеть слышать, что опъ ученикъ. Но если только возмнить онъ хотя на мигъ, что учение его копчено и онъ уже не ученикъ, и оскорбится онъ чьимъ бы то ни было урокомъ, или поученіемъ, мудрость вдругъ отъ него отнимется, и останется онъ въ-нотьмахъ, какъ царь Соломонъ въ свои послъдніе дип.

1846.

### XIII.

## карамзинъ.

изъ инсьма къ н. м. я . . . . ву.

Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ похвальное слово Карамзину, паписанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочиненій Погодина, въ отношеніи къ благопристойности, какъ внутренней, такъ и виѣшней: въ немъ нѣтъ его обычныхъ грубо-неуклюжихъ замашекъ и топорнаго перящества слога, такъ много ему вредящаго. Все здѣсь, напротивъ того, стройно, обдумано и расположено въ большомъ порядкъ. Всѣ мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно,

что Карамзинъ какъ-бы весь очертывается самимъ собою п, своими же словами взвъсивъ и оцънивъ самого себя, становится какъ живой передъ глазами читателя. Қарамзинъ представляетъ, точно, явленіе необыкновенное. Воть о комъ изъ нашихъ писателей можно сказать, что онъ весь исполниль долгъ, инчего не зарыль въ землю и на даннюе ему пять талантовъ пстиню принесъ другіе пять. Карамзинъ первый показаль, что писатель можеть быть у насъ независимъ и ночтенъ всёми равно, какъ именитейший гражданинъ въ государствъ. Онъ первый возвъстиль торжественио, что писателя не можетъ стъснить ценсура, и если уже онъ исполнился чистышимъ желаніемъ блага въ такой мірь, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его илотію и пищею, тогда инкакая ценсура для него не строга, п ему вездѣ просторно. Онъ это сказалъ и доказалъ. Инкто, кромѣ Карамзина, не говорилъ такъ смѣло и благородно, не скрывая никакихъ своихъ мивий и мыслей, и слышнив невольно, что онъ одинъ имѣлъ на то право. Какой урокъ нашему брату писателю! И какъ смешны после этого изънасъте, которые утверждають, что въ Россін нельзя сказать полной правды и что она у насъ колетъ глаза! Самъ же выразится такъ нельно и грубо, что болье, нежели самою правдою, уколеть тыми заносчивыми словами, которыми скажетъ свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепациой души своей, и нотомъ самъ и изумляется, и негодуетъ, что отъ него никто не приняль и не выслушаль правды! Нъть, имъй такую з чистую, такую благоустроенную душу, какую имълъ Карамзинъ, и тогда возвъщай свою правду: все тебявыслущаеть, начиная отъ Царя до носледняго инщаго въ государстве, и выслушаеть съ такою любовію, съ какою не выслушивается ни въ какой землів ни нарламентскій защитникъ правъ, ни лучшій нынішній проповідникъ, собпрающий вокругъ себя верхушку моднаго общества, и съ какою любовію можеть выслушать только одна чудная наша Россія.

### XIV.

## О ТЕАТРЪ, ОБЪ ОДНОСТОРОННЕМЪ ВЗГЛЯДЪ НА ТЕАТРЪ И ВООБЩЕ ОБЪ ОДНОСТОРОННОСТИ.

письмо къ гр. л. п. т....му.

Вы очень односторонии, и стали недавно такъ односторонии, и оттого стали односторони, что, находясь на той точкъ состоянія душевнаго, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться одностороннимъ всякому человъку. Вы помышляете только объ одномъ душевномъ спасенін вашемъ и, не найдя еще той именно дороги, которою вамъ предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть въ мірф, соблазномъ и пренятствіемъ къ спасенію. Монахъ не строже васъ. Такъ и ваши нападенія на театръ односторонии и несправедливы. Вы подкрипляете себя тымы, что ижкоторыя вамъ извъстныя духовимя лица возстають противъ театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучше: точно ли они возстають противъ театра, или только противу того вида, въ которомъ онъ намъ теперь является. Церковь начала возставать противу театра въпервые въки всеобщаго водворенія Христіянства, когда театры один оставались прибъжницемъ уже повсюду изгнаннаго язычества и притономъ безчинныхъ его вакханалії. Вотъ почему такъ сильно гремъль противу инхъ Златоустъ. Но времена измънились. Міръ весь перечистился съизнова покольніями свъщихъ народовъ Европы, которыхъ образование началось уже на Христіянскомъ грунтъ, н тогда сами святители начали первые вводить театръ: театры завелись при духовныхъ академіяхъ. Нашъ Димитрій Ростовскій, справедливо поставляемый въ рядъ Св. Отцевъ Церкви, слагалъ у насъ пьесы для представленія въ лицахъ. Стало быть, не театръ виновать. Все можно извратить, и всему можно дать дурной смысль, человъть же на это способенъ. Но надобно смотръть на венць въ ея основанін и на то, чёмъ она должна быть, а не судить о ней по каррикатуръ, которую на нее сдълали. Театръ ничуть не бездълица и вовсе не нустая вещь, если примешь въ соображение то,

что въ немъ можетъ помъститься вдругъ толпа изъ ияти - шести тысячь человькь и что вся эта толна, ин въ чемъ несходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можетъ вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать одибми слезами и засмъяться однимъ всеобщимъ смъхомъ. Это такая каоедра, съ которой можно много сказать міру добра. Отділите только собственно называемый высшій театрь отъ всякихъ балетныхъ скакакій, водевилей. мелодрамъ и тъхъ мишурно-великольныхъ зрълищъ для глазъ, угождающихъ разврату вкуса, или разврату сердца, и тогда посмотрите на театръ. Театръ, на которомъ представляются высокая трагедія и комедія, долженъ быть въ совершенной независимости отъ всего. Странно и соединить Шекспира съ илясуньями, или плясунами въ лайковыхъ штанахъ. Что за сближение? Ноги ногами, а голова головой. Въ ижкоторыхъ мъстахъ Европы это поняли: театръ высшихъ драматическихъ представленій тамъ отдібленъ и пользуется одинъ поддержкою правительствъ; но поняли это въ отношении порядка вибшияго. Следовало подумать нешутя о томъ, какъ ноставить всё лучшія произведенія драматическихъ писателей такимъ образомъ, чтобы публика привлеклась къ нимъ вниманіемъ и открылось бы ихъ правственное, благотворное вліяніе, которое есть у всёхъ великихъ писателей. Шекспиръ, Шерпданъ, Мольеръ, Гёте, Шиллеръ, Бомарше, даже Лессиигъ, Реньяръ и многіе другіе изъ второстененныхъ писателей прошедшаго вѣка ничего не произвели такого, что бы отвлекало отъ уважения къвысокимъ предметамъ; къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кинвло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ, занимавшихся вопросами политическими и разносившихъ неуваженіе къ святынъ. У нихъ, если и попадаются насмъшки, то надъ лицемъріемъ, надъ концунствомъ, надъ кривымъ толкованіемъ праваго, а никогда надъ тъмъ, что составляетъ корень человъческихъ доблестей; напротивъ, чувство добра слышится строго даже и тамъ, гдъ брызжутъ эпиграммы. Частое повтореніе высоко драматическихъ сочиненій, то есть, тёхъ истинно классическихъ пьесъ, гдѣ обращено винманіе на природу и душу человіка, станеть необходимо укръплять общество въ правилахъ болье недвижныхъ, заставить нечувствительно характеры болбе устоиваться въ самихъ

себъ, тогда какъ все это наводнение пустыхъ и легкихъ пьесъ, начиная съ водевилей и недодуманныхъ драмъ до блестящихъ балетовъ и даже оперъ; ихъ только расбрасываетъ, разсъеваетъ, становить общество легкимъ и вътреннымъ. Развлеченный милліонами блестящихъ предметовъ, раскидывающихъ мысли на всъстороны, свътъ не въ силахъ встрътиться прямо со Христомъ. Ему далеко до небесныхъ истинъ Христіянства. Онъ ихъ испугается, какъ мрачнаго монастыря, если не подставишь ему незримыя ступени къ Христіянству, если не возведень его на ибкоторое высшее м'єсто, откуда ему станетъ видиъе весь необъятный кругозоръ Христіянства п понятиве то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Среди свъта есть много такого, что для всъхъ, отдалившихся отъ Христіянства, служить незримою ступенію къ Христіянству. Въ томъ числѣ можетъ быть и театръ, если будетъ обращенъ къ своему высшему назначеню. Нужно ввести на сцену во всемъ блескъ всъ совершенивійшія драматическія произведенія всёхъ вёковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, повторяя безпрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сделать. Можно все пьесы сдёлать вновь свёжими, новыми, любонытными для всёхъ отъ мала до велика, если только съумбешь ихъ поставить, какъ елъдуетъ, на сцену. Это вздоръ, будто онъ устарълн и публика потеряла къ нихъ вкусъ. Публика не пифетъ своего каприза; она пойдетъ, куда поведутъ ее. Не попотчивай ее сами же писатели своими гиплыми мелодрамами, она бы не почувствовала къ ишмъ вкуса и не потребовала бы ихъ. Возьми самую запграннъйшую пьесу и поставь ее какъ нужно, та же публика повалить толною. Мольерь ей будеть въ новость, Шексипръ станетъ ааманчивъе наисовременивниаго водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была дъйствительно и вполит художественно, чтобы дъло это поручено было не кому другому, какъ первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется въ труппъ. И не мъшать уже сюда никакого прикленша съ боку, секретаря-чиновника; "пусть тотъ одниъ распоряжается во всемъ. Нужно даже особенно позаботиться о томъ, чтобы вся отвътственность легла на него одного, чтобы онъ ръшился публично, передъ глазами всей публики сыграть самъ по порядку одну за другою вей второстепенныя роли,

дабы оставить живые образцы второстепеннымъ актерамъ, которые заучиваютъ свои роли по мертвымъ образцамъ, дошедшимъ до нихъ по какому - то темному преданию, которые образовались книжнымъ наученіемъ и не видять себф никакого живого питереса въ своихъ роляхъ. Одно это исполнение первымъ актеромъ второстепенныхъ ролей можетъ привлечъ публику видъть двадцать разъ сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видать, какъ Щепкинъ, или Каратыгинъ станутъ играть тъ роли, которыхъ никогда дотоль не играли! Потомъ же, когда первоклассный актеръ, разыгравии вет роли, возвратится вновь на свою прежиюю, онъ получить взглядь еще поливний, какъ на собственную свою ролю, такъ и на всю пьесу; а пьеса получитъ вновь еще сильитищую занимательность для зрителей этою полнотою своего исполненія, вещію, досель неслыханною! Нътъ выше того потрясенія, которое производить на человъка совершенно согласованное согласіе всъхъ частей между собою, которое досель могь только слышать онъ въ одномъ музыкальномъ оркестръ и которое въ силахъ сдълать то, что драматическое произведение можетъ быть дано болъе разовъ сряду, цежели наплюбимъйшая опера. Что ни говори, а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ ивсколько разъ разпообразнъе музыкальныхъ звуковъ. Но, повторяю, все это возможно только въ такомъ случав, когда двло будетъ сдвлано истинно такъ, какъ слъдуетъ, и полная отвътственность всего по части репертуарной возляжеть на первоклассного актера, то есть, трагедіею будеть завъдывать первый трагическій актеръ, а комедіею первый комическій актеръ, когда один они будуть псилючительные хоровожди такого дѣла.

Нужно, чтобы въ дёлё какого бы то ин было мастерства полное его производство упиралось на главномъ мастеръ того мастерства. Только самъ мастеръ можетъ учить своей наукъ, слыша вполнё ея потребности, и инкто другой. Одинъ только первоклассный актеръ - художникъ можетъ сдѣлатъ хорошій выборъ пьесъ, дать имъ строгую сортпровку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетиціи, понимать, какъ важны частыя считовки и полныя предуготовительныя повторенія пьесы. Онъ даже не позволитъ актеру выучить ролю на дому, но сдѣлаетъ такъ, чтобы все вы-

училось имъ съобща и роля вошла сама собою въ голову каждаго во время репетицій, такъ чтобы всякой, окруженный тутъ же обстанавливающими его обстоятельствами, уже невольно отъ одного соприкосновенія съ инми слышаль вфриміі тонъ своей роли. Тогда и дурной актеръ можетъ нечувствительно набраться хорошаго. Покуда актеры еще не заучили наизустъ своихъ ролей, имъ возможно перенять многое у лучшаго актера. Тутъ всякой, не зная даже самъ, какимъ образомъ, набирается правды и естественноети, какъ въ ръчахъ, такъ и въ тълодвиженіяхъ: Тонъ вопроса даетъ тонъ отвъту: Сдълай вопросъ напыщенный, получишь и отвъть наныщенный; едълай простой вопросъ, простой и отвъть получинь. Всякой паниростъйний человъкъ уже способенъ отвъчать въ тактъ. Но если только актеръ заучилъ у себя на дому свою ролю, отъ него изойдетъ напыщенный, заученный отвътъ, н этоть отвёть уже останется вънемъ навёкъ: его ничёмъ не переломишь; ни одного слова не перейметь онъ тогда отъ лучшаго актера; для него станетъ глухо все окружение обстоятельствъ п характеровъ, обступающихъ его ролю, такъ же какъ и вся піеса станеть ему глуха и чужда, и онъ какъ мертвецъ будетъ двигаться среди мертвецовъ. Только одинъ истинный актеръ-художникъ можетъ слышать жизнь, заключенную въ пьесъ, и сдълать такъ, что жизнь эта сдълается видною и живою для всъхъ актеровъ; одинъ онъ можетъ слышать законную мъру репетицій, какъ ихъ производить, когда прекратить и сколько ихъ достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться въ полномъ совершенствъ своемъ передъ публикою. Умъй только заставить актера-художника взяться за это дёло, какъ за его собственное, родное дёло, докажи ему, что это его долгъ и что честь его же искуссва того требуетъ отъ него, и онъ это сдълаеть, онъ это исполнить, потому что любить свое искусство. Онь сдёлаеть даже больше, позаботясь, чтобы и послёдній изъ актеровъ сыграль хорошо, єдёлавъ строгое исполнение всего цълаго какъ-бы своею собственною ролею. Онъ не допустить на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, — потому не допустить, что уже его внутрениее эстетическое чувство оттолкиетъ ее. Ему невозможно также, если бы онъ даже и вздумалъ оказать какіе-нибудь притьснительные поступки, или

прижимки относительно ввъренныхъ ему актеровъ: его не донустить къ тому его собствения извъстность. Наконецъ, живя весь въ своемъ искусствъ, которое стало уже его высшею жизнію, котораго чистоту блюдеть онъ какъ святыню, художникъ-актеръ не попустить никогда, чтобы театръ сталъ проповедникомъ разврата. Итакъ не театръ виноватъ. Прежде очистите театръ отъ хлама, его загромоздившаго, и потомъ уже разбирайте и судите, что такое театръ. Я заговорилъ здъсь о театръ не потому, чтобы хотъль говорить собственно о немъ, но потому, что сказанное о театръ можно примънить почти ко всему. Много есть такихъ предметовъ, которые страждутъ изъ-за того, что извратили смыслъ ихъ; а такъ какъ вообще на свътъ есть много охотниковъ дъйствовать сгоряча по пословиць: разсердясь на вши, да шубу въ печь, то черезъ это уничтожается много того, что послужило бы всемъ на пользу. Односторонніе люди и притомъ фанатики — язва для общества; бъда той землъ и государству, гдъ въ рукахъ такихъ людей очутится какая-либо власть. У нихъ нътъ никакого смиренія Христіанскаго й сомивнія въ себв; они уверены, что весь свътъ вретъ и одни они только говорятъ правду. Другъмой! смотрите за собою нокрѣпче: вы теперь именно находитесь въ этомъ опасномъ состоянін. Хорошо, что, покуда, вы вий всякой должности и вамъ не ввърено никакого управленія; иначе вы, котораго я знаю, какъ наиспособивниаго къ отправлению самыхъ трудныхъ п сложныхъ должностей, могли бы надълать больше зла и безпорядковъ, нежели самый неспособный изъ неспособныйшихъ. Берегитесь и въ самыхъ сужденіяхъ своихъ обо всемъ! Не будьте похожи на тёхъ святошей, которые желали бы разомъ уничтожить все, что ин есть въ свътъ, видя во всемъ одно бъсовское. Ихъ удълъвпадать въ самыя грубыя ошибки. Нъчто тому подобное случилось педавно въ литературъ. Нъкоторые стали печатно объявлять, что Пушкинъ былъ денстъ, а не Христіянинъ; точно какъ-будтобы они нобывали въ душт Пушкина, точно какъ-будтобы Пушкинъ непременно обязань быль въ стихахъ своихъ говорить о высшихъ догматахъ Христіянскихъ, за которые и самъ святитель Церкви принимается не иначе, какъ съ великимъ страхомъ, приготовя себя къ тому глубочаниею святостно своей жизни. По ихъ понятіямъ,

следовало бы все высшее въ Христіянстве облекать въ риомы п едълать паъ того какія-то стихотворныя нгрушки. Пушкинъ едишкомъ разумно поступалъ, что не дерзалъ перепосить въ стихи того, чёмъ еще не проникалась вся насквозь его душа, и предпочиталь лучше остаться нечувствительною ступенію къ Высшему для всёхъ тёхъ, которые слишкомъ отдалились отъ Христа, нежели оттолкнуть ихъ вовсе отъ Христіянства такими же бездушными стихотвореніями, какія пишутся тёми, которые выставляють себя Христіянами. Я не могу даже нонять, какъ могло придти въ умъ критику печатно, въвиду всёхъ, взводить на Пушкина такое обвинение и что сочинения его служать къ развращению свъта, тогда какъ самой ценсурѣ прединсано, въ случаѣ, если бы смыслъ какого сочиненія не быль вполні ясень, толковать его въпрямую и выгодную для автора сторону, а не въ кривую и вредящую ему. Если это ностановлено въ закопъ ценсурт, безмолвной и безгласной, пепитющей даже возможности оговориться передъ публикою, то во сколько разъ больше должна это поставить себъ въ законъ критика, которая можетъ изъясниться и отовориться въ мальйшемъ дъйствіи своемъ! Публично выставлять не-Христіяниномъ человъка и даже противникомъ Христа, основываясь на ивкоторыхъ несовершенствахъ его души и на томъ, что онъ увлекался свётомъ такъ же, какъ и всякъ изъ насъ увлекался, - развъ это Христіянское діло? Да и кто же изъ насъ Христіянниъ? Этакъ я могу обвинить самого критика въ его не-Христіянствъ. Я могу сказать: что Христіянниъ не возымѣетъ такой увъренности въ умъ своемъ, чтобы ръшить такое темное дъло, которое извъстно одному Богу, зная, что умъ нашъ вполит проясияется и можетъ обнимать со всёхъ сторонъ предметь только отъ святости нашей жизни, а жизнь его еще не такъ, можетъ быть, свята. Христіянинъ передъ тъмъ, чтобы обвинить кого-либо въ такомъ уголовномъ преступлении, каково есть непризнание Бога въ томъ видъ, въ какомъ новелёлъ признавать Его самъ Божій Сынъ, сходившій на землю, задумается, потому что дёло это страшное. Онъ скажеть и то: въ поэзін многое есть еще тайна, да п вся поэзія есть тайна; трудно и надъ простымъ человъкомъ произнести судъ свой, произнести же судъ окончательный и полный падъ поэтомъ можетъ одинъ тотъ, кто заключилъ въ себѣ самомъ поэтическое существо и есть самъ уже почти равный ему поэтъ, — какъ и во всякомъ даже простомъ мастерствѣ понемногу можетъ судить всякъ, но вполиѣ судить можетъ только самъ мастеръ того мастерства. Словомъ, Христіянинъ покажетъ прежде всего смиреніе, свое первое знамя, по которому можно узнать, что онъ Христіянинъ. Христіянинъ, намѣсто того, чтобы геворить о тѣхъ мѣстахъ въ Пушкинъ, которыхъ смыслъ еще теменъ и можетъ быть истолкованъ на двѣ стороны, станстъ говорить о томъ, что ясно, что было имъ произведено въ лѣта разумнаго мужества, а не увлекающейся юности. Онъ приведетъ его величественные стихи пастырю Церкви, гдѣ Пушкинъ самъ говоритъ о себѣ, что даже и въ тѣ годы, когда онъ увлекался сустою и прелестію свѣта, его поражалъ даже одинъ видъ служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой Мгновенно звонъ и прерывалъ. Когда твой голосъ величавый Меня внезапио поражалъ. Я лиль потоки слезъ неждапныхъ, И ранамъ совъсти моей Твоихъ ръчей благоуханныхъ Отраденъ чистый быль елей. И нынь съ высоты духовной Мив руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйныя мечты. Твоимъ огнемъ душа палима Отвергла прахъ земныхъ суетъ, И внемлетъ арфъ серафима Въ священномъ ужасъ поэтъ.

Воть на какое стихотвореніе Пушкина укажеть критикъ-Христіянник! Тогда критика его получить смысль и сдівлаеть добро: она еще сильній укрівнить самое діло, ноказавши, какь даже и тоть человінь, который заключаль вы себів всів разнородныя віврованія и вопросы своего времени, такь сбивчивые, такь отдаляющіе нась оты Христа, какь даже и тоть человінь, вы лучшія и світлійшія минуты своего поэтическаго ясновидінія, исповідаль выше всего высоту Христіянскую. Но какой теперь смысль критики? спрашиваю я. Какая польза—смутить людей, поселивши вы нихь сомнініе и подозрініе вы Пушкинів? Бездітлица—выставить

напумпъншаго человъка своего времени непризнающимъ Христіянства! челов'єка, на котораго умственное поколініе смотрить какъ на вождя и на передового, сравнительно передъ другими людьми! Хорошо еще, что критикъ быль безталантливъ и не могъ пустить въ ходъ подобную ложь и что самъ Пушкинъ оставиль тому опровержение въ своихъ же стихахъ. Вотъ что можно сдълать, будучи односторониимъ! Другъ мой, храни васъ Богъ отъ односторонности: съ нею всюду человѣкъ произведетъ зло: вълитературъ, на службъ, въ семьъ, въ свътъ, словомъ — вездъ! Односторонній челов'якъ самоув'яренъ, односторонній челов'якъ дерзокъ, односторонній челов'ять вс'яхь вооружить противь себя. Односторонній человъкъ ни въ чемъ не можетъ найти середины. Односторонній человъкъ не можетъ быть истиннымъ Христіяниномъ: онъ можеть быть только фанатикомъ. Односторонность въ мысляхъ показываетъ только то, что человъкъ еще на дорогъ къ Христіянству, но не достигнуль его, потому что Христіянство даеть уже многосторонность уму. Словомъ, храни васъ Богъ отъ одноронности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что въ ней могуть быть двъ совершение противоположныя стороны, изъ которыхъ одна до времени вамъ не открыта. Театръ и театръ—двъ разныя вещи, равно какъ и восторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное дёло восторгъ отъ какой-нибудь балетной танцовщицы, и опять иное дёло восторгъ оттого, когда могущественный лицедъй потрясающимъ словъ подыметъ выше всъхъ высокія чувства въ человъкъ. Иное дъло — слезы оттого, что какой-нибудь завзжій півець расщекотить музыкальное ухо человіка, слезы, которыя, какъ я слышу, проливають теперь въ Петербургъ и немузыканты, и опять иное дёло — слезы оттого, когда живымъ представленіемъ высокаго подвига человѣка весь насквозь просвѣжается зритель и по выходъ изъ театра принимается съ новою силою за долгъ свой, видя подвигъ геройскій въ такомъ его исполпеніп. Другъ мой, мы призваны въміръ не затімь, чтобы истреблять и разрушать, но все направлять къ добру, даже и то, что уже испортиль человъкъ и обратиль во зло. Нътъ такого орудія въ міръ, которое не было бы предназначено на службу Бога. Тъ же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили

язычники идоловъ своихъ, по одержаніи надъ ними царемъ Давидомъ нобѣды, обратились на восхваленіе истиннаго Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышавъ хвалу Ему на тѣхъ пиструментахъ, на которыхъ она дотолѣ не раздавалась.

1845.

### XV.

# ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛИРИЧЕСКАГО ПОЭТА ВЪ НЫНЪШНЕЕ ВРЕМЯ.

два письма къ н. м. я . . . . . У.

1.

Твое стихотвореніе »Землетрясеніе « меня восхитило. Жуковскій также быль отъ него въ восторгѣ. Это, по его миѣнію, лучшее, не только изъ твоихъ, но даже изъ всѣхъ Русскихъ стихотвореній. Взять событіе изъ минувшаго и обратить его къ настоящему—какая умная и богатая мысль! А примѣненіе къ поэту, довершающее оду, таково, что его слѣдуетъ всякому изъ насъ, каково бы ни было его поприще, примѣнить къ самому себѣ въ эту тяжелую годину всемірнаго землетрясенія, когда все помутилось отъ страха за будущее. Другъ, передъ тобою разверзается живописный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

И приноси дрожащимъ людямъ Молитвы съ горпей вышишы —

заключаются слова тебѣ самому. Тайна твоей музы тебѣ открывается. Нынѣшнее время есть именно поприще для лирическаго поэта. Сатирою инчего не возьмешь; простою картиною дѣйствительности, оглянутой глазомъ современнаго свѣтскаго человѣка, инкого не разбудишь: богатырски задремалъ нынѣший вѣкъ. Нѣтъ, отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его въ виду всѣхъ, какъ поражено было

оно гиввомъ Божінмъ въ свое время; бей въ прошедшемъ настоящее, и въ двойную силу облечется твое слово: живъе черезъ то выступитъ прошедшее, и крикомъ закричитъ настоящее. Разогни книгу Ветхаго Завъта: ты найдешь тамъ каждое изъ нынъшнихъ событій, увидишь ясите дня, въ чемъ оно преступило предъ Богомъ, и такъ очевидно изображенъ надъ нимъ совершившійся страшный судъ Божій, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудія п средства: въ стихъ твоемъ есть сила, и упрекающая, и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Однихъ нужно поднять, другихъ попрекнуть: поднять тёхъ, которые смутились отъ страховъ и безчинствъ, ихъ окружающихъ; попрекнуть тъхъ, которые въ святыя минуты небеснаго гивва и страданій повсюдныхъ дерзаютъ предаваться буйству всякихъ скаканій и позорнаго дикованія. Нужно, чтобы твои стихи стали такъ въ глазахъ всёхъ, какъ начертанныя на вохдухъ буквы, явившіяся на ниру Валтасара, отъ которыхъ все пришло въ ужасъ, еще прежде, нежели могло проникнуть самый ихъ смысль. А если хочешь быть еще попятиве всёмь, то, набравшись духа библейскаго, опустись съ нимъ, какъ со свъточемъ, во глубину Русской старины и въ ней порази позоръ нынъшняго времени, и углуби въ то же время глубже въ насъ то, передъ чёмъ еще позориве станетъ позоръ нашъ. Стихъ твой не будетъ вялъ, не бойся; старина дастъ тебъ краски и уже одною собою вдохновитъ тебя! Она такъ живьемъ и шевелится въ нашихъ лътописяхъ. На дияхъ попалась миъ книга: »Царскіе Выходы«. Тутъ уже один слова и названія царскихъ убранствъ, дорогихъ тканей и каменьевъ — сущія сокровища для поэта; всякое слово такъ и ложится въ стихъ. Дивишься драгоцънности нашего языка: что ин звукъ, то и подарокъ; все зерипсто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и, право, иное название еще драгоцъниъе самой вещи. Да если только уберешь такими словами стихъ свой-целикомъ унесешь читателя въ минувшее. Мив, послв прочтения трехъ страницъ изъ этой книги, такъ и видълся вездъ Царь старинныхъ, прежинхъ временъ, благоговъйно идущій къ вечерит въ старинномъ царскомъ своемъ убранствъ.

Ипшу къ тебъ подъ вліяніемъ того жъ стихотворенія твоего: «Землетрясеніе». Ради Бога, не оставляй начатого дъла! Перечитывай строго Библію, набирайся Русской старины и, при свътъ ихъ, приглядывайся къ ныпъшнему времени. Много, много предстоитъ тебъ предметовъ, и гръхъ тебъ ихъ не видъть. Жуковскій не даромъ досель называль твою поэзію восторгомъ, никуда необращеннымъ. Стыдно тратить лирическую силу въ видъ холостыхъ выстръловъ на воздухъ, тогда какъ она дана тебъ на то, чтобы взрывать камии и ворочать утесы. Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирическаго поэта; всякъ человъкъ требуетъ лирическаго воззванія къ нему; куда ин новоротишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освъжить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего, сильнымъ лирическимъ упрекомъ, умныхъ, по унывшихъ людей. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то есть, что человѣкъ, предавшійся уныню, есть дрянь во всѣхъ отношеніяхъ, каковы бы ип были причины уныпія, потому что уныніе проклято Богомъ. Истиню Русскаго человѣка поведешь на брань даже и противъ унынія, поднимешь его превыше страха и колебаній земли, какъ подняль поэта въ своемъ »Землетрясеніи«.

Воззови, въ видъ лирическаго сильнаго воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человъку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасаль свою бъдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несетъ и несетъ его инчтожная верхушка свъта, несуть объды, ноги илясавицъ, ежедневное сонное опьяненіе; нечувствительно облекается онъ илотію, и сталь уже весь плоть, и уже почти иътъ въ немъ души. Завони воплемъ и выставь ему въдьму-старость, къ нему идущую, которая вся изъ желъза, передъ которою желъзо есть милосердіе, которая ин крохи чувства не отдаетъ назадъ и обратно. О, если бъ ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома »Мертвыхъ Душъ! «

Опозорь, въ гивномъ диопрамбъ, новъйшаго лихопица нынъш-

нихъ временъ и его проклятую роскошь, и скверную жену егс, погубившую щеголяньями и тряпками и себя и мужа, и презрънный порогъ ихъ богатаго дома, и гнусный воздухъ, которымъ тамъ дышатъ, чтобы, какъ отъ чумы, отъ нихъ нобъжало все бъгомъ и безъ оглядки.

Возвеличь, въ торжественномъ гимив, незамвтнаго труженика, какой, къ чести высокой породы Русской, находится посредн отваживнитель взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, какъ все беретъ вокругъ него. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотвла носить старомодный чепецъ и стать предметомъ насмъщекъ другихъ, нежели допустить своего мужа сдълать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бъдность такъ, чтобы, какъ святыня, она засила у всъхъ въ глазахъ и каждому изъ насъ захотвлось бы самому быть бъднымъ.

Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ Русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ, — плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснъйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это богатырское дѣло въ истинъ Русской душѣ, но покажи такъ, чтобы невольно затрепетала въ каждомъ Русская природа и чтобы все, даже въ грубомъ и низшемъ сословіи, вскрикнуло: »Эхъ, молодецъ! « почувствовавши, что и для него самого возможно такое дѣло.

Много, много предметовъ для лирическаго поэта, — въ книгъ не вмъстишь, не только въ письмъ. Всякое истипное Русское чувство глохиетъ, и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаль, дремлетъ ръшимость и отвага на дъло, дремлетъ наша кръпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свътской жизни, которую привили къ намъ, подъ именемъ просвъщения, пустыя и мелкія нововведенія. Стряхии же сонъ съ очей своихъ и порази сопъ другихъ. На колъна предъ Богомъ, и проси у Него гиъва и любви! гиъва — противу того, что губитъ человъка, любви — къ бъдной душъ человъка, которую губятъ со всъхъ сторонъ и которую губитъ онъ самъ. Найдешь слова, найдутся выраженія; огии, а не слова, налетятъ отъ тебя, какъ отъ древнихъ пророковъ,

если только, подобно имъ, едълаешь это дъло роднымъ и кровнымъ своимъ дъломъ, если только, подобно имъ, посыпавъ пепломъ главу, раздравши ризы, рыданіемъ вымолишь еебъ у Бога на то силу и такъ возлюбишь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасеніе Богоизбраннаго своего народа.

1844.

XVI.

СОВЪТЫ.

письмо къ щ....ву.

Уча другихъ, также учишься. Посреди моего бользиеннаго и труднаго времени, къ которому присоединились еще и тяжелыя страданія душевныя, я должень быль вести такую діятельную переписку, какой никогда у меня не было дотолъ. Какъ нарочно, почти со всёми близкими моей душё случились въ это время внутреннія событія и потрясенія. Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мив, требуя помощи и совъта. Тутъ только узналь я близкое родство человъческихъ душъ между собою. Стоитъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всй страдающіє становятся тебъ поиятны и почти знаешь, что нужно сказать имъ. Этого мало; самый умъ проясияется: дотолъ сокрытыя, положенія и поприща людей становятся тебъ извъстны, и дълается видно, что кому изъ нихъ потребно. Въ последнее время мив случалось даже получать письма отъ людей, мит почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвъты такіе, какихъ бы я не съумъль дать прежде. А между прочимъ я ни чуть не умиъе никого. Я знаю людей, которые въ ивсколько разъ умиве и образованиве меня, и могли бы дать совъты, въ пъсколько разъ полезнъйшие монхъ; но они этого не дълаютъ и даже не знаютъ, какъ это сдълать. Великъ Богъ, насъ умудряющій! и чёмт же умудряющій? тёмъ самымъ

горемъ, отъ котораго мы бъжимъ и хотимъ сокрыться. Страданіями и горемъ опредълено намъ добывать крупицы мудрести, непріобрѣтаемой въ книгахъ. Но кто уже пріобрѣлъ одну изъ этихъ круницъ, тотъ уже не имфетъ права скрывать ее въ себъ отъ другихъ. Она не твое, по Божіе достояніе. Богъ ее выработаль въ тебь; всь же дары Божін даются намъ затымъ, чтобы мы служили имъ собратіямъ нашимъ: Онъ повелёлъ, чтобы ежеминутно учили мы другъ друга. Итакъ не останавливайся, учи и давай совъты! Но, если хочешь, чтобы это принесло въ то же время тебъ самому пользу, ділай такъ, какъ думаю я и какъ положиль себі отныні дълать всегда. Всякій совъть и наставленіе, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человъку, стоящему на самой низкой степени образованія, съ которымъ у тебя инчего не можеть быть общаго, обрати въ то же время къ самому себъ, и то же самое, что посовътоваль другому, посовътуй себъ самому; тотъже самый упрекъ, который сделаль другому, сделай туть же себе самому. Повърь, все придется къ тебъ самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрекъ, которымъ бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Дъйствуй оружіемъ обоюду острымъ. Если даже тебъ случится разсердиться на кого бы то ин было, разсердись вътоже время и на себя самого, хотя за то, что съумълъ разсердиться на другого. И это дълай непремънно! Ни въ какомъ случат не своди глазъ съ самого себъ. Имъй всегда въ предметь себя прежде всъхъ. Будь эгоистъ въ этомъ случав. Эгонзмъ тоже педурное свойство; вольно было людямъ дать ему такое скверное толкованіе, а въ основаніе эгонама легла сущая правда. Позаботься прежде о себъ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а нотомъ уже старайся, чтобы другіс были чище.

### XVII.

## просвъщение.

нисьмо къ в. а. ж....му.

Еще разъ пишу къ тебъ съ дороги. Братъ, благодарю за все! У Гроба Госнода испрошу, да поможеть мий отдать теби хотя часть того умнаго добра, которымъ надвлялъ меня ты. Въруй, и да не смущается твое сердце! Въ Москву ты прітдешь, какъ въ родную свою семью. Она предстанеть тебъ желанною пристанію, п въ ней будетъ покойнъе тебъ, нежели здъсь. Ни пустой шумъ счеты, ни громъ экинажа не смутить тебя; объёдуть бережно п улицу, въ которой ты будешь жить. Если кто и прівдеть тебя навъстить, старый ли другь твой, или же дотоль иезнакомый человъкъ, онъ станетъ внередъ просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У насъ уміноть и даже знають, какъ почтить того, кто сдёлаль цёликомъ свое дъло. Кто такъ безукоризненно, такъ честно употреблялъ всѣ дары свои, не давая задремать своимъ способностямъ, не лѣиясь ни мпнуты во всю жизнь свою, кто сохраниль свъжую старость свою, какъ-бы молодость, въ то время, какъ вст вокругъ истратили ее на пустые соблазны и когда молодые превратились въ хилыхъ стариковъ; тотъ имъстъ право на винманіе благоговъйное. Какъ натріархъ ты будешь въ Москвъ, и на въсъ золота примуть отъ тебя юноши старческія слова твои. Твоя Одиссея принесетъ много общаго добра: это тебъ предрекаю. Она возвратить къ свъжести современнаго человъка, усталаго отъ безпорядка жизни и мыслей; она обновить въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и непужное для быта; она возвратить его къ простоть. Но не меньше добра, если еще не больше, принесуть тѣ труды, на которые навель тебя самъ Богъ и которые ты держишь, покуда, разумно подъ спудомъ. Въ инхъ окажется также нотребность общая. Не смущайся же и твердо гляди внередъ! Да не испугаетъ тебя

никакая нестройность того, что бы ты ин встрътиль. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который, покуда, еще не вежин видимъ, — наша Церковь. Уже готовится она вдругъ вступить въ полныя права свои и засіять свътомъ на вею землю. Въ ней заключено все, что нужно для жизни истинно Русской, во вежхъ ея отношеніяхъ, начиная отъ государственнаго до простого семейственнаго, всему настрой, всему направление, всему законная и върная дорога. По мив, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение въ Россио, минуя нашу Церковь, не испросивъ у нея на то благословенія: Нельно даже и къ мыслямъ нашимъ прививать какія бы то ни было Европейскія иден, покуда не окрестить ихъ опа свътомъ Христовымъ. Увидишь, какъ это вдругъ и въ твоихъже глазахъ будетъ признано всеми въ Россіи, какъ верующими, такъ и невърующими, какъвдругъ выступитъ всъми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая ельпота пала на глаза многихъ. Разбирая пристально нить событій міра, вижу всю мудрость Божію, попустившую временному раздълению Церквей, повелъвшую одной стоять неподвижно и какъ-бы вдали отъ людей, а другой — волюваться вмёстё съ людьми; одной — не принимать въ себя никакихъ нововведений, кромъ тъхъ, которыя были внесены святыми людьми лучшихъ временъ Христіянства и первоначальными Отцами Церкви, другой — міняясь и примінясь ко всімь обстоятельствамь времени, духу и привычекъ людей, вносить вст нововведенія, сдъланныя даже порочными и несвятыми епископами; одной — на время какъбы умереть для міра , другой — на время какъ-бы овладѣть всѣмъ міромъ; одной — подобно скромной Маріп, отложивши всв попеченія о земномъ, помъститься у ногь самого Господа, затьмъ чтобы лучше наслушаться словъ Его, прежде нежели примънять и передавать ихъ людямъ, другой же — подобио заботливой хозяйкъ Мароъ, гостепримно хлопотать около людей, передавая имъ еще невзвъшенныя всъмъ разумомъ слова Господии. Благую часть избрала первая, что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господа, выпося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было-осмёлилась называть ее мертвым трупомъ и даже заблудшею и отступившею отъ Господа. Не легко примънить слово Хри-

тово къ людямъ, и слъдовало ей прежде сильно проникнуться имъ самой. Зато въ нашей Церкви сохранилось все, что нужно для просынающагося ныих общества. Въ ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чёмъ больше вхожу въ нее сердцемъ, умомъ и помышленіемъ, тѣмъ больше изумляюсь чудной возможности примиренія тъхъ противоръчій, которыя не въ силахъ примирить теперь Церковь Западиая. Западиая Церковь была еще достаточна для прежняго несложнаго порядка, еще могла коекакъ управлять міромъ и мирить его со Христомъ во имя односторонняго и неполнаго развитія человъчества. Теперь же, когда человичество стало достигать развитія ноливіншаго во всихь своихъ сплахъ, во вейхъ свойствахъ, какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ, она его только отталкиваеть отъ Христа: чёмъ больше хлопочетъ о примиреніи, тъмъ больше вносить раздоръ, будучи не въ силахъ освътить узкимъ свътомъ своимъ всякій имнъший предметь со всёхъ его сторонъ. Всё сознаются въ томъ, что этимъ самымъ введеніемъ въ себя множества постановленій человтческихъ, сдъланныхъ такими епископами, которые еще не достигнули святостію жизни своей до полной и многосторонней Христіянской мудрости, она съузила взглядъ свой на жизнь и міръ, и не можетъ обхватить ихъ. Полный и всесторонній взглядъ на жизнь остался на ея Восточной половинь, видимо сбереженной для поздивищаго и политійшаго образованія человъка. Въ ней просторъ не только душт и сердцу человтка, но и разуму, во встхъ его верховныхъ силахъ. Въ ней дорога и путь, какъ устремить все въ человъкъ въ одинъ согласный гимнъ верховному Существу. Другъ, не смущайся ничъмъ! Если бы седьмерицею кратъ были запутаниъе ныпршнія обстоятельства — все примирить и распутаеть наша Церковь. Уже, какимъ-то невъдомымъ чутьемъ, даже наши свътскіе люди, толкающіеся среди, начинають слышать, что есть какое-то сокровище, отъ котораго спасеніе, которое среди насъ п котораго не видимъ. Блеснетъ сокровище, и на всемъ отсвътится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь еще безсмысленно слово просвищение. Даже и не задумались надъ тъмъ, откуда пришло это слово и что оно значитъ. Слова этого нътъ ни на какомъ языкъ; оно только у насъ. Просвътить не значить научить, или наставить, или образовать, или даже освѣтить, но всего насквозь высвѣтлить человѣка во всѣхъ его силахъ, а не въ одномъ умѣ, пронести всю природу его сквозь какой то очистительный огонь. Слово это взято изъ нашей Церкви, которая уже почти тысячу лѣтъ его произноситъ, не смотря на всѣ мраки и невѣжественныя тьмы, отвсюду ее окружавшіе, и знастъ, зачѣмъ произноситъ. Недаромъ архіерей, въ торжественномъ служенін своемъ, нодъемля въ обѣихъ рукахъ и троесвѣщникъ, знаменующій Троицу Бога, и двусвѣщникъ, знаменующій Его сходившее на землю Слово въ двойномъ естествѣ Его, и Божескомъ, и человѣческомъ, всѣхъ ими освѣщаетъ, произнося: «Свѣтъ Христовъ освѣщаетъ всѣхъ! « Недаромъ также въ другомъ мѣстѣ служенія гремятъ отрывочно, какъ-бы съ неба, вслухъ всѣмъ слова́: «Свѣтъ просвѣщенія!« и инчего къ иимъ не прибавляется больше.

1846

## XVIII.

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ ПО ПОВОДУ »МЕРТВЫХЪ ДУНГЪ«.

4.

Вы напрасно негодуете на неумъренный тонъ пъкоторыхъ нападеній на »Мервыя Души«. Это имъетъ свою хорошую сторопу. Нногда нужно имъть противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощастъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что по неволъ ее увидишь. Истину такъ ръдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ея момно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ин произвоенлась. Въ критикахъ Булгарина. Сенковскаго и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даинаго мив совъта ноучиться прежде Русской грамотв, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, если бы я не торопплся печатаніемъ рукоппси и подержаль ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было явиться въ свѣтъ. Самыя эпиграммы и насмѣшки надо мною были мнѣ нужны, не смотря на то, что съ перваго разу пришлись очень не по-сердщу. О, какъ намъ нужны безпрестанные щелчки и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдкія, пронимающія насквозь насмѣшки! На диѣ души нашей столько таится всякаго мелкаго, инчтожнаго самолюбія, щекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

Я бы желаль, однакожь, побольше критикь, не со стороны литераторовъ, по со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бъду, кромъ литераторовъ, не отозвался никто. А между тъмъ »Мертвыя Души« произвели много шума, много ропота; задъли за живое многихъ и наемъшкою, и правдою, и каррикатурою; коснулись порядка вещей, который у всёхъ ежедневно передъ глазами, хоть исполнены промаховъ, анахронизмовъ, явиаго незнанія многихъ предметовъ; мъстами даже съ умысломъ помъщено обидное и задъвающее, авось кто-ипбудь меня выбранить хорошенько и въ брани, въ гиввъ выскажетъ мив правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы мит явно доказать, въ виду встхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія приведеніемъ двухътрехъ дъйствительно случившихся дълъ, и тъмъ бы опровергъменя лучше всякихъ словъ, или ттмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывается діло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сделать и купець, и помещикь, словомь — всякій грамотъй, сидитъ ли онъ сиднемъ на мъстъ, или рыскаетъ вдовь и поперетъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человікь, съ того міста, или стуненьки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе и образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой, кромѣ его, никто другой не можетъ видѣть. По новоду »Мертвыхъ Душъ« могла бы написаться всею толною читателей другая книга, несравненно любонытиѣйшая »Мертвыхъ Душъ«, которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что — нечего таить грѣха — всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

II хоть бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно какъ-бы вымерло все, какъ-бы въ самомъ дёлё обитаютъ въ Россіп не живыя, а какія-то »Мертвыя Души«. И меня же упрекають въ плохомъ знанін Россін! Какъ-будто непремѣнно силою Святого Духа долженъ узнать я все, что ин дълается во всъхъ углахъ ея, безъ наученія научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворинческую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіп? какими путями могу я научиться? Меня же не научать этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвътъ Богу за то, что не исполниль, какъ следуеть, своего дела, но знаю, что дадуть за меня отвътъ и другіе, и говорю это недаромъ; видитъ Богъ, говорю недаромъ!

1843.

0)

Я предчувствоваль, что всё лирическія отступленія въ поэмѣ будуть приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими предъ глазами читателя, такъ невпопадъ склэду и замашкѣ всего сочиненія, что ввели въ равное заблужденіе, какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ ни запкнулся я неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И по-дѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣ-

довало выдавать и сочиненія, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-какъ, бълыми интками, подобио илатью, приносимому портнымъ только для примфрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдълано упрековъ въ отношенін къ пскусству и творческой наукъ. Этому помъшало какъ гитвное расположение монхъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Следовало показать, какія части чудовищно-длиним въ отношени къ другимъ, гдъ писатель измънилъ самому себъ, не выдерживь своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замътилъ даже, что послъдияя половина книги обработана меньше нервой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаеть внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза нестрота частей и лоскутность его. Словомъ, можно было много сдълать нападеній несравненно дельнейшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранять, и выбранить за дело. Но речь не о томъ. Речь о лирическомъ отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя въ немъ признаки самонадвянности, самохвальства и гордости, досель еще неслыханной ин въ одномъ писатель. Разуміно то місто въ послідней главі, когда, изобразивь выйздъ Чичикова изъ города, инсатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится самъ на его мъсто и, нораженный скучнымъ однообразіемъ предметовъ, пустынною безпріютностію пространствъ нашихъ и грустною ийснію, несущеюся по всему лицу земли Русской, отъ моря до моря, обращается въ лирическомъ воззваніи къ самой Россіи, спрашивая у нея самой объясненія непонятнаго чувства, его объявшаго, то есть, зачёмъ и почему ему кажется, что будто все, что ий есть въ ней, отъ предмета одушевленнаго до бездушнаго, вперило на него глаза свои и чего-то ждетъ отъ него. Слова эти были приняты за гордость и досель неслыханное хвастовство, между тымь какъ они ни то, ни другое. Это, просто, нескладное выражение истиннаго чувства. Мит и доныит кажется то же. Я до сихъ поръ не могу выносить тёхъ заунывныхъ, раздирающихъ звуковъ нашей пъсии, которая стремится по всёмъ безпредёльнымъ Русскимъ простран-

ствамъ. Звуки эти выотся около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаеть въ себъ того же. Кому, при взглядъ на эти пустынныя, досель незаселенныя и безприотныя пространства, не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ нашей пъсни не слышатся болъзненные упреки ему самому, именно ему самому; тотъ или уже весь исполниль свой долгъ, какъ следуетъ, или же онъ не-Русскій въ душъ. Разберемъ дѣло, какъ оно есть. Вотъ уже почти полтораста лётъ протекло съ тёхъ поръ, какъ Государь Нетръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвъшенія Европейскаго, даль въруки намъ всѣ средства и орудія для дъла, и до сихъ поръ остаются такъже пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безприотно и непривътливо все вокругъ насъ, точно, какъ-будтобы мы до сихъ-поръ еще не у еебя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдъ-то остановились безпріютно на протзжей дорогь, и дышеть намь отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною выогой почтовой станцією, гдт видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель, съ черствымъ отвътомъ: »Нътъ лошадей!« Отчего это? Кто виноватъ? Мы. Правительство во все время дъйствовало безъ устали. Свидътелемъ тому цълые томы постановленій, узаконеній и учрежденій, множество настроенныхъ домовъ, множество изданныхъ кингъ, множество заведенныхъ заведеній всякаго рода, учебныхъ, человѣколюбивыхъ, Богоугодныхъ и, словомъ, даже такихъ, какихъ иигдъ въ другихъ государствахъ не заводятъ правительства. Сверху раздаются вопросы, отвъты сиизу. Сверху раздавались иногда такіе вопросы, которые свидітельствують о рыцарски-великодушномъ движеніи многихъ Государей, двіствовавшихъ даже въ ущербъ собственнымъ выгодамъ. А какъ было на это отвътствовано сиизу? Дело ведь въ применени, въ уменьи приложить данную мысль такимъ образомъ, чтобы она принялась и поселилась въ насъ. Указъ, какъбы онъ обдуманъ попредълителенъ ни былъ, есть не болье, какъ бланковый листъ, если не будетъ снизу такого же чистаго желанія примішить его къ ділу тою именно стороною, какой нужно, какой следуеть и какую можеть прозреть только тотъ, кто просвътленъ понятіемъ о справедливости Божеской, а не человъческой. Безъ того все обратится во зло. Доказательство тому вст наши тонкіе илуты и взяточники, которые умтють обойти всякій указъ, для которыхъ новый указъ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большею сложностию всякое отправленіе дълъ, бросить новое бревно подъ ноги человъку. Словомъ, вездъ, куда не обращусь, вижу, что виноватъ примънитель, стало быть, нашъ же братъ: или виноватъ тёмъ, что поторопился, желая слишкомъ скоро прославиться; или виновать тымъ. что елишкомъ сгоряча рванулся, желая, по Русскому обычаю, ноказать свое самоножертвованіе; не спросясь разума, не разсмотръвъ въ жару самого дъла, сталъ имъ ворочать, какъ знатокъ, и нотомъ вдругъ, также по Русскому обычаю, простылъ, увидъвши пеудачу; или же виновать, наконець, тімь, что, изъ-за какого-нибудь оскорбленнаго мелкаго честолюбія, все бросиль и то місто, на которомъ было-началъ такъ благородно подвизаться, сдалъ первому плуту. Словомъ; у редкаго изъ насъ доставало столько любви къ добру, чтобы онъ ръшился пожертвовать изъ-за него и честолюбіемъ, и самолюбіемъ, и всъми мелочами легко-раздражающагося своего эгонзма, и положиль самому себѣ въ непремънный законь служить земль своей, а не себь, помня ежеминутно, что взяль онъ мъсто для счастія другихъ, а не для своего. Напротивъ, въ последнее время, какъ-бы еще нарочно старался Русскій человѣкъ выставить всѣмъ на видъ свою щекотливость во вебхъ родахъ и мелочь раздражительнаго самолюбія своего на вебхъ путяхъ. Не знаю, много ли изъ насъ такихъ, которые сдёлали все, что имъ слъдовало сдълать, и которые могутъ сказать открыто передъ цалымъ сватомъ, что ихъ не можетъ попрекнуть ин въчемъ Россія, что не глядить на нихъ укоризненно всякій бездушный предметъ ея пустынныхъ пространствъ, что все ими довольно и ничего отъ нихъ не ждетъ. Знаю только то, что я слышалъ себъ упрекъ. Слышу его и теперь. И на моемъ поприще инсателя, какъ оно ни скромно, можно было кое-что сдёлать на пользу более прочную. Что изъ того, что въ моемъ сердцѣ обитало всегда желаніе добра и что единственно изъ-за него я взялся за перо? Какъ исполниль его? Ну, хоть бы и это мое сочинение, которое теперь вышло и которому названіе »Мертвыя Души«, — произвело ли опо

то внечатлёніе, какое должно было произвести, если бы только было написано такъ, какъ следуетъ? Своихъ же собственныхъ мыслей, простыхъ, неголоволомныхъ мыслей, я не съумълъ нередать, и самъ же подаль поводъ къ истолкованию ихъ въ превратную и скоръе вредную, нежели полезную сторону. Кто виноватъ? Пеужели мив говорить, что меня подталкивали просьбы пріятелей. или нетеривливыя желанія любителей изящиаго, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мив говорить. что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимыя для моего прожитія деньги, я должень быль ноторониться безвременнымъ выпускомъ моей кинги? Нътъ, кто ръшился исполнить свое дёло честно, того не могутъ поколебать никакія обстоятельства, тотъ протянетъ руку и попроситъ милостыню, если ужъ до того дойдеть дёло, тоть не посмотрить ни на какія временныя нареканія, ниже пустыя приличія свъта. Кто изъпустыхъ приличій свъта портитъ дъло, нужное своей земль, тотъ ея не любитъ. Я почувствоваль презрынную слабость моего характера, мое подлое малодушіе, безсиліе любви мосії, а потому и услышаль бользненный упрекъ себъ во всемъ, что ин есть въ России. Но высшая сила меня подняла: проступковъ нътъ непсиравимыхъ, и тъже пустынныя пространства, напесшія тоску мні на душу, меня восторгнули великимъ просторомъ своего пространства, широкимъ поприщемъ для дълъ. Отъ души было произнесено это обращение къ Россіи: »Въ тебъли небыть богатырю, когда есть мъсто, гдъ развернуться ему!« Опо было сказано не для картины, или похвальбы: я это чувствоваль; я это чувствую и теперь. Въ Россіи теперь на всякомъ шагу можно сдълаться богатыремъ. Всякое званіе и мъсто требуетъ богатырства. Каждый изъ насъ опозориль до того святыню своего званія и міста (всі міста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту. Я слышаль то великое ноприще, которое никому изъ другихъ народовъ теперь невозможно и только одному Русскому возможно, потому что передъ нимъ только такой просторъ и только его душѣ знакомо богатырство, —вотъ отчего у меня исторгнулось то восклицаніе, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадъянность!

Охота же тебь, будучи такимъ знакотомъ и въдателемъ человъка, задавать мит тъ же пустые запросы, которые умъють задать п другіе! Половина ихъ относится кътому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствъ? Одниъ только запросъ уменъ и достоинъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мив едвлали и другіе, хотя не знаю, съуміть ян бы на него отвічать умно, именно запросъ: отчего героп моихъ последнихъ произведеній. и въ особенности »Мертвыхъ Душъ«, будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дъйствительныхъ людей, будучи сами по себъ свойства совсёмъ непривлекательнаго, неизвёстно почему, близки душь, точно, какъ-бы въ сочинении ихъ участвовало какое-нибуль обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвъчать на это даже и тебъ. Теперь же прямо скажу все: героп мон потому близки душв, что они изъ души; вев мон последнія сочиненія—неторія мосії собственної дуни. А чтобы получие все это объяснить, опредълю тебъ себя самого, какъ писателя. Обо миъ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредълнли. Его слыналъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мит говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умъть очертить въ такой енлё пошлость пошлаго человека, чтобы вся та мелочь. которая ускользаеть отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всъмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнъ принадлежащее и котораго точно ивтъ у другихъ писателей. Оно въ последствін углубилось во мий еще сильние отъ соединения съ нимъ ийкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состоянін быль открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило съ большей силою въ »Мертвыхъ Душахъ«. »Мертвыя Души« не потому такъ испугали многихъ и произвели такой шумъ, чтобы опъ раскрыли какія-пибудь раны общества, или внутреннія бользии, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невипности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодъи; при-

бавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помпрился бы съ ними всёми. Но пошлость всего вмёстё испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ следуютъ у меня героп одинъ пошле другого, что нетъ ни одного утенительнаго явленія, что негдъ даже и пріотдохнуть, или перевести духъ бъдному читателю и что, по прочтеніи всей кинги, кажется, какъ-бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божії свътъ. Миъ бы скоръе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили мив. Русскаго человъка испугала его пичтожность болве, нежели всв его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращение отъ ничтожнаго, въ томъ, втрно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итакъ воть въ чемъ мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мит въ такой силт, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей монхъ не зналъ того, что, сміясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

Во мнѣ не было какого-инбудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся видибе всёхъ монхъ прочихъ цороковъ, всё равно, какъ не было также никакой картинной добродътели, которая могла бы придать мий какую-нибудь картинную наружность; но зато, выйсто того, во мий заключилось собраніе всёх б возможных в гадостей, каждой понемному, и притомъ въ такомъ множествъ, въ какомъ я еще не встръчалъ доселъ ни въ одномъ человъкъ. Богъ далъ миъ многосторонюю природу. Онъ носелиль мий также въ душу, уже отъ рожденія моего, ибсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, закоторое не умѣю, какъ возблагодарить Его, было желаніе быть лучшимъ. Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ, и если бы небесная любовь Божія пе распорядила такъ, чтобы они открылись передо мною постепенно и понемногу, намъсто того, чтобы открыться вдругь и разомъ передъ монми глазами, въ то время, какъ я не имъль еще инкакого понятія о всей неизміримости Его безкопечнаго милосердія, я бы новъсплся. По мъръ того, какъ они стали открываться; чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мят желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я быль наведень на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ. Какэго рода было это событіе, знать тебф не слъдуеть: если бы я видъть въ этомъ пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявилъ. Съ этихъ поръ я сталъ надёлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дълалось: взявши дурное свойство мое, я преслъдоваль его въ другомъ званін и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видъ смертельнаго врага, нанесшаго миъ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ пи попало. Если бы кто видълъ тъ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего въ началъ для меня самого, онъ бы точно содрогнулся. Довольно сказать теб' только то, что когда я началь читать Пушкину первыя главы изъ »Мертвыхъ Душъ«, въ томъ видъ, какъ опъ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смъялся при моемъ чтенін (онъ же быль охотникъ до смъха), началъ понемногу становиться всё сумрачите, сумрачите, а наконецъ сдълался совершенно мраченъ. Когда же чтение кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: »Боже, какъ грустна наша Россія!« Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замътилъ, что все это каррикатура и моя собственизя выдумка! Тутъ-то я увидълъ, что значитъ дъло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человъка видъ можетъ быть ему представлена тъма и нугающее отсутствие свита. Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное внечатлъніе, которое могли произвести »Мертвыя Души«. Я увидъль, что многія изъ гадостей не стоять злобы; лучше показать всю инчтожность ихъ, которая должна быть навъки ихъ удъломъ. Притомъ миъ хотълось попробовать, что скажетъ вообще Русскій человъкъ, если его попотчуещь его же собственною ношлостію. Въ слъдствіе уже давно принятаго плана »Мертвыхъ Душъ«, для перьой части поэмы требовались именно люди инчтожные. Эти ничтожные люди, одиакожъ, ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считають себя лучшими другихъ, разумъется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромѣ монхъ соб-

ствешныхъ, есть даже черты многихъ монхъ пріятелей, есть и твои. Я тебь это покажу посяв, когда будеть тебь нужно; до времени это моя тайна. Мив потребно было отобрать отъ всёхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить законнымъ ихъ владѣльцамъ. Не спрашивай, зачёмъ первая часть должна быть вся пошлость п зачъмъ въ ней всъ лица до единаго должны быть пошлы: на это дадутъ тебъ отвътъ другіе томы, —вотъ и все! Первая часть, не емотря не вев свои несовершенства, главное двло едвлала. Она носелила во всёхъ отвращение отъ монхъ героевъ и отъ ихъ ничтожности; она разнесла и которую миж пужную тоску и собственное наше неудовольствие на самихъ насъ. Покамъстъ для меня этого довольно; за другимъ я и не гонюсь. Конечно, все это выило бы гораздо значительнъе, если бы я, не торонясь выдачею въ свътъ, обработалъ книгу получше. Герои мон еще не отдълились вполит отъ меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселилъ я ихъ твердо на той землъ, на которой имъ быть долженствовало, и не вошли они въкругъ пашихъ обычаевъ, обставясь всеми обстоятельствами действительно Русской жизни. Еще вся кинга не болбе, какъ недостатокъ; по духъ ся разнесся уже отъ цея незримо, и самое ея раннее появление можетъ быть полезно мнт тъмъ, что подвигиетъ монхъ читателей указать вст промахи относительно общественныхъ и частныхъ порядковъ внутри Россіп. Вотъ, если бы ты, вмѣсто того, чтобы предлагать миж пустые запросы (которыми наимчкалъ ноловину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромъ удовлетворешія какого-то празднаго любонытства), собраль всё дёльныя замъчанія на мою книгу, какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, запятыхъ, подобно тебъ, жизнію опытною и дъльною, да присоединиль бы къ этому множество событій п анекдотовъ, какіе ни случались въ околодкъ вашемъ и во всей губерии, въ подтвержденіе, или въ опроверженіе всякаго дёла въ мосії книгѣ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу; тогда бы ты едълалъ доброе дъло, и я бы сказалъ тебъ мое кръпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освъжилась моя голова, и какъ бы успъшнъе пошло мое дъло! Но того,

о чемъ я прошу, инкто не исполняетъ; монхъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ своп; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любонытство знать внередъ и эта пустая ни къ чему неведущая торопливость, которою, какъ я замъчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въприродъ совершается все чинио и мудро, въкакомъ стройномъ законъ и какъ все разумно исходить одно изъ другого! Одни мы, Богъ въсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкв. Ну, взввенлъ ли ты хорошенько слова свои: »Второй томъ нуженъ теперь необходимо«? Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее неудовольствіе, сталь торониться вторычь томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я ноторонился первымъ. Да развъ ужъ я совсъмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мий нужно; въ неудовольствін человъкъ хоть что - нибудь мит выскажетъ. И откуда вывелъ ты заключение, что второй томъ именио теперь нуженъ? Залъзъ ты развъ въ мою голову? почувствоваль существо второго тома? Ио-твоему онъ нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображение нопутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто жъ изъ насъ правъ? тотъ ли, у кого второй томъ уже сидить въ головь, или тоть, кто даже и не знаеть, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Русп! Самъ человікъ лежить на боку, къ ділу настоящему ліннівь, а другого торонить, точно, какъ-будто непремѣнно другой должень изо всёхъ силъ тянуть, отъ радости, что его пріятель лежить на боку. Чуть замътять, что хотя одинь человъкь заиялся серьёзно какимънибудь дёломъ, ужъ его торопять со всёхъ сторонъ и потомъ его же выбранять, если сделаеть глупо, — скажуть: зачемъ поторопился? Но оканчиваю тебъ поученіе. На твой умный вопросъ я отвъчаль и даже сказаль тебъ то, чего досель не говориль еще никому. Не думай, однакоже, послъ этой псповъдп, чтобы я самъ быль такой же уродь, каковы мон героп. Нъть, я не нохожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и стараю имъ; но я не люблю монхъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мон герон; я не люблю тъхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра.

Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мив въ этомъ номожеть Богь, и это вздорь, что выпустили глупые свътскіе уминки, будто человъку только и возможно воспитать себя, покуда онь въ школь, а посль ужъ и черты нельзя измънить въ себъ. Только въ глупой свътской башкъ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тёмъ, что нередалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмёялъ въ нихъ и заставиль другихъ также надъ ними посмънться. Я оторвался уже отъ многаго тъмъ, что, линивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою выбзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставиль ее рядомь съ той гадостио, которая всемъ видна, и, когда новъряю себя на исповъди нередъ Тътъ, Кто повелълъ миъ быть въ мірі и освобождаться отъ монхъ недостатковъ, вижу много въ себъ пороковъ, но они уже не тъ, которые были въ прошломъ году: святая сила помогла мив отъ твхъ оторваться. А тебъ совътую не пропустить мимо ущей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на ивсколько минуть и, отъ всего отдълясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провърить на дълъ истину словъ монхъ. Въ этомъ же моемъ отвътъ найдешь отвътъ и на другіе запросы, если попристальнье вглядишься. Тебь объяснится также и то, почему не выставляль я до сихъ поръ читателю явленій утішительныхъ и не избираль въ мон герои добродътельныхъ людей. Ихъ въ головъ не выдумаешь. Пока не станешь самъ хотя сколько-инбудь на нихъ походить, пока не добудень постоянствомъ и не завоюень силою въдушу нѣсколько добрыхъ качествъ, мертвечина будетъ все, что ни напишетъ неро твое и, какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошемаровъ — я также не выдумывалъ: кошемары эти давили мою собственную душу: что было въ душф, то изъ нея и вышло.

1843.

4

Затымь сожжень второй тоть »Мертвыхь Душь«, что такь было нужно. Не оженеет, ащё не умреть, говорить апостоль.

Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятильтній трудь, производимый съ такими бользненными напряженіями, гдф всякая строка досталась потрясеніемъ, гдъ было много такого, что составляло мон лучшія номышленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя передъ собою смерть, мий очень хотилось оставить послъ себя хоть что-инбудь, обо мит лучше напоминающее. Благодарю Бога, что далъ мит силу это сделать. Какъ только пламя унесло последше листы моей кинги, ея содержание вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свътломъ видъ, подобно фениксу изъ костра, и я вдругъ увидёль, въ какомъ еще безпорядкъ было то, что я считаль уже порядочнымъ и стройнымъ. Появление второго тома въ томъ видъ, въ какомъ онъ былъ, произвело бы скоръе вредъ, нежели пользу. Нужно принимать въ соображение не наслажденіе какихъ-нибудь любителей искусствъ и литературы, но всёхъ читателей, для которыхъ писались »Мертвыя Души«. Вывести и всколько прекрасных в хариктеровь, обнаруживающих в высокое благородство нашей породы, ин къ чему не поведетъ. Опо возбудить только одну-пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мъру Русскими доблестями и думаютъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себъ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Евроив: » Смотрите, Нфицы: мы лучше васъ! « Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и напоситъ вредъ самому хвастуну. Наплучшее дёло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь. А у насъ, еще не едълавши дъла, имъ хвастаются! хвастаются будущимъ! Нътъ, по мнъ, уже лучие временное уныніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадівянность въ себіт. Въ первомъ случав, человъкъ по крайней мъръ увидить свою презрѣнность, подлое ничтожество свое и всномнитъ невольно о Богъ, возносящемъ и выводящемъ все изъ глубины инчтожества; въпоследнемъ же случат, онъ убъжить оть самого себя прямо въ руки къ чорту, отцу самонадѣянности, дымнымъ надменіемъ своихъ доблестей надмевающему человъка. Иътъ, бываетъ время, когда пельзя иначе устремить общество, или даже все покольне къ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бываеть время, что даже вовсе не следуеть гогорить о высокомъ и прекрасномъ, не показавши тутъ же, ясно какъ день, нутей и дорогь къ нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во второмъ томѣ »Мертвыхъ Душъ«, а оно должно было быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ. Не судите обо мив и не выводите своихъ заключеній: вы ошибетесь подобио тъмъ изъ монхъ пріятелей, которые, создавин изъ меня свой собственный идеаль писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о инсатель, начали было отъ меня требовать, чтобы я отвъчаль ими же созданному идеалу. Создаль меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія мосго. Рожденъ я вовсе не затъмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дъло мое проще и ближе: дъло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человікъ, не только одинъ я. Діло мое — душа и прочное дъло жизни. А потому и образъ дъйствій монхъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мит иезачтмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе. Жгу, когда нужно жечь, и, вёрно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему. Опасенія же ваши на счеть хилаго моего здоровья, которое, можеть быть, не позволить мив написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бываетъ мит такъ тяжело, что безъ Вога и не неренесъ бы. Къ изнурению силъ прибавилась еще и зябкость въ такой мірів, что не знаю, какъ и чімь согріться: нужно дълать движеніе, а дълать движеніе — иьтъ силь. Едва часъ въ день выберется для труда, и тотъ не всегда свъжій. Но инчуть не уменьшается моя надежда. Тотъ, Кто горемъ, недугами и пренятствіями ускориль развитіе спль и мыслей моихь, безь которыхъ я бы и не замыслиль своего труда, Кто выработаль большую половину его въ головъ моей, Тотъ дастъ сплу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлію тіломъ, но не духомъ. Въ духѣ, напротивъ, все крѣпиетъ и становится тверже; будеть крипость и въ тили. Вирю, что, если придеть урочное время, въ итсколько недель совершится то, надъ чемъ провелъ пять бользненныхъ льтъ. 1846.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

# РУССКІЙ ПОМЪЩИКЪ.

письмо къ б. и. б....му.

Главное то, что ты уже прівхаль въ деревню и положиль себт непремѣнно быть помѣщикомъ; прочее все придетъ само собою. Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавнія пом'єнника еъ крестьянами, исчезнули навъки. Чтобы навсегда или навъки онъ исчезнули — илюнь ты на такія слова: сказать ихъ можетъ только тоть, кто далье своего носа инчего не видить. Русскаго ли человіка, который такъ умість быть благодарнымъ за всякое добро, какому его ни надоумишь, Русскаго ли человъка трудно привязать къ себъ? Такъ можно привязать, что послъ будешь думать только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя. Если только исполнишь въ точности все то, что теперь тебъ скажу, то къ концу же года увидишь, что я правъ. Возьмись за дёло ном'ьщика, какъ слъдуетъ за него взяться въ настоящемъ и законномъ смыслъ. Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что такое ты, и что такое они. Что помъщикъ ты надъ ними не потому, чтобы тебь хотьлось повельвать и быть помещикомы, но потому,

что ты уже есть помъщикъ, что ты родился помъщикомъ, что взыщеть съ тебя Богь, еслибъ ты промъпяль это звание на другое, потому что всякій должень служить Богу на своемь мість, а не на чужомъ, равно какъ и они также, родясь подъ властію, должны нокоряться той самой власти, нодъ которою родились, нотому что ивть власти, которая бы не была отъ Бога, и покажи это имъ туть же въ Евангеліп, чтобы они всё это видёли до единаго. Нотомъ скажи имъ, что заставляень ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебф деньги на твои удовольствія, и сдълай такъ, чтобы они видъли дъйствительно, что деньги тебъ нуль, но что нотому ты заставляень ихъ трудиться, что Богомъ повельно человъку трудомъ и потомъ синскивать себъ хлъбъ, и прочти имъ тутъ же это въ Св. Писаніи, чтобы они это видёли. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщетъ Богъ за последняго негодяя въ селъ, и что по этому самому ты еще болъе будень смотръть за тъмъ, чтобы они работали честно не только тебъ, но и себъ самимъ; ибо знаешь, да и опи знааютъ, что, залънившись, мужикъ на все способенъ, — сдълается и воръ, и пьяница, погубить свою душу, да и тебя поставить въ отвъть передъ Богомъ. И все, что имъ ни скажешь, подкръпи тутъ же словами Св. Инсанія; покажи имъ нальцемъ и самыя буквы, которыми это наинсано; заставь каждаго передъ тъмъ перекреститься, ударить поклонъ и поцёловать самую кингу, въ которой это написано. Словомъ, чтобы они видъли ясно, что ты во всемъ, что до нихъ клонится, сообразуещься съ волею Божіею, а не съ своими какими-инбудь Европейскими, или пными затвями. Мужикъ это пойметь; ему не нужно много словъ. Объяви имъ всю правду: что душа человъка дороже всего на свътъ и что прежде всего ты будешь глядъть за тъмъ, чтобы не погубилъ изъ нихъ кто-нибудь своей души и не предаль бы ее на въчную муку. Во всъхъ упрекахъ и выговорахъ, которые станешь дёлать уличенному въ воровствъ, лъности, или пьянствъ, ставь его передъ лицомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ, нокажи ему, чтмъ онъ гртшитъ противъ Бога, а не противъ тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери сосъдей. Попрекци бабу, зачъмъ не отваживала отъ зда своего мужа и не грозила ему страхомъ Божінмъ; попрекни соседей, зачёмъ допустили, что ихъ же братъ, среди ихъ же, зажилъ собакою и губить ин про что свою душу; докажи имъ, что дадуть за то всѣ отвѣтъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всъхъ легла отвътственность и чтобы все, что ни окружаетъ человъка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться. Собери силу вліянія, а съ нею и отвътственность на головы примърныхъ хозяевъ и лучшихъ мужиковъ. Растолкуй имъ ясно, что они не затъмъ, чтобы только самимъ хорошо жить, но чтобы и другихъ учить хорошему житію, что иьяница не можетъ учить пьяницу и что это ихъ долгъ. Пегоднямъ же и пьяпицамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ-бы старость, прикащику, попу, пли даже самому тебѣ; чтобы, когда еще они завидятъ издали примѣрнаго мужика и хозянна, летели бы шапки съ головы у всехъ мужиковъ, и все бы ему давало дорогу; а который посмѣлъ бы оказать ему какое-инбурь неуважение, или не послушаться умныхъ словъ его, того распеки туть же при всёхъ; скажи ему: »Ахъ, ты, невымытое рыло! самъ весь зажиль въ сажъ, такъ что и глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги и попроси, чтобы навель тебя на разумъ; не наведеть на разумъ — собакой пропадешь.« А примърныхъ мужиковъ, призвавши къ себъ и, если они старики, посадивши ихъ предъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что повельль намъ Богъ. Такъ поступи только въ теченіе одного года, и увидишь самъ, какъ все пойдетъ на ладъ; даже и хозяйство отъ этого едилается лучше. О главномъ только позаботься, прочее все прпползеть само собою. Христось недаромъ еказаль: сія вся ваму приложится Въ крестьянскомь быту эта истина еще видиве, нежели въ нашемъ: у нихъ богатый хозяниъ и хорошій челов'єкъ — синонимы. ІІ въ которую деревню заглянула только Христіянская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро.

Но вотъ, одиакоже, тебъ совътъ и въ хозяйствъ. Только раскуси его хорошенько, и не будешь въ-накладъ. Два человъка уже благодарятъ меня; одинъ изъ нихъ тебъ знакомый К\*\*. Собственно

о томъ, какими отраслями хозяйства следуетъ заниматься и какъ заниматься, я тебъ не скажу: это знаешь ты лучше меня; притомъ и деревия твоя мив не извъстна такъ, какъ моя собственная ладонь; а относительно всякихъ пововведений ты уменъ и смекнулъ самъ, что не только слъдуетъ придерживаться всего стараго. но вемотръться въ него насквозь, чтобы изъ него же извлечь для него улучшение. Но я тебъ дамъ совътъ на-счетъ соприкосновения помъщика съ крестьяниномъ въ хозяйственныхъ дълахъ и работахъ, что покамъстъ пуживе всего прочаго. Припомии отношенія прежнихъ номъщиковъ-хозяевъ къ ихъ мужикамъ: будь натріархомъ, самъ начинателемъ всего и передовымъ во всёхъ дёлахъ. Заведи, чтобы при началь всякаго общаго дьла, какъ-то: посьва, покосовъ и уборки хлѣба, былъ пиръ на всю деревню, чтобы въ эти дви быль общій столь для всёхъ мужиковъ на твоемъ дворъ, какъбы въ день самого Свътлаго Воскресенія, и объдаль бы ты самъ вмаста съ ними, и вмаста съ ними вышель бы на работу, и въ работь быль бы передовымь, подстрекая всьхь работать молодцами, похваливая туть же удальца и укоряя туть же лінивца. Когда же наступить осень и кончатся полевыя работы, воспразднуй такимъ же образомъ и еще большимъ пиршествомъ, окончаніе работъ, въ сопровожденій торжественнаго и благодарственнаго молебиа. Мужика не бей: събздить его въ рожу еще не большое некусство; это съумбетъ едблать и становой, и засбдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ и только-что почешетъ слегка у себя въ затылкъ. Но умъй проиять его хорошенько словомъ; ты же на мъткія слова мастеръ. Ругии его при всемъ народъ, но такъ, чтобы тутъ же осмъялъ его весь народъ; это будеть для него въ ивсколько разъ полезиве всякихъ нодзатыльниковъ и зуботычекъ. Держи у себя въ запасъ всъ синонимы молодиа для того, кого нужно подстрекнуть, и вев синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревия, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выконай слово еще похуже, словомъ — назови всёмъ, чёмъ только не хочетъ быть Русскій человікь. Въ комнаті не засиживайся, по ноявляйся почаще на крестьянскихъ работахъ, и, гдъ ни появляйся, появляйся такъ, чтобы отъ твоего прихода глидело все живее и веселѣе, изворачиваясь молодцомъ и щеголемъ въ работѣ. Подайте отъ себя силы словами: »Прихватимъ-ка разомъ, ребята, всѣ вмѣ-стѣ!« Возьми самъ въ руки топоръ, или косу; это будетъ тебѣ въ добро и полезнѣе для твоего здоровья всякихъ Маріенбадовъ, медицинскихъ моціоновъ и вялыхъ прогулокъ.

Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотъ затъмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издають для народа Европейскіе челов жолюбцы, есть дъйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика пътъ вовсе для этого времени. Послъ столькихъ работъ никакая книжонка не полъзетъ въ голову, и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ. Ты и самъ будешь ділать то же, когда станешь почаще выходить на работы. Деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истиню нужнаго для мужика, нежели вст эти кипжонки. Если въ комъ петинио уже зародится охота къ грамотъ, и притомъ вовсе не затёмъ, чтобы сдёлаться плутомъ-конторщикомъ, но затёмъ, чтобы прочесть тѣ книги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ человъку, тогда другое дъло. Воснитай его какъ сына и на него одного унотреби все, что употребиль бы ты на всю школу. Народъ нашъ не глупъ, что бъжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знасть, что тамъ притонъ всей человъческой путаницы, крючкотворства и каверзничествъ. По настоящему, ему не следуеть и знать, есть ли какія-нибудь другія книги, кроме священныхъ.

Но довольно. Поработай усердно только годъ, а тамъ дѣло уже само собою пойдетъ работаться такъ, что не нужно будетъ тебѣ и рукъ прилагать. Разбогатѣешь ты какъ Крезъ, въ протпеность тѣмъ поделѣноватымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ. Ты имъ докажешь дѣломъ, а не словами, что они врутъ и что если только помѣщикъ взглянулъ глазомъ Христіянина на свою обязанность, то не только онъ можетъ укрѣпить старыя связи, о которыхъ тол-куютъ, будто онъ исчезнули на-вѣки, но связать ихъ новыми, еще сильнъйшими связями — связями во Христъ, которыхъ уже инчто не можетъ быть сильнъе. И ты, не служа доселъ ревностно

ни на какомъ поприще, сослужищь такую службу Государю, въ звапін помещика, какой не сослужить иной великочиновный человекъ. Что ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые все какъ одинъ и могутъ быть примеромъ всемъ окружающимъ свосю истипно примерною жизнію, — это дело не бездельное, и служба истипно законная и великая.

1846.

### XXIII.

# ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖИВОППСЕЦЪ ИВАНОВЪ.

письмо къ м. ю. в.....

Пишу къ вамъ объ Ивановъ. Что за непостижимая судьба этого человъка! Уже дъло его стало наконецъ всъмъ объясняться; всъ увърились, что картина, которую онъ работаетъ — явление небывалое, приняли участіе въ художинкъ, хлопочутъ со всъхъ сторонъ о томъ, чтобы даны были ему средства кончить ее; а до сихъ поръ ни слуху, ни духу изъ Петербурга. Ивановъ не только не ищеть житейскихь выгодь, но даже просто ничего не ищеть, потому что уже давно умеръ для всего въ міръ, кромъ своей работы. Онъ молить о томъ содержанін, которое дается только начинающему работать ученику, а не о томъ, которое слъдуетъ ему какъ мастеру, сидящему надъ такимъ колоссальнымъ дёломъ, какого не затвваль досель никто; и этого содержанія, о которомъ вст стараются и хлопочуть, не можеть онь допроситься, не смотря на хлоноты всёхъ. Воля ваша, я вижу во всемъ этомъ волю Провиденія, уже такъ определившую, чтобы Пвановъ вытериель, выстрадаль и вынесь все: другому ничему не могу принисать.

Досель раздавался ему упрекъ въ медленности. Говорили всь: »Какъ! восемь лътъ сидълъ надъ картиною, и до сихъ поръ картинъ нътъ копца?« Но теперь этотъ упрекъ затихнулъ, когда уви-

дълп, что и капля времени у художника не пропала даромъ, что однихъ этюдовъ, приготовленныхъ имъ для картины, наберется на цълый заль и можеть составить отдъльную выставку, что не обыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картинъ Брюлова и Бруни), требовала слишкомъ много времени для работы, особенно при тъхъ малыхъ денежныхъ ередетвахъ, которыя не давали ему возможности имъть иъсколько моделей вдругъ, и притомъ такихъ, какихъ бы онъ хотълъ. Словомъ, теперь всё чувствуютъ нелёность упрека въ медленности и лени такому художнику, который, какъ труженикъ, сиделъ всю жизнь свою надъ работою и позабыль даже, существуеть ли на свътъ какое-инбудь наслаждение, кромъ работы. Еще болъе будеть стыдно тъмъ, которые упрекали его въ медленности, когда узнаютъ и другую сокровенную причину медленности. Съ производствомъ этой картины связалось собственное, душевное дъло художника: явленіе слишкомъ рѣдкое въ мірѣ, явленіе, въ которомъ вовсе не участвуетъ произволъ человъка, по воля Того, Кто выше человъка. Такъ уже было опредълено, чтобы падъ этою картиною совершилось вопитание собственно художника, какъ въ рукотворномъ дълъ искусства, такъ и въ мысляхъ, направляющихъ искусство къ законному и высшему назначению. Предметъ картины, какъ вы уже знаете, слишкомъ значителенъ. Изъ Евангельскихъ мъстъ взято самое трудивишее для исполнения, досель еще небранное никъмъ изъ художниковъ, даже прежнихъ Богомольнохудожественныхъ въковъ, а именно — первое появление Христа народу. Картина изображаетъ пустыню на берегу Іордана. Всвхъ видиње Іоаннъ Креститель, проповъдующій и крестящій во имя Того, Котораго еще шикто не видаль изъ народа. Его обступаетъ толна нагихъ и раздѣвающихся, одѣвающихся и одѣтыхъ, выходящихъ изъ водъ и готовыхъ погрузиться въ воды; въ толиф этой стоятъ и будущіе ученики самого Спасителя. Все, отправляя свой различныя трлесныя движенія, устремляется внутреннимъ ухомъ къ ръчамъ пророка, какъ-бы схватывая изъ устъ его каждое слово и выражая на лицахъ различныя чувства: на однихъ уже полная въра; на другихъ еще сомпъніе; третьи уже колеблются; четвертые понурпли головы въ сокрушении и покаяни;

есть и такіе, на которыхъ видна еще кора и безчувственность сердечная. Въ это самое время, когда все движется такими различными движеніями, показывается вдали Тотъ самый, во имя Котораго уже совершилось крещеніе, и здісь настоящая минута картипы. Предтеча взять именно въ тотъ мигъ, когда, указавши на Спасителя перстомъ, произноситъ: Се Агиецъ, вземляй гръхи міра! II вся толпа, не оставляя выраженія лицъ своихъ, устремляется или глазомъ, или мыслію къ Тому, на Котораго указалъ пророкъ. Сверхъ прежинхъ, неуспъвшихъ сбъжать съ лицъ, впечатліній, пробівгають по всімь лицамь новыя впечатлінія. Чуднымъ свътомъ освътились лица передовыхъ избранныхъ, тогда какъ другіе стараются еще войти въ смыслъ непонятныхъ словъ, недоумъвая, какъ можетъ одинъ взять на себя гръхи всего міра, а третьи сомнительно колеблють головой, говоря »Отъ Назарета пророкъ не приходитъ.« А Опъ, въ небесномъ спокойствии и чудномъ отдаленін, тихою и твердою стоною уже приближается къ людямъ.

Не легко изобразить на лицахъ весь этотъ ходъ обращенія человика ко Христу! Есть люди, которые увърены, что великому художнику все доступцо: земля, море, человъкъ и моленіе Богу, словомъ — все можетъ достаться ему легко, будь только онъ талантливый художинкъ да поучишь въ академіи. Художинкъ можеть изобразить только то, что онь почувствоваль и о чемь въ головъ его составилась уже полная идея; пначе картина будетъ мертвая, академическая картина. Ивановъ сдёлаль все, что другой художникъ почелъ бы достаточнымъ для окончанія картины. Вся матеріяльная часть, все, что относится до умнаго и строгаго размъщенія группы въ картинъ, исполнено въ совершенствъ. Самыя лица получили свое тиническое, согласно Евангелію, сходство и съ тъмъ вмъстъ сходство Еврейское. Вдругъ слышишь по лицамъ, въ накой землъ происходитъ дъло. Ивановъ повсюду ъздилъ нарочно изучать для того Еврейскія лица. Все, что ни касается до гармонического размъщенія цвътовъ, одежды человъка и до обдуманной ея наброски на тъло, изучено въ такой степени, что всякая складка привлекаетъ внимание знатока. Наконецъ вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно немного смотрить исторический

живописець, видъ сей живописной пустыни, окружающей группу, исполненъ такъ, что изумляются сами ландшафтиые живописцы, живущие въ Римъ. Ивановъ для этого просиживаль по иъсколькимъ мъсяцамъ въ нездоровыхъ Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мъстахъ Италін, перенесъ въ свои этюды всь дикія захолустья. находящіяся вокругъ Рима, изучиль всякій камешекъ и древесный листокъ, словомъ — сдълалъ все, что могъ сдълать, все изобразиль, чему только нашель образець. Но какъ изобразить то, чему еще не нашелъ художникъ образца? Гдъ могъ найти онъ образецъ для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины, — представить въ лицахъ весь ходъ человъческого обращенія ко Христу? Откуда могъ онъ взять его? изъ головы? создать воображеніемь? постигнуть мыслію? Ніть, пустяки! холодна дль этого мысль и инчтожно воображение. Ивановъ напрягаль воображеніе, елико могъ, старался на лицахъ всёхъ людей, съкакими ни встръчался, ловить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ следить за молитвою человека — и видель, что все безсильно и недостаточно, и не утверждаетъ въ его душт полной иден о томъ, что нужно. И это было предметомъ сильныхъ страданій его душевныхъ и впиою того, что картина такъ долго затянулась. Ніть, пока въ самомъ художникі не произошло истиннаго обращенія ко Христу, не пзобразить ему того на полотив. Пвановъ молиль Бога о инспослаціи ему такого полнаго обращенія, лиль слезы въ тишнив, прося у Него же сплъ исполнить Имъ же впушенную мысль; а въ это время упрекали его въ медленности п торопили его! Ивановъ просилъ у Бога, чтобы огнемъ благодати испенелилъ въ немъ ту холодиую черствость, которою теперь страждуть многіе наплучшіе и напдобрайшіе люди, и вдохновиль бы его такъ изобразить это обращение, чтобы умилился и не-Христіянинъ, взглянувши на его картину; а его въ это время укоряли даже знавшіе его люди, даже пріятели, думая, что онъ, просто, лвинтся, и номышляли серьёзно о томъ, нельзя ли голодомъ и отнятіемъ всёхъ средствъ заставить его кончить картину. Сострадательныйшіе изъ нихъ говорили: »Самъ же виновать: пусть бы большая картина шла своимъ чередомъ, а въ промежуткахъ могъ бы онъ работать малыя картины, брать за нихъ деньги и не теривть нужды«, — говорили, не ввдая того, что художнику, которому трудъ его, по волѣ Бога, обратился въ его душевное дѣло, уже невозможно заняться никакимъ другимъ трудомъ и нътъ у него промежутковъ; не устремится и мысль его ни къ чему другому, какъ онъ ее ни принуждай и ни насилуй. Такъ върная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбить уже никого другого, никому не продасть за деньги своихъ ласкъ, хотя бы этимъ средствомъ и могла спасти отъ бъдности и себя, и мужа. Вотъ каковы были обстоятельства душевныя Иванова! Вы скажете: »Да зачёмъ же онъ не изложилъ всего этого на бумагъ? зачёмъ не описаль ясно своего дъйствительнаго положенія? тогда бы ему вдругъ были высланы деньги. « Да, какъ бы не такъ! Попробуй кто-нибудь изъ насъ, еще недоказавшій силь, еще неумінощій самому себъ высказать себя, объясняться съ людьми, стоящими на другихъ поприщахъ, которые не могутъ, весьма естественно, даже постигнуть, что можеть существовать въ искусствт его высшая степень, свыше той, на которой оно стоить въ ныившиемъ модномъ въкъ! Неужели ему сказать: »Я произведу одно такое дело, которое васъ потомъ изумить, но котораго вамъ не могу теперь разсказать, потому что многое, покуда, и мнъ самому еще не совстмъ понятно, а вы, во все то время, какъ я буду сидъть надъ работою, ждите терпъливо и давайте мит деньги на содержаніе«? Тогда, пожалуй, явится много такихъ охотниковъ, которые заговорять такимъ же образомъ; да имъ развъ безумецъ дастъ деньги! Положимъ даже, что Ивановъ могъ бы въ это неясное время выразиться ясно и сказать такъ: »Мий внушена кимъ-то свыше преслъдующая меня мысль—изобразить кистью обращение человъка ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сдълать, не обратившись истинно самъ. А потому ждите, покуда во мит самомъ не произойдетъ это обращене, и давайте до того времени мит деньги на мое содержание и на мою работу.« Да ему тогда въ одинъ голосъ закричатъ вей: »Что ты, братъ, за нескладицу городишь? за дураковъ, что ли, насъ принялъ? Что за связь у души съ картиною? Душа сама по себъ, а картина сама по себъ.« Вотъ что скажуть вев Иванову, и каждый почти правъ. Не будь этихъ же самыхъ тяжелыхъ его обстоятельствъ и внутреннихъ терзаній

душевныхъ, которыя силою заставили его обратиться жарче другихъ къ Богу и дали ему способпость къ Нему прибъгать и жить въ Немъ такъ, какъ не живетъ въ Немъ нынѣшній свѣтскій художникъ, и выплакать слезами тѣ чувства, которыхъ онъ силился добыть прежде одними размышленіями, не изобразить бы ему никогда того, что начинаетъ онъ уже изображать теперь на полотнъ, и онъ дъйствительно бы обманулъ и себя, и другихъ, не смотря на все желаніе не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться съ людьми во время переходнаго состоянія душевнаго, когда, но волѣ Бога, начнется переработка въ собственной природъ человъка. Я это знаю и отчасти даже испыталь самь. Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душою и моимъ внутреннимъ восиитаніемъ. Въ продолженіе болье шести льтъ я ничего не могъ работать для свъта. Вся работа производилась во мнъ и собственно для меня. А существовалъ я дотолъ, не позабудьте, единственно доходами съ моихъ сочиненій. Всв почти знали, что я нуждался, но были увърены, что это происходить отъ собственнаго моего упрямства, что мий стоить только присйсть да написать небольшую вещь, чтобы получить большія деньги; а я не въ силахъбыль произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совъта одного неразумнаго человъка, вздумалъ-было заставить себя насильно написать кое-какія статейки для журнала, это было мий въ такой степени трудно, что ныла моя голова, больли всъ чувства, я маралъ и раздиралъ страницы, и после двухъ-трехъ месяцевъ такой пытки такъ разстроилъ здоровье, которое и безъ того было илохо, что слегъ въ постель, а присоединившеся къ тому педуги нервическіе и наконець недуги отъ неум'єнья никому въ світт изъяснить состояніе своего положенія до того меня изнурили, что быль я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Одинъ разъ, въ прибавление ко всему этому, я очутился въ городъ, гдъ не было почти ни души мит близкой, безъ всякихъ средствъ, рискуя умереть, не только отъ бользии и страданій душевныхъ, но даже отъ голода. Это было уже давно тому. Но я былъ спасенъ. Вотъ каковы бываютъ положенія! Въ прибавленіе скажу вамъ, что въ это же самое время я долженъ былъ слышать обвиненія въ

эгоизмъ: многіе не могли мит простить моего неучастія въ разныхъ дълахъ, которыя они затъвали, по ихъ мивню, для блага общаго. Слова мон, что я не могу писать и не долженъ работать ни для какихъ журналовъ и альманаховъ, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вель въ чужихъ краяхъ, приписана была сибаритскому желанію наслаждаться красотами ІІталін. Я не могъ даже изъяснить никому изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей, что, кромъ нездоровья, мнъ нужно было временное отдаление отъ нихъ самихъ, затъмъ именно, чтобы не нопасть въ фальшивыя отношенія съ ними и не нанести имъ же непріятностей; я даже этого не могъ объяснить! Я слышаль самь, что мое душевное состояніе до того сділалось странно, что ни одному человіку въ мір'є не могъ бы я разсказать его понятно. Силясь открыть хотя одну часть себя, я видёль туть же передь моими глазами, какъ моими же словами туманилъ и кружилъ голову слушавшему меня человъку, и горько разскаевался за одно даже желаніе быть откровеннымъ. Клянусь, бываютъ такъ трудны положенія, что ихъ можно уподобить только положению того человака, который изходится въ летаргическомъ сий, который видить самъ, какъ его погребаютъ живого — и не можетъ даже пошевельнуть пальцемъ и подать знака, что опъ еще живъ. Нътъ, храни Богъ въ эти минуты персходнаго состоянія душевнаго пробовать объяснять себя какомунибудь человъку; нужно бъжать къ одному Богу, и ин къ кому болъе. Противъ меня стали несправедливы многіе, даже близкіе мит люди, и были въ то же время совстмъ невиноваты; я бы самъ сдълалъ то же, находясь на ихъ мъстъ.

То же самое и въ дълъ Иванова: если бы случилось, чтобы онъ умеръ отъ бъдности и недостатка средствъ, вдругъ бы все исполнилось бы негодованія противу тъхъ, которые допустили это. Пошли бы обвиненія въ безчувственности и зависти къ нему другихъ художниковъ. Иной драматическій ноэтъ составиль бы изъ этого чувствительную драму, которою растрогалъ бы слушателей и подвигиулъ бы гитвомъ противу враговъ его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не былъ бы истинно виновенъ въ его смерти. Одинъ только человъкъ былъ бы безчестенъ и виноватъ, и этотъ человъкъ былъ бы — я: я испробовалъ почти то же

состояніе, испробовать его на собственномъ тълъ, и не объясниль того другимъ! И вотъ почему я тенерь пишу къ вамъ. Устройте же это діло; не то — гріхть будеть на вашей собственной душъ. Съ моей души я уже сиялъ его этимъ самымъ письмомъ; теперь онъ повиснулъ на васъ. Не скупитесь: деньги всѣ вознаградятся. Достопиство картины уже начинаетъ обнаруживаться всёмъ. Весь Римъ начинаетъ говорить гласно, судя даже по ныибинему ея виду, въ которомъ далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаэля и Леонарда да Винчи. Будетъ окончена картина. Такимъ картинамъ не бываетъ цъна меньше ста, или двухъ сотъ тысячь. Поступите же справеднию, а письмо мое покажите другимъ, какъ менмъ, такъ и вашимъ пріятелямъ, особенно людямъ значительнымъ, потому что труженики, подобные Иванову, могутъ случиться на всёхъ поприщахъ, и всё-таки не нужно допускать, чтобы они теривли нужду. Если случится, что одинъ, отдълившись отъ всёхъ другихъ, займется крёнче всёхъ своимъ дёломъ, хотя бы даже и своимъ собственнымъ, но если онъ скажеть, что это повидимому собственное его дело будеть нужно для всёхъ, считайте его какъ-бы на службъ у людей и выдавайте насущное прокормленіе. А чтобы удостовъриться, итть ли здітсь какого обмана, потому что подъ такимъ видомъ можетъ пробраться лънивый и ничего недѣлающій человѣкъ, слѣдите за его собственною жизнію: его собственная жизнь скажеть все. Если онъ такъ же, какъ Ивановъ, илюнулъ на всѣ приличія и условія свѣтскія, надѣль простую куртку и, отогнавши отъ себя мысль не только объ удовольствіяхъ и нирушкахъ, но даже мысль завестись когда-либо женою и семействомъ, или какимъ-либо хозяйствомъ, ведетъ жизнь истинно монашескую, кория день и ночь надъ своею работою и молясь ежеминутно; тогда печего долго разсуждать, а нужно дать ему средства работать; незачёмъ также торонить и подталкивать его; оставьте его въ покой. Богъ все сдилаетъ безъ васъ: ваше дъло только смотръть за тъмъ, чтобы онъ не умеръ съ голода. Не давайте ему большого содержанія; дайте ему бъдное и инщенское, даже и не соблазняйте его соблазнами свъта. Есть люди, которые должны въкъ остаться нищими. Нищенство есть блаженство, котораго еще не раскусилъ свътъ. Но кого Богъ удостоплъ отвъдать его сладость и кто уже возлюбилъ истинио свою инщенскую сумку, тотъ не продастъ ея ни за какія сокровища здъщняго міра.

1846.

### XXIV.

# ЧЪМЪ МОЖЕТЪ БЫТЬ ЖЕНА ДЛЯ МУЖА ВЪ ПРОСТОМЪ ДОМАШНЕМЪ БЫТУ.

Долго думаль я, на кого изъвасъ напасть: на васъ, или на вашего мужа? Наконецъ рѣшаюсь напасть на васъ: женщина скоръе способна очнуться и двинуться. Положение васъ обоихъ, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мив; не только не блаженно, но даже хуже положенія тёхъ, которые считаютъ себя въ горъ и несчастіи. У васъ обоихъ есть много хорошихъкачествъ душевныхъ, сердечныхъ и даже умственныхъ, и нътъ только того, безъ чего все это ни къ чему не послужитъ: нътъ внутри себя управленія собою. Никто изъ васъ не господинъ себъ. Въ васъ нътъ характера, признавая характеромъ кръпость воли. Вашъ мужъ, чувствуя этотъ недостатокъ въ себъ, женился нарочно затемъ, чтобы найти въ жент себт возбуждение на всякое дело и подвигъ. Вы за него вышли замужъ затъмъ, чтобы онъ былъ вашимъ возбудителемъ во всякомъ дълъ жизни. Оба другъ отъ друга ждутъ того, чего иътъ у обоихъ. Говорю вамъ — положение ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизин, какъ мыло въ водъ. Всъ ваши достопиства и добрыя качества исчезнуть въ безпорядки дийствій, который одинъ сдълается вашимъ характеромъ, и будете вы обаолицетворенное безсиліе. Молите Бога о крппости. У Бога можно все вымолить, даже и крвность, которую, какъ извъстно, никакими средствами не можетъ достать безсильный и слабый человъкъ. Поступите только умно. Молись и къ берегу гребись, говорить пословица. Произносите въ себъ и поутру, и въ полдень, и ввечеру, и во вст часы дил: »Боже, собери меня всю въ самоё меня и укръпи!« и дъйствуйте въ продолжение цълаго года такъ, какъ явамъ сейчасъ скажу, не разсуждая, покуда, зачемъ и къ чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя: приходъ и расходъ чтобы быль вз вашихъ рукахъ. Не ведите общей расходной кинги, но съ самого начала года сделайте смету всему впередъ, обнимите всъ пужды ваши, сообразите впередъ, сколько можете и сколько вы должны издержать въ годъ, сообразно вашему достатку, и все приведите въ круглыя суммы. Раздълите ваши деньги на семь почти равныхъ кучъ. Въ первой кучъ будуть деньги на квартиру, съ отопкою, водою, дровами и всёмъ, что ни относится до ствиъ дома и чистоты двора; во второй кучт — деньги на столъ и на все сътстное съ жалованьемъ новару и продовольствіемъ всего, что ни живеть въ вашемъ дом'ї; въ третьей кучь — экипажь: карета, кучерь, лошади, евно овесь, словомъ — все, что относится къ этой части; въ четвертой кучт — деньги на гардеробъ, то есть, все, что нужно для васъ обоихъ затёмъ, чтобы показаться въ свётъ, или сидёть дома; въ пятой кучь будуть ваши карманныя деньги; въ шестой кучь деньги на чрезвычайныя издержки, какія могуть встрѣтиться: неремѣна мебели, покупка новаго экинажа и даже вспомоществованіе кому-нибудь изъ вашихъ родственинковъ, если бы онъ возымѣлъ внезапную надобность; седьмая куча — Богу, то есть деньги на церковь и на бъдныхъ. Сдълайте такъ, чтобы эти семь кучъ пребывали у васъ несмъшанными, какъ-бы семь отдъльныхъ министерствъ. Ведите расходъ каждой особо, и ин подъ какимъ предлоне заинмайте изъ одной кучи въ другую. Какія ни представлялись бы вамъ въ это время выгодныя покупки и какъ бы ин соблазняли онт васъ своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться послѣ, когда побольше укрѣпитесь; а теперь не позабывайте ин на мигъ, что все это вами дълается для покупки твердаго характера, а эта покупка покамъсть для васъ нужите всякой другой покупки, и потому будьте въ этомъ случат унрямы, просите Бога объ упрямствъ. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бъдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ опредъленной на то кучъ. Если бы паже вы были свидътельницею картины несчастія, раздирающаго сердце и видёли бы сами, что денежная помощь можеть помочь, не смъйте и тогда дотрогиваться до другихъ кучъ, но поъзжайте по всему городу, по всёмъ вашимъ знакомымъ и старайтесь преклонить ихъ на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вамъ въ урокъ, чтобы вы номнили въчно, какъ вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, какъ вы должны были изъ-за этого подвергнуться унижению и даже осмъянию публичному, чтобы это не выходило у васъ изъ ума, чтобы вы черезъ это пріучились обръзывать себя въ расходахъ по каждой кучв и заранве помышлять о томъ, чтобы къ концу года оставался отъ каждой остатокъ для бъдныхъ, а не сходились бы только концы съ концами. Если вы будете держать это въ головъ своей безпрестанно, то вы никогда не завдете безъ надобности сильной въ магазинъ и не купите себъ неожиданно какое-инбудь украшеніе для камина, или стола, на что такъ надки у насъ, какъ дамы, такъ и мущины (послъдне еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будуть невольно и печувствительно сжиматься, и дойдетъ наконецъ до того, что вы почувствуете сами, что вамъ ненужно имъть больше одной кареты и пары лошадей, больше четырехъ блюдъ за столомъ, что званый объдъ можетъ также насытить людей и на простомъ сервизъ, съ прибавкою одного лишняго блюда да бутылки вина, разнесеннаго безъ всякихъ тонкостей, въ простыхъ рюмкахъ. Вы даже не только не сторите отъ стыда, если пойдетъ по городу слухъ, что у васъ не comme il faut, но еще посмъетесь тому сами, увърнвшись нетиню, что настоящее comme il faut есть то, какого требуеть оть человька Тоть самый, Который создаль его, а не тоть, который приводить въ систему объды, даже и не тоть, который сочиняетъ всякій день міняющіеся этикеты, даже и не сама мадамъ Сихлеръ. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итогъ всякой кучт каждый мъсяцъ и перечитывайте въ последній день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну съ другою, чтобы умъть узнавать, во сколько разъ одна нужнъе другой, чтобы видъть ясно, отъ какой прежде нужно отказаться, въ случат необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что изъ нужнаго есть самос нужнайшее.

Держитесь этого строго въ продолжение целаго года. Кренитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укръпиль васъ, и вы окръпнете непремънно. Важно то, чтобы въ человътъ хотя что-нибудь окръпнуло и стало непреложнымъ; отъ этого невольно установится порядокъ и во всемъ прочемъ. Укрънясь въ дёлё вещественнаго порядка, вы украпитесь нечувствительно въ дёлё душевиаго порядка. Распредёлите ваше время; положите всему непременные часы. Не оставайтесь поутру съ вашимъ мужемъ; гоните его на должность въ его денартаментъ, ежемпнутно напоминая ему о томъ, что онъ весь долженъ принадлежать общему дѣлу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на васъ, а не на немъ), что онъ женился пменно затъмъ, чтобы, освободя себя отъ мелкихъ заботъ, всего отдать отчизнъ, и жена дана ему не на помѣху службѣ, а въ укрѣпленіе его на службѣ. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своемъ поприщъ, и черезъ то встрътились бы весело нередъ объдомъ и обрадовались бы такъ другъ другу, какъ-бы ивсколько лътъ не видались. Чтобы вамъ было что пересказать другъ другу и не попотчивалъ бы одниъ другого зъвотою. Раскажите ему все, что вы дълали въ вашемъ домъ и домашнемъ хозяйствъ, и пусть опъ разскажетъ вамъ все, что производиль вы департаменть своемы для общаго хозяйетва. Вы должны знать непремённо существо его должности и въ чемъ состоитъ его часть, и какія дёла случилось ему вершить въ тотъ день, и въ чемъ именно они состояли. Не пренебрегайте этимъ и поминте, что жена должна быть помощищею мужа. Если только въ теченіе одного года вы будете внимательно выслушивать отъ него все, то на другой годъ будете въ силахъ подать ему даже совътъ, будете знать, какъ ободрить его при встръчъ съ какою-инбудь непріятностію по службѣ, будете знать, какъ заставить его перепести и вытеривть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же съ этого дня исполнять все, что я вамъ теперь сказаль. Крѣпитесь, молитесь и просите Бога безпрерывно, да но-

можеть вамь собрать всю себя въ себѣ и держать себя. Все теперь разсилылось и расшиуровалось. Дрянь и трянка сталь всякъ
человѣкъ; обратиль самъ себя въ подлое нодножіе всего и въ раба
самыхъ нустѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь
нигдѣ свободы, въ ея истинномъ смыслѣ. Эту свободу одинъ мой
пріятель, который съ вами лично незнакомъ, но котораго, однакоже,
знаетъ вся Россія, опредѣляетъ такъ: »Свобода не въ томъ, чтобы
говорить произволу своихъ желаній да, но въ томъ, чтобы умѣтъ
сказать имъ илтъ. «Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь
не умѣетъ сказать самому себѣ этого твердаго иютъ. Нигдѣ я
не вижу мужа. Пустъ же безсильная женщина ему о томъ напоминтъ! Стало такъ теперь все чудно, что жена же должна повелѣть
мужу, дабы онъ былъ ея глава и новелитель.

1846.

### XXV.

## СЕЛЬСКІЙ СУДЪ- И РАСПРАВА.

нзъ письма къ м.

Никакъ не пренебрегайте расправою и судомъ. Не поручайте этого дѣла управителю и никому въ деревиѣ. Эта часть важиѣе самого хозяйства. Судите сами. Этимъ однимъ вы укрѣпите связь номѣщика съ крестьянами. Судъ — Божье дѣло, и я не знаю, что можетъ быть этого выше. Не даромъ такъ чествуется въ народѣ тотъ, кто умѣетъ произносить правый судъ. Къ вамъ повалитъ не только ваша деревня, но и всѣ окружные мужики изъ другихъ селеній, какъ только узнаютъ, что вы умѣете давать расправу. Не пренебрегайте никѣмъ изъ приходящихъ и судите всѣхъ, хотя бы даже и въ незначительной ссорѣ, или дракѣ. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдетъ въ добро его

душт и чего бы вы никакъ не нашлись сказать въ другое время, не найдя, къ чему прицъпиться.

Судпте всякаго человъка двойнымъ судомъ и всякому дълу давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть человъческій. На немъ оправдайте праваго и осудите впноватаго. Старайтесь, чтобъ это было при свидътеляхъ, чтобы туть стояли и другіе мужики, чтобы вей видёли, ясно какъ день, чёмъ одинъ правъ п чемъ другой виноватъ. Другой же судъ сделайте Божескій. И на немъ осудите и праваго, и виноватаго. Выведите ясно первому. какъ онъ самъ быль тому виною, что другой его обидель, а второму — какъ онъ вдвойнъ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми; одного укорите, зачёмъ не простилъ своему брату, какъ новельть Христось, а другого попрекните, зачыть онъ обидыть самого Христа въ своемъ братъ; а обоимъ вмъстъ дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповъдаться непремънно попу на исповъди во всемъ. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра п много прямыхъ и правыхъ познаній. Правосудіе у насъ можетъ исполняться лучше, нежели во всёхъ другихъ государствахъ, потому что изъ вейхъ народовъ только въ одномъ Русскомъ заронилась эта вёрная мысль, что пётъ человёка праваго и что правъ одинъ только Богъ. Эта мысль, какъ непреложное върованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народъ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человъкъ получаетъ въ народъ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-Европейскихъ понятій о правдъ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто впиоватъ; а если разобрать каждое изъ дёлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, то есть — оба виноваты, и видишь, что весьма здраво поступила комендантша въ повъсти Пушкина »Капитанская Дочка«, которая, пославши поручика разсудить городового солдата съ бабою, подравшихся въ бант за деревяную шайку, снабдила его такою инструкцією: »Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи«.

XXVI.

WYYZ

## БЛИЗОРУКОМУ ПРІЯТЕЛЮ.

Вооружился взглядомъ современной близорукости и думаешь, что върно судишь о событіяхъ! Выводы твон-гипль: они сдъланы безъ Бога. Что ссылаешься ты на исторію? Исторія для тебя мертва, только закрытая кинга. Безъ Бога не выведешь изъ нея великихъвыводовъ; выведешь один только инчтожные и мелкіе. Ты позабыль даже своеобразность каждаго народа и думаешь, что одни и тъ же событія могуть дійствовать одинакимь образомь на каждый народъ. Тотъ же самый молотъ, когда унадаетъ на стекло, раздробляетъ его въ дребезги, а когда упадаетъ на желѣзо, куетъ его. Мысли твои основаны на чтенін пиостранныхъ книгъ да на Англійскихъ журпалахъ, а потому суть мертвыя мысли. Стыдно тебъ, будучи умнымъ человѣкомъ, не войти до сихъ поръ въ собственный умъ свой, который могь бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземнымъ навозомъ. Не вижу и въ проэктахъ твоихъ участія Божьяго; не слышу въ словахъ письма твоего, не смотря на весь блескъ ума и остроумія, чтобы Богъ присутствоваль въ твоихъ мысляхъ въ то время, когда ты писалъ его; не вижу я на твоей мысли освящения небеснаго. Нътъ, не едълаень ты добра, хотя и желаень того; не принесуть твои дъла того плода, котораго ждень. Съ прекрасными намъреніями можно сдёлать зло, какъ уже многіе и сдёлали его. Въ посленнее время не столько безпорядковъ произвели глупые люди, сколько умные, а веё оттого, что понадъялись на свои силы да на умъ свой. Ты гордъ, и чёмъ же гордъ? хоть бы уже своимъ умомъ; ивть, ты загромоздиль соромь свой умь, двиствительно замвчательный и великій, и сділаль его чужестранцемь самому себі.

Ты гордъ чужимъ, мертвымъ умомъ и выдаень его за свой. Смотри за собою: ты ходишь опасно. Ты мътпшь въ знаменитые лоди, и будень человекомъ знаменитымъ, потому что у тебя точно есть на то способности; но тъмъ строже теперь смотри за собою. Не излагай этихъ улучшеній, которыми уже наполиплась твоя голова, и помии, что всякимъ малъйшимъ неосмотрительнымъ поступкомъ можно произвести большое зло. Уже и въ твоихъ ныпѣшнихъ проэктахъ видна скорте боязнь, нежели предусмотрительность. Всё мысли твои направлены къ тому, чтобы избёгнуть чего-то угрожающаго въ будущемъ. Не будущаго, но настоящаго опасайся. О настоящемъ велить намъ заботиться Богъ. Кто омрачается боязнію отъ будущаго, отъ того, значить, уже отступилась святая сила. Кто съ Богомъ, тотъ глядить свётло впередъ и есть уже въ настоящемъ творецъ блистающаго будущаго. А ты гордъ: ты и теперь уже инчего не хочешь видъть; ты самоувъренъ: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что всъ обстоятельства тебф открыты; ты думаень, что уже никто и ноучить тебя не можеть; ты стремишься изо всёхъ силь быть похожимъ на тъхъ людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имъли въ себъ все для того, чтобы сдълать множество добра, которые даже пламенъли желаніемъ сдълать добро, даже работали, какъ муравьи, всю свою жизнь, и при всемъ томъ не осталось послё нихъ никакого слёда, и самая память о нихъ позабыта: какъ печезнувшій кругъ на водѣ, печезпула жизнь ихъ посреди общества. И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ Европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умиъе бывають у насъ пногда и невеликіе люди; но тѣ хоть какос-инбудь оставили послѣ себя дѣло прочное, а мы производимъ кучи дѣлъ, н вет, какъ ныль, еметаются онт съ земли вместе съ нами. Ты гордъ. говорю тебъ и вновь повторяю тебъ: ты гордъ; сторожи надъ собою и спасай себя отъ гордости зарапъс. Начни съ того, что увърь самого себя, что ты всъхъ глупъе и что съ этихъ только поръ следуетъ серьёзно поумнеть тебе, и слушай съ такимъ вниманіемъ всякаго дёльца, какъ-бы ты ровно ничего не зналъ и всему отъ него хотълъ поучиться. Но тебъ еще загадка слова мон; они на тебя не подъйствуютъ. Тебъ нужно или какое-инбудь нестастіе, или потрясеніе. Моли Бога о томъ, чтобы случилось это потрясеніе, чтобы встрътилась тебѣ какая-инбудь невыпосимѣіішая непріятность, чтобы нашелся такоїі человѣкъ, которыї сильно оскорбиль бы тебя и опозориль такъ въ виду всѣхъ, что отъ стыда не зналь бы ты, куда сокрыться, и разорваль бы одинмъ разомъ всѣ чувствительиѣішія струны твоего самолюбія. Онъ будетъ твоїі истинный брать и избавитель. О, какъ намъ бываетъ нужна публичная данная въ виду всѣхъ оплеуха!

1844

XXVIII.

XXIX.

чей удълъ на землъ выше.

Никакъ не могу сказать вамъ, чей удѣлъ на землѣ выше и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда и былъ поглупѣе, я предпочиталъ одно званіе другому; теперь же вижу, что участь всѣхъ равно завидна. Всѣ получатъ равное воздаяніе, — какъ тотъ, которому ввѣренъ былъ одниъ талантъ и онъ принесъ на него другой, такъ и тотъ, которому дано было пять талантовъ и который принесъ на нихъ другіе пять. Даже, я думаю, участь перваго еще лучше, именно оттого, что онъ не пользовался на землѣ извѣстностію и не вкушалъ очаровательнаго нанитка земной славы, подобно послѣднему. Чудна милость Божія, опредѣлившая равное воздаяніе всякому, исполнившему честно долгъ свой, сильный ли онъ, или йослѣдній нищій. Всѣ они тамъ уравняются, потому что всѣ внидутъ въ радость Господа своего и будутъ пребывать расно въ Богѣ. Конечно самъ Христосъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ: Въ

дому Отца Моего обители многи суть; но какъ номыслю объ этихъ обителяхь, какъ номыслю о томъ, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться отъ слезъ и знаю, что никакъ бы не рѣшилъ, какую изъ нихъ выбрать себѣ, если бы только дѣйствительно былъ удостоенъ небеснаго царствія и вопрошенъ: какую изъ нихъ хочешь? Знаю только то, что сказалъ бы: »Послѣднюю, Господи, но лишь бы она была въ дому Твоемъ! « Кажется, инчего бы не желалось больше, какъ только служить тѣмъ избраннымъ, которые уже удостоились созерцать во всемъ величін Его славу, лежать бы только у ногъ ихъ и цѣловать святыя ихъ ноги!

1845.

### XXX.

### HAHYTCTBIE.

На письмо твое теперь не буду отвъчать; отвътъ будетъ послъ. Все вижу и слышу: страданія твои велики. Съ такою ивжною дущою терпъть такія грубыя обвиненія, съ такими возвышенными чувствами жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей, каковы жители пошлаго городка, въ которомъ ты поселился, которыхъ уже одно безчувственное, топорное прикосновение въ силахъ разбить, даже безъ ихъ въдома, лучшую драгоцъиность сердечную, медвъжьею лапою ударить по тончайшимъ струнамъ душевнымъ, даннымъ на то, чтобы выпъть небесные звуки, разстроить н разорвать ихъ, видъть, въ прибавление ко всему этому, ежедневно происходящія мерзости и терптть презртніе отъ презртнныхъ-все это тяжело, знаю. Твои страданія тѣлесныя тяжелы не меньше. Твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонін, которою ты одержимъ теперь-все это тяжело, тяжело, и инчего больше не могу сказать тебъ, какъ только — тяжело! Но вотъ тебъ утъщение. Это еще начало; оскорблений тебъ будетъ еще больше: предстануть тебъ еще сплытыйшія борьбы съ подле-

цами всёхъ сортовъ и безстыдивіними людьми, для которыхъ ничего ибтъ святого, которые не только въ силахъ произвести то гнусное дёло, о которомъ ты пишешь — дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видъть своими глазами кару, постигшую оклеветаннаго, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дёло, но еще въ нёсколько разъ гнуснейшія, о которыхъ одинъ разсказъ можетъ лишить на-вѣки сна человѣка сердобольнаго. (О, лучше бы вовсе не родиться этимъ людямъ! весь соимъ небесныхъ силь содрогнется отъ ужаса загробнаго наказанія. ихъ ждущаго, отъ котораго никто уже ихъ не избавить.) Встрътятся тебъ безчисленныя новыя пораженія, неожиданныя вовсе. На твоемъ почти беззащитномъ поприще все можетъ случиться. Твои нервическіе припадки и недуги будуть также еще сильнів, тоска будеть убійственнье, и нечали будуть сокрушительнье. Но вспомни: призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій. На битву мы сюда призваны; праздновать же побъду будемъ тамт. А нотому ин на мигъ мы не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тутъ выбирать, гдъ поменьше опасностей: какъ добрый воинъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдъ пожарче битва. Всёхъ насъ озираетъ свыше небесный Полководенъ. и ни малъйшее наше дъло не ускользаетъ отъ Его взора. Не уклоняйся же отъ поля сраженія, а, выступняши на сраженіе, не ищи непріятеля безсильнаго, но сильнаго. За сраженіе съ небольшимъ горемъ и мелкими бъдами немного получищь славы. Внередъ же, прекрасный мой воднъ! съ Богомъ, добрый товарищъ! съ Богомъ, прекрасный другъ мой!

1846

## XXXI.

ВЪ ЧЕМЪ ЖЕ НАКОНЕЦЪ СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗНІ П ВЪ ЧЕМЪ ЕЯ ОСОБЕННОСТЬ.

Не смотря на вившије признаки подражанія, въ нашей поэзіп есть очень много своего. Самородный ключь ся уже билъ въ груди

народа тогда, какъ самое имя еще не было ни на чыхъ устахъ. Струп его пробиваются въ нашихъ пъсияхъ, въ которыхъ мало привязанности къжизни и ея предметамъ, но много привязапности къ какому-то безграничному разгулу, къ стремленио какъ-бы унеетись куда - то вмъстъ съ звуками. Струп его пробиваются въ пословицахъ нашихъ, въ которыхъ видиа необыкновенная полнота народнаго ума, умъвшаго сдълать все своимъ орудіемъ: пронію, насмышку, наглядность, мыткость живописнаго соображенія, чтобы составить животренещущее слово, которое пронимаеть насквозь природу Русскаго человѣка, задирая за все ея живое. Струн его пробиваются, наконецъ, въ самомъ словъ церковныхъ настырей, словѣ простомъ, некраснорѣчнвомъ, но замѣчательномъ по стремленію стать на высоту того святого безстрастія, на которую опредълено взойти Хрпстіянину, по стремленію направить человъка не къ увлеченіямъ сердечнымъ, но къ высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзін какое - то другимъ народамъ невъдомое своеобразное и самобытное развитіе. Но не изъ сихъ трехъ источниковъ, уже въ насъ пребывавшихъ, ведетъ начало наша сладкозвучная поэзія, ныні насъ услаждающая; такъ же, какъ и строеніе ныпъшняго нашего гражданскаго порядка произошло не изъ началъ, уже пребывавшихъ прежде въ землъ нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильнымъ, постепеннымъ ходомъ событій, не медленно-разсудительнымъ введеніемъ Европейскихъ обычаевъ, которое было бы уже невозможно по той причинъ, что уже слишкомъ вызръло Европейское просвъщеніе, слишкомъ великъ быль наплывъ его, чтобы не ворваться рано, или поздо со ветхъ сторонъ въ Россію и не произвести безъ такого вождя, каковъ былъ Петръ, гораздо большаго разладу во всемъ, нежели какой дъйствительно потомъ наступилъ; гражданское строеніе наше произошло отъ потрясенія, отъ того богатырскаго потрясенія всего государства, которое произвель Царьпреобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народъ свой въ кругъ Европейскихъ государствъ и вдругъ познакомить его со ветмъ, что ин добыла себт Европа долгими годами кровавыхъ бореній и страданій. Крутой повороть быль нуженъ Русскому народу, и Европейское просвъщение было огниво,

которымъ слъдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей масев. Огниво не сообщаеть отня кремню, но, покамвсть имъ не ударишь, не издастъ кремень огня. Огонь излетълъ вдругъ изъ народа. Огонь этотъ былъ восторгъ, восторгъ отъ пробужденія, восторгъ въ началъ безотчетный: инкто еще не услышалъ, что опъ пробудился затъмъ, чтобы, съ помощію Европейскаго свъта, разсмотръть поглубже самого себя, а не коппровать Европу; все только услышало, что онъ пробудился. Уже самый этотъ крутой поворотъ всего государства, произведенный однимъ человъкомъ — и притомъ самимъ Царемъ, который великодушно отказался на время отъ царскаго званія своего, рішился извідать самъвсякое ремесло н съ топоромъ въ рукт стать передовымъ во всякомъ дълт, дабы не произошло никакихъ безпорядковъ, слъдующихъ при малъйшемъ измъненін государственныхъ формъ, — былъ дъломъ, достойнымъ восторга. Переворотъ, который обыкновенно на нъсколько лътъ обливаетъ кровью потрясенное государство, если производится бореніями внутреннихъ партій, былъ произведенъ, въ виду всей Европы, въ такомъ порядкъ, какъ блистательный маневръ хорошо выученнаго войска. Россія вдругъ облеклась въ государственное величіе, заговорила громами и блеснула отблескомъ Евронейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствъ пришло въ восторгъ, издавши тотъ крикъ изумленія, который издаетъ дикарь при видъ навезенных блестящих сокровник. Восторгь этоть отразился въ нашей поэзін, или лучше — онъ создаль ее. Воть почему поэзія, съ перваго стихотворенія, появившагося въ печати, приняла у насъ торжествующее выражение, стремясь высказать въ одно и то же время восхищение отъ свъта, внесеннаго въ Россио, изумление отъ великаго поприща, ей предстоящаго, и благодарность Царямъ, того виновинкамъ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свъту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ Русскаго человъка, и оното дало ходъ нашей ныифшией позін, внеся повое. свътопосное начало, котораго не видно было ин въ одномъ изъ тъхъ трехъ нсточниковъ ея, о которыхъ упомянуто въ началъ.

Что такое Ломоносовъ, если разсмотръть его строго? Восторженный юноша, которого манитъ свътъ наукъ да поприще, ожидающее впереди. Случаемъ попалъ онъ въ поэты: восторгъ отъ нашей новой побъды заставиль его набросать первую оду. Въ-попыхахъ занялъ онъ у состдей Итмцевъ размиръ и форму, какіе у шихъ на ту пору случились, не разсмотрѣвъ, приличны ли они Русской рачи. Натъ и сладовъ творчества въ его реторически составленныхъ одахъ; но восторгъ уже слышенъ въ нихъ новсюду, гдт ни прикоспется онъ къ чему-нибудь близкому науколюбивой его душъ. Коснулся онъ съвернаго сіянія, бывшаго предметомъ его ученыхъ изслъдованій, и плодомъ этого прикосновенія была ода: »Вечернее размышленіе о Божіемъ величествь«, вся величественная отъ начала до конца, какой пикому не написать, кромъ Ломоносова. Тъ же причины породили извъстное посланіе къ Шувалову о польз'є стекла. Всякое прикосновеніе къ любезной сердцу его Россіи, на которую глядить онъ нодъ угломъ ея сіяющей будущности, исполняеть его силы чудотворной. Среди холодныхъ строфъ польются вдругъ у него такія строфы, что не знаешь самъ, гдё ты находпшься. Точно какъ-бы, выражаясь его же словами.

> Божественный пророкъ Давидъ Священными шумитъ струпами, И Бога полными устами Исайя восхищенъ гремитъ.

Всю Русскую землю озпраеть онь оть края до края сь какой-то свътлой вышины, любуясь и неналюбуясь ея безпредъльностію и дъвственною природою. Въ описаніяхь слышень взглядь скоръе ученаго натуралиста, нежели поэта; но чистосердечная сила восторга иревратила натуралиста въ поэта. Изумительнъе всего то, что, заключа стихотворную рѣчь свою въ узкія строфы Иѣмецкаго ямба, онъ цичуть не стѣснилъ языка: языкъ у него движется въ узкихъ строфахъ такъ же величественно и свободно, какъ полноводная рѣка въ нестѣсненныхъ берегахъ. Онъ у него свободнъе и лучше въ стихахъ, нежели въ прозъ, и недаромъ Ломоносова называютъ отцомъ нашей стихотворной рѣчи. Изумительно то, что начинатель уже явился господиномъ и законодателемъ языка. Ломоносовъ стоитъ впереди нашихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія — начинающійся разсвътъ. Она у него, подобно вспыхивающей заринцъ, освъщаетъ не все, но только иткоторыя строфы. Сама Россія является у него только въ общихъ географическихъ очертаніяхъ. Онъ какъ-бы заботился только о томъ, чтобы набросать одинъ очеркъ громаднаго государства, намътить точками и линіями его границы, предоставивъ другимъ наложить краски; онъ самъ какъ-бы первоначальный, пророческій набросокъ того, что впереди.

Съ руки Ломоносова, оды вошли въ обычай. Торжество, побъда, тезоименитство, даже иллюминація и фейерверкъ стали предметомъ одъ. Слагатели ихъ выразили только бездарную прыть намъсто восторга. Исключить изъ нихъ можно одного Петрова, нечуждаго силы и стихотворнаго огия: онъ былъ дѣйствительно ноэтъ, не емотря на жесткій и черствый стихъ свой. Всѣ прочіе напоминли только реторически холодный складъ Ломоносовскихъ одъ и показали, намъсто благозвучія Ломоносовскаго языка, трескотию и безпорядокъ словъ, терзающій ухо. Но огинво уже ударило по кремию; поэзія уже вспыхнула: еще не успѣлъ отнести руку отъ лиры Ломоносовъ, какъ уже заводилъ первыя пѣсни Державниъ.

Въ эпоху Екатерины, которой царствование можно назвать блестящею выставкою первыхъ Русскихъ произведеній, когда на вежхъ поприщахъ стали выказываться Русскіе таланты — съ битвами вознеслись полководцы, съ учрежденіями внутренними государственные дёльцы, съ переговорами дипломаты, а съ академіями словесники и ученые — появился и поэтъ, Державинъ, съ тою же картинио-величавою наружностию, какъ и всѣ люди временъ Екатерины, развернувшіеся въ какой-то еще дикой свободь, со множествомъ недоконченнаго и не вполит отделаннаго въ частяхъ, какъ случается съ тъми произведеніями, которыя выставляются нѣсколько торопливо на-показъ. Мысль о сходствѣ Ломоносова съ Державинымъ, приходящая въ умъ при первомъ взглядѣ на пихъ обоихъ, исчезнетъ вдругъ, какъ только всмотришься покръпче въ Державина. Всёмъ, даже самымъ воспитаніемъ, последній представляетъ совершенную противоположность первому. Какъ первый весь предался наукамъ, считая стихотворство свое только развлеченіемъ и дёломъ отдохновенія, такъ другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование пауками лиш-

нимъ и ненужнымъ. То же самодержавное, государственное величіе Россіп слышится и у него; но уже видны не одни только географическіе очерки государства: выступають люди и жизнь. Не отвлеченныя науки, но наука жизни его занимаетъ. Оды его обращаются уже къ людямъ встхъ сословій и должностей, и слышно въ нихъ стремленіе начертать законъ правильныхъ дъйствій человъка во всемъ, даже въ самыхъ его наслажденіяхъ. У него выстунило уже творчество. У него есть что-то еще болье исполниское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумъваетъ умъ ръшить, откуда взялся въ немъ этотъ гиперболический размахъ его ръчи. Остатокъ ли это нашего сказочнаго Русскаго богатырства, которое, въ видъ какого-то темнаго пророчества, посится до сихъ норъ надъ нашею землею, прообразуя что-то высшее, насъ ожидающее, или же это навѣялось на него отдаленнымъ Татарскимъ его происхожденіемъ, степями, гдъ бродять бъдные останки ордъ, распаляющие свое воображение расказами о богатыряхъ въ нъеколько верстъ вышиною, живущихъ по тысячь льтъ на свъть, что бы то ни было, но это свойство въ Державинъ изумительно. Ниогда, Богъ въсть какъ, издалека забираетъ онъ слова и выраженія затімь именно, чтобы стать ближе къ своему предмету. Дико, громадно все, но гдъ только помогла ему сила вдохновенія, тамъ весь этотъ громоздъ служить на то, чтобы неестественною силою оживить предметь, такъ что, кажется, какъ-бы тысячью глазами глядить онь. Стонть пробъжать его »Водопадъ«, гдъ, кажется, какъ-бы цёлая эпопея слилась въ одну стремящуюся оду. Въ »Водопадъ« передъ нимъ пигмен другіе поэты. Природа тамъ какъ-бы выешая нами зримой природы, люди могучве нами знаемыхъ людей, а наша обыкновенная жизнь передъ величественною жизнію, тамъ изображенною, точно муравейникъ, который гдъ-то далеко копышется вдали. О Державниъ можно сказать, что опъ пъвецъ величія. Все у него величаво: величавъ образъ Екатерины, величава Россія, созерцающая себя въ осьми моряхъ своихъ; его полководцы — орлы; словомъ, все у него величаво. Замѣтно, однакоже, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болъе всего его занимавшимъ, было — начертить образъ какого-то кръпкаго мужа, закаленнаго въ дълъ жизни, готоваго на битву не

съ одинмъ какимъ-инбудь временемъ, но со всъми вѣками; изобразить его такимъ, какимъ онъ долженъ былъ изинкнуть, по его мивнію, изъ крѣпкихъ началъ нашей Русской породы, воснитавшись на непотрясаемомъ камив нашей Церкви. Часто, бросивщи въ сторону то лицо, которому надписана ода, онъ ставитъ на его мѣсто того же своего пепреклоннаго, правдиваго мужа. Тогда глубокія истины изглашаются у него такимъ голосомъ, который далеко выше обыкновеннаго, возвращается святое, высокое значеніе тому, что привыкли называть мы общими мѣстами, и, какъ изъ устъ самой Церкви, внимаешь вѣчнымъ словамъ его. Сравнительно съ другими поэтами, у него все глядитъ исподиномъ: его поэтическіе образы, не имѣя полной окончательности пластической, какъ-бы теряются въ какомъ-то духовномъ очертаніи и оттого пріемлютъ еще болѣе величія. Напримѣръ: поэтъ изображаетъ старца Каснія въ то время, когда онъ, разсерженный бурсю,

Встаетъ въ упоръ ея волнамъ: То скачетъ въ твердь, то, въ адъ стремяся, Трезубцемъ бъетъ по кораблямъ; Столбомъ власы съдые выотся, И гласъ его гремитъ въ горахъ.

Туть, казалось, хотьль создаться зримо образь старца Каснія, но нотерялся въ какомъ-то духовномь, незримомо очертанін:
ухо слышить одниь гуль гремящаго моря, и, вмюсть съ съдыми власами старца, подъемлется волось на головь самого читателя, пораженнаго суровымь величіемь картины. Все у него крупно.
Слогь у него такъ крупень, какъ ни у кого изъ нашихъ поэтовъ.
Разъявь анатомическимъ пожомъ, увидишь, что это происходить
отъ необыкновеннаго соединения самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кромѣ
Державина. То бы посмъль, кромѣ его, выразиться такъ, какъ
выразился онъ въ одномъ мьсть о томъ же своемъ величественномъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже пенолниль, что
пужно на землъ:

И смерть какъ гостью ожидаеть, Круга задумавшись усы.

Кто, кромъ Державина, осмълился бы соединить такое дъло, каково ожидание смерти, съ такимъ ничтожнымъ дъйствиемъ, каково крученіе усовъ? Но какъ черезъ это ощутительные видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается въ душь! Но надобно сказать, что какъ это, такъ и всъ другія исполинскія свойства Державина, дающія ему преимущество надъ прочими поэтами нашими, превращаются вдругъ у него въ неряшество и безобразіе, какъ только оставляеть его одушевленіе. Тогда все въ безпорядкі: річь, языкь, слогь, все скринить какъ телега съ невымазанными колесами, и стихотвореніе — точно трупъ, оставленный душою. Следы собственнаго неконченнаго образованія, какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ смысль, отразились очень замьтио на его твореніяхъ. Мужъ, проновъдывавшій другимъ о томъ, какъ править собою, не умъль управить себя, далеко не сталь самимь собою и должень быль напряженною силою вдохновенія добираться до себя же, чтобы заговорить о томъ, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай полное воспитание такому мужу — не было бы поэта выше Державина; теперь же остается онь, какъ невоздъланная громадная скала, передъ которою инкто не можетъ остановиться, не будучи пораженъ, но передъ которою долго не застанвается никто, сибша къ другимъ мъстамъ, болъе плънительнымъ.

Еще Державинъ ударялъ въ струны своей лиры, какъ уже все вокругъ него измънилось: въкъ Екатерины, полководцы-орлы, вельможая роскошь и вельможная жизнь унеслись какъ сновидівніе. Наступиль другой вікь, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, какъ-бы почувствовавъ, что уже раскинулось черезъ-чуръ на-раснашку, стало нацерерывъ пріобрътать наружное благоприличие и стройность поступковъ. Французы стали вполив образцы всему, и такъ же, какъ щеголи Парижа завладъли надолго нашимъ обществомъ, ловкіе Французскіе поэты завладели было на время нашими поэтами. Къ чести, однакожъ, върнаго поэтическаго чутья нашего, нужно сказать то, что въ образецъ пошелъ одпиъ Лафонтенъ, затемъ именно, что былъ ближе къ природъ: Дмитріевъ, Хемиицеръ и Богдановичъ стали производить цодобныя ему въ простотъ творенія, обработывая тъ же предметы. Русскій языкъ вдругъ получиль свободу и легкость нерелетать отъ предмета къ предмету, легкость, незнакомую Дер-

жавину. На мъсто оды стали пробовать вет роды и формы поэзін. Дмитріевъ показаль много таланта, вкуса, простоты и приличія во всемъ, которыми убилъ напыщенность и высоконарность, нанесенныя бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но новерхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія нашей поэзін: одно общесвътское стало ея предметомъ, и она едълалась сама похожею на умнаго п ловкаго светскаго-человека, когда онъ сидить въ гостинной и ведеть разговоръ совсемъ не затемъ, чтобы новъдать душевную исповъдь свою, или подвинуть другихъ на какое-инбудь важное дёло, но затёмь, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умъньемъ вести его обо всъхъ предметахъ. Послъдніе звуки Державина умолкнули, какъ умолкаютъ послъдніе звуки церковнаго органа, и поэзія наша, по выходъ изъ церкви, очутилась вдругъ на балъ. Отъ одного только Канипста послышался ароматъ истипно душевнаго чувства и какая-то особенная антологическая предесть, дотоль незнакомая. Вотъ его »Деревенскій домикъ въ Обуховкѣ«:

Пріютный домъ мой подъ соломой, По мив, ни пизокъ, ни высокъ; Для дружбы есть въ немъ уголокъ, А къ двери, пищему знакомой, Забыла лънь прибить замокъ.

Но не могла оставаться долго наша поэзія на этой новерхностной свѣтской верхушкѣ. Уже пробуждена была спльно ся чуткость отъ Петровскаго удара Европейскимъ огинвомъ. Вдругъ примѣтила она, что отъ Французовъ, кромѣ ловкости, инчего не перейметъ въ свое воспитаніе, и обратилась къ Нѣмцамъ. Въ Нѣмецкой литературѣ происходило въ это время явленіе страннос. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя пропсшествія, темные признаки невидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающіе дѣтство человѣка, стали предметомъ Нѣмецкихъ поэтовъ. Можно бы назвать такую поэзію шалостію школьника, если бы въ ней не слышался тотъ младенческій ленетъ, которымъ подаетъ о себѣ вѣсть безсмертный духъ человѣка, требующій себѣ живой пици. Чуткая поэзія наша остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явленіемъ. Ея собственныя Славянскія начала напомнили ей вдругъ о чемъ-то и у нея похожемъ. Но при

всемъ томъ мы сами никакъбы не столкнулись съ Итмцами, если бы не явплея среди насъ такой поэтъ, который показалъ намъ весь этотъ новый, необыкновенный міръ сквозь ясное стекло своей собственной природы, намъ болье доступной, нежели Нъмецкая. Этотъ поэть — Жуковскій, наша замізчательнівшая оригинальность! Чудною высшею волею вложено было ему въ душу отъ дней младенчества непостижнимое ему самому стремленіе къ незримому и таниственному. Въ душт его, точно какъ въ герот его баллады Вадимъ, раздавался небесный звонокъ, зовущій вдаль. Изъ-за этого зова бросался онъ на все неизъясиимое и таинственное новсюду, гдъ оно ни встръчалось ему, и сталь облекать его възвуки, близкіе нашей душв. Все въ этомъ родв у него взято у чужихъ, и больше у Нъмцевъ, — почти все переводы. Но на переводахъ такъ отпечаталось это внутреннее стремленіе, такъ зажгло и одушевило ихъ своею живостію, что сами Ифмцы, выучившіеся по-Русски, признаются, что передънимъ оригиналы кажутся копіями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, какъ назвать его, переводчикомъ, или оригинальнымъ поэтомъ. Нереводчикъ теряетъ собственную личность, но Жуковскій показаль ее больше всёхъ нашихъ поэтовъ. Пробъжавъ оглавление стихотворений его, видишь: одно взято изъ Шиллера, другое изъ Уланда, третье у Вальтера Скотта, четвертое у Байрона, и все — върнъйшій сколокъ, слово въ слово, личность каждаго поэта удержана, негдъ было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь и всколько стихотвореній, вдругъ и спросишь себя: чьи стихотворенія читаль? Не предстанетъ передъ глаза твои ни Шиллеръ, ин Уландъ, ин Вальтеръ Скотть, по поэть, отъ шихъ всёхъ отдёльный, достойный помъститься не у ногъ ихъ, но състь съ ними рядомъ, какъ равный съ равнымъ. Какимъ образомъ сквозь личности вейхъ поэтовъ пронеслась его собственная личность — это загадка, но она такъ и видится всёмъ. Иётъ Русскаго, который бы не составилъ себё изъ самихъ же произведений Жуковскаго върпаго портрета самой дущи его. Надобно сказать также, что ни въ комъ изъ переведенныхъ имъ поэтовъ не слышно такъ сильно стремленіе уноситься въ заоблачное, чуждое всего видимаго, ни въ комъ также изънихъ не видится это твердое признаніе незримых всиль, хранящихъ повсюду человъка, такъ что, читая его, чувствуещь на всякомъ шагу, какъ-бы самъ, выражаясь стихами Державина,

Подъ надзираніе ты преданъ Невидимыхъ, безсмертныхъ силъ, И легіонамъ заповъданъ Всъхъ ангеловъ, чтобъ цълъ ты былъ.

Переводя, производиль онъ переводами такое дъйствие, какъ самобытный и самоцвѣтный поэтъ. Внеся это новое, дотолѣ пезнакомое нашей поэзіп стремленіе въ область незримаго и тайнаго, онъ отръшилъ ее самую отъ матеріализма не только въмысляхъ и образъ ихъ выраженія, но и въ самомъ стихъ, который сталъ легокъ и безтълесенъ, какъ видъніе. Переводя, онъ оставиль переводами ночатки всему оригинальному, внесъ новые формы и размёры, которые стали потомъ употреблять всё другіе наши поэты. Лёнь ума помѣшала ему едѣлаться преимущественно поэтомъ - изобрѣтателемъ, лънь выдумывать, а не недостатокъ творчества. Признаки творчества показалъ онъ въ себъ уже съ самого начала своего поприща: »Свътлана« и »Людмила« разнесли въ первый разъ гръющіе звуки нашей Славянской природы, болъе близкіе нашей душъ, нежели какіе раздавались у другихъ поэтовъ. Доказательствомъ тому то, что они произвели внечатлѣніе спльное на всёхъ въ то время, когда поэтическое чутье у насъ было еще слабо развито. Элегическій родъ нашей поэзін создань имъ. Есть еще первоначальнъйшая причина, отъ которой произошла и самая лень ума: это — свойство оцинивать, которое, поселивнись властительно въ его умъ, заставляло его останавливаться съ любовію надъвсякимъ готовымъ произведеніемъ. Отсюда его топкое, критическое чутье, которое такъ изумляло Пушкина. Пушкинъ спльно на него сердился за то, что онъ не пишетъ критикъ. По его мниню, пикто, кроми Жуковскаго, не могъ такъ разъять и опредълить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается въ его живописныхъ описаніяхъ природы, которыя вст его собственныя, самобытныя произведенія. Взявши картину, его плънпвшую, онъ не оставляетъ ел до тъхъ поръ, покуда не печернаетъ всей, разъявъ какъ-бы анатомическимъ ножомъ ея неуловимъйшую подробность. Кто уже могъ написать стихотворение о солицъ, гдъ

подстережены всё видоизмёненія солисчимхъ лучей и волшебство картинъ, ими производимыхъ въ разные часы дия, равно какъ съ такою же живописною подробностію изобразить въ »Отчетѣ о лунь« волисоство лунимхъ лучей, съ цёлымъ рядомъ ночныхъ картинъ, ими производимымъ; тотъ, разумѣется, долженъ былъ заключить въ себѣ въ большой степени свойство оцинивать. Его Славянка съ видами Навловска — точная живопись. Благоговѣйная задумчивость, которая проносится сквозь всѣ его картины, исполняетъ ихъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ, и какою - то тайною замыкаются твои собственныя уста.

Въ последнее время въ Жуковскомъ сталъ замечаться переломъ поэтическаго направленія. По мірів того, какъ стала передъ пимъ проясияться чище та незримо-сетлая даль, которую онъ видълъ дотолъ въ неяспо-поэтическомъ отдалении, пронадала страсть и вкусъ къ призракамъ и привидъщямъ Нъмецкихъ балладъ. Самая задумчивость уступила мъсто свътлости душевной. Плодомъ этого была »Ундина«, твореніе, припадлежащее вполив Жуковскому: Нъмецкій перескащикъ того же самого преданія въ прозъ не могъ служить его образцомъ. Полный создатель свътлости этого поэтическаго созданія есть Жуковскій. Съ этихъ поръ онъ добыль какой-то прозрачный языкъ, который ту же вещь показываетъ еще видибе; нежели какъ она есть у самого хозяина, у котораго онъ взялъ ее. Даже прежняя воздушная неопредёленность стиха его исчезла: стихъ его сталъ крънче и тверже; все пріуготовлялось въ немъ на то, дабы обратить его къ передачь совершеннъйшаго поэтическаго произведенія, которое, будучи произведено такимъ образомъ, какъ производится имъ, при такомъ напоенін всего себя духомъ древности и при такомъ просв'їтленномъ, высшемъ взглядъ на жизнь, покажетъ непремънно первоначальный, натріархальный быть древняго міра въ свѣтѣ родномъ п близкомъ всему человъчеству: подвигъ, далеко высшій всякаго собственнаго созданія, который доставить Жуковскому значеніе всемірное. Передъ другими нашими поэтами Жуковскій то же, что ювелиръ передъ прочими мастерами, то есть, мастеръ, занимающійся посліднею отділкою діла. Не его діло добыть въ горахъ алмазъ, его діло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы опъ зангралъ всімъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполит свое достоинство всімъ. Появленіе такого поэта могло произойти только среди Русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, можетъ быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцінено, не возділано и пренебрежено другими народами.

Въ то время, когда Жуковскій стояль еще въ первой порф своего поэтическаго развитія, отръшая нашу поэзію отъ земли и еущественности и унося ее въ область безтълесныхъ видъній, другой поэтъ, Батюшковъ, какъ-бы парочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ еще для него самого идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ н такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во вежхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ-бы силился превратить въ осязательную пъту наслажденія. Онъ слышаль, выражаясь его же выраженіемъ, »стиховъ и мыслей сладострастье«. Казалось, какъ-бы какаято внутренняя спла, пребывающая въ лопъ поэзіп нашей, храня ее отъ крайности какого бы то ин было увлечения, создала этого поэта именно затъмъ, чтобы въ то время, когда одниъ станетъ приносить звуки стверныхъ птвиовъ Европы, другой обвтяль бы ее ароматическими звуками полудия, познакомивши съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, Парин и ивжными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стихъ, начинавшій принимать воздушную неопредъленность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древнихъ, и той звучащей итли, какая слышна у южныхъ поэтовъ новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдругъ два разнородныя начала въ нашу поэзію; изъ двухъ началъ въ мигъ образовалось третье: явился Пушкинъ. Въ немъ середина. Ин отвлеченной идеальности перваго, ни преизобилія сладостраєтной роскопи второго. Все уравновъщено, сжато, сосредоточено, какъ въ Русскомъ человъкъ, который немногоглаголивъ на передачу ощущенія, но хранитъ и

совокупляеть его долго въ себъ, такъ, что отъ этого долговременнаго пошенія оно имъеть уже силу взрыва, если выступить наружу. Приведу примъръ. Поэта поразиль видъ Казбека, одной изъ высочайнихъ Кавказскихъ горъ, на верхушкъ которой увидъль онъ монастырь, показавшійся ему рѣющимъ въ небесахъ ковчегомъ. У другого поэта полились бы пылкіе стихи на иъсколько страницъ. У Пушкина все въ десяти строкахъ, и стихотвореніе оканчиваеть онъ симъ внезапнымъ обращеніемъ:

Далекій, вождельнный брегь! Туда бъ, сказавъ прости ущелью, Иодинться къ горной вышинь! Туда бъ, въ заоблачную келью, Въ сосъдство Бога скрыться мит!!

Именно одно это могъ бы сказать Русскій человѣкъ въ то время, какъ и Французъ, и Англичанинъ, и Иѣмецъ пустились бы на подробный отчетъ ощущеній. Никто изъ нашихъ поэтовъ не былъ еще такъ скупъ на слова и выраженія, какъ Пушкинъ, такъ не смотрѣлъ осторожно за самимъ собою, чтобы не сказать неумѣреннаго и лишияго, пугаясь приторности того и другого.

Что жъ было предметомъ его ноззін? Все стало ея предметомъ, и ничто въ особенности. Пъмъетъ мысль предъ безчисленностію его предметовъ. Чъмъ онъ не поразился и передъ чъмъ не остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа и картиннаго Черкеса до бъдной съверной деревушки съ балалайкою и трепакомъ у кабака, везді, всюду, на модномъ балі, въ нзбі, въ степн, въ дорожной кибиткъ, все становится его предметомъ. На все, что ни есть во внутрениемъ человъкъ, начиная отъ его высокой и великой черты до малейшаго вздоха его слабости и инчтожной примьты, его смутившей, онь откликцулся такь же, какъ откликиулся на все, что ин есть въ природъ видимой и виъшней. Все становится у него отдёльною картиною; все предметь его; изо всего, какъ инчтожнаго, такъ и великаго, онъ исторгаетъ одну элекрическую искру того поэтического огня, который присутетвуетъ во всякомъ творенін Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не дёлая изъ нея шикакого примёненія къ жизни въ потребность человіку, не обнаруживая никому, зачімъ исторгиута эта искра, не подставляя къ ней лъстницы ни для кого

изъ тъхъ, которые глухи къ поэзіи. Ему ни до кого не было дъла. Онъ заботился только о томъ, чтобы сказать однимъ одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: »Смотрите, какъ прекрасно твореніе Бога!« и, не прибавляя пичего больше, перелетать къ другому предмету, затъмъ чтобы сказать также: »Смотрите, какъ прекрасно Божіе твореніе!« Отъ-этого сочиненія его представляютъ явленіе изумительное противорѣчіемъ тѣхъ внечатлѣній, какія они пораждаютъ въ читателяхъ. Въ глазахъ людей весьма умныхъ, но неимѣющихъ поэтическаго чутья, они—отрывки недосказапные, легкіе, мгновенные; въ глазахъ людей, одаренныхъ поэтическимъ чутьемъ, они — полныя поэмы, обдуманныя, оконченныя, все заключающія въ себъ, что имъ нужно.

На Пушкинт оборвались вет вопросы, которые дотолт не задавались никому изъ нашихъ поэтовъ, и въ которыхъ виденъ духъ просыпающагося времени. Зачъмъ, къ чему была его поэзія? Какое новое направление мысленному міру далъ Пушкинъ? что сказалъ онъ нужное своему въку? подъйствовалъ ли на него, если не спасительно, то разрушительно? произвелъ ли вліяніе на другихъ, хотя личностію собственнаго характера, геніяльными заблужденіями, какъ Байронъ и какъ даже многіе второстепенные и низшіе поэты? зачёмъ онъ данъ быль міру и что доказаль собою? Пушкинъ былъ данъ міру на то, чтобы доказать собою, что такое самъ поэть, и ничего больше, - что такое поэть, взятый не подъ вліяніемъ какого-нибудь времени, или обстоятельствъ, и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человіка, но въ независимости отъ всего; чтобы, если захочетъ потомъ какой-шибудь высшій душевный анатомикъ разъять и объяснить себѣ, что такое въ существѣ своемъ поэтъ, это чуткое созданіе, на все откликающееся въ мірт и себт одному неимтющее отклика, то чтобы онъ удовлетворенъ быль, увидёвъ это въ Пушкинт. Одному Пушкину опредълено было показать въ себт это независимое существо, это звоикое эхо, откликающееся на всякій отдёльный звукъ, пораждаемый въ воздухѣ. При мысли о всякомъ поэтъ, представляется больше или меньше личность его самого. Кому, при помышлении о Шиллера, не предстанеть вдругь эта свътлая, младенческая душа, грезившая о лучшихъ и совершеннъйшихъ идеалахъ, создавшая изъ нихъ себъ міръ и довольная тёмъ, что могла жить въ этомъ поэтическомъ міръ? Кому, читающему Байрона, не предстанеть самъ Байронъ, этотъ гордый человъкъ, облагодътельствованный всъми дарами Неба и немогшій простить ему своего незначительного телесного педостатка, отъкотораго роноть перепесся и въ поззію его? Самъ Гёте, этотъ Протей изъ ноэтовъ, стремившийся обнять все, какъ въ мірт природы, такъ и въ міръ наукъ, показалъ уже симъ самымъ наукообразнымъ стремленіемъ своимъ личность свою, исполненную какой-то Германской чинности и теорически-Нъмецкаго притязанія подладиться ко всемъ временамъ и векамъ. Все паши Русские поэты: Державниъ, Жуковскій, Батюшковъ удержали свою личность. У одного Пушкина ея ивтъ. Что схватишь изъ его сочинений о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ, какъ человѣка! Намѣсто его предстанеть тоть же чудный образь, на все откликающийся и одному себъ только ненаходящій отклика. Всъ сочиненія его—полный арсеналь орудій поэта. Ступай туда, выбирай себъ всякь по-рукъ любое, и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачёмъ не вышелъ? это другой вопросъ. Опъ самъ на него отвъчаетъ стихами:

> Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ слышалъ значене свое лучше тъхъ, которые задавали ему запросы, и съ любовю исполнялъ его. Даже и въ тъ норы, когда метался онъ самъ въ чаду страстей, поэзія была для него святыня, — точно какой-то храмъ. Не входилъ онъ туда неопрятный и неприбранный; инчего не вносилъ онъ туда необдуманнаго, опрометчиваго изъ собственной жизии своей; не вошла туда нагишомъ растрепанная дъйствительность. А между тъмъ все тамъ — исторія его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышалъ одно только благоуханіе; но какія вещества перегоръли въ груди поэта, затъмъ чтобы издать это благоуханіе, того никто не можетъ услышать. И какъ онъ лелъялъ ихъ въ себъ! какъ вынашивалъ ихъ! Ни одинъ Птальянскій поэтъ не

отдълывалъ такъ сонетовъ своихъ, какъ обработывалъ онъ эти легкія, повидимому мгновенныя созданія. Какая точность во всякомъ словъ! какая значительность всякаго выраженія! какъ все округлено, окончено и замкнуто! Всё онъ точно перлы; трудно и ръшить, которая элегія лучше. Словно сверкающіе зубы красавицы, которые уподобляєтъ царь Соломонъ овцамъ-юницамъ, только-что вышедшимъ изъ купѣли, когда онъ всё какъ одна и всё равно прекрасны.

Какъ ему говорить было о чемъ-нибудь, потребномъ современному обществу въ его современную минуту, когда хотълось откликнуться на все, что ни есть въ мірт, и когда всякій предметъ равно зваль его? Онь хотёль было изобразить въ »Онёгинё« современнаго человъка и разръшить какую-то современную задачу, и не могъ. Столкнувши съ мъста своихъ героевъ, самъ сталъ на ихъ мъсть и, въ лиць ихъ, поразился тъмъ, чъмъ поражается поэтъ. Поэма вышла собраніе разрозненныхъ онущеній, ивжныхъ элегій, колкихь эпиграммъ, картинныхъ идиллій, и, по прочтеніи ея, намъсто всего, выступаеть тоть же чудный образъ на все откликиувшагося поэта. Его совершенитійшія произведенія: »Борисъ Годуновъ « и »Полтава « — тотъ же върный откликъ минувшему. Ничего не хотъль онъ ими сказать своему времени; пикакой пользы соотечественникамъ не замышляль онъ выборомъ этихъ двухъ сюжетовъ; не видио также, чтобы онъ исполнился особеннаго участія къ кому-пибудь изъ выведенныхъ здісь героевъ и предприняль бы изъ-за того эти двѣ ноэмы, такъ мастерски и художественно отработанныя. Онъ изумился только необычайности двухъ историческихъ событій и хотълъ, чтобы, подобно ему, пзумились другіе.

Чтеніе поэтовъ всёхъ народовъ и вѣковъ порождало въ немъ тотъ же откликъ. Герой Испанскій Донъ Жуанъ, этотъ неистощимый предметъ безчисленнаго множества драматическихъ поэмъ, далъ ему вдругъ идею сосредоточить все дѣло въ небольшой собственной драматической картинѣ, гдѣ еще съ бо́льшимъ познаніемъ души выставленъ неотразимый соблазнъ развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышиѣе сама Испанія. Гётевъ » Фаустъ « навелъ его вдругъ на идею сжать въ двухъ-трехъ стра-

инчкахъ главную мысль Германскаго поэта, и дивишься, какъ она мѣтко понята и какъ сосредоточена въ одно крѣпкое ядро, не смотря на всю ея неопредѣленную разбросанность у Гёте. Суровыя терцины Данта внушили ему мысль, въ такихъ же терцинахъ и въ духъ самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое въ Царскомъ Селѣ, олицетворить науку въ видъ строгой жены, собирающей въ николу дѣтей, и себя въ видъ школьника, вырвавшагося изъ класса въ садъ, затѣмъ чтобы остановиться передъ древними статуями, съ лирами и циркулями въ рукахъ, говорившими ему живъс науки, гдѣ видно, какъ уже рано пробуждалась въ немъ эта чуткость на все откликаться.

П какъ въренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышпшь запамъ, цвътъ земли, времени, народа. Въ Пспаніи онъ Испанець, съ Грекомъ — Грекъ, на Кавказъ — вольный горецъ, въ полномъ смыслъ этого слова; съ отжившимъ человъкомъ онъ дышетъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу — онъ Русскій весь съ головы до ногъ: всъ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все окинуто иногда одинмъ словомъ, одинмъ чутко найденнымъ и мътко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ.

Свойство это въ немъ разросталось постепенно, и онъ откликнулся бы потомъ цъликомъ на всю Русскую жизнь, такъ же, какъ откликался на всякую отдёльную ся черту. Мысль о романт, который бы повъдаль простую, безыскусственную повъсть прямо Русской жизни, запимала его въ последнее время неотступно. Онъ бросиль стихи единственно затъмъ, чтобы не увлечься инчъмъ но сторонамъ и быть проще въ описаніяхъ, и самую прозу упростиль опъ до того, что даже не нашли пикакого достоинства въ первыхъ повъстяхъ его. Пушкинъ былъ этому радъ и написалъ » Капитанскую Дочку«, ръшительно лучшее Русское произведение въ повъствовательномъ родъ. Сравинтельно съ »Канитанскою Дочкою«, всв наши романы и новъсти кажутся приториою размазнею. Чистота и безыскусственность взошли въ ней на такую высокую степень, что сама дійствительность кажется передъ нею искусственною и каррикатурною. Въ первый разъ выступили нстинно Русскіе характеры: простой коменданть крѣности, капитаниа, поручикъ; сама кръпость съ единственною пушкою без-

толковщина времени и простое величіе простыхъ людей, все — не только самая правда, но еще какъ-бы лучше ся. Такъ оно и быть должно: на то и призвание поэта, чтобы изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ въ очищенномъ и лучшемъ видъ. Все показывало въ Пушкинъ, что онъ на то быль рожденъ и къ тому стремился. Почти въ одно время съ »Капптанскою Дочкою « оставиль онъ мастерскія пробы романовъ: Рукопись села Горохина, Царскій Арабъ и сдъланный карандашомъ набросокъ большого романа: »Дубровскій «. Въ послъднее время набрался онъ много Русской жизни и говориль обо всемъ такъ мътко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стопло его лучшихъ стиховъ; по еще замъчательнъе было то, что строилось внутри самой души его и готовилось освътить передъ нимъ еще больше жизнь. Отголоски этого слышны въ изданномъ уже по смерти его стихотвореніп..... Много готовилось Россіп добра въ этомъ человѣкѣ... Но, становясь мужемъ, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться съ больщими дълами, не подумалъ онъ о томъ, какъ управиться съ пичтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдругъ отъ насъ, и все въ государствъ услышало вдругъ, что лишилось великаго человѣка.

Вліяніе Пушкина, какъ поэта, на общество было пичтожно. Общество взглянуло на него только въ началъ его поэтическаго поприща, когда онъ первыми молодыми стихами своими напомнилъбыло лиру Байрона; когда же пришель онъ въ себя и сталъ наконецъ не Байронъ, а Пушкинъ, общество отъ него отвернулось. Но вліяніе его было сильно на поэтовъ. Не сдёлаль того Карамзинь въ прозъ, что онъ въ стихахъ. Подражатели Карамзина послужили жалкою каррикатурою на него самого и довели, какъ слогъ, такъ и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то онъ быль для всёхъ поэтовъ, ему современныхъ, точно сброшенный съ неба поэтическій огонь, отъ котораго, какъ свѣчки, зажглись другіе самоцвѣтные поэты. Вокругъ него вдругъ образовалось ихъ цълое созвъздіе: Дельвигъ, поэтъ-спбаритъ, который нъжился всякимъ звукомъ своей почти Эллинской лиры и, не вынивая залномъ всего напитка поэзін, глоталь его по каплъ, какъ знатокъ винъ, присматриваясь къ цвъту и обоняя самый запахъ;

Козловъ, гармоническій поэтъ, отъ котораго раздались какіе-то дотоль неслыханные, музыкально-сердечные звуки; Баратынскій, строгій и сумрачный поэть, который показаль такь рано самобытное стремленіе мыслей къ міру впутреннему и сталъ уже заботиться о матеріяльной отдёлкё ихъ тогда, какъ оне еще не выэръли въ немъ самомъ, темный и перазвившийся, сталъ себя выказывать людямъ и едълался чрезъ то для ветхъ чужимъ и никому не близкимъ. Встхъ этихъ поэтовъ возбудилъ на дъятельность Пушкинъ; другихъ же просто создалъ. Я разумбю здъсь наннихъ такъ называемыхъ антологическихъ поэтовъ, которые произвели понемногу; но если изъ этихъ немногихъ душистыхъ цвътковъ сдълать выборъ, то выйдетъ книга, подъ которою поднишеть свое имя лучшій поэть. Сто́нть назвать обонхь Туманскихъ, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и ивкоторыхъ другихъ, которые не выказали бы собственнаго поэтического огня п благоуханныхъ движеній душевныхъ, если бы не были зажжены огнемъ поэзін Пушкина. Даже прежніе поэты стали перестранвать ладъ лиръ своихъ. Извъстный переводчикъ Плады Гиъдичъ, перелагатель псалмовъ О. Глинка, партизанъ-поэтъ Давыдовъ, наконецъ самъ Жуковскій, наставникъ и учитель Пушкина въ искусствъ стихотворномъ, сталъ потомъ учиться самъ у своего ученика. Сдълались поэтами даже тъ, которые не рождены были поэтами, которымъ готовилось поприще не менте высокое, судя по тъмъ духовнымъ спламъ, какія опи показали даже въ стихотворныхъ своихъ опытахъ, какъ-то: Веневитиновъ, такъ рано отъ насъ похищенный, и Хомяковъ, слава Богу, еще живущій для какого-то свътлаго будущаго, покуда еще ему самому неразоблачившагося. Сила возбудительнаго вліянія Пушкина даже повредила многимъ, особенио Баратынскому и еще одному поэту, о которомъ будетъ ръчь ниже, повредила именно тъмъ, что они стали нередавать невызръвшія движенія души своей, тогда какъ самая душа не набралась еще поэзіп, доступной п близкой другимъ, и когда опредълено было имъ совершить прежде свое внутрениее восинтание и до времени умолкнуть. Всъхъ соблазиила эта необыкновенная, художественная отработка стихотворныхъ созданій, которую показалъ Пушкинъ. Позабывъ и общество, и всякія современныя связи съ нимъ человъка, и всякія требованія земли своей, все жило въ какой-то поэтической Элладъ, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Изъ поэтовъ времени Пушкина болѣе всѣхъ отдѣлился Языковъ. Съ появленіемъ первыхъ стиховъ его всѣмъ послышалась новая лира, разгулъ и буйство силъ, удаль всякаго выраженія, свѣтъ молодого восторга и языкъ, который, въ такой силѣ, совершенствѣ и строгой подчиненности госнодину, еще не являлся дотолѣ ни въ комъ. Имя Языковъ пришлось ему недаромъ. Владѣетъ онъ языкомъ, какъ Арабъ дикимъ конемъ своимъ, и еще какъ-бы хвастается своею властію. Откуда ин начиетъ періодъ, съ головы ли, съ хвоста, онъ выведетъ его картинио, заключитъ и замкнетъ такъ, что остановишься пораженный. Все, что выражаетъ силу молодости, не разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ предметомъ стиховъ его. Такъ и брызжетъ юношеская свѣжесть ото всего, къ чему онъ ни прикоснется. Вотъ его купанье въ рѣкъ:

Покровы прочь! Передъ челомъ Протянемъ руки удалыя П — бухъ!

Блистательными дождемъ Взлетаютъ брызги водяныя. Какая сильная волна! Какая свёжесть и прохлада! Какъ сладострастиа, какъ иёжна Меня обиявшая наяда!

Вотъ у него игра въ свайку, которую онъ назвалъ прямо-Русскою игрою. Юноши-молодцы стали въ кружокъ:

Тяжкій гвоздь стойкомъ и плотно Бьетъ въ кольцо — кольцо бренчитъ. Вешній вечеръ беззаботно И певидимо летитъ.

Все, что вызываеть въ юношѣ отвату — море, волны, буря, ппры и сдвинутыя чаши, братскій союзь на дѣло, твердая какъ кремень вѣра въ будущее, готовность ратовать за отчизну — выражается у иего съ сплою неестественною. Когда появились его стихи отдъльною книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадою: »Зачъмъ онъ назвалъ ихъ: »Стихотворенія Языкова «! ихъ бы слъдовало назвать просто: хмѣль! Человъкъ съ обыкновенными силами инчего не сдълаетъ подобнаго; тутъ потребно буйство силъ. «Живо помню восторгъ его въ то время, когда прочиталъ онъ стихотвореніе Языкова къ Давыдову, напечатанное въ журналъ. Въ первый разъ увидълъ я тогда слезы на лицъ Пушкина (Пушкинъ никогда не плакалъ; онъ самъ о себъ сказалъ въ посланін къ Овидію: »Суровый Славянинъ, я слезъ не проливалъ, по понимаю ихъ «). Я помню тъ строфы, которыя произвели у него слезы. Первая, гдъ поэтъ, обращаясь къ Россіи, которую уже было-признали безсильною и немощною, взываетъ такъ:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебѣ надменный зовъ!
Всномяни жъ, какъ ты встрѣчала
Всѣ нашествія враговъ!
Созови отъ странъ далекихъ
Ты своихъ богатырей,
Со степей, съ равнинъ широкихъ,
Съ рѣкъ великихъ, съ горъ высокихъ,
Отъ осьми твоихъ морей.

И потомъ строфа, гдъ описывается неслыханное самоножертвованіе — предать огню собственную столицу со всъмъ, что ин есть въ ней священнаго для всей земли:

> Пламень въ небо унирая, Лють пожаръ Москвы реветъ. Златоглавая, святая, Ты ли гибнешь? Русь, впередъ! Громче буря истребленья! Крѣпче смѣлый ей отпоръ! Это жертвенникъ спасенья, Это пламя очищенья, Это фениксовъ костеръ!

У кого не брызнутъ слезы нослѣ такихъ строфъ? Стихи его точно разымчивый хмѣль; но въ хмѣлѣ слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентскія пирушки не изъ бражинчества и ньянства, но отъ радости, что есть мочь въ рукѣ и поприще впереди, что попесутся они, студенты,

На благородное служенье Во славу чести и добра. Бъда только, что хмъль перешелъ мъру и что самъ поэтъ загулялся черезъ-чуръ на радости отъ своего будущаго, какъ и многіе изъ насъ на Руси, и осталось дъло только въ одномъ могучемъ норывъ.

Всёхъ глаза устремились на Языкова. Всё ждали чего-то необыкновеннаго отъ новаго поэта, отъ стиховъ котораго пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дёло. Но дъла не дождались. Вышло еще иъсколько стихотвореній, новторившихъ слабъе то же самое; потомъ тяжелая бользиь посътила поэта и отразилась на его духъ. Въ послъднихъ стихахъ его уже не было ничего, шевелившаго Русскую душу. Въ нихъ раздались скучанія среди Нъмецкихъ городовъ, безучастныя записки разъёздовъ, неречень однообразно-страдальческаго дня. Все это было мертво Русскому духу. Не примътили даже необыкновенной отработки поздижіншихъ стиховъ его. Его языкъ, еще болже окринпувшій, ему же послужиль въ улику: онъ быль на тощихъ мысляхъ и бъдномъ содержанін, что нанцырь богатыря на хиломъ тъль карлика. Стали говорить даже, что у Языкова иътъ вовсе мыслей, а одни пустозвонкіе стихи, и что онъ даже и не поэтъ. Все пришло противу него въропотъ. Отголоски этого ропота раздались нелёпо въ журналахъ, но въ основаніи ихъ была правда. Языковъ не сказалъ же, говоря о поэтъ, словами Пушкина:

> Не для житейскаго волиенья, Не для корысти, не для битвъ, Мы рождены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

У него, напротивъ, вотъ что говоритъ поэтъ:

Когда тебѣ на подвигъ все готово, Въ чемъ на землѣ небесный виденъ даръ, Могучей мысли свѣтъ и жаръ И огнедышущее слово — Иди ты въ міръ, да слышитъ опъ поэта.

Положимъ, это говорится объ идеальномъ поэтѣ; но идеалъ свой онъ взялъ изъ своей же природы. Если бы въ немъ самомъ уже не было началъ тому, не могъ бы и представить онъ себѣ такого поэта. Иѣтъ, не силы его оставили, не бѣдность талаита и мыслей виною пустоты содержанія послѣднихъ стиховъ его, какъ са-

моувъренно возгласили критики, и даже не болъзнь (болъзнь дается только къ ускоренію дела, если человекъ проникнетъ смысль ея) ивть, другое его обезсилило: сввть любви погаснулъ въ душт его — вотъ почему примеркнулъ и свътъ поэзін. Полюби потребное и нужное душъ съ такою силою, какъ нолюбиль ты прежде хмёль юности своей — и вдругь подымутся твои мысли наравив со стихомъ, раздается огнедынущее слово. Изобразишь намъ ту же пошлость бользненной жизни своей, но изобразишь такъ, что содрогиется человъкъ отъ проснувшихся желъзныхъ силъ своихъ и возблагодаритъ Бога за недугъ, давшій ему это почувствовать. Не по стопамъ Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стихъ свой; не для элегій и антологическихъ стихотвореній, но для диопрамба и гимна родился онъ; это услышали вев. И уже скорве отъ Державина, нежели отъ Пушкина, долженъ былъ онъ засвётить свётильникъ свой. Стихъ его только тогда и входитъ въ душу, когда опъ весь въ лирическомъ свъту; предметь у него только тогда живъ, когда онъ или движется, или звучить, или сіяеть, а не тогда, когда пребываеть въ поков. Удълы поэтовъ не равны. Одному опредълено быть върнымъ зеркаломъ и отголоскомъ жизни; на то и данъ ему многосторонній, описательный талантъ. Другому повелъно быть передовою, возбуждающею силою общества во всъхъ его благородныхъ и высшихъ движеніяхъ и на то данъ ему лирическій талантъ. Не попадаетъ талантъ на свою дорогу потому, что не устремляетъ глазъ высшихъ на самого себя. Но Промыслъ лучше печется о человъкъ. Бъдою, зломъ и бользийо насильно приводить онъ его къ тому, къ чему онъ не пришель бы самъ. Уже п въ лиръ Языкова замътно стремление къ повороту на его законную дорогу. Отъ него услышали недавно стихотвореніе »Землетрясеніе«, которое, по митию Жуковскаго, есть наше лучшее стихотвореніе.

Изъ поэтовъ времени Пушкина отдълился князь Вяземскій. Хотя онъ началъ писать гораздо прежде Пушкина, но такъ какъ его полное развитіе было при немъ, то уномянемъ о немъ здѣсь. Въ князѣ Вяземскомъ — противоноложность Языкову. Сколько въ томъ поражаетъ инщета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ.

Стихъ употребленъ у него, какъ первое попавшесся орудіе: инкакой наружной отдълки его, никакого также сосредоточения и округленія мысли, затёмъ чтобы выставить се читателю, какъ драгоцённость. Онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія — импровизацін, хотя для такихъ имировизацій нужно имъть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собралось обиле необыкновенное встхъ качествъ: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводовъ; чувство, умъ, остроуміе, веселость и даже грусть; каждое стихотвореніе егонестрый фараонъ всего вмъстъ. Онъ не поэтъ по призванио: судьба, надъливши его всъми дарами, дала ему какъ-бы въ придачу талантъ ноэта, затъмъ чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его кингъ: »Біографія Фонвизина« обнаружилось еще видиъе обиліе всёхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слыненъ въ одно и то же время политикъ, философъ, тонкій оценщикъ и критикъ, положительный государственный человькь и даже опытный въдатель практической стороны жизни, словомъ — всё тё качества, которыя долженъ заключать въ себъ глубокій историкъ въ значенія высшемъ, и если бы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыковенныхъ лицъ и характеровъ; то можно сказать почти навърно, что подобнаго но достопиству историческаго сочинения не представила бы намъ Европа. Но отсутствие большого и нолнаго труда есть бользиь киязя Вяземскаго, и это слышится въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замітно отсутствіе внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ; возлі кріпкаго п твердаго стиха, какого ивтъ ни у одного поэта, номвидается другой, ничёмь на него непохожий; то вдругъ защемить онь чёмъто вырваннымъ живьемъ изъ самого сердца, то вдругъ оттолкиетъ отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу, раздавшимся совершение не въ тактъ съ предметемъ; слышна несобранность въ себя, неполная жизнь своими силами; слышится на дит всего чтото придавленное и угнетенное. Участь человъка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такого дѣла, которое бы заняло всъ до единой его способности, тяжелѣе участи послѣдняго бѣдняка. Только тотъ трудъ, который заставляетъ цѣликомъ всего человѣка обратиться къ себѣ и уйти въ себя, есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говоритъ поэтъ,

Душа прямится, крѣпистъ воля, И наша собственная доля Опредѣляется видиѣй.

Въ то время, когда наша поэзія совершала такъ быстро своеобразный ходь свой, воснитываясь поэтами всёхъ вёковъ и націй, обвёваясь звуками всёхъ поэтическихъ странъ, пробуя всё тоны п аккорды, одинъ поэтъ оставался въ сторонъ. Выбравши себъ самую незамътную и узкую тропу, шелъ опъ по ней почти безъ шуму, пока не переросъ другихъ, какъ крѣнкій дубъ переростаетъ вею рощу, вначалъ его скрывавниую. Этотъ поэтъ — Крыловъ. Выбраль онъ себъ форму басии, всъми препебреженную, какъ вещь старую, негодную для употребленія и ночти дітскую игрушку, и въ сей басић умъль едълаться народнымъ ноэтомъ. Это наша крѣнкая Русская голова, тотъ самый умъ, который съродии уму нашихъ пословицъ, тотъ самый умъ, которымъ кринокъ Русской человъкъ, умъ выводовъ, такъ называемый задній умъ. Нословина не есть какое-нибудь впередъ поданное мивніе, или предположеніе о ділі, но уже подведенный итогь ділу, отсідь, отстой уже перебродивнихъ и кончившихся событій, окончательное извлеченіе силы діла изъ всіхъ сторопъ его, а не изъ одной. Это выражается и въноговоркъ: одна рњи не пословица. Въ слъдствіе этого задняго ума, или ума окончательныхъ выводовъ, которымъ преимущественно надъленъ передъ другими Русскій человѣкъ, наши пословицы значительные пословиць всыхь другихъ народовъ. Сверхъ полноты мыслей, уже въ самомъ образѣ выраженія въ нихъ отразилось много народныхъ свойствъ нашихъ; въ нихъ все есть: нэдѣвка, насмѣшка, попрекъ, словомъ — все шевелящее и задирающее за живое. Какъ стоглазый Аргусъ, глядить изъ нихъ каждая на человъка. Всъ великіе люди, отъ Нушкина до Суворова п Нетра, благоговёли передъ нашими пословицами. Уваженіе къ нимъ выразилось многими поговорками: пословица не даромъ молеится, или пословища во-въкт не сломится. Извъстно, что если сумъены замкнуть ръчь ловко-прибранною пословицею, то енмъ объяснишь ее вдругъ народу, какъ бы сама по себъ ин была она свыше его понятія.

Отсюда-то ведеть свое происхождение Крыловъ. Его басни отнюдь не для дътей. Тотъ ошибется грубо, кто назоветь его баснописцемъ въ такомъ смыслъ, въ какомъ были баспописцы Лафонтень, Дмитріевь, Хеминцерь и наконець Измайловь. Его притчи — достояніе народное и составляють кингу мудрости самого народа. Звъри у него мыслять и поступають слишкомъ по-Русски; въ ихъ продълкахъ между собою слышны продълки и обряды производствъ внутри Россіи. Кромѣ вѣрнаго звѣринаго сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медвёдь, волкъ, но даже самъ горшокъ новорачивается какъ живой, они показали въ себъ еще и Русскую природу. Даже осель, который у него до того определился въ характеръ своемъ, что стоить ему высунуть только уши изъ какой-нибудь басни, какъ уже читатель вскрикиваетъ впередъ: »Это оселъ Крылова!« даже осель, не смотря на свою принадлежность климату другихъ земель, явился у него Русскимъ человѣкомъ. Нѣсколько лѣтъ производя кражу по чужимъ огородамъ, онъ возгорѣлся вдругъ чинолюбіемъ, захотёль ордена и заважинчаль страхь, когда хозяннь повёсиль ему на шею звонокъ, не размысля того, что теперь всякая кража и накость его будутъ видны всёмъ и привлекутъ отовсюду побои на его бока. Словомъ, всюду у него Русь и пахнетъ Русью. Всякая басня его имбеть, сверхъ того, историческое происхожденіе. Не смотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушие къ событіямъ современнымъ, ноэтъ, однакоже, следиль всякое событіе внутри государства: на все подаваль свой голось и въ голосъ этомъ слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ спленъ Русскій умъ, когда достигаеть до своего полнаго совершенства. Строго взвъшеннымъ и крънкимъ словомъ такъ разомъ онъ и опредёлитъ дёло, такъ и означитъ, въ чемъ его истинное существо. Когда иткоторые черезъ-чуръ военные люди стали-было уже утверждать, что все въ государствахъ должно быть основано на одной военной силъ и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали, въ свою очередь, притрунивать надъ всёмъ, что ин есть военнаго, изъ-за того только, что ивкоторые изъ военныхъ не понимали истинной важности своего званія, Крыловъ написалъ знаменитый споръ пушекъ съ нарусами, въ которомъ вводитъ объ стороны въ ихъ законныя границы симъ замъчательнымъ четверостишіемъ:

Держава всякая сильна, Когда устроены въ ней мудро части: Оружіемъ враговъ она сильна, А наруса — гражданскія въ ней власти.

Какая мѣткость опредѣленія! Безъ пушекъ не защитншься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь. Когда у иѣкоторыхъ доброжелательныхъ, но недальнозоркихъ начальниковъ утвердилось - было странное миѣніе, что нужно опасаться бойкихъ, умныхъ людей и обходить ихъ въ должностяхъ изъ-за того единственно, что иѣкоторые изъ нихъ были когда-то шалуны и замѣшались въ безразсудное дѣло, онъ написалъ не меньше замѣчательную басню: »Двѣ Бритвы«, и въ ней справедливо попрекнулъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся И держать при себѣ охотнѣй дураковъ.

Особенно слышно, какъ онъ вездъ держитъ сторону ума, какъ просить не пренебрегать умнаго человъка, но умъть съ нимъ обращаться. Это отразилось въ басий »Музыканты«, которую заключиль онъ словами: »По мив, ужь лучше пей, да дъло разумъй!« Пе потому онъ это сказалъ, чтобы хотълъ похвалить пьянство, но потому, что заболёла его душа при видё, какъ нёкоторые, набравши къ себъ, намъсто мастеровъ дъла, людей Богъ въсть какихъ, еще и хвастаются тъмъ, говоря, что хоть мастерства они п' не смыслять, но зато отличнъйшаго поведенія. Онъ зналъ, что съ умнымъ человѣкомъ все можно сдѣлать и не трудно обратить его къ хорошему новеденю, если сумфешь умно говорить съ нимъ, но дурака трудно сдёлать умнымъ, какъ ни говори съ нимъ. Вт ворт-ито вт морт, а вт дуракт-ито вт присномо молоки, говоритъ наша пословица. Но и умному дълаетъ онъ также кръпкія замътки, сильно попрекнувши его въ баснъ »Прудъ и Ръка« за то, что далъ задремать своимъ способностямъ, и строго укоривши въ басив »Сочинитель и Разбойникъ« за развратное и злое ихъ направленіе. Вообще его занимали вопросы важные. Въ книгѣ его всѣмъ есть уроки, всѣмъ степенямъ въ государствѣ, начиная отъ высшаго сановника и до нослѣдияго труженика, работающаго въ инзшихъ рядахъ государственныхъ, которому указываетъ онъ на высокій удѣлъ въ видѣ ичелы, неищущей отличать своей работы:

Но сколь и тотъ почтенъ, кто въ низости сокрытой, За всѣ труды, за весь потерянный покой, Ни славою, ни почестьми не льстится

И мыслью оживленъ одной,

Что къ пользѣ общей онъ трудится.

Слова эти останутся доказательствомъ вѣчнымъ, какъ благородна была душа самого Крылова. Ни одинъ изъ поэтовъ не умълъ сдъдать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всёмъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображения природы илънительной, грозной и даже грязной до передачи мальйшихъ оттънковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мътко, такъ найдено и такъ усвоено кръпко вещи, что даже и опредълить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предметь, какъ-бы не имъя словесной оболочки, выступаеть самъ собою, натурою передъ глаза. Стиха его также не схватишь. Никакъ не опредълишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, гдъ предметъ у него звучитъ; движется, гдъ предметъ движется; кринчаеть, гди кринчеть мысль, и становится вдругь легкимь, гдъ уступаетъ легковъсной болтовиъ дурака. Его ръчь покорна и послушна мысли и летаетъ какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ, шестистопномъ стихъ, то въ быстромъ, одностопномъ; расчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ она ощутительно самую невыразимую ея духовность. Стоитъ вспомнить величественное заключение басни » Двѣ Бочки «:

> Великій человёкъ лишь виденъ на дёлахъ, И думаетъ свою онъ крёнку думу Безъ шуму.

Тутъ отъ самого размъщенія словъ, какъ-бы слышится величіе ушедшаго въ себя человъка.

Отъ Крылова вдругъ можно перейти къ другой стороит нашей поэзін — сатирической. У насъ у всёхъ много пронін. Она видна въ нашихъ пословицахъ и пъсняхъ, и, что всего изумительнъе, часто тамъ, гдъ видимо страждетъ душа и не расположена вовсе къ веселости. Глубина этой самобытной проил еще предъ нами не разоблачилась потому, что, воспитываясь всёми Европейскими воспитаніями, мы и туть отдалились отъ родного кория. Наклонность къ проніи, однакожъ, удержалась, хотя и не въ той формъ. Трудно найти Русскаго человъка, въ которомъ бы не соединялось, вмъстъ съ умъньемъ предъ чъмъ-ипбудь истинно возблагоговъть, свойство — надъ чъмъ-нибудь истинио посмъяться. Вст наши поэты заключали въ себъ это свойство. Державинъ крупною солью разсыналь его у себя въ большей половинь одъ своихъ. Оно есть у Пушкпиа, у Крылова, у князя Вяземскаго; оно слышно даже у такихъ поэтовъ, которые въ характеръ своемъ имъли иъжное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковскаго, у Карамзина, у князя Долгорукаго; оно есть что-то сродное намъ вевмъ. Естественно, что у насъ должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже въ то время, когда Ломоносовъ настранвалъ свою лиру на высокій лирическій ладъ, князь Кантемиръ находилъ пищу для сатиры и хлесталъ ею глуности едва начинавшагося общества. Въ разныя эпохи появлялось у насъ множество сатиръ, эпиграммъ, насмъшливыхъ перелицовокъ на изнанку извъстивнимъ произведений и всякаго рода пародий ъдкихъ, злыхъ, которыя останутся, въроятно, всегда въ рукописяхъ и въ которыхъ всюду видна большая сила. Стоитъ вспомнить народін князя Горчакова, сатиру на литераторовъ Воейкова: »Домъ Сумасшедшихъ«, и талантливыя народін Михайла Дмитріева, гдф желчь Ювенала соединилась съ какимъ-то особеннымъ Славянскимъ добродушіємъ. Но сатира скоро попросила себѣ поприща обширивійшаго и перешла въ драму. Театръ начался у насъ такъ же, какъ и новеюду, спачала подражаніями; потомъ стали пробивать черты оригинальныя. Въ трагедін явились нравственная сила и незнаніе человъка подъ условіемъ взятой эпохи и въка; въ комедін — легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, безъ взгляда на душу человѣка. Имена Озерова, Княжнина, Канниста, князя Шаховского, Хмѣльинцкаго, Загоскина, А. Писарева номнятся съ уваженіемъ; по все это поблѣднѣло передъ двумя пръцми произведеніями: передъ комедіями Фонвизина »Недоросль« и Грибоѣдова »Горе отъ Ума«, которыя весьма остроумно назваль князь Вяземскій двумя современными трагедіями. Въ шпхъ уже не легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, но раны и болѣзии нашего общества, тяжелыя злоупотребленія впутреннія, которыя безпощадною сплою проніп выставлены въ очевидности потрясающей. Обѣ комедін взяли двѣ разныя эпохи. Одна поразила болѣзин отъ непросвѣщепія, другая — отъ дурно-

понятаго просвъщенія.

Комедія Фонвизина поражаєть огрубилое звирство человика, проистедшее отъ долгаго, безчувственнаго, непотрясаемаго застоя въ отдаленныхъ углахъ и захолустьяхъ Россіи. Она выставила такъ страшно эту кору огрубънія, что въ ней почти не узпаешь Русскаго человъка. Кто можетъ узнать что-нибудь Русское въ этомъ злобномъ существъ, исполненномъ тиранства, какова Простакова, мучительница крестьянъ, мужа и всего, кромф своего сына? А между тъмъ чувствуешь, что ингдъ въ другой землъ, ни во Франціп, ин въ Англів не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь къ своему дътищу есть наша сильная Русская любовь, которая въ человъкъ, потерявшемъ свое достопиство, выразилась въ такомъ извращенномъ видъ, въ такомъ чудномъ соединеніп съ тиранствомъ, такъ что, чтмъ болье она любитъ свое дитя, тъмъ болъе ненавидитъ все, что не есть ея дитя. Потомъ характеръ Скотинина — другой типъ огрубънія. Его неуклюжая прпрода, не получивъ на свою долю никакихъ сильныхъ и неистовыхъ страстей, обратилась въ какую-то болъе спокойную, въ своемъ родъ, художественную любовь къ скотниъ, намъсто человъка: свиньи сдълались для иего тоже, что для любителя искусствъ картинная галлерея. Потомъ супругъ Простаковой — несчастное, убитое существо, въ которомъ и тъ слабыя силы, какія держались, забиты понуканіями жены, —полное притупленіе всего! Наконецъ самъ Митрофанъ, который, ничего не заключая злобнаго въ своей природъ, не имъя желанія наносить кому-либо несчастіе, становится нечувствительно, съ помощно угожденій и баловства, тпраномъ всѣхъ, и всего болѣе тѣхъ, которые его сильнѣе любятъ, то есть, матери и ияньки, такъ что наносить имъ оскорбленіе—сдѣлалось ему уже наслажденіемъ. Словомъ, лица эти какъ-бы уже не-Русскія; трудно даже и узнать въ нихъ Русскія качества, исключая только развѣ одну Еремѣевиу да отставного солдата. Съ ужасомъ слышишь, что уже на инхъ не подѣйствуешь ни вліяніемъ Церкви, ни обычаями старины, отъ которыхъ удерживалось въ цихъ одно пошлое, и только одному желѣзному закону здѣсь мѣсто. Все въ этой комедіи кажется чудовищною каррикатурою на Русское; а между тѣмъ, иѣтъ ничего въ ней каррикатурнаго: все взято живьемъ съ природы и провѣрено знаніемъ души. Это тѣ неотразимо - страшные идеалы огрубѣнія, до которыхъ достигъ человѣкъ Русской земли.

Комедія Грибовдова взяла другое время общества — выставила болбани отъ дурно-понятого просвъщенія, отъ принятія глуныхъ свътскихъ мелочей намъсто главнаго, словомъ — взяла Донкишотекую сторону нашего Европейскаго образованія, несвязавшуюся смёсь обычаевь, едёлавшую Русскихь не Русскими, но пностранцами. Типъ Фамусова такъ же глубоко постигнутъ, какъ и Простаковой. Такъ же напвио, какъ хвастается Простакова своимъ невъжествомъ, онъ хвастается полупросвъщениемъ, какъ собственнымъ, такъ и всего того сословія, къ которому принадлежить: хвастается тъмъ, что Московскія дъвицы верхнія выводять потки, словечка два не скажуть, всё съ ужимкою; что дверь у него отперта для ветхъ, какъ званыхъ, такъ и незваныхъ, особенно для иностранныхъ; что канцелярія у него набита инчего недълающею роднею. Онъ и благопристойный, степенный человъкъ, и волокита, и читаетъ мораль, и мастеръ такъ нообъдать, что въ три дни не сварится. Онъ даже вольнодумецъ, если соберется съ подобными себъ стариками, и въ то же время готовъ не допустить на выстрёль къ столицамъ молодыхъ вольнодумцевъ, которыхъ именемъ честитъ всёхъ, кто не подчинился принятымъ свётскимъ обычаямъ ихъ общества. Въ существъ своемъ, это одно изъ тёхъ вывётрившихся лицъ, въ которыхъ, при всемъ ихъ свётскомъ comme il faut, не осталось ровно ничего, которыя своимъ пребываніемъ въ столицъ и службою такъ же вредны обществу, какъ другія ему вредны своею неслужбою и огрубѣлымъ пребываніемъ въ деревит. Вредны, во-первыхъ, собственнымъ имтніямъ своимъ — тёмъ, что, продавши ихъ въ руки наемниковъ и управителей, требуя отъ нихъ только денегъ для своихъ баловъ и объдовъ званыхъ и незваныхъ, они разрушили истинно-законныя узы, связавшія пом'єщиковъ съ крестьянами; вредны, во-вторыхъ, на служащемъ поприщъ — тъмъ, что, доставляя мъста однимъ только инчего педълающимъ родственникамъ своимъ, отняли у государства истинныхъ дёльцовъ и отвадили охоту служить у честнаго человѣка; вредны, наконецъ, въ-третьихъ, духу правительства своею двусмысленною жизнію — тёмъ, что, подъ личиною усердія п благонамъренности, требуя поддъльной правственности отъ молодыхъ людей и развратничая въ то же время сами, возбудили негодованіе молодежи, неуваженіе къ старости и заслугамъ и наклонность къ вольнодумству, дъйствительному у тъхъ, которые имъютъ некръпкія головы и способны вдаваться въ крайности. Не меньше замвчателенъ другой типъ: отъявленный мерзавецъ Загоръцкій, вездъ ругаемый и, къ изумленію, всюду принимаемый, лгунъ, плутъ, но въ то же время мастеръ угодить всякому сколько-нибудь значительному, или сильному лицу доставленіемъ ему того, къ чему онъ гръховно падокъ, готовый, въ случат надобности, сдълаться натріотомъ и ратоборцемъ правственности, зажечь костры и на нихъ предать пламени всъ книги, какія ни есть на свътъ, а въ томъ числъ и сочинителей даже самыхъ басень, и симъ обнаружившій, что, не боясь инчего, даже самой позоривіїшей брани, боится, однакожъ, насмъшки, какъ чортъ креста. Не меньше замъчателенъ третій тинъ: глупый либералъ Репетиловъ, рыцарь пустоты во всъхъ ся отношеніяхъ, рыскающій по почнымъ собраніямъ, радующійся, какъ Богъ въсть какой находкъ, когда удается ему пристегнуться къ какому-нибудь обществу, которое шунить о томъ, чего онъ не понимаетъ, чего и разсказать даже не умфеть, но котораго бредии слушаеть онъ съ чувствомъ, въ увфренности, что попалъ наконецъ на настоящую дорогу и что тутъ кроется дъйствительно какое-то общественное дъло, которое, хотя

еще не созрѣло, но какъ разъ созрѣетъ, если только о немъ ношумять побольше, стануть ночаще собираться по ночамь да позадористве между собою спорить. Не меньше замвчателенъ четвертый типъ: глупый Скалозубъ, понявній службу единственно въ умёны различать форменныя отлички, но, при всемъ томъ, удержавшій какой-то свой особенный философскій взглядъ на чины, признающійся откровенно, что онъ ихъ считаетъ какъ необходимые каналы къ тому, чтобы попасться въ генералы, а тамъ ему хоть трава не рости; всв прочія тревоги ему пи по чемъ, а обстоятельства времени и въка для него неголоволомная наука: онъ искренно увъренъ, что весь міръ можно успоконть, давши ему въ Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замѣчательный также типъ и старуха Хлёстова, жалкая смёсь пошлости двухъ вёковъ, удержавшая изъ старинныхъ временъ только одно пошлое съ притязаніями на уваженіе отъ новаго поколёнія, съ требованіями почтенія къ себь отъ тыхь самыхь людей, которыхь сама презпраеть, готовая выбранить вслухъ и встричнаго, и поперечнаго, за то только, что не такъ къ ней сълъ, или передъ нею оборотился, ни къ чему непитающая никакой любви и никакого уваженія, но покровительница арапчонокъ, мосскъ и людей въ родъ Молчалина, словомъ — старуха-дрянь въ полномъ смыслѣ этого слова. Самъ Молчалинъ — тоже замъчательный типъ. Мътко схвачено это лицо, безмольное, пизкое, покамъстъ тихомолкомъ пробпрающееся въ люди, но въ которомъ, по словамъ Чацкаго, готовится будущій Загоръцкій. Такое сконище уродовъ общества, изъ которыхъ каждый окаррикатуриль какое-нибудь мижніе, правило, мысль, извративши по-своему законный смысль ихъ, должно было вызвать въ отпоръ ему другую крайность, которая обнаружилась ярко въ Чацкомъ. Въ досадъ и въ справедливомъ негодовании противу ихъ всёхъ, Чацкій переходить также въ излишество, не замічая, что черезъ это самое и черезъ этотъ невоздержный языкъ свой онъ дълается самъ нестерпимъ и даже смъщонъ. Всъ лица комедіи Грибовдова суть такія же діти полупросвіщенія, какъ Фонвизиновы — дъти непросвъщенія, Русскіе уроды, временныя, преходящія лица, образовавшіяся среди броженія повой закваски. Прямо-Русскаго типа пътъ ни въ комъ изъ нихъ; не слышно Русскаго гражданина. Зрптель остается въ недоумѣніп на счетъ того, чѣмъ долженъ быть Русскій человѣкъ. Даже то лицо, которое взято, новидимому, въ образецъ, то есть, самъ Чацкій, показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться, выражаетъ только негодованіе противу того, что презрѣнно и мерзко въ обществѣ, но

не даеть въ себъ образца обществу.

Объ комедін исполняють плохо сценическія условія; въ семъ отношенін ничтожная Французская пьеса ихъ лучше. Содержаніе, взятое въ интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о немъ не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая съ нимъ выходы п уходы лицъ своихъ. Степень потребности побочныхъ характеровъ и ролей измърена также не въ отношени къ герою пьесы, но въ отношенін къ тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствіемъ своимъ на сценъ, сколько могли собою дорисовать общиость всей сатиры. Въ противномъ же случат, то есть, если бы они выполнили и эти необходимыя условія всякаго драматическаго творенія и заставили каждое изъ лицъ, такъ мътко схваченныхъ и постигнутыхъ, изворотиться передъ зрителемъ въ живомъ дъйствии, а не въ разговоръ это были бы два высокія произведенія нашего генія. И теперь даже ихъ можно назвать истинно общественными комедіями, и подобнаго выражепія, сколько мив кажется, не принимала еще комедія ин у одного изъ народовъ. Есть слъды общественной комедін у древнихъ Грековъ; но Аристофанъ руководился болъе личнымъ расположеніемъ, нападалъ на элоупотребленія одного какого-нибудь человъка п не всегда имълъ въ виду истину: доказательствомъ тому то, что онъ дерзнулъ осмъять Сократа. Наши комики двинулись общественною причиною, а не собственною; возстали не противъ одного лица, по противъ цълаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сделали они какъ-бы собственнымъ своимъ тъломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадиая сила ихъ насмъшки. Это продолжение той же брани свъта со тьмой, внесенной въ Россио Петромъ, которая всякаго благороднаго Русскаго дълаетъ уже невольно ратникомъ свъта. Объ комедін инчуть не созданія художественныя и не принадлежать фантазіп сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились оп'в почти сами собою, въ вид'в какого-то грознаго очищенія. Вотъ почему по сл'єдамъ ихъ не появлялось въ нашей литератур'в ничего имъ подобнаго и, в'вроятно, долго не появится.

Со смертію Пушкина остановилось движеніе поэзій нашей впередъ. Это, однакоже, не значитъ, чтобы духъ ея угаснулъ; напротивъ, онъ, какъ гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота въвоздухъвозвъщають его приближение. Уже явились и теперь люди не безъ талантовъ. Но еще все находится подъ сильнымъ вліяніемъ гармоническихъ звуковъ Пушкина; еще никто не можетъ вырваться изъ этого заколдованнаго, имъ очертаннаго круга и показать собственныя силы. Еще даже не слышитъ никто, что вокругъ него настало другое время, образовались стихін новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоль не раздавались; а потому ни въ комъ изъ нихъ еще итъ самоцвттиости. Ихъ даже не слъдуетъ называть по именамъ, кромъ одного Лермонтова, который себя выставиль впередъ больше другихъ и котораго уже нътъ на свътъ. Въ немъ слышатся признаки таланта первостепеннаго; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звъзда, которой управление захотълось ему надъ собою признать. Попавши съ самого начала въ кругъ того общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ п переходнымъ, которое, какъ бъдное растеніе, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степямъ, слыша само, что не прирости ему ни къ какой другой почвъ п его жребій — завянуть и пропасть, онъ уже съ раннихъ поръ сталъ выражать то раздирающее сердце равнодушіе колвсему, которое не слышалось еще ни у одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостныя встръчи, безпечальныя разставанія, странныя, безсмысленныя любовныя узы, неизвъстно зачъмъ заключаемыя и неизвъстно зачъмъ разрываемыя, стали предметомъ стиховъ его и подали случай Жуковскому весьма върно опредълить существо этой поэзіп словомъ безочарованіе. Съ номощію таланта Лермонтова, оно сдълалось-было на время моднымъ. Какъ нъкогда съ легкой руки Шидлера пронеслось-было по всему свъту очарование п

стало моднымъ, какъ потомъ съ тяжелой ръки Байрона пошло въ ходъ разочарованіе, порожденное, можетъ быть, излишнимъ очарованіемъ, и стало также на время моднымъ, такъ наконецъ пришла очередь и безочарованию, родному детищу Байроновскаго разочарованія. Существованіе его, разумівется, было кратковремените встхъ прочихъ, потому что въ безочаровании ровпо нътъ никакой приманки ни для кого. Признавши надъ собою власть какого-то обольстительнаго демона, поэтъ покушался не разъ изобразить его образъ, какъ-бы желая стихами отъ него отдълаться. Образъ этотъ не вызначенъ опредълительно, даже не получиль того обольстительнаго могущества надъ человъкомъ, которое онъ хотълъ ему придать. Видно, что выросъ онъ не отъ собственной силы, но отъ усталости и лени человека сражаться съ нимъ. Въ неоконченномъ его стихотворении, названномъ: » Сказка для дѣтей«, образъ этотъ получаетъ больше опредѣлительности и больше смысла. Можетъ быть, съ окончаніемъ этой повъсти, которая есть его лучшее стихотвореніе, отдълался бы опъ отъ самого духа и вмъстъ съ нимъ и отъ безотраднаго своего состоянія (примъты тому уже сіяють въ стихотвореніяхъ »Ангель«, » Молитва« и ивкоторыхъ другихъ), если бы только сохранилось въ немъ самомъ побольше уваженія и любви къ своему таланту. Но никто еще не играль такъ легкомысленно съ своимъ талантомъ и такъ не старался показать къ нему какое-то даже хвастливое презрѣніе, какъ Лермонтовъ. Незамѣтно въ немъ никакой любви къ дътямъ своего же воображенія. Ни одно стихотвореніе не выносилось въ немъ, не возлелѣялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ себъ самомъ; самый стихъ не получиль еще своей собственной, твердой личности и бльдно напоминаетъ то стихъ Жуковскаго, то Пушкина; повсюду излишество и многоръчіе. Въ его сочиненіяхъ прозаическихъ гораздо больше достоинства. Никто еще не инсаль у насъ такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Тутъ видно больше углубленія въ дъйствительность жизни, готовился будущій великій живописецъ Русскаго быта.... Но внезапная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное въ судьбъ нашихъ поэтовъ. Какъ только кто-нибудь изъ нихъ, упустивъ изъ виду свое главное поприще и назначеніе, бросался за другое, или же опускался въ тоть омуть свътскихь отношеній, гдѣ не слѣдуеть ему быть и гдѣ пѣть мѣста для поэта, внезанная, насильственная смерть вырывала его вдругь изъ нашей среды. Три первостепенныхь поэта, Нушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, одинъ за другимъ, въ виду всѣхъ были похищены насильственною смертно, въ теченіе одного десятилѣтія, въ порѣ самаго цвѣтущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ— и никого это не поразило; даже не содрогнулось вѣтреное племя.

Но пора, однакоже, сказать въ заключение, что такое наша поэзія вообще, зачёмь она была, къ чему служила, и что сдёлала для всей Русской земли нашей. Имѣла ли она вліяніе на духъ современнаго ей общества, восинтавши и облагородивши каждаго, сообразно его мъсту, и возвысивши понятія всъхъ вообще, сообразно духу земли и кореннымъ силамъ народа, которыми должно двигаться государство; или же она была, просто, върною картиною нашего общества, картиною полною и подробною, яснымъ зеркаломъ всего нашего быта? Не была она ин тъмъ, ни другимъ; ни того, ни другого она не сдълала. Она была почти незнаема и невъдома нашимъ обществомъ, которое въ то время воспитывалось другимъ воспитаніемъ, подъ вліяніемъ гувернеровъ Французскихъ, Нъмецкихъ, Англійскихъ, подъ вліяніемъ выходцевъ изо встхъ странъ, всъхъ возможныхъ сословій, съ различными образами мыслей, правилъ и направленій. Общество наше, чего не случалось еще досель ни съ однимъ народомъ, воспитывалось въ невъдънін земли своей посреди самой земли своей. Даже языкъ былъ нозабыть, такъ что поэзін нашей были даже отрізаны дороги и пути къ тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она къ обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила въ гостиную какое-нибудь стихотворное произведене, или же илодъ незрѣлой молодости поэта, инчтожное и слабое его произведение, но отвъчавшее, какимъ-инбудь чужеземно-вольнодумнымъ мыслямъ, занесеннымъ въ голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиною, что общество узнавало о существовании среди него поэта. Словомъ, поэзія наша не поучала общество, ни выражала его. Какъ-бы слыша, что ея участь не для современнаго общества, неслась она все время свыше общества; если жъ и опускалась къ нему, то развъ затъмъ только, чтобы хлеснуть его бичомъ сатиры, а не нередавать его жизнь въ образецъ нотомству. Дъло странное: предметомъ нашей ноззіп всё же были мы, но мы въ ней не узнаемъ себя. Когда поэтъ показываетъ намъ наппи лучшія стороны, намъ это кажется преувеличеннымъ, и мы почти готовы не върпть тому, что говорить намъ о насъже Державинъ. Когда же выставляеть писатель наши низкія стороны, мы опять не въримъ, и намъ это кажется каррикатурою. Есть точно въ томъ и другомъ какъ-бы какая-то преувеличенная сила, хотя въ самомъ дълъ преувеличенія пътъ. Причиною перваго то, что наши лирическіе поэты, владія тайною прозрівать въ зерні, почти непримътномъ для простыхъ глазъ, будущій великольпный плодъ его, выставляли очищениъе всякое свойство паше. Причиною второго то, что сатирические наши писатели, пося въ душъ своей, хотя еще и неясно, идеалъ уже лучшаго Русскаго человъка, видъли ясиће все дурное и низкое дъйствительно-Русскаго человъка. Сила негодованія благороднаго давала имъ силу выставлять ярче ту же вещь, нежели какъ ее можетъ увидъть обыкновенный человъкъ. Вотъ отчего въ последнее время, спльнее всехъ прочихъ свойствъ нашихъ, развилась у насъ насмъщливость. Все смъется у насъ одно надъ другимъ, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смѣющееся надъ всѣмъ равно, надъ стариною и надъ новизною, и благоговъющее только предъ одинмъ нестаръющимъ и въчнымъ. Итакъ поэзія наша не выразила намъ нигдѣ Русскаго человѣка вполнъ, ни въ томъ идеаль, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той дыйствительности, въ какой онъ нынъ есть. Она собрала только въ кучу безчисленные оттънки разнообразныхъ качествъ нашихъ; она совокупила только въ одно казнохранилище отдёльно взятыя стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспъло еще время живописать себя цъликомъ и хвастаться собою, что еще нужно намъ самимъ прежде организоваться, стать собою и сделаться Русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа къ тому, чтобы принять ей принадлежащую форму; еще не усибли мы вывести итоговъ изъ множества всякихъ элементовъ и началъ, нанесенныхъ отовсюду въ нашу землю; еще во всякомъ изъ насъ безтолковая встръча чужеземнаго съ своимъ и неразумное извлечение того самого вывода, для котораго повелёна Богомъ эта встрёча. Слыша это, поэты какъ-бы заботились только о томъ, чтобы не пропало въ этой борьбъ лучшее изъ нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, гдф находили, и сибшили его выносить на свъть, (не заботясь о томъ,) гдъ и какъ его поставить. Такъ бъдный хозяниъ, изъ обхваченнаго иламенемъ дома, старается выхватить только то, что есть въ немъ драгоцвинвійшаго, не заботясь о прочемв. Поэзія наша звучала не для современнаго ей времени, но чтобы, если настанетъ наконецъ то благодатное время, когда мысль о внутреннемъ построенін человька въ такомъ образъ, въ какомъ повелъль ему состроиться Богъ изъ самородныхъ началъ земли, сдёлается наконецъ у насъ общею по всей Россіп и равно желанною всёмъ, то чтобы увидъли мы, что есть дъйствительно въ насъ лучшаго, собственно нашего, и не позабыли бы его вмъстить въ свое построение. Наши собственныя сокровища стануть намь открываться больше и больше, но мірі того, какъ мы станемъ внимательное вчитываться въ нашихъ поэтовъ. По мере большаго и лучшаго ихъ узнанія, намъ откроются и другія ихъ высшія стороны, досель почти никъмъ незамъчаемыя: увидимъ, что они были не одними казначеями сокровищъ нашихъ, но отчасти даже и строителями нашими, или дъйствительно имъя о томъ мысль, или ея не имъя, но показавши своею высшею отъ насъ природою которое-нибудь изъ нашихъ народныхъ качествъ, которое въ нихъ развилось видите, затъмъ именно, чтобы блеснуть предъ нами во всей краст своей. Это стремленіе Державина начертать образъ непреклоннаго, твердаго мужа въ какомъ-то библейско-исполнискомъ величии, не было стремленіемъ произвольнымъ; начала ему онъ услышалъ въ нашемъ народъ. Шпрокія черты человъка величаваго носятся п слышатся по всей Русской земль такъ сильно, что даже чужеземцы, заглянувшіе во внутрь Россін, пми поражаются еще прежде, нежели усцъваютъ узнать правы и обычан земли нашей. Еще недавно одинъ изъ инхъ, издавшій свои записки съ тімъ именью,

чтобы показать Европт съ дурной стороны Россію (1), не могъ екрыть изумленія своего при вид'є простых обитателей деревенскихъ избъ нашихъ. Какъ пораженный, останавливался онъ передъ нашими маститыми, бъловласыми старцами, сидящими у пороговъ пзбъ своихъ, которые казались ему величавыми патріархами древнихъ библейскихъ временъ. Не одинъ разъ сознался онъ, что нигдъ въ другихъ земляхъ Европы, гдъ ин путешествовалъ онъ, не представлялся ему образъ человека въ такомъ величіи, близкомъ къ патріархально-библейскому. И эту мысль новториль онъ нъсколько разъ на страницахъ своей растворенной ненавистію къ намъ кинги. Это свойство иуткости, которое въ такой высокой степени обнаружилось въ Пушкинт, есть наше народное свойство. Вепомнимъ только один названія, которыми народъ самъ характеризуетъ въ себъ это свойство, напримъръ, название yxo, которое дается такому человёку, въ которомъ вей жилки горять и говорять, который мигь не постоить безь дела, удача — веюду ентынцій и вездт уситвающій; и множество есть у наст другихъ названій, опредбляющихъ различные оттыки и уклоненія этого свойства. Свойство это велико: неполонъ и суровъ выйдетъ Русскій мужъ, начертанный Державинымъ, если не будеть въ немъ чутья откликаться живо на всякій предметь въ природъ, изумляясь на всякомъ шагу красотъ Божьяго творенія. Этотъ умъ, умѣющій найти законную середнну всякой вещи, который обнаружился въ Крыловъ, есть нашъ истинно-Русской умъ. Только въ Крыловъ отразилея тотъ върный тактъ Русскаго ума, который, умъя выразить истинное существо всякаго дъла, умъстъ выразить его такъ, что никого не оскорбитъ выраженіемъ и не возстановитъ ип противъ себя, ни противъ мысли своей, даже несходимхъ съ нимъ людей, одинмъ словомъ — тотъ върный тактъ, который мы потеряли среди нашего свътскаго образованія и который сохранился досель у нашего крестьянина. Крестьянинъ нашъ умъстъ говорить со встми себя высшими такъ свободно, какъ никто изъ насъ, и ни однимъ словомъ не покажетъ неприличія, тогда какъ мы часто не умъемъ поговорить даже съ равнымъ себъ такимъ

<sup>(1)</sup> Маркизъ Кюстинъ.

образомъ, чтобы не оскорбить его какимъ-нибудь выраженіемъ. Зато уже, въ комъ изъ насъ дъйствительно образовался этотъ сосредоточенный, върный, истинно-Русскій тактъ ума — онъ у насъ пользуется уваженіемъ всёхъ; ему всё позволять сказать то, чего никому другому не позволять; на него никто ужъ и не сердится. У всёхъ нашихъ писателей бывали враги, даже у самыхъ незлобивішихъ и прекрасивішихъ душою (стонть вспомнить Карамзина и Жуковскаго); но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага рвануться на дёло добра, которая такъ и буйствуетъ въ стихахъ. Языкова, есть удаль нашего Русскаго народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое даетъ у насъ вдругъ молодость и старцу, и юношъ, если только предстанетъ случай рвануться всёмъ на дёло, невозможное ни для какого другого народа, которое вдругъ сливаетъ у насъ всю разнородную массу, между собою враждующую, въ одно чувство, такъ что и ссоры, и личныя выгоды каждаго, все позабыто, и вся Россія — одниъ человъть. Всъ эти свойства, обнаруженныя нашими поэтами, суть наши народныя свойства, въ нихъ только видиње развившіяся; поэты берутся не откуда же нибудь паъ-за моря, но исходять изъ своего народа. Это — огии, изъ него же излетъвшіе, передовые въстники силь его. Сверхъ того поэты наши сдълали добро уже тъмъ, что разнесли благозвучіе, дотолъ небывалое. Не знаю, въ какой другой литературъ ноказали стихотворцы такое безконечное разнообразіе оттёнковъ звука, чему отчасти, разумъется, способствоваль самъ поэтическій языкъ нашъ. У каждаго свой стихъ и свой особенный звонъ. Этотъ металлическій, броизовый стихъ Державина, котораго до сихъ норъ не можеть еще позабыть наше ухо; этоть густой, какъ смола, или струя стольтняго токая, стихъ Пушкина; этотъ сіяющій, праздинчный стихъ Языкова, влетающій какъ лучъ въ душу, весь сотканный изъ свъта; этотъ облитый ароматами полудия стихъ Батюшкова, сладостный, какъ медъ изъ горнаго ущелья; этотъ легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ роловой арфы; этотъ тяжелый, какъ-бы влачащійся по землъ стихъ Вяземскаго, проникнутый подъ-часъ Едкою, щемящею Русскою грустью: всв они, точно разнозвонные колокола, или безчисленные клавиши одного великолъпнаго органа, разнесли благозвучіс по Русской земль. Благозвучіс не такъ пустое діло, какъ думають тв, которые незнакомы съ поэзіею. Подъ благозвучіе, какъ подъ колыбельную, прекрасную пъсню матери, убаюкивается пародъ-младенецъ, еще прежде, нежели можетъ входить въ значеніе словъ самой пъсни, и нечувствительно сами собою стихаютъ и умиряются его дикія страсти. Оно такъ же бываетъ нужно, какъ во храм' куреніе кадильное, которое уже невидимо настрояетъ душу къ слынанію чего-то лучшаго еще прежде, пежели началось самое служеніе. Поэзія наша пробовала вст аккорды, воспитывалась литературами всёхъ народовъ, прислушивалась къ лирамъ всёхъ поэтовъ, добывала какой-то всемірный языкъ затёмъ, чтобы приготовить всёхъ къ служение более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тёхъ пустякахь, о которыхъ еще продолжаетъ вътренно лепетать молодое, недавшее себъ отчета нынъшнее покольне поэтовъ; нельзя служить и самому пскусству, какъ ни прекрасно это служение, не уразумъвъ его цъли высшей и не опредълнвъ себъ, зачъмъ дано намъ и искусство; нельзя повторять Пушкина. Нътъ, не Пушкинъ, или кто другой долженъ стать теперь въ образецъ намъ: другія уже времена пришли. Теперь уже ничемъ не возмешь — ни свособразіемъ ума своего, ни картинною личностію характера, ни гордостію движеній своихъ; Христіянскимъ, высшимъ воспитаціемъ долженъ воспитаться теперь ноэтъ. Другія дёла наступаютъ для поэзін. Какъ во времена младенчества народовъ служила она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая въ нихъ браниолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человъка на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу, которую самъ небесный Творецъ нашъ считаетъ нерломъ своихъ созданій. Много предстонть теперь для поэзін — возвращать въ общество то, что есть истиню прекраснаго и что изгнано изъ него ныпъшнею безсмысленною жизнію. Нъть, не напомиять опи уже инкого изъ нашихъ прежинхъ поэтовъ. Самая рѣчь ихъ будеть другая; она будеть ближе и родствениве нашей Русской душь. Еще въ ней слышнье выступять наши народныя начала. Еще не бьетъ всею сплою кверху тотъ самородный ключъ нашей

поэзін, который уже кипълъ и биль въ груди нашей природы тогда, когда и самое слово поэзія не было ни на чыхъ устахъ. Еще никто не черпаль изъ самой глубины тёхъ трехъ источниковъ, о которыхъ упомятуто въ началъ этой статьи. Еще доселъ загадка — этотъ необъясинмый разгулъ, который слышится въ нашихъ пъсияхъ, несется куда-то мимо жизни и самой пъсии, какъ-бы сгарая желаніемъ лучшей отчизны, по которой тоскуетъ со дня созданія своего человѣкъ. Еще ни въ комъ не отразилась вполнк та многосторонняя поэтпческая полнота ума нашего, которая заключена въ нашихъ многоочитыхъ пословицахъ, умѣвшихъ сдълать такіе великіе выводы изъ бъднаго, инчтожнаго своего времени, гдв въ такихъ твеныхъ предвлахъ и въ такой мутной лужв изворачивался Русскій человікть, и которые говорять только о томъ, какіе огромные выводы можетъ сделать ныпешній Русскій челов'ять изъ нын'яшияго широкаго времени, въ которое нанесены итоги всъхъ въковъ и какъ неразобранный товаръ сброшены въ въ одну безпорядочную кучу. Еще тайна для многихъ этотъ необыкновенный лиризмъ — рожденіе верховной трезвости ума, который исходить отъ нашихъ церковныхъ пѣсней и каконовъ и, покуда, такъ же безотчетно возноситъ духъ поэта, какъ безотчетно подмывають его сердце родные звуки пашей пъсни. Наконецъ самъ необыкновенный языкъ пашъ есть еще тайна. Въ немъ всѣ тоны п оттънки, всъ переходы звуковъ отъ самыхъ твердыхъ до самыхъ нъжныхъ и мягкихъ; онъ безпредъленъ и можетъ, живой какъ жизнь, обогащаться ежеминутно, почерная съ одной стороны высокія слова изъ языка церковно-библейскаго, а съдругой стороны выбирая на выборъ мъткія названія изъ безчисленныхъ своихъ наръчій, разсыпанныхъ по нашимъ провинціямъ, имъя возможность такимъ образомъ въ одной и той же рвчи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливъйшаго человъка: языкъ, который самъ по себъ уже поэтъ п который педаромъ былъ на время позабыть нашимъ лучшимъ обществомъ. Нужно было, чтобы выболтали на чужеземныхъ наръчіяхъ всю дрянь, какая ни пристала къ намъ емъстъ съ чужеземнымъ образованиемъ, чтобы всъ тъ неясные звуки, неточныя названія вещей — діти мыслей, невыяснавшихся и

сбивчивыхъ, которыя потемияютъ языки, не посмъли помрачить млапенческой ясности нашего языка и возвратились бы къ нему, уже готовые мыслить и жить своимъ умомъ, а не чужеземнымъ. Все это еще орудія, еще матеріалы, еще глыбы, еще въ рудѣ дорогіе металлы, изъ которыхъ выкуется иная, сильнъйшая ръчь. Пройдеть эта ръчь уже насквозь всю душу и не упадеть на безплодную землю. Скорбію ангела загорится наша ноэзія п, ударивши по всемъ струнамъ, какія ни есть въ Русскомъ человеке, внесеть въ самыя огрубълыя души святыню того, чего никакія силы и орудія не могугъ утвердить въ человікь; вызоветь намъ нашу Россію, нашу Русскую Россію, не ту, которую показываютъ намъ грубо какіе-инбудь квасные патріоты, и не ту, которую вызывають къ намъ изъ-за моря очужеземившеея Русскее, но ту, которую извлечеть она изъ насъ же и покажеть такимъ образомъ, что всѣ до единаго, какихъ бы ни были они различныхъ мыслей, образовъ воспитанія и мивній, скажуть въ одинь голось: »Это наша Россія; намъ въ ней приотно и тепло, и мы теперь дъйствительно у себя дома, подъ своею родною крышею, а не на чужбинъ!«

## XXXII.

## СВЪТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ.

Въ Русскомъ человъкъ есть особенное участие къ празднику Свътлаго Воскресенія. Онъ это чувствуетъ живъе, если ему случится быть въ чужой землъ. Видя, какъ повсюду въ другихъ странахъ день этотъ почти не отличенъ отъ другихъ дней — тъ же всегдашнія занятія, та же вседневная жизнь, то же будиншиее выраженіе на лицахъ—онъ чувствуетъ грусть и обращается невольно къ Россіи. Ему кажется, что тамъ какъ-то лучше празднуется этотъ день и самъ человъкъ радостиве и лучше, нежели въ другіе дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдругъ представятся—эта торжественная полночь, этотъ повсемъстный коло-

кольный звонъ, который какъ-бы всю землю сливаеть въ одинъ туль, это восклицаніе » Христось воскресь! « которое замыняеть въ этотъ день вев другія привітствія, этотъ поцілуїї, который только раздается у насъ-и онъ готовъ почти воскликнуть: »Только въ одной Россіи празднуется этотъ депь такъ, какъ ему слъдуетъ праздноваться! « Разумъется, это пріятное чувство ослабъваетъ, какъ только онъ неренесется на самомъ дълъ въ Россію, или даже только припомнить, что день этоть есть день какой-то полусонной бъготии и суеты, пустыхъ визитовъ, умышленныхъ незаставаній другъ друга намъсто радостныхъ встръчъ, — еслижъ и встръчъ, то основанныхъ на самыхъ корыстныхъ расчетахъ; что честолюбіе жипить у насъ въ этотъ день еще больше, нежели во вст другіе. и говорять не о воскресеніи Христа, по о томь, кому какая награда выйдеть и кто что получить; что даже и въ самомъ народъ кое-гдъ пошатываются на улицахъ не совсъмъ трезвые, едва только успъла кончиться торжественная объдня и не успъла еще заря освътить земли. Вздохнеть бъдный Русскій человъкъ, если только все это припоминтъ себъ. Для проформы, одинъ чмокиетъ въ щеку другого, желая показать, какъ нужно любить своего брата, да какой-нибудь патріотъ, въ досадъ на молодежь, которая бранитъ старинные Русскіе наши обычан, утверждая, что у насъ ничего нътъ, прокричитъ гиъвно: »У насъ все есть — и семейная жизнь, и семейныя добродътели; и обычаи у насъ соблюдаются свято; и долгъ свой исполняемъ мы такъ, какъ нигдъ въ Европъ; и мы народъ на удивление всъмъ!«

Нѣтъ, не въвидимомъ знакѣ дѣло, не въ натріотическихъ возгласахъ, но въ томъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ взглянуть въ этотъ день на человѣка, какъ на лучшую свою драгоцѣнность, такъ обнять и прижать его къ себѣ, какъ напродиѣйшаго своего брата, такъ ему обрадоваться, какъ-бы своему наплучшему другу, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видались и который вдругъ неожиданно къ намъ пріѣхалъ. Еще сильнѣе! еще больше! потому что узы, насъ съ инмъ связывающія, сильнѣе земного кровнаго нашего родства и породнились мы съ инмъ по нашему прекрасному небесному Отцу, въ нѣсколько разъ намъ ближайшему нашего земного отца, и день этотъ мы въ своей истинной семьѣ, у Него Са-

мого въ дому. День этотъ есть тотъ святой день, въ который праздпуетъ святое, небесное свое братство все человъчество до единаго, не пеключивъ изъ него ин одного человъка.

Какъ бы этотъ день пришелся, казалось, кетати нашему девятнадцатому въку, когда мысли о счасти человъчества сдълались почти любимыми мыслями всёхъ; когда обнять все человёчество, какъ братьевъ, сдёлалось любимою мечтою молодого человека; когда многіе только и грезять о томъ, какъ преобразовать все человъчество, какъ возвыенть внутрениее достопнетво человъка; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только Христіянство въ сплахъ это произвесть; когда стали утверждать, что еледуеть ближе ввести Христовь законь, какь въ семейственный, такъ и въ государственный бытъ; когда подвиги сердоболія и помощи несчастнымъ стали разговоромъ даже модныхъ гостинныхъ; когда, наконецъ, стало тъсно отъ всякихъ человъколюбивыхъ заведеній! Какъ бы, казалось, девятнадцатый въкъ долженъ былъ радостно воспраздновать этотъ день, который такъ по сердцу всёмъ великодушнымъ и человъколюбивымъ его движеніямъ! Но на этомъто самомъ дит, какъ на пробномъ камит, видишь, какъ бледны вет его Христіянскія стремленія и какъ вет опи въ однъхъ только мысляхъ, а не на дълъ. И если, въ самомъ дълъ, придется ему обнять въ этотъ день своего брата, какъ брата, —онъ его не обниметъ. Все человъчество готовъ онъ обнять, какъ брата, а брата не обниметъ: Отдёлнсь отъ этого человечества, которому онъ готовить такое великодушное объятіе, одинъ челов'єкъ, его оскорбившій, которому повелёваетъ Христосъ въ ту же минуту простить, — онъ уже не обниметь его. Отдълись отъ этого человъчества одинъ, несогласный съ нимъ въ какихъ-нибудь ничтожныхъ человъческихъ мивніяхь, — онъ уже не обниметь его. Отділись отъ этого человъчества одинъ, страждущій, видиве другихъ, тяжелыми язвами своихъ душевныхъ недостатковъ, больше всёхъ другихъ требующій состраданія къ себъ, — онъ оттолкнетъ его и не обинметъ. И достанется его объятіе только тъмъ, которые инчъмъ еще не оскорбили его, съ которыми не имълъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза. Вотъ какого рода объятія всему человъчеству даеть человъкъ ныпъшняго въка, и часто именно тотъ самый, который думаетъ о себъ, что онъ истинный человъколюбецъ и совершенный Христіянинъ!

Нътъ, не празднуетъ пынъшній въкъ Свътлаго праздника такъ, какъ ему слъдуетъ праздноваться. Есть страшное препятствіе, есть непреоборимое препятствіе; имя ему гордость. Она была извъстна и въ прежийе въки, но то была гордость болье ребяческая, гордость своими сплами физическими, гордость богатствами своими, гордость родомъ и званіемъ; но не доходила она до того страннаго духовнаго развитія, въ какомъ предстала теперь. Теперь явилась она въ двухъ видахъ. Первый видъ ся — гордость чистотою своею.

Обрадовавшись тому, что стало во многомъ лучше своихъ предковъ, человъчество нынъшняго въка влюбилось въ чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевною красотою своею и считать себя лучшимъ другихъ. Стоитъ только приглядьться, какимъ рыцаремъ благородства выступаетъ изъ насъ теперь всякъ, какъ безпощадно и ръзко судить о другомъ. Стоптъ только прислушаться къ темъ оправданіямъ, какими онъ оправдываетъ себя въ томъ, что не обняль своего брата даже въ день Свътлаго Воскресенія. Безъ стыда и не дрогнувъ душою, говоритъ онь: »Я не могу обнять этого человѣка: онъ мерзокъ, онъ подлъ дущою, онъ запятналь себя безчестнъйшимь поступкомь; я не пущу этого человъка даже въ переднюю свою; я даже не хочу дышать одинмъ воздухомъ съ нимъ; я сдёлаю кругъ для того, чтобы объёхать его и не встрёчаться съ нимъ. Я не могу жить съ подлыми и презрънными людьми, — неужели мит обнять такого человъка, какъ брата? « Увы! позабыль бъдный человъкъ девятнадцатаго въка, что въ этотъ день нътъ ин подлыхъ, ин преэрънныхъ людей, но веъ люди, братья той же семьи, и всякому человъку имя брать, а не какое-либо другое. Все разомъ и вдругъ имъ позабыто: позабыто, что, можетъ быть, затемъ именно окружили его презрънные и подлые люди, чтобы, взглянувши на нихъ, взглянуль онъ на себя и поискаль бы въ себъ того же самого, чего такъ испугался въ другихъ. Позабыто, что онъ самъ можетъ на всякомъ шагу, даже не примътивъ того самъ, сдълать то же нодлое дёло, хотя въ другомъ только видё-въвидё, не пораженномъ публичнымъ позоромъ, но которое, однакоже, выражаясь пословицею, есть тот же блинг, только на другом вблюдь. Все позабыто! Позабыто имъ то, что, можетъ быть, оттого развелось такъ много подлыхъ и презрънныхъ людей, что сурово и безчеловъчно ихъ оттолкнули лучшіе и прекрасньйшіе люди, и тъмъ заставили пуще ожесточиться. Будтобы легко выносить къ себъ презраніе! Богь васть, можеть быть, иной совсамь быль не рожденъ безчестнымъ человъкомъ; можетъ быть, бъдная душа его, безсильная сражаться съ соблазнами, просила и молила о номощи, и готова была облобызать руки и поги того, кто подвигнутою жалостію душевною поддержаль бы ее на краю пропасти. Можеть быть, одной капли любви къ нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будтобы дорогою любви было трудно достигнуть къ его сердцу; будто уже до того окаментла въ немъ природа, что инкакое чувство не могло въ немъ ношевелиться, когда и разбойникъ благодаренъ за любовь, когда и звърь помнить ласкавшую его руку! Но все позабыто человъкомъ девятнадцатаго въка, и отталкиваетъ онъ отъ себя брата, какъ богачъ отталкиваетъ покрытаго гноемъ нищаго отъ великолбинаго крыльца своего. Ему ивтъ двла до страданій его; ему бы только не видать гноя ранъ его. Онъ даже не хочетъ услышать исповъди его, боясь, чтобы не поразилось обоняние его смраднымъ дыханиемъ устъ несчастнаго, гордый благоуханіемъ чистоты своей. Такому ли человъку воспраздновать праздникъ небесной любви?

Есть другой видь гордости, еще сильивійшей перваго — гордость ума. Никогда еще не возрастала опа до такой силы, какъ въ девятнадцатомъ въкъ. Опа слышится въ самой боязии каждаго прослыть дуракомъ. Все вынесетъ человъкъ въка: вынесетъ названіе плута, подлеца; какое хочешь, дай ему названіе, опъ спесетъ его, и только не спесетъ названія дурака. Надъ всьмъ онъ позволить посмъяться, и только не позволить посмъяться надъ умомъ своимъ. Умъ его для него святыня. Изъ-за малъйшей насмъшки надъ умомъ своимъ, онъ готовъ сію же минуту поставить своего брата на благородное разстояніе и посадить, не дрогнувши, ему пулю въ лобъ. Ничему и ни во что онъ не въритъ; только въритъ въ одинъ умъ свой. Чего не видитъ его умъ, того для него ивтъ.

Онъ позабыль даже, что умъ пдеть внередь, когда пдуть впередь вев правственныя силы въ человъкъ, и стоитъ безъ движенія и даже идетъ назадъ, когда не возвышаются правственныя силы. Онъ позабыль и то, что ивть всёхь сторонь ума ин въ одномь человёкё; что другой человёкъ можетъ видёть именно ту сторону вещи, которую онъ не можетъ видіть, и, стало быть, знать то, чего онъ не можетъ знать. Не върштъ онъ этому, и все, чего не видить онъ самъ, то для него ложь. И тъпь Христіянскаго смиренія не можеть къ нему прикоснуться изъ-за гордыни его ума. Во всемъ онъ усомнится: въ сердцъ человъка, котораго нъсколько лътъ зналъ, въ правдъ, въ Богъ усоминтся, но не усоминтся въ своемъ умъ. Уже ссоры и брани начались не за какія-пибудь существенныя права, не изъ-за личныхъ ненавистей; итть, не чувственныя страсти, но страсти ума уже начались: уже враждують лично изъ несходства митній, изъ-за противортчій въ мірт мысленномъ. Уже образовались цълыя партіп, другъ друга невидъвшія, никакихъ личныхъ сношеній еще непмівшія—и уже другъ друга ненавидящія. Поразительно: въ то время, когда уже было-начали думать люди, что образованіемъ выгнали злобу изъ міра, злоба другою дорогою, съ другого конца входитъ въ міръ, — дорогою ума, и на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, какъ всеногубляющая саранча, нападаетъ на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинають говорить, хоть противу собственнаго своего убъжденія, изъ-за того только, чтобы не устунить противной партіи, изъ-за того только, что гордость не позволяеть сознаться передъ всёми въ ошибке; уже одна чистая злоба воцарилась намѣсто ума.

П человѣку ли такого вѣка умѣть полюбить и почувствовать Христіянскую любовь къ человѣку? Ему ли исполниться того свѣтлаго простодушія и ангельскаго младенчества, которое собираеть всѣхъ людей въ одну семью? Ему ли услышать благоуханіе небеснаго братства нашего? Ему ли воспраздновать этотъ день? Исчезнуло даже и то наружно-добродушное выраженіе прежнихъ простыхъ вѣковъ, которое давало видъ, какъ-будтобы человѣкъ былъ ближе къ человѣку. Гордый умъ девятнадцатаго вѣка истребилъ его. Діаволъ выступилъ уже безъ маски въ міръ. Духъ гордости пересталъ уже являться въ разныхъ образахъ и пугать суевърныхъ людей; онъ явился въ собственномъ своемъ видъ. Почуя, что признають его господство, онъ пересталь уже и чиниться сч. людьми. Съ дерзкимъ безстыдствомъ смѣется въ глаза имъ же, его признающимъ; глупъйшіе законы даетъ міру, какіе доселъ еще инкогда не давались; и міръ это видить и не смѣеть ослушаться! Что значитъ эта мода, ничтожная, незначущая, которую допустилъ въ началъ человъкъ, какъ мелочь, какъ невинное дъло, и которая теперь, какъ полная хозяйка, уже стала распоряжаться въ домахъ нашихъ, выгоняя все, что есть главнъйшаго и лучшаго въ человъкъ? Никто не боится преступать и сколько разъ въ день первъйшіе и свящинивінніе законы Христа, и между тъмъ боится не исполнить ея малъйшаго приказанія, дрожа передъ нею, какъ робкій мальчишка. Что значить, что даже и тв, которые сами надъ нею емьются, пляшуть, какь легкіе вытренники, подъ ея дудку? Что значать эти такъ называемыя безчисленныя приличія, которыя стали сильпъе всякихъ коренныхъ постановленій? Что значатъ эти странныя власти, образовавшіяся мимо законныхъ, — постороннія, побочныя вліянія? Что значить, что уже правять міромъ швеи, портные и ремесленники всякаго рода, а Божіи помазанники остались въ сторонь, — люди темные, никому неизвъстные, неимъющіе мыслей и чистосердечных убъжденій, правять мивніями и мыслями умныхъ людей? И газетный листокъ, признаваемый лживымъ всёми, становится нечувствительнымъ законодателемъ его неуважающаго человъка. Что значатъ всъ незаконные эти законы, которые, видимо въ виду всёхъ, чертитъ исходящая спизу нечистая сила, и міръ это видить весь, и, какъ очарованный, не смѣетъ шевельнуться? Что за страшная насмѣшка надъ человѣчествомъ! Но зачемъ этотъ праздникъ? Зачемъ онъ приходитъ скликать въ одну семью разошедшихся людей? Зачъмъ еще уцълъли люди, которымъ кажется, какъ-бы они свътлъютъ въ этотъ день и празднують свое младенчество, то младенчество, отъ котораго небесное лобзаніе, какъ-бы лобзаніе в типой весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратилъ гордый нынтшній человткъ? Зачтмъ еще не позабыль человткъ на-въки это младенчество и, какъ-бы видънное въ какомъ-то отдаденномъ снъ, оно еще шевелить нашу душу? Зачъмъ все это, и къ чему это? Будто не извъстно, зачъмъ? Будто не видно, къ чему? Затемъ, чтобы хотя некоторымъ, еще слышащимъ весеннее дыханіе этого праздника, сдёлалось вдругъ такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небъ, п, завонивъ раздирающимъ сердце воплемъ, упали бы они къ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинь этотъ день вырвать изъ ряду другихъ дней, одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ девятнадцатаго въка, но въ обычаяхъ въчнаго въка, въ одинъ бы день только обиять и обхватить человъка, какъ виноватый другъ обинмаетъ великодушнаго, все ему простившаго друга, хотя бы только затёмъ, чтобы завтра же оттолкнуть его отъ себя и сказать ему, что онъ намъ чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать такъ, хотя бы только насильно заставить себя это сдёлать, ухватиться бы за этоть, какь утопающій хватается за доску! Богь в'єсть, можеть быть, за одно это желаніе уже готова сброситься съ небесъ намъ лъстица и протянуться рука, помогающая возлетъть по ней.

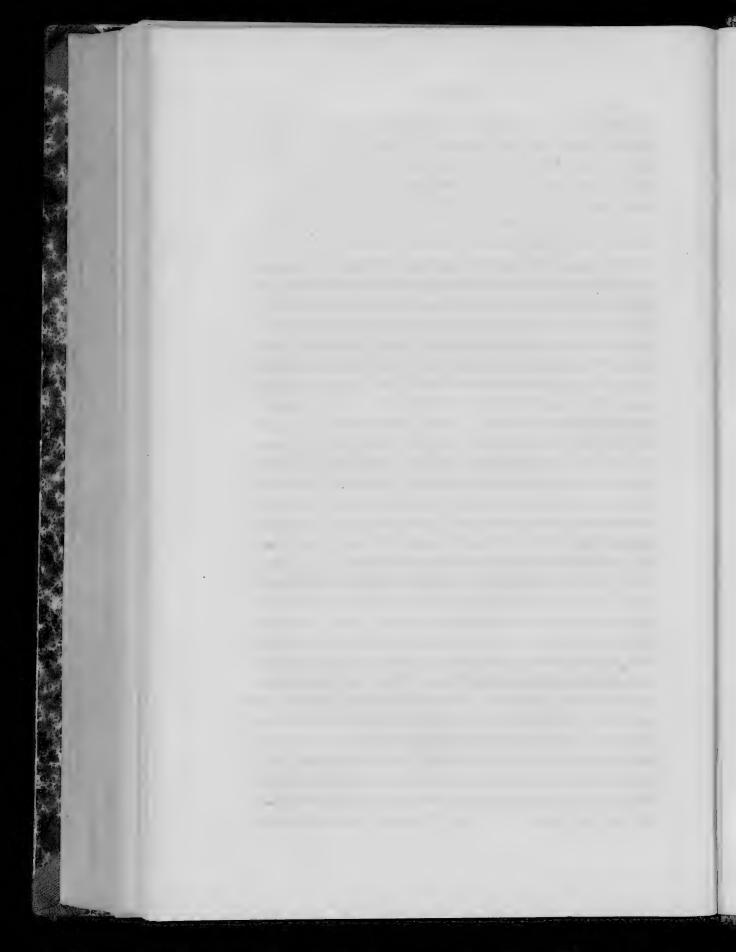
Но и одного дня не хочеть провести такъ человъкъ девятнадцатаго въка! И пепонятною тоскою уже загорълась земля; черствъе и черствъе становится жизнь; все мелчаетъ и мелъетъ, и возрастаетъ только въ виду всъхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ диемъ неизмъримъйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ міръ!

Отчего же одному Русскому еще кажется, что праздникъ этотъ празднуется, какъ следуетъ, и празднуется такъ въ одной его земле? Мечта ли это? Но зачемъ же эта мечта не приходитъ ни къ кому другому, кроме Русскаго? Что значитъ въ самомъ деле, что видимые признаки праздника такъ ясно посятся по лицу земли нашей: раздаются слова Христост воскрест! и поцелуй, и всякий разъ также торжественио выступаетъ святая полночь, и гулы всезвонныхъ колоколовъ гулятъ и гудутъ по всей земле, точно какъ бы будятъ насъ? Где носятся такъ очевидно признаки, тамъ педаромъ посятся; где будятъ, тамъ разбудятъ. Не умираютъ въ букве, по оживаютъ въ духе. Померкаютъ временно, умираютъ въ пустыхъ и выветрившихся толнахъ, по воскресаютъ

съ новою силою въ избранныхъ, затъмъ, чтобы въ сильпъйшемъ свъть отъ нихъ разлиться по всему міру. Не умреть изъ нашей старины ин зерно того, что есть въ ней истинно-Русскаго и что освящено самимъ Христомъ. Разнесется звонкими струнами поэтовъ, развозвъстится благоухающими устами святителей, вспыхнетъ померкнувшее — и праздникъ Свътлаго Воскресенія воспразднуется какъ слъдуетъ, прежде у насъ, нежели у другихъ народовъ! На чемъ же основываясь, на какихъ оппраясь данныхъ, заключенныхъ въ сердцахъ нашихъ, можемъ сказать это? Лучше ли мы другихъ народовъ? Нътъ. Но есть въ нашей природъ то, что намъ пророчитъ это. Уже самое правственное неустройство наше намъ это пророчитъ. Мы еще растопленный металлъ, неотлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнуть отъ себя намъ неприличное и внести въ себя все, что уже невозможно другимъ народамъ, получившимъ форму и закалившимся въ ней. Что есть много въ корениой природъ нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа — доказательство тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ и приготовленная земля сердецъ нашихъ призывала сама собою Его слово, что есть уже начало братства Хрпстова въ самой нашей Славянской природъ и побратаніе людей было у насъ роднъе дома и кровнаго братства, что еще итть у насъ непримиримой ненависти сословія противу сословія и тъхъ озлобленныхъ партій, какія видятся въ Европъ и которыя поставляютъ препятствіе непреоборимое къ соединению людей и братской любви между ними, что есть, наконецъ, у насъ отвага, никому несродная, и если предстанетъ намъ ветмъ какое-инбудь дъло, ръшительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, напримъръ, сбросить съ себя вдругъ и разомъ вст недостатки наши, все позорящее высокую природу человъка, то, съ болю собственнаго тъла, не пожалъвъ самихъ себя, какъ въ двънадцатомъ году, не ножальвъ имуществъ, жгли домы свои и земные достатки, такъ рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятнающее насъ: ни одна душа не отстанетъ отъ другой, и въ такія минуты всякія ссоры, ненависти, вражды --- все бываеть позабыто, брать повисиеть на груди у брата, и вся Россія — одинъ человънъ. Вотъ на чемъ основываясь, можно сказать, что праздникъ Воскресенія Христова воспразднуется прежде у насъ, нежели у другихъ. И твердо говоритъ миъ это душа моя; и это не мысль, выдуманная въ головъ. Такія мысли не выдумываются. Впушеніемъ Божінмъ порождаются онъ разомъ въ сердцахъ многихъ людей, другъ друга невидавшихъ, живущихъ на разныхъ концахъ земли, и въ одно время, какъ-бы изъ однихъ устъ, изглашаются. Знаю я твердо, что не одниъ человъкъ въ Россіи, хотя я его и не знаю, твердо въритъ тому и говоритъ: »У насъ прежде, нежели во всякой другой землъ, воспразднуется Свътлое Воскресеніе Христово!«



ABTOPCKAH ECHOBBAB.



Вст согласны въ томъ, что еще ин одна книга не произвела столько разнообразныхъ толковъ, какъ »Выбранныя Мъста изъ Перениски съ Друзьями«, и — что всего замъчательнъй, чего не случилось, можеть быть, досель еще ни въ какой литературь предметомъ толковъ и критикъ стала не книга, но авторъ. Подозрительно и недовърчиво разобрано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тъломъ еще живущаго человъка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаеть въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ кръпкимъ сложеньемъ. Какъ, однакоже, ни были потрясающи и обидны для человъка благороднаго и честнаго многіе заключенія и выводы, но, скрѣпясь, сколько достало небольшихъ сихъ моихъ, я ръшился стеривть все и воспользоваться этимъ случаемъ, какъ указаньемъ свыше разсмотрѣть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегалъ совътами, мивиьями, осужденьями и упреками, уввряясь, чвмъ далве, темъ более, что если только истребишь въ себе те щекотливыя струны, которыя способны раздражаться и гитваться, и приведешь себя въ состояніе все выслушивать спокойно, тогда услышишь тотъ средній голосъ, который получается въ итогъ тогда, когда сложишь всё голоса и сообразишь крайности объихъ сторонъ, словомъ-тотъ всеми искомый средній голосъ, который недаромъ называють »гласомъ народа и гласомъ Божінмъ. « Но на этотъ разъ, не смотря на то, что многіе упреки были истинно полезны душъ моей, я не услышаль этого средняго голоса и не могу сказать, чёмъ рёшилось дёло и чёмъ опредёлено считать мою книгу. Въ итог в ми послышались три разныя ми ви первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человъка, возминвшаго, что онъ сталъ выше ветхъ своихъ читателей, имфетъ право на

вниманье всей Россіи и можеть преобразовывать цілое общество; второе, что кинга эта есть твореніе добраго, но впадшаго въ прелесть и въ обольщенье человъка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, отъ самоуслаждения своими достопиствами, который въ слъдствіе этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведеніе Христіянина, глядящаго съ върной точки на венци и ставящаго всякую вещь на ея законное мъсто. На сторонъ каждаго изъ этихъ мивній находятся равно просв'ященные и умиые люди, а также и равио върующіе Христіяне. Стало быть, ни одно изъ этихъ мивий, будучи справедливо отчасти, инкакъ не можетъ быть справедливо вполив. Справедливие всего слидовало бы назвать эту книгу върнымъ зеркаломъ человъка. Въ ней находится то же, что во всякомъ человъкъ: прежде всего желанье побра, создавшее самую кингу, которое живетъ у всякаго человъка, если только онъ почувствоваль, что такое добро; сознанье искреннее своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мивнье о своихъ достоинствахъ; желанье искрениее учиться самому и рядомъ съ нимъ увъренность, что можешь научить многому и другихъ; смиренье и рядомъ сънимъ гордость, и, можетъ быть, гордость въ самомъ смиренін; упреки другимъ въ томъ самомъ, на чемъ поскользнулся самъ и за что достоинъ еще большихъ упрековъ. Словомъ, то же, что въ каждомъ человъкъ, съ той только разницей, что здёсь слетели всё условія и приличія и все, что тантъ внутри человъкъ, выступило наружу; съ той еще разинцей, что завопило это крикливъй и громче, какъ въ писатель, у котораго все, что ни есть въ душт, просится на свътъ; ударилось ярче всёмъ въ глаза, какъ въ человёкё, получившемъ на долю больше способностей, сравнительно съ другимъ человъкомъ. Словомъ, книга можетъ послужить только доказательствомъ великой истины словъ апостола Павла, сказавшаго, что всякъ человъкъ есть ложь. (1)

Но къ этому заключенію, можетъ быть, болѣе всѣхъ прочихъ справедливому, инкто не пришелъ, потому что торжественный топъ самой книги и необыкновенный слогъ ея сбилъ болѣе или менѣе всѣхъ и не поставилъ никого на надлежащую точку воззрѣ-

<sup>(1)</sup> Посл. къ Римл. гл. 3, ст. 4.

нія. Издавая ее подъ вліяньемъ страха смерти своей, который преслъдовалъ меня во все время болъзненнаго моего состоянія, даже и тогда, когда я уже быль вив опасности, я нечувствительно нерешель въ тонъ, мит несвойственный и ужъ вовсе неприличный еще жпвущему человъку. Изъ боязии, что миъ не удастся окончить того сочиненія моего, которымъ занята была постоянно мысль моя въ течение десяти лътъ, я имъль неосторожность заговорить впередъ кое о чемъ изъ того, что должно было мит доказать въ лицъ выведенныхъ героевъ новъствовательнаго сочиненія. Это обратилось въ неум'єстную пропов'єдь, странную въ устахъ автора, — въ какія-то мистическія непонятныя міста, невяжущіяся съ остальными письмами. Далже, принять надобно въ разсчетъ разнообразный тонъ самихъ писемъ, писанныхъ къ людямъ разныхъ характеровъ и свойствъ, писанныхъ въ разныя времена моего душевнаго состоянья. Один были писаны въ то время, когда я, воспитываясь самъ упреками, прося и требуя ихъ отъ другихъ, считалъ въ то же время надобностью раздавать ихъ и другимъ; другія были писаны въ то время, когда я сталъ чувствовать, что упреки слъдуетъ приберечь для самого себя, въ ръчахъ же съ другими слъдуетъ употреблять одну только братскую любовь: отъ этого и мягкость, и разкость встратились почти вмаста. Наконець, непомъщение многихъ тъхъ статей, которыя должны были войти въ книгу, какъ связывавшія и объясняющія многое. Туть же моя собствениая темнота и неумёнье выражаться: принадлежности не вполнъ организовавшагося писателя. Все это спосиъществовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести безчисленное множество выводовъ и заключеній не въ-попадъ. Гордость отъпскали въ тёхъ словахъ, которыя подвигнуты были, можетъ быть, совершенно противоноложною причиною; гдт же была дъйствительно гордость, тамъ ея не замътили; назвали уничиженьемъ то, что было вовсе не уппчиженьемъ. А что главите всего: не было двухъ человъкъ, совершенно сходныхъ между собою въ мысляхъ, когда только доходило дъло до разбора книги по частямъ, что весьма справедливо дало замътить и вкоторымъ, что въ сужденьяхъ своихъ о моей книгъ всякій выражаль болье самого себя, чьмъ меня, или мою книгу. Разумбется, всему виною — я. А потому во всёхъ нападеніяхъ на мон личныя нравственныя качества, какъ ни оскорбительны они для человъка, въ комъ еще не умерло благородство, я не имъю права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до монхъ нравственныхъ качествъ. Меня наумило, когда люди умные стали дёлать придирки къ словамъ, совершенно яснымъ, и, остановившись надъ двумя-тремя мъстами, стали выводить заключенія, совершенно противоположныя духу всего сочиненія. Изъ двухътрехъ словъ, сказанныхъ такому номѣщику, у котораго всѣ крестьяне земледѣльцы, озабоченные круглой годъ работой, вывести заключеніе, что я воюю противъ просвъщенья народнаго — это показалось мив странно, темъ болбе, что я полжизни думаль самъ о томъ, какъ бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что пужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда ибтъ такихъ умныхъ книгъ, миб казалось, что слово устное пастырей Церкви полезньй и нужные для мужиковь всего того, что можеть сказать ему нашъ брать писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стояль за просвъщенье народное; но мнъ казалось, что еще прежде, чтмъ просвъщенье самого народа, полезнъй просвъщенье тъхъ, которые имъютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, отъ которыхъ часто теринтъ народъ. Мий казалось, наконецъ, гораздо болъе требовавшимъ вниманія къ себъ не сословіе земледъльцевъ, но то мелкое сословіе, нынъ увеличивающееся, которое вышло изъ земледъльцевъ, которое занимаетъ разныя мелкія мъста и, не имъя никакой нравственности, не смотря на небольшую грамотность, вредить всёмь, затёмь чтобы жить на счеть бъдныхъ. Для этого-то сословія мив казались наиболье необходимыми книги умныхъ инсателей, которые, почувствовавши сами ихъ долгъ, съумъли бы имъ ихъ объяснить. А землепашецъ нашъ мий всегда казался нравственийе всихъ другихъ и менйе другихъ нуждающимся въ наставленіяхъ писателя. То же не менье страннымъ показалось мив, когда изъ одного мъста моей книги, гдв я говорю, что въ критикахъ, на меня нападавшихъ, есть много справедливаго, вывели заключение, что я отвергаю всъ достоинства монхъ сочиненій и несогласень съ теми критиками,

жоторые говорили въ мою пользу (1). Я очень помню и совстмъ не позабыль, что, по поводу небольшихъ моихъ достоинствъ, явились у насъ очень замічательныя критики, которыя навсегда останутся памятинками любви къ пскусству, которыя возвысили въ глазахъ общества значенье поэтическихъ созданій. Но неловко же мит говорить самому о своихъ достопиствахъ, да и съ какой стати? О недостаткахъ монхъ литературныхъ я заговорилъ потому, что пришлось кстати, но поводу исихологическаго вопроса, который есть главный предметь всей мосії кинги. Какъ же не соображать этихь вещей! Не менье странно также, изъ того, что я выставиль ярко на видъ наши Русскіе элементы, дёлать выводъ, будто я отвергаю потребность просвъщенья Европейскаго и считаю ненужнымъ для Русскаго знать весь трудный путь совершенствованья человъческаго. П прежде, и теперь мит казалось, что Русскій гражданинъ долженъ знать дёла Европы. Но я быль убёжденъ всегда, что если при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь изъ виду евои Русскія начала, то знанья эти не принесуть добра, собыють, спутають и разбросають мысли, намѣсто того. чтобы сосредоточить и собрать ихъ. И прежде, и теперь я быль увъренъ въ томъ, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать евою Русскую природу и что только съ номощью этого знанья можно почувствовать, что именно следуеть намъ брать и заимствовать изъ Европы, которая сама этого не говоритъ. Мив казалось всегда, что прежде чёмъ вводить что-либо повое, нужно, не какъ-нибудь, но въ кори узнать старое; иначе примененье самаго благодътельнъйшаго въ наукъ открытія не будетъ успъшно. Съ этой цёлью я и заговориль преимущественно о старомъ.

Словомъ, всѣ эти односторонніе выводы людей умныхъ и притомъ такихъ, которыхъ я вовсе не считалъ односторонними, всѣ эти придпрки къ словамъ, а не къ смыслу и духу сочиненія, по-казываютъ миѣ то, что никто не былъ въ спокойномъ расположеньи, когда читалъ мою книгу, что уже впередъ установилось какое-то предубѣжденье, прежде чѣмъ она явилась въ свѣтъ, и всякой глядѣлъ на нее въ слѣдствіе уже заготовленнаго впередъ

<sup>(1)</sup> На завъщање не саъдовало оппраться: въ немъ судишь себя строго, потому что готовишься предстать на судъ предъ Того, предъ Которымъ ни одинъ человъкъ не бываетъ правъ.

взгляда, останавливаясь только надъ тёмъ, что укрвиляло его въ его въ предубъждении, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубъжденья, а самого читателя успоконть. Спла этого страннаго раздраженья была такъ велика, что даже разрушила всъ тѣ приличія, которыя досель еще сохранялись относительно писателя. Почти въ глаза автор у стали говорить, что онъ сошель съ ума, и прописывали ему реценты отъ умственнаго разстройства. Не могу скрыть, что меня еще болье опечалило, когда люди также умные, и притомъ нераздраженные, провозгласили печатно, что въ моей книгъ ничего нътъ новаго, что же и ново въ ней, то ложь, а не истина. Это показалось мив жестоко. Какъ бы то ип было, по въ ней есть моя собственная исповъдь, въ ней есть изліянье и души, и сердца моего. Я еще не признанъ публично безчестнымъ человъкомъ, которому бы никакого довърія нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть въ заблуждение, какъ и всякой человікь, могу сказать ложь, въ томъ смыслі, какъ и всякъ человъкъ есть ложь; но назвать все, что палилось изъ души и сердца моего ложью — это жестоко. Это несправедливо такъ же, какъ несправедливо и то, что въ книгъ моей ипчего иътъ новаго. Исповедь человека, который провель несколько леть внутри себя, который воспитываль себя, какъ ученикъ, желая вознаградить хотя поздно за время, потерянное въ юности, и который притомъ не во всемъ похожъ на другихъ и имъетъ нъкоторыя свойства, ему одному принадлежащия, — исповъдь такого человъка не можетъ не представить чего-нибудь новаго. Какъ бы то ни было, но въ такомъ дёлё, гдё замёшалась душа, нельзя такъ решительно возвещать приговоръ. Тутъ и наиглубокомысленнейшій душевъдецъ призадумается. Въ душевномъ дълъ трудно и надъ человъкомъ обыкновеннымъ произнести судъ свой. Есть такія вещи, которыя не подвластны холодному разсужденію, какъ бы умень ни быль разсуждающій, которыя постигаются только въ минуты тъхъ душевныхъ настроеній, когда собственная душа наша расположена къ исповъди, къ обращенью на себя, къ охужденью себя, а не другихъ. Словомъ, въ этой ръшительности, съ какою быль произнесень этотъ приговоръ, мий показалась большая собственная самоувъренность судившаго въ умъ своемъ и въ верховности своей точки возэрвнія. Не съ твмъ я здѣсъ говорю это, чтобы кого-инбудь попрекнуть, но съ твмъ, чтобы показать только, какъ на всякомъ шагу мы близки къ тому, чтобы впасть въ тотъ порокъ, въ которомъ только-что попрекнули своего брата, какъ, укоривши въ самоувѣренности другого, мы тутъ же бываемъ неснисходительны и придирчивы сами. Благороденъ по крайней мѣрѣ тотъ, кто имѣетъ духу въ этомъ сознаться и не стыдится, хотя бы въ глазахъ всего свѣта, сказать, что онъ ошибся. Но довольно. Вовсе не затѣмъ, чтобы защищать себя съ нравственныхъ сторонъ моихъ, я подаю теперь голосъ. Нѣтъ, я считаю обязанностью отвѣчать только на тотъ запросъ, который сдѣланъ мнѣ почти единоустно отъ лица читателей всѣхъ моихъ прежнихъ сочиненій, — запросъ: зачѣмъ я оставилъ тотъ родъ и то поприще, которое за собою уже утвердилъ, гдѣ былъ почти господинъ, и принялся за другое, мнѣ чуждое?

Чтобы отвъчать на этотъ запросъ, я ръшаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повъсть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливъе осудить меня, чтобы увидалъ читатель, перемънялъ ли я ноприще свое, уминчаль ли самъ отъ себя, желая дать себъ другое направленіе, или и въ моей судьбъ, такъ же какъ и во всемъ, слъдуетъ признать участіе Того, Кто располагаетъ міромъ не всегда сообразно тому, какъ намъ хочется, и съ Которымъ трудно бороться человъку. Можетъ быть, эта чистосердечная повъсть моя послужитъ объясненьемъ хотя нъкоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многихъ, въ недавно вышедшей моей книгъ. Если бы случилось такъ, я былъ бы этому истинно радъ, потому что вся эта странная исторія меня утомила сильно и мнъ не легко самому отъ этого вихря недоразумъній.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, когда я сталь задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ ту пору, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писательствѣ миѣ инкогда не всходила на умъ, хотя миѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю

паже что-то для общаго добра. Я думаль, просто, что я выслужусь и все это доставить служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головъ впереди всъхъ монхъ дълъ и занятій. Первые мои опыты, первыя упражненья въ сочиненьяхъ, къ которымъ я получилъ навыкъ въ последнее время пребыванья моего въ школь, были почти всь въ лирическомъ и серьезномъ родь. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражиявшеся вмъсть со мной въ сочиненіяхъ, не думали, что мив придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, не смотря на мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надобдать другимъ моими шутками, — хотя въ самыхъ раннихъ сужденьяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнье замівчать ті особенности, которыя ускользають отъ вниманья другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умітю не то что нередразнить, но угадать человіта, то есть, угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаньемъ самого склада и образа его мыслей и рѣчей. Но все это не переносилось на бумату, и я даже вовсе но думаль о томъ, что сдълаю со временемъ изъ этого унотребление.

Причина той веселости, которую замътили въ нервыхъ сочиненіяхъ монхъ, показавшихся въ нечати, заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили принадки тоски, мив самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего бользненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумываль себь все смышное, что только могь выдумать. Выдумываль цёликомъ смёшныя лица и характеры, поставляя ихъ мысленно въ самыя смъшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачёмь это, для чего и кому оть этого выйдеть какая польза. Молодость, во время которой не приходять на умъ никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ происхождение тъхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя одинхъ заставили смітьться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумьніе рышить, какъ могли человыку умному приходить въ голову такія глупости. Можетъ быть, съ лътами и съ потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а съ нею вмъстъ и мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть па дёло серьезно. Онъ уже давно склоняль меня приняться за большое сочинение и наконецъ, одинъ разъ, послъ того какъ я ему прочель одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего мной прежде читапнаго, онъ мив сказаль: »Какъ съ этой способностью угадывать человъка и иъсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью, не приняться за большое сочиненіе! это, просто, грѣхъ!« Велѣдъ за этимъ началъ онъ представлять мив слабое мое сложение, мои недуги, которые могуть прекратить мою жизнь рано, привель мив въ примвръ Сервантеса, который, хотя и написаль ивсколько очень замвчательныхъ и хорошихъ повъстей, но если бы не принялся за »Донкишота«, никогда бы не заняль того міста, которое занимаеть теперь между писателями, п, въ заключенье всего, отдалъ мив свой собственный сюжеть, изъ котораго онъ хотъль сделать самъ что-то въ родъ нозмы и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдаль другому никому. Это быль сюжеть »Мертвыхь Душъ«. (Мысль »Ревизора« принадлежить также ему.) На этотъ разъ я и самъ уже задумался серьезно, — тъмъ болъе, что стали приближаться такіе года, когда самъ собой приходить запросъ всякому поступку: зачёмъ и для чего его дёлаешь? Я увидёль, что въ сочиненіяхъ монхъ смъюсь даромъ, напрасно, самъ не зная, зачъмъ. Если емъяться, такъ уже лучше емъяться спльно и надъ тъмъ, что дъйствительно достойно осмъянья всеобщаго. Въ »Ревизоръ « я ръшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналь, вей несправедливости, какія ділаются вы тіххы містахы и вы тіххы случаяхъ, гдъ больше всего требуется отъ человъка справедливости, и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ извъстно, произвело потрясающее дъйствие. Сквозь смъхъ, который никогда еще во миж не появлялся въ такой силь, читатель услышаль грусть. Я самъ ночувствоваль, что уже смёхъ мой не тоть, какой быль прежде, что уже не могу быть въ сочиненьяхъ монхъ тъмъ, чъмъ былъ дотолъ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами, окончилась вмъстъ съ молодыми моими лътами. Послъ »Ревизора«, я почувствовалъ,

болъе нежели когда либо прежде, потребность сочиненья полнаго, гдъ было бы уже не одно то, надъ чъмъ слъдуетъ смъяться. Нушкинъ находилъ, что сюжетъ »Мертвыхъ Душъ« хорошъ для меня тімь, что даеть полную свободу изьіздить вмісті съ героемь всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ-было писать, не опредъливши себъ обстоятельнаго плана, не давши себъ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думаль, просто, что смешной проэкть исполненьемъ которато занятъ Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразныя лица и характеры; что родившаяся во мит самомъ охота смъяться создасть сама собою множество смъшныхъ явленій, которыя я намірень быль перемінать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я быль останавливаемъ вопросами: зачёмъ? къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе? Спрашивается: что нужно дълать, когда приходять такіе вопросы? Прогонять ихъ? Я пробоваль, но неотразимые вопросы стояли предо мною. Не чувствуя существенной надоблости въ томъ и другомъ геров, я не могъ почувствовать и любви къ делу изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то въ родъ отвращенья: все у меня выходило натянуто, насильственно и даже то, надъ чёмъ я смёнлся, становилось печально.

Я увидъль ясно, что больше не могу писать безъ плана, вполить опредълительнаго и яснаго, что слъдуетъ хорошо объяснить себъ цъль сочиненія своего, его существенную полезность и необходимость, въ слъдствіе чего самъ авторъ возгорълся бы любовью истинной и сильной къ труду своему, которая животворить все и безъ которой пейдетъ работа. Словомъ, чтобы почувствоваль и убъдился самъ авторъ, что, творя творенье свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что, псполняя его, онъ служитъ въ то же самое время такъ же государству своему, какъ-бы онъ дъйствительно находился въ государственной службъ. Мысль о службъ у меня никогда не пропадала. Прежде чъмъ встунить на поприще писателя, я перемънилъ множество разныхъ мъстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ инхъ я былъ больше снособенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой, ни тъми, которые

надо мной были постановлены. Я еще не зналъ тогда, какъ многаго мив педоставало затемь, чтобы служить такъ, какъ я хотель служить. Я не зналь тогда, что нужно для этого побъдить въ себъ вст щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взяль мъсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тёхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человъкъ броситъ свое мъсто; что позабыть нужно обо всъхъ огорченіяхъ собственныхъ. Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ истинно честно служить Россіи, нужно имъть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всъ другія чувства, — нужно имѣть много любви къ человѣку вообще и сдълаться истиннымъ Христіяниномъ, во всемъ смыслъ этого слова. А потому и не мудрено, что, не имъя этого въ себъ, я не могъ служить такъ, какъ хотелъ, не смотря на то, что сгаралъ дъйствительно желаньемъ служить честно. Но какъ только я почувствоваль, что на поприщь писателя могу сослужить также службу государственную, я бросиль все, и прежнія свои должности, п Петербургъ, и общество близкихъ душъ моей людей, п самую Россію, затъмъ чтобы вдали и въ уединеньи отъ всъхъ обсудить, какъ это сдёлать, какъ произвести такимъ образомъ свое творенье, чтобы доказать, что я быль также гражданинь земли своей и хотълъ служить ей. Чъмъ болъе обдумывалъ я свое сочиненіе, тъмъ болье чувствоваль, что оно можеть двіїствительно принести пользу. Чёмъ болёе я обдумывалъ мое сочиненіе, тъмъ болъе видълъ, что не случайно слъдуетъ миъ взять характеры, какіе нопадутся, но пзбрать одни тв, на которыхъ замътиъй и глубже отпечатлълись истинно Русскія корениыя свойства наши. Миж хотклось въ сочинении моемъ выставить преимущественно тъ высшія свойства Русской природы, которыя еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкія, которыя еще недостаточно всёми осмённы и поражены. Мнё хотёлось сюда собрать один яркія исихологичеческія явленія, пом'єстить т'є наблюденія, которыя я ділаль падавна сокровенно надъ человікомъ, которыхъ не довърялъ дотолъ перу, чувствуя самъ незрълость его, которыя, бывъ изображены върно, послужили бы разгадкой многаго въ нашей жизни. Словомъ, хотълось, чтобы, по прочтеньи моего сочиненія, предсталь какъ-бы невольно весь Русской чековъкъ, со всъмъ разнообразьемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, преимущественно передъ другими народами, и со всёмъ множествомъ тёхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ, также преимущественно предъ всёми другими народами. Я думаль, что лирическая сила, которой у меня быль занасъ, поможетъ мий изобразить такъ эти достоинства, что къ нимь возгорится любовью Русской человъкъ, а сила смъха, котораго у меня также быль запась, поможеть мив такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидитъ читатель, если бы даже нашель ихъ въ себъ самомъ. Но я почувствоваль въ то же время, что все это возможно будеть сделать мий только въ такомъ случат, когда узнаю очень хорошо самь, что дтиствительно въ нашей природъ есть достоинства и что въ ней дъйствительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвёсить и оцёнить то и другое, п объяснить себъ самому ясно, чтобы не возвести въ достоинство того, что есть гржхъ нашъ, и не поразить смёхомъ вмёстё съ недостатками нашими и того, что есть въ насъ достоинство. Мив не хотвлось даромъ тратить силу. Съ техъ поръ, какъ мив начали говорить, что я смінось не только надъ недостаткомъ, но даже цъликомъ и надъ самимъ человъкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всемъ человекомъ, но и надъ местомъ, надъ самою должностно, которую онъ занимаетъ (чего инкогда я даже не имъль и въ мысляхъ), я увидалъ, что нужно съ смёхомъ быть очень осторожнымъ, — тёмъ болбе, что опъ заразителень и стоить только тому, кто поостроумний, посмияться надъ одной стороной дёла, какъ уже, вслёдь за нимъ, тотъ, кто потупъе и поглупъй, будетъ смъяться надъвсъми сторонами дъла. Словомъ, я видёлъ ясно, какъ дважды два четыре, что покамъстъ не опредѣлю самому себѣ ясно высокое и низкое природы нашей, достоинства и недостатки наши, мив нельзя приступить къ дълу; а чтобы определить себе природу Русскаго человека, следуеть узнать получше природу человѣка вообще и душу человѣка вообще. Безъ этого не станешь на ту точку воззрѣнія, съ которой увидятся ясно недостатки и достоинства всякаго народа.

Съ этихъ поръ человъкъ и душа человъка сдълались больше,

чъмъ когда-либо, предметомъ монхъ наблюденій. Я оставиль на время все современное; я обратилъ виимание на узнанье тъхъ въчныхъ законовъ, которыми движется человъкъ и человъчество вообще. Книги законодателей, душевъдцевъ и наблюдателей за природой человъка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдъ только выражалось познанье людей и души человъка, отъ исповъди свътскаго человъка до псновъди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогъ, нечувствительно, почти самъ не въдая какъ, я пришель во Хрпсту, увидъвши, что въ Немъ ключъ въ душъ человъка и что еще никто изъ душезнателей не всходилъ на ту высоту познанья душевнаго, на которой стояль Онъ. Повъркой разума новърилъ я то, что другіе понимаютъ ясной върой и чему я върилъ дотолъ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализь надъ моею собственной душой: я увидъль тоже математически ясно, что говорить и инсать о высшихъ чувствахъ и движеньяхъ человъка нельзя по воображенью. Нужно заключить въ себъ самомъ хотя небольшую крупицу этого, словомъ — нужно едълаться лучшимъ. Это можетъ показаться довольно страннымъ, особенно для тёхъ, которые получили въюности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получиль въ школъ воспитание довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ учены пришла ко мит въ зртломъ возрастт. И началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрываль вст свои занятія. Я наблюдаль надъ собой, какъ учитель надъ ученцкомъ не въ книжномъ учены, но и въ простомъ правственномъ, глядя на себя самого, какъ на школьника. Я помѣстилъ кое-что изъ этихъ продѣлокъ надъ самимъ собою въ книгъ моихъ писемъ, вовсе не затъмъ, чтобы пощеголять чъмънибудь (да и не знаю, чёмъ тутъ щеголять!), но изъ желанья добра: авось кому-нибудь принесеть это пользу. Я быль увърень, что многіе, подобно мив, воспитались въ школв плохо и потомъ, подобно мив, снохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышаль, какъ многіе жаловались, что не могуть отстать отъ дурныхъ привычекъ, при всемъ желаньи своемъ отстать отъ нихъ. Я и номъстиль это, кое-какъ приспособивши къ другому, и помфетиль это я не иначе, какъ увидфвии на опытф, что многое

изъ этого уже принесло пользу некоторымъ людямъ, мив знакомымъ. Въ отвётъ же тёмъ, которые попрекаютъ мий, зачёмъ я выставиль свою внутрениюю кльть, могу сказать то, что всё-таки я еще не монахъ, а писатель. Я поступиль въ этомъ случай такъ, какъ всё тё писатели, которые говорили, что было на душъ. Если бы и съ Карамзинымъ случилась эта внутренияя исторія во время его писательства, онъ бы ее также выразилъ. По Карамзинъ воспитался въ юношествъ. Опъ образовался уже, какъ человъкъ п гражданинъ, прежде чёмъ выступилъ на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считаль ни для кого соблазнительнымъ открыть публично, что я стараюсь быть лучшимъ, чъмъ я еемь. Я не нахожу соблазнительнымъ томиться и сгарать явно, въ виду всёхъ, желаньемъ совершенства, если сходилъ затёмъ самъ Сынъ Божій, чтобы сказать намъ всёмъ: »Будьте совершенны, такъ какъ совершененъ Отецъ вашъ небесный.« Что же касается до обвиненія, будто я, изъ желанья похвастаться смиреньемъ, въ кпигъ моей показалъ уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ип смиренья, ни уничиженья здёсь иётъ. Пришедшіе къ этому заключенію обманулись сходствомъ признаковъ. Противнымъ дъйствительно я казался себъ самому вовсе не отъ смиренья, но потому, что въ мысляхъ монхъ, чёмъ далье, тёмъ ясиве представлялся идеаль прекраснаго человъка, тотъ благостный образъ, какимъ долженъ быть на землё человёкъ, и миё становилось всякой разъ послъ этого противно глядъть на себя. Это не смиреніе, но скоръе то чувство, которое бываетъ у завистливаго человъка, который, увидъвши въ чужихъ рукахъ вещь лучшую, бросаетъ свою и не хочетъ уже глядъть на нее. Притомъ мнъ посчастливилось встрътить на въку своемъ, и особенно въ послъднее время, нъсколько такихъ людей, передъ душевными качествами которыхъ показались мий мелкими мон качества, и всякой разъ я негодовалъ на себя за то, что не имъю того, что имъютъ другіе. Тутъ нужно обвинять развъ завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь къ исторіи. Птакъ на иткоторое время занятіємъ моимъ сталь не Русской человъкъ и Россія, но человъкъ и душа человъка вообще. Все меня приводило въ это время къ изслъдованію общихъ законовъ души нашей: мои собственныя

душевныя обстоятельства, наконецъ обстоятельства вившнія, надъ которыми мы не властны и которыя всякой разъ обращали меня противовольно вновь къ тому же предмету, какъ только я отъ него отдалялся. Нъсколько разъ, упрекаемый въ недъятельности, я принимался за перо, хотълъ насильно заставить себя написать хоть что - нибудь въ родъ небольшой повъсти, или какогонибудь литературнаго сочиненія, и не могъ произвести ничего. Усилія мон оканчивались почти всегда бользнію, страданіями и наконець такими припадками, въ слёдствіе которыхъ нужно было надолго отложить всякое занятіе. Что мит было дёлать? Виновать я развё быль въ томъ, что не въ сплахъ быль повторять то же, что говориль, или писаль въ мон юношескіе годы? Какъ-будто двѣ весны бываеть въ возрастѣ человѣческомъ! И если всякъ человъкъ подверженъ этимъ необходимымъ перемѣнамъ при переходѣ изъ возраста въ возрастъ, почему же одинъ писатель долженъ быть псключеньемъ? Развъ писатель такъ же не человъкъ? Я не совращался съ своего пути. Я шелъ тою же дорогою. Предметь у меня быль всегда одинь и тоть же: -предметъ у меня былъ — жизнь, а пе что другое. Жизнь я преслъдоваль въ ея дъйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришель къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ летъ была во мив страсть замвчать за человвкомъ, ловить душу его въ мальнішихь чертахь и движеньяхь его, которыя пропускаются безь винманья людьми, — п я пришель къ Тому, Который одинъ нолный въдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать поливе душу. Я не усноконлся по твхъ поръ, покуда пе разрвшились мит иткоторые собственные мои вопросы относительно меня самого, и только тогда, когда нашель удовлетворенье въ ибкоторыхъ главныхъ вопросахъ, могъ приступить вновь къ моему сочиненю, первая часть котораго составляеть еще понынъ загадку, потому что заключаетъ въ себъ нъкоторую часть переходнаго состоянья моей собственной души, тогда какъ еще не вполнъ отдълилось во мит то, чему следовало отделиться.

Какъ только кончилось во миѣ это состояніе и жажда знать человѣка вообще удовлетворилась, во миѣ родилось желанье сильное знать Россію. Я сталъ знакомиться съ людьми, отъ которыхъ могъ

чему - нибудь научиться и разъузнать, что делается на Руси; старался наиболье знакомиться съ такими опытными практическими людьми всёхъ сословій, которые обращены были лицомъ ко всякимъ проделкамъ внутри Россіи. Мит хотелось сойтись съ людьми вевхъ сословій и отъ каждаго что-пибудь узнать. Всякой должпостной и чемъ-инбудь занятой человекъ сталь въ глазахъ монхъ интересень. Прежде всего я хотъль опредълить себъ всякую должность, всякое сословіе, всякое місто и всякое званіе въ государствъ. Мнъ казалось это необходимымъ для писателя, который береть людей на разныхъ поприщахъ. Не содержа въ собственной головъ своей всего долга и всей обязанности того человъка, котораго описываещь, не выставишь его какъ следуетъ верио и притомъ такъ, чтобы онъ дъйствительно былъ въ урокъ и въ поученье живущему. Изъ-за этого я старался завести переписку съ такими людьми, которые могли мий что-инбудь сообщать. Прочихь я просиль набрасывать легкіе портреты и характеры, первые, какіе имъ понадутся. Все это было мив нужно не затъмъ, чтобы въ головъ моей не было ин характеровъ, ни героевъ: ихъ было у меня уже много: опи выработались изъ познанія природы человъческой гораздо поливишаго, чемъ какое было во мив прежде; но свёдёнія эти мив, просто, нужны были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который пишетъ большую картину своего собственного сочинения. Онъ не переводить этихъ рисунковъ къ себъ на картину, но развѣшиваетъ ихъ вокругъ по стѣнамъ, затѣмъ, чтобы держать передъ собою неотлучно, чтобы не погрѣшить ни въ чемъ противъ дъйствительности, противу времени, или эпохи, какая имъ взята. Я пикогда ничего не создавалъ въ воображении и не имель этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дъйствительности, изъ данныхъ, миъ извъстныхъ. Угадывать человъка я могъ только тогда, когда миъ представлялись самыя мельчайшія подробности его внішности. Я инкогда не писаль портрета, въ емыслъ простой коніи. Я создаваль портреть, но создаваль его въ следстве соображенья, а не воображенья. Чёмъ болъе вещей принималь я въ соображенье, тъмъ у меня върнъй выходило созданье. Миъ нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ,

нотому что стоило мий ийсколько подробностей пропустить, не принять въ соображенье — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никакъ не могъ объяснить никому, а потому и никогда почти не получалъ такихъ писемъ, какихъ я желаль. Всё только удивлялись, какъ могъ я требовать такихъ мелочей и пустяковъ, тогда какъ имъю такое воображение, которос можетъ само творить и производить. Но воображенье мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ замѣчательнымъ характеромъ п не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь подметиль мой взглядъ въ натуръ. Я помъстилъ въ книгъ моей: »Переписка съ Друзьями « и всколько писемъ къ помещикамъ и къ разнымъ должностнымъ лицамъ (изъ нихъ большая часть не напечатана) вовсе не затъмъ, чтобъ со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньемъ анекдотическихъ фактовъ. Возраженья такого рода отъ людей практическихъ и опытныхъ для меня важны темь, что поставляють меня ближе къделу, раскрывая мив глубже внутренность Россін. Вийсто діль, интересных для всякаго Русскаго человъка, и пашихъ Русскихъ вопросовъ, занялись моей собственной личностью, исписали цёлые листы о томъ, нмью ли я право мъшаться въ подобныя дъла. Я сдълаль въ то же время воззванье ко всёмъ читателямъ »Мертвыхъ Душъ«, воззванье ивсколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень зналъ, что надъ нимъ многіе посмѣются; но я готовъ былъ выдержать всякое осмѣяніе, лишь бы только добиться своего. Я думаль, что, можетъ, хоть пять, шесть человъть захотятъ исполнить мою просьбу такъ, какъ я желалъ. Я не требовалъ собственно поправокъ на »Мертвыя Души«: мий хотьлось, подъ этимъ предлогомъ, добыть частныхъ записокъ, воспоминаній о тёхъ характерахъ п лицахь, съ которыми случилось кому встрётиться на вѣку, изображенія тёхъ случаевь, гдё пахнеть Русью. Зная, что у всёхъ насъ есть какая - то лінь на подъемь, на работу, въ слідствіе которыхъ почти всякому изъ пасъ трудно что-нибудь доставать изъ своей намяти, я думаль, что чтенье »Мертвыхъ Душъ« можетъ расшевелить, особенно если и каранданть, и бумага будутъ при этомъ нодъ рукой. Я выставилъ свой адрессъ и просилъ прислать мив въ письмъ только тъхъ, которые не захотъли бы печатать, но

вообще я считалъ гораздо полезиве сдвлать ихъ всеобщею извъстностью. Мий казалось даже необходимымь и въ ныийшнее время это распространение извъстій о Россіп посредствомъ живыхъ фактовъ, потому что въ это время, которое не даромъ называютъ переходнымъ, почти у всякаго человъка, на всъхъ поприщахъ, замътно стремленье преобразовывать, ноправлять, исправлять п вообще торопиться средствами противу всякаго зла. Я думалъ, что теперь болье, чъмъ когда-либо, нужно намъ вывести наружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, изъ какого множества разнородныхъ началъ состоитъ наша почва, на которой мы всё стремимся сёять, и лучше бы осмотрёлись прежде, чёмъ произносить что-либо такъ рёшительно, какъ нынё вев произносять. Я питаль втайнь надежду, что чтенье »Мертвыхъ Душъ« наведетъ нъкоторыхъ на мысль писать свои собственныя записки, что многіе почувствують даже и которое обращеніе на самихъ себя, потому что и въ самомъ авторъ, въ то время, когда писаны были »Мертвыя Дүши«, произошло иткоторое обращение на самого себя. Я думаль, чте тоть, кто уже находится на склонъ дней своихъ и тревожимъ мыслью, что жизнь его протекла безъ пользы и онъ сдълалъ мало для общаго добра земли своей, почувствуетъ сильнъе, что онъ, върнымъ п живымъ изображениемъ людей, характеровъ и случаевъ своего времени, можетъ познакомить съ Русью другихъ людей, молодыхъ и начинающихъ дъйствовать, и такимъ образомъ больше чёмъ вознаградитъ прекрасно за свою недъятельность. Молодой же, тотъ, кто вступаетъ еще на поприще, кто еще ни къ чему не охладелъ и потому иметъ живость взгляда, кого любопытно запимаеть все, можеть изобразить эпоху современную, какъ она представляется молодымъ глазамъ юноши. Словомъ, я думалъ, какъ дитя; я обманулся ивкоторыми: я думаль, что вънъкоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не зналъ еще тогда, что мое имя въ ходу только затёмъ, чтобы попрекцуть другь друга и посмъяться другь надъ другомъ. Я думалъ, что многіе сквозь самый смѣхъ слышатъ мою добрую натуру, которая смъялась вовсе не изъ злобнаго желанья. Но на мое приглашеніе я не получиль записокь; въ журналахь мий отвічали пасмъшками. Привожу все это затъмъ, чтобы показать, какъ я

употребляль вст силы держаться на своемъ поприщт и придумываль всв средства, которыя могли двинуть мою работу, не имъя и въ мысляхъ оставлять званіе писателя. Не могу не зам'єтить при этомъ случав, что многіе пзъявили изумленіе тому, что я такъ желаю извъстій о Россіи и въ то же время самъ остаюсь вив Россіп, не соображая того, что, кромѣ бользненнаго состоянія моего здоровья, потребовавшаго теплаго климата, мит нужно было это удаленіе отъ Россін затімь, чтобы пребывать живіте мыслію въ Россіи. Для тіххь, которые не могуть этого почувствовать, объяснюсь, хотя мит итсколько трудно объясияться во всемъ томъ, что составляетъ свойства, собственно мив принадлежащия. Почти у всъхъ писателей, которые не лишены творчества, есть способность, которую я не назову воображеньемъ, — способность представлять предметы отсутствующие такъ живо, какъ-бы они были передъ нашими глазами. Способность эта дъйствуетъ въ насъ только тогда, когда мы отдалимся отъ предметовъ, которые описываемъ. Вотъ почему поэты большею частію избирали эпоху; отъ насъ отдалившуюся, и ногружались въ прошедшее. Прошедшее, отрывая насъ отъ всего, что ин есть вокругъ насъ, приводитъ душу въ то тихое, спокойное настроеніе, которое необходимо для труда. У меня не было влеченья къ прошедшему. Предметъ мой была современность и жизнь въ ея нынтишемъ быту, можетъ быть, оттого, что умъ мой быль всегда наклопенъ къ существенности и къ пользъ, болъе осязательной. Чъмъ далье, тъмъ болъе усиливалось во мит желаніе быть писателемъ современнымъ. Но я видёль въ то же время, что, изображая современность, нельзя находиться въ томъ высокомъ настроенномъ и спокойномъ состоянін, какое необходимо для произведенія большого и стройнаго труда. Настоящее слишкомъ живо, слишкомъ шевелитъ, слишкомъ раздражаетъ; перо писателя нечувствительно и незамътно переходить въ сатиру. Притомъ, находясь самъ въ ряду другихъ и болье или менье дъйствуя съ ними, видишь передъ собою только тёхъ людей, которые стоять близко отъ тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я сталь думать о томъ, какъ бы выбраться изъ ряду другихъ и стать на такое мъсто, откуда бы я могь увидать вею массу, а не людей, только возлів

меня стоящихъ, какъбы, отдалившись отъ настоящаго, обратить его нъкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Мое разстроившееся здоровье и вмёстё съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, но которыхъ тогда не умъль еще переносить, заставили меня подняться въ чужіе края. Я нккогда не имблъ влеченья и страсти къ чужимъ краямъ. Я не имёль также того безотчетнаго любонытства, которымъ бываетъ сивдаемъ юноша, жадный внечатльній. Но, странное діло! даже въ дътствъ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышляль только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мит предстоитъ какое-то большое самоножертвование и что, именно для службы моей отчизнь, я должень буду воспитаться гдь-то вдали отъ нея. Я не зналь, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно, я даже не задумывался объ этомъ, но видёль самого себя такъ живо въ какойто чужой земль тоскующимъ по своей отчизнь, картина эта такъ часто меня преслёдовала, что я чувствоваль отъ нея грусть. Можеть быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило пногда и Пушкина, бхать въ чужіе края, единственно затъмъ, чтобы, по выражению его,

> »Подъ небомъ Африки моей, Вздыхать о сумрачной Россіи.«

Какъ бы то ни было, но это противувольное мив самому влеченье было такъ сильно, что не прошло пяти мъсяцевъ, по прибыти моемъ въ Петербургъ, какъ я съль уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мив самому непонятному. Проэктъ и цъль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только то, что ѣду вовсе не затѣмъ, чтобы цаслаждаться чужими краями, но скорѣй, чтобы натериѣться, точно какъ-бы предчувствоваль, что узнаю цѣпу Россіи только виѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея. Едва только я очутился въ морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ Англійскій, и на немъ ни душц Русской), миѣ стало грустно; миѣ сдѣлалось такъ жалко друзей и товарищей моего дѣтства, которыхъ я оставилъ и которыхъ я всегда любилъ, что прежде, чѣмъ вступить на твердую землю, я уже подумаль о возвратѣ. Три дии

только я пробыль въ чужихъ краяхъ и, не смотря на то, что новость предметовъ начала меня завлекать, я посившилъ на томъ же самомъ пароходъ возвратиться, боясь, что иначе мит не удастся возвратиться. Съ тъхъ поръ я далъ себъ слово не питать и мысли о чужихъ краяхъ, — и точно, во все время пребыванья моего въ Петербургъ, въ продолжение цълыхъ семи лътъ, не приходили мит никогда на мысли чужие края, покамъстъ обстоятельства моего здоровья, иъкоторыя огорченья и наконецъ потребность большаго уединения не заставили меня оставить Россию.

Два раза я возвращался потомъ въ Россію, одинъ разъ даже съ темъ, чтобы въ ней остаться навсегда. Я думалъ, что теперь особенио, получивши такую страсть узнавать все, я въ силахъ буду узнать многое. Но странное дёло: среди Россіи я почти не увидаль Россіп. Всв люди, съ которыми я встрвчался, большею частію любили поговорить о томъ, что делается въ Европе, а не въ Россін. Я узнаваль только то, что делается въ Англійскомъ клубъ, да кое-что изъ того, что я и самъ уже зналъ. Извъстно, что всякій изъ насъ окруженъ своимъ кругомъ близкихъ знакомыхъ, изъ-за которого трудно ему увидать людей постороннихъ: во-первыхъ, уже потому, что съ близкими обязанъ быть чаще, а во-вторыхъ, потому, что кругъ друзей такъ уже самъ по себъ пріятень, что нужно имьть слишкомъ много самоотверженія. чтобы изъ него вырваться. Вст, съ которыми мит случилось познакомиться, надёляли меня уже готовыми выводами, заключеніями, а не просто фактами, которыхъ я искалъ. Я замътилъ вообще ибкоторую перембиу въ мысляхъ и умахъ. Всякъ гляцель на вещи взглядомъ болъе философическимъ, чъмъ когда-либо прежде, во всякой вещи хотъль увидать ея глубокой смысль п сильпъйшее значение: движенье, вообще показывающее большой шагъ общества впередъ. Но съ другой стороны, отъ этого произошла торопливость дёлать выводы и заключенья изъ двухътрехъ фактовъ обо всемъ цъломъ и безпрестаниая позабывчивость того, что не вст вещи и не вст стороны соображены и взвъшены. Я замётиль, что почти у всякаго образовывалась въ голов всвоя собственная Россія, и оттого безконечные споры. Мий пужно было не того: мив нужно было, просто, такихъ бесвдъ, какъ бывали

въ старину, когда всякій разсказываль только то, что видѣль, слышаль на своемь вѣку, и разговорь казался собраньемь анекдотовъ, а не разсужденьемь. Это мив нужно было уже и потому, что я и самъ начиналь заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщимъ повѣтріемъ ныпѣшияго времени.

Провинціи наши меня еще болье изумили. Тамъ даже имя Россія не раздается на устахъ. Раздавалось, капъ мив показалось, на устахъ только то, что было прочитано въ новъйшихъ романахъ, переведенных всъ Французскаго. Словомъ, во все пребыванье мое въ Россія, Россія у меня въ головъ разсъявалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цълое; духъ мой унадалъ, и самое желанье знать ее ослабъвало. Но какъ только я выдзжалъ изъ нея, она совокуплялась въ мысли моей вновь въ одно цёлое, желанье знать ее пробуждалось во мий вновь, и охота знакомиться со всякимъ свъжимъ человъкомъ, недавно вы хавинимъ изъ России, становилась вновь сильна. Во мит рождалось даже ум'янье выспрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіе педвли. Всякій знаетъ, что за границей знакометва дълаются гораздо легче, что на водахъ въ Германіп и на зимовьяхъ въ Италіп сходятся люди, которые, можеть быть, не столкнулись бы инкогда внутри земли своей и оставались бы въкъ незнакомыми. Вотъ что заставило меня предпочесть пребыванье вит Россін, даже и въ отношенін къ тому, чтобы побольше ельшать о Россіи. Я очень долго думаль о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, дълающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разъездами по государству цемного возьмени: останутся въ головъ только станцін да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревияхъ тоже довольно трудны для разътажающаго не по казенной надобности; могутъ принять за какого-инбудь шпіона, п пріобрътень развъ только сюжеть для комедін, которой имя безтолковщина. Если же узнають, что разъбзжающий есть вмъсть и писатель, тогда положенье еще смъшите: ноловина читающей Россіп ув'трена серьезпо, что я живу единственно для осмъянья всего, что ин есть въ человъкъ, отъ головы до ногъ. А между тімь никогда еще до сихь поръ не чувствоваль я такъ сильно потребности знать современное состояние Русскаго чело-

въта, — тъмъ болъе, что тенеръ такъ разонинсь всъ въ образъ мыслей, такъ вихорь педоразумений обуяль всёхъ, что пикто не въ сплахъ судить върно другъ друга, и пужно какъ-бы щупать собственною рукою всякую вещь, не довъряя никому. Я не могъ быть безъ этихъ свъдъній. Нынъ избранные характеры и лица моего сочиненія крупиве прежнихъ. Чемъ выше достопиство взятого лица, темъ ощутительнее, темъ осязательней нужно выставять его передъ читателемь. Для этого нужны вст тъ безчисленныя мелочи и подробности, которыя говорять, что взятое лицо двиствительно жило на свътъ; иначе оно станетъ идеальнымъ, будеть блёдно п, сколько ни навяжи ему добродётелей, будеть всё инчтожно. Пужно, чтобы Русской читатель двиствительно почувствоваль, что выведенное лицо взято именно изъ того самого тъла, изъ котораго созданъ и онъ самъ, что это живое и какъ-бы его собственное тъло. Тогда только сливается онъ самъ съ своимъ героемъ и нечувствительно принимаетъ отъ него тъ внушения, которыхъ никакимъ разсужденьемъ и никакою проповъдью не внушишь. Это полное воплощенье въ плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу въ умв своемъ весь этотъ прозапческій существенный дрязгъ жизни, когда, содержа въ головъ всъ крупине черты характера, соберу въ то же время вокругъ его все трянье до малъйшей булавки, которое кружится сжедневно вокругъ человъка, словомъ, — когда соображу все отъ мала до велика, инчего не пропустивши. У меня въ этомъ отношении умъ тотъ самый, какой бываеть у большей части Русскихъ людей, то есть, способный больше выводить, чёмъ выдумывать. Мий всегда нужно было выслушать слишкомъ много людей, чтобы образовалось во миж собственное мое мижніе, и тогда только мое митие находили здравымъ и умнымъ. Когда же я не вейхъ выслушаю и потороплюсь выводомъ, оно выходило только ръзко и необыкновенно. Даже въ ныпъшней моей кингъ: »Перениска съ Друзьями«, въ которой многое походитъ на один предположенія, собственно предположеній итть. Въ ней все выводы; но дёло въ томъ, что один выводы взяты изъ всёхъ сторонъ дъла и потому всёмъ ясны, другіе изъ некоторыхъ, не всёмъ извъстныхъ, и потому темны, а для многихъ кажутся даже и вовсе нелѣппцей. Вотъ отчего въ рѣдкомъ моемъ сочиненіи не встрѣчается рядомъ и зрѣлость и незрѣлость, и мужъ и ребенокъ,

и учитель и ученикъ.

Итакъ всего того, что мив нужно, я не могъ достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не могъ работать? Какъ воевать съ собою, если сдълался требователенъ къ самому себъ? Какъ полетъть воображеньемъ, если бы оно и было, когда разсудокъ на всякомъ шагу задаетъ вонросы: зачёмъ? — Зачёмъ случились многія такія обстоятельства, которыхъ я не призываль? Зачёмъ миъ опредълено было не пначе пріобръсти познанье души человъка, какъ произведя строгой анализъ надъ собственной душою? Зачёмъ желаньемъ изобразить Русскаго человёка я возгорёлся не прежде, какъ узналъ получше общіе законы дъйствій человъческихъ, а узналъ ихъ не прежде, какъ пришедъ къ Тому, Кто одинъ въдатель и дъйствій человьческихъ, и всъхъ мальйшихъ нашихъ душевыхъ тайнъ? Зачёмъ жажда знать душу человёка такъ томила меня? Зачёмъ надобны были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли моей собственной, входить глубже въ душу человъка? Зачемъ венцомъ всехъ эстетическихъ наслаждений во мит осталось свойство восхищаться красотой души человъка вездъ, гдъ бы я ее ни встрътилъ? Зачъмъ жажда знать душу человъка такъ томила меня постоянно отъ дней моей юности? Опредълите миъ прежде, зачъмъ все это произошло, и тогда спращивайте: зачёмъ я не могу писать того, что писалъ? Я старался дёйствовать на-перекоръ обстоятельствамъ и этому порядку, не отъ меня начертанному. Я пробоваль итсколько разъ писать по-прежнему, какъ писалось въ молодости, то есть, какъ попало, куда ни поведетъ неро мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-какъ въ письмахъ къ моимъ знакомымъ и друзьямъ, я захотъль тотчасъ же изъ этого сдълать употребленіе, и едва только оправился отъ тяжкой бользни моей, какъ составилъ изъ нихъ книгу, постаравшись дать ей какойнибудь порядокъ и последовательность, чтобы она походила на дъльную книгу, не размысливъ того, что многое, обращенное къ нъкоторымъ, общество приметъ на свой счетъ, особенно послъ

савъщанья, обращеннаго къ лицу всъхъ соотечественинковъ. Я боялся самъ разсматривать ея недостатки и почти закрылъ глаза на нее, зная, что если разсмотрю я построже мою книгу, можетъ быть, она будетъ такъ же уничтожена, какъ я уничтожилъ и »Мертвыя Души«, и какъ уничтожалъ все, что ни писалъ въ послъднее время. Я думаль, что этой кингой я хотя сколько-инбудь заилачу за долгое мое молчаніе, введу и объясню мое трудное положеніе, почему я не могъ писать въ это время, обращу вниманіе на практическое и на дело жизни. Я думаль вследь ся заговорить о томъ, что раскроетъ предо мною побольше Русь, освъжитъ, оживить меня и заставить меня взяться за перо. Не туть-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышалъ только толки о томъ, что не ръшается толками. Руки мои опустились. Порывъ, который, какъ мит показалось, началь-было во мит пробуждаться, погасъ, и я нечувствительно самъ собой пришелъ теперь къ тому вопросу, который я до сихъ поръ и не думалъ еще задавать себь: должень ли я въ самомъ дъль писать? долженъ ли я оставаться на этомъ поприщъ, отъ котораго въ послъднее время такъ явно меня все отвлекало? Положимъ, если бы даже я въ силахъ быль какъ-нибудь побъдить (себя), перо мое получило бы бъглость п страницы полились пепринужденно одна за другою, — таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мон были дъйствительно въ это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросимъ взглядъ на пынъшиее состояние общества; благопріятно ли нынъшнее время для писателя вообще и вслёдъ за тёмъ для такого писателя, какъ я?

Всѣ болѣе или менѣе согласились называть нынѣшиее время переходнымъ. Всѣ, болѣе чѣмъ когда-либо прежде, нынѣ чувствуютъ, что міръ въ дорогѣ, а не у пристани, даже и не на почлегѣ, не на временной станціп, пли отдыхѣ. Все чего-то ищетъ, ищетъ уже не виѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ и надъ политическими, и надъ учеными, и надъ всякими другими вопросами. И мечъ, и громъ пушекъ не въ силахъ занимать міръ. Вездѣ обнаруживается болѣе пли менѣе мысль о внутреннемъ строеніи: все ждетъ какого-то болѣе стройнаго порядка. Мысль о строеніи, какъ себя, такъ и другихъ, дѣлается общею. Со всѣми

замівчательными, стоящими внереди другихъ людьми случились какіе-нибудь душевные впутренніе перевороты, съ иными даже въ такіе годы, въ какіе никогда невозможны были досель перемыны въ человъкъ и улучшенія. Всякъ болье или менье чувствуеть, что онъ не находится въ томъ именно состояніи своемъ, въ какомъ долженъ быть, хотя и не знаетъ, въ чемъ именно должно состоять это желанное состояніе. Но это желанное состояніе ищется всёми: уши всёхъ чутко обращены въ ту сторону, гдё думаютъ услышать хоть что-нибудь о вопросахь, всёхь занимающихь. Никто не хочеть читать другой книги, кром'в той, гдв можеть содержаться хотя намекъ на эти вопросы. Надобны ли въ это время сочиненія такого писателя, который одаренъ способностью творить, создавать живые образы людей, и представлять ярко жизнь въ томь видь, какъ она представляется ему самому, мучимому жаждой знать се? Опредълимъ себъ прежде, что такое тотъ писатель, котораго главный талантъ состоитъ въ творчествъ.

Вст болте или менте согласны въ томъ, что писатель-творецъ творитъ творенье свое въ поученье людей. Требованья отъ него слишкомъ велики — и справедливо. Для того, чтобы передавать одну върную копію съ того, что видишь передъ глазами, есть также другіе писатели, одаренные пногда въ высшей степени способностью живописать, но лишенные способности творить. Но кто создаеть, кто трудится надъ этимъ долго, кому приходится дорого его созданіе. тотъ долженъ уже потрудиться не даромъ. Нужно, чтобы въ созданьи его жизнь сдёлала какой-нибудь шагъ впередъ и чтобы опъ, постигнувши современность, ставши въ уровень съ въкомъ, умълъ обратно воздать ему за наученье себя наученьемъ его. Такъ, но крайней мъръ, опредълнотъ поэтовъ и вообще писателей, надъленныхъ творчествомъ, эстетики, какъ ныибшняго времени, такъ и прежнихъ временъ. Возвратить людей въ томъ же видъ, въкакомъ ихъ взяль, для писатетя-творца даже невозможно: это дёло едёлаеть лучие его тотъ, кто, владъя бъглою кистью, можетъ рисовать всякую минуту все, что проходитъ передъ его глазами, немучимый и нетревожимый внутри ничьмъ.

Стало быть, въ ныпъннее время, когда всъ такъ запяты вопросомъ жизни, такой писатель можетъ, болъе чъмъ кто-либо другой, быть разрёшителемъ современныхъ вопросовъ; но когда и въ какомъ случав? Въ такомъ случав и тогда, когда ужъ онъ все разръшилъ себъ, что ни тревожитъ его самого. Если опъ, при всёхъ великихъ дарахъ, при картинной живониси въ слове, при орлиной силъ взгляда, при возносящей силъ лиризма и поражающей силь сарказма, пріобрътеть полное познанье земли своей п своего народа въ корнъ и въ вътвяхъ, воснитается, какъ гражданинъ своей земли и какъ гражданинъ всего человъчества, и какъ кремень станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повельно быть крыпкой скалой человьку, тогда онъ выступай на поприще. Владъя такими средствами, станетъ подавать онъ обществу людей, потребныхъ ему въ нынѣшиее время, въ современную эпоху и одѣнетъ ихъ портретною живостью, которая делаетъ то, что изображенный образъ преслъдуетъ насъ новсюду такъ, что нельзя оторваться. Разумъется, съ такими средствами ему ничего не будетъ стонть выгнать изъ головы всёхъ тёхъ героевъ, которыхъ напустили туда модные писатели. Заговори только съ обществомъ, намъсто самыхъ жаркихъ разсужденій, этими живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей, и двери сердецъ растворяются сами на-встрѣчу которымъ; если притомъ хотя каплю почувствують читатели, что они взяты изъ нашей природы, изъ того же тъла; тогда, разумъется, кто можетъ нынъ подъйствовать сильнъй такого писателя, и кто можетъ быть болъе его нужнымъ нынъшнему времени и нынъшней эпохъ? Но если онъ, имън дъйствительно иъкоторыя изъ тъхъ орудій, самъ еще не восинтался, какъ гражданинъ земли своей и гражданинъ всемірный, если онъ, покорный общему нынѣшиему влеченю всѣхъ, самъ еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на ноприще. Его вліянье можеть быть скорке вредно, чкмъ полезно. Это строенье себя самого непременно обнаружится во всемъ, что ни будетъ выходить изъ-подъ пера его. Чёмъ онъ самъ мене похожъ на другихъ людей, чёмъ опъ необыкновеннёе, чёмъ отличиве отъ другихъ, чемъ свособразиве, темъ больше можетъ произвести всеобщихъ заблужденій и недоразуміній. То что въ немъ есть не болье, какъ естественное проявление, законный ходъ его необыкновеннаго организма, состоянье духа времени, можетъ показаться другимъ людямъ верховною точкою, до которой елъдуетъ всъмъ дойти. Чъмъ больше одушевится онъ любовью къ героямъ и лицамъ своимъ, чъмъ больше отдълаетъ ихъ, чъмъ съ большею живостью выставитъ ихъ, тъмъ больше вреда. Примъръ тому въ глазахъ нашихъ. Извъстная Французская инсательница, больше всъхъ другихъ надълениая талантами, въ немного лътъ произвела сильнъйшее измъненье въ правахъ, чъмъ всъ писатели, заботившеся о развращени людей. Она, можетъ быть, и въ помышленьи не имъла проповъдывать развратъ, а обнаружила только временное заблужденье свое, отъ котораго потомъ, можетъ быть, и отказалась, переступивши въ другую эпоху своего состояния душевнаго. А слово уже брошено. Слово какъ воробей, говоритъ наша пословина: выпустивши его, не схватишь потомъ.

Я самъ писатель, пелишенный творчества; я владыю пъкоторыми изъ техъ даровъ; которые способны увлекать. Покорный общему стремленію, которое не отъ насъ, по совершается по вол'є высшей, я помышляю о своемъ собственномъ строеніи, какъ помышляють и другіе, но чувствую, что и теперь нахожусь далеко отъ того, къ чему стремлюсь, а потому не долженъ выступать. Самая вышедшая книга: »Переписка съ Друзьями« служитъ тому даказательствомъ. Если и эта кимга неопределительностью своею производить заблужденія, распространяеть даже ложныя мысли, если и изъ этихъ писемъ, говорятъ, остаются въ головъ, какъ живыя картины, цёликомъ фразы и страницы; что жъ бы было, если бы я выступиль съ живыми образами новъствовательнаго сочиненія намъсто этихъ писемъ? Я самъ слышу, что я тутъ гораздо сильнъй, чъмъ въ разсужденияхъ. Теперь еще можетъ меня оспаривать критика, а тогда врядъ ли бы въ силахъ былъ меня кто опровергнуть. Образы мон были бы соблазнительны и такъ засёли бы кръпко въ головъ, что и критикамъ ихъ оттуда бы не вытащить. Не нужно унускать того изъ виду, что вев выставленные лица и характеры должны были доказать истину моихъ собственныхъ убъжденій, а мон убъжденія..... Какъ сравню эту книгу съ уничтоженными мною »Мертвыми Душами«, не могу не возблагодарить за насланное мит внушенье ихъ уничтожить. Въ книгт моихъ инсемъ я всё таки стою на высшей точкъ, нежели въ уничтоженныхъ » Мертвыхъ Душахъ«. Темнота выраженія во многихъ мъстахъ сбиваетъ только читателя; но если бы поясите выразилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали спорить. Въ уничтоженныхъ »Мертвыхъ Душахъ« гораздо больше выражалось моего переходнаго состоянія, гораздо меньшая определительность въ главныхъ основаніяхъ и мысль двигательньй, а уже много увлекательности въ частяхъ, и герои были соблазнительны. Словомъ, какъ честный человъкъ, я долженъ былъ оставить перо, даже и тогда, если бы дъйствительно почувствоваль позывъ къ пему. На это дъло слъдуетъ взглянуть благоразумно. Всв тв, которые легкомысленно требують отъ меня продолженія писать и въ то же время бранять мою ныньш (шою книгу), должны, но крайней мьрь, разсмотрыть поближе все это дело и не пронустить всёхъ техъ обстоятельствъ. которыхъ не пропускаетъ инкакой судья, если только произноситъ надъ къмъ-либо судъ свой. Мит кажется, что теперь не только тоть, кто иншеть, но всякой умъ вообще, если только наклоненъ къ тому, чтобы дёлать выводы и заключенья.... долженъ удержаться отъ двятельности. Изъ людей умивишихъ должны выстунать на поприще только тъ, которые кончили свое воспитанье и создались, какъ граждане земли своей, а изъ писателей только такіе, которые, любя Россію такъ же пламенно, какъ тотъ, который даль себъ названье казака Луганскаго, умъють по слъдамъ его живонисать природу, какъ она есть, не скрывая ин дурного, ни хорошаго въ Русскомъ и руководствуясь единственно желаньемъ ввести всъхъ въ дъйствительное положение Русскаго человъка.

Мив, върно, потяжельй, чьмъ кому-либо другому, отказаться отъ инсательства, когда это составляло единственный предметь всъхъ монхъ помышлений, когда я все прочее оставилъ, всъ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, что мило человѣку на землѣ, затѣмъ чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, кромѣ труда своего. Мнѣ не легко отказатъся отъ инсательства. Одиѣ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей были тѣ, когда я наконецъ клалъ на бумагу то, что выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увѣренъ, что едва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ наслажденье творимъ. Но, повторю вновь, какъ честный человѣкъ, я долженъ

положить перо даже и тогда, если бы почувствоваль позывь къ нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сдёлать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что -- скажу откровенно — жизнь потеряла бы для меня тогда вдругъ всю цену, п не писать для меня совершенно значило бы тоже, что не жить. Но ивть лишеній, всявдь которымь не посылалась бы намъ ихъ замъна, во свидътельство того, что ин на малое время не оставляетъ человъка Тотъ, Кто его создалъ. Сердце ин на минуту не остается пусто и не можеть быть безъ какого-инбудь желанья. Какъ земля, на время освобожденная отъ пашин, износитъ другія травы, покуда вновь не обратится подъ пашню, оплодотворенная и удобренная ими; такъ и во мив, какъ только способность писать меня оставила, мысли какъ-бы сами возвратились къ тому, о чемъ я помышляль въ самомъ дътствъ. Мит захотълось служить, — въ какой бы то ин было, самой мелкой и незамьтной должности, но служить землё своей, такъ служить, какъ я хотёль нёкогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотель. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я нримирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствоваль, что на этомъ поприщѣ могу также служить землъ своей. Но и тогда, одиакоже, я номышляль, какъ только окончу большое мое сочинение, вступить, по примъру другихъ, въ службу и взять мъсто. Планы-то и виды были только горды и заносчивы. Мий казалось, что если только доказать, что я точно знаю Русскаго человъка въ корит и въ существенныхъ его началахъ, какъ въ тъхъ, которыя обнаружены встыъ, такъ равно и въ тёхъ, которыя въ немъ, покуда, скрыты и видны не для встхъ, что знаю душу человтка не по книгамъ и разсказамъ, но но опыту, влекомый отъ мландечества желаньемъ знать человъка; то мир дадутъ такое мъсто, гдъ я буду въ соприкосновени съ людьми разныхъ сословій, со многими людьми въ соприкосновеніи личномъ, а не посредствомъ бумагъ и канцелярій, — гдъ я могу унотребить съ дъйствительною пользою мое знанье человъка и гдъ могу быть полезнымъ многимъ людямъ, а для себя самого пріобръсти еще большее познане человъка. Миъ казалось, что больше всего страждеть все на Русп отъ взаимныхъ недоразумъній и что больше всякаго намъ нуженъ среди насъ такой человъкъ, который бы, при ивкоторомъ познаньи души и при ивкоторомъ знаньи сердца вообще, проникнуть быль желаньемъ истиннымъ мирить. Я видель и уже испыталь, какъ личнымъ переговоромъ и объясненьемъ прекращать можно было много такихъ дълъ, которыя пикогда не оканчиваются на бумагъ. Я думалъ, что хотя теперь и ньть такихь мьсть, но что я получу посль того, какъ выйдеть внолив мое сочинение, и приготовляль уже въ мысляхъ и самый проэкть, въ которомъ намфревался изъяснить, какъ въ следствіе тъхъ способностей, какія у меня есть, я могу быть нужень и полезенъ Россіп. Замыслы мон были горды, но такъ какъ они были основаны только на успъхъ моего сочиненія, то и унали вмъстъ съ тѣмъ, какъ оставила меня способность производить созданья поэтическия. Теперь въ глазахъ монхъ всё должности равны, всё мѣста равно значительны, отъ малаго до великаго, если только на инхъ взглянень значительно; и мив кажется, что если только хотя сколько-нибудь умфешь цфинть человфка и понимать его достопиство, которое въ немъ бываетъ даже и среди множества недостатковъ, и если только при этомъ хотя сколько-нибудь имъешь истиниой Христіянской любви къ человъку и, въ заключенье, пропикнуть точно любовью къ Россін; то на всякомъ мъстъ можно сдёлать много добра. Сила вліянія правственнаго выше всякихъ силъ. Мъсто и должность сдълались для меня, какъ для плывущаго по морю, пристань и твердая земля. Я убъжденъ, что теперь всякому, кто пламенветь желаньемь добра, кто Русской и кому дорога честь земли Русской, должно сибшить такъ же брать многія міста и должности въ государстві, съ такой же ревностью, какъ становился ибкогда изъ насъ всякой въ ряды противъ непріятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила. Съ другой стороны я убъжденъ, что мъсто и должность нужны для самого себя.... Какъ ин бурно нынъшнее время, какъ ни мятутся и ни волнуются вокругъ умы, какъ не возмущаетъ тебя собственный умъ твой; но можно остаться среди всего этого въ тишинт, если съ тъмъ именно возмещь свое мьсто, чтобы на немъ псполнить долгъ такимъ образомъ, чтобъ не стыдно было на землъ и готовъ бы былъ

отдать за него отвъть небу. Какъ бы то ин было, но жизнь для насъ уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умивінне изъ людей, (отъ) мыслителей до поэтовъ, надъ ней задумывались и приходили только къ сознанью, что не знають, что такое жизнь. Но когда Одинъ, всѣхъ нанумивінній, сказалъ твердо, не колеблясь инкакимъ сомивніемъ, что Онъ знаетъ, что такое жизнь, когда этотъ Одинъ признанъ всѣми за величайшаго изъ всѣхъ досель бывшихъ, даже и тѣми, которые не признаютъ въ Немъ Его Божественности, тогда слѣдуетъ повърпть Ему на слово, даже и въ такомъ случаъ, если бы Онъ былъ просто человъкъ. Слало быть вопросъ ръшенъ: что такое жизнь?

Этого мало. Намъ данъ поливінній законь всёхъ двиствій нашихъ, тотъ законъ, котораго не можетъ стѣснить, или остановить никакая власть, который можно внести даже въ поремныя ствны, но котораго, однакожъ, нельзя исполнять на воздухѣ: нужно для того стоять хоть на какомъ-нибудь земномъ грунтъ. Находясь въ должности и на мъстъ, всё-таки идешь по дорогъ; не имъя опредълениаго мъста и должности, идень черезъкусты и овраги, какъ понало, хотя и та же цъль. По дорогъ идти легче, нежели безъ . дороги. Если взглянешь на мъсто и должность, какъ на средство къ достиженью не цъли земной, но цъли Небесной, во спасенье своей души, — увидишь, что законъ, данный Христомъ, данъ какъбы для тебя самого, какъ-бы устремленъ лично къ тебъ самому, затёмъ чтобы ясно показать тебѣ, какъ быть на своемъ мѣстѣ во взятой тобою должности. Христіянину сказано ясно, какъ ему быть съвысшими, такъ что если хотя немного онъ изъ того исполнить, всв высшіе его полюбять. Христіянину сказано ясно, какъ ему быть съ тёми, которые его пониже, такъ что если хотя отчасти онъ это исполнить, всв низшіе ему предадутся всею душою своей. Всю эту всемірность человіколюбиваго закона Христова, все это отношенье человъка къ человъчеству можетъ изъ насъ перенести всякъ на свое небольшое поприще. Стоптъ только всёхъ тъхъ людей, съ которыми происходять у тебя частыя, наищекотливъйшія непріятности, обратить именио въ тъхъ самыхъ ближнихъ и братьевъ, которыхъ повелъваетъ больше всего прощать и любить Христосъ. Стоить только не смотръть на то, какъ другіе

съ тобою поступають, а смотрёть на то, какъ самъ поступаешь съ другими. Стоитъ только не смотръть на то, какъ тебя любятъ другіе, а смотръть только на то, любишь ли самъ ихъ. Стоитъ только, не оскорбляя никого, быть готову подавать нервому руку на примиренье. Стоитъ поступать такъ въ продолжение небольшого времени, и увидишь, что и тебълегче съдругими, и другимълегче съ тобою, и въ силахъ будешь точно произвести много полезныхъ дъль почти на незамътномъ мъстъ. Труднъй всего на свътъ тому, кто не прикръпилъ себя къ мъсту, не опредълилъ себъ, въ чемъ его должность. Ему труднъй всего примънить къ себъ законъ Христовъ, который на то, чтобы исполнять на землѣ, а не на воздухь; а потому и жизнь должна быть для него въчной загадкой. Предъ нимъ узникъ вътюрьмъ имъетъ преимущество: онъ знаетъ, что онъ узникъ, а потому и знаетъ, что брать изъ закона. Предъ нимъ ницій имъетъ преимущество: онъ тоже при должности, онъ нищій, а потому и знаетъ, что брать изъзакона Христова. Но человъкъ, незнающій, въ чемъ его должность, гдт его мъсто, неопредълнящий себъ ничего и неостановившийся ин на чемъ, пребываетъ ни въ міръ, ни виъ міра, не узнаетъ, кто ближній его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь міръ не полюбишь, если не начнешь прежде любить техъ, которые стоятъ поближе къ тебъ и имъютъ случай огорчить тебя. Онъ ближе всъхъ къ холодной черствости душевной.

Итакъ, послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ и опытовъ, и размышленій, идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышляль во время моего дѣтства: что назначенье человѣка—служить и что вся жизнь наша есть служба. Не забывать только пужно того, что взято мѣсто въ земномъ государствѣ затѣмъ, чтобы служить на немъ Государю небесному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ служа, можно угодить всѣмъ: Государю и народу, и землѣ своей.

Увърившись въ этомъ, я уже готовъ быль также взять всякую должность, хотя, соображаясь съ своими способностями, стараяся выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить съ Русскимъ человъкомъ, чтобы, если возвратится миъ способность писать, набрались у меня матеріалы. Одною изъ главныхъ

причинъ моего путешествія къ Святымъ Містамъ было желаніе искреннее помолиться и испросить благословенія на честное исполненіе должности, на вступленіе въ жизнь, у самого Того, Кто открыль намъ тайну жизни, на томъ самомъ мъсть, гдь пъкогда проходили стопы Его; ноблагодарить за все, что ни случилось въ моей жизии; испросить дъятельности и напутственного освъжения на дёло, для котораго я себя воспитываль и къ которому приготовляль себя. Туть я не нахожу инчего страннаго. Если и ученикъ, по окончании своего ученья, спішить сказать благодарственнос слово учителю, если сынъ спѣшитъ на могилу отца передъ тѣмъ, какъ предстоитъ ему поприще; почему же и мив не поклониться той могиль, которой ноклоняются всь, на которой всь получають себъ какое-инбудь напутствіе, гдъ вдохновляются всъ, даже и не поэты. Странно, можеть быть, то, что я объ этомъ сказаль въ нечатной книгъ. Но я въ то время только-что оправился отъ тяжкой бользии. Я быль слабь; я не думаль, что буду въ силахъ совершить это путешествіе. Мит хоттлось, чтобы помолились обо мит ть, которыхь вся жизнь стала одною молитвой. Я не зналь, какъ сдълать, чтобы голосъ мой достигнуль въ глубину келій и стънъ затворинковъ, въ мысли, что авось кто-либо изъ прочитавнихъ донесеть имъ мое слово. Я просиль обо мив и другихъ молиться, потому что не зналъ, чья молитва изъ насъ угодиви Тому, Кому мы вет молимся. Знаю только то, что напирезртинтайший изъ насъ можетъ завтра же сдёлаться лучше всёхъ насъ, п его молитва будетъ всъхъ ближе къ Богу. За это не слъдовало бы меня много осуждать, а выполнить, номия слова: просящему дай.

Какъ случилось, что я долженъ обо всемъ входить въ объясненья съ читателемъ, этого я самъ не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже съ найнскреннъйшими пріятелями, я не хотъль изъясняться на-счетъ сокровеннъйшихъ монхъ помышленій. Я ръшился твердо не открывать ничего изъ душевной своей исторіи, выносить всякія заключенія о себъ, какія бы ни раздавались, въ увъренности, что когда выйдетъ второй и третій томъ »Мертвыхъ Душъ«, все будетъ объяснено ими и пикто не будетъ дълать запроса: что такое самъ авторъ? хотя авторъ и долженъ былъ весь спрятаться за своихъ героевъ. Но, начавши пъкоторыя объясненія по поводу монхъ сочиненій, я долженъ былъ неминуемо заговорить о себъ самомъ, потому что сочиненья связаны тъсно съдвломъ моей души. Богъ въсть, можетъ быть, и въ этомъ была также воля Того, безъ воли Котораго ничто не дѣлается на свѣтѣ; можетъ быть, произошло это именно затъмъ, чтобы дать миъ возможность взглянуть на себя самого. Мий легко было почувствовать нъкоторую гордость, особенно послъ того, какъ удалось миъ дъйствительно избавиться отъмногихъ педостатковъ. Эта гордость во мит ом жила безпрестанио, и ея бы мит инкто не указалъ. Извъстно, что достаточно пріобръсти въ обращеньи съ людьми нёкоторую ровность характера и синсходительность, чтобы заставить ихъ уже не замбчать въ насъ нашихъ недостатковъ. Но когда выставишься передъ лицо незнакомыхъ людей, передъ лицо всего свъта и разберутъ по ниткъ всякое твое дъйствіе, всякой поступокъ, и люди всъхъвозможныхъ убъжденій, предубъжденій, образовъ мыслей, взглянутъ на тебя каждый по-своему, и посыплются со всёхъ сторонъ упреки въ-нопадъ и не въ-нопадъ, ударятъ и съ умысломъ, и невзначай по встмъ чувствительнымъ струнамъ твоимъ; тутъ по неволъ взглянешь на себя съ такихъ сторонъ, съ какихъ бы инкогда на себя не взглянулъ; станень въ себъ отыскивать тъхъ недостатковъ, которыхъ инкогда бы не вздумалъ прежде отыскивать. Это та страшная школа, отъ которой или точно свихнень съ ума, или поумпрешь больше, чрмъ когда-либо. Не безъ стыда и краски въ лицъ я перечитываю самъ многое въ моей кингъ, но при всемъ томъ благодарю Бога, давшаго миъ силы издать ее въ свътъ. Мив нужно было имъть зеркало, въ которое бы я могь глядъться и видъть получие себя, а безъ этой книги врядь ли бы я имбль это зеркало. Итакъ, замышленная отъ искренняго желанія принести пользу другимъ, книга моя принесла прежде всего нользу мив самому.

Но да нозволено мий будеть сказать здйсь ийсколько словь относительно нолезности ея другимь. Точно ли безполезна моя кинга другимь, и особенно обществу, въ его ныийшиемь, современноми види? Мий кажется, всй судивше ее взглянули на нее какими-то широкими глазами, какъ-то уже слишкомъ сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровийе. Вмйсто того, чтобы высту-

пать ратниками за все общество и вызывать меня на судъ передъ всю Россію, нужно было раземотрѣть дѣло проще, раземотрѣть книгу, что такое она въ своемъ основаніи, а не останавливаться надъ частями и подробностями прежде, чѣмъ объяснился вполнѣ впутренній смыслъ ея. Отъ этого вышли пустыя придпрки къ словамъ и приписанье многому такого смысла, который мнѣ инкогда и въ умъ не могъ придти.

Начать съ того, что я всегда имълъ право сказать о томъ, о чемъ говорилъ въ моей книгъ, если бы только выразился попроще и поприличиве. Учить общество въ томъ смыслѣ, какой иѣкоторые мив приписали, я вовсе не думалъ. Учить я принималъ въ томъ простомъ значенін, въ какомъ повельваеть памъ Церковь учить другъ друга и безпрестанно, умъя съ такой же охотой принимать и отъ другихъ совъты, съ какой подавать ихъ самому. А я быль готовъ въ то время принимать и отъ другихъ совъты. Я не представлялъ себъ общества школой, наполненной монми учениками, а себя его учителемъ. Я не веходилъ съ моей книгой на канедру, требуя, чтобы вст по ней учились. Я пришель къ своимъ собратьямъ, соученикамъ, какъ равный имъ соученикъ; принесъ иъсколько тетрадей, которыя успъль записать со словъ Того же Учителя, у Котораго мы всъ учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякой взяль, что кому придется. Туть были нисьма, писанныя кълюдямъ разныхъ характеровъ, разныхъ склонностей, и притомъ находившихся на разныхъ степеняхъ своего собственнаго душевнаго состоянія, которыя никакъ не могли прійтиться равно всёмъ. Я думаль, что каждый схватить только, что нужно ему, а на другое не обратить винманія. Я не думаль, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будеть кричать: »Это мий не нужно!« и сердиться за то. Я пикакой повой науки не брадся проповъдать. Какъ ученикъ, кое въ чемъ успъвшій больше другого, я хотъль только открыть другимъ, какъ полегче выучивать уроки, которые даются намъ наплучшимъ Учителемъ. Я думалъ, что, по прочтенін книги, будетъ мив сказано: »Благодарю тебя, собратъ«, а не: »Благодарю тебя, учитель.« Если бы не завъщание, которое я помъстиль довольно неосторожно, въ которомъ намекалъ о поучены, которое обязанъ дать всякой авторъ поэтическими созданьями своими, никто бы и не вздумалъ мив приписывать этого апостольства, не смотря даже на рвинительный слогъ и ивкоторую лирическую торжественность рвчи. По въкнигъ мосії отыщетъ много себѣ полезнаго всякої, кто уже глядитъ въ собственную душу свою.

Что же касается до мивнія, будто книга моя должна произвести вредь, съ этимъ не могу согласиться ни въ какомъ случав. Въ книгв, не смотря на всв ея недостатки, слишкомъ явно выступило желанье добра. Не смотря на многія неопредвлительныя и темныя мъста, главное видно въ ней ясно, и послѣ чтепія ея приходишь къ тому же заключеню, что верховная инстанція всего есть Церковь и разрѣшенье вопросовъ жизни—въ ней. Стало быть, во всякомъ случав, послѣ книги моей читатель обратится къ Церкви, а въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, которые укажутъ, что слѣдуетъ ему взять изъ моей минги для себя, а, можетъ быть, дадутъ ему, намѣсто моей книги, другія позначительнѣе, полезнѣе, для которыхъ онъ оставитъ мою книгу, какъ ученикъ бросаетъ склады, когда выучится читать по верхамъ.

Въ заключенье всего я долженъ замѣтить: сужденья большею частію были слишкомъ уже рѣшительны, слишкомъ рѣзки, и всякъ укорявшій меня въ недостаткъ смиренья истиннаго, не показаль смиренья относительно себя самого. Положимъ, я въ гордости своей, основавшись на многихъ достопнетвахъ, мнъ приписанныхъ всёми, могъ подумать, что я стою выше всёхъ и имёю право произносить судъ надъ другимъ. Но на чемъ основываясь могъ судить меня ръшительно тотъ; кто не ночувствовалъ, что онъ стоптъ выше меня? Какъ бы то ни было, но, чтобы произнести полный судъ надъ къмъ бы то ни было, нужно быть выше того, котораго судишь. Можно дълать замъчанья по частямъ на то и на другое, можно давать и мивнья, и совъты; но выводы основывать на этихъ мивньяхъ обо всемъ человъкъ, объявлять его ръшительно помъщавщимся, сошедшимъ съ ума, называть лжецомъ и обманцикомъ, падфинимъ личину набожности, приписывать подлыя и низкія цёли — это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ быль взвести даже на отъявленного мерзавца, заклейменного клеймомъ всеобщого резрънія. Миъ кажется, что, прежде чъмъ произносить такія обвиненія, слъдовало бы хотя сколько-нибудь содрогнутся душою п

подумать о томъ, каково было бы намъ самимъ, если бы такія обвиненія обрушились на насъ публично, въ виду всего свъта. Пе мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произпосить такое обвиненіе: »Не ошибаюсь ли я самъ? въдь я тоже человъкъ. Дъло тутъ душевное. Душа человъка — кладясь, не для всъхъ доступный, и на видимомъ сходствъ нъкоторыхъ признаковъ нельзя основываться. Часто и наискуснъйшие врачи принимали одну болъзнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разръзывали уже мертвый трупъ.« Нътъ, въкингъ: »Переписка съ Друзьями«, какъ ин много недостатковъ во всъхъ отношеньяхъ, но есть также въ ней много того, что не скоро можеть быть доступно всимь. Нечего утверждаться на томъ, что прочелъ два, или три раза книгу: иной и десять разъ прочтеть, и ничего изъ этого не выйдеть. Для того, чтобы сколько-инбудь почувствовать эту кингу, нужно имъть или очень простую п добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человъкомъ, который, при умъ, обнимающемъ со всъхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, умѣющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумъніе были для меня очень тяжелы,—тьмъ болье, что я думаль, что въ книгъ моей скорьй зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы отъ множества упрековъ: изъ нихъ многіе были такъ страшны, что не дай ихъ Богъ никому получать! Не могу не изъявить также и благодарности тьмъ, которые могли бы также осынать меня за многое упреками, но которые, почувствовавъ, что ихъ уже слишкомъ много для немощной натуры человъка, рукой скорбящаго брата приподымали меня, повелъвая ободриться. Богъ да вознаградитъ ихъ! Я не знаю выше подвига, какъ подать руку изнемогшему духомъ.

## OF JABJEHIE TPETBAFO TOMA.

## повъсти.

Тарасъ Бульба, въ исправленномъ видѣ	тран. 3 124 181 207
Остраница, пачало историческаго романа	252
ВЫБРАННЫЯ МЪСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.	
III. Значеніе болъзней	330 335 340 341 345

X. О лиризмѣ нашихъ поэтовъ
47 ¥ Cl
XI. Споры
XIII. Карамзинъ
XIII. Карамзинъ
XIV. () Teatph, 00% ognoctopouncins isotropy. 380
и вообще объ односторонности
и вообще объ односторовности възнанъшнее время. 389 XV. Предметы для лирическаго поэта възнанъшнее время. 393
37371 ()
VVII Hacopiumuin
ALALIE H. WALLOW MILET DESIREME HILLIAM HORON TOPON TO
THE WALL OF THE PARTY OF THE PA
VIV
YY
VVI
VVII Dygoriii HOMEHHEB
VVIII Heronuyeerii живописсцъ Ивановъ · · · · ·
WWIN HARR MOTORY GUTL KOHO INS MYKO BE INDUCTORED AS
PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH
VVV Correctif eval u Dachdaba
VVVII Parappyromy HDISTERIO
373/3/111
NATA II SE TRACTA DE SONATE BIJHE
37 37 TT
TAXAL D. TOTAL TO HEROHOLD, CVHICCTBO LYCCHUR HOSSIN A
въ чемъ ея осооенность
XXXII: CBBTAGE BOCKPECEME
АВТОРСКАЯ ИСПОВЪДЬ
ADTOLGERM HOROZEGA

